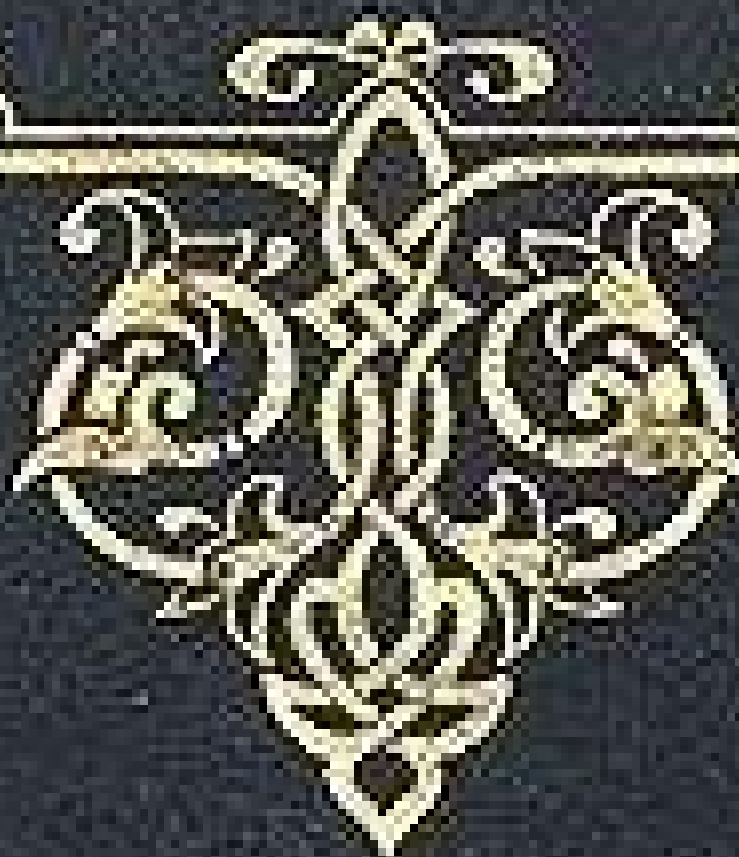


Н. С. ГИГОДИС

АРАКМЕЕР



Николай Эдуардович Гейнце

Аракчеев

Часть первая

НЕРАВНЫЙ БРАК

I

ДЕТСТВО

Аракчевы ведут свой дворянский род от новгородца Ивана Степанова Аракчеева, которому за службу предков, отца и самого его в 1684 году были пожалованы вотчины в тогдашнем Новгородском уезде, в Бежецкой пятине, в Никольском погосте.

Прадед графа Аракчеева, Степан, умер капитаном, служа в армейских полках; дед, Андрей, был убит в турецком походе Миниха, армейским поручиком, а отец его, тоже Андрей, служил в гвардии, в Преображенском полку, и воспользовавшись милостивым манифестом 18 февраля 1762 года, по которому на волю дворян представлялось служить или не служить, вышел в отставку в чине поручика и удалился в свое небольшое поместье в 20 душ крестьян, которые при разделах пришлось в его долю из жалованного предку наследия, в тогдашнем Вышневолоцком уезде Тверской губернии.

Алексей Андреевич Аракчеев родился 23 сентября 1769 года, следовательно, в момент нашего рассказа ему шел сорок шестой год.

Отставной поручик Андрей Андреевич Аракчеев отдыхал в деревне если не на лаврах, то на пуховиках, в хозяйство не вмешивался, любил глядеть из окна на те мало разнообразные сцены, которые может представлять двор бедной помещицкой усадьбы. У него было три сына: Алексей, Петр и Андрей. Алексея, как первенца, любил он с особенною нежностью, пытался даже заняться его образованием, то есть выучить его грамоте, но этот труд показался ему обременительным, и он возложил его на деревенского дьячка.

Если личность Андрея Андреевича так ложится под тип необъятного числа русских дворян старого времени, постепенно исчезающий на наших глазах, то личность жены его, Елизаветы Андреевны, была более замечательна.

В жизни графа Аракчеева много найдем мы следов первых впечатлений, первого взгляда на жизнь, которое получают дети в родительском доме. В нашем старом русском помещицком быту можно было много встретить барынь богомольных и заботливых хозяек, но Елизавета Андреевна отличалась, особенно в то время, необыкновенною аккуратностью и педантичной чистотою, в которых она содержала свое хозяйство, так что один проезжий, побывав у нее в доме, назвал ее голландкою.

При маленьких средствах в доме нужда не стучалась в двери. Денег было мало; но тогда мелкопоместные наши дворяне не много о них и заботились: домашнее хозяйство давало почти все средства к жизни. Копили копейку разве только для посылки служащим сыновьям в армию и для пополнения и освежения из рода в род переходившего приданого для дочек. При маленьких детях и не имея дочерей Елизавета Андреевна и этой заботы не имела. Сердца милосердного, она, однако, в строгом повиновении держала домочадцев; опрятность, с которою она содержала детей, прислугу, дом, — бросалась всем в глаза. С неутомимою деятельностью следила она за всеми отраслями сельского хозяйства, и когда в день Андрея съезжались соседи, то у Андрея Андреевича пир и угощение были как у помещика, который имел за полсотню душ крестьян, и в доме все было прилично — слово, любимое Елизаветою Андреевною, которое перешло и к ее сыну.

Мать учила сына молитвам, всегда водила его с собою в церковь, не пропускала ни обедни, ни вечерни и постоянно внушала ему бережливость одежды и обуви. Только отец, глава семейства, не подчинялся общему настроению всего домашнего быта — обращаться в постоянной деятельности, выражаясь словами самого графа Аракчеева.

При этих условиях мальчик, быть может, по природе несколько серьезный, был чужд резвости и из домашнего воспитания вынес: набожность, привычку к постоянному труду, сноровку требовать его от людей, ему подчиненных, и неутомимое стремление к порядку. Дальнейшая обстановка его жизненного поприща не давала заглохнуть этим первым началам: развились они корпусным воспитанием и первоначальною службою.

За годовой платеж трех четвертей ржи и столько же овса дьячок учил его читать, писать и четырем правилам арифметики.

Аракчевы имели родственника в Москве, который вызвался определить Алексея в гражданскую службу, поместить, когда он кончит учение, в какую-то канцелярию.

— Из меня хотели сделать подьячего, то есть доставить мне средства снискивать пропитание пером и крючками, — говаривал впоследствии граф Аракчеев, — не имел я понятия ни о какой службе, а потому отцу и не прекословил.

Граф вообще любил вспоминать годы своего детства. Малые успехи Алексея в каллиграфии смущали отца.

— Какой же он будет канцелярский чиновник, когда пишет, точно бредут мухи, — говорил он учителю-дьячку.

Тот молчал, так как писал сам не лучше своего ученика.

Отец придумал новое средство: отобрал из связки сохраняемых им служебных бумаг те, которые отличались почерком, и заставлял сына их переписывать. Этим он добился некоторых успехов.

Арифметика была коньком Алексея: учитель не мог уже следить за учеником. Он сам себе задавал такие большие числа для умножения, которых дьячок и выговорить не умел. Не умел их выговорить и ученик, но это не мешало ему все же их множить и тешиться, когда проверкою деления искомые были получены верно. Это было его любимое препровождение времени.

Между тем, мальчику минуло десять лет. Отец чаще стал поговаривать об отсылке сына в Москву, но в это время случайное событие переменяло все предположения.

В соседстве с Аракчевым жил помещик 30-ти душ, отставной прапорщик Гаврило Иванович Корсаков, к которому, около 1780 года, приехали два его сына: Никифор и Андрей, бывшие

кадетами в артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Андрей Андреевич поехал к ним в гости и взял сына с собою.

Знакомство с кадетами поразило мальчика, особенно понравились ему их красные мундиры. В них они показались ему какими-то особыми, высшими существами — он не отходил от них ни на шаг.

Возвратясь домой, он все вспоминал о кадетах. Они чудились ему день и ночь. Мальчик был как в лихорадке.

Прошло несколько дней.

Однажды, после обеда, Алеша не выдержал и бросился отцу в ноги.

— Отдай меня в кадеты, или я умру с горя, — заговорил он, между тем как рыдания душили его.

Добряк отец поднял его.

— Чего плачешь, дурашка, я не прочь исполнить твое желание, но как добраться до Петербурга без денег и как определить тебя там, не имея покровителей — вот в чем дело.

Мальчик продолжал рыдать и стоял на своем. Вошла мать.

— Вот, плачет, ревом ревет, в кадеты просится, — указал ей отец на плачущего сына.

— С Богом! — отвечала Елизавета Андреевна. — Коли на то Божья воля, ступай в кадеты...

— Перестань, перестань, уже я похлопочу, вместе с тобой поеду, — продолжал утешать сына отец.

— Когда? — сквозь слезы промолвил он.

— Когда? — вступилась мать. — Обещанного три года ждут, ишь какой прыткий, годок, другой обождешь, а то так я тебя, малыша, в Петербург к чужим людям и отдам.

Может быть, Елизавета Андреевна так быстро и согласилась, чтобы воспользоваться этим случаем и отдалить время разлуки с сыном. В Москву он должен был ехать к родным и прекословить его отправке она не имела оснований.

Два года еще Алексей пробыл дома.

В мальчишке, впрочем, за это время не изгладилось впечатление, произведенное на него Корсаковыми: он крепко стоял на своем и все мечтал о кадетах.

II

В ПЕТЕРБУРГЕ

Наконец, в январе 1783 года начались решительные сборы, повезли из амбара хлеб на базар, продали две коровы. Запаслись деньгами и на проезд, и чтобы, в случае надобности, внести в корпус положенные для своекоштных около ста рублей.

С нетерпеливым весельем смотрел Алексей на все приготовления, на печения пирогов, не

понимая, отчего мать его проливает слезы; взгрустнулось ему лишь тогда, когда подвезли кибитку и стали укладываться.

Пришел священник, отслужил молебен, потом молча посидели и стали прощаться с матерью.

Она, рыдая, благословила сына образком, который надела ему на шею.

— Молись, надейся на Бога — вот мой завет тебе, — сказала она, обливая слезами склоненную перед ней голову Алеши.

Глубоко в душу мальчика запали эти слова.

Со слугою, отправились они в столицу, остановились на Ямской, на постоялом дворе, наняли угол за перегородкой, отыскивали писца, солдата архангелогородского, пехотного полка Мохова, который на гербовом двухкопеечном листе написал просьбу, и, отслужив молебен, отправились в корпус, на Петербургскую сторону.

Молчалив и задумчив был Андрей Андреевич во весь длинный путь, коротко, против обыкновения, отвечая на вопросы сына о проезжаемых зданиях. Было еще рано, довольно пусто на улицах, но город поразил Алексея своим многолюдством — все его занимало, веселило, его детская голова не понимала отцовских мыслей.

Наконец, они доехали до корпуса и отыскивали канцелярию.

Их встретил какой-то писарь довольно приветливо, рекомендовал писца, но, узнав, что просьба уже написана, нахмурился и сказал, что уже поздно и чтобы они пришли на другой день пораньше.

Аракчеевы приехали в самое неблагоприятное время. Командир корпуса генерал Мордвинов умер 5 октября 1782 года; временно заведовал корпусом генерал Мелиссино, который был утвержден директором только 22 февраля 1783 года. Императрица поручила ему, ознакомившись с корпусом, сделать соображение к совершенному преобразованию этого заведения, согласно общих предположений для воспитания юношества целой империи.

Горькие дни испытал Аракчеев при первых своих столкновениях со служебным миром. Десять дней кряду ходил он с отцом в корпус, пока они добились, что 28 января просьба была принята, но до назначения нового начальника не могла быть положена резолюция. Наконец, вышло это желаемое назначение, но оно не много их подвинуло. Почти каждый день являлись они на лестнице Петра Ивановича Мелиссино, чтобы безмолвно ему поклониться и не дать забыть о себе.

Прошло более полугода пребывания их в Петербурге и в это время другая настоятельная беда собиралась над ними. Деньги таяли, для уменьшения расходов ели только раз в день; наконец, были издержаны и последние копейки, а настойчивое их появление в передней Мелиссино оставалось безуспешным.

Они принялись продавать зимнее платье.

В это время услышали они, что митрополит Гавриил раздает помощь бедным. Крайность принудила обратиться к милостыне. Они отправились в Лавру, где было много бедных. Доложили преосвященному, что дворянин желает его видеть; он, выслушав о несчастном их положении, отправил к казначею, где им был выдан рубль серебром.

Когда они вышли на улицу, Андрей Андреевич поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал.

Сын также плакал, глядя на отца.

На этот рубль втроем со служителем они прожили еще десять дней.

Наконец, 19 июля 1983 года они, по обыкновению, стояли на директорской лестнице и ждали выхода Мелиссино. В этот день отчаяние придало бодрости мальчику.

Со слезами на глазах подошел он к вышедшему вельможе и упал на колени.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — примите меня в кадеты... Нам придется умереть с голоду... Мы ждать более не можем... Вечно буду вам благодарен и буду за вас Богу молиться...

Рыдания мальчика, слезы на глазах отца остановили на этот раз директора.

— Как фамилия?

— Аракчеев.

Мелиссино вернулся в свои покои и вынес записку для отдачи в канцелярию, объявив им, что просьба исполнена.

Алексей Аракчеев кинулся было целовать его руки, но вельможа сел в карету и уехал.

По выходе из корпуса они завернули в первую попавшуюся церковь. Не на что было поставить свечу. Они благодарили Бога земными поклонами.

На другой день, 20 июля, Алексей Аракчеев поступил в корпус, а отец его, встретившись с одним московским родственником, давшим ему денег на дорогу, «поручив сына под покровительство Казанской Богородицы», уехал в деревню.

В корпусе Аракчеев заслужил репутацию отличного кадета. Умный и способный по природе, он смотрел на Мелиссино как на избавителя и изо всех сил бился угодить ему. Мальчик без родных и знакомых в Петербурге, без покровителей и без денег испытывал безотрадную долю одинокого новичка. Учиться и беспрекословно исполнять волю начальников было ему утешением, и это же дало средство выйти из кадетского мира в люди.

По окончании курса он был сперва учителем математики в том же шляхетском корпусе, но вскоре по вызову великого князя Павла Петровича, в числе лучших офицеров, был отправлен на службу в гатчинскую артиллерию, где Алексеем Андреевичем и сделан был первый шаг к быстрому возвышению. Вот как рассказывают об этом, и, надо сказать, не без злорадства, современники будущего графа, либералы конца восемнадцатого века — водились они и тогда.

Один раз великий князь Павел Петрович назначил смотр гатчинским войскам в первом часу дня. Войска собрались в назначенное время, но великий князь, занятый другими делами, совершенно забыл про смотр. Войска, прождав часа два, разошлись; на площади остался один Аракчеев со своей батареей. Великий князь, проходя к обеду, увидел в окно на площади артиллерию и позвал к себе офицера. Явился Аракчеев, отрапортовал великому князю о своем усердии, и с тех пор стал пользоваться полною доверенностью Павла Петровича во всю его жизнь.

Как бы то ни было, но служебная карьера Алексея Андреевича при императоре Павле шла поразительно быстро. Сперва он был комендантом дворца. Для этого он, казалось, был создан — спал не раздеваясь, всегда готовый явиться по первому зову императора. В день коронации 5 апреля 1797 года, совпавшим с первым днем Пасхи, он был возведен в баронское достоинство и сделан александровским кавалером. К поднесенному на

Высочайшее утверждение баронскому гербу Павел собственноручно прибавил девиз: «Без лести предан». Через две недели Аракчеев был назначен генерал-квартирмейстером всей армии; но, не увлекаясь своим положением, он ни с кем не сблизился, пренебрегая связями среди двора и свиты императора, держал себя крайне самостоятельно. Это более, чем что-либо, возбуждало зависть не только сверстников, но и старших, видевших в двадцативосьмилетнем генерале себе соперника. Вскоре затем он был возведен в графское достоинство.

В начале царствования Александра I, Аракчеев не занимал никакого особенно важного поста и, оставаясь начальником всей артиллерии, не имел еще тогда видимого влияния на политические и внутренние дела государства, но вскоре новый император также приблизил его к себе, назначил на пост военного министра, который Аракчеев занимал, однако, недолго и, отказавшись сам, был назначен генерал-инспектором всей пехоты. Начиная же с 1815 года, то есть именно с того времени, которое мы избираем за исходный пункт нашего правдивого повествования, он стоял на высоте своего могущества — был правою рукою императора и рассматривал вместе с ним все важнейшие дела государственного управления, не исключая и дел духовных.

— Меня отличили, вызвали из ничтожества! — говаривал граф Аракчеев и был совершенно прав, как видим мы из вышеприведенного краткого очерка детства и юности этого замечательного русского государственного деятеля, за который читатель, надеюсь, не посетует на автора.

Часто без знания мелочей детства и воспитания являются загадочными великие характеры.

III

НА ЛИТЕЙНОЙ

Серый, одноэтажный дом, на углу Литейной и Кирочной, стоящий в его прежнем виде и доньше, во время царствования императора Александра Павловича служил резиденцией «железного графа», как называли современники Алексея Андреевича Аракчеева.

Дом этот был в то время так же известен в Петербурге, как и Зимний дворец.

На исходе первого часа 11 января 1815 года в открытые настежь ворота этого дома быстро вкатили широкие сани и остановились у подъезда.

Грузно вышел из них граф Алексей Андреевич Аракчеев, вернувшийся из дворца, куда ездил с обычным утренним докладом.

Парадные двери распахнулись перед ним как бы по волшебству. Он быстро вошел в переднюю, сбросил на руки нескольких встретивших его лакеев шинель и, сунув одному из них шляпу, так же быстро миновал ряд комнат и вошел в свой кабинет.

Это была обширная комната, казавшаяся мрачной и неприветной. У окон и кое-где вдоль стен стояла плетеная неуклюжая мебель; большой письменный стол был завален грудой бумаг. Недостаточность мебелировки делала то, что комната казалась пустою и имела нежилой вид.

Впрочем, граф и на самом деле бывал в своем доме лишь наездом, живя за последнее время постоянно в Грузине, имении, лежавшем на берегу Волхова, в Новгородской губернии, подаренном ему вместе с 2500 душ крестьян императором Павлом и принадлежавшем прежде князю Меншикову. Даже в свои приезды в Петербург он иногда останавливался не в

своем доме, а в Зимнем дворце, где ему было всегда готово помещение.

Граф не любил своего дома на Литейной, он навевал на него тяжелые воспоминания. В настоящий приезд его в Петербург картины прошлого проносились перед его духовным взором с особенною рельефностью.

Причиной этому была досужая светская сплетня петербургских кумушек, сопоставлявшая имя жены царского фаворита графини Наталии Федоровны Аракчеевой с полковником гвардии Николаем Павловичем Зарудиным, доведенная услужливыми клеветами до сведения всемогущего графа.

Сплетня уже несколько месяцев циркулировала в петербургских великосветских гостиных того времени, раздуваемая врагами и завистниками графа, которых было немало.

Ревниво охранявший честь своего имени, гордый доблестью своих предков и им самим признаваемыми своими заслугами, граф не остался равнодушным к дошедшим до него слухам и враги его торжествовали, найдя ахиллесову пяту у этого неуязвимого, железного человека.

Войдя в кабинет, граф приблизился к письменному столу, около которого стоял простой деревянный стул. Он, однако, не сел на него, а стал рядом, облокотившись обеими руками на стол. Его сгорбленная, мрачная, в наглухо застегнутом мундире, с большими мясистыми ушами, торчавшими над коротко остриженной головой, высокая и сутуловатая фигура — всецело гармонировала с окружающей суровой обстановкой. Его обритое лицо с некрасивыми, вульгарными чертами сначала поражало отсутствием какого-либо оживления, но за этим беспристрастно-холодным выражением сказывались железная воля и несокрушимая энергия. Мясистый, неуклюжий, слегка вздернутый нос «дулей», по меткому народному выражению, портил все его лицо, но зато глаза, с их тусклым цветом, производили странное впечатление. Всегда наполовину опущенные веки, скрывающие зрачки, придавали всему лицу какое-то загадочное выражение, указывали на желание их обладателя всеми силами и мерами скрывать свои думы и ощущения, на постоянную боязнь, как бы кто не прочел их ненароком в глазах и лице.

Вслед за вошедшим в кабинет графом в почтительном отдалении следовал главный дворецкий его петербургского дома Степан Васильевич.

Это был человек лет сорока шести — одноплеток графа, с гладко выбритым открытым, чисто-русским лицом, в котором преобладало выражение серьезной грусти, оскорбленного достоинства, непоправимого недовольства судьбой.

Да и действительно, судьба этого человека была далеко не из завидных.

Он был сын любимого слуги покойного отца графа Алексея Андреевича — мать графа была еще жива — Василия. Оставшись после смерти отца, горько оплаканного барином, круглым сиротой, так как его мать умерла вскоре после родов, он был взят в барский дом за товарища к молодому барчонку-первенцу, которому, как и ему, шел тогда второй год.

Андрей Андреевич поручил жене заботиться о нем, как о сыне, так что Елизавета Андреевна мыла зачастую обоих ребят в одном корыте, хотя подчас это свое слепое повиновение мужу вымещала на дворовом мальчишке и ему весьма часто приходилось переносить довольно чувствительные щипки барыни, которая, по воле мужа, должна была разделять для чужого ребенка материнские заботы.

Маленький Степа орал благим матом, а Андрей Андреевич, понимая причину криков ребенка своего покойного фаворита, лишь укоризненно говорил:

— Лизонька!

Мальчики подрастали и отношения между ними с каждым годом все резче и резче изменялись.

Происходило ли это под влиянием Елизаветы Андреевны, внушавшей сыну, как следует относиться к холопу, или же самолюбивый, мальчик сам не мог простить Василию украденных у него последним, хотя и вынужденных со стороны матери, забот — неизвестно, но только даже когда Алексей Андреевич был выпущен из корпуса в офицеры и Василий был приставлен к нему в камердинеры, отношения какой-то затаенной враждебности со стороны молодого барина к ровеснику слуге нимало не изменились. Не изменились они и с быстрым возвышением графа по государственной лестнице.

Много терпел Василий от Алексея Андреевича во время службы его в Гатчине и, в конце концов, был осужден в почетную ссылку — сделан дворецким петербургского дома, которого граф не любил и в котором, как мы уже сказали, бывал редко.

Граф обращался с Василием хуже, чем с другими своими дворовыми, пинки и зуботычины сыпались на него градом с каким-то особенным остервенением.

Спешим оговориться, что обращение графа с остальными его дворовыми, а также и его подчиненными, ни чем не разнилось вообще от обращения помещиков и офицеров того времени, и если рассказы о его жестокостях приобрели почти легендарную окраску, то этим он обязан исключительно тому, что в течение двух царствований стоял одиноко и беспартийно вблизи трона со своими строгими требованиями исполнения служебного долга и безусловной честности и бескорыстной преданности государю. Быть может, он увлекался и часто в ничтожных мелочах видел отступление от этих принципов, но и в этом случае он мог найти оправдание в народной мудрости, выразившейся в пословице: «от копеечной свечи Москва сгорела». Другого упрека этому выдающемуся, беспримерному государственному деятелю сделать нельзя, что бы ни писали о нем его современники и неблагодарные, падкие на преувеличения, потомки.

Рассказы первых сшиты почти все белыми нитками злобной зависти, вторым же, по крайней мере, служит извинением, что они судят о поступках деятеля начала века с точки зрения его конца.

Отношения графа к Степану, повторяем, были исключительны даже для того времени.

Весьма понятно, что последний, воспитанный в детстве в сравнительной доле и от того более чуткий к несправедливостям и побоям, считал себя обиженным и платил враждебно относившемуся к нему барину тою же монетою.

Выдались, впрочем, около двух лет во все время его службы при Алексее Андреевиче, о которых он любил вспоминать и вместе с этими воспоминаниями в его уме возникал нежный образ ангела-барыни — эти годы были 1806 и 1807-й, а эта ангел-барыня была жена графа Наталья Федоровна Аракчеева.

При этих воспоминаниях угрюмое лицо Степана освещалось почти детской радостной улыбкой, но вслед затем становилось еще угрюмее, он старался забыть невозвратное и даже топил свои до боли отрадные воспоминания в традиционной рюмочке.

— Адъютант! — совсем в нос, что служило признаком особого раздражения, произнес Алексей Андреевич.

— Петр Андреевич еще не прибывали-с, — угрюмо отвечал Степан.

Граф посмотрел на часы, стоявшие на письменном столе. Они показывали две минуты первого.

Аракчеев мрачно сдвинул брови, и на лице его появились еще более мрачные тени.

— Народу много? — кивнул он в сторону закрытой двери, ведшей в приемную.

— Много-с! — не глядя на графа, произнес дворецкий.

— Вестового за адъютантом! — буркнул граф. — Мигом!.. — и сел на стул.

Степан вышел.

IV

ГВАРДЕЕЦ

В приемной, действительно, по обыкновению, было множество лиц, ожидавших приема графа. Это были все сплошь генералы, сановники и между ними два министра, были, впрочем, и мелкие чиновники с какими-то испуганными, забитыми лицами.

Среди всей этой раболопной толпы, с душевным трепетом ожидавшей момента предстать пред очи человека случая и власти, выделялся сидевший в небрежной позе молодой, красивый гвардейский офицер.

На его выразительном лице не заметно было ни робости, ни волнения и, по-видимому, ему только было не по себе от нетерпения вследствие долгого ожидания.

Он то и дело сам бросал взгляды своих темно-синих глаз то на дверь, ведущую в кабинет графа, то на другую, ведущую в переднюю.

Офицер этот был Антон Антонович фон Зееман. Он приходился дальним родственником адъютанту графа Аракчеева — Петру Андреевичу Клейнмихелю.

Впрочем, между этими родственниками отношения были более чем холодны: Антон Антонович, несмотря на то, что был лет на десять моложе Петра Андреевича, еще в ранней юности разошелся с ним.

Петр Андреевич, со своей стороны, при редких встречах относился, к нему более по-родственному, но в этих отношениях молодой офицер-идеалист чувствовал снисходительное потворство его бредням со стороны человека до мозга костей практика, каким был Клейнмихель, что еще более раздражало фон Зеемана и делало разделяющую пропасть между ними все глубже и глубже.

Его присутствие в приемной графа Алексея Андреевича было, видимо, не только не обычным, но даже совершенно неожиданным для бессменного в то время адъютанта графа — Петра Андреевича Клейнмихеля, только что вошедшего в приемную и привычным взглядом окинувшего толпу ожидавших приема.

Клейнмихель был еще молодой, щеголеватый, перетянутый в рюмочку, полковник с тоненькими, белокурыми, от ушей ко рту, в виде ленточек, бакенбардами.

Мягко ступая, с особым военным перевальцем и распространяя вокруг себя запах модных духов, Петр Андреевич остановился у входа и вперил удивленно-недоумевающий взгляд своих серых глаз на продолжавшего сидеть в прежней небрежной позе фон Зеемана.

Сохраняя то же недоумевающее выражение на лице, он двинулся по направлению сидящего,

отвечая кивком головы на почтительные поклоны присутствующих.

— Антон?

В секунду произошло то, что все заметили, как Клейнмихель вспыхнул и быстро отдернул протянутую было для рукопожатия руку.

Окликнутый офицер официально встал перед старшим его чином, ни одна черта на его лице не дрогнула, он только слегка приподнял голову и, глянув на адъютанта, упорно и презрительно смерил его с головы до пят.

Судя по его лицу, казалось, что ему даже обиден был этот фамильярный оклик, эта протянутая рука. Свои он упорно держал по швам.

— К его сиятельству по личному, не служебному делу! — бесстрастно и официально произнес он.

Клейнмихель поспешно повернулся и двинулся в противоположные двери.

Фон Зеeman снова опустился на стул в прежней небрежной позе, не замечая устремленных на него испуганных взглядов окружавшей его раболепной толпы, бывшей свидетельницей его беспримерной дерзости в отношении к адъютанту и любимцу графа Алексея Андреевича — всемогущего любимца царя.

— Не сносить молодцу головы... Петр Андреевич-то весь побагровел... Укатит отсюда с фельдъегерем «куда Макар телят не гонял...» Видно, есть рука, коли так озорничает... Вольтерьянец... Масон... — слышались шепотом передаваемые замечания и соображения.

V

ПРИЕМ

Граф Алексей Андреевич продолжал сидеть за письменным столом, угрюмо устремив взгляд на двигавшуюся стрелку стоявших на письменном столе часов.

Стрелка показывала уже восемь минут второго, когда Петр Андреевич Клейнмихель, осторожно отворив дверь кабинета, поспешно, но бережно ступая по полу, подошел к письменному столу и, выпрямившись, встал, как на часах.

Граф Аракчеев, по-прежнему, не спуская взгляда с циферблата часов и не поворачивая головы к вошедшему, слегка приподнял руку и ткнул молча пальцем в этот циферблат.

— Виноват, опоздал! — пробормотал Клейнмихель. — Простите...

— Надолго! — протянул Алексей Андреевич, как бы равнодушно и лениво, и как бы про себя. — Всякий день от зари до зари всех кругом прощай. Никто своего малейшего долга не чувствует и не исполняет. Зараза французская, вольнодумство всех пожирает, как ржавчина какая. Ну, иди, докладывай и принимай!

Клейнмихель двинулся.

— Да смотри в оба! Ты прапора какого-нибудь прежде генерала вступишь. От тебя все станется. Кто там налез?

Петр Андреевич, хотя и быстро прошедший приемную, мог тотчас же перечислить поименно всех ожидавших приема.

— А кроме того-с... — добавил Петр Андреевич и запнулся.

— Кто там еще кроме? — вскинул на него глаза граф.

— Капитан фон Зеeman...

— Кто таков? Не слыхивал...

— Изволили запомнить, ваше сиятельство, мой троюродный брат, еще юнкером когда он был — оказывали ему расположение, по моему предстательству...

— А... синеглазый... Нарышкинский фаворит...

— Так точно...

— Зачем он пожаловал?.. Соглядатайствовать...

— Не могу знать... Я к нему было подошел, по-родственному с ним обошелся, а он мне руки не подал, вытянулся в струнку и отрапортовал: «К его сиятельству по личному, не служебному делу!»

— Так и сказал?

— Так!

— Гм!..

— Он, осмелюсь доложить, дружит с полковником Заруд...

Петр Андреевич взглянул в лицо графа и не договорил начатой фамилии.

Лицо его исказилось такою болезненною злобою, что адъютант даже невольно сделал шаг назад.

— А мне какое дело, с каким светским блазнем твой блазень дружит... — прохрипел Алексей Андреевич и, откинувшись на спинку стула, начал поспешно вытирать пот, выступивший на его побагровевшем лице.

— Я осмеливаюсь думать... — начал было Клейнмихель.

— Этого, брат, ты никогда не осмеливайся... — снова оборвал его граф, видимо, пришедший в себя. — Так ты говоришь, что он по личному, не служебному делу...

— Точно так...

— Так после приема... когда скажу... пусть подождет... мальчишка... Ступай...

Все это проговорил Аракчеев тихо, медленно, вяло, глядя как бы сонными глазами на пустую стену.

Хотел ли он под этой маской кажущегося равнодушия скрыть охватившее его и далеко не улегшееся душевное волнение или же после этой бурной вспышки наступила так стремительно реакция — как знать?

Прием начался.

Клейнмихель, постоянно входя и выходя из одной комнаты в другую, докладывал графу с порога имена тех лиц, которые не были лично известны Алексею Андреевичу.

К некоторым из входивших граф Аракчеев поднимался и, обойдя стол, стоял и тихо разговаривал с ними.

Некоторых отводил к стоявшим вдоль стены стульям, просил сесть, присаживался сам и разговаривал менее сухо.

Но большинство он выслушивал сидя за столом, изредка прибавляя порой резко и отрывисто, а порой таким сердечным тоном, который далеко не гармонировал с его угрюмой фигурой:

— Слушаю-с! Постараюсь! Готов служить! Доложу государю!..

По временам слышались, впрочем, иные, более грозные окрики.

— Солдат в генералы не попадает в мгновение ока, а генерал в солдаты может попасть, — достигал до приемной зычный, гнусавый голос графа, и даже сдержанный шепот ожидавших очереди мгновенно замолкал, и наступала та роковая тишина, во время которой, как говорят, слышен полет мухи.

Антон Антонович фон Зеeman пробуждался от своей задумчивости, взглядывал на дверь и на губах его появлялась полуироническая, полупрезрительная улыбка.

Прием, продолжавшийся уже около двух часов, кончался: проходили уже согнутые, трепещущие фигуры мелких чиновников, а фамилия капитана фон Зеемана не произносилась Петром Андреевичем Клейнмихелем.

Наконец, последний «мелкий чинуша» вышел из кабинета. Клейнмихель тоже появился на его пороге. Фон Зеeman, очутившись один в пустынной зале, встал, чтобы обратить на себя внимание адъютанта.

Тот, как бы не замечая его, подошел к окну и затем, круто повернув, прошел мимо него.

— Желал бы быть принятым его сиятельством, — вытянулся в струнку Антон Антонович.

— Вас позовут! — бросил ему на ходу Клейнмихель с небрежной усмешкой и прошел в дверь, ведущую в переднюю.

На самом деле, приняв последнего посетителя, граф Алексей Андреевич отрывисто заметил Петру Андреевичу:

— Теперь ступай! За блазнем вышлю Степана, успеем узнать, что ему так приспичило со мной разговаривать.

Клейнмихель вышел.

Граф Алексей Андреевич снова погрузился в свои невеселые думы.

VI

ОДИНАКОВЫЕ ДУМЫ

На красивое лицо Антона Антоновича после слов Клейнмихеля набежала тень смущения —

он не ожидал такого оборота дела; он понял, что всезнающий граф проник в цель его посещения и хочет утомить врага, который нравственно был ему не по силам. Значит, он его не застанет врасплох, значит, предстоит борьба и кто еще выйдет из нее победителем; у «железного графа» было, это сознавал фон Зеeman, много шансов, хотя и удар, ему приготовленный, был рассчитан и обдуман, но приготовлявшие его главным образом надеялись на неожиданность, на неподготовленность противника. Теперь эти шансы, видимо, ускользали от них.

«Уехать, отложить, рассказать...» — мелькнуло в голове молодого офицера.

Он даже посмотрел на закрытую наглухо за вышедшим Клейнмихелем дверь, ведущую в переднюю, и откинул эту мысль.

«Это будет бегством... трусостью... — стал стыдить он самого себя. — Будь что будет! Стану дожидаться хоть до утра, а увижу сегодня же этого дуболома...» — мысленно рассуждал он и снова уселся на стул.

После этого решения Антон Антонович вдруг совершенно успокоился и даже думы его далеко отошли от предстоящего свидания с графом.

Он стал от нечего делать оглядывать приемную, уже по углам заволакивавшуюся ранними зимними сумерками. Это была комната, служившая в былые времена танцевальной залой.

Убранство ее было довольно простое: стулья и скамьи, обитые штофом, по стенам и на окнах гардины да люстра посередине. В простенках были высокие зеркала, и на одной из стен огромное зеркало, аршина в три ширины и аршин пять в вышину.

У противоположной стены стояли знамена. Так как граф был шефом полка его имени, то и знамена находились в его доме, а у дома, вследствие этого, стоял всегда почетный караул.

Вся эта обстановка напоминала фон Зеemanу годы его юности, и он мысленно стал переживать эти минувшие безвозвратные годы, все испытанное им, все им пережитое, доведшее его до смелой решимости вызваться прибыть сегодня к графу и бросить ему в лицо жестокое, но, по убеждению Антона Антоновича, вполне заслуженное им слово, бросить, хотя не от себя, а по поручению других, но эти другие были для него дороже и ближе самых ближайших родственников, а не только этой «седьмой воды на киселе», каким приходился ему ненавистный Клейнмихель.

При воспоминании о только что вышедшем адъютанте фон Зеeman сделал даже брезгливый жест.

Граф Алексей Андреевич продолжал, между тем, задумчиво сидеть у письменного стола в своем мрачном кабинете. Тени сумерек ложились в нем гуще, нежели в зале, но граф, по-видимому, не замечал этого, или же ему нравился начинавший окружать его мрак, так гармонировавший с настроением его духа.

Степан Васильев неслышными шагами вошел в кабинет, но чуткий Алексей Андреевич тотчас оглянулся.

— Чего тебе?

— Огня, я думал.

— И этот думает. Пошел вон, позову.

Степан удалился, что-то ворча себе под нос.

Граф не слышал этой воркотни, иначе бы не сдобровать камердинеру.

Алексей Андреевич не оборвал нить своих тяжелых воспоминаний и снова погрузился в них.

Степан Васильев, все продолжая ворчать, добрал до своей комнатки, опустился на стул у столика, покрытого цветною скатертью и, исчерпав по адресу графа весь свой лексикон заочных ругательств, тоже задумался, склонив свою голову на руки.

По странной случайности, все эти три лица: граф в своем кабинете, Антон Антонович фон Зеeman в опустевшей приемной и Степан Васильев в своей каморке думали в общих чертах об одном и том же.

Из этих воспоминаний в сложности можно было создать яркую картину последних минувших десяти лет, главными центральными фигурами которой являлись граф Алексей Андреевич Аракчеев, его жена графиня Наталья Федоровна и домоправительница графа — Настасья Федоровна Минкина, тоже прозванная «графинею».

Воссозданием этой картины мы и займемся, но для этого нам придется с тобой, дорогой читатель, перенестись на десять лет назад.

VII

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

На 6-й линии Васильевского острова, далеко в то время не оживленного, а, напротив, заселенного весьма мало сравнительно с остальными частями Петербурга, стоял одноэтажный, выкрашенный в темно-коричневую краску, деревянный домик, который до сих пор помнят старожилы, так как он не особенно давно был заменен четырехэтажным каменным домом новейшего типа, разобранным вследствие его ветхости по приказанию полицейской власти.

Несколько лет, как уверяют, он стоял заколоченным, так как не находилось покупателя на место, а самый дом был предназначен к слому.

По рассказам тех же стариков, этот полуразвалившийся дом служил для ночлега бродяг и темных людей, от которых не были безопасны пешеходы в этой пустынной, сравнительно, в то время местности.

Еще пустыннее она была в описываемое нами время.

Известно, что Васильевский остров — это излюбленное место великого основателя Петербурга, из которого он хотел сделать торговую часть города, прорезанную каналом, вроде Амстердама.

С кончиною Петра I многое начатое им осталось неоконченным. Его преемники, Екатерина I и Петр II, ничего не сделали для Петербурга. Петр II думал даже столицу перевести снова в Москву, как размышлял это и сын Петра I — Алексей, так трагически окончивший свои дни. В непродолжительное царствование Петра II Петербург особенно запустел, и на Васильевском острове, который тогда называли Преображенским, многие каменные дома были брошены неоконченными и стояли без крыш и потолков.

Заметим кстати, что название Васильевского острова произошло не от имени командира батареи острова Василия Корягина, как полагают многие, но еще гораздо ранее, а именно в

1640 году в писцовых новгородских книгах этот остров носил название Васильевского.

Несмотря на принятые затем строгие принудительные меры к заселению острова, дело это подвигалось туго, так как этот остров наиболее всех частей столицы страдал от наводнений.

Чтобы предотвратить эти наводнения, еще в первых годах, при основании Петербурга, архитекторы Петра Великого, Леблонд и Трезин, думали весь Васильевский остров поднять на 1 1/2 сажени. Сам Петр предполагал застраховать Васильевский остров от наводнений, перерыв его большими каналами, как в Венеции.

Затем, в описываемую уже нами эпоху при Александре I, архитектор Модьи представил свои предположения об устройстве города на Васильевском острове и Петербургской стороне; на этот проект государь сказал: «Проект ваш был проектом Петра Великого, он хотел сделать из Васильевского острова вторую Венецию, но, к несчастью, должен был прекратить работы, ибо те, коим поручено было исполнение его мысли, не поняли его: вместо каналов они сделали рвы, кои до сих пор существуют».

Такова печальная судьба этого острова.

В настоящее время, когда каждая пядь столичной земли ценится чуть ли не на вес золота и город растет не по дням, а по часам, опасность наводнений не останавливает обывателей и они воздвигают и на Васильевском острове многоэтажные громады.

Но мы слишком уклонились историческими справками от описываемого нами деревянного одноэтажного домика.

Возвратимся к нему.

Домик этот в 1805 году принадлежал отставному генерал-майору Федору Николаевичу Хомутову. Федор Николаевич был человек лет около семидесяти, хотя по виду казался старше своих лет. Не даром, видимо, ему досталась служебная ляжка, тянув которую из сдаточного рекрута он сумел дослужиться до высокого военного чина. Этот чин составлял его радость и гордость, и он требовал неукоснительно от всех величания себя «вашим превосходительством», бранясь и негодуя по целым дням и часам за неисполнение кем-нибудь этого акта чинопочитания.

Вторую его гордостью и радостью была его дочь Наталья Федоровна, которой шел семнадцатый год.

Два его старших сына уже служили офицерами в расположенных вдали от столицы полках.

Содержание их в гвардии было не по средствам не особенно богатой семье Хомутовых.

Семья эта, то есть члены ее, жившие в Петербурге, состояла из старика отца, упомянутого Федора Николаевича, его жены, женщины лет за пятьдесят, Дарьи Алексеевны, и дочери «Талечки», как сокращенно звали ее отец и мать.

В доме царило относительное довольство. Федор Николаевич, кроме довольно значительного для того времени пенсионного и скопленного во время долговременного командования полком изрядного капиталца, владел еще небольшим имением, с пятьюдесятью душами крестьян, в средней полосе России, полученным им в приданое за женой.

Не балуя служащих вдали сыновей большими субсидиями, он мог окружать себя относительным комфортом, и безумно, даже сверх меры, как замечали ему его старые друзья, баловать и лелеять свою, боготворимую им, Талечку.

— И какому заморскому принцу вы ее в жены готовите? — не без ядовитости спрашивали собравшиеся нередко у гостеприимных Хомутовых их знакомые, все больше такие же, как Дарья Алексеевна, отставные полковые дамы с мужьями, сослуживцами Федора Николаевича.

— И какому там принцу, что вы не скажете! Талечка у меня совсем еще ребенок и ей о замужестве помышлять рано, — отпарировала всегда Дарья Алексеевна.

— Какой там рано, девушка в самой что ни на есть поре, — не унимались дамы.

— Вы при ней-то этого не сморозьте, я-то ко всем вашим плоскостям привыкла, — раздражалась уже резко Дарья Алексеевна, не стеснявшаяся вообще ни в выражениях, ни в манерах, что было принято тогда в кругу полковых дам, которых она в этом отношении всех затыкала за пояс, за что от кавалеров заслужила прозвище «бой-барыни».

Кроме означенных трех лиц, в доме находилась девочка лет девяти — Лидочка, считавшаяся дальней родственницей Дарье Алексеевне Хомутовой, ею же самой выдаваемая сиротою-приемышем.

Эта странная неопределенность ее положения объяснялась романической таинственностью, окружавшею появление на свет этой в полном смысле красавицы-девочки.

Черные как смоль локоны окружали матовой белизны личико с правильными тонкими чертами, красиво разрезанные глубокие темно-коричневые глаза, полузакрытые длинными ресницами и украшенные правильными дугами соболиных бровей, довершали неотразимое очарование этой смуглянки.

Стройненькая, высокая, смышленная далеко не по летам, она явно носила на себе печать рано развивающихся детей Востока.

Этот-то восточный тип ребенка давал большую вероятность рассказам Дарьи Алексеевны, что он для нее совершенно чужой, но что любит она его как родного и никакой разницы между Талечкой и им не делает.

Многочисленные дворовые, находившиеся, по обычаю того времени, в людской, девичьей и передней, а также некоторые из близко и давно знавших семью Хомутовых утверждали иное.

Первые втихомолку, а вторые заочно и под секретом рассказывали, что Лидочка приходилась двоюродной внучкой Дарье Алексеевне, так как была незаконной дочерью ее племянницы Анны Павловны Суцевской, дочери старшей сестры Хомутовой, урожденной Хмыровой, Лидии.

Анна Павловна, оставшись после смерти ее отца и матери, совершенно разорившихся при жизни, круглой сиротою, была взята Дарьей Алексеевной, у которой прожила с тринадцати до двадцати лет, влюбилась в какого-то грузинского князя, который увез ее из дома тетки, обманул и вскоре бросил.

Больная, в последнем месяце беременности, она явилась к резкой и строгой на вид, но в душе доброй и всепрощающей Дарье Алексеевне и упала к ее ногам.

Последняя скрыла ее, по возможности, от взора посторонних, но несчастная девушка умерла в родах, и на руках Хомутовой осталась смуглянка-девочка, которую Дарья Алексеевна и объявила подкидышем.

Она сама была ее крестной матерью и сама, не досыпая ночей, выходила хилого и болезненного ребенка.

Такова была история «турчанки», как заочно звали Лидочку дворовые люди в доме Хомутовых.

Эти четверо лиц, не считая прислуги обоего полу, и были обитателями одноэтажного деревянного домика, окрашенного желто-коричневою краскою, на 6-й линии Васильевского острова.

VIII

ТАЛЕЧКА

Наталья Федоровна Хомутова была не только кумиром своего отца, но прямо центром, к которому, как радиусы, сходились симпатии всех домашних, начиная с главы дома и кончая последним дворовым мальчишкой, носившим громкое прозвище «казачка» или «грума».

Она была далеко не красавица, но ее симпатичное, свежестью молодости и здоровья блиставшее личико, окруженное густыми темно-каштановыми волосами, невольно останавливало на себе внимание своим чарующим выражением доброты и непорочности, и лишь маленькая складочка на лбу над немного вздернутым носиком, появлявшаяся в редкие минуты раздражения, указывала на сильный характер, на твердость духа в этом хрупком, миниатюрном тельце.

Талечка — таково, как мы знаем, было ее домашнее прозвище — была ростом ниже среднего, но грациозная и пропорционально сложенная, она казалась рано развившимся прелестным ребенком, чему еще более способствовал удивленно-наивный взгляд ее серых глаз.

Никто не дал бы ей восемнадцатого года, который шел ей в момент нашего рассказа.

С детства окружавшее ее непомерное баловство, исполнение, даже предупреждение всех ее малейших желаний, не развили в ней, что бывает лишь в единичных случаях, своеволия и каприза, не сделали из нее тиранки-барышни, типа балованной помещичьей дочки, в то время заурядного.

Напротив, окружающее ее довольство порождало в ней желание доставить его в большей или меньшей степени всем, не только зависимым от ней по своему положению людям, но и посторонним, так или иначе с ней сталкивавшимся. Она была защитницей за всех провинившихся перед строгим и взыскательным Федором Николаевичем, вынесшим из пройденной им суровой солдатской школы склонность к крутым мерам и жестоким наказаниям виноватого, что служило, по его мнению, лучшим средством сохранения домашней дисциплины. Она же была первая в ходатайстве перед матерью о помощи как своим, так и чужим людям, впавшим в ту или другую беду, в то или другое несчастье.

За это-то не только дворовые люди и крестьяне, но и все окольные бедняки звали ее не иначе, как «ненаглядной кралечкой», «ангелом-барышней» и в глаза и за глаза желали ей всех благ мира сего, да жениха — заморского принца и куль червонцев.

Дарья Алексеевна, впрочем, была права, парируя намеки своих приятельниц о замужестве дочери, говоря, что последняя еще совсем ребенок.

Талечка, на самом деле, и по наружности, и по внутреннему своему мировоззрению была им. Радостно смотрела она на мир Божий, с любовью относилась к окружающим ее людям, боготворила отца и мать, нежно была привязана к Лидочке, но вне этих трех последних лиц,

среди знакомых молодых людей, посещавших, хотя и не в большом количестве, их дом, не находилось еще никого, кто бы заставил не так ровно заботиться ее полное общей любви ко всему человечеству сердце.

Выросшая среди походной жизни родителей, почти без подруг, она и этим обыкновенным для других способом не могла узнать многое из того, что делает в наше время, даже часто преждевременно, из ребенка женщину.

В ней не было поэтому даже намека на малейшее кокетство, но это его полное отсутствие делало ее еще более очаровательной.

Воспитание Наталья Федоровна получила чисто домашнее: русской грамоте и закону Божьему, состоявшему в чтении Евангелии и изучении молитв, обучала ее мать, а прочим наукам и французскому языку, которого не знала Дарья Алексеевна, нанятая богобоязненная старушка-француженка Леонтина Робертовна Дюран, которую все в доме в лицо звали мамзель, а заочно Левонтьевной.

Леонтина Робертовна, сама не особенно сведущая в разных науках, добросовестно, однако, передавала своей ученице, к которой она привязалась всем своим пылким стародевственным сердцем, скудный запас своих знаний, научила ее практике французского языка и давала для чтения книги из своей маленькой библиотеки.

Из этих книг молодая девушка не могла почерпнуть ни малейшего знания жизни, не могла она почерпнуть их и из бесед со своей воспитательницей, идеалисткой чистейшей воды, а лишь вынесла несомненную склонность к мистицизму, идею о сладости героических самопожертвований, так как любимыми героинями m-lle Дюран были, с одной стороны, Иоанна Д'Арк, а с другой — героиня современных событий во Франции, «святая мученица» — как называла ее Леонтина Робертовна — Шарлотта Корде.

Девять лет прожила старушка в семье Хомутовых и умерла, когда ее воспитаннице минуло семнадцать лет, подарив ей перед смертью свою библиотеку, кольцо из волос Шарлотты Корде, присланное покойной из Парижа ее двоюродным внуком, также погибшим или пропавшим без вести во время первой революции, что служило неистощимой темой для разговоров между ученицей и воспитательницей, причем последняя описывала своего «brave petit fils» яркими красками безграничной любви.

Смерть Леонтины Робертовны была первым жизненным горем Талечки, она любила ее почти наравне с родною матерью, и эта утрата горьким диссонансом отозвалась в ее доселе безмятежной душе.

С кольцом из волос Шарлотты Корде — в подлинности последних она, как и покойная, ни на минуту не сомневалась — Талечка дала клятву не расставаться всю свою жизнь.

Своею смертью старушка укрепила и освятила переданные ею своей ученице идеи и воззрения — в память m-lle Leontine Наталья Федоровна читала и перечитывала завещанную ей библиотеку; в память ее же она в своих мечтах о будущем видела себя то благодетельницей, то монашенкой, то мученицей.

Такова была Талечка в момент, когда застает ее наш правдивый рассказ.

Жизнь ее протекала в родительском доме с поражающим однообразием: сегодня было совершенно похоже на завтра, и ни один день не вносил ничего нового в сумму пережитых впечатлений.

Круг знакомых хотя и был довольно большой, но состоял преимущественно из подруг ее матери — старушек и из сослуживцев ее отца — отставных военных. У тех и других были

свои специальные интересы, свои специальные разговоры, которыми не интересовалась и которых даже не понимала молодая девушка.

Два лица, вносившие относительную жизнь в это отжившее царство, были — Екатерина Петровна Бахметьева, сверстница Талочки по годам, дочь покойного друга ее отца и приятельницы матери — бодрой старушки, почти молившейся на свою единственную дочурку, на свою Катиш, как называла ее Мавра Сергеевна Бахметьева, и знакомый нам, хотя только по имени, молодой гвардеец — Николай Павлович Зарудин, с отцом которого, бывшим губернатором одной из ближайших к Петербургской губернии местностей, Федор Николаевич Хомутов был в приятельских отношениях.

Старик Павел Кириллович Зарудин любил в Хомутове прямизну и правдивость, и редко выезжая из дому, вследствие болезни и сильно отразившихся на нем первых служебных неприятностей, неукоснительно раз в неделю присылал сына на Васильевский остров, чтобы потом подробно расспросить его о здоровье, о житье-бытье его друга.

IX

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЗАРУДИН

Только первое время Николай Павлович отбывал свой визит к Хомутовым единственно по воле своего родителя, впоследствии же к этому присоединилось и собственное влечение — он стал засиживаться в коричневом домике Васильевского острова долее необходимого времени, чтобы изготовить своему отцу словесный рапорт о благоденствии его обитателей, и подолгу стал засматриваться на симпатичное личико Натальи Федоровны, этого полуробенка-полудевушки.

Сначала дичившаяся его, Талочка с течением времени привыкла к нему, стала разговорчивее и откровеннее, но в ее детских глазках он никогда не мог прочесть ни малейшего смущения даже в ответ на бросаемые им порой страстные, красноречивые взгляды — ясно было, что ему ни на мгновение не удалось нарушить сердечный покой молодой девушки, не удалось произвести ни малейшей зыби на зеркальной поверхности ее души.

Это обстоятельство привлекало его к ней с еще большею силою, но вместе с тем сделало его крайне сдержанным и осторожным: он как бы стал бояться не только словами, но даже взглядом святотатственно проникнуть в святая святых этой непорочной чистой девушки, казавшейся ему не от мира сего.

Он стал, казалось, скорее молиться на нее, нежели любить ее.

Такое платоническое поклонение горячо любимому существу было далеко не в нравах военной молодежи того времени.

В блестящее царствование Екатерины II, лично переписывавшейся с Вольтером, влияние французских энциклопедистов быстро отразилось на интеллигентной части русского общества и разрасталось под животворным покровительством с высоты трона; непродолжительное царствование Павла I, несмотря на строгие, почти жестокие меры, не могло вырвать с корнем «вольного духа», как выражались современники; с воцарением же Александра I — этого достойного внука своей великой бабки, — этот корень дал новые и многочисленные ростки.

Пример Франции, доведенной этим учением ее энциклопедистов до кровавой революции,

был грозным кошмаром и для русского общества, и хотя государь Александр Павлович, мягкий по натуре, не мог, конечно, продолжать внутренней железной политики своего отца, но все-таки и в его царствовании были приняты некоторые меры, едва ли, впрочем, лично в нем нашедшие свою инициативу, для отвлечения молодых умов, по крайней мере, среди военных, от опасных учений и идей, названных даже великою Екатериной в конце ее царствования «энциклопедическою заразою».

Военное начальство стало искоренять всякое вольнодумство, представляя одновременно широкий простор правам молодости, чуть не поощряя всякие буйства, разнузданности, соблазны и скандалы.

— Пускай молодежь тешится всякой чертовщиной, лишь бы бросила «вольтеровщину», — таковы были слова, приписываемые одному крупному начальствующему лицу того времени.

Поблажка всяким шалостям произвела моду на эти шалости. И скоро это поветрие дошло до того, что самый скромный, добродушный корнет или прапорщик, еще только свежеиспеченный офицер, как бы обязывался новой модой — отличиться, принять крещение или «пройти экватор», как выражались старшие товарищи.

«Пройти экватор» — значило совершить скандал по мере сил и умения, как Бог на душу положит. Вскоре, разумеется, явились и виртуозы по этой части, имена которых гремели на всю столицу, стоустая молва переносила их в захолустья, и слава о подвигах героев расходилась по весям^[1] и городам российским.

От военных старались не отставать и статские, и эта буйная «золотая молодежь» того времени, эти тогдашние «шуты» и «саврасы без узды» носили название «питерских блазней».

К числу последних с немногими из своих товарищей не принадлежал Николай Павлович Зарудин.

Выйдя из Пажеского корпуса 18 лет, он сделался модным гвардейским офицером, каких было много. Он отлично говорил по-французски, ловко танцевал, знал некоторые сочинения Вольтера и Руссо, но кутежи были у него на заднем плане, а на первом стояли «права человека», великие столпы мира — «свобода, равенство и братство», «божественность природы» и, наконец, целые тирады из пресловутого «Эмиля» Руссо, забытого во Франции, но вошедшего в моду на берегах Невы.

Начальство косилось на примерного по службе, на «размышляющего» офицера, но поделаться ничего не могло — Николай Павлович был принят в дом и даже считался фаворитом Марьи Антоновны Нарышкиной.

Как ни были страшны начальству республиканские идеи молодого офицера, они были настолько наивны и невинны, что вполне сходились с идеями Талочки, ученицы старушки Дюран, роялистки чистейшей пробы.

Это еще более сблизило молодых людей.

За последнее время Николай Павлович стал кататься на Васильевский остров гораздо чаще — раза два, три каждую неделю.

Целые вечера проводил он в беседах с Натальей Федоровной, и предметами этих бесед были большею частью интересующие их обоих отвлеченные темы.

Федор Николаевич, по обыкновению, дремал в кресле под их «переливание из пустого в порожнее», как называл он разговоры молодого офицера с его дочерью. Лидочка в одном из

уголков довольно обширной гостиной, полуосвещенной четырьмя восковыми свечами, сосредоточенно играла в куклы, находясь обыкновенно к вечеру в таком состоянии, о котором домашние говорили «на нашу вертушку тихий стих нашел», и лишь одна Катя Бахметьева, за последнее время чуть не ежедневно посещавшая Талечку, глядела на разговаривающих во все свои прекрасные темно-синие глаза.

Все ее прелестное, нежное личико, обрамленное, как бы сиянием, светло-золотистыми волосами, красноречиво говорило, что ее интересует собственно не содержание, а самый процесс разговора, да и в последнем случае только со стороны красивого гвардейца. Она наивно не спускала глаз с его стройной фигуры, с его выразительного матово-бледного лица, оттененного небольшими, но красивыми и выхоленными черными усиками и слегка вьющимися блестящими волосами на голове, с его, как бы выточенного из слоновой кости, лба и сверкающих из-под как будто вырисованных густых бровей больших, умных карих глаз.

Если бы все внимание Николая Павловича не было сосредоточено исключительно на его собеседнице, то он несомненно обратил бы внимание на восторженное, оживленное, казалось, беспричинной радостью лицо молодой девушки и, быть может, сразу бы разгадал тайну ее чересчур откровенного сердца.

Но Зарудину было не до того — он молился одному кумиру, и этот кумир была Наталья Федоровна Хомутова.

Х

ОТЕЦ И МАТЬ

Исключительное внимание молодого гвардейца к их дочери не ускользнуло от стариков Хомутовых, или, вернее сказать, от зоркого глаза Дарьи Алексеевны, как не ускользнуло от нее и поведение относительно Зарудина молодой Бахметьевой.

— Влюбилась девка, как кошка, так на него свои глазища и пялит, а он на нее, сердечную, нуль внимания, нашу так и ест глазами, — сообщала она свои соображения Федору Николаевичу.

— И я заприметил, — счел долгом поддержать в жене мнение и о своей прозорливости старик. — А Талечка, как и что? — после некоторой паузы с тревогой в голосе спросил он, не соображая, что этим вопросом разрушал в уме жены впечатление того, что и он что-нибудь заприметил.

— Наша-то? Да разве наша в этих делах что-нибудь смыслит? Ребенок ведь сущий, хотя и восемнадцатый год, пора, когда наши матери по трое детей имели, глядит ему в рот, что он скажет, и сама сейчас словами засыплет, а чтобы на нежные взгляды его внимание обратить или улыбочкой ответить... с нее это и не спрашивай... — с оттенком горечи заметила Дарья Алексеевна.

— Что это, мать, ты как будто недовольна, что дочь на шею мужчине не вешается? Ей и не след, не чета она у нас Бахметьевской... — строго заметил Федор Николаевич.

— Уж и ты, отец, скажешь, ровно топором отрубишь: «на шею мужчине не вешается». Иное дело вешаться, а иное дело некоторое сочувствие молодому мужчине выказать, ежели он нравится. Чай и я тебя взяла глазами и пронзительной улыбкой.

— Ишь, старуха, старину вспомнила, — улыбнулся Федор Николаевич.

— Да к тому и вспомнила, что не нами это началось, не нами и кончится... Молодежь-то, что мы, что они — все та же.

— Ну, это тоже надвое написано: та же ли? — задумчиво вставил Хомутов.

— Это ты насчет чтений ихних, так это оставь, чтения чтениями, а по любовным делам, как это от века велось, так с концом века и кончится, — авторитетно заметила Дарья Алексеевна.

Хомутов снова улыбнулся.

— А может, он ей и не нравится?

— Вот то-то и оно... Этого-то мне допытаться и хочется, а как приступиться, ума не приложу. С Талечкой говорить без толку не приходится, а, между тем, лучшей для ней партии и желать нечего — человек он хороший, к старшим почтительный, не то что все остальные петербургские блазни, кажись бы в старых девках дочь свою сгноила, чем их на ружейный выстрел к ней подпустила бы. К тому же и рода он хорошего, а со стариком вы приятели.

— Приятели, — перебил он жену, — а действуем-то мы с тобой относительно его не по-приятельски...

Дарья Алексеевна вскинула на него удивленный взгляд.

— Как так?

— Да так, сына его на нашей дочери женить собираемся, а о том, чтобы спросить его согласия и не додумались, а может, сынок-то и без родительского ведома к нам зачастил, может, у Павла Кирилловича ему невеста на примете есть.

— И что ты! — испугалась Дарья Алексеевна. — Он сам мне не раз говорил, что о каждом визите к нам отцу докладывает, да и Талечке всегда от отца поклон приносит...

— Это, мать, может языкочесание, знаю я тоже молодежь, сам молод был, — задумчиво произнес Хомутов.

— Что же ты надумал?

— Что же тут и надумывать, съездить надо к его превосходительству, да все напрямик и отрапортовать, так и так, дескать, сынка вашего моя дочка, видимо, за сердце схватила, так какие будут по этому поводу со стороны вашего превосходительства распоряжения, в атаку ли ему идти дозволите, или отступление прикажете протрубить, али же какую другую ему диверсию назначите... — шутливо произнес Хомутов.

Дарья Алексеевна поняла, несмотря на шутливый тон мужа, что он высказал свое бесповоротное решение, поняла также, что перспектива свадьбы ее дочери с молодым Зарудиным была далеко не благоприятна Федору Николаевичу.

— А как же насчет Бахметьевской, отвадить как-нибудь по-деликатному или матери сказать? — после некоторого молчания, с расстановкой, как бы робея, спросила она.

— И вечно ты, мать, с экивоками и разными придворными штуками, — с раздражением в голосе отвечал он. — Знаешь ведь, что не люблю я этого, не первый год живем. «Отвадить по-деликатному или матери сказать», — передразнил он жену. — Ни то, ни другое, потому что все это будет иметь вид, что мы боимся, как бы дочернего жениха из рук не выпустить, ловлей его пахнет, а это куда не хорошо... Так-то, мать, ты это и сообрази... Катя-то у нас?

— У нас, — недовольным голосом сказала Дарья Алексеевна.

— Ну и пусть ходит, Талечка ее любит, и ей с ней все веселее, чем одной-то с книгами... Еще ум за разум зайдет, не в час будет сказано... А теперь, старуха, пойдём чай пить!.. — уже более ласково сказал он.

Разговор происходил вечером, в кабинете Федора Николаевича. Зарудин был накануне, а потому его не ожидали.

XI

ПРИЗНАНИЕ

В то самое время, когда между стариками Хомутовыми шла выше описанная беседа, другие сцены, отчасти, впрочем, имеющие связь с разговором в кабинете, происходили в спальне Талечки.

Спальня эта была довольно большой комнатой, помещавшейся в глубине дома, недалеко от спальни отца и матери, с двумя окнами, выходившими в сад, завешанными белыми шторами. Сальная свеча, стоявшая на комодке, полуосвещала ее, оставляя темными углы. Обставлена она была массивною мебелью в белоснежных чехлах, такая же белоснежная кровать стояла у одной из стен, небольшой письменный стол и этажерка с книгами и разными безделушками — подарками баловника-отца, довершали ее убранство.

Талечка и Катя Бахметьева находились в одном из неосвещенных углов этой комнаты в странно необычной позе: Талечка сидела на стуле, склонившись над своей подругой, стоявшей на коленях, прятавшей свое лицо в коленях Талечки, и горько, беззвучно рыдавшей.

— Катя, Катечка... что с тобой? — недоумевающе удивленным тоном, тоже со слезами в голосе, говорила последняя.

Та продолжала неудержимое всхлипывать.

«И с чего это с ней так вдруг? — пронеслось в голове Натальи Федоровны. — Ходили мы с ней обнявшись по комнате, о том, о сем разговаривали, заговорили о Николае Павловиче, сказала я, что он, по-моему, умный человек, и вдруг... схватила она меня за плечи, усадила на стул, упала предо мною на колени и ни с того, ни с сего зарыдала...»

— Катя, Катечка, что ты, что с тобой? — повторяла она, еще ниже наклоняясь к рыдавшей подруге. — Да скажи же хоть слово...

— Ты... тоже... любишь его... — всхлипывая прошептала Катя.

— Любишь... тоже... кого? — удивилась Талечка.

— Любишь... Я вижу, что любишь... и он тебя... а я, я несчастная... конечно, ты лучше меня, но за что же мне-то... погибать?

Наталья Федоровна не понимала ничего из этого бессвязного бреда плачущей подруги.

— Кого я люблю?.. Кто он? Да скажи толком... Ничего не понимаю! — с отчаянием в голосе почти крикнула Талечка.

— Не понимаешь... притворщица... не ожидала я от тебя этого...

В голосе Кати прозвучала неподдельная нотка сердечной горечи.

— Клянусь тебе, что я нимало не притворялась, говоря тебе, что ничего не понимаю и о ком ты речь ведешь, не могу догадаться.

— Да о ком же... как не о нем... о Николае... Павловиче... — с видимым усилием проговорила Екатерина Петровна.

— О Николае... Павловиче... — с расстановкой проговорила Талечка.

— Да, о нем, — вдруг подняла голову Катя и еще полными слез глазами в упор посмотрела на нее. — Ведь... ты... тоже... любишь его... — добавила она глухим голосом.

Наталья Федоровна продолжала удивленно смотреть на нее.

— Я... я... не знаю...

— Чего же тут не знать, любишь или не любишь...

— Я не знаю, я не понимаю, как любишь ты... Садись и расскажи мне.

Наталья Федоровна подняла свою подругу и усадила ее на стул возле себя.

Та послушно повиновалась, но молчала.

— Так расскажи же... — повторила Талечка.

— А ты... ты не притворяешься? — снова спросила молодая девушка, и слезы вновь градом посыпались из ее глаз.

— Да говорят же тебе нет... Поклялась ведь я тебе... Какая ты... нехорошая.

Катя потупилась и начала, вытерев глазки:

— Так слушай же, — Екатерина Петровна склонила свою голову на плечо Талечки, — полюбила я его с первого раза, как увидела, точно сердце оборвалось тогда у меня, и с тех пор вот уже три месяца покоя ни днем, ни ночью не имею, без него с тоски умираю, увижу его, глаза отвести не могу, а взглянет он — рада сквозь землю провалиться, да не часто он на меня и взглядывает...

На ее лице появилось выражение безысходного горя.

Талечка слушала ее с прежним удивленно-вопросительным взглядом своих чудных, детских глаз. Действительно, Катя заметно за последнее время осунулась и побледнела, чего Наталья Федоровна, видя свою подругу чуть ли не каждый день, прежде и не заметила.

— Бедная, бедная... вот она любовь... — мелькнуло в ее голове.

— Сама знаю я, что выдаю себя, неотступно глядя на него, и совестно мне, а не могу пересилить себя... совсем не знаю, что и делать мне с собою?..

Она остановилась и вопросительно посмотрела на Талечку. Та растерянно смотрела на нее.

— Я уж и сама не знаю, как тут быть... — убитым голосом пролепетала она.

— Не знаешь... вот и ты не знаешь... а может, ты и не хочешь знать, ведь он... он любит...

тебя, — с трудом, низко опустив на грудь Талочки свою голову, пролепетала Катя.

— Он?.. Меня?.. — даже отстранилась от нее Наталья Федоровна.

— Точно сама ты до сих пор не знала этого... — подозрительно взглянула на нее Екатерина Петровна.

— Конечно, не знала... А ты? Ты с чего это выдумала?..

— Какой там выдумала, только слепой не заметит, как он глядит на тебя.

— Я тоже не заметила...

— Будто?

— Ей-Богу!

— Так успокойся и поверь мне: любит он тебя, любит! — с горечью почти вскрикнула Катя.

— Чего же мне-то успокаиваться?.. Мне все равно, — произнесла Талочка.

— Как все равно? Все равно, любит ли он? — с недоумением уставилась на нее Бахметьева.

— Ну да, все равно...

Тон голоса Натальи Федоровны был настолько спокоен и искренен, что Екатерина Петровна вдруг замолчала и пристально стала смотреть на нее.

— Ты и впрямь не любишь его? — робко заметила она после довольно продолжительной паузы.

— Впрямь, — улыбнулась Талочка. — Так как ты его любишь, я не люблю его. И если то, что ты чувствуешь к нему — любовь...

Она остановилась.

— Конечно же любовь! — вставила Катя.

— Тогда я не чувствую к нему... любви... Клянусь тебе!.. Мне приятно видеть его, говорить с ним, я привыкла к нему, не дичусь его, но вот... и все...

— Милая, хорошая моя... как я рада! — порывисто бросилась Бахметьева обнимать подругу.

— Чему же ты... рада?

— Как же! Ведь я было сердиться на тебя стала... минутами почти ненавидела тебя... Думала, ты тоже любишь его, думала — ты моя... соперница... Прости меня, прости...

Катя снова ударилась в слезы.

— Полно, не плачь... какая ты смешная... и глупенькая... — с нежностью обняла в свою очередь подругу Талочка.

Та продолжала тихо плакать.

— Лучше подумаем, как бы твоему горю помочь, — после некоторого раздумья произнесла Наталья Федоровна.

— Как ему помочь? Помочь нельзя... он меня не любит...

— А может, и полюбит, как узнает, что ты его любишь так...

— От кого же ему узнать это? — с испугом спросила Катя.

— От меня...

— От тебя? Что ты, что ты... Ты хочешь сказать ему...

— Конечно, уж положись на меня, я сумею поговорить с ним... Не быть же мне безучастной к твоему горю... ведь я, чай, друг тебе...

— Друг, друг, — бросилась снова Катя обнимать Талечку.

— А если друг... то должна...

— Нет, нет... не делай этого... мне страшно...

Наталья Федоровна хотела что-то ответить, но в ее комнату вошла Дарья Алексеевна и позвала молодых девушек пить чай.

Катя за столом сидела положительно как на иголках, она с нетерпением ожидала окончания чаепития, чтобы снова удалиться с Талечкой в ее комнату, но это, по-видимому, не входило совершенно в планы последней и она, к величайшему огорчению Кати, отказавшейся после второй выпитой ею чашки, пила их несколько, и пила, что называется, с прохладцем, не замечая, нечаянно или умышленно, бросаемых на нее подругой красноречивых взглядов.

Вошедший казачок доложил, что прислали за барышней Екатериной Петровной, и та, бросив последний умоляющий взгляд на Наталью Федоровну, стала прощаться.

— Завтра не приходи, а послезавтра я буду у тебя, — успела шепнуть ей последняя, провожая в переднюю.

Катя бросила на нее полунедоумевающий, полуподозрительный взгляд.

— Ради Бога, не делай... — начала было она, но Талечка остановила ее, нежно сказав:

— Так надо!

Подруги расстались.

XII

БЕЗ ПОДРУГИ

Не дешево досталось Наталье Федоровне ее наружное спокойствие во время чая.

По уходе подруги она поспешила проститься с отцом и матерью и ушла в свою комнату.

На ее уход не было со стороны родителей обращено особенного внимания, так как был уже десятый час вечера, в доме же ложились рано.

Скоро и остальные обитатели коричневого домика отошли на покой и заснули сном праведных.

Не спала эту ночь одна Талечка.

Разговор с Бахметьевой не на шутку взволновал ее, хотя она постаралась не показать ей этого, что ей, как мы видели, и удалось совершенно.

Талечка боялась, чтобы ее волнение не было истолковано подругой в смысле, могущем усилить ее сердечную боль.

Наталья Федоровна сама не понимала причину охватившего ее волнения, которое, когда она осталась одна, разделась и бросилась в постель, стараясь уснуть, не только не уменьшалось, но все более и более росло, угрожая принять прямо болезненные размеры. Голова ее горела, кровь прилиwała к сердцу, и мысли одна несуразнее другой проносились в ее, казалось ей, клопочущем мозгу.

Она была близка к бреду.

«Что такое? Что со мной делается?» — мысленно задавала она себе вопросы, но вопросы эти оставались открытыми.

Казалось, совершенно незнакомые ей доселе ощущения грозной волной окружали ее, она старалась отогнать их, но они вновь бросались на нее нравственным шквалом.

«Катя любит его... худеет, страдает, так вот что значит эта любовь... грешная, земная!.. Небесная любовь к человечеству, любовь, ведущая к самоотречению, не имеет своим следствием страдания, она, напротив, ведет к блаженству, она сама — блаженство! А он? Он, она говорит, не любит ее... он любит меня... она уверяет, что это правда... А я?»

Довольно уклончиво ответив на этот вопрос Бахметьевой, Талечка сама себе ответить решительно не могла.

Это доставляло ей необычайное страдание.

«Я солгала, я солгала Кате, сказав, что не люблю его, — в ужасе вскакивала она с постели. — Я... я... тоже люблю... Теперь я понимаю это! Она, она сама растолковала мне... Но он? Он — Катя преувеличивает — он не думает любить меня...»

Она начинала припоминать во всех мельчайших подробностях его слова, его взгляды, и все, что до сих пор оставалось ею незамеченным, непонятым, становилось для нее совершенно ясным, било в глаза своею рельефностью. Она перешла к анализу своего собственного отношения к Николаю Павловичу: она с некоторых пор с особенным удовольствием стала встречать его, дни, когда он не приходил, казались ей как-то длиннее, скучнее, однообразнее, ей нравился его мягкий, звучный голос, она с особым вниманием прислушивалась к чтению им ею уже несколько раз прочитанных книг, к рассказам из его жизни, из его службы, — все, что касалось его, живо интересовало ее.

С ужасом она мысленно говорила себе: «Да, я люблю его и он... он тоже любит меня!»

Последняя уверенность в особенности казалась ей роковой: отказаться от любви неразделенной она еще чувствовала в себе силы, но если эта любовь пламенно разделяется... Что тогда? Искус становился громадным, почти неодолимым. Но, быть может, Катя и я ошибаемся? Дай Бог, чтобы мы ошибались!

Она мысленно снова шаг за шагом во всех деталях стала припоминать его взгляды, слова, даже жесты, и порой ей казалось, что все это весьма обыкновенно, ничего не доказывает, порой же во всем этом она видела ясно и непреложно его любовь к ней.

— Это пустяки, ничего не значит! — восклицала она, и тотчас это восклицание сменялось другим: — Нет, он любит, это несомненно, Катя права, тысячу раз права!

Ей было больно, невыносимо больно от этой уверенности, но вместе с тем эту боль она не променяла бы на исцеление, если бы последним было ясное доказательство равнодушия к ней Зарудина.

Она не хотела, она боялась самой себе сознаться в этом, но это было так.

Поняв, так внезапно поняв то чувство любви к одному человеку, к постороннему мужчине, то греховное чувство, то главное звено цепи, приковывающей к дьяволу, как называла это чувство старушка Дюран, Талечка — странное дело — первый раз в жизни не согласилась с покойной.

В эту нервную бессонную ночь в беседе со своим собственным сердцем она додумалась до совершенно иного.

«Конечно, — думала она, — любить как Катя, до самозабвения, до отчаяния — грех, это значит „творить себе кумира“. Это значит, своему личному, себялюбивому чувству приносить в жертву любовь к человечеству, это значит забыть обо всех, кроме своего собственного „я“ и его — этого другого „я“. Я была права, сказав ей, что так как она я не люблю его! Но любить человека, не забывая о своих обязанностях к ближним, идти с ним рука об руку по тернистому пути, принося пользу окружающим, пожертвовать собою и даже им для общего дела — что может быть чище этой любви? Что может быть выше этой жертвы? Такая любовь не преступление, такая любовь и освящается христианским таинством брака. „Тайна сия велика есть, я же глаголю во Христа и во церковь“, — припомнились ей слова апостола. — Значит, такая любовь не противоречит идеи церкви, то есть обществу верующих, готовых положить жизнь свою друг за друга».

Талечка почувствовала, что так она может любить, что именно так она любит Николая Павловича.

А между тем, ей предстоит отказаться от этой любви. Она не смеет, она не должна любить его. Его любит другая, и эта другая — ее подруга, которой она же обещала помочь. Она обязана говорить с ним и говорить не за себя, а за другую, за Катю...

Наталья Федоровна вспомнила тот недоверчивый, подозрительный взгляд, который бросила на нее последняя при прощании.

«Она не поверила мне, несмотря на то, что я поклялась ей, она чутьем ранее меня догадалась о чувстве, которого я сама еще не сознавала, на сознание о котором она же натолкнула меня... Хорошо еще, что это пришло позднее, иначе я не дала бы клятвы и еще больше укрепила бы в ней подозрение, которое еще сильнее заставило бы ее страдать. Бедная, бедная Катя, она доверилась мне, как другу, инстинктивно подозревая и боясь встретить соперницу, да еще соперницу счастливую, как уверяет она, и на самом деле встретила... Я не стану на ее дороге, я не буду ее соперницей, хотя бы мне пришлось принести в жертву свою и даже его жизнь».

«Счастливая соперница, — пронеслось в ее голове. — Его жизнь... Что если Катя не ошибается и он меня... любит. Дай Бог, чтобы она ошибалась!»

«Но если и да... если и любит... Пусть! Я не смею и не должна любить его, его любит другая, его любит Катя...»

«Завидная участь, вместо одной несчастной, будет трое, — продолжал смущать ее бес — в том, что это бес, Талечка не сомневалась. — За что ты разобьешь его жизнь?»

— Я должна, должна... — вслух вскрикнула Талечка, вскочила с постели и бросилась на колени перед образом.

В этом крике, вырвавшемся, видимо, против ее воли, слышалась нестерпимая душевная боль.

Наталья Федоровна почувствовала близкую победу над ней «смутителя беса» и в горячей молитве думала сыскать в себе силу и подкрепление в этой неравной борьбе.

Она и не ошиблась.

Кроткий лик Богоматери, освещенный полусветом лампы, отражавшемся в ковanej серебряной ризе, глядел из угла комнаты на молящуюся девушку.

Из глубоких, как тихое море, очей непорочной и присно-блаженной Девы, казалось, изливалось такое же море благодати и небесного спокойствия.

Это спокойствие сообщилось коленапреклоненной Талечке, и она, после короткой, но искренней молитвы, хотя и со слезами на глазах, но с каким-то миром в душе вернулась на свою кровать.

«Будь, что будет, — решила она, — чего я так волновалась, еще ничего не зная, быть может, он и не думает обо мне, может быть, все это только представилось ревнивой Кате, а я глупо поверила ей и вообразила себе Бог знает что... Мне завтра надо будет улучшить свободную минуту и переговорить с ним... Любит ли он меня или нет, я должна помочь Кате в ее беде, я обещала ей и сделаю, я выскажу ему, что заставлять страдать ее, такую хорошую, добрую — грех, что он может убить ее своим невниманием, быть может, умышленным; я читала, что мужчины практикуют такого рода кокетство, он должен узнать ее, понять ее и тогда он оценит и ее, и ее чувство к нему...»

«А если он не в силах будет отказаться от любви к тебе?» — вновь ворвалась в ее голову жгучая мысль.

Она вздрогнула, но осилила себя.

«Он должен отказаться от этой любви, ведь я же отказываюсь от своей, чтобы спасти Катю. Он тоже должен спасти ее, хотя бы во имя любви ко... мне».

Она заставляла себя так думать, потому что надеялась, что и она, и Катя ошибаются в этой предполагаемой его любви к ней, к Талечке.

Над всеми этими благоразумными, самоотверженными мыслями господствовала, таким образом, иная мысль и эта мысль была: «Дай Бог, чтобы мы ошибались!»

Она стала думать, как будет она счастлива, когда после разговора с ним сообщит Кате, что он далеко не равнодушен к ней, что он только не знал ее чувств к нему, а потому и свои чувства скрывал, боясь оскорбить ее их малейшим проявлением, что к ней, к Талечке, он ничего не чувствует, кроме дружбы, братской привязанности, что избранница его — Катя, которую он готов хоть завтра вести к алтарю и назвать своею перед Богом и людьми.

«Какое это будет для нее счастье, как горячо она будет благодарить меня, она совсем переродится и опять будет прежняя веселая хохотушка, с глубокими ямочками на ярко-розовых, пухленьких щечках!»

Апрельское утро уже врывалось в завешанные окна комнаты Талечки, и лучи солнца пробивались в края штор, освещая забывшуюся с этими мыслями тревожным сном молодую девушку...

Павел Кириллович Зарудин, бывший незадолго перед тем последовательно губернатором двух губерний, был в описываемое нами время, что называется, не у дел.

Это был высокий, худощавый старик, с гладко выбритым выразительным лицом и начесанными на виски редкими седыми волосами. Только взгляд его узко разрезанных глаз производил неприятное впечатление своею тусклостью и неопределенностью выражения. Если справедливо, что глаза есть зеркало души, то в глазах Павла Кирилловича ее не было видно. Вообще это был человек, который даже для близких к нему людей, не исключая и его единственного сына, всегда оставался загадкой.

Последний, живой портрет своей покойной матери, не имел с ним ни малейшего сходства, кроме разве роста и осанки. В его красивом и открытом лице матовой белизны, с большими умными карими глазами, тонким, совершенно правильным носом никто бы не нашел ни единой родственной черты с лицом старика-отца.

В молодости, кроме того, Павел Кириллович был сильный брюнет, Николай же Павлович, как и его мать, — темный шатен.

За последнее время старик Зарудин, хотя все еще держался молодцом, сравнительно, осунулся и одряхлел: вынесенные им служебные неприятности, неожиданная отставка, наложили свою печать на этого привыкшего к власти человека.

Любимым «коньком» его разговора была именно эта отставка, это нахождение его «не у дел».

Все посещавшие его близкие приятели, просто знакомые и даже люди, видевшие его раз или два, непременно знали происшедший с ним «казус», как он называл испытанную им роковую для его дальнейшей карьеры служебную неприятность.

Причиной всех причин был, по его мнению, граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Старик доказывал это с пеной у рта и с неопровержимыми, как ему, по крайней мере, казалось, документами в руках.

— Доконал меня этот бес, лести преданный, — начинал он обыкновенно свой рассказ, повторяя искажение девиза графа Аракчеева: «без лести преданный», — девиза, прибавленного самим императором Павлом Петровичем, в представленном ему проекте герба возведенного им в редкое в России баронское достоинство Аракчеева. Это искажение было придумано неизвестным остряком и переходило из уст в уста среди врагов Аракчеева.

Таких врагов было немало.

Все знакомые Павла Кирилловича принадлежали к ним.

Далее из рассказа старика Зарудина оказывалось, что в районе той губернии, где он начальствовал за последнее время, находилось имение графа Аракчеева. Земская полиция приходила часто в столкновение с сельскими властями, поставленными самим графом и отличавшимися, по словам Павла Кирилловича, необычайным своеволием, так как при заступничестве своего сильного барина они рассчитывали на полную безнаказанность. Некоторые из столкновений дошли до сведения графа и последний написал к Зарудину письмо.

С этими словами Павел Кириллович обыкновенно отправлялся в свою шифоньерку красного дерева, стоявшую в углу его кабинета, и доставал из нее прошнурованную и за печатью тетрадь, заключающую в себе письма к нему графа Аракчеева и копии с ответов последнему. На обложке тетради крупным старческим почерком было написано: «Правда о моей отставке».

Зарудин начинал читать эти письма. В первом письме граф Алексей Андреевич писал следующее:

«Ваше превосходительство, Павел Кириллович!

Я полагаю, что неприятности по делам моего имения происходят оттого, что мы имеем с вами сношение через посредников, и потому, во избежание сего, я прошу ваше превосходительство, во всех делах касательно до села моего, относиться прямо ко мне, а я уже со своей стороны буду брать свои меры. Почему я и предписал моему бурмистру ожидать моих приказаний и не обращать внимания на требование земской полиции. Надеюсь, что ваше превосходительство не откажет мне в сем одолжении».

— Как вам это нравится? — задавал Зарудин обыкновенно вопрос своему собеседнику после прочтения этого письма и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну уж и ответил я ему — чай, глаза у него перекошило, как читал он мое письмо. Слушайте! Павел Кириллович начинал читать свой резкий ответ: «В губернии моей до 500 помещиков, и ежели я исполню желание вашего сиятельства и войду с вами в особую переписку по делам вашего имения, то я не вправе буду отказать в оном последнему из дворян и не буду иметь времени на управление губернией. А потому прошу ваше сиятельство переменить распоряжение ваше и предписать бурмистру вашему исполнять строго все предписания земской полиции, ибо, в противном случае, я буду вынужден потребовать его в город и публично наказать плетью».

— Не утерпел я, сударь мой, получив от графа письмо и послав ответ, не рассказать о сем в собрании дворян. Нашлась среди них «переметная сума» — предводитель, сообщил о рассказе моему графу, да еще с прикрасами. Получаю я недельки через две обратно мое письмо и записку графа. Пишет он мне, да вот послушайте-ка, что он пишет:

«В письме вашего превосходительства вы употребили не то выражение, которое сказано вами при собрании дворян, а именно: ежели мне начать переписываться с графом, то придется вступить в переписку и с последним капралом. А потому обращая к вам оное, прошу поправить сделанную вами ошибку».

— Не оставил я и этого письма, сударь вы мой, без надлежащего ответа. Слушайте!..

Зарудин снова начинал читать:

«Бесчестно и подло передавать из дома в дом вести — и еще бесчестнее и подлее передавать их с прибавлениями. Я не отпираюсь от слов моих и смысл их остается все тот же, кроме слова „капрал“, вместо которого я употребил „последний дворянин“, а потому написанное мною к вам письмо возвращаю без поправки. После сих объяснений я уверен, что приобрел в вас злейшего врага.

Ваше сиятельство — вельможа, много значите при дворе, можете сделать мне вред, и, зная ваш характер, я уверен, что не упустите первого случая, чтобы оказать мне оный; но знайте, что я более дорожу своею честью, нежели своим местом, и держусь русской пословицы: „хоть гол, да прав“».

Окончив чтение этого письма, Павел Кириллович обыкновенно с торжествующим видом взглядывал на своего собеседника, вставал со своего вольтеровского кресла и, бережно уложив в шифоньерку бумаги, возвращался на место и некоторое время молчал, выжидая

вопроса.

— Я, конечно, не ошибся, — начинал он, когда собеседник выражал желание слышать окончание «казуса», — месяца три прошло с отправки последнего письма, все шло по-прежнему, вдруг наехала ревизия, стала всюду шарить да нюхать, да ничего не пришлось найти, машина у меня по управлению шла как по маслу, без сучка и задоринки. Неймется ревизорам, отписали в Петербург, что-де я препятствую открыть злоупотребления, вызвали меня в столицу, месяца два продержали, но и без меня ни до чего не доискались, так и бросили, донесли, что все-де обстоит благополучно. Не понравилось это сильно всемогущему графу, прислал он ко мне в губернию переодетых полицейских, начали они шмыгать в народе, отыскивать недовольных мною, да нарвались на моего полицеймейстера — молодец был Петр Петрович — он их арестовал, да заковав в кандалы, представил ко мне; тут-то все и объяснилось; оказалось, что они питерские полицейские крючки... Сделал я вид, что не поверил им, чтобы вельможа, граф, дал им такое грязное поручение и высыпал обоим горячих да этапным порядком и препроводил к их непосредственному начальству.

— Дела! — разводил руками слушатель. — Верить не хочется, чтобы такой низкой души человек на такую высоту взобрался, и ангел-то наш государь другом его считает.

— Э, батюшка, и на престоле цари — те же люди, от сетей дьявола и они подчас ограждены не бывают, а этот Аракчей-то... одно слово «бес, лести преданный», — желчно выражал свое мнение Зарудин.

— Так-то оно так, а все... странно! — заявлял подчас собеседник, не принадлежавший уже совершенно к ненавидящим Аракчеева.

— Ничего тут нет странного, — раздражался Павел Кириллович, — вы этого дуболома-то нашего не знаете, ведь это сатана во плоти, Вельзевул... самому, кажись, Архангелу туману в глаза напустит... Что же тут странного.

— Ну, а ваше-то дело чем кончилось? — переменял разговор собеседник, чтобы не раздражать долее хозяина.

— Тем и кончилось, — отрывисто отвечал тот, — что видите... Через месяц так в ночь прибыл из Петербурга курьер и привез Высочайший приказ об увольнении меня от службы, с приказанием немедленно сдать все дела вице-губернатору. В один день сдал я всю губернию и все суммы и донес государю, думал, хоть этим снискать себе милость, не тут-то было, обошел его бес, нашептал на меня, как слышно, турусы на колесах: и пьяница я, и взяточник. Представиться хотел я государю, не допустили. Вот и сижу здесь в каморке моей и жду у моря погоды. И руки есть у меня сильные, да против Аракчеева, как против рожна, нечего прати... Наказал им Бог и царя, и Россию.

Так обыкновенно оканчивал свое повествование «о казусе» опальный губернатор.

Насколько было правды в его словах — неизвестно. Люди антиаракчеевской партии безусловно верили ему и даже варьировали его рассказ далеко не в пользу всемогущего, а потому ненавистного им графа. Другие же говорили иное, и, по их словам, граф в Зарудине только преследовал нарушения принципа бескорыстного и честного служения Царю и Отечеству, а личное столкновение с Павлом Кирилловичем не играло в отставке последнего никакой существенной роли.

Правота последних подтверждается отчасти дальнейшею судьбою Павла Кирилловича, но... не будем опережать событий.

Другую излюбленную темой разговора Павла Кирилловича была недостаточность средств к жизни, хотя с имений своих он получал большой для того времени доход в шесть тысяч

рублей, да кроме того, как утверждали хорошо знающие его люди, имел изрядненький капиталец. Каморка его, как он называл свою квартиру, была далеко не мала и не дурна. Деревянный, двухэтажный дом выходил фасадом на Гагаринскую набережную. Квартира Зарудина, в которой он жил вместе с сыном, находилась на втором этаже и состояла из шести комнат, не считая прихожей; три из них, залу, кабинет и спальню, занимал старик, а остальные три сын, у которого была своя гостиная, кабинет и спальня. Расположение квартиры было таково, что половины отца и сына были почти совершенно отделены.

Николай Павлович, имевший независимое от отца, доставшееся ему от покойной матери, довольно большое состояние, платил половину квартирной платы, а также вносил свою половину и для хозяйственных расходов.

Небольшой по тому времени штат прислуги, состоявший из десяти человек, исключительно мужчин, кроме одной прачки, был, конечно, из крепостных отца и сына.

Меблировка квартиры, особенно на половине Николая Павловича, отличалась солидным комфортом и даже роскошью.

Все в ней дышало довольством, и жалобы старика Зарудина на то, что ему нечем жить, звучали в этих стенах каким-то особенным диссонансом, да они и не были искренни, а составляли только подходящую тему для старческого брюзжания сановника, находящегося не у дел.

Таков был отец Николая Павловича, приятель старика Хомутова — Павел Кириллович Зарудин.

XIV

КАВКАЗСКИЙ КАПИТАН

В тот вечер, когда в кабинете старика Хомутова последний беседовал со своею женою, а в спальне Талечки Катя Бахметьева с рыданиями открывала подруге свое наболевшее сердце, оба хозяина квартиры на Гагаринской набережной, отец и сын Зарудины, были дома.

Павел Кириллович мелкими нервными шагами ходил по ковру своего кабинета, то и дело поглядывая на большие часы, заключенные в огромный футляр-шкаф красного дерева.

— Угостил его, видно, сиятельный граф на славу, вместо обеда-то не отправил ли за реку...
— с беспокойством ворчал Зарудин.

Читатель, конечно, понимает, что под сиятельным графом он подразумевал Аракчеева; что же касается выражения «за реку», то под этим термином подразумевалась Петропавловская крепость, куда зачастую, как, по крайней мере, уверяли враги графа, Алексей Андреевич отправлял тех или других провинившихся перед ним офицеров.

В настоящее время Павел Кириллович боялся, как бы такая участь не постигла сына его старого, года с три как умершего, приятеля Петра Ивановича Костылева.

Сын Петра Ивановича, Иван Петрович, служил капитаном в одном из артиллерийских полков, расположенных на Кавказе. Это был человек лет под сорок, давно уже тянувший служебную лямку, но, несмотря на свою долголетнюю службу, на раны и на все оказываемые им отличия, не получал никаких наград и все оставался в чине капитана; сколько его начальство ни представляло к наградам, ничего не выходило; через все инстанции представления

проходили благополучно, но как до Петербурга дойдут, так без всяких последствий и застрянут.

Наконец, капитана это вывело из терпения и он решился ехать в Петербург к Аракчееву и, несмотря на весь ужас, им внушаемый, — вести о его строгости, с чисто восточными прикрасами, достигали далеких кавказских гор, — объясниться с ним и спросить, за что он его преследует, так как капитан почему-то был убежден, что все невзгоды на него нисходят от Аракчеева.

Сказано — сделано; взял капитан отпуск и уехал; но так как в то время пути сообщения были не теперешние и так как капитан по кавказской привычке любил хорошенько выпить, то ехал он довольно долго с остановками и отдыхами. Наконец, недалеко уже от Петербурга, в Новгородской губернии, остановился он ночевать на одной станции, велел подать самовар и стал попивать пуншик. В это время проезжал Аракчеев в дорожном платье, без эполет, заглянул к капитану в комнату и назад, но капитан, по кавказскому гостеприимству, крикнул Аракчееву:

— Чего заглядываешь, заходи обогреться пуншиком!

Вследствие такого бесцеремонного приглашения, Аракчеев, будучи и сам артиллеристом, заинтересовался личностью капитана, вошел к нему, подсел к столику и у них завязалась оживленная беседа. На вопрос графа, зачем капитан едет в Петербург, тот, не подозревая, что видит перед собою Аракчеева, брякнул, что едет объясниться с таким-сяким Аракчевым и спросить, за что он, растакой-то сын, преследует его, причем рассказал все свое горе.

Аракчеев заметил, что он, капитан, вероятно, не знает, как силен и строг Аракчеев, а потому, как бы ему, капитану, не досталось от графа еще хуже; но Иван Петрович, будучи под влиянием винных паров, ответил, что не боится ничего и лишь бы только увидеть ему Аракчеева, а уж тогда он ему выскажет все.

Затем Аракчеев уехал, приказав на станции не говорить капитану, с кем он беседовал; с последним же он простился по-приятельски, посоветовал, чтобы он, по приезде в Петербург, шел прямо к графу Аракчееву, которого уже он предупредит об этом через своего хорошего знакомого, графского камердинера, и постарается замолвить через того же камердинера в пользу его перед графом словцо.

Приехал Иван Петрович в Петербург, облекся в полную форму и отправился к Аракчееву. Доложили о нем графу, ввели в приемную, граф вышел и, о ужас, капитан в Аракчеве узнал своего станционного приятеля, при котором он так бесцеремонно отзывался об Аракчеве. Но граф принял его очень ласково, сам сознал свою вину перед ним, обещал возратить все им потерянное и пригласил к себе на другой день на обед, но непременно в сюртуке. Иван Петрович Костылев все это рассказал Павлу Кирилловичу Зарудину, с которым, чтя память покойного отца, был хотя и в редкой переписке, но по приезде в Петербург после визита к Аракчеву не преминул явиться к другу своего отца. Павел Кириллович не видал его более десяти лет.

— Ласково, говоришь, принял?.. Наобещал кучу милостей?.. — переспросил его старик, выслушав от него вышеприведенный рассказ.

— Уж на что ласковее, просто можно сказать по-приятельски... не начальник он, золото...

— Не верь... — не дал договорить ему Зарудин.

Костылев вытаращил глаза.

— То есть как не верить, это его-то сиятельству?..

— Его-то сиятельству, — передразнил Павел Кириллович, — и не верь: мягко стелет, жестко спать...

Капитан, нервы которого были с утра напряжены, побледнел.

— Что вы говорите, ваше превосходительство? — начал он упавшим голосом.

— Дело, вот что говорю, дело... Я вот тебе о себе расскажу, какие он со мной штуки подстроил.

Павел Кириллович направился к шифоньерке. Капитан, сидя на стуле против хозяйского вольтеровского кресла, опустил голову.

— Не может быть, — вдруг заявил он, — резоны он мне представил, почему относительно меня такой «казус» вышел: однофамилец и даже соименник со мной есть у нас в бригаде, тезка во всех статьях и тоже капитан, и сам я слышал о нем, да и его сиятельство подтвердил, такой, скажу вам, ваше превосходительство, перец, пролаз, взяточник... за него меня его сиятельство считали, а того, действительно, не токмо к наградам представить, повесить мало...

Павел Кириллович уже вложил ключ в ящик шифоньерки, как вдруг вынул ключ и возвратился в кресло.

— Взятчик, пролаз... Все у него взяточники да пролазы, ишь какой указчик объявился, почему это до него на Руси матушке взяточников не было, многие, кого он взяточниками обзывает, при Великой Екатерине службу несли. А почему тогда взяточников не было? Почему?

Он даже нагнулся к капитану.

— То есть, как не было, ваше превосходительство, чай, и тогда бывали... только надзора строгого не было... — осмелился возразить капитан.

— Надзоров не было... — передразнил его Зарудин. — Молод ты еще о старших так рассуждать... зелен ум у тебя, вот что... — рассердился Павел Кириллович.

Иван Петрович промолчал.

— Пойди, пойди пообедать к твоему надзирателю излюбленному, угостит он тебя обедом... угостит... поперек горла встанет и не проглотить. Бывали примеры, что люди после таких обедов и кочурились...

Костылев снова не на шутку перепугался. Раздраженный Павел Кириллович постарался усилить это впечатление испуга храброго кавказца, рассказывая все ходившие в среде враждебной ему партии небылицы о бесчеловечности и зверстве всемогущего графа.

Капитан ушел почти убежденный, что ему вместо обеда предстоит назавтра гнусная ловушка, а затем жестокая казнь.

— Ты завтра заходи после обеда-то у твоего благодетеля, коли жив, да на свободе останешься, — преподнес ему на прощание Зарудин.

XV

БЫСТРОЕ ПОВЫШЕНИЕ

На другой день, впрочем, раздражение Павла Кирилловича против капитана прошло и он сам, как мы видели, стал тревожиться, как бы не исполнились над сыном его покойного друга вчерашние предсказания.

Сыну, не бывшему накануне дома, он сообщил случай с капитаном, но не рассказал высказанных последнему своих соображений: он сына своего считал тоже аракчеевцем, так как тот не раз выражал при нем мнения, что много на графа плетут и вздорного.

Павел Кириллович сперва за это на него очень сердился, а затем махнул рукою и отводил душу, беседа об Аракчееве с другими и то не в присутствии сына.

— Убей меня Бог, коли я не прав, за реку отправил молодца изверг, — продолжал разговаривать сам с собою Зарудин. — Время-то вон уже какое позднее...

Часы показывали седьмой час в исходе. В передней раздался звонок.

— Неужели он? Нет, голову прозакладываю, что не он, за рекой он уже теперь, чай, в каземате думку думает, — упрямо проворчал старик.

Дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился весь сияющий, видимо, от счастья, Иван Петрович Костылев. На груди его сюртука блестели два новеньких ордена. Павел Кириллович был совершенно озадачен таким торжественным появлением предполагаемой им жертвы аракчеевского деспотизма, и тревога за судьбу капитана быстро сменилась раздражением против него.

— Кажись, и сыт, и пьян, пане капитане! — иронически обратился он к нему.

— Не капитан, ваше превосходительство, а полковник и кавалер Георгия и Станислава.

Иван Петрович указал на новенькие ордена.

— Это как же так, расскажи! — растерянно произнес не ожидавший такого оборота дела Зарудин.

— Напугали вы меня, ваше превосходительство, понапрасну только, снова повторю: не начальник граф Алексей Андреевич, а золото для помнящих присягу служаек, сказочно, можно сказать, случилось это, все повышения и ордена за обедом в какой-нибудь час времени получил... — залпом выпалил Костылев.

— Да ты расскажи толком.

Иван Петрович передал, что пришел он на обед, после насканных ему Павлом Кирилловичем страстей, ни жив, ни мертв, застал общество в мундирах и звездах; все с недоумением смотрели на него, бывшего, по приказанию графа, в сюртуке. Но каково же его и всех остальных было удивление, когда Аракчеев, представляя его, назвал своим приятелем. Когда подали шампанское, граф рассказал, как, по его ошибке, капитан был обходим множество раз разными чинами и наградами, и что он желает теперь поправить сделанное капитану зло, а потому предлагает тост за здоровье подполковника Костылева; далее, говоря, что тогда-то капитан был представлен к награде, пьет за полковника Костылева, затем за кавалера такого-то и такого-то ордена, причем и самые ордена были поданы и, таким образом, тосты продолжались до тех пор, пока он, капитан, не получил все то, что имели его сверстники.

— Век не забуду его сиятельства, в поминание запишу за здравие, детям и внукам закажу молиться за него, — закончил с восторгом Иван Петрович.

Зарудин слушал и хмурился.

— В добрый час ты попал, таких часов у него раз, чай, лет в десять бывает... рад за тебя, рад, хотя многих людей знаю, которые фаворитами его быть за бесчестие почитают и по-моему правильно.

— Нет, ваше превосходительство, этого не говорите, — расхрабрился новоиспеченный полковник, — какой уж тут правильно. Всем известно, что граф Алексей Андреевич царскою милостью не в пример взыскан, а ведь того не по заслугам быть бы не могло, значит, есть за что, коли батюшка государь его другом и правою рукой считает, и не от себя он милости и награды раздает, от государева имени... Не он жалует, а государь...

— А знаешь пословицу «жалует царь, да не жалует псарь»?

— И пословица эта, вы меня простите, ваше превосходительство, тут ни к чему, и смысла применения оной понять не осмеливаюсь.

— И не осмеливайся... и благо тебе, а за тебя я рад, одно скажу, рад, покойного отца твоего любил, — счел за нужное переменить разговор Зарудин.

Разговор перешел на воспоминания и, наконец, полковник Костылев откланялся Зарудину, объявив, что завтра же уезжает к месту своего служения.

— И его сиятельство сей мой прожект одобрил: «Нечего, говорит, тебе здесь зря болтаться, еще испортишься».

— Ну, прощай, поезжай с Богом, дай тебе Господь куль червонцев и генеральский чин! — пошутил Павел Кириллович.

О своей отставке он так и не рассказал Костылеву.

XVI

ФОН ЗЕЕМАН

По уходе Костылева старик Зарудин еще долго в раздумьи ходил по кабинету и, наконец, отправился на половину своего сына, у которого в тот вечер собралось несколько его товарищей.

В кабинете Николай Павловича шла оживленная беседа. Дым от трубок наполнял обширную, с комфортом меблированную комнату и запах табака смешивался с запахом истребляемого стакан за стаканом крепкого пунша.

Кроме хозяина, в комнате находились три офицера и молоденький юнкер. Старший из них был капитан гвардии Андрей Павлович Кудрин, выразительный брюнет с неправильными, но симпатичными чертами изрытого оспой лица — ему было лет за тридцать; на его толстых, чувственных губах играла постоянно такая добродушная улыбка, что заставляла забывать уродливость искаженного оспинами носа, и как бы освещала все его некрасивое, но энергичное лицо. Храбрый до отваги, добрый, но справедливо строгий, он был кумиром солдат и любимец той части своих товарищей, которые искали в человеке не внешность, а душу.

К последним принадлежал и Николай Павлович Зарудин и был всем сердцем привязан к

Андрею Павловичу. Их даже в полку в насмешку прозвали inseparables. Не было у них друг от друга тайн, они жили, что называется, душа в душу.

Два других офицера были поручики Смельский и Караваев, приятели и однополчане Зарудина, с которыми свели последнего общность взглядов, общая склонность к размышлению, отвращение к переходящим меру кутежам и дебошам, и пожалуй, общее подозрительное отношение к ним начальства. По внешности это были белокурые, бесцветные офицеры, физиономии которых по этой причине не стоят описания. Художник не поместил бы их на батальной картине, а плохой портретист сделал бы с них весьма схожий портрет — так они были шаблонны.

На последнем госте Николая Павловича молоденьком юнкере — Антоне Антоновиче фон Зеемане мы остановим на более продолжительное время внимание читателя, так как этому молодому человеку придется играть довольно значительную роль в нашем правдивом рассказе.

Потеряв не так давно свою мать, оставившую ему, как единственному сыну, — отца он лишился ранее, — хорошее независимое состояние, он выхлопотал себе перевод в тот гвардейский полк, где служили Николай Павлович и Кудрин, и сразу почувствовал к ним род немого обожания. Это не укрылось от «предметов его восторженного поклонения» и последние, увидав в нем доброго, отзывчивого на все хорошее юношу и, вместе с тем, хорошего служаку, стали с ним в товарищеские отношения, вследствие чего Антон Антонович почувствовал себя на седьмом небе.

Не проходило дня, чтобы он не являлся то к Зарудину, то к Кудрину, внимательно прислушивался к их беседам, скромно вставлял иногда словечко или рассказывал им что-нибудь о себе.

Он начал свою службу в артиллерии, а домашнее воспитание получил за границей, где его мать безвыездно проживала.

Когда ему минуло шестнадцать лет, она отправила его в Петербург к своему троюродному племяннику, Петру Андреевичу Клейнмихелю, любимцу и крестнику графа Аракчеева. Маменькин сынок попал сразу в суровую школу последнего, и хотя она принесла ему пользу, выработав из него образцового служаку, но оставила в его душе такую горечь, что он возненавидел и Клейнмихеля, и Аракчеева. Открыто идти против его «благодетелей», как его мать называла обоих в письмах к сыну, он при жизни старушки не мог и помышлять, и более двух лет протянул на этой «каторге», как он называл службу в артиллерии.

Смерть матери только отчасти развязала ему руки, так как без разрешения всесильного Аракчеева перевестись в «шаркуны», как последний называл гвардейцев, было невозможно.

Тогда Антон Антонович, смилив свою гордость, чуть не со слезами на глазах, стал умолять Клейнмихеля добыть ему это разрешение у графа, мотивируя свою просьбу неподготовленностью его к службе в артиллерии, для которой все-таки необходимы некоторые специальные знания, и даже прямо неспособностью к этой службе, неспособностью, могущею повлиять на всю его военную карьеру. Петр Андреевич внял этой просьбе и выхлопотал разрешение графа. Пылкий и впечатлительный капитан Кудрин всецело разделял эту ненависть, питаемую фон Зееманом к «самодуру» и «дуболому», как обзывали они оба графа Алексея Андреевича, и лишь молодой Зарудин в этом не сходил со своими друзьями и был, как мы знаем, против бывшего тогда в ходу огульного обвинения графа Аракчеева.

Зато старик Зарудин именно за это отношение капитана и юнкера к графу особенно полюбил их, и зачастую, когда Николая Павловича не было дома, они оба забирались в кабинет к старику и тогда уже должно было икаться графу Алексею Андреевичу.

Фон Зееман обладал мимическим и актерским талантом и очень удачно копировал графа, заставляя своих собеседников хохотать до слез. В особенности забавлял старика Зарудина рассказ фон Зеемана, как он, уже переведенный в гвардию, был приглашен, по ходатайству Клейнмихеля, думавшего, что он оказывает этим своему родственнику особую честь, на бал к графу.

— Я явился в рукавицах, — рассказывал Антон Антонович. — Увидал меня Петр Андреевич, подходит ко мне весь бледный. «Ты забыл, мальчишка, у кого ты, пошли сейчас ко мне за моими перчатками и надень». «Не имею на это права, как нижний чин, а перчатки у меня за рукавом», — отвечаю я ему. «Надевай!» — Я надел, повел он меня к графу и представил. «Очень рад», — прогнусил тот. Так как солдат кланяться не смеет, то я вместо поклонов шаркал и стучал каблуками. Стал бродить я по комнатам, скука смертная! Вдруг снова передо мной как из земли вырос граф: «Да что же ты не танцуешь?» Подлетел я, не помня себя, к какой-то даме: «Если вы не желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной», — гляжу, а передо мной мать Петра Андреевича — почтенная старушка. «Ты с ума сошел, я не танцую, пригласи мою племянницу — рядом со мной сидит». Пригласил и затанцевал. Насилу дождался, когда кончился этот бал. А тут еще напасть, Петр Андреевич объявил мне, что назавтра граф приказал привести меня к нему обедать. «Я принесу с собой деревянную ложку, так как нижнему чину не полагается есть серебряной», — стал уверять я ошеломленного новой моей дерзостью Петра Андреевича. Впрочем, на обед я не попал — притворился больным.

Павел Кириллович был всегда после этого рассказа в большом восторге.

— Хорошо, очень хорошо: «если не желаете, чтобы я был в Сибири, провальсируйте со мной» и прямо к старухе, — хохотал он, потирая руки.

— Ну-ка, расскажи, Антоша, — называя его ласкательным именем, обращался в веселую минуту к фон Зееману Павел Кириллович, — как ты у графа на балу танцевал?

И Антон Антонович чуть ли не в сотый раз начинал повторять свой рассказ.

XVII

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Собравшиеся в кабинете, как мы уже сказали, оживленно беседовали. Темой этой беседы, даже на половине Николая Павловича, что случалось очень редко, служил тот же граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Молодой Зарудин рассказал слышанное им от отца приключение с капитаном Костылевым.

— Отец его ждет сегодня с обеда, вероятно, не утерпит и зайдет рассказать окончание «казуса».

С этого началось: стали обсуждать поступок графа, его любовь появляться и беседовать инкогнито, припомнили разные случаи из его оригинальной деятельности.

— Самодур, совсем самодур, я недавно слышал, — говорил Кудрин, — армейского полковника одного чуть ли не за три тысячи верст отсюда полк его расположен, вдруг в Петербург вызвал. Приехал бедный тоже ни жив, ни мертв. Кого только здесь ни спрашивал, зачем бы его мог вызвать граф, никто ничего не знает. Наконец, является он пред лицом Аракчеева, а тот его же спрашивает, зачем приехал? «Не могу знать, зачем ваше сиятельство

требовали!» — «Я требовал! А, помню, как ваша фамилия?» — «Так-то!» — «Как, как?» — «Так-то, ваше сиятельство» — «А...» Отодвигает Аракчеев ящик стола, достает какую-то бумагу и спрашивает у полковника: «Это ваш рапорт?» — «Мой, ваше сиятельство» — «Так вот видите ли, я никак не мог разобрать вашу фамилию, затем и потребовал вас, пожалуйста, прочтите ее». Полковник прочел. «Теперь можете ехать обратно». Как вам это нравится? — развел в заключение руками Андрей Павлович.

Смельский, Караваев и фон Зеeman расхохотались.

— Чай, рад был, бедняга, что так дешево отделался, — заметил первый.

— И фамилию свою стал писать наизборчиво... тоже шесть тысяч верст отмахать не шутка, — вставил фон Зеeman.

В это время в кабинет вошел Павел Кириллович. Офицеры поспешили застегнуть сюртуки и почтительно стали здороваться с его превосходительством.

— А ведь Аракчей-то капитана за реку не отправил, великодушного начальника разыграл, в полковники произвел и двумя орденами наградил, — сообщил старик Зарудин и в подробности рассказал все слышанное им от Костылева о сегодняшнем обеде у Аракчеева.

— Иезуит, — произнес Кудрин, — может случиться, что он вернет с дороги этого свежее испеченного полковника, да и отдаст под суд.

— Правда, правда, — ухватился за эту мысль старик Зарудин, хотя и беспокоившийся за Костылева, но все же недовольный в душе, что его предсказания не сбылись. — Ведь это он может сделать, как пить дать, а бедняга так рад, что ног под собою не чувствует.

— Конечно, может.

— Чего он не может, коли всю Россию выкрасить хочет, — вдруг выпалил фон Зеeman, сделавшись смелее в присутствии Павла Кирилловича, в своих напаках на своего бывшего «благодетеля».

— Как выкрасить, Антоша? — воззрился на него старик Зарудин, заранее улыбаясь и предвкушая какую-нибудь интересную историю.

— Так, краской выкрасить, в три колера пустить... разве вы не слышали? Об этом уже в городе толкуют, проект он подает государю, хочет всю матушку Русь в три краски выкрасить: мосты, столбы, заставы, гауптвахты, караульни, даже тумбы и все присутственные места и казенные здания будут по этому проекту под один манер в три колера: белый, красный и черный. Ссылается он, как слышно, на то, что будто бы подобный проект был еще во времена Екатерины II, но ею не выполнен. А вы говорите, что он чего-нибудь не может; видите, всю империю красить собрался. С него хватит и всех россиян вымазать в три колера, тело зеленым, рожи фиолетовым, а волосы пунцовым. Вот кабы с него начать! — закончил со смехом Антон Антонович.

Павел Кириллович так и покотился со смеху, сидя в кресле.

— Ишь придумал, с него бы начать, тело зеленым, рожу фиолетовым, а волосы пунцовым. Хорош бы был его сиятельство, ха, ха, ха, — заливался старик.

Остальные тоже хохотали от души.

Не смеялся только один Николай Павлович. Он медленно, с трубкой в зубах, ходил по кабинету и, казалось, не слышал даже, что говорили вокруг него. Мысли его на самом деле были далеко, и не трудно догадаться, что это «далеко» было на Васильевском острове. Это

стало с ним за последнее время случаться нередко, он сердился на себя, но не мог ничего поделаться с собой: обитательница коричневого дома окончательно похитила его сердечный покой. Сегодня ему было легче, он рассказал все своему другу Кудрину и завтра повезет его представить Хомутовым.

«Как-то она ему взглянется. Да разве она может не понравиться?» — бродили в его голове отрывочные мысли.

Взрыв хохота после рассказа фон Зеемана возвратил его к действительности. Он принял участие в дальнейшем разговоре.

Павел Кириллович вскоре ушел, как он выражался, «на боковую». Поднялись и гости.

— Так до завтра, в шесть часов, запросто, в сюртуках, они люди нецеремонные, — сказал Кудрину Николай Павлович, дружески пожимая ему на прощание руку.

— Да, да, у тебя я даже буду в половине шестого.

— Отлично!

XVIII

ЗАПИСКА

На другой день Андрей Павлович Кудрин, верный своему слову, ровно половина шестого вечера был у Николая Павловича Зарудина.

— Аккуратен, как часы, и точен, как весы! — радостным восклицанием встретил его последний, уже совершенно одетый.

— Аккуратность — вежливость царей, — отвечал Кудрин. — Разве мы сейчас? — добавил он, видя, что его приятель стал натягивать перчатки.

— Да, конечно, сейчас же, ведь не на вечер едем, а запросто и останемся недолго. Ты не отпустил извозчика?

— Нет, дожидается.

— Так мы на твоём и поедём.

Молодые люди вышли из дому.

Всю довольно дальнюю дорогу с Гагаринской набережной до 6-й линии Васильевского острова Николай Павлович восторженно описывал Кудрину предмет своего поклонения — Талечку.

— Слышал уже я, слышал, посмотрим, посмотрим, на нее не твоими влюбленными глазами, авось найдем, что не совсем совершенство, — подсмеивался Андрей Павлович над своим приятелем.

— Нет, вот увидишь и сам убедишься, что совершенство.

— Рассказывай там, и на солнце есть пятна. Найду, брат, я их, да еще пожалуй и тебя разочарую.

— Ну, это едва ли тебе удастся.

— А если так, то чего же ты дремлешь и не женишься? Нашел сокровище и бери, а то как раз из-под носу выхватят.

Николай Павлович побледнел.

— Жениться... знаешь ли, я последнее время думал, но...

Зарудин остановился.

— При чем же тут «но»?

— Я не знаю... любит ли она меня... она еще совсем ребенок.

— Позволь, какой же это ребенок, когда ты говоришь, что ей восемнадцать лет... значит, совсем невеста.

— Дело не в годах, но это такая воплощенная чистота и невинность, такое нечто не от мира сего, что мне страшно подумать сказать ей наше земное слово любви.

— Смотри, дождешься, что другой скажет.

— Кто же другой, у них никто, кроме меня, не бывает.

— Все до поры до времени.

Извозчик остановился у подъезда дома Хомутовых.

Приезд Кудрина не был для последних неожиданным, так как Николай Павлович давно уже испросил у Федора Николаевича и Дарьи Алексеевны позволение представить своего задушевного друга и получил от гостеприимных стариков любезное согласие.

Не знали они только, что это именно случится в такой-то день, но и в этом случае Зарудин именно просил разрешения явиться запросто.

— Это и лучше, — заметил Хомутов, — разносолов мы не делаем, а стакан чаю всегда найдется, и ром авось сыщется.

Появление в их гостиной нового лица вместе с Зарудиным было неприятным сюрпризом только для Талечки. Произошло это не потому, чтобы она не унаследовала от отца с матерью радушного гостеприимства, но в этот день она желала бы видеть Николая Павловича одного.

Читатель знает, что она решила переговорить с ним о Кате Бахметьевой при первом свидании — приезд Кудрина явился непреодолимым препятствием.

«Мне не удастся с ним пробыть наедине ни минуты, не только что переговорить. Боже мой, зачем он его привез именно сегодня! Бедная Катя, что я скажу ей завтра? Объяснить, что так вышло, что он приехал не один. А она там мучается, как мучается. Продолжить еще эту для нее нестерпимую муку неизвестности? Нет, надо что-нибудь придумать!» — мелькали в голове молодой девушки отрывочные мысли.

Они, впрочем, не помешали ей с приветливой улыбкой встретить приехавших, завязать оживленную беседу на отвлеченные темы, выказать свои знания и свою начитанность.

Наталья Федоровна инстинктивно догадалась, что он привез своего друга исключительно для, нее, чтобы показать ему ее, похвастаться ею перед ним, а потому она приложила все старания, лишь бы, что называется, не ударить лицом в грязь, а показать себя и оправдать,

таким образом, его о ней мнение.

Надо сознаться, что она этого и достигла.

Андрей Павлович был положительно очарован ею. Зарудин, мельком взглядывая на своего друга, был совершенно доволен произведенным на Кудрина Талечкой впечатлением.

Мы говорим «мельком», так как взгляд Николая Павловича, полный восторженного обожания, был все-таки, как всегда, почти неотводно устремлен на молодую девушку.

Наталья Федоровна впервые заметила этот взгляд. В первый момент он явился для нее категоричным подтверждением всего того, что говорила вчера Катя Бахметьева.

Сердце ее упало.

«Он действительно любит меня! — пронеслось в ее голове. — Любит, быть может, как сестру, как друга», — успокаивала она сама себя, стараясь тем заглушить тот вчерашний внутренний голос, упрямо настаивавший на безусловной правоте и прозорливости Бахметьевой.

«Но как же мне быть? Написать ему? Передать записку?»

Эта мысль сначала испугала ее.

«Писать... мужчине».

Она вспомнила m-lle Дюран.

«Но ведь это я не для себя. Ведь это не любовная записка, не любовное свидание», — возражала она мысленно сама себе, продолжая, между тем, поддерживать общий разговор.

Она встретила снова с взглядом Зарудина.

«А если это не дружба и не братская любовь, а настоящая, если Катя права? Тем более мне надо скорее с ним переговорить, предупредить его, что его любит другая, что я, я... не могу... не имею права любить его, что он должен любить не меня, а ее, Катю», — неслось далее в голове молодой девушки.

«Может быть, еще не поздно. Он, может, разлюбит меня и полюбит ее», — наивно соображала она.

Улучив, минуту, когда оба гостя занялись разговором с ее отцом о каких-то преобразованиях в русской армии, а мать отправилась распорядиться по хозяйству, Наталья Федоровна незаметно выскользнула из гостиной в свою комнату, достала листочек бумаги и наскоро стала писать карандашом.

Руки ее дрожали.

Написав несколько строк, она два раза перечитала их, и бережно сложив в несколько раз маленький листочек почтовой бумаги, сунула его в карман своего платья.

«Но как я передам ее ему?» — возник, в ее уме вопрос, но она нашла тотчас же и ответ на него: «При прощании он всегда прощается со мной с последней».

На этом она успокоилась и вернулась в столовую, куда уже, по приглашению Дарьи Алексеевны, перешли гости пить чай.

Заняв свое место по правую сторону матери, Талечка все-таки не была совершенно покойна. Мысль, что могут увидеть, как она передаст записку Зарудину, заставляла ее по временам

мысленно совершенно отказываться от задуманного плана, но затем воспоминание об ожидающей завтра ответа подруге изменило это решение.

«Будь, что будет!» — решила мысленно Наталья Федоровна.

Она чувствовала, что она то бледнела, то краска снова прилиwała к ее лицу.

Это не ускользнуло от внимания Дарьи Алексеевны.

— Что это у тебя, жар никак? — провела она рукой по лбу дочери, влажному от напряжения мысли.

— Нет, ничего, мама, я чувствую себя хорошо, — отвечала Талечка.

«Надо быть спокойнее», — подумала она про себя.

XIX

НЕ В ТЕ РУКИ

Время за чаем и закуской для всех, кроме Натальи Федоровны, промелькнуло незаметно. Кудрин очень понравился Федору Николаевичу; старик оживился и рассказывал один за другим различные эпизоды из своей боевой жизни.

Кроме вежливости, заставлявшей внимательно слушать старика, его молодые собеседники на самом деле заинтересовались его воспоминаниями.

Талечка имела возможность, притворяясь тоже слушающею, хотя и знала все эти рассказы почти наизусть, привести постепенно в порядок свои расхолодившиеся нервы.

Наконец, гости начали прощаться.

Николай Павлович, как и предполагала Талечка, подал ей руку последней, но, увы, она не рассчитала, что ранее его может подать ей руку Кудрин.

Так и случилось.

Записка, бывшая в руке Талечки, очутилась у Андрея Павловича. Это случилось так неожиданно для нее, что вся кровь бросилась ей в голову и даже слезы навернулись на ее глазах. Последние так умоляюще посмотрели на Кудрина, в них было столько красноречивой мольбы, что он ответил в конец сконфуженной девушке добродушной улыбкой и взглядом, которым очень выразительно повел в сторону Зарудина.

Талечка поняла, что Кудрин догадался об ошибке и благодарила его тоже взглядом.

Этот взгляд, казалось, говорил: не осудите меня, я не виновата!

Андрей Павлович и не осудил, хотя был вполне уверен, что попавшая случайно в его руки записка, предназначавшаяся для Зарудина, была любовная.

Что же иное, впрочем, он мог предполагать?

Окружающие не заметили ничего, так как Наталья Федоровна напрягла всю силу своей воли, чтобы казаться спокойной, хотя чуть не умирала от стыда.

«Боже мой, что я наделала, ведь я же могла незаметно переложить ее в другую руку, но... мне казалось, что маменька пристально смотрит на меня», — соображала она, к слову сказать, довольно поздно.

Прощаясь с Николаем Павловичем, она не решилась поднять на него глаз.

Это заставило его окинуть ее тревожным взглядом.

«Что с ней? Уж не обидел ли я ее чем-нибудь?» — подумал он.

На дворе стояла теплая апрельская ночь и приятели, отпустив по приезду своего извозчика, пошли пешком по направлению к набережной Невы и Адмиралтейскому мосту.

— Ну, что, понравилась тебе она? — тотчас по выходе из подъезда спросил Зарудин.

— Ты прав, она прелестна, видимо, добра, умна и далеко не заурядно образована, а главное в ней — и в этом ты прав — эта чистота, эта нетронутость натуры. Кто ее воспитывал, тому можно дать премию.

— Это одна француженка, старушка, перед памятью которой она до сих пор благоговееет, она уже умерла.

— Царство небесное этой француженке, она, видимо, не была атеисткой.

— Какой, фанатичная католичка!

— Нехорошо, если она повлияла на нее и с этой стороны, вера главным образом должна быть бесстрашна, религиозные страсти погубили немало не только единичных личностей, но и народов.

— Нет, я не думаю, мы с ней поднимали этот вопрос и она, как я успел убедиться, далека от религиозной нетерпимости.

— Дай Бог. Насилие над совестью ближнего по моему мнению позорнейшее из преступлений! Что же касается до того, что она не имеет понятия о земной любви, то в этом ты ошибаешься и доказательство тому лежит в моем кармане.

Николай Павлович даже остановился.

Они проходили в это время Исаакиевский мост.

— Что такое ты сказал? Я отказываюсь понимать...

— Да ты не сердись, просто барышня растерялась, я подошел к ней прощаться раньше тебя, она мне поневоле должна была подать руку и в моей руке очутилась приготовленная для тебя записка...

— Записка? Ты лжешь...

— Ну, вот видишь, не знай я тебя и не люби, я бы тебя за эти слова мог поставить к барьеру, тем более, что это у нас теперь в такой моде, но так уж и быть, живи и слушай... — засмеялся Кудрин.

Николай Павлович опомнился, услышав добродушный тон своего приятеля: он понял, что последний сказал правду.

— Прости, ты меня совершенно ошеломил...

— То-то прости, а ошеломляться тебе совершенно не из чего. Барышня — молодец, заметила, что ты с нее влюбленных глаз не сводишь, а молчишь, как пень, дай, думаю, сама этого робкого воина поймаю... Но и в этом покушении на твою свободу, в этой передаче записки было столько прелести; если бы ты видел, как она растерялась, вспыхнула, сробела и каким умоляющим взглядом подарила меня, не успев и не сумев незаметно вынуть из руки приготовленную для тебя записку, сейчас видно, что это был ее первый дебют. Бедняжка думала, что ты подойдешь первый с ней проститься, а тебя там задержал старик, меня и нанесла нелегкая.

— Где же она... эта записка?... Может, она и не ко мне? — пробормотал Зарудин, нетерпеливо перебивая приятеля.

— Послушай, Николай, это еще что, ведь так мы с тобой, пожалуй, и всерьез поссоримся. «Может, не ко мне», так к кому же, не ко мне ли, которого Наталья Федоровна первый раз в жизни видит... Это похоже на клевету и совсем не вяжется с твоими восторженными о ней отзывами... да и не скрою, брат, — не красиво...

— Я пошутил, глупо, низко, гадко пошутил... Ты прав, остановив меня, благодарю тебя, ты настоящий друг... Но дай мне записку...

— Изволь, получай, ты совсем сумасшедший, делай-ка, брат, поскорей предложение, но шафером я твоим не буду...

Кудрин подал Зарудину полученную им от Талечки записку.

— Почему?

— А потому, что надеюсь, что меня пригласит невеста, тем более, что я самую судьбою произведен в ее конфиденты...

Николай Павлович крепко пожал ему руку.

— Ну, прощай, желаю полного успеха! — искренно ответил тот на его рукопожатие. — Мне прямо, а тебе налево...

Приятели расстались.

Вскоре Зарудину попался извозчик. Он сел без торга и приказал ехать как можно скорее домой. Ему страшно хотелось поскорее прочесть записку, на улице же было темно.

XX

РАЗРУШЕННЫЙ ИДЕАЛ

«Мне необходимо вас видеть. Приходите завтра в четыре часа и подождите меня вблизи нашего дома, но так, чтобы вас не заметили. Я пойду к Бахметьевой в сопровождении горничной. Надо сделать вид, что мы встретились случайно.

Н.»

Николай Павлович несколько раз перечел эту записку и в глубоком раздумьи откинулся на спинку кресла, стоявшего в его спальне.

— Иди спать, я разденусь сам, — кивнул он явившемуся было в спальню слуге.

Тот так же неслышно вышел, как и явился.

— Неужели я мог в ней так ошибиться! — произнес, спустя несколько минут, Зарудин, встал, снял сюртук и начал медленно ходить по мягкому, пушистому ковру, покрывавшему пол небольшой комнаты, служившей ему спальней.

«Наталья Федоровна и... назначенное свидание!» — это положительно не укладывалось в его голове. Недаром он так бестактно, так грубо вел себя относительно Кудрина, когда тот передал ему о полученной записке.

Если бы последняя и теперь не была зажата в его руке, он не поверил бы никому.

Как девушка, перед которой он преклонялся, которую считал идеалом женщины — человека, вдруг моментально упала в его глазах в ряды современных девушек, вешающихся на шею гвардейцам.

Эта мысль положительно жгла мозг идеалиста Зарудина.

Он готов был бы лучше перенести все муки отвергнутой любви, умереть у ног недостижимого для него кумира, чем видеть этот кумир поверженным — ему казалось это оскорблением своего собственного чувства, унижением своего собственного «я», того «я», которым он за несколько часов до этого охотно бы пожертвовал для боготворимой им девушки.

А теперь эта девушка так неожиданно, так низко пала в его глазах, а с ней вместе пало и разбилось его чувство, он сам к себе даже почувствовал презрение за это чувство.

Он сознавал, что не мог извинить ей, подобно Кудрину, этого первого дебюта на сцене заурядного житейского романа; для Андрея Павловича она была просто милая девушка невеста, будущая хорошая жена, для него же она была божество, луч света, рассекавший окружающий его мрак.

И этот луч погас.

Зарудин все продолжал ходить по кабинету и все более и более разжигал свою фантазию, разжигал до физической боли, до того, что начал почти чувствовать ненависть к той, которая на завтра назначила ему свидание.

Когда же полет его фантазии дошел до своего апогея, то, как всегда, наступила реакция.

— Но, быть может, это совсем не любовное свидание, быть может, ей нужно что-нибудь передать мне, попросить совета, помощи, сделать поручение, быть может, она обращается ко мне, как к другу, как к брату!

Зарудин остановился и даже ударил себя рукой по лбу.

— Это верней всего, а я, несчастный, клевету на нее, на эту чистую девушку... Боже, какой я низкий, подлый человек... Это более чем «некрасиво», — припомнилось ему выражение Кудрина, — это возмутительно, этому нет имени, — добавил он от себя.

Началось самобичевание.

Только почти под самое утро Николай Павлович наконец заснул, в конец разбитый испытанными им душевными страданиями.

Проснулся он в обычный час и наскоро, как обыкновенно, выпив чаю, уехал на службу.

В два часа дня он уже входил в столовую, так как это был назначенный час для общего их

обеда с отцом, и старик не любил неаккуратности.

Здесь Николай Павловича ждало неприятное известие.

— А у меня гость был, редкий гость! — заметил во время обеда Павел Кириллович.

Сын только бросил на него удивленно-вопросительный взгляд.

— Сам его превосходительство Федор Николаевич Хомутов неожиданно-негаданно пожаловал... — лукаво подмигнув сыну, продолжал он.

— А!.. — произнес Николай Павлович, но сердце его как-то инстинктивно упало, предчувствуя беду.

— Чего а? Будто ты и не знаешь, зачем он ко мне в такую даль старые кости тряс?..

— Почем же мне знать, батюшка...

— Ох, хитришь, Николай, с отцом не откровенен, не хорошо... — раздражительно продолжал Павел Кириллович.

Молодой Зарудин уже с нескрываемым удивлением поднял на него глаза.

— Я хитрю... Неоткровенен с вами... Батюшка, я положительно ничего не понимаю...

— Не понимаешь... — окинул его Павел Кириллович подозрительным взглядом. — Будь по-твоему... Коли не понимаешь, я тебе объясню...

Николай Павлович молчал.

— Ты это через день на Васильевский остров все о здоровье старика справляться катаешься? — после некоторой паузы спросил Зарудин-отец.

— Если это не нравится вам и Федору Николаевичу, то я могу и прекратить к нему свои визиты... — вспыхнул сын.

— Прекратить... — протянул старик. — Нет, шалишь, брат, теперь уже поздно...

— То есть как это поздно?

— Так, как бывает... его превосходительство, хотя и стороной, а тебя приезжал сватать...

— Сватать?..

Николай Павлович побледнел: назначенное через два часа свидание, в связи с приходом отца Натальи Федоровны и его сватовством, хотя и стороной, снова подняло в душе идеалиста Зарудина целую бурю вчерашних сомнений. Как человек крайностей, он не сомневался долее, что отец и дочь, быть может, по предварительному уговору — и непременно так, старался уверить он сам себя — решились расставить ему ловушку, гнусную ловушку, — пронеслось в его голове.

— Каким же образом он начал этот разговор с вами, батюшка? — упавшим голосом спросил он отца.

— Да ты чего это так с лица-то изменился?.. Не по нраву, что ли, прилась?.. Не любя она тебе?

— Не то, не то, батюшка, но так не... делается...

Он чуть было не рассказал отцу историю с запиской и о назначенном свидании, но какое-то внутреннее чувство удержало его. Он один должен быть судьей ее — его разрушенного идеала! Зачем вмешивать в эту историю других, хотя бы родного отца. Он сам ей в глаза скажет, как он смотрит на подобный ее поступок.

— А по-моему, так оно и делается... В чем другом, а в честности старику Хомутову отказать нельзя... Бурбон он, солдат, с Аракчеевым одного поля ягода, в этом мы с ним не сходимся, но прямой, честный, откровенный старик, — за это я его и люблю.

— Но с чего же он начал разговор?

— А с того, что заметил он, а потом и его жена, что уже чересчур сладко стал ты поглядывать на их дочку, так и явился о том его превосходительство доложить моему превосходительству... дозволю ли я открыть тебе военные действия против крепости, готовой к сдаче... — шуточно говорил Павел Кириллович.

Этот шуточный тон резал Николая Павловича ножом по сердцу.

— Я со своей стороны ничего бы не имел против этого брака, Наташа девушка хорошая, почтительная, образованная, да и не бесприданница, чай; тебе тоже жениться самая пора, как бишь его у немцев есть ученый или пророк, что ли, по-нашему... Лютер, так тот, кажется, сказал, что кто рано встал и рано женился, никогда о том не пожалеет, я немцев не люблю, а все же это умно сказано... Так с моей стороны препятствий не будет, я так и его превосходительству отпартовал, а с тобой, сказал ему, что переговорю... Какие же твои, Николай, намерения?..

Старик Зарудин остановился, вопросительно взглянул на сына и стал с аппетитом обглаживать ножку жирного гуся.

— Меня это застало врасплох... Я, признаться, не имел никаких определенных намерений... — растерянно отвечал Николай Павлович, чувствуя, что краска покрывает его лицо от этой невольной лжи.

— Никаких определенных намерений, — проговорил Павел Кириллович, прожевывая кусок, — не хорошо, брат, девку с ума сводить, ферлакурить, без определенных намерений, не считал я тебя за блазня... не хорошо, не одобряю...

— Но я и не ферлакурил... — попробовал оправдаться сын.

— А чего же ты там через день по вечерам около нее торчал?..

— Мы читали, беседовали...

— Беседовали, читали... знаем мы эти чтения, сами молодые были, сами читывали... Не хорошо, отец — мой старый приятель, семья уважаемая... ты в таком случае это брось, постепенно прекрати знакомство... а так не годится...

— Но, я...

— Нечего тут — «но, я», — раздражительно, обтирая салфеткою свои губы, продолжал ворчать Павел Кириллович, — говори что-нибудь одно, а вилять нечего, свататься хочешь, сам поеду, не хочешь, тоже сам съезжу, все напрямки выскажу старику, говорит сын, что беседовали, да читали, насчет любви со стороны моего сына ни чуточки...

— Да ведь я же этого не говорил!

— То есть, как не говорил, кабы любил, то под венец бы с радостью пошел, обрадовался бы,

что тебя тоже любят; не без венца ли хочешь обойтись, дочь генерала Хомутова в полюбовницы взять? — стал уже кричать расходившийся старик.

— Что вы, что вы, батюшка, у меня и вы мыслях не было... да притом же здесь... слуги, — уже шепотом добавил сын.

— Что мне, что слуги, я тебя, чай, не худу учу, что мне людей стесняться, а коли тебе зазорно, так на себя пеняй, да вдругорядь не делай! — выходил из себя Павел Кириллович.

«Объяснить ему, что происходит в моем сердце, но он не поймет; ведь и делает же он выводы...» — неслось в это время в голове Николая Павловича.

— Я прошу вас, батюшка, дать мне сроку до завтрашнего дня, завтра я вам дам ответ... и объясню все.

— Хорошо, до завтра, так до завтра... — смягчился старик безответностью сына. — Но только, чур, не вилать, а отвечать прямо, чтобы за тебя глазами хлопать не пришлось перед честными людьми.

Вскоре они встали из-за стола.

Николай Павлович посмотрел на часы. Было пять минут четвертого. Час свиданья приближался.

Павел Кириллович ушел к себе в кабинет курить послеобеденную трубку и подремать на кресле, а Николай Павлович отправился на свою половину и через четверть часа вышел из дому, озлобленный и мрачный.

— Я ей выскажу все... я ей отомщу за мой разрушенный идеал! С такими мыслями он велел остановиться извозчику на углу 6-й линии Васильевского острова и пошел пешком, мимо теперь почти ненавистного ему коричневого домика.

XXI

СВИДАНИЕ

На улице не было ни души.

В течение почти четверти часа прогулки Николая Павловича, по противоположной домику Хомутовых стороне улицы, с ним встретился только один вытянувшийся в струнку матросик.

Пройдясь несколько раз взад и вперед, Зарудин остановился довольно далеко от дома и стал наблюдать, то и дело поглядывая на часы.

Прошло еще несколько минут.

Наконец, из ворот дома вышли две женские фигуры, в которых Николай Павлович узнал Талечку и ее горничную.

Медленно перешел он на противоположную сторону и спокойно, шагом прогулки, пошел навстречу идущим.

Сердце его, между тем, усиленно билось.

Момент окончательного разрыва с еще вчера боготворимой им девушкой, так страшно быстро приближающийся, невольно заставлял его ощущать под маской наружного спокойствия внутреннюю, лихорадочную дрожь.

— Bon jour, mademoiselle! — чуть дрогнувшим голосом произнес он, слегка притрагиваясь к шляпе и останавливаясь перед Натальей Федоровной.

Он никогда не обращался к ней с этим французским приветствием, но теперь ему показалось, что только на этом языке утонченной вежливости он более всего может придать холодности этой встрече.

Талечка вскинула на него испуганно-умоляющий взор и покраснела как маков цвет.

— Здравствуйте! Вы к нам? — чуть слышно добавила она, и, казалось, еще более покраснела, если это только было возможно, от этой, видимо, с усилием вымолвленной лжи.

Вид этой страшно смущенной, растерянно стоявшей перед ним прелестной девушки заставил его в одно мгновение уже забыть весь составленный им ранее план разговора с ней, и вертевшийся на его языке язвительный ответ на ее невольную ложь, совершенно против его воли, сложился в другую фразу.

— Да, но, видимо, я попал не вовремя. Вы куда?

— К Кате Бахметьевой.

— Вы позволите немного проводить вас?

Наталья Федоровна низко наклонила голову в знак согласия.

Они пошли рядом.

Горничная почтительно замедлила шаги и пошла на довольно дальнем от них расстоянии.

Несколько минут они оба молчали.

Наталья Федоровна украдкой, видимо, боязливо, взглядывала на своего спутника, как бы собираясь с силами прервать тягостное для нее молчание.

— Я хотела вас видеть, — полушепотом начала она.

— Я поспешил, как видите, исполнить ваше желание, хотя признаюсь, получение вашей записки через третье лицо... — тоже вполголоса заговорил он. Видно было, что испытываемые им тревожения по поводу этой записки и разговора с отцом снова начали подымать всю прежнюю горечь в его сердце.

Она не дала ему договорить и поспешно прошептала:

— Простите, я хотела с вами говорить вчера, но вы приехали не один, я не знала, что мне делать, я так растерялась... а между тем, время не терпит, мне сегодня надо было все выяснить, все решить.

— Что выяснить, что решить?..

— Все! — с каким-то отчаянием в голосе повторила она.

Он замолчал, и по его губам скользнула почти презрительная усмешка.

«Пусть выскажется сама! Я не стану помогать ей! Это будет первым наказанием за ее

бестактность», — неслось в его голове.

Она тоже несколько минут молчала, как бы собираясь с мыслями.

— Помните, мы как-то еще недавно говорили с вами, что искреннее чувство всегда вызывает ответ в сердце того, к кому оно обращено, — чуть слышно, видимо, делая над собой невероятное усилие, начала говорить Наталья Федоровна. — Вы даже высказали тогда мысль, с которой я не совсем соглашаюсь, что искреннее чувство не только должно вызывать сочувствие, но прямо может требовать этого сочувствия, и такое требование не решится удовлетворить только черствый, бессердечный эгоист. Я еще возразила вам тогда, что может случиться, что тот, кто любит, далеко не соответствует идеалу любимого им. Вы сказали мне, что искренно, честно любить может только безусловно хороший человек, а такого человека нельзя не любить в свою очередь, что способность такой любви не дается в удел всем, а является лишь результатом нравственной высоты человека. Что же касается до физической красоты, то она, не в смысле правильных черт, конечно, почти всегда или сопровождает красоту нравственную, или же бледнеет и ступшевывается перед ней, так что в расчет приниматься не может. Я невольно согласилась с вами. Видите, как я все хорошо помню.

Она остановилась.

Николай Павлович, продолжая идти с ней рядом, не вымолвил ни слова. На его лице скользила лишь по временам все та же полупрезрительная улыбка.

«Не то, не то, совсем не то я говорю, надо сказать прямо, легче, скорее!» — проносилось в ее голове.

— Так вы меня удостоили вашего свидания лишь для того, чтобы повторить этот разговор? — тоном ледяной любезности спросил он, прождав несколько минут, не скажет ли она чего-нибудь еще.

Ее смутил его непривычный для ее слуха тон. Она бросила на него умоляюще-растерянный взгляд.

— Нет... не за этим только... мне надо было сказать вам... что есть одна особа... которая вас искренно любит... я хотела вас попросить за нее...

— Попросить... за нее... — повторил он. — Что же именно?

— Чтобы вы... разделили... ее чувства... она страдает, мучается...

— Если бы она, эта особа, — прервал он ее, подчеркнув последние слова, — решилась, как вы теперь, сказать мне это, то один подобный шаг вынудил бы меня отказать ей в уважении, а следовательно, и во взаимности...

Тон его, несмотря на то, что он говорил вполголоса, был более чем резким.

Он, казалось, умышленно отчеканивал каждое слово.

— Но она... она бы и не решилась... сказать сама... я сама вызвалась помочь ей... она не виновата... — заторопилась Талечка.

— Кто же эта она? Или мне надо догадаться? Разрешить эту шараду? — ядовито спросил он.

— Нет, зачем же догадываться... Я скажу... Это Катя Бахметьева... — совершенно просто ответила она.

Николай Павлович побледнел и почти до крови закусил нижнюю губу.

Очередь смутиться наступила для него.

Ее, эту чистую, прелестную девушку, он мог заподозрить в низких житейских расчетах, в бестактной ловле богатого жениха, а между тем, она... верная себе... хлопочет за другую, за свою подругу, далекая от каких-нибудь эгоистических помышлений. Для этой другой она решила написать ему записку, назначить свидание; сколько при этом вынесла она борьбы со своею девственною скромностью! Еще за минуту осуждаемые им ее вчерашний и сегодняшней поступки выросли мгновенно в его уме и получили окраску героических подвигов. Любовь к ней снова властно вернулась в его сердце, а часы сомнения, казалось, еще более усилили ее. Но что ему ответить ей? Что может, наконец, он ответить ей? Что он любит ее одну, что ему нет дела до чувств, питаемых к нему другими девушками. Что об его чувство к ней, как о гранитную скалу, разбиваются волны всех философских теорий. Да, впрочем, он приводил эту теорию не о том чувстве, которое теперь клопочет в его груди, но о чувстве братской взаимной любви. Надо объяснить ей это, начать хоть с этого... Она может принять его молчание, вызванное необычайным волнением, за согласие отвечать на любовь к той... к другой.

Все это в течение нескольких мгновений мысленно пережил он.

— Наш разговор, о котором вы вспомнили, касался, Наталья Федоровна, совершенно иного чувства любви, нежели то, которое, как я заключил из ваших слов, питает ко мне Екатерина Петровна, — начал он. — Я тоже готов любить ее, как друга, но она едва ли удовлетворится таким чувством. Иного же я питать к ней не могу...

— Почему? — наивно спросила Талечка.

— Потому, что я люблю другую...

— Другую! — упавшим голосом, в котором слышались нотки отчаяния, повторила она.

— Да, другую! — поглядел он на нее пытливым, полным любви взглядом.

Она не видала, а скорее почувствовала на себе этот взгляд и еще более смутилась.

— Кого? — сорвалось у нее с языка, но она тотчас же опомнилась. — Простите...

— Да неужели же вы до сих пор не поняли, что я люблю... вас, — подавленным шепотом произнес он, наклонившись к ней совсем близко.

Она вдруг побледнела и пошатнулась. Он ловко поддержал ее.

— Уйдите... я не могу... не в силах... говорить долее...

— Вы рассердились... простите...

— Нет, не то... не то... но я... не могу... Уйдите...

Она обернулась к шедшей в почтительном отдалении горничной и движением головы позвала ее. Последняя поспешила к ней.

— Мне что-то дурно, дай руку...

— Да не вернуться ли домой, барышня?

— Нет, теперь ближе к Бахметьевым... Я у них оправлюсь, это пройдет.

Они были на Большом проспекте, где жили Бахметьевы. Горничная взяла ее под руку. Николай Павлович был так поражен, что не вымолвил ни слова. Он машинально взял

протянутую ему на прощание руку Талечки...

Она, опираясь на руку служанки, шатаясь, пошла далее, он все еще продолжал стоять на одном месте, следя за ней почти бессмысленным взглядом.

«Она, она любит меня. А я, ничтожный, неблагодарный, себялюбивый негодяй, разве я стою ее!» — неслось в его голове.

XXII

КЛЯТВА

Большой проспект Васильевского острова того времени, как и ныне, представлял из себя улицу застроенную домами, перед каждым из которых был палисадник, а сама улица у тротуаров была обсажена деревцами, а тротуар тоже состоял из деревянной настилки. Мостовая была замощена лишь на половину.

В одном из таких деревянных домиков, принадлежащем в собственность Мавре Сергеевне Бахметьевой, проживала она со своею дочерью.

Женщина она была далеко не состоятельная, жила маленькой пенсией после покойного мужа, да доходом с небольшого имения в Тверской губернии, но злые языки уверяли, что у Мавры Сергеевны спрятана кубышка с капиталцем, который она предназначает дать в приданое своей любимой дочке, но строго охраняет его существование, чтобы не подумать, что сватаются не за красавицу Катиш (красавицей считала ее мать), а за кубышку. Насколько это было верно — судить было трудно. Верно было одно, что мать ни в чем не отказывала своей балованной дочке.

Небольшой домик был разделен на две половины; заднюю занимали жильцы, а в передней с пятью окнами, выходящими на улицу и украшенными зелеными ставнями, краска с которых почти слезла, жили сами хозяева.

Обстановка их квартиры была солидна и прилична: массивные стулья, столы и диваны красного дерева отличались необыкновенной чистотой — крепостной прислуги в доме было несколько человек. Самым уютным, впрочем, уголком была угловая светленькая комната Екатерины Петровны.

Во всем, начиная с белоснежной постели и кончая горкой красного дерева с зеркалами внутри и стеклянными стенками, наполненной разного рода безделушками — видна была рука боготворившей свою дочь матери.

Екатерина Петровна два дня, в которые она не видала Талечку, с того памятного, вероятно, читателю свидания, была в страшно удрученном состоянии духа.

Она несколько раз принималась плакать, так что глаза ее были красны от слез, несколько раз хотела бежать к Хомутовым, чтобы остановить Талечку от объяснения с Зарудиным, начинала два раза писать ей письмо, но ни одно не окончив рвала на мелкие кусочки. Наконец, решила, что будь, что будет и с сердечным трепетом стала ожидать обещанного прихода подруги.

Такое состояние духа дочери, конечно, не ускользнуло от Мавры Сергеевны, но на все ее расспросы она получала лишь уклончивые ответы Кати, что ей просто нездоровится, болит голова и расстроены нервы.

— И что это с ней делается, ума не приложу, — говорила она старой няньке Екатерины Сергеевны Акулине, добродушной старушке с вечно слезящимися глазами.

Последняя только печально качала головой, что приводило в еще большее уныние старуху Бахметьеву.

«Наверное влюбилась, девушка, в самой что ни на есть поре, надо за ней глаз да глаз теперь, — рассуждала сама с собой Мавра Сергеевна. — Но в кого?»

Этот вопрос оставался открытым даже для наблюдательной и зоркой матери.

Дочь не была в этом случае откровенна с матерью.

Дом Хомутовых был единственный, куда Мавра Сергеевна отпускала зачастую свою дочь одну, в домах же остальных знакомых и у себя — ни там, ни здесь не бывал Зарудин, — она не могла наметить кавалера, к которому бы дочь относилась с исключительным вниманием.

Наконец, в их квартире дрогнул звонок, на который стремительно выбежала Екатерина Петровна и заключила в свои объятия вошедшую Талечку.

Последняя хотя и оправилась от охватившего ее первого волнения, но была бледна и растеряна.

«Что скажет она Кате?» — было ее первою мыслью, когда она простилась с Зарудиным.

Те страдания, которые она невольно причинит своей подруге, сказав правду, — а что может сказать она, кроме правды, — отзывались с болью в ее сердце. О, как желала бы она поменяться с нею ролями! Теперь ей тяжелее, невыносимо тяжелее: она любима, она знает это, любима человеком, которого она любит сама, а между нею и этим человеком стоит непреодолимая преграда, стоит другая, нелюбимая им девушка, но ее друг, которой она дала слово, страшное слово не быть ее соперницей, эта девушка — Катя, которая так доверчиво и искренно дарит ее теперь своим поцелуем.

От Екатерины Петровны не ускользнула бледность и расстроенный вид Талечки. В них она прочитала себе приговор и побледнела в свою очередь.

— Что с тобою? Что случилось? Он...

— Перестань, потом, не при людях, — успела остановить ее Наталья Федоровна.

Молодые девушки вошли в комнаты, Талечка поздоровалась с Маврой Сергеевной, вышедшей к ней навстречу, и затем прошла в комнату Кати.

Молодые девушки остались одни.

— Ну, что и как... говори... — почти простонала последняя.

Талечка молчала, с каким-то виноватым видом смотря на свою подругу и вдруг неудержимо зарыдала. Екатерина Петровна поняла.

— Что?..

Я угадала... он любит тебя... и сказал тебе это, когда ты начала говорить обо мне.

— Почему ты это знаешь? — сквозь слезы спросила Наталья Федоровна.

— Не трудно догадаться... Но от чего ты плачешь... разве от счастья? — уже с ядовитой насмешкой продолжала та.

Талечка вскинула на нее отуманенные слезами глаза.

— Я прощаю тебе лишь потому, что знаю, что ты несчастна!

Катя нервно захохотала.

— Она прощает меня! Слышите, она прощает меня! — взволнованная до крайности девушка почти выкрикнула эти слова. — Ей надо было вмешаться в это дело, вызваться ходатайствовать за меня перед ним, вероятно, лишь для того, чтобы вырвать у него признание. Она, конечно, довольна, а теперь лицемерно плачет передо мной и даже решается говорить, что она меня прощает, когда я, наконец, срываю с нее постыдную маску.

Екатерина Петровна вскочила со стула и начала нервно ходить по комнате.

— Катя... Катя... опомнись, что ты говоришь! — хотела было тоже встать Наталья Федоровна с кресла, но бессильно снова упала в него, истерически зарыдав.

Екатерина Петровна поняла, что зашла слишком далеко, но клокотавшая злоба не улеглась еще в ее сердце; она не бросилась к своей подруге, умоляя о прощении, она налила только стакан воды и подошла к рыдавшей навзрыд Талечке.

— Полно, полно, успокойся... Услышит мать, начнет допрашивать... Я высказала свое мнение, но слишком резко. За последнее извини...

Она держала одной рукой ее голову, а другой прикладывала к ее пересохшим губам стакан с водою.

Талечка сделала несколько маленьких глотков.

— Свое мнение; грех тебе, Катя, большой грех, — прерывая слова рыданиями, заговорила она. — Хорошего же ты мнения о своем друге.

— Нынче нет друзей! Видно, прав Сережа Талицкий, что дружба двух девушек все равно, что собачья дружба, только последняя продолжается до первой брошенной кости, а первая до первого появившегося жениха.

Сережа Талицкий был молоденький артиллерийский офицер, недавно выпущенный из шляхетского корпуса. Он приходился троюродным братом Кати Бахметьевой. Рано лишившись отца и матери, он в Мавре Сергеевне нашел вторую мать, и все время пребывания в корпусе проводил в доме Бахметьевой. По выходе в офицеры, он пустился во все тяжкие, сделался типом петербургского «блазня» и был на дурном счету у начальства в это строгое Аракчеевское время.

Наталья Федоровна его недолюбливала: он не выдерживал сравнения с серьезным Николаем Павловичем, представителем мыслящего офицерства того времени.

— Мне очень жаль, что ты судишь обо мне по тем девушкам, о которых говорит и среди которых вращается Сергей Дмитриевич — так звали Талицкого, — запальчиво произнесла она.

— Все одинаковы, — настаивала Екатерина Петровна, продолжая срывать на подруге свою злость.

— Повторяю, напрасно. Если я заплакала, то заплакала только о тебе. О себе мне плакать нечего, да и притворяться нечего, последнего, впрочем, я слава Богу, и не умею. Я третьего дня еще сказала тебе, что не люблю его, и хотя раздумав после, убедилась, что сказала неправду, но и теперь даю тебе слово, мое честное слово, что не сделаюсь твоей соперницей

и никогда не соглашусь выйти за него замуж, хотя не далее получаса тому назад он действительно сказал мне, что он меня любит.

Катя сделала нетерпеливый жест, но Талечка не дала ей заговорить.

— Ты скажешь потом, а теперь выслушай меня до конца. Я хочу снять с себя незаслуженное мною твое обвинение.

Наталья Федоровна подробно рассказала, как историю с запиской, так и сегодняшний разговор с Зарудиным.

— Поверь мне, что для себя я не стала бы переносить таких нравственных мук и сумела бы иначе, легче заставить его высказаться, если бы хотела. Повторяю тебе, что женою его я никогда не буду. Клянусь тебе в том, слышишь, клянусь!.. Я не признаю дружбы, могущей порваться вследствие брошенной кости...

Она говорила это, все продолжая обливаться неудержимыми слезами.

Екатерина Петровна слушала ее молча, стоя около небольшого столика, на который поставила недопитый Талечкой стакан с водой, на лице ее были видны переживаемые быстро друг за другом сменяющиеся впечатления. Когда же Наталья Федоровна кончила, она тихо подошла к ней, опустилась перед ней на колени и, полная искреннего раскаяния, произнесла:

— Прости, прости меня, я сумасшедшая, я теперь только окончательно узнала твое самоотверженное золотое сердце...

Молодая девушка упала головой в колени Талечки и в свою очередь глухо зарыдала.

Наталья Федоровна понимала, что она плакала не только от раскаяния в своей вине перед ней, но и от обрушившегося на нее более тяжелого удара судьбы, а потому дала ей выплакаться.

«Слезы облегчают, они очищают душу, проясняют ум и смягчают страдания наболевшего сердца», — припомнилось ей где-то прочтенное выражение.

Она также тихо продолжала плакать, склонившись над плачущей подругой.

Вид этих двух девушек, прелестных, каждая в своем роде, созданных, казалось, для безмятежного счастья и переживающих первое жизненное горе, произвел бы на постороннего зрителя тяжелое, удручающее впечатление.

Такого постороннего зрителя, впрочем, не было.

Мавра Сергеевна хлопотала по хозяйству и не заходила к дочери, надеясь, что ее благоразумная подруга, какой она считала Хомутову, разговорит ее заблажившую дочь.

Наплакавшись вдоволь, молодые девушки кончили тем, что помирились, и Наталья Федоровна начала утешать Катю, представляла ей, что разум должен руководить чувством и что отчаяние есть позорная слабость и тяжкий смертный грех.

Она, впрочем, сама худо верила в те истины, которые проповедовала.

Предчувствие тяжелой борьбы между чувством и долгом рисовало ей мрачные картины будущего.

Когда мать Екатерины Петровны позвала их пить чай, они обе казались покойными и лишь

краснота глаз выдавала, что между ними произошло нечто, заставившее их плакать.

Мавра Сергеевна однако не заметила и этого. Она видела, что ее Катиш как будто повеселела и была довольна.

XXIII

МАСОН

Николай Павлович Зарудин прямо с Большого проспекта поехал к Андрею Павловичу Кудрину. Ему необходимо было высказаться, а Кудрин, кроме того, что был его единственным, задушевым другом, самим Провидением, казалось Зарудину, был замешан в это дело случайно переданною ему Натальей Федоровной запиской.

Кудрин жил на Литейной, занимая небольшую, но уютную, комфортабельную меблированную холостую квартиру. Когда Николай Павлович приехал к нему, то он только что встал после послеобеденного сна и читал книгу: «Об истинном христианстве», в переводе известного масона времен Екатерины II И. Тургенева.

Андрей Павлович был действительным членом, посвященным масоном одной из петербургских лож и прошел уже степень «аппрантива», то есть учащегося, до степени «компаниона».

Эта степень возлагала на члена обязанность распространять масонское учение и давала права рекомендации в ложу «аппрантивов».

Кудрин со страстной энергией исполнял эту обязанность и успел привлечь уже очень многих. В описываемое нами время он постепенно увлекал в ложу и Зарудина, и тот зачастую по целым вечерам проводил, внимательно слушая увлекательную проповедь своего друга, так что поступление в масоны и Зарудина было только делом времени.

Андрей Павлович не удивился приезду к нему Николая Павловича, так как знал о полученной записке и ожидал, что его друг не скроет от него результата любовного послания, которого он был случайным почтальоном.

— Ну, что, как дела, дружище, — шутливым тоном начал было он, но взглянув в лицо своего гостя, сразу оборвал фразу.

— Что с тобою? На тебе лица нет.

— Я презренный негодяй, подлец... Каждый честный человек имеет полное право сказать мне это в лицо... — начал тот, бессильно опускаясь в одно из покойных кресел кабинета Андрея Павловича.

— Самоуничжение паче гордости. Но в чем дело, расскажи толком? — спросил последний, привыкший к припадкам самобичевания своего приятеля.

Зарудин в подробности рассказал ему, как содержание записки, так и впечатление, произведенное им на него, подкрепленное долгим разговором с отцом, и, наконец, беседу его с Натальей Федоровной, беседу, возвысившую ее в его глазах до недостижимого идеала и низвергнувшую его самого в пропасть самопрезрения.

— Разве можно после этого жить? — заключил свой рассказ Николай Павлович.

Кудрин внимательно и серьезно слушал своего приятеля, но при последнем его восклицании не мог не улыбнуться.

— Не только можно, но должно. Теперь только начинается твоя жизнь... Ты знаешь, что она любит тебя. Твои и ее родители согласны, зачем же стало дело? Веселым пирком, да и за свадебку.

— Нет, я не стою ее. Повторяю тебе, что с нынешнего дня я стал самого себя презирать, стал самому себе ненавистен. Человек, осмелившийся заклеить ее малейшим подозрением — ей не пара.

— Но, во-первых, в основе этого подозрения лежала твоя безумная к ней любовь, это была просто ревность к идеалу, которым, ты полагал, она перестала быть, а во-вторых, что касается вопроса, стоишь ли ты ее, то это уже исключительно ее дело. Если же ты хочешь слышать мое мнение, пожалуй, скажу тебе откровенно, что действительно не стоишь.

Зарудин посмотрел на него вопросительно.

— Я не хочу этим тебя обидеть, сказать, что ты лично ее не стоишь, но я, несмотря на то, что видел ее всего один раз в жизни, каким-то внутренним инстинктом почувствовал, что нравственно она выше всех не только современных женщин, но и мужчин, и что она положительно «не от мира сего».

— Ты прав, ты совершенно прав, — даже привскочил с кресла Зарудин и, схватив руку Кудрина, стал крепко жать ее. — Я из более продолжительного знакомства с нею вынес такое же впечатление — это положительно ангел во плоти.

Андрей Павлович грустно улыбнулся.

— Одно не хорошо, что этим ангелом во плоти всегда трудно живется на грешной земле. Сдается мне, что Наталья Федоровна не будет счастлива даже с тобой.

— Ну, относительно себя-то я отвечаю, я окружу ее таким попечением, такую ласкою, устраню от нее все житейские заботы, что быть несчастливой у нее не будет причин.

— Ей не этого, поверь мне, нужно, ей нужно чистую, неколеблящуюся сомнениями душу, нужно участие в благотворной деятельности. Ты в силах доставить и это, но почему ты до сих пор уклоняешься?

— Ты говоришь о моем продолжительном колебании поступить в масонскую ложу? — прервал его Николай Павлович.

— Именно об этом. Когда я говорю с тобой, ты, по-видимому, убеждаешься, а затем, слушая людские толки, снова сомневаешься, а между тем, твоя будущая невеста обладает всеми масонскими качествами и ей ты мог бы, не колеблясь, отдать те замшевые белые дамские перчатки, которые дают каждому из нас при приеме в масоны, вместе с другими атрибутами масонства и другой парой мужских перчаток, даваемых нам в знак чистоты наших дел.

— Все это так, дружище, — заметил Зарудин, — но поступление в масоны я считаю таким жизненным шагом, на который нельзя решаться опрометью. Слушая тебя я на самом деле искренно желал бы работать вместе с тобою, а между тем, кругом меня в обществе говорят о вас — я буду откровенен — или хорошо, или очень дурно. Многие считают вас безбожниками.

Кудрин весь вспыхнул, его глаза загорелись, видно было, что его приятель задел его слабую струну.

Долго и неудержимо стал говорить он о сущности и целях масонства. Увлекательная речь ярого масона не осталась без воздействия на Зарудина: предстоящее сватовство последнего за Хомутову отодвинулось в мыслях обоих, беседовавших далеко за полночь, приятелей на второй план.

Николай Павлович, впрочем, вышел от Кудрина с твердым намерением как поступить в масонскую ложу, так и отдать перчатки не кому иному, как своей законной жене Наталье Федоровне, урожденной Хомутовой.

XXIV

БОЛЕЗНЬ ТАЛЕЧКИ

На другой день, после обеда, Николай Павлович Зарудин имел со своим отцом продолжительное объяснение; он выложил перед ним всю свою душу и не утаил ничего, окончив просьбою самому явиться за него сватом к старику Хомутову.

— Добро, добро, сынок, — заметил Павел Кириллович. — Съезжу, завтра же съезжу, такая невестка и мне по душе, лучше девушки тебе не только в Петербурге, но во всем мире не сыскать.

— Я не знаю, как благодарить вас, батюшка! — радостно воскликнул Николай Павлович.

— Нечего благодарить заранее, как еще невеста согласится, мало ли что смутилась она, когда ты ей прямо брякнул о своей любви, может, просто стыдно ей стало от слов твоих.

У молодого Зарудина похолодело сердце.

«А что, если отец говорит правду, если она и не думает разделять его любовь... Что же такое, в самом деле, что она смутилась, почти лишилась чувств при его неожиданном признании. Может, потому-то она и ходатайствовала за другую, что совершенно равнодушна к нему, а он приписал это самоотвержению ее благородного сердца», — замелькали в его голове отрывочные мысли.

Он не высказал их отцу, но целый вечер и целую ночь не мог выгнать из своей головы гвоздем засевшего в нем, леденящего ему кровь вопроса: «А вдруг она ему откажет?»

Наталья Федоровна хотя и не отказала, но Павел Кириллович привез на другой день сыну весьма не радостные вести.

Дочь Хомутовых оказалась тяжело больной.

— Приехал я, в доме у них дым коромыслом, — повествовал старик, сидя с трубкой в зубах на диване своего кабинета, сидевшему перед ним смертельно бледному сыну, — два доктора. Сам Федор Николаевич совсем без ума от горя. «Не знаю, — говорит, — с чего это с ней приключилось. Пошла позавчера к своей подруге Кате Бахметьевой здоровехонька, а вернулась бледная, скучная, в ночь же жар сделался, мечется, бредит, все про эту Катю, да про вашего сына Николая Павловича... А что она говорит о них не разберешь...» Я тут не вытерпел и все старику выложил.

— Как все?

— Так все, что знал, тем более, он сказал мне, что и доктора говорят, что приключилась с ней

болезнь эта от сильного потрясения, а старик плачет, не может понять, какое такое потрясение-то?

— Что же Федор Николаевич? — еле выговорил от волнения молодой Зарудин.

— Что? Ничего!.. Говорит, скажу жене, чтобы не пускали к ней эту озорную Бахметьиху, еще пуще ее расстроит... всю кашу эту она заварила. Талечке бы и невдомек... Я тут начал его утешать... Дарья Алексеевна вошла, сообщила, что больная после приема лекарства заснула... Его превосходительство немножко успокоился, но я все же счел нужным замолвить словечко о тебе и о твоём предложении... Оба старика не прочь, за честь поблагодарили, но решили мы, что надо обождать до возвращения твоего из лагеря, выздоровеет она, оправится, тогда и говорить с ней будут, а раньше ни-ни... И ты уж туда не ездь, чтобы пуще ее не тревожить... Если она спросит ненароком, куда ты запропал, тогда сейчас тебе знать дадут, а то так зря нечего ее и расстраивать... А в августе, в сентябре, мы это все дело оборудуем... — прибавил Павел Кириллович ободряющим тоном, видя, что сын окончательно упал духом...

Николай Павлович молчал.

— Родители обещали, а обещанного, знаешь, три года ждут... Талечку же можно подождать и дольше... — пошутил старик.

— Нет, видно, не видать мне этого счастья! — с отчаянием в голосе произнес сын, и щекам его скатились две горячие слезы.

— Стыдись, ведь ты офицер, а не баба, чтобы из-за пустяков реветь... — рассердился Павел Кириллович, не выносивший слез. — Девушка прихворнула, выздоровеет, еще краше будет, окрутим мы вас лучшим манером, после Успенского поста...

Николай Павлович через силу грустно улыбнулся.

Какое-то тяжелое предчувствие говорило ему иное. Он был убежден, что эта невольная отсрочка имеет для него нечто роковое.

Он и не ошибся: она действительно была роковой.

Николай Павлович прямо из кабинета отца поехал к своему другу Андрею Павловичу и только его мощное слово утешения заставило его несколько приободриться и терпеливо ждать решения своей участи, хотя в сердце нет-нет, да и подымались тяжелые предчувствия.

— Все Бог делает к лучшему, — говорил Кудрин, — ты сосредоточишься и решишься, наконец, вступить в нашу ложу, заняться деятельностью, в которой впоследствии твоя жена будет тебе верной помощницей.

Зарудин согласился со своим другом. Его мучила только предстоящая, быть может, долгая, а главное бессрочная разлука с боготворимой им девушкой.

Но он примирился и с этим, отдавшись службе и чтению книг.

Наталья Федоровна тоже часто задумывалась о причинах совершенного непосещения их дома молодым Зарудиным, но вместе с тем и была довольна этим обстоятельством: ей казалось, что время даст ей большую силу отказаться от любимого человека, когда он сделает ей предложение, в чем она не сомневалась и что подтверждалось в ее глазах сравнительно частыми посещениями старика Зарудина, их таинственными переговорами с отцом и матерью, и странными взглядами, бросаемыми на нее этими последними.

То, что отцу и матери известно все, что произошло между ней, Катей Бахметьевой и

Николаем Павловичем, для Талочки было ясно из того, что мать старалась всячески отдалять ее от этой подруги.

Значит, молодой Зарудин передал все Павлу Кирилловичу, а тот ее отцу и матери, а Николай Павлович, умозаключала она, мог передать все отцу только при просьбе о согласии на брак с нею.

Наталья Федоровна удивлялась только, чего они медлят сообщить ей, хотя, повторяем, радовалась этой медленности.

Оправившись после нервной горячки, которая выдержала ее в постели более шести недель, она первое время была очень слаба, но затем молодость и здоровая натура взяли свое и она стала поправляться и даже хорошеть, как говорится, не по дням, а по часам.

Но возрождающиеся физические силы далеко не соответствовали силам душевным, нравственному состоянию Талочки — оно продолжало быть угнетенным.

Молчаливая, задумчивая, ходила она из угла в угол по своей комнате, или по целым часам сидела за книгой, видимо, не читая ее, но лишь уставившись глазами в страницу: мысли ее были далеко.

Где витали они?

Главным образом, должны мы заметить, они сосредоточивались на вопросе, что будет, когда молодой Зарудин, поддерживаемый своим отцом, к которому ее отец питает дружбу и уважение, а также ее родителями, выступит с официальной просьбой ее руки. Хватит ли у нее сил противостоять этой просьбе горячо любимого человека и настоянию родителей, конечно, сторонников молодого Зарудина, считающих его хорошей партией для их дочери, а потому, естественно, желающих узнать лично от нее причины странного отказа человеку, которому она так явно на их глазах и так долго симпатизировала?

Что скажет она им? Правду. Но придадут ли они какое-нибудь значение клятве, данной ею подруге? Не назовут ли они ее ребячеством, глупостью?

«И будут правы!» — шевелилось даже изредка в уме Натальи Федоровны.

«Что делать? У кого просить поддержки, помощи?» — мелькала неотвязная мысль.

Горячо молилась Наталья Федоровна о том же перед образом Божьей Матери, старинного письма, висевшем в ее комнате.

И помощь явилась откуда она вовсе ее не ожидала.

Тот же домашний доктор Хомутовых Федор Карлович Кранц, вылечивший Талочку от физической болезни, когда старики Хомутовы передали ему о странном состоянии духа их дочери, посоветовал доставлять ей как можно более развлечений.

На другой же день Федор Николаевич повез ее на излюбленное место гуляний тогдашних петербуржцев — Крестовский остров.

Там Наталья Федоровна встретила с неожиданным и могущественным союзником.

XXV

КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ

В 1805 году Крестовский остров, ныне второстепенное место публичных гуляний, далеко не отличающееся никаким особенным изяществом, был, напротив того, сборным пунктом для самой блестящей петербургской публики, которая под звуки двух или трех военных оркестров, гуляла по широкой, очень широкой, усыпанной красноватым песком и обставленной зелеными деревянными диванчиками, дороге, шедшей по берегу зеркальной Невы, в виду расположенных на противоположном берегу изящных дач камергера Зиновьева, графа Лавалля и Дмитрия Львовича Нарышкина, тогдашнего обер-егермейстера.

Последняя из названных дач, в особенности, обращала на себя тогда общее внимание, благодаря личности своего богача-владельца.

Дмитрий Львович славился, во-первых, тем, что у него был удивительный хор роговой музыки, состоявший из полсотни придворных егерей, игравших на позолоченных охотничьих рожках, словно один человек, с необыкновенным искусством и превосходною гармониею, заставлявших удивляться всех иностранцев, из числа которых нашелся даже один англичанин-эксцентрик, приехавший нарочно в Петербург из своего туманного Лондона, чтобы взглянуть на прелестную решетку Летнего сада и послушать Нарышкинский хор. Во-вторых, Дмитрий Львович имел и другие права на знаменитость, а именно: супруга его, прелестнейшая из прелестнейших женщин, столь известная Марья Антоновна, пользовалась особенным вниманием императора Александра Павловича.

Марья Антоновна Нарышкина имела какую-то странную антипатию к графу Алексею Андреевичу Аракчееву и постоянно и резко проявляла перед государем свое нерасположение к «выслужившемуся гатчинскому фельдфебелю», как называла она графа.

Антипатия эта доходила до такой степени, что в гостиной Марьи Антоновны имя Аракчеева считалось контрабандой, никто никогда не осмеливался произносить его, и примером такой сдержанности служил сам государь, ежедневно бывавший у очаровательной «Армиды», как называли Марью Антоновну тогдашние льстецы.

В свою очередь и Аракчеев всею силою своей души ненавидел Марью Антоновну, благодаря влиянию которой многое в государственной машине, им управляемой, делалось помимо его воли.

Не имея возможности выслеживать государя Александра Павловича в его Капуе, то есть на даче у Нарышкиных, граф Алексей Андреевич в то время, когда государь проводил время в обществе Марьи Антоновны, то беседуя с нею в ее будуаре, то превращаясь в послушного ученика, которому веселая хозяйка преподавала игру на фортепиано, то прогуливаясь с нею в ее раззолоченном катере по Неве, в сопровождении другого катера, везшего весь хор знаменитой роговой музыки, царский любимец нашел, однако, способ не терять Александра Павловича из виду даже и там, куда сам не мог проникнуть.

Мало чувствительный к какой бы то ни было музыке, Аракчеев — искренно или нет — очень жаловал нарышкинскую роговую музыку и от времени до времени жители Петербургской стороны, особенно Зеленой улицы, видали летом под вечер едущую мимо их окон довольно неуклюжую зеленую коляску на изрядно высоком ходу; коляска ехала не быстро, запряженная не четверкою цугом, как все ездили тогда, а четверкою в ряд, по-видимому, тяжелых, дюжих артиллерийских коней.

В коляске на заднем месте помещался скучный, неуклюжий генерал, в высокой шляпе по форме с черным султанчиком, а на передке перед ним молодой сухопарый офицер в шляпе также с черным султанчиком, что означало пехотинца.

Генерал, по-видимому, от времени до времени что-то говорил, глядя в упор на сухопарого,

жиденского офицера с острым ястребиным носом и вообще какою-то птичьей физиономией.

И адъютант, как заметно было, что-то отвечал, почтительно приподымая за угол свою шляпу, обращенную углами взад и вперед, между тем как углы генеральской шляпы были над плечами.

Эти генерал и офицер были: граф Алексей Андреевич Аракчеев и капитан лейб-гвардии гренадерского полка Петр Андреевич Клейнмихель, крестник графа Аракчеева, часто сопутствовавший ему в его прогулках, заменяя адъютанта, назначение которым состоялось в 1812 году, по переводе его в Преображенский полк.

Алексей Андреевич отправлялся, таким образом, на Зиновьевскую дачу, чтобы оттуда слушать Нарышкинскую роговую музыку, звуки которой неслись или с Нарышкинской дачи, или с катеров, в которых каталась Марья Антоновна.

Аракчеев сживал обыкновенно на балконе Зиновьевской дачи или на береговой террасе, уставленной мраморными вазами с росшими в них кустами алых, белых и желтых роз и оттуда, невидимый с катера, прикрытый густотой растений, зорко наблюдал за всеми движениями своего — как он называл государя Александра Павловича — «благодетеля».

На другое утро Аракчеев при докладе, находил время довольно ловко и всегда желчно сказать что-нибудь колкое насчет отношений Александра Павловича к Марье Антоновне.

Достоин внимания однако, что император, тогда еще во всем цвете молодого возраста, принимал все эти бутады своего верноподданного друга всегда с улыбкою.

XXVI

RITTER SPIEL

По берегу Крестовского острова, восемьдесят лет тому назад, при звуках военных оркестров, с одной, то есть с сухопутной стороны и роговой придворной музыки, несшейся или с реки, или с противоположной Нарышкинской дачи, прогуливался, смело можно сказать, весь Петербург de la hante volee, самого высшего, блестящего общества. Это происходило в будни в течение целого лета.

По воскресеньям же Крестовский остров делался центром сборища всего немецкого петербургского населения, часть которого угощалась в обширном деревянном трактире, находившемся на берегу, совершенно напротив Зиновьевской дачи, где был перевоз от конца Зеленой улицы, так как в те времена о Крестовском мосте и помину не было. Другая же часть публики обыкновенно привозила с собою корзины с различною домашнею провизиею, которые были переносимы с яликов и ялботов на берег различными домочадцами ремесленно-патриархального быта, состоявшими, преимущественно, из мальчишек, большею частью босоногих, в полосатых тиковых халатиках.

Эти таборы покрывали почти весь склон берега, где дымились самовары, кипели кофейники, распространявшие на изрядное пространство запах жженого цикория, и где было разливное море пенящегося пива, в те благословенные времена общей дешевизны продававшегося чуть ли не за три копейки медью бутылка.

По воскресеньям, против трактира гремели оркестры, то военный, то так называемый бальный, и под звуки последнего, когда он играл, например, какой-нибудь любимый немецкий вальс на голос: «Ah, du mein lieber Augustin!», некоторые особенно ярые любители танцев

пускались даже в самый отчаянный пляс на эспланаде, усыпанной довольно крупноватым песком.

Кроме того, здесь в разных местах были различные качели. На берегу, или около той части берега, которая выходила напротив дачи графини Лаваль, стояли летние деревянные горы, с которых беспрестанно слетали колясочки или кресельцы на колесах, и на них сидели большею частью пары, причем дама помещалась у кавалера на коленях и притом всегда жантильничала, выражая жантильность эту криками и визгами, между тем как кавалеры, обнаруживая чрезвычайную храбрость при слетании колесных саночек с вершины горы, заливались истерическим хохотом и сыпали бесчисленное множество немецких вицов, в остроумности которых вполне убеждены были их творцы, молодые булочники, сапожники, портные, слесаря и прочие.

Но самое большое и истинно изящное удовольствие именно этой молодежи было их Ritter Spiel, то есть рыцарская игра, которой немцы крайне дорожили. Она состояла в следующем: подле трактира, по одной с ним лицевой линии, построен был какой-то павильон с восемью длинными, горизонтальными окнами, поставленными, впрочем, очень высоко. Крыша была в виде купола, также вся в окошечках, дававших свет в обширную, круглую ротонду, вдоль стен которой находилось восемь столбов, и на этих столбах какие-то крюки, поддерживающие сделанные из папки турецкие и арабские головы в чалмах. Посреди ротонды круглый, возвышенный пол вертелся посредством оси, соединенной внизу с рычагом, с помощью которого пол приводился в движение бегающими под ним, впряженными в постромки, лошадьми.

На этом вертящемся полу или барабане были поставлены шесть деревянных коней, каждый в разнообразной позитуре, но все в такой, однако, чтобы все четыре ноги непременно упирались в пол. Все эти шесть лошадей, в натуральный рост, были тщательно выкрашены, снабжены гривами, челками и хвостами из настоящих конских волос. Сверх того, они были замундштучены настоящими мундштуками и оседланы английскими седлами с разнообразными чапраками, красными, голубыми, зелеными, желтыми, медвежьими и тигровыми. Независимо от различия по чапракам, деревянные кони различались и мастями. Так, один конь был как смоль вороной, с огромной белой лысиной, в белых же чулках; другой — словно снег белый, такой белый, какие в природе едва ли встречаются; третий — серый, в стальных, голубоватых яблоках, с черным волосом на хвосте и гриве; четвертый — гнедой; пятый — красно-рыжий; шестой — соловой, то есть желто-оранжевый с белым волосом.

Это и был затейливый карусель для рыцарской игры.

Молодые немцы садились на этих величественных коней, вооружались дротиками или палашами, подвязанными у седла каждого коня, восклицали: «гоп!» и пол начинал свое вращательное движение, увлекая и коней, и всадников, которые с большею или меньшею ловкостью, сидя на деревянных конях, сшибали кольца, привинченные на крюках, и нанизывали их на свои шпаги и дротики, а потом упражнялись в сшибании турецких и черных негритянских или арабских голов.

Таковы были незатейливые развлечения того времени.

XXVII

ВСТРЕЧА С АРАКЧЕЕВЫМ

В один светлый петербургский вечер в июне месяце 1805 года, множество яликов и ялботов

реяло по Неве от пристани в конце Зеленой улицы к той пристани, которая была на Крестовском острове, насупротив Зиновьевой дачи, почти на том самом месте, где теперь тянется длинный деревянный Крестовский мост.

День был не праздничный, но многим петербургским жителям и дачникам окрестностей «деревянной мостовой», то есть Зеленой улицы, хотелось подышать чистым воздухом, людей посмотреть и себя показать, услаждая слух роговой музыкой Нарышкинского хора.

Беспрестанно более или менее нарядная и щеголеватая публика сходилась с причаливших яликов.

В одном из таких яликов прибыл на остров и Федор Николаевич Хомутов с дочерью.

Они тихо стали прогуливаться по берегу, вдыхая с наслаждением ароматный воздух, разглядывая нарядную толпу гуляющих и прислушиваясь к нежащим слух, несшимся с реки звукам музыки.

Старик Хомутов с радостью замечал, что прогулка развлекает Талечку, она оживленно беседовала с отцом, расспрашивала о встречающихся незнакомых ей лицах, раскланивавшихся с Федором Николаевичем, на лице ее появилось даже резкое за последнее время одушевление, а на губах заиграла давно невиданная улыбка.

Вдруг на острове произошло необычайное движение. Пестрая толпа бросилась по направлению к карусели, около которого была уже масса любопытных.

Из уст в уста таинственно передавалось имя Аракчеева.

— Граф Аракчеев накрыл офицеров, — говорили в толпе.

Федор Николаевич и Талечка, как раз были в это время около этого павильона и, укрываясь от хлынувшего на них народа, должны были войти в открытые настежь двери Ritter Spiel'я.

Там действительно были, кроме пробравшихся ранее любопытных, граф Алексей Андреевич Аракчеев и Петр Андреевич Клейнмихель.

Перед всеильным графом стояли на вытяжку четыре молоденьких, видимо, недавно выпущенных гвардейских офицера. По их бледным, растерянным лицам видно было, что они перепугались не на шутку.

— Хорошо, очень хорошо! — гнусил более обыкновенного, видимо, раздраженный граф, — молодцы гвардейцы, достойно ведут себя, поддерживают честь мундира, на деревянных лошадках с пьяных глаз катаются. Завтра же доложу государю. Порадую его их воинскими подвигами.

Оказалось, что четверо гвардейских офицеров, приехав на Крестовский остров и не желая заходить ни в трактир, ни сесть за один из столиков на площадке перед трактиром, забрались в пустой карусель и приказали подать туда шипучки. За одной бутылкой последовала другая, затем третья и четвертая. Юношеские головы закружились и один из офицеров предложил заняться рыцарской игрой. Предложение было принято и офицеры засели на коней, приказав наглухо запереть павильон и пустить в ход барабан. Невинная забава могла бы кончиться благополучно, если бы на грех в это самое время на Крестовский остров не переправился с Зиновьевской дачи в парадном ялботе граф Аракчеев вместе с Клейнмихелем.

Проходя мимо карусели и услышав в нем шум и голоса, он любопытствовал взглянуть на упражняющихся в рыцарскую игру и прямо пошел к двери.

Перепуганный насмерть сторож из отставных солдат преградил ему путь.

— Занято, ваше сиятельство, господами офицерами, — бухнул он.

— Офицерами! — повторил граф. — Отворяй, посмотрю я, что это за воины и хорошо ли они на деревянных конях выглядят.

Сторож не осмелился послушаться приказания графа. Двери павильона открылись, и на их пороге появился Аракчеев и Клейнмихель.

Ход барабана был остановлен спустившимся вниз сторожем.

Не успели несчастные офицеры соскочить с коней, как граф грозно крикнул:

— Ни с места! Пустить ход!

Пол снова завертелся.

— Быстрее, быстрее, — командовал Алексей Андреевич.

Началась бешеная скачка четырех гвардейцев на деревянных лошадях.

Насладившись этой картиной, граф приказал остановить ход и, как мы видели, начал распекать молодых людей.

— Извольте отдать ваши шпаги... Клейнмихель... возьми... На гауптвахту... до решения государя...

Еле живые от страха ожидающей их участи офицеры повиновались.

Граф Алексей Андреевич повернулся к выходу и встретился лицом к лицу со стоявшим в дверях карусели под руку с дочерью Федором Николаевичем Хомутовым.

Добродушный и честный старик был возмущен строгостью графа и решил выступить защитником молодых людей, тем более, что Талечка жалобно прошептала ему на ухо: «Бедные!»

Алексей Андреевич сталкивался с генералом еще во время его службы и очень был внимателен к лицам — он узнал его.

— А, ваше превосходительство, вы здесь тоже, чай, любовались подвигами представителей царевой гвардии! Это не то, что мы, армейцы... ничего не стоящие... это настоящие воины, защитники отечества.

Граф не любил гвардейцев, шаркунов, как он называл их, и с наслаждением каждый раз, при малейшем поводе, изливал на них свою желчь.

— Вы, вероятно, пошутили, ваше сиятельство, ведь они же совсем мальчишки и совершили только детскую шалость, за что же подводить их под гнев государя. Простите их, ваше сиятельство! — прерывающимся от волнения голосом заговорил Хомутов.

Граф бросил было на него грозный взгляд своих тусклых глаз, но этот взгляд встретился с глядевшими на него с мольбой глазами Талечки.

— Дочь? — вопросительно прогнусил он, кланяясь Наталье Федоровне.

— Так точно, ваше сиятельство, дочь Наталья.

— Благодарите, господа, — обернулся граф к все еще стоявшим на вытяжку безоружным офицерам, — этого армейского генерала-ветерана, ради него я прощаю вас. Клейнмихель,

возврати шпаги.

Лица юношей просияли, и они, сделав фрунт перед Аракчеевым и Хомутовым, быстро выскользнули из павильона.

Алексей Андреевич снова обратился к Федору Николаевичу, глядя, впрочем, на его дочь.

— Замуж пора выдавать, вывозить надо, женихов к себе приглашать.

— Молода еще, ваше сиятельство.

— Какой молода, в самой поре. Говорю, женихов приглашать надо, ваше превосходительство, и меня зовите, я тоже жених.

— Сочту за честь, ваше сиятельство.

— Вы на Васильевском?

— Точно так.

— Буду!

Они расстались.

По возвращении с прогулки Федор Николаевич передал своей жене о встрече и разговоре с графом Аракчеевым.

— Вот бы на самом деле жених Талечке, не чета Зарудину... — заговорила она.

— Полно пустяки болтать, — остановил ее муж, — его сиятельство, конечно, только пошутил.

XXVIII

СЛАБОСТЬ СИЛЬНОГО

Но «его сиятельство» далеко не шутил.

Хорошенькое, блистающее невинностью личико, стройная, прекрасно сложенная фигура Натальи Федоровны не могла не произвести сильного впечатления на сорокалетнего сластолюбца. Среди женщин его общества он встретил впервые такой нежный, но роскошный цветок, остальные петербургские барышни того времени были какими-то тепличными растениями, казалось, преждевременно увядающими.

По обязанности беспристрастного бытописателя мы должны отметить довольно грустную черту в характере графа Алексея Андреевича Аракчеева — этого выдающегося деятеля двух царствований — он был до болезненности неравнодушен к женщинам. Всякое красивое, выразительное лицо женщины производило на него магическое действие. Значительная часть библиотеки этого государственного человека состояла из книг и сочинений далеко не целомудренного содержания. Он воплотил даже свою любовь к пикантности в особого рода постройке. Он построил у себя в усадьбе особый павильон и наполнил его соблазнительными картинами, которые закрывались зеркалами, отворявшимися посредством потайных механизмов. Павильон этот стоял уединенно на острове, окруженном прудами. Только самым избранным своим приятелям граф показывал внутренность устроенного им причудливого павильона, который в отсутствие его был совершенно недоступным. Алексей Андреевич не

пренебрегал и покупками красивых крестьянок, чем-нибудь обративших на себя его внимание. Это, впрочем, было в нравах того времени и проделывалось большинством современных ему помещиков.

Другую странностью этого железного характера, несомненно вытекавшею из его сластолюбия, было его отношение к законному супружеству. Он не питал никакого уважения к браку; даже пренебрегал им. Брак для него имел значение, главным образом, внешнее, он рассматривал его с физической стороны. Как помещик, он особенно заботился о том, чтобы у него было более рабочих крепостных рук, почему терпеть не мог в своей вотчине холостых и вдовых крестьян. Обыкновенно 1 января каждого года ему представляли списки их с обозначением лет. Одновременно с этим ему подавался и список девушек, которым он делал смотр. В поданных списках граф собственноручно делал отметки, кому следует вступить в брак. Он также любил, чтобы у него рождались только мальчики, и женщинам, рождавших девочек, угрожал даже штрафом.

Вследствие такого взгляда на супружество, он выбирал своих фавориток из низшего общественного круга, и сам оставался холостым, несмотря на то, что ему было, как мы уже сказали, около сорока лет. Это обстоятельство сильно беспокоило его мать, которой он был любимым детищем и предметом ее гордости. В письмах к нему она употребляла все свое красноречие, чтобы убедить его жениться, но убеждения матери действовали мало.

Много на деятельности графа Алексея Андреевича темных пятен, положенных как современниками, так и потомками, много, как мы уже сказали выше, в тех пятнах незаслуженной им клеветы, но много также и достоверных фактов.

Этими последними он всецело обязан своей слабости к женщинам. При изыскании причин его подчас жестоких и несправедливых распоряжений, его кровавой расправы с подвластными ему людьми, надо применять правило французских криминалистов: «ищите женщину».

Для удовлетворения его болезненной чувственности у него всегда находились под руками женщины, частью среди самой его дворни, частью же на стороне.

Еще в царствование Павла I он скомпрометировал себя незаконной связью с женой синодского секретаря Пукалова, которая, пользуясь своим исключительным положением, много обделывала делишек в свою пользу.

Пукалов был сын крестьянина и воспитывался в одном училище с сыном помещика Горленки; затем служил сельским писарем и отличался пьянством.

Горленко пристроил его в черниговский почтамт, а потом отправил в Новгород писцом в комиссию для разбора старинных дел. Получив чин, Пукалов перемещен был, по закрытии комиссии, в синод.

Самая женитьба Пукалова устроилась следующим образом: один помещик перед смертью женился на своей любовнице и оставил ее дочери все свое состояние.

Наследники подняли дело, но Пукалов уничтожил в местной канцелярии, пользуясь подкупом и своим положением синодского секретаря, метрические книги, единственное доказательство справедливости, и истцы проиграли дело.

Он же, по ранее заключенному условию, женился на незаконной дочери умершего помещика, которая сама сделалась любовницей Аракчеева.

Кроме Пукаловой, у графа было много других наперсниц, которые тоже, конечно, не забывали себя, пользуясь его всемогущим именем.

Несомненно, повторяем, что это была грустная черта в характере Алексея Андреевича, но, увы, он был человек, которому присущи слабости, а это, кроме того, была слабость сильного.

Едва ли за нее можно забрасывать его имя потоками грязи.

Тем более, что граф сам сознавал свою позорную слабость, что ярко выражалась в том, что, несмотря на роковое влияние на него женской красоты вообще и некоторых представительниц прекрасного пола в особенности, к женщинам в общем он относился озлобленно: любимой тенденцией его по адресу правнучек праматери Евы было следующее:

— Всякая девка — щенок, а всякий щенок — будущий пес. И всякая-то баба — завсегда пес.

Лет десять тому назад, в доме Аракчеева появилась дворовая женщина — горничная и вскоре сделалась барской барыней.

Алексей Андреевич, тогда еще простой смертный, но уже любимец великого князя Павла Петровича, жил, однако, как холостой человек.

Поселившаяся на этот раз в его доме новая фаворитка, возведенная в звание экономки, была, как видно, не чета прежним. Она была молода и красива, а главное, хитра и лукава.

Вскоре барин и все люди почуяли, что эту женщину не скоро сменит другая — новая.

И все не ошиблись.

Никакой другой экономке уже не суждено было явиться на смену этой.

Эта новая экономка была Настасья Федоровна Минкина, вскоре ставшая правой рукою во всех делах Алексея Андреевича и первым самым дорогим его другом.

Когда в следующем 1796 году великий князь Павел Петрович, сделавшись уже императором, подарил возведенному им в баронское, а затем графское достоинство и осыпанному другими милостями Аракчееву село Грузино с 2500 душами крестьян, Алексей Андреевич переехал туда на жительство вместе с Настасьей Федоровной и последняя сделалась в нем полновластной хозяйкой, пользуясь неограниченным доверием имевшего мало свободного времени, вследствие порученных ему государственных дел, всесильного графа, правой руки молодого государя, занятого в то время коренными и быстрыми преобразованиями в русской армии.

XXIX

ГРУЗИНО

Особые царские милости посыпались на Алексея Андреевича Аракчеева с момента вступления на прародительский престол государя Павла Петровича.

Приехав в Петербург по смерти Екатерины, император тотчас же вытребовал к себе из Гатчины полковника Аракчеева.

Тот прискакал, и как был с дороги, не переодевшись, явился в кабинет нового государя.

Там он застал наследника престола, Александра Павловича.

Павел Петрович тотчас же произвел Аракчеева в генералы и назначил петербургским

комендантом; цесаревич же был назначен петербургским военным губернатором.

Павел Петрович приказал им стать рядом, соединил их руки и сказал:

— Будьте же друзьями и помогайте мне!

С этого момента началась дружба Аракчеева с наследником престола, а затем государем Александром Павловичем. Они оба в одно время вышли из кабинета государя.

— Ты весь в грязи, — обратился к Алексею Андреевичу цесаревич, — пойдём ко мне, я тебе дам свою рубашку, перемени.

Впоследствии Аракчеев выпросил эту рубашку себе в подарок и хранил ее в Грузии в особом сафьяновом футляре, как святыню.

Затем Павел Петрович, как мы уже знаем, возвел своего любимца сперва в баронское, а затем в графское достоинство и подарил ему село Грузино, принадлежавшее когда-то, по жалованной грамоте Петра Великого, светлейшему князю Меншикову, и отошедшее вновь в казну, после опалы и ссылки этого вельможи.

Село Грузино находится в восьмидесяти верстах от Новгорода, на берегу реки Волхова. Ближайшая дорога пролегла в то время туда из Соснинской волости, по левому пологому берегу Волхова. Вообще местность эта на протяжении нескольких верст была самая пустынная и унылая: слева тянулся лес, по краям которого мелькали кое-где корявые дубы, стога сена, паслись кони и разве попадались какие-нибудь богомольцы, шедшие в Тихвин. Самая река также не была оживлена, разве порою проносилась на парусах тихвинка. Тем приятнее был поражен глаз, когда вдали на повороте Волхова начинали показываться и обрисовываться грузинские постройки. Но вот и паром: за рекой видны прекрасные каменные здания.

Название Грузино, по некоторым историческим источникам, местность получила от бывшей здесь пристани, на которой грузились суда. Другие ищут начало этого названия в более отдаленных преданиях; так, протоиерей Малиновский в своем «Историческом описании села Грузина», изданном в 1816 году, говорит: «Сие место, возникнувшее из-под праха и пепла, славится в древности посещением первого в России проповедника Евангелия, святого апостола Андрея Первозванного», и объясняет, что название Грузино есть измененное Друзино, а последнее произошло от того, что на этом месте святого апостол Андрей Первозванный водрузил свой жезл или посох.

В описываемое нами время в селе Грузине царил образцовый порядок — там сам граф входил положительно во все, и кроме того, за всеми глядел зоркий глаз графской экономки Настасьи Федоровны Минкиной. На улицах села была необыкновенная чистота, не видно было ни сору, ни обычного в деревнях навозу, каждый крестьянин обязан был следить за чистотой около своей избы, под опасением штрафа или даже более строгого наказания.

Господский дом, или, как называли его, дворец, был небольшой, деревянный. На нем с восточной стороны была надпись: «Мал, да покоен». Он стоял в конце глубокого двора, а с остальных трех сторон его окружал роскошный и тенистый сад.

Чистота двора и сада была изумительна.

Любовь к порядку, унаследованная графом Алексеем Андреевичем от его матери, доходила у него до самых ничтожных мелочей.

Не только во время краткого нахождения Аракчеева не у дел, но и в период бытности его у кормила правления, граф, несмотря на его многосложные обязанности, сопряженные с

необыкновенною деятельностью и бессонными ночами, успевал замечать всякие мелочи не только по службе, но и в домашнем быту; он имел подробную опись вещам каждого из его людей, начиная с камердинера и кончая поваренком или конюхом.

По этим спискам поверял он каждый год все имущество, приказывал кое-что переделать, починить или вовсе уничтожить.

Кроме этого, Алексей Андреевич вел ежегодно штрафной журнал, в который аккуратно вписывались все малейшие провинности дворовых людей и крестьян, причем три малых вины считались за одну большую, которая и влекла за собой наказание, отмечаемое графом в отдельной рубрике журнала.

От всех частей и лиц вотчинного управления аккуратный помещик требовал суточных рапортов, которые просматривал лично, хотя бы за его отсутствием из Грузино их накопилось бы большое количество, и клал те или другие резолюции.

Во время таких отлучек Алексея Андреевича из Грузина и пребывания его в Петербурге, ему обо всем происходившем в усадьбе отписывала Настасья Федоровна.

Зная аккуратность своего сановитого возлюбленного, она, как ей это ни было тяжело, выучилась писать, хотя, конечно, далеко не искусно, и в угоду графу, требовавшему, во имя идеи порядка, еженедельных рапортов по всем частям вверенного ей управления своим помещьем, хотя каракулями, но аккуратно отправляла ему собственноручные иероглифические отчеты.

Из сохранившихся и попавших в печать писем видно, что они касались даже разбитой тем или другим из служащих посуды, произведенной у того или другого крестьянина мелкой покражи.

И все это граф внимательно прочитывал, а по поводу всего ему донесенного делал свои распоряжения.

Вот какими мелочами занимался этот государственный человек, но он хотел этим показать, что его хватит на все.

Все это, однако, вместе с тяжестью служебных дел, влияло сильно на его здоровье — он страдал расстройством всей нервной системы, застоем печени и рефлексивным страданием сердца; от этого происходили его мнительность, недоверчивость, бессонные ночи, тоска и биение сердца.

Хотя вспыльчивость иногда и доводила графа до исступления, но злопамятным и мстительным к людям, ниже его стоящим, он никогда не был. Это подтверждают записки о нем многих близко знавших его людей, даже далеко ему не симпатизировавших.

Граф был необыкновенно впечатлителен; так, при рассказе о какой-нибудь печальной истории, он, бывало, прослезится, но, заметив, что у какой-нибудь десятилетней девчонки дорожка в саду не так чисто выметена, в состоянии был приказать строго наказать ее, но, опомнившись, приказывал выдать ей пятак.

Вообще, если он был в хорошем расположении духа, то имел обыкновение награждать исправных хозяек-крестьянок за чистоту пяточками, и эту награду ценили как царскую милость.

Часто, во время бессонных ночей, граф, переодетый и замаскированный, ходил по Грузину, наблюдая за порядками в селе, нравами своих крестьян и выполнением его приказаний.

Таков был владелец Грузина и таковы были порядки в этой, как называли Грузино

современники, «столице Аракчеева».

XXX

НАСТАСЬЯ МИНКИНА

Как о происхождении, так и о первоначальном знакомстве Алексея Андреевича с Настасьей Федоровной Минкиной, исторические источники говорят и мало, и разно.

Сообщениям М. Бороздина, называющего в своих воспоминаниях Настасью Федоровну женою мелочного торговца в деревне Старая Медведь мещанина Минкина, куда-то незаметно исчезнувшего, после чего она из лавочки перебралась в дом графа и сделалась его сожительницею, и Беричевского, считающего Настасью Федоровну женою грузинского крестьянина, кучера, которого она, когда граф возвысил ее до интимности, траكتовала свысока и за каждую выпивку и вино водила на конюшню и приказывала при себе сечь, — нельзя выдавать за вероятное, так как, по другим источникам, Аракчеев сошелся с Минкиной еще до пожалования ему села Грузина.

Местные простонародные предания представляют дело несколько в ином виде. На расспросы о том, откуда была родом Настасья, старики села Грузина говорят:

— Бог ее ведает, откуда она проявилась такая, только не из нашего места была, а дальняя, откуда-то вишь из-за Москвы. В своем месте, как сказывают, спервоначалу просто овчаркой была, овец, значит, пасла; а опосля, как граф ее купил, так туман на него напустила и в такую силу попала, что и не приведи Господи.

Из всех рассказов о Настасье можно с достоверностью сказать разве только то, что она была крестьянка, приобретенная Аракчеевым путем покупки, и вовсе не была замужем. По словам Н. Отто, отец Настасьи, Федор Минкин, чуть ли не цыган родом, был кучером.

О цыганском происхождении Настасьи Федоровны красноречиво свидетельствует и ее наружность.

Ей в то время, когда Алексей Андреевич купил ее, было всего шестнадцать лет и она находилась в полном расцвете своей красоты. Ее черные как смоль волосы, черные глаза, полные страсти и огня, смуглый цвет лица, на котором играл яркий румянец, ее гренадерский рост и дебелость вскоре совсем очаровали слабого до женской красоты Аракчеева.

Кроме своей красоты, Настасья сразу же понравилась графу своею расторопностью и аккуратностью. О ней прежние графские слуги отзывались:

— Нельзя сказать, чтобы она была из лица больно красовита, а смуглая такая из себя, быстроглазая, глаза большие, черные были, как у цыганки, больше проворством и расторопностью брала.

Бойкая и сметливая женщина, Настасья скоро поняла загадочный для других характер своего угрюмого барина, изучила его вкусы и привычки и угадывала и предупреждала все его желания. Она получила звание правительницы на мызе Аракчеева и благодаря ей здесь водворились образцовые порядки и замечательная аккуратность по всем отраслям сельского хозяйства. Как домоправительнице, при переезде в Грузино Настасье назначено было большое жалованье и она скоро вошла в большую силу при графе.

Таким образом вышло довольно странное и любопытное в то же время явление: простая,

необразованная женщина-крестьянка успела подчинить себе железный характер графа, могущественного вельможи в государстве. Последний исполнял все ее капризы; так, в угоду ей, например, выстроил дорогой мост через овраг, разделяющий селения Старую и Новую Медведь, для нее же построил особый флигель, с наружною резьбою и зеркальными стеклами, своим изяществом невольно обращавший на себя внимание всякого зрителя, тем более, что остальные постройки Грузинской мызы отличались самою простою архитектурою и даже были окрашены в желтый цвет.

Простой народ никак не мог понять и разъяснить себе пристрастие богатого и сильного вельможи к простой крестьянке и объяснял это, по-своему, колдовством и волшебством со стороны Настасьи.

До сих пор еще память этой женщины живо сохранилась в Грузии и передаются из уст в уста разные легенды об этой фаворитке графа Аракчеева.

Так, крестьяне уверяют, будто у Настасьи была какая-то волшебная собачка, которая могла сослужить ей всякую службу. Предания грузинских крестьян и самую Настасью рисуют не иначе как ведьмой или колдуньей. В подтверждение этого крестьяне ссылались на то, что некоторые из доверенных ей мужиков тихонько собирали для нее, по ее указанию, каких-то гадов, которых она варила и употребляла как одно из средств ворожбы. По словам некоторых обывателей, к Настасье по временам прилетал змей и нашепывал ей что-то на ухо.

Граф и его экономка, таким образом, относительно были счастливы, но для полноты этого счастья являлась одна помеха... этого не могли дать ни всемогущество, ни власть... Тридцатилетнему графу Аракчееву хотелось иметь сына, наследника всего, что вдруг получил он по милости государя.

В 1799 году Настасья Федоровна порадовала его и этим. Перед одной из отлучек его на долгое время из Грузии, она объявила ему, что она беременна уже на последнем месяце. Ее фигура красноречиво подтвердила ее слова.

Веселый и радостный уехал граф в Петербург.

Это было в последних числах сентября.

Здесь ожидала его крупная неприятность по службе, окончившаяся его увольнением. Дело заключалось в следующем. В артиллерийском арсенале хранилась старинная колесница для артиллерийского штандарта. Она была обита бархатом и выложена золотым галуном и кистями. Один артиллерийский солдат, найдя возможным пробраться сквозь довольно редкую решетку окна, обрезал галун и кисти и унес их незаметным образом от стоящего при том здании караула. В то время ни один малейший случай не мог скрыться от императора Павла и Аракчееву, по званию петербургского коменданта, надо было донести об этом государю. Но Аракчеев поставлен был в затруднение — родной брат его, Андрей Андреевич, командовал тем артиллерийским батальоном, от которого находился караул при арсенале во время случившейся покражи. Однако медлить было нельзя, а приехавший брат чуть не с рыданиями умолял пощадить его. Родственное чувство единственный раз в его жизни взяло верх над служебным долгом и Аракчеев донес ложно государю, что во время происшествия содержался караул от полка Г. Л. Вильде.

Павел Петрович не замедлил исключить Вильде со службы.

Генерал этот, изумленный внезапною немилостью государя, обратился к графу Кутайсову, объяснив несправедливость и клевету Аракчеева. Кутайсов был в то время в ссоре с последним и потому поспешил открыть истину государю.

В тот же вечер был у государя бал в Гатчине.

Аракчеев, ничего не подозревая, явился во дворец, но лишь только Павел завидел его, то послал через флигель-адъютанта Котлубицкого приказание графу ехать домой.

На следующее утро последовал высочайший приказ, коим граф Аракчеев был выброшен из службы за ложное его величеству донесение.

Приказ этот как громом поразил Алексея Андреевича. Совершенно упавший духом, в страшном отчаянии он поехал к Грузино.

Петербургские враги его торжествовали.

Но на смену печали графа ждала радость. На половине пути к Грузину с ним встретился гонец, который сообщил ему, что Настасья Федоровна благополучно разрешилась от бремени мальчиком.

Восторг графа был неопишем.

Забыта была царская опала, забыто было торжество врагов, и граф в самом радужном настроении прибыл в Грузино и взял в дрожащие от радостного волнения руки своего первенца.

Ребенка окрестили и назвали Михаилом. По выбору Настасьи Федоровны, к нему была приставлена мамка, которую все в доме стали звать Лукьяновной.

После появления Миши Алексей Андреевич стал еще внимательнее к своей сожительнице. Он рядил ее как любимую куклу и возил по селу и окрестным деревням в щегольском экипаже. Простой народ с удивлением и любопытством смотрел на фаворитку, которую теперь часто стали звать графиней.

Аракчеев окружил своего сына необыкновенною заботливостью и, очутившись не у дел, живя вследствие этого безвыездно в своей вотчине, всецело предался устройству своего имения и отцовским радостям.

Так продолжалось до принятия его вновь на службу, уже в царствование императора Александра Павловича 14 мая 1803 года.

Тогда поневоле снова начались долгие служебные отлучки из приведенного, впрочем, в образцовый порядок Грузина.

XXXI

РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

В то время, к которому относится наш рассказ, маленькому Мише уже шел шестой год. Лукьяновна из мамок преобразилась в няньки.

На дворе стояли первые числа мая.

Граф приехал на несколько дней в Грузино.

Гуляя по саду, он вдруг был остановлен прибежавшим ему навстречу Мишей, заливавшимся горькими слезами.

— Что с тобой, Мишук? — нежно спросил его граф.

— Не вели Степану ругаться, его маменька вчера велела выпороть, а он нынче меня из конюшни прогнал, говорит: «Пошел ты, нянькин сын». Какой я нянькин сын, я твой и маменькин... — с ревом пожаловался шустрый мальчуган.

Обидевший ребенка Степан был один из графских кучеров.

Алексей Андреевич побледнел.

«Нянькин сын, что это значит?» — пронеслось в его голове.

Взяв за руку сына, он медленно отправился в дом и, приказав ему идти к матери, сам прошел в свой кабинет.

Это была большая комната с низким потолком. В ней за ширмами стояла кровать, у противоположной стены диван и посреди письменный стол, несколько кресел и стульев дополняли убранство.

Алексей Андреевич тотчас же распорядился послать за Степаном.

Последний явился и был, видимо, слегка под хмельком.

— Ты, ракаля, как смеешь обижать моего ребенка и называться его неподобными словами — «нянькин сын» — что это значит?

— Казни потом, батюшка, ваше сиятельство, а дозвожь правду тебе молвить, — упал на колени перед графом Степан, — сорвалось по злобе на нее, колдунью проклятую, на твою Настасью...

— Да как ты смеешь, — снова накинулся на него граф, — так называть Настасью Федоровну, которую я уважаю, слышишь ты, я... уважаю, как мать моего сына...

— Казни потом, а выслушай, — продолжал Степан, стоя на коленях. — Провела она, анафемская душа, твою графскую милость, не твой он сын, а Лукьяновны и впрямь нянькин сын...

— Что-о!.. — заорал Аракчеев. — Доказательства, мерзавец, а не то заporю до смерти...

Граф от клекотавшей в его душе злобы захлебывался словами.

— Сам я, батюшка граф, привозил рожать в усадьбу Лукьяновну, сам и пустой гробик в церковь хоронить носил, а ребеночка Настасья Федоровна за своего выдала... Глашка, горничная ее, сказывала, что подушки она подкладывала, чтобы твою графскую милость в обман ввести, вот она какая непутевая, а безвинных людей пороть, на это ее взять, прежде пусть на себе лозы испытает...

Граф не слышал последних слов Степана. Он не сел, а буквально упал в кресло и закрыл лицо руками.

Этого он не ожидал: лелеянный им ребенок оказывается ему совершенно чужим, сыном Лукьяновны, подкидышем. Пьяный кучер разбил все его лучшие мечты и надежды.

Несколько минут в кабинете царила невозмутимая тишина. Степан продолжал стоять на коленях. Наконец, Алексей Андреевич очнулся и хлопал в ладоши.

— Встань! — бросил он одновременно Семену.

Тот повиновался. Явился лакей.

— Позвать ко мне Лукьяновну и Глашку! — отдал граф приказание ему.

Та и другая не замедлили явиться и по произведенной Аракчеевым очной ставке со Степаном сознались во всем и подтвердили его слова.

Дело представилось перед графом в следующем виде. Настасья, узнав о беременности крестьянки одной из деревень Грузинской вотчины, по фамилии Лукьяновой, через преданную ей старуху Агафонию, завела переговоры с этой крестьянкой о том, чтобы взять младенца ее к себе в дом графа на воспитание. Бедная крестьянка охотно или неохотно согласилась. После переговоров с Лукьяновой Настасья Федоровна распустила слух о своей мнимой беременности и разыгрывала эту роль с неподражаемым искусством: она, например, носила подушку, которую постепенно увеличивала для того, чтобы показаться на самом деле беременною. У Лукьяновой родился мальчик. Одновременно с этим распущен был слух о разрешении от бремени Настасьи Федоровны и послан был гонец к графу. Лукьянову взяли в кормилицы к родному сыну, а затем она осталась при нем нянькой. По приказанию же Настасьи Федоровны, в вотчинное управление был написан официальный рапорт о смерти у Лукьяновой новорожденного сына до крещения. Грузинский протоиерей, повинувшись властной графской домоправительнице, похоронил пустой гробик.

Молча выслушал граф показания свидетелей и отпустил их.

Пройдясь несколько раз по кабинету, он отправился к Минкиной.

От всеведущей Настасьи Федоровны не укрылось происшедшее в кабинете графа. Из слов прибежавшего к ней Миши она быстро смекнула в чем дело и приготовилась к встрече своего разгневанного повелителя.

Когда Алексей Андреевич переступил порог ее комнаты, она бросилась к нему в ноги, стараясь обнять его колени.

— Прости, соколик мой ясный, прости, желанный мой, из одной любви к тебе, моему касатику, все это я, подлая, сделала, захотелось привязать тебя еще пуще к себе и видела я, что хочешь ты иметь от меня ребеночка, а меня Господь наказал за что-то бесплодием, прости, ненаглядный мой, за тебя готова я жизнь отдать, так люблю тебя, из спины ремни вырезать, пулю вражескую за тебя принять, испытать муку мученическую... — начала, обливаясь слезами, причитать Настасья Федоровна, стараясь поймать в свои объятия ноги отступавшего от нее графа.

— Замолчишь ли ты, змея подколодная!.. — крикнул граф и хотел ударить ее ногою.

В это время Миша, молча наблюдавший эту сцену, бросился между ними и ею.

— Мама, мама!..

Граф отступил, затем схватил ребенка на руки и поцеловал его крепким, долгим, как бы прощальным поцелуем.

Затем он поставил ребенка около продолжавшей лежать ничком и плакать Минкиной.

— Постарайся хотя на деле быть ему настоящей матерью и заслужить это почетное имя, да и мое прощение надо тоже заслужить... — прохрипел граф и вышел.

Настасья Федоровна встала, утерла слезы и улыбнулась довольной улыбкой. Она поняла, что гроза миновала.

Граф удалился в свой кабинет и три дня не выходил из него, а затем уехал в Петербург.

Вскоре, впрочем, все снова вошло в свою колею. Лесть и пронырство Минкиной сделали свое дело и граф вернул ей свое расположение.

Желание Степана не исполнилось; анафемская душа — Настасья не попробовала лоз. Его самого вскоре за какую-то незначительную вину сдали в солдаты. Глашку сослали на скотный двор. Одна Лукьяновна, вследствие любви к ней Миши, избегла мести снова вошедшей в силу и власть домоправительницы.

Только Миша лишился ласк Алексей Андреевича: последний первое время даже не выносил его присутствия, что Настасья Федоровна хорошо понимала и старалась избавить от него графа.

Роковое открытие графа, впрочем, не осталось без результата. У него появилось намерение жениться, чтобы иметь настоящего законного наследника, и он стал присматривать себе девушку из своего круга, но безуспешно.

Встреча на Крестовском острове с Натальей Федоровной Хомутовой укрепила это намерение.

Из брошенных вскользь графом слов хитрая Настасья Федоровна проникла и в эти затаенные его мысли и стала готовиться к борьбе с новым врагом своим, который явится в лице законной жены ее многолетнего сожителя.

Она понимала, что борьба эта будет трудной, но все же надеялась не остаться побежденной.

Мы увидим впоследствии, ошиблась ли она?

XXXII

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

Граф Алексей Андреевич очень быстро сдержал свое слово и не далее, как через день после встречи со стариком Хомутовым и его дочерью на Крестовском острове, приехал с визитом на Васильевский остров.

За первым визитом последовал второй, затем третий, а потом не проходило недели, чтобы высокая, известная всем в Петербурге графская коляска не стояла раз или даже два около коричневого домика на 6-й линии Васильевского острова.

Во время этих, всегда коротких, визитов граф очень мало разговаривал с Натальей Федоровной, всегда выходившей к нему по приказанию родителей, беседуя больше с Федором Николаевичем, и только сладко на нее посматривал и смачно целовал здороваясь и прощаясь протягиваемую ему миниатюрную ручку.

Несмотря на это, старики Хомутовы очень хорошо понимали, с какими намерениями всемогущий граф Аракчеев зачастил в их скромное жилище и благодарили Бога за выпадающую их дочери высокую долю стать женою первого после государя человека в России.

С величайшим почетом и радушием принимали они у себя своего будущего высокопоставленного зятя. Они ни на минуту не сомневались, что он будет этим зятем, хотя граф даже намеком не высказал своих определенных намерений относительно их дочери.

Сватовство Николая Павловича Зарудина отошло естественно на второй план, старик Хомутов на радостях о предстоящей судьбе своей любимицы дочки забыл о нем.

Незаметно пролетели летние месяцы, наступил сентябрь. Павел Кириллович Зарудин, давно заметивший странную перемену к себе в Федоре Николаевиче с тех пор, как ненавистный ему Аракчеев стал посещать их дом, о чем с торжествующим видом передал ему сам Хомутов, все-таки, по настоянию сына, поехал на Васильевский остров узнать решение судьбы молодого влюбленного гвардейца.

— Выбросил бы ты лучше из головы эту блажь, коли туда этот Аракчей повадился, толку, чую я, никакого не будет, — говорил он сыну.

— Что мне Аракчеев, ведь не жениться он собирается на девочке, которая ему в дочери годится, а если он знаком с их семейством, то в этом я беды не вижу, я его считаю далеко не дурным человеком и полезным государственным деятелем, чтобы о нем там ни говорили...

— Недурным человеком, полезным деятелем! — крикнул рассвирепевший Павел Кириллович.
— Не за то ли ты его таким считаешь, что он отца твоего из службы выгнал?

— Ну, это была с его стороны ошибка, он был введен в заблуждение, более виноваты те, кто переносил сплетни, а он ведь тоже человек, за всей Россией один не усмотрит, часто и виноватого за правого примет и наоборот, — спохватился сын.

— Человек... не человек он, а зверь... лукавый зверь... И не знаю, какой ворожкой в сердце он царю влез... Знаешь ли ты, что когда покойный государь Павел Петрович этого твоего полезного деятеля в 1799 году из службы выбросил, то как нынешний государь Александр Павлович, будучи наследником престола, об этом твоём хорошем человеке отозваться изволил? На вахт-параде в этот день весть об отставке Аракчеева радостно пронеслась между всеми. Великий князь прибыл также до начала развода на плац, подошел к генералу и спросил его: «А слышал ты об Аракчееве, и знаешь, кто вместо него назначен?» — «Знаю, ваше высочество, — отвечал генерал. — Образанцев» — «Каков он?» — «Он пожилой человек, может быть, не так знает фронтную службу, но говорят добрый и честный» — «Ну, слава Богу, — заметил Александр Павлович, — эти назначения настоящая лотерея, могли бы попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев». Вот тебе твой хороший человек и полезный государственный деятель.

— Это сказка, вымысел его врагов, иначе бы он не мог быть другом нашего государя, если бы тот был когда-либо о нем такого мнения! — вспыхнул в свою очередь Николай Павлович.

— Там сказка не сказка, а говорят... — уклончиво отвечал Павел Кириллович.

Разговор перешел на предстоящую поездку последнего к Хомутовым.

— Хорошо, хорошо, завтра съезжу, только повторяю, хорошего не жди ничего. Не из дружбы к старику повадился туда Аракчей, он до баб да девок — ох как падок, бьюсь об заклад, что девчонка защемила ему сердце, если только таковое у него есть...

Молодой Зарудин побледнел.

— Грех так надо мной шутить, отец!

— Я не шучу, а чует мое стариковское сердце, заметил я, что сильно за последнее время изменился ко мне его превосходительство Федор Николаевич. Приготовить-то надо тебя к этому, не молчать же мне, да сразу обухом тебя по голове и ляпнуть...

Николай Павлович понял, что отец на самом деле не шутит, и почувствовал, как похолодело у него сердце. Он и сам только возражал ему, теша себя, а тоже не ожидал от предстоящей

поездки отца ничего хорошего, но думал, что лучше дурной конец, нежели томительная неизвестность.

Павел Кириллович поехал на другой день. При повороте в 6-ю линию, ему навстречу попался Аракчеев, ехавший, видимо, от Хомутовых. Старик Зарудин счел это дурным предзнаменованием.

— Хуже, ведь, чем попа встретить! — даже сплюнул он.

Федор Николаевич встретил своего старого друга с какою-то особенною торжественностью. Это произошло оттого, что только что уехавший граф Алексей Андреевич в первый раз закинул ему словечко о том, что ему надоела холостая жизнь и он не прочь жениться.

— Ведь молодая-то, пожалуй, и не пойдет? — лукаво спросил граф, взглянув на Талечку.

Та вся вспыхнула.

— За вас-то, ваше сиятельство, за такого молодца, да всякая с радостью! — воскликнул Хомутов.

Дарья Алексеевна горячо подтвердила слова своего мужа. Оба они поняли, что это было почти предложение.

Это-то и было причиной торжественного настроения Федора Николаевича.

После обычных расспросов о здоровье, старик Хомутов не утерпел и заоткровенничал с Зарудиным.

— А у нас, ваше превосходительство, кажись, в доме радость скоро будет!

— Какая? — вопросительно поглядел на него Павел Кириллович.

— Граф Алексей Андреевич не нынче-завтра сделает нам честь и будет просить руки нашей дочери. Он сегодня незадолго до вашего приезда очень прозрачно намекнул об этом.

Зарудин вспыхнул и даже выронил из рук чубук.

— И вы?

— Что же мы, какие же родители откажутся от такого счастья для их дочери?

— Гм! — крикнул Павел Кириллович. — А я, признаться сказать, приехал к вашему превосходительству по поручению сына, вы дали слово.

Федор Николаевич, что называется, опешил, но быстро оправился.

— Какое же слово я дал, ваше превосходительство, я свою дочь в выборе принуждать не буду, а она о Николае Павловиче и думать забыла, с большим вниманием и интересом к графу относится.

— Оправдываться не беспокойтесь, ваше превосходительство, — раздражительно заметил Зарудин, — я ведь только к слову заметил, а мой сын не будет соперником какому-нибудь Аракчееву.

— Позвольте, ваше превосходительство, какой же он какой-нибудь, когда имеет счастье быть другом государя и первым после него лицом в империи.

Павел Кириллович вскочил.

— Пролаз он, гатчинский капрал, выскочка! — крикнул он.

— Вы забываетесь, ваше превосходительство, — в свою очередь вскочил и крикнул Федор Николаевич: — Я сам...

— И вы сами такой же, ваше превосходительство, по тестю и зять, — уже визгливым голосом прокричал красный как рак Зарудин и, схватив шляпу, бросился в переднюю и, не простившись ни с кем, уехал.

Федор Николаевич пришел в себя от оскорбления только через несколько минут.

— И я хорош, кому все выкладывать вздумал, с радости совсем дурака свалял. Отставной губернаторишка тоже... какой-нибудь Аракчеев... мой сын... Тьфу!

Хомутов сплюнул и вскоре успокоился.

Не так скоро успокоился Павел Кириллович. Как буря влетел он в кабинет нетерпеливо, с бьющимся от волнения сердцем ожидавшего его сына и разом выпалил ему весь разговор с «солдафоном» Хомутовым, как называл его старик.

Град всевозможных ругательств по адресу Аракчеева и Хомутовых сыпался неудержимо из уст рассвирепевшего старика, и это продолжалось бы бесконечно, если бы он не заметил, что его сын, весь бледный, как-то неестественно сидит в кресле.

Старик замолчал и бросился к нему. Николай Павлович лежал в глубоком обмороке. Тотчас же послали за доктором, который привел его в чувство и уложил в постель.

К вечеру у молодого Зарудина открылась сильнейшая нервная горячка. Около постели больного, кроме старика отца, все свободное время от службы проводил Андрей Павлович Кудрин.

XXXIII

МЕЧТЫ ТАЛЕЧКИ

Наталья Федоровна, со своей стороны, тоже очень скоро догадалась, что, значит, и к чему клонятся такие частые посещения их дома графом Аракчеевым.

Не ускользнули от нее и его взгляды и выразительные поцелуи руки.

После же последнего визита графа, когда он сделал такой прозрачный намек, она окончательно поняла, что догадки ее справедливы.

Первое время эта мысль просто испугала ее.

Почти всегда угрюмый, некрасивый лицом, казавшийся далеко старше своих лет и говоривший в нос, граф Алексей Андреевич не мог, понятно, представлять идеала жениха и любимого мужа для восемнадцатилетней цветущей девушки, каковой была Талечка.

Вскоре, впрочем, мысли молодой девушки приняли другое направление.

С одной стороны она пришла к убеждению, что сватовство графа является единственным средством для нее выйти победительницей из заданной ею себе трудной задачи — отказаться навеки от любимого человека, в угоду своей подруги, вследствие данной ей

клятвы.

Не о ниспослании именно такого средства она горячо молилась еще так недавно. Бог, видимо, услышал эту молитву. Он не внял лишь другой. Он не вырвал из ее сердца любви к Зарудину и разлука с ним все продолжала терзать это бедное сердце, что, впрочем, она не выказывала ни перед кем, упорно продолжая избегать даже произносить его имя, и в чем она старалась не сознаваться даже самой себе.

Таким образом, появление в их доме графа Аракчеева казалось для фанатично-религиозной Натальи Федоровны посланной ей помощью свыше, а сам граф — орудием божественного промысла.

В этом смысле она благоговела перед Алексеем Андреевичем.

С другой стороны, она столько слышала о графе Аракчееве, о его служебной карьере, о быстром возвышении из простого артиллерийского офицера до друга и правой руки двух государей, что стала невольно сопоставлять его имя с понятием о великом историческом деятеле.

Отец и мать за последнее время восхваляли при ней его на все лады, как человека и как верного слугу государя, восторгались его государственною деятельностью, направленной исключительно ко благу России, говорили, наконец, о его богатстве, о необычайных порядках, которые он завел в своем обширном поместье Грузине.

Последнее мало интересовало Талечку, но первое произвело на нее сильное впечатление.

«Сделавшись женой такого человека, — думала Талечка, — сколько можно сделать добра и добра не единичного, того добра, о котором говорила m-lle Дюран, и которое так увлекательно проповедовал Николай Павлович».

При последнем воспоминании Наталья Федоровна глубоко вздохнула.

«Сколько можно сделать общего добра всему народу, влияя на человека, в руки которого доверием государя вручена судьба этого народа, — продолжала мечтать она далее, — я буду мать сирот, защитница обиженных и угнетенных, мое имя будут благословлять во всей России, оно попадет в историю, и не умрет в народных преданиях, окруженное ореолом любви и уважения».

В таких радужных красках представлялась экзальтированной по воспитанию молодой девушке ее будущая деятельность по выходе замуж за графа Аракчеева.

В этом смысле она даже стала любить его.

Дарья Алексеевна чутким материнским сердцем угадывала, что происходит в сердце и в уме ее дочери и, действуя умно и тактично, не задавала преждевременно прямого вопроса о согласии Талечки на брак с графом, даже после ясного намека последнего. Своему мужу она строго настроила наказала действовать точно так же.

Она понимала, что лучше всего предоставить в этом случае действовать течению времени и событий.

Время, между тем, шло. Прошло уже несколько месяцев, граф продолжал бывать, но не повторял даже намека.

Хомутова стала недоумевать. Федор Николаевич даже однажды высказал свое сожаление о разрыве с Зарудиным.

Дарья Алексеевна рассердилась.

— Вздор болтаешь. Графиней Талечка будет. Он человек серьезный, не вертопрах, не мальчишка какой-нибудь, понимает чай тоже, что жениться не сапог надеть, с ноги не сбросишь. Со своей воздаhtarшей Настасьей хочет, может, исподволь разделаться.

— Говорят, у него от нее сын?

— Что же что сын, незаконный — не сын, обеспечит.

Дарья Алексеевна ушла, видимо, не желая продолжать разговора на эту тему.

Федор Николаевич решил все-таки, когда граф сделает дочери предложение, стороной и деликатно спросить его об этой Настасье. Наступил первый день нового 1806 года.

Граф Алексей Андреевич приехал к Хомутовым прямо после приема во дворце, в полной парадной форме.

— С новым годом, с новым счастьем! — приветствовал он стариков Хомутовых и вышедшую в гостиную Талечку.

— С новым годом, с новым счастьем и вас, ваше сиятельство, — почти одновременно отвечали Федор Николаевич и Дарья Алексеевна.

— Мое новое счастье зависит от вас и еще от одной особы, — торжественно произнес Аракчеев, кинув выразительный взгляд на Талечку, сидевшую на диване около матери, — желал бы иметь сепаратное объяснение.

Старики удалились с графом в кабинет.

Талечка, как сидела, так и замерла на месте. Сердце у ней упало, в глазах потемнело.

Ее вызвал к действительности голос матери, звавший ее присоединиться к ним.

Шатаясь, встала она с дивана и почти бессознательно вошла в кабинет.

— Граф Алексей Андреевич, — торжественным тоном заговорил Федор Николаевич, — сделал нам великую честь и просит твоей руки, мы с матерью согласны, согласна ли ты?

Наталья Федоровна сперва вспыхнула, а потом вдруг страшно побледнела.

Несколько секунд продолжалось молчание.

— Согласна! — чуть слышно, наконец, произнесла она, и если бы мать не поддержала ее, рухнула бы на пол.

С ней сделалось дурно.

— Счастье-то неожиданное нелегко дается, ваше сиятельство! — заметила Дарья Алексеевна, уводя из кабинета почти бесчувственную невесту.

Федор Николаевич с графом остались вдвоем.

Прямой и откровенный старик счел своим долгом рассказать будущему зятю о сватовстве Зарудина и о разрыве с ним, не скрыв даже подробности более полугода тому назад происшедшего домашнего романа, окончившегося болезнью его дочери.

Хомутов думал вызвать эту откровенностью Алексея Андреевича тоже на откровенность, но

ошибся.

Выслушав его рассказ, граф издал только какой-то неопределенный звук, но молчал.

Федор Николаевич решил выведать стороною.

— Слышал я, ваше сиятельство, что у вас в Грузии экономка хорошая, — начал он.

Аракчеев вскинул на него почти гневный взгляд.

— Экономка... да экономка хорошая, лучше не сыскать... А что в прошлом было, теперь кончено, — буркнул он.

Разговор оборвался, но Хомутов все-таки отчасти успокоился. В кабинет вернулась вместе с матерью оправившаяся Талечка и на предложенный уже лично графом вопрос, вновь выразила свое согласие быть его женою.

Он крепким и долгим поцелуем поцеловал ее руку, протянутую в знак этого согласия.

Вскоре он простился и уехал.

Ликованию стариков Хомутовых не было предела. Наталья Федоровна, сожгла свои корабли, и была, по-видимому, покойна и довольна.

Мечты о предстоящей ей благотворной для народа деятельности не покидали ее восторженной головки.

Ей не приходило на мысль, что на открывавшейся ей дороге может неожиданно стать дочь этого народа. О существовании Настасьи Минкиной она не имела никакого понятия.

Несмотря на то, что граф очень спешил свадьбой, все же на приготовление к ней потребовалось более месяца.

Хомутовы тянулись изо всех сил и средств, чтобы сделать их дочери, будущей графине, первой даме в империи, после государыни, великолепное приданое.

Наконец, 6 февраля 1806 года, состоялась свадьба царского любимца, графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой.

Венчание происходило в Сергиевском артиллерийском соборе и совершилось с необычайной помпой; в церкви присутствовал сам государь Александр Павлович и все придворные и высокопоставленные лица империи.

Толпы народа теснились на прилегающих к собору улицах и встречали и провожали как государя, так и его любимца восторженными кликами.

В день свадьбы девица Хомутова получила фрейлинский шифр. После же венчания графиня Наталья Федоровна Аракчеева была пожалована орденом святой Екатерины II степени.

Все предвещало ей радостное будущее, те мечты, для осуществления которых она сделала такой решительный шаг, казалось ей, уже начинали сбываться.

Часть вторая

ДВЕ ГРАФИНИ

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

Весть о женитьбе графа Аракчеева с быстротою молнии облетела не только Петербург, но и всю Россию.

На Николая Павловича Зарудина известие это произвело, сверх его ожидания, впечатление громового удара.

Ему за последнее время казалось, что он совершенно свыкся с мыслью, что Талечка, как он продолжал мысленно называть ее, потеряна для него навсегда.

К тупой боли, оставшейся у него в сердце, он привык, как к чему-то совершенно нормальному, и не обращал на нее внимания.

Между тем, это успокоение оказалось, увы, лишь призрачным — надежда, эта кроткая, но вместе с тем и коварная посланница небес, хотя и незаметной маленькой искрой теплилась в сердце молодого гвардейца, и как живительный бальзам умеряла жгучую боль разлуки.

Когда же эта искра потухла, когда предположение о том, что любимая девушка сделается женою другого, стало совершившимся фактом, Зарудин понял, чем в его жизни была Наталья Федоровна Хомутова, и какая пустота образовалась вокруг него с исчезновением хотя отдаленной, гадательной, почти призрачной возможности назвать ее своею.

Он получил это ошеломившее его известие в форме пригласительного билета присутствовать при бракосочетании графа Алексея Андреевича Аракчеева с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой, имеющем произойти в шесть часов вечера 4 февраля 1806 года в Сергиевском артиллерийском соборе.

Он вскрыл этот роковой конверт, вернувшись со службы 3 февраля.

«Еще насмехается, за что же, за что?» — пронеслось в его голове, и он в изнеможении скорее упал, нежели сел в кресло. Вся кровь прилила ему к голове, перед глазами запрыгали какие-то зеленые круги. Мысль, что пригласительный билет прислала ему его Талечка — счастливая невеста другого, жгла ему мозг, лишала сознания.

Он сидел, понутив голову, и картины будущего, одна другой безотраднее, медленно разворачивались перед его духовным взором.

Он думал, припоминая подробности свиданья с Натальей Федоровной в прошлом году на Васильевском острове, что она все-таки любит его, что только как неисправимая идеалистка — он так дорожил именно этим ее качеством — приносит его в жертву любви к своему другу Кате Бахметьевой. Он получил вскоре после своего выздоровления анонимное письмо, в котором говорилось именно это, и Зарудин, сопоставив содержание этого письма с ходатайством Талечки перед ним за свою подругу, с ее смущением после сорвавшегося с его губ признания, поверил даже анониму. Ему, впрочем, так хотелось верить. Тогда и брак ее с Аракчеевым получал в его глазах иную окраску, являясь самопожертвованием восторженной идеалистки, быть может, направленной на этот путь постороннею волею — волею ее родителей.

О, тогда он готов бы преклониться перед ней, даже супругой Аракчеева, готов был издали обожать ее и ждать, когда судьба доставит ему случай доказать ей делом свою безграничную преданность и любовь, свято хранить для нее, для нее одной, те перчатки, которые он получил при поступлении в масонскую ложу, принятие в которую должно было состояться на днях.

А теперь? Если она теперь присылкой этого билета так безжалостно глумится над известным ей его чувством, значит, она никогда не любила его, значит, она довольна сделанной ею блестящей партией, значит, она такая же... как и все!

А быть может, и хуже, — неслось далее в его разгоряченном воображении, — быть может, она, готовясь произнести клятву верности перед церковным алтарем своему будущему нелюбимому мужу, подготавливает себе из любимого человека... друга дома...

Николай Павлович даже как-то гадливо махнул рукой при этой мгновенно появившейся в его голове мысли... и тотчас же сам остановил себя.

«Нет, это уж я клеветую на нее. Что бы сказал Кудрин, угадав эту мою мысль? Он все еще продолжает благоговеть перед ней... считает ее „не от мира сего“. Этим он объясняет отказ ее от личного счастья с ним, Зарудиным, и принесение себя в жертву народной пользе, как он называет ее брак с всеильным временщиком...»

«Он не прав, он ее идеализирует! — мысленно возражает он самому себе. — Доказательство этого, роковой билет, присланный, несомненно, ею, так как не граф же Аракчеев пришлет приглашение на свадьбу сыну своего врага, лежит перед ним на письменном столе... Значит, прав он, Зарудин, а не Кудрин».

В отчаянии он схватился за голову.

«Зачем же ему жить? Какая теперь цель его жизни? Была одна — поклонение ей, служение обществу во имя ее, принесение себя в жертву для нее... а теперь... путеводная звезда потухла, кругом пустота, тьма... надо и идти... во тьму...»

Николай Павлович встал, как бы успокоенный этой мыслью, и медленно начал ходить взад и вперед по своему кабинету.

Складки на его красивом лбу делались все глубже и глубже, в его голове, казалось, созрела какая-то роковая мысль. В лице появилось выражение отчаянной решимости. Он подошел к дверям кабинета, плотно прикрыл обе половинки и запер на ключ. Затем подошел к письменному столу, отпер один из ящичков, вынул продолговатый футляр, оклеенный темно-зеленым шагренем и открыл его. В нем оказались пара пистолетов, пули и пистоны. Медленно, не торопясь вынул Николай Петрович один из них, особенно тщательно стал рассматривать лежащие в особом отделении футляра пули, перебрал несколько штук, как-то любовно взвешивая их на руке. Наконец, на одной из них остановил он свой выбор и положил ее около пистолета; еще внимательнее стал он осматривать находившиеся в футляре, в особой коробочке, пистоны, долго вглядываясь во внутренность каждого. Одним из них он остался, видимо, доволен, положил его на стол, рядом с пулей и, закрыв футляр, снова запер его в ящик письменного стола.

Несколько минут он, как бы что-то припоминая, простоял около письменного стола, почти бессмысленно оглядывая сделанные им приготовления, затем быстрыми шагами подошел к турецкому дивану, над которым на ковре развешены были принадлежности охоты и разного рода оружие, снял пороховницу, вынул из ягташа паклю для пыжа и также быстро вернулся к столу. Здесь он аккуратно отвинтил крышку пороховницы, служащую и меркой для пороха, насыпал в нее последний и стал осторожно сыпать его в дуло пистолета, затем вложил пулю, снова внимательно осмотрев ее и шомполом забил пыж. Зарядив таким образом пистолет, он

завинтил пороховницу, повесил ее на прежнее место и, возвратившись к письменному столу, сел в кресло.

С минуту он сидел неподвижно, потом взял в левую руку пистолет, взвел курок, долго осматривал затравку и, убедившись, что она наполнена порохом, осторожно надел пистон.

Переложив пистолет в правую руку, он левой взял стоящий на его письменном столе небольшой акварельный портрет в синей бархатной рамке и с каким-то благоговением поднес его к своим пересохшим от внутреннего волнения губам. На портрете была изображена красивая полная шатенка, с необычайно добрым выражением карих глаз, и с чуть заметными складочками у красивых губ, указывающих на сильную волю — это была покойная мать Николая Павловича Зарудина, умершая, когда он еще был в корпусе, но память о которой была жива в его душе, и он с особою ясностью именно теперь припомнил ее мягкий грудной голос, похожий на голос Талечки, и ее нежную, теплую, ласкающую руку.

Воспоминания раннего детства зароились в его голове, и как бы отдавая дань этим воспоминаниям, две крупные слезы скатились по его щекам. Восторженно припав к губам портрета, он стал покрывать его несчетными поцелуями.

— До свидания, родная! До скорого свидания! — шептали его губы.

Он весь выпрямился, как бы делая над собой невероятное внутреннее усилие, осторожно поставил портрет на место и, откинувшись в кресло, поднес дуло пистолета к правому виску. Холод прикоснувшегося к телу металла заставил его нервно содрогнуться — он отнял пистолет.

— Мальчишка... трус... — озлился он на себя и снова поднес пистолет к виску.

В соседней комнате раздался шум поспешных шагов. Зарудин вздрогнул и спустил курок.

Выстрел грянул, но в это самое мгновение обе половинки запертых дверей от напора сильной руки распахнулись. В волнении Николай Павлович забыл задвинуть шпингалеты.

На пороге кабинета стоял Андрей Павлович Кудрин.

Окруженный облаками порохового дыма, откинувшись окровавленной головой на спинку кресла, недвижимо лежал Зарудин. Еще дымившийся пистолет валялся на ковре.

В левом углу кабинета лежала свалившаяся с мраморной тумбы и разбившаяся вдребезги гипсовая статуя Аполлона.

«Он умер!» — было первоею мыслью Андрея Павловича, но, подбежав к полулежавшему в кресле Зарудину и схватив его за руку, услышал учащенное биение пульса. Его друг оказался лишь в глубоком обмороке. Испуганный раздавшимися шагами и напором в дверь, несчастный поспешил спустить курок, но рука дрогнула, дуло пистолета соскользнуло от виска и пуля, поранив верхние покровы головы и опалив волосы, ударила в угол, в стоявшую статую.

На шум выстрела прибежали люди и испуганный насмерть старик Зарудин. Раненого уложили в постель, и явившийся доктор объявил, что это не рана, а царапина. Получив щедро за визит, он изъявил свое согласие сохранить в строжайшей тайне это происшествие.

«Я пришел вовремя! Он был на волосок от смерти. И с чего это ему вздумалось... Сумасшедший!» — мысленно рассуждал и спрашивал себя Андрей Павлович.

У ПОСТЕЛИ ДРУГА

— С чего это ты, дружище? — укоризненно мягким тоном заговорил Андрей Павлович, когда, после прекратившейся суматохи, после того, как Павел Кириллович, лишившийся чувств при виде окровавленного сына, которого он счел мертвым, удалился к себе в кабинет, и молодые люди остались одни.

Старика общими усилиями прибывшего доктора и Кудрина с трудом привели в чувство и с трудом же объяснили, что жизнь его сына вне опасности и что даже, по счастливой случайности, веки правого глаза лишь слегка опалены.

Понятно, что ранее упавшего в обморок отца Андрей Павлович и доктор занялись контузившим себя сыном и он был бережно уложен в постель с тщательно сделанною перевязкою.

Доктор оставался до тех пор, пока Николай Павлович не пришел окончательно в себя и сперва помутившимся, а затем и более сознательным взглядом обвел комнату и присутствующих, остановившись на Андрее Павловиче, и этот взгляд принял почти укоризненное выражение.

— Плохую ты службу сослужил мне, помешав покончить с моей, никому не нужною жизнью, — не отвечая на вопрос, грустно проговорил молодой Зарудин.

— Эту, брат, песню я от тебя слышал не раз и меня ты ею не удивишь, что ты там ни говори, я сердечно рад, видя тебя хотя по-прежнему с шалою, но все же целой головой. Быть может, я продолжаю еще твердо надеяться, что эта твоя контузия принесет тебе пользу, послужит уроком и вернет тебя в твое нормальное состояние.

Николай Павлович покачал головой и хотел заговорить, но Кудрин не дал ему вымолвить слова и продолжал:

— Что ты ненормален, в этом никто не может сомневаться, с этим согласишься и ты впоследствии. Разве нормально, разве разумно хотя бы твое настоящее заявление о том, что ты сожалеешь, что тебе помешали покончить с твоею никому, по твоему мнению, не нужною жизнью?

— А чем же это не разумно? Разумно все то, что существует. Положения же, при которых человеку не остается ничего, кроме пули, несомненно существуют, следовательно, и выход этот вполне разумен, — горячо возразил Зарудин.

— Ничуть... Во-первых, положение твое, что все то разумно, что существует, касается только существующего в природе, а не созданного людьми и их отношениями; в последнем случае в большинстве только и существует неразумное, а во-вторых, в каких бы обстоятельствах человек ни очутился, он не имеет никакого права посягать на то, что ему не принадлежит.

— То есть что же мне не принадлежит?

— Да жизнь, дружище, твоя собственная, как неверно привыкли говорить люди, жизнь... Она дана тебе божественной волею и ею только может быть отнята, это вообще, если речь идет о жизни человека, но, кроме того, каждый из нас гражданин и, наконец, воин, мундир которого ты носишь... а следовательно, наша жизнь принадлежит человечеству, народу, государству, но далеко не лично нам.

— Очень нужна массе единичная жизнь, она исчезнет незаметно, никто и не вспомнит об исчезнувшем.

— Может быть, и так. Но ведь из единицы и составляются массы. Если ты имеешь право рассуждать так, то почему же не имеет на это право другой, третий и так далее... Но не в этом дело. Сперва ответь мне, что такое случилось со вчерашнего дня, когда мы виделись и так задушевно беседовали с тобой, что ты решился на такое попирающее и божеские, и человеческие законы преступление, как самоубийство?

— Разве ты не видал, что лежит у меня на письменном столе?

Андрей Павлович встал с кресла, пододвинутого им к кровати, вышел в кабинет и тотчас же вернулся, держа в правой руке розовый пригласительный билет на свадьбу графа Аракчеева.

— Это? — улыбаясь, спросил он, садясь в кресло.

— Это самое! Но чему же ты смеешься?

Николай Павлович с жаром стал передавать своему другу пережитые им нравственные страдания после получения этого клочка бумаги, мысли, которые теснились в его голове, постепенное, но быстрое возникновение в его мозгу идеи немедленного самоубийства, как естественного и единственного выхода из его безотрадного существования, без надежды, без будущего.

Кудрин внимательно слушал, не перебивая исповеди своего друга. Когда он кончил, Андрей Павлович несколько минут молча смотрел на него.

— Видишь, ты молчишь, значит, тоже находишь, что я прав? — раздраженно заметил Зарудин.

— Нет, я думаю, что прав не ты, а я, всегда говоривший тебе, что не следует ни создавать себе мнения о людях, ни тем более действовать под впечатлением минуты, не обсудив всегда ранее обстоятельства дела, а между тем, ты, видимо, совершенно не излечим от этого крупного недостатка твоих мыслительных способностей. Возьмем хоть настоящий случай: ты приписал Наталье Федоровне поступок, совершенно не вяжущийся со всем ее нравственным обликом, который ты достаточно изучил, и которому ты даже искренно поклонялся. И заметь, ты проделываешь это с нею уже не один раз, помнишь историю с запиской? Тебя не поймешь, нынче у тебя кумир, недостижимый идеал, а завтра ты его собственноручно бросаешь в грязь и топчешь ногами.

— Но кто же, как не она, прислал мне этот билет, это приглашение? Кто? Ведь не сам же граф.

— Не сам, это-то верно, — улыбнулся Кудрин, — но и не Наталья Федоровна.

— Так что же, он с неба, что ли, ко мне свалился?

— Нет и не с неба, да ты и не стоишь, чтобы тебе что-нибудь свалилось с неба. А попал он к тебе так же, как попал и ко мне. У меня на столе лежит точно такой же.

— У тебя?

— Да не у одного меня, а у всех офицеров гвардии, находящихся в Петербурге, они разосланы по приказанию начальства...

— Вот как! — упавшим голосом пробормотал Николай Павлович.

— Вот как! — передразнил его приятель.

— Какая же я на самом деле дрянь!..

— Опять крайности, ты просто до безобразия расшатал свои нервы и можешь дойти до полного психического расстройства, если не примешь серьезных мер. В подобных случаях единственным врачом самому себе является сам человек.

— Нет, дружище, я неизлечим, или лучше сказать, я не болен, я просто нравственно негодный человек, думавший найти поддержку, стыдно сказать, в... женщине... Впрочем, эта женщина, эта девушка неизмеримо выше и чище меня... Но Бог не судил мне и этого исхода... Пусть ты прав, она любит меня, она самоотверженно, подобно героиням классического мира, принесла свою любовь в жертву дружбе... Тем хуже, я сильнее сознаю, что именно я потерял в ней... но все же потерял, потерял окончательно... и одинок, совсем одинок... Зачем же мне жить?

— Странный взгляд... — начал было Кудрин, но вдруг замолк и опустил глаза, честно и прямо устремленные на друга.

Он хотел было разразиться против Зарудина целой филиппикой на тему о том, что женщина не вещь, что она не может быть всецело собственностью мужчины, что слова «моя», «принадлежит» и «потеряна» недостойны развитого человека, что любовь чистая, братская, дружеская любовь может быть совершенно честно питаема и к замужней женщине, не оскорбляя ни ее, ни ее мужа, что отношения к женщинам не должны ограничиваться лишь узкою сферой плотского обладания, что, наконец, это последнее должно играть наименьшую роль среди людей развитых, образованных. Но Андрей Павлович вспомнил, что любимая его другом девушка обратится в графиню Аракчееву и понял, что на самом деле она потеряна для Зарудина не только как женщина, но и как друг.

Возражение, которое он готовил своему другу, замерло на его устах.

— Быть может, ты и прав... — начал он снова, и в голосе его зазвучали более серьезные ноты. — Но я все-таки доволен, что удержал тебя от самоубийства, если жизнь, на самом деле, не представляет для тебя ничего в будущем, то кто же тебе мешает искать смерти, но не бесполезной, здесь, в кабинете, где пуля разбила бы тебе голову точно так же, как разбила твоего гипсового Аполлона, а там, где твоя смерть может послужить примером для других, может одушевить солдат и решить битву, от которой зависят судьбы народов. Иди на поле брани, подыми свой меч на защиту гражданской свободы, против полчищ того изверга человечества, который, прикрывшись тогой этой гражданской свободы, сбросил маску и стал представителем худшей из тираний — тирании военной... Твое положение, твой мундир дают тебе для этого полное право и полный простор, скажу более, обязывают тебя к этому. Просись в действующую армию.

Николай Павлович, казалось, пожирал восторженным взглядом своего друга. На лице его появилось выражение какого-то спокойствия, отчаяния и отчаянной решимости. Он даже приподнялся в постели на локте левой руки, а правую протянул Кудрину.

— Спасибо, друг, ты образумил меня, я еду в армию, и да будет надо мной воля Божья... Я буду искать смерти, но если не найду ее, то... останусь жить...

— Но прежде мне хотелось бы, чтобы ты сделался моим духовным братом... это вдохнет в тебя силу, внесет в твою растерзанную душу примирение с людьми и с самим собою...

— Я сам хотел просить тебя об этом. Я уеду не иначе, как масоном...

Разговор перешел на эту последнюю тему. Кудрин говорил почти один.

Николай Павлович слушал его рассеянно, не будучи, видимо, в состоянии отделаться от гнетущей мысли и даже раз перебил его вопросом:

— А ты поедешь?

— Куда?

— По приглашению...

— Нет, я в карауле... этот день... — сквозь зубы пробормотал Андрей Павлович и встал прощаться.

— Спи и ни о чем не думай... Думами ничего не переделаешь... а будущее — дело Бога!..

III

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Отношения наши с Францией при вступлении на престол императора Александра Павловича были миролюбивы: формальный трактат о мире был подписан в октябре 1801 года. Но мир с Францией не мог продолжаться долго, потому что первый консул Бонапарт с каждым годом делался заносчивее с государями и опасным для спокойствия Европы.

Англия, вынужденная обстоятельствами заключить с Францией невыгодный мир в Амиене, теперь не думала выполнять его условия: англичане по-прежнему занимали мыс Доброй Надежды, Мальту и Александрию; английские журналы подсмеивались над первым консулом, а государство готовилось к войне. После того, как Наполеон велел арестовать всех англичан во Франции и Голландии, Англия объявила ему войну.

Нашим послом в Париже был граф Марков, человек гордый, вспыльчивый и, притом, враг Наполеона. Между ним и Наполеоном не раз происходили сцены; однажды, после грубой выходки Наполеона, Марков повернулся к нему спиной и уехал. Когда Маркова отозвали, Наполеон стал придираться к нашему чиновнику Убри, оставленному в Париже вместо Маркова; кроме того, он настаивал и на удалении нашего чиновника при русской миссии из Дрездена. Становилось ясным, что Наполеон желает разрыва: до нас дошли слухи, что французские агенты подстрекают турок. Тогда Россия вступила в тайные переговоры с европейскими державами. Когда Наполеон велел расстрелять невинного герцога Ангиенского, император Александр приказал служить по нем траур и подал протест. Дерзкие ответы первого консула произвели полный разрыв, и русское посольство было отозвано из Парижа, а французское из Петербурга.

Это было в половине 1804 года.

Между тем, Наполеон торжественно наложил на себя императорскую корону. Когда Австрия и Швеция начали вместе обсуждать, какие лучше принять меры для обороны, император Александр привлек сюда и Англию, — в марте 1805 года она заключила с Россией союзный контракт. Узнав об этом, Наполеон предложил Англии мир. Союзники хотели покончить дело миролюбиво и с этой целью предлагали Наполеону даже некоторые уступки, как вдруг он нарушил люневильский договор, присоединив к Франции Генуэзскую республику и отдав Лукку своей сестре Елизе, принцессе Баччиоки. После этого и осторожный австрийский император поспешил вступить в переговоры о союзе с Россией и Англией, и в июле 1805 года Россия уже утвердила составленный в Вене план военных действий. По этому плану Австрия обязывалась выставить армию в 30 000 человек, Россия должна была выслать 115 000, а

Англия, как не имеющая сухопутного войска, обязывалась выплатить полтора миллиона фунтов стерлингов и три миллиона стерлингов ежегодной субсидии.

Россия стала деятельно приготавливаться к войне; комплектовались армии, заготавливались боевые снаряды и провианты; в Туле и Сестербеке, например, заготавливали ружья на всю армию; чтобы не вздорожали жизненные припасы, запрещено было вывозить за границу рожь и овес. В августе большая часть нашей гвардии выступила уже из Петербурга под начальством великого князя Константина Павловича. У прусской границы армия наша должна была остановиться, потому что Пруссия строго держалась нейтралитета и ни за что не хотела пропустить союзные войска через свои владения. Александр Павлович избегал войны с Пруссией, но честь России считал выше всего и не желал унижить достоинства ее в самом начале похода; могли говорить, что русский государь дошел со своей армией до границы и должен был отступить по воле прусского короля; поэтому он сам отправился в Берлин для личных переговоров с Фридрихом-Вильгельмом и, в случае упорства, думал даже объявить ему войну. Из Брест-Литовска (бывшего тогда на границе нашей с Австрией и Пруссией) он отправил в Берлин генерал-адъютанта Долгорукова с приказанием оставаться там не более суток, а в ожидании ответа, производил смотры войскам и повелел сформировать резервную армию, которая должна была расположиться вдоль всей нашей границы с Пруссией и Австрией.

Вдруг сами французы помогли делу: Бернадот, чтобы выиграть один или два перехода к Дунаю, с французской армией прошел через графство Анспах и этим нарушил прусский нейтралитет. Известие об этом взволновало Берлин: армия и народ заговорили о мести; тогда Фридрих-Вильгельм, подчинившись общему влечению нации, дозволил армии Кутузова вступить в прусскую Силезию; вскоре император Александр отправился в Берлин, и свидание его с Фридрихом-Вильгельмом положило начало их многолетней дружбе. У гроба Фридриха Великого государи дали друг другу слово взаимно поддерживать один другого.

Между тем, Наполеон, не зная, как нанести удар Англии, обратил свои силы на ее союзников: во главе двухсоттысячной армии он устремился от Рейна на Вену самым кратчайшим путем. Главные силы австрийцев, под начальством эрцгерцога Карла, находились тогда в Италии, 40 000 армия дожидалась на Дунае прибытия русской армии, двинутой к Баварии; начальствовал ею брат императора Франца, эрцгерцог Фердинанд. Не желая назначить главнокомандующим союзной армии Кутузова и не желая, с другой стороны, обидеть его назначением генерала Маака, австрийское правительство поручило армию двадцатичетырехлетнему брату императора, но с тем, чтобы всем распоряжался генерал Маак; бланковые подписи императора делали его самостоятельным: он мог не стесняться действиями и поступать по своему усмотрению, но Маак был человек неспособный, и сами немцы говорили, что имя его (Маака) по-еврейски значит поражение. Пока австрийские стратеги педантично, с циркулем в руках рассчитывали, что Наполеон до Дуная должен будет идти не менее 64 дней, Наполеон явился через 40 дней, отрезал Маака от спешивших к нему русских войск, окружил в Ульме и заставил его с пятьюдесятью тысячами сдаться на капитуляцию. Только эрцгерцог с кавалерией, преследуемый по пятам французами, успел уйти в Богемию, да Кантемир с 8-10 тысячами, успел присоединиться к Кутузову.

Кантемиру Маак поручил стеречь мосты на Дунае и Ааре; после слабой попытки удержать мосты от наступающей массы неприятелей, он должен был поспешно отступить на Мюнхен.

Австрийские войска были разобщены, разбросаны в разных местах, дрались вообще дурно, а Пруссия, по мнению Наполеона, не могла скоро начать неприятельские действия против него, поэтому он поспешил к Вене, чтобы этим еще более парализовать деятельность Пруссии. Когда Кутузов дошел до Браунау (на Инне), армия его оказалась чересчур усталою, потому что по мере опасности, угрожавшей Мааку, венский двор торопил Кутузова, который и без того заставлял пехоту делать по 50–60 верст в сутки. Хладнокровный и осторожный Кутузов оставался несколько времени на Инне и здесь выжидал, пока выяснятся намерения

Наполеона, чтобы с ними сообразить свои действия.

Когда сделалось ясным, что Наполеон спешит против него с стотысячной армией, Кутузов приказал вывозить из Браунау больных, парки и артиллерию, уничтожить все переправы на реке, не забывая в то же время хладнокровием и даже веселостью оживлять дух жителей и чиновников; затем начал медленно отступать к Вене.

Командование отдельными отрядами Кутузов вручил храбрым генералам Багратиону, Витгенштейну, Ермолову и Милорадовичу, имена которых несколько позже сделались знаменитыми. Так как на военном совете, под председательством императора Франца, решено было пожертвовать Веной, то Кутузов отступал на северо-восток к Брюну, вступая на пути в отдельные стычки с авангардом французов; особенно сильна была стычка у Дюрпштейна: «Этот день был днем резни», — пишет Наполеон в своем бюллетене.[2]

В ноябре французы заняли Вену и нашли здесь массу амуниции, оружия и пороха. Выйдя из Вены, Мюрат перешел Дунай и направился на северо-запад — в перерез Кутузову, который в полтора суток прошел 56 верст, под дождем, утопая в грязи. Задерживать Мюрата должен был арьергард в 7 000 человек, под начальством любимца солдат, неустрашимого и хладнокровного генерала Багратиона. Кутузов считал этот отряд «оставленным на неминуемую гибель для спасения армии». Пока армия отступала к Брюну, «геройский отряд» Багратиона сразился у Шенграбена с сорокатысячной армией Мюрата. Окруженный со всех сторон, Багратион бодро выдержал натиск масс, ринувшихся на него. Он потерял здесь все орудия, которые невозможно было везти через теснины по топким болотам, и 2000 человек убитыми, зато задержал французов. Вечером Багратион из остатков отряда сформировал колонну, пробился через французов и присоединился к армии.

— О потере не спрашиваю, ты жив — этого довольно! — сказал Кутузов, обнимая явившегося к нему Багратиона.

Сам Наполеон дивился храбрости русского арьергарда. «Русские гренадеры выказали неустрашимость», — писал он в своем бюллетене. Имя Багратиона, как героя, обошло всю Россию. За дело при Шенграбене он был произведен в генерал-лейтенанты, получил Георгиевский крест второй степени и командирский крест ордена Марии Терезы от императора Франца; последнего ордена никто из русских еще не имел.

У Брюна к Кутузову присоединился австрийский отряд, пришедший из Вены, у Вишау — корпус графа Буксгевдена, а у Ольмюца — русская гвардия; таким образом, все союзные войска составили до восьмидесяти тысяч.

Наполеон стянул к Брюну такое же число.

IV

АУСТЕРЛИЦ

Хотя оба императора назначили главнокомандующим союзной армии Кутузова, но распоряжались всеми действиями, составляли планы и отдавали распоряжения австрийские генералы и особенно неспособный Вейротер. Австрийцы имели свои понятия о войне, считали выработанными военные правила непреложными, а на русских смотрели, как на незрелых еще для высших военных соображений, почему, например, хвалили Кутузова, как полководца, но находили нужным руководить его действиями; с другой стороны, сам император Александр думал, что, воюя такое продолжительное время с Наполеоном,

австрийцы лучше русских могли изучить образ войны с ним, и, считая себя в этой кампании только союзником Австрии, находил более приличным, чтобы главными деятелями в ней были австрийский генералы.

15 ноября союзная армия, разделенная на пять колонн, выступила из Ольмюца. Император Александр следовал с третьей, или серединной колонной. Войска шли в величайшем порядке и в ногу, как на параде. На другой день наш авангард с князем Багратионом атаковал у Раузниц французский конный отряд и заставил его отступить. Здесь первый раз Александр Павлович был в огне. Когда пальба стихла, он шагом объезжал поле битвы, всматривался через лорнет в тела убитых и раненых и приказывал подавать последним помощь. Через два дня союзники дошли до Аустерлица и здесь решили дать битву Наполеону, так как в этой местности австрийцы нередко производили маневры. Наполеон занял превосходную позицию, как для атаки, так и для обороны: его армия упиралась в цитадель Брюна, которая, в случае необходимости, могла обеспечить отступление в Богемию: с правого фланга ее прикрывали лесистые и почти непроходимые холмы, а с фронта — глубокий ручей Гольдбах и несколько озер; против центра, за ручьем, подымались Пражские высоты — позиция господствующая и передовая, за которою виднелись вдаль деревни и замок Аустерлиц, занятые уже армией союзников. Наполеон видел и невыгодное расположение союзной армии, и намерение ее обойти его правый фланг, чтобы отрезать ему дорогу на Вену и отделить от остальных полков, расквартированных в окрестностях этого города; поэтому он был почти уверен в победе и накануне битвы велел объявить по армии следующее воззвание: «Позиции, занимаемые нашими — страшны; и в то же время, как русские будут идти в обход моего правого фланга, они мне подставят свой фланг. Солдаты! Я сам буду направлять ваши батальоны. Я буду держаться вдаль от огня, если вы с обычною храбростью смешаете неприятельские ряды; но если победа будет хотя на минуту нерешительна, вы увидите, что ваш император подвергнется первым ударам!»

Это воззвание, в котором Наполеон раскрывал перед армией свои планы и говорил с уверенностью победителя, произвело в лагере чрезвычайное впечатление: восторг солдат увеличился еще более, когда ночью Наполеон пешком и без свиты посетил бивак; солдаты устроили импровизированную иллюминацию, сжигая по его пути пуки соломы.

В русском лагере приняли иллюминацию за пылающие костры и, считая это знаком отступления, боялись, чтобы Наполеон не воспользоваться мраком ночи и не ушел с занятых им позиций. Русские рвались сразиться с ним и ждали только приказа. Еще 17 числа Наполеон просил у Александра Павловича личного свидания между обоими авангардами. Государь отправил за себя князя Долгорукова. Свидание окончилось ничем, но Долгоруков, возвратившись из французского лагеря, привез известие, будто там заметно уныние.

— Наш успех несомненен, — говорил он, — стоит только идти вперед — они отступят. До сих пор Наполеон двигался смело и решительно вперед, а теперь выжидает чего-то, вступает в переговоры; следовательно, он неуверен в победе!

Эту мысль разделяли многие, и вот почему решено было дать 20 ноября ему битву у Аустерлица. План атаки, составленный генералом Вейротером, был утвержден обоими императорами вечером 19 ноября. Кутузов не одобрял его: он думал, что следует решиться на нападение только тогда, когда будут верные сведения о силах противника и их расположении, а пока собрать свои силы, дать им диспозиции и тогда уже действовать сообразно обстоятельствам. Но Кутузов не настаивал сильно на своем мнении и не отвергнул план Вейротера; в этом состояла его ошибка.

В полночь он пригласил к себе начальников колонн, дежурного генерала Волконского и генерала Вейротера и объявил им, что завтра в семь часов утра начинается атака. Когда генералы сели, Вейротер развернул план окрестностей Брюна и стал читать свою диспозицию; при этом долго и очень запутанно объяснял ее. Говорят, будто бы к концу

объяснения Кутузов заснул, его пришлось разбудить. Когда Вейротер заключил свое объяснение заявлением, что места эти ему хорошо знакомы, потому что в прошлом году здесь были маневры, его помощник граф Бубна заметил на это:

— Не наделайте только опять таких же ошибок, как на прошлогодних маневрах.

Совет окончился в три часа, а через три часа был готов русский перевод диспозиции Вейротера, сделанный майором Толем, и доставлен к начальникам колонн.

— Сражение проиграно! — воскликнул Багратион, прочитав эту диспозицию.

Армия, растянутая на огромном пространстве, представляла большой полукруг, замыкавший угол, занятый в центре французами. Наполеон и его генералы хорошо изучили местность. Догадываясь о намерении союзников нанести удар правому крылу французов и обойти его, Наполеон воспользовался мраком ночи и тихо, незаметно для союзников, перевел большую часть корпуса Сульта через ручей Гольдбах. В семь часов утра, когда еще не успел рассеяться туман, он раздал последние приказания маршалам. Между тем, союзные войска, не подозревая перемены в расположении французской армии, стали двигаться, как им было указано диспозицией Вейротера. Наполеон, наблюдавший за этим движением с высокого кургана, отдал тут же приказание разрезать нашу армию в центре, но не ранее, как через полчаса, когда союзные войска еще более разобьются.

В 10 часов утра в русский лагерь прибыли императоры с огромной свитой. Часть четвертой колонны находилась с Кутузовым в центре Пражских высот. Подъехав к войску и видя, что солдаты отдыхали у ружей, сложенных в сошки, государь Александр Павлович удивился:

— Михаил Илларионович, почему вы не идете вперед? — спросил он Кутузова.

— Поджидаю, ваше величество, чтобы собрались все войска колонны, — отвечал Кутузов.

— Да ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки, — возразил Александр Павлович.

— Государь, — отвечал Кутузов, — потому-то я и не начинаю, что не на Царицыном лугу.[3]

Государь приказал вести войска вперед. Французы были так близко, что можно было разглядеть их лица; отбросив передовой отряд Милорадовича, они наступали на Пражские высоты. Сам Кутузов был ранен в щеку, многие генералы были убиты и все усилия Милорадовича остановить неприятеля были напрасны. Русские батальоны, не поддержанные никаким резервом, атакованные с боку, когда они шли в атаку с фронта, были отброшены на склоны возвышенности на глазах самого императора, удивленного и опечаленного непредвиденной катастрофой. Прорвав центр и заняв Пражские высоты, Наполеон выиграл битву. Начались отдельные стычки в разных местах: войска храбростью заслужили удивление Наполеона: офицеры и солдаты «дрались как львы», но их частные усилия гибли бесплодно, и битва к концу дня окончательно была проиграна.

У нас выбыло из строя более 20 000 человек, при этом потеряно 133 орудия и 30 знамен; единственным трофеем нашим было одно французское знамя, отнятое у батальона линейной пехоты двумя эскадронами конной гвардии. Австрийцы потеряли около 6000 человек и 25 орудий, а французы только 8500 человек.

Как всегда бывает, после поражения союзники упрекали друг друга. Австрийцы говорили, что Аустерлицкая битва была проиграна оттого, что русские не умеют маневрировать, что пехота русская неповоротлива, ружья тяжелы, артиллерия малоподвижна. Русские, напротив, обвиняли австрийцев, которые не изучили местности и не заготовили необходимого провианта и фуража, — и они были правы. Действительно, кажется странным, что на этом

месте австрийцы производили маневры, а между тем, знали местность хуже Наполеона. Император Франц, например, через шесть недель после битвы признался, что не знает плана битвы; затем на австрийцах лежала обязанность заготовления магазинов для союзной армии, но они об этом не позаботились, и наши лошади несколько суток должны были питаться одной соломой. Нельзя не признаться также, что одной из главных причин неудачи у Аустерлица была нетвердость и уступчивость Кутузова. Сам Александр Павлович говорил впоследствии:

— Я был молод, неопытен; Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее.

Таково было положение на европейском театре войны, куда Андрей Павлович Кудрин посылал несчастного Зарудина.

V

В СТОЛИЦЕ АРАКЧЕЕВА

В один из январских вечеров 1806 года в обширной людской села Грузина стоял, как говорится, «дым коромыслом». Слышались песни, отхватывали лихого трепака, на столе стояла водка, закуски и сласти для прекрасной половины графской дворни.

На дворе были «святки», до Крещения оставалось несколько дней. Праздником и отсутствием графа, находившегося в Петербурге, объяснялось это веселье. Граф Алексей Андреевич уже около трех месяцев не был в своей «столице», как остряки того времени называли Грузино.

Последнее действительно представляло даже и в это время целый городок и городок далеко не русский, так как последние отличаются и теперь, а не только тогда, неряшливостью и беспорядочностью постройки; здесь же царила симметрия, без которой граф Аракчеев не представлял себе даже понятия о красоте. При приближении к Грузину путешественнику казалось, что он каким-то волшебством перенесен из дикой Азии в культурную Европу, в какой-нибудь городок чистоплотной Германии, особенно летом, так как окаймляющий Грузино синюю лентою Волхов был в этом месте особенно чист и прозрачен.

Но не одно отсутствие графа давало возможность развернуться грузинской дворне во всю ширь своей русской природы, пригубить запретную в Грузине влагу, именуемую «сивухой», встретить праздник по-праздничному в полном для простолюдинов значении этого слова. Граф почти не пил сам и не любил не только пьяниц, но даже пьющих, хотя не только не стеснял своих дворовых и крестьян веселиться по праздникам, но даже поощрял их к этому, устраивая народные гуляния; но какое же веселье без водки, этой исторической вдохновительницы русского народа, а между тем, продажа и даже самый привоз ее в Грузино строго преследовались властным помещиком. Алексей Андреевич, с тех пор как был снова призван к кормилу государственного корабля, часто отсутствовал из Грузина, но это не мешало, чтобы жизнь его обитателей проходила неукоснительно по заведенному им шаблону без малейших отступлений.

В описываемый нами январский вечер дворовые села Грузина гуляли в людской с дозволения Минкиной, отпустившей от себя всю свою личную прислугу и оставшейся одной в своем флигеле, специально выстроенном для нее графом и отличавшимся от остальных грузинских строений наружной резьбой, зеркальными стеклами и вообще изяществом, невольно обращавшим на себя внимание всякого зрителя.

Одетая в пестрый персидский капот с пунцовой косынкою на голове, так шедшей к нежной, хотя и смуглой коже ее лица и, как смоль, черным волосам, она была неотразимо прекрасна, но какой-то особо греховной, чисто плотской красотой. Невольно вспоминалась справедливая оценка этой красоты одним заезжим в Грузино иностранцем, назвавшим Настасью Федоровну «королевой-преступниц» — прозвище, очень польстившее Минкиной.

Настасья Федоровна беспокойно ходила взад и вперед по довольно обширной комнате, меблированной не без комфорта, уже несколько раз проходила то к тому, то к другому окну, вглядывалась во тьму январского позднего вечера и чутко прислушивалась. На ее красивом лице было написано нетерпение ожидания.

Кругом все было тихо.

— Ведь должен же он сегодня приехать, неча ему зря в Питере болтаться, да и граф не оставит... — вслух соображала она. — Впрочем, чуден стал его сиятельство, ничего с ним не сообразишь... Сюда глаз не кажет, в Питер не зовет, писем и с Егорушкой сколько ему уж написала, ни на одно хоть бы слово ласковое ответил: окромя распоряжений по вотчине, ничего не пишет. Неужто и теперь на мое письмо, слезное да ласковое, молчком отделается. Аль я ему не любя стала, другую зазнобу в Питере нашел, да навряд ли, кому против меня угодить... старому... Да и где они такие другие, как я, крали писанные... Была какая-то Катерина Медичева, говорил мне Егорушка, да померла давно... а другим до меня... далеко.

Выражение мстительного беспокойства от предполагаемой графской измены сменило выражение хвастливого довольства собой.

«А если какая фря и станет мне поперек дороги, в порошок сотру, сама сгину, но погублю своим бездыханным телом и раздавлю разлучницу...» — продолжала далее думать Минкина, и огонек злобной решимости все более и более разгорался в ее темных, как ночь, глазах.

В этот самый момент среди царившей невозмутимой тишины раздался осторожный, но явственный стук в наружную дверь. Настасья Федоровна быстро прошла в переднюю комнату, откинула дверной крюк, и вместе с ворвавшимся в комнату клубом морозного пара на пороге двери появился видный, рослый мужчина, закутанный в баранью шубу, воротник которой был уже откинут им в сенях, а шапка из черных мерлушек небрежно сдвинута на затылок. Чисто выбритое лицо с правильными чертами могло бы назваться красивым, если бы не носило выражения какой-то слащавой приниженности, что не могло уничтожить даже деланное напускное ухарство вошедшего, обстриженные кудри светло-каштановых волос выбивались из-под шапки и падали на белый небольшой лоб. Толстые, но красивые губы указывали на развитую с избытком чувственность, но здоровый, яркий румянец щек, подкрашенный еще морозом, красноречиво доказывал, что пришедший был еще молод и не испорчен.

Ему на самом деле шел всего двадцать четвертый год.

— Егорушка... что так поздно... — бросилась к нему Минкина и, обвив его шею своими полными, красивыми руками, запечатлела на обеих его щеках по горячему поцелую.

Егор Егорович — это был он — принял эту ласку как-то растерянно, послал на воздух два ответные поцелуя и бросил вокруг несколько боязливых взглядов.

Настасья Федоровна поймала их налету.

— Мы одни! Все в людской... пируют, — сказала она и заложила дверной крючок.

Воскресенский сбросил с себя шубу на стоявший в передней сундук и робко, точно поневоле, последовал за шедшей впереди Минкиной в ту комнату, где мы застали ее, ожидавшую его

приезда из Петербурга.

— Садись, Егорушка, сюда на диванчик к столику, а у меня для тебя припасены и винцо, и закусочка.

Настасья Федоровна выскользнула своей плавной походкой в следующую комнату.

Егор Егорович остался один и с каким-то не то испуганным, не то виноватым видом опустился на диван.

Скажем несколько слов о прошлом этого настоящего фаворита грузинской «графини», как называли за последнее время Минкину дворовые люди и крестьяне села Грузина.

Сын бедного дьячка одного из малолюдных петербургских приходов, он довольно успешно учился в духовной семинарии на радость и утешение родителям, мечтавшим видеть своего единственного сына в священническом звании, но увы, этим радужным мечтам не суждено было осуществиться, и на третий год пребывания Егора Воскресенского в семинарии, он был исключен за участие в какой-то коллективной шалости, показавшейся духовному начальству верхом проявления безнравственности. Кроме исключения, прилежный семинарист подвергся суровому наказанию бурсацкими лозами, к которым были прибавлены лозы дома, отсыпанные щедрой рукой хотя и тщедушного, чахоточного, но раздражительного и злобного родителя.

Претерпев такое наказание, мальчик был оставлен родителями без всякого присмотра и лишь по истечении года случайно был определен в аптеку, находившуюся в районе их прихода и содержимую немцем Апфельбаумом, женатым на православной и богомольной барыне, к протекции которой и обратился отец Егорушки.

Занятия у аптекаря, в качестве ученика, пришлись по душе мальчику, и он через несколько лет успешно выдержал экзамен на фармацевта. Случай, видимо, покровительствовавший изгнанному семинаристу, способствовал и его переводу в аптеку села Грузина, куда он поступил в помощники аптекаря. Дело в том, что граф, нуждаясь в таком служащем, сделал запрос в петербургских аптеках, и на этот запрос не убоялся откликнуться Егор Егорович Воскресенский, все же остальные находившиеся в аптеках фармацевты уклонились от службы у грозного, понаслышке, Аракчеева.

Нельзя сказать, чтобы Егор Егорович без душевного трепета принял решение вступить в грузинскую службу, но его побудила к этому неопределенность будущего, так как старик Апфельбаум, сильно прихварывавший за последнее время, уже с год как искал случая продать свою аптеку и пожить на покое. Во время же получения графского запроса продажа аптеки была уже решена, и будущий новый хозяин заявил, что у него уже подобраны служащие, так что Воскресенский рисковал долго не найти места в переполненных фармацевтами столичных аптеках.

Рок, видимо, вел его туда, где ему суждено было испытать и тревожное счастье, и неожиданную гибель.

VI

МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЮ

Егор Егорович прибыл в Грузино в отсутствие графа и, вследствие данной его сиятельством в вотчинную контору письменной из Петербурга инструкции, явился к грузинскому аптекарю,

получил отведенную ему в помещении аптеки комнату и приступил к исполнению своих обязанностей.

Весть о прибытии молодого и красивого аптекарского помощника была доведена до сведения Настасьи Федоровны преданной ей «дуэньей» старухой Агафонихой.

— Красавец он, матушка, Настасья Федоровна, писаный, рост молодецкий, из лица кровь с молоком, русые кудри в кольца вьются... и скромный такой, точно девушка, с крестьянами обходительный, ласковой... неделю только как приехал, да и того нет, а как все его полюбили... страсть!.. — ораторствовала Агафониха у постели отходящей ко сну Минкиной, усердно щекоча ей пятки, что было любимейшим удовольствием грузинской домоправительницы.

— Да откуда он проявился такой, королевич сказочный? — с деланной зевотой спросила Настасья Федоровна, хотя блеск ее глаз доказывал, что она далеко не без интереса слушает рассказ своей наперсницы.

— Из Питера, матушка, Настасья Федоровна, из Питера, в аптекарях и там служил, граф его к нам выписал...

— Из Питера, — протянула Минкина, — да красивый. Чай, бабами страсть избалован, да и зазнобу какую ни на есть, чай, там оставил?..

— Уж об этом я, матушка, доподлинно не знаю, чай, конечно, не без греха, не девушка, да и былъ молодцу не укор, только ежели сюда его занесло, все зазнобушки из головы вылетят, как увидит он королевну-то нашу.

— Это какую еще королевну? — углом рта лукаво улыбнулась Настасья Федоровна.

— Какая же во всей Россее oprичь тебя, матушка, королевна есть, и чье сердце молодецкое не занает тебя встретив, хоть бы сотня зазнобушек заполонила его...

— Ну, пошла, замолоча, — полусердито, полуласково, как бы сквозь сон, заметила Настасья Федоровна, — иди себе, я засну.

Агафониха вышла, не удержавшись, впрочем, лукаво подмигнуть уже, казалось, заснувшей Минкиной.

Последняя далеко не спала, она лежала с закрытыми глазами и старалась воссоздать своим воображением ослепительный образ красивого юноши, очерченный лишь несколькими штрихами в рассказе старухи.

Страстная и чисто животная натура грузинской домоправительницы не могла остаться безучастной к появлению вблизи красивого молодого мужчины.

Молодая, страстная, огненная, с чисто восточным темпераментом женщина, каковой была Настасья Минкина, не могла, конечно, довольствоваться супружескими ласками износившегося и уже значительно устаревшего Аракчеева и, конечно, обманывала его как любовника при каждом представившемся случае. Кроме того, домоправительница-фаворитка обманывала графа и как хозяина села Грузина: во флигеле Настасьи в его отсутствие происходили безобразные сцены самого широкого разгула, и шампанское лилось рекой. У Настасьи Федоровны всегда имелся запас самых дорогих вин. При той аккуратности и строгой отчетности во всех мелочах, какие заведены были в Грузине, нечего, конечно, было и думать о получении вин из графского погреба: там каждая бутылочка стояла за особым номером, и ее исчезновение могло быть замечено легко и скоро. Минкина находила другие средства для своих кутежей, черпая их из не совсем чистого источника. Она знала за лицами, стоявшими

во главе различных частей управления грузинской вотчины, разные грешки и, пользуясь этим, брала с них и деньгами, и натурою в виде подарков.

Скука и однообразие жизни, проводимой ею в Грузинском монастыре, как сам граф называл впоследствии свою усадьбу, более или менее объясняют, хотя, конечно, не извиняют обе стороны жизни полновластной экономки.

Долго в сладострастных думах не могла заснуть Настасья Федоровна и ворочалась на своей роскошной постели, лишь под утро забываясь тревожным, лихорадочным сном.

Проснувшись довольно поздно, она тотчас же позвала к себе Агафонику и долго шепталась с нею.

День уже склонился к вечеру, когда Агафонику своею семенящею походкой взобралась на крыльцо аптеки и вошла в нее.

Егор Егорович отпускал в это время лекарство какой-то бабе и усердно и толково объяснял ей его употребление.

Агафонику остановилась немного поодаль и ждала ухода посторонней.

— Тебе что, бабушка? — обратился к ней Воскресенский.

— Я подожду, родимый, справляй свое дело, справляй...

Наконец, баба поняла и, охая да причитая, удалилась. Егор Егорович вопросительно уставился на Агафонику.

— Я к тебе, родимый, от графинюшки... — таинственно начала она.

— От какой графинюшки?

— Известно от какой, от Настасьи Федоровны...

Воскресенский вспыхнул.

Агафонику не ошиблась, когда говорила Минкиной, что ни одно сердце молодецкое не устоит перед красотой последней. Егор Егорович несколько раз лишь мельком, незамеченный ею, видел властную домоправительницу графа, и сердце его уже билось со всею страстью юности при воспоминании о вызывающей красоте и роскошных формах фаворитки Аракчеева. Знал Воскресенский, несмотря на свое короткое пребывание в Грузине, и о сластолюбии Минкиной, и о частых переменах ее временных фаворитов.

«Ужели теперь настала его очередь?»

При этой мысли вся кровь бросилась ему в голову, сердце как-то томительно похолодело. С одной стороны перспектива обладания этой, казалось ему, несравненной красавицей, этим чисто «графским кусочком», как мысленно называл он ее, а с другой — возможность, что его поступок дойдет до сведения грозного графа. При этой мысли он почувствовал необычайный ужас, и волосы поднялись дыбом на его голове. Он постарался отбросить всякое помышление о возможности обладания «графинюшкой», как называла ее стоявшая перед ним старуха, и почти спокойным, с чуть заметною дрожью от внутреннего волнения, голосом, спросил:

— Что же угодно от меня Настасье Федоровне?

— Да прислала она меня к тебе, голубчик, за каким ни на есть снадобьем, мозоль на ноге

совсем извел ее, сердешную...

Егор Егорович положительно упал с неба на землю, и, странное дело, несмотря на то, что он только что пришел к решению всеми силами и средствами избежать этой обольстительно красивой, но могущей погубить его женщины, наступившее так быстро разочарование в его сладких, хотя и опасных мечтах, как-то особенно неожиданно тяжело отозвалось в его душе.

Теперь ему захотелось обладать ею хотя бы ценою жизни.

— Мозоль... вы говорите, мозоль... — упавшим голосом спросил он Агафонику. — Жесткий?

— Мозоль, родимый, мозоль... и жесткий-прежесткий... — с лукавой улыбкой отвечала старуха.

Он не заметил этой улыбки, с минуту постоял в задумчивости, затем подошел к одному из аптечных шкафов, вынул закупоренный и запечатанный пузырек с какой-то жидкостью; затем из ящика достал кисточку и, завернув все это в бумажку, подал ожидавшей Агафонихе.

— Вот, передайте своей барыне и скажите, чтобы она на ночь кисточкой осторожно смазала то место, где мозоль... С третьего, четвертого раза он размякнет и вывалится...

Старуха покачала головой, но не взяла сверток.

— Нет, ты уж сам, голубчик, отлучись на часочек, мальчонка у тебя подручный, чай, есть, он за тебя твое дело справит...

— То есть как сам, что сам?

— А помажь мозоль-то Настасье Федоровне, а то она, да и мы, бабы, что смыслим... Такой и от нее приказ был, чтобы ты сам пожаловал...

— Да зачем же, это так просто... — пробовал было возражать Егор Егорович.

— Такова уж ее барская воля, — наставительно заметила старуха, — не нам с тобой ей, молодчик, перечить, когда сам сиятельный граф насупротив ее ничего не делает.

— Когда же идти-то мне? — поняв бесповоротность решения Минкиной, спросил Воскресенский.

— Да сейчас и пойдем, я тебя проведу к ней, очень уж она этой самую мозолью мучается...

Егор Егорович позвал ученика, приказал ему побыть в аптеке, пока он вернется, надел тулупчик и шапку и вышел вслед за Агафонихой.

Сердце его усиленно билось. Он находился между страхом и надеждою, но, увы, не страхом ответственности перед графом Аракчеевым, его господином, от мановения руки которого зависела не только его служба, но, пожалуй, и самая жизнь, и не надежда, что мимо его пройдет чаша опасного расположения или просто каприза сластолюбивой графской фаворитки, а напротив, между страхом, что она призывает его именно только по поводу мучающей ее мозоли, и надеждою, что его молодецкая внешность — ему не раз доводилось слышать об этом из уст женщин — доставит ему хотя мгновение неземного наслаждения. Благоразумие при мелькнувшем предположении о возможности обладания красавицей исчезло вместе с потухшим лучом надежды на это обладание. Опасность, остановившая было его, теперь делала еще заманчивее цель, придавала ее осуществлению особую, неиспытанную еще им сладость.

Все эти ощущения смутно переживались его разгоряченным мозгом в то время, когда он

твердою походкой шел по направлению к графскому дому за своей путеводительницею — старой Агафонихой.

Вот они вошли уже во двор, направились к флигелю Минкиной и вступили на крыльцо.

«Будь, что будет!» — мысленно сказал себе Егор Егорович, входя в отворенную старухой дверь.

VII

ВО ФЛИГЕЛЕ МИНКИНОЙ

Агафониха, указав Воскресенскому куда повесить ему в передней тулупик и шапку, повела его через две комнаты в спальню Настасьи Федоровны.

Богатая обстановка комнат графской любимицы, бросившаяся в глаза проходившему Егору Егоровичу, мгновенно отрезвила его.

«Несомненно, что она призывает меня только для медицинской помощи... Разве я, безумец, не понимаю то расстояние, которое разделяет ничтожного помощника аптекаря от фаворитки первого вельможи в государстве, фаворитки властной, всесильной, держащей в своих руках не только подчиненных грозного графа, но и самого его, перед которым трепещет вся Россия» — несло в голове Воскресенского.

«Положим, говорят, она снисходит и до более низших лиц, но, быть может, во-первых, это только досужая сплетня, и, во-вторых, все-таки он стоит выше дворового молодца, с которым подвластная распорядительница грузинской вотчины могла совершенно не церемониться и мимолетная связь с ним не оставляла и следа, а лишь взысканный милостью домоправительницы за неосторожное слово мог riskовать попасть под красную шапку или даже в Сибирь...»

Егор Егорович вспомнил, что ему рассказывали такие случаи.

Значит, он менее всякого крестьянского парня мог иметь шансов на даже мимолетное обладание этой могучей красавицей... Она побоится огласки с его стороны, побоится, как бы ее преступная шалость не дошла до сведения ее ревнивого повелителя!..

«Тем лучше!» — решил он в своем уме, хотя в душе пожалел, что находится в таком исключительном положении...

— Вот, матушка, Настасья Федоровна, привела к тебе молодца вместе со снадобьем... — пробудил его от этих дум голос Агафонихи.

Он поднял глаза и положительно остолбенел. Он находился в спальне Минкиной.

Это была довольно большая длинная комната с одним окном, завешанным тяжелой шерстяной пунцовой драпировкой, пол был устлан мягким ковром, и кроме затейливого туалета и другой мебели в глубине комнаты стояла роскошная двухспальная кровать, на пуховиках которой лежала Настасья Федоровна в богатом персидском капоте. Восковая свеча, стоявшая на маленьком высоком шкапчике у изголовья кровати, освещала лицо аракчеевской экономки, и это лицо, с хитрыми прекрасными глазами, казалось вылитым из светлой бронзы, и если бы не яркий румянец на смуглых щеках, да не равномерно колыхавшаяся высокая грудь лежавшей, ее можно было принять за прекрасно исполненную

статую. Туго заплетенная длинная и толстая иссиня-черная коса змеей почти до полу ниспадала по белоснежной подушке.

Минкина не шевельнулась, продолжая смотреть на вошедших все тем же смеющимся взглядом своих блестящих глаз.

Агафониха, отрапортовав о приходе Егора Егоровича, быстро и незаметно выскользнула из комнаты и плотно прикрыла за собою дверь.

Он остался с глазу на глаз с графской фавориткой, смущенный, растерянный, не решаясь ни подойти ближе, ни шагнуть назад, с глупо растопыренными руками, с неотводно на лежавшую красавицу смотревшими глазами.

Несколько минут длилось томительно молчание.

Настасья Федоровна, казалось, наслаждалась смущением молодого человека, хорошо понимая причины этого смущения и, кроме того, видимо, употребляя это время на внимательное и подробное рассмотрение стоявшего перед ней «писаного красавца», как рекомендовала его ей Агафониха.

Результат этого осмотра оказался, по-видимому, благоприятным для осматриваемого, так как Минкина улыбнулась какою-то довольною, плотоядною улыбкою.

Воскресенский, увидав эту улыбку и приняв ее за насмешку над своей растерянностью, с невероятным трудом заставил себя сделать шаг к постели и дрожащим голосом произнес:

— Вы изволили меня звать?

— Да, звала, — небрежно кинула ему, улыбнувшись, Минкина.

— Я слышал от посланной, что вас мучает мозоль...

Настасья Федоровна звонко рассмеялась, снова до необычайности смутив этим Егора Егоровича, уже вынувшего из кармана сверток с пузырьком и кисточкой.

— Да, да, мозоль, — снова заговорила она, еле удерживаясь от вторичного взрыва веселого хохота, и протянула из-под капота левую ногу, обутую в ярко-пунцовую туфлю и тонкий шелковый ажурный чулок.

Вся кровь бросилась в голову Воскресенского, он дрожащими руками стал разворачивать и раскупоривать пузырек и затем, поставив его на шкафчик, пробовать об ноготь кисточку.

Настасья Федоровна насмешливо следила за всеми его движениями, играя высунутой из-под капота миниатюрной ножкой, с которой от движения уже свалилась туфля.

Она видела, что он умышленно мешкал.

— Скоро? — спросила она, снова пристально посмотрев на него своими смеющимися глазами.

Он встrepенулся и решительно приблизился к ней, осторожно взяв ее ногу, но снова остановился, так как руки его ходили, что называется, ходуном.

— Чулок надо снять! — уже повелительно и даже с некоторым раздражением произнесла Настасья Федоровна.

Воскресенский дрожащими руками стал стягивать чулок, не расстегнув подвязки. Только после нескольких усилий он заметил свою оплошность, расстегнул пунцовую, атласную

подвязку и осторожно, одной рукой поддерживая ногу, снял чулок. Словно выточенная из мрамора нога покоилась на его руке, он с восторгом любовался ее восхитительною формою, тонкие пальцы с розовыми ногтями, казалось, не только не знали, но и не могли знать никаких мозолей. Развившаяся на свободе, без стеснительной и часто уродующей нежную ногу обуви, взлелеянная в течение нескольких лет в неге и холе нога мещанки Минкиной, изящная по природе, была действительно верхом совершенства.

Егор Егорович начал осторожно перебирать пальцы ног.

— Щекотно! — вдруг игриво вырвала из его рук Настасья Федоровна.

— Я не вижу мозолей! — произнес он почти задыхающимся голосом.

— На другой! — лаконично отвечала она и протянула к нему правую ногу.

Он посмотрел на Настасью Федоровну умоляющим взглядом.

Она отвечала ему взглядом искрящихся, почти злобно смеющихся глаз и только движением ноги сбросила туфлю.

Он расстегнул подвязку и стал стаскивать чулок, но вдруг зашатался и бессильно оперся правой рукой о край кровати.

— Пощадите... не могу! — чуть слышно прошептал он.

— И не надо, — с веселым смехом воскликнула Минкина и, быстро наклонившись к стоявшей на шкапчике свече, потушила ее.

VIII

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Прошло несколько месяцев. Отчасти предвиденная Егором Егоровичем, отчасти для него неожиданная связь с домоправительницей графа Аракчеева продолжалась. Настасья Федоровна, казалось, привязалась к молодому аптекарскому помощнику всей своей страстной, огневой, чисто животной натурой, и он стал понимать, к своему ужасу, что это был далеко не мимолетный каприз властной и характерной красавицы.

Он стал понимать это именно к своему ужасу, так как в его отношениях к ставшей так неожиданно быстро близкой ему женщине, чуть ли не с момента ухода его из флигеля Минкиной после часов первого блаженства, произошла резкая перемена. Когда первая страсть была удовлетворена, с ним случилось то, что случается с человеком, объевшимся сластями, он почувствовал нестерпимую горечь во рту. Это неприятное ощущение усугублялось еще восставшими в его воображении тревожными картинами будущего. «Приедет граф и узнает», — вот мысль, тяжелым свинцом засевшая в его мозгу, после первого же свидания с Минкиной. Единственным желанием избранника Настасьи Федоровны было, чтобы это первое свидание было последним, но увы, на другой же день под вечер в аптеке снова предстала перед ним Агафониха. За этим вторым свиданием последовало третье и так далее. Они устраивались то во флигеле Настасьи Федоровны, а чаще в избе Агафонихи, стоявшей у околицы, вдали от других строений.

Понятно, что не только для всей дворни, но даже для грузинских крестьян связь любимого аптекаря с ненавистной экономкой не была тайною, и хотя их молчание было обеспечено с

одной стороны в силу привязанности к Егору Егоровичу, а с другой — в силу почти панического страха перед Минкиной, но первому от этого было не легче. Ведь открыл же графу пьяный кучер тайну происхождения Миши — ему рассказала эту историю сама Настасья Федоровна — значит, и относительно открытия его отношений с ней существует страшный риск.

Первый приезд графа, проведенного в Грузии несколько дней и даже очень ласково принявшего нового служащего, о котором он успел собрать справки, прошел благополучно, но Егор Егорович от этого далеко не успокоился, а, напротив, доброе отношение к нему Алексея Андреевича подняло в еще не совсем испорченной душе юноши целую бурю угрызений совести. В часы свиданий с Минкиной он стал испытывать не наслаждения любви, которой и не было к ней в его сердце, не даже забвение страсти, а мучения страха перед приближающейся грозой, когда воздух становится так сперт, что нечем дышать, и когда в природе наступает та роковая тишина, предвестница готового разразиться громового удара.

«Да грянь же ты, неизбежный гром!» — вот единственное желание людей в таком состоянии.

Это же чувство испытывал и Егор Егорович.

Но гром не гремел, а атмосфера кругом все сгущалась. Последнему способствовало одно происшествие, которое при других обстоятельствах могло бы считаться несомненным поворотом колеса фортуны в сторону Егора Егоровича, но для него явилось, увы, прямо несчастьем. Так относительно в жизни людей понятия о счастье и несчастье.

Во второй или третий приезд графа в его вотчину, поздней ночью Воскресенский был разбужен пришедшей в аптеку грузинской крестьянкой, просившей лекарства для своего внезапно заболевшего мужа, у которого, по ее словам, «подвело животики». Егор Егорович, внимательно расспросив бабу о симптомах болезни, стал готовить лекарство, когда дверь аптеки снова отворилась и в нее вошел какой-то, по-видимому, прохожий, в длинном тулупе, в глубоко надвинутой на голове шапке и темно-синих очках, скрывавших глаза.

Незнакомец выждал, пока аптекарь занимался с пришедшей ранее посетительницей, и когда та ушла, завел с Воскресенским совершенно праздный разговор и стал поносить как грузинские порядки, так и его владельца.

Егор Егорович горячо заступился за графа и высказал много истин о недостатках его служащих, но так как прохожий, видимо, не убеждался его доводами и не унимался, вытолкнул его бесцеремонно за дверь.

— Не хай хозяина в его хоромах! — проговорил он, изрядно накладывая ему в шею.

— Провались ты, чертов слуга, со своим барином в тартарары... — огрызался неизвестный.

Взволнованный происшедшим, Воскресенский долго не мог заснуть, да и следующие дни появление подозрительного прохожего не выходило из его головы. Граф, между тем, снова уехал в Петербург и Минкина постаралась устроить свидание со своим новым фаворитом.

Во время этого-то свидания, Егор Егорович рассказал ей о своем ночном приключении.

— Да это был сам граф! — воскликнула Настасья Федоровна.

— Как граф? — упавшим голосом, побледнев, как полотно, проговорил Воскресенский.

— Да так, у него в привычку каждую ночь переряживаться да по селу шастать, за порядком наблюдать, да о себе самом с крестьянами беседовать, раз и ко мне припер, в таком же, как ты рассказываешь, наряде да в очках, только я хитра, сразу его признала и шапку и парик стащила... Заказал он мне в те поры никому о том не заикаться, да тебя, касатик, я так

люблю, что у меня для тебя, что на сердце, то и на языке, да и с тобой мы все равно, что один человек...

— Вот так штука! — с напускною развязностью заметил Воскресенский, хотя на сердце у него, что называется, скребли кошки. — А я его порядком-таки попотчивал...

— И ништо... не шатайся, не полунощничай... не графское это дело!.. — хохотала Минкина, привлекая к себе совершенно расстроенного Егора Егоровича.

Это свидание показалось ему еще продолжительнее, чем другие. Он почти с радостью вырвался из объятий этой почти ненавистной ему красавицы.

— Что-то будет? Что-то будет? — задавал он себе почти ежеминутно вопрос.

Досужие рассказы о мстительности и жестокости Аракчеева, слышанные им в Петербурге, против его воли восставали в памяти, жгли мозг, холодили сердце.

IX

ПРИКАЗ

Прошла томительная неделя. В главной вотчинной конторе получен был собственноручный графский приказ об увольнении от должности помощника управляющего и о назначении на его место помощника аптекаря Егора Егоровича Воскресенского, которому быть, в случае надобности, и секретарем графа по вотчинным делам.

Приказ этот для лиц, стоявших во главе вотчинного управления, явился совершенною неожиданностью. Только Воскресенский и Минкина поняли, что он есть результат приключения в аптеке. Настасья Федоровна очень обрадовалась, так как помощник управляющего имел помещение в графском доме, куда она имела свободный вход по званию домоправительницы, а следовательно, свидания с ним более частые, нежели теперь, являлись вполне обеспеченными и сопряженными с меньшим риском, да и она может зорче следить за своим любовником — она заметила его к ней холодность, и последняя не только все более и более разжигала ее страсть, но и заронила в ее сердце муки ревности. Егора Егоровича, напротив, этот приказ ударил, как бы обухом по лбу — милость к нему графа, обманываемого им в его собственном доме, казалась ему тяжелей его гнева, страшнее всякого наказания, которое могло быть придумано Алексеем Андреевичем, если бы он узнал истину. Эта милость усугубляла его грех перед ним, и этот грех давил его душу.

По приезде в Грузино граф вызвал Воскресенского, обласкал его и выразил надежду, что он оправдает оказанное им доверие.

Бледный, трепещущий Егор Егорович пробормотал шаблонную благодарность. Алексей Андреевич приписал смущение молодого человека неожиданности повышения и милостиво отпустил его к исправлению его новых обязанностей. Ни одного намека не проронил он о ночной сцене в аптеке, не подозревая, конечно, что Воскресенский был посвящен в тайну устраиваемых им маскарадов.

Первое время Егор Егорович подумал, не ошибается ли Минкина, что подозрительный прохожий и граф — одно и то же лицо, но смена помощника управляющего, о «злоупотреблениях» которого в защиту графа говорил неизвестному Воскресенский, подтверждала это предположение, да и костюм, описанный Настасьей Федоровной, в котором она узнала Алексея Андреевича, был именно костюмом прохожего.

Егор Егорович стал ревностно исполнять свои обязанности, граф каждый приезд выражал ему свое удовольствие и даже не раз говорил Настасье Федоровне:

— Ну и парня послал мне Бог, Настасья, золото; за тобой да за ним я, как за стеной каменной.

— Не захвали, отец родной, вначале они все золото, ишь что вздумал, меня сравнить с ним, я, холопка, тебе душой и телом предана сколько годов, а этот и служит-то без году неделя... да и, слышала я, из кутейников, не люблю я их породу-то.

— Это ты, Настасья, оставь, кутейники народ умный, трудовой да старательный, вон Сперанский тоже из кутейников, а я бы сам много дал, чтобы иметь четверть ума его... А тебя я сравнил с ним не в умаление, а в похвалу, потому что как ты мне ни предана, как ни рассудительна, а все баба...

— Что же что баба, а охранить тебя и добро твое получше всякого кутейника сумею... да и не говори ты мне про него, не полюбился мне новый любимец твой, в глаза прямо не смотрит, все норовит вниз опустить... — раздраженным тоном проговорила Настасья.

— Ну, вот и сказалась в тебе баба, — захохотал Алексей Андреевич, — тебе бы хотелось, чтобы он свои буркулы на тебя паялил, красотой твоей любовался, а он парень рассудительный, знает свое место и знает куда и на кого ему глядеть следует...

— Рассудительный... — задорно протянула Минкина. — Уж так и знает... Коли захочу, и на меня взглянет, да и не оторвется...

Граф вспыхнул.

— Это ты, Настасья, оставь!.. Коли шутки, так со мной, сама знаешь, плохие. Аль приглянулся, парень красивый...

Настасья захохотала.

— Красивый... нашел красоту... Да нешто мне, обласканной твоею графскою милостью, нужен кто? Нешто я гляжу на кого... Ведь скажет, право, такую околесину... — припав головой к груди сидевшего рядом с ней на диване Аракчеева, в душу проникающим голосом заговорила она.

Граф успокоился.

— Я с ним и по делу-то говорить не люблю, потому не лежит мое к нему сердце... И тебя-то, отец родной, я предупредить хотела... — продолжала она.

— Ну, это ты оставь и сердце свое переломи... он мне нужен, а предчувствия эти ваши — одни бабьи бредни...

Настасья Федоровна при первом свидании передала Егору Егоровичу этот разговор ее с графом и передала с тем нахальным смехом, который все более и более коробил ухо бедному Вознесенскому. Пронесся год, не принесся с собой никаких перемен в его жизни, разве усугубив тяжесть его положения; так как граф за последнее время редко навещал Грузино, а полномостная Настасья на свободе предавалась бесшабашным кутежам, требуя, чтобы он разделял их с нею и отвечал на ее давно уже надоевшие ему да к тому же еще пьяные ласки.

В довершение несчастья, на мрачном фоне его будничной жизни стал за последнее время светлым пятном мелькать образ хорошенькой девушки, белокурой Глаши, горничной Настасьи Федоровны, сгущая еще более окружающий его мрак.

Он знал ревнивый, бешеный нрав своей повелительницы, знал, что она зорко следит за ним, и блестящие откровенною любовью к нему добрые глазки Глаши только растревляли его сердечные раны, не принося ни утешения в настоящем, ни надежды на лучшее будущее.

Мысль о какой бы то ни было развязке так беспощадно сложившихся для него обстоятельств являлась чрезвычайно отрадной. Вернувшись из Петербурга, куда он ездил по вызову графа для доклада о происшедшем в Грузии пожаре, он привез оттуда известие, которое, казалось ему, вело к этой развязке.

О нем-то и задумался он, сидя во флигеле Минкиной и мысленно переживая всю историю знакомства с этой наводящей на него теперь только страх женщиной, — историю, рассказанную нами в четырех последних главах нашего правдивого повествования.

Х

ПИТЕРСКИЕ НОВОСТИ

— Выпьем да закусим, чем Бог послал, а потом и рассказывай... — заговорила Настасья Федоровна, вошедшая в комнату с огромным подносом, уставленным несколькими бутылками вина и разнообразными яствами, поставила поднос на стол перед диваном и, сев рядом с Егором Егоровичем, наполнила стаканчики.

— Привез мне от графа грамотку?

— Нет, ничего писать не изволили...

— Не изволили... — передразнила его Минкина, не любившая, что Воскресенский даже заочно почтительно относился к Алексею Андреевичу. — Что же это так, не изволили...

— Уж этого я не могу знать.

— Обо мне-то все же расспрашивал, о здоровье?

— Тоже ни слова не изволили спрашивать.

— Ни слова! — уже произнесла она задрожавшим от гнева голосом. — Вот как... О чем же он с тобой беседовал?

— Беседа наша коротка была. Выслушал о пожаре, покачал головой, приказал строиться.

— А письмо мое ты когда ему отдал?

— Тот же час, как я явился, вручил. Повертел он его в руках и положил на стол не распечатывая.

— Вот как... — снова сквозь зубы протянула Настасья Федоровна. — Сколько же ты раз с ним виделся?

— Всего один раз вызывать изволили. Только к ночи и домой жалуют. Мне Степан Васильевич сказывал.

— Где же это он время коротает? Не все же по делам! Баба-поганка, наверняка, какая-нибудь завелась... — уже прошипела Минкина, вся бледная и дрожащая от злобы.

Егора Егоровича, который сначала хотел исподволь подготовить ее к роковому известию, вдруг охватило непреодолимое желание, что называется, ошарашить ее, а затем побесить и помучить, благо для этого представлялся теперь удобный случай. Вся злоба, накипевшая в его сердце за ее торжество над ним, как он называл их отношения, заклокотала в его груди.

— Где же его сиятельству время коротать, как не у невесты! — возможно более равнодушным тоном заметил он.

— У невесты? У какой невесты? — вскрикнула Настасья Федоровна и даже выронила из рук поднесенный было ею к губам стакан вина. — Что ты несешь за околесину?

— Ничуть не околесину. Я думал это вам уже известно. Весь Петербург об этом теперь толкует. Женихом его сиятельство объявлен и обручен с дочерью генерал-майора Натальей Федоровной Хомутовой, а через месяц назначена и свадьба.

Егор Егорович, несмотря на то, что Минкина говорила ему ты, не отвечал ей тем же. Сердечное «ты» по ее адресу как-то не шло с его языка.

— Женихом... свадьба... — бессознательно вперив взгляд своих глаз, горевших злобных огнем, бормотала Настасья Федоровна. — Да ты не врешь?

— Чего же мне врать-то, я от роду не врал, да и не люблю, говорю это дело решенное и... государю известно, — шепотом добавил он.

Минкина приподнялась из-за стола и стала быстрыми шагами ходить по комнате, сначала молча, лишь по временам хватаясь за голову, а потом воскликнула:

— Что же со мной-то будет? Что же его сиятельство меня-то, как негодную собаку, за дверь на мороз! А хороша она, молода? — вдруг остановилась она перед Воскресенским, следившим за ней недобрыми глазами.

— Степан Васильевич сказывал, что очень хороша и добра, как ангел, а по летам совсем ребенок, восемнадцать минуло.

— Связался черт с младенцем! — злобно захохотала Настасья Федоровна.

— Да с чего вы-то волнуетесь? — спросил невинным тоном Егор Егорович. — Я, признаться, не ожидал, что это произведет на вас такое впечатление, графа же ведь вы не любите?

— С чего волнуетесь? Не ожидал. Не любите... — передразнила она его, злобно сверкнув глазами в его сторону и продолжая быстро шагать по комнате. — Как с чего? Я-то куда денусь? Две волчицы в одной берлоге не уживаются.

— Да я разве говорю, чтобы уживаться. Отойти, отстраниться... Граф вас, конечно, обеспечит. Еще как заживем мы с вами, в любви да согласии, без обмана, не за углом, а в явь перед всем народом, в церкви целоваться будем... — опрокидывая для храбрости чуть не четвертый стакан вина, уже с явной ядовитой насмешкой проговорил Воскресенский.

Минкина остановилась, почти испуганно обернулась к нему и окинула его недоумевающе-вопросительным взглядом.

— Ты пьян?

— Нет, зачем пьян? Я дело говорю, ведь вы же сами мне говорили, что меня больше жизни любите, что только часы, проводимые со мной и считаете счастливыми, а теперь, когда в будущем это счастье представляется вам сплошь, не урывками, и когда я этим хочу вас утешить, вы говорите, что я пьян... — тем же тоном, наливая и опрокидывая в рот еще стакан

вина, продолжал Егор Егорович.

Настасья Федоровна подошла к нему совсем близко. Она никогда не слышала его разговаривающим с нею таким образом. Значит, положение ее относительно графа изменилось окончательно, он узнал об этом, а потому и начинает с ней так разговаривать. Эта мысль подняла еще большую бурю злобы в ее сердце. Но он ошибается, она не сдастся без боя даже перед железною волею могущественного графа!

— Обеспечит! — хриплым, сдавленным голосом начала она. — И ты вообразил, что я променяю мое настоящее положение полновластной хозяйки целой вотчины на положение жены помощника управляющего. Если это так, то ты, наверное, или пьян, или просто глуп.

— Зачем же помощника управляющего, я могу отказаться от этой должности, я не крепостной.

— Ну и что же из этого? — с злобной иронией спросила она.

— Мы можем поехать в Петербург, открыть свое дело и зажить припеваючи... — набравшись храбрости от выпитого вина, продолжал он бесить ее.

— Не поставишь ли ты меня за аптечный прилавок? — захохотала она.

— Отчего же и нет, коли... любишь...

— Любишь... Дурак ты, дурак... Думал, что я, баба, глупее тебя. Приглянулся ты мне, в любовь я с тобой играю, балуюсь и, может, еще долго баловаться буду... Пока не надоешь... Но потому-то и могу позволить я себе это, что власть и доверие мне даны от графа, властью-то этой я и тебя при себе держу, а то бы ты давно хвостом вильнул, насквозь я тебя вижу, и теперь уже ты на Глашку исподтишка глаза пялишь, а тогда бы и в явь беспутничал, а теперь-то знаешь, что со мной шутки плохи... боишься... И вдруг такие слова дурацкие: «коли любишь». Не спину ли свою мне тебе подставлять из-за любви-то, мне, перед которой теперь князя да графья спину гнут... и сам-то его сиятельство тише воды, ниже травы порой ходит... Шалишь!..

Она смолкла, положительно задыхаясь от злобного смеха. Слова ее не произвели на Егора Егоровича особого впечатления — он знал и понимал давно смысл их отношений, недаром называл ее любовь к нему «тиранством». Желание злить ее в нем все еще не унималось.

— Да ведь теперь его сиятельство может тоже сказать вам «шалишь».

— Ну, это еще вилами на воде писано, кто кому... — сверкнула она глазами, в которых отразилась дьявольская решимость.

Он понял, что она не только будет бороться за свое положение, но даже, пожалуй, останется победительницей.

Сердце его болезненно сжалось — его рабству, таким образом, не предвиделось конца. К этому чувству присоединился и страх за Глашу, которой не сдобровать за любовь к нему со стороны этой мстительной женщины.

Он грустно поник головой.

Минкина чутьем догадалась, что происходило в его душе.

— Теперь можешь и восвояси идти, пока не позову, поздно, да и натолковались... — небрежно бросила она и вышла из комнаты.

Егор Егорович покорно исполнил волю властной хозяйки. Последняя же, прийдя в свою спальню, не раздеваясь, бросилась на кровать и около часу пролежала навзничь, не переменяя позы, с устремленными в одну точку глазами.

Она обдумывала план борьбы.

Вдруг она вскочила с постели.

— Молода... добра... — вслух произнесла она.

План был готов.

XI

МЕЧТЫ РАЗБИВАЮТСЯ

Со дня свадьбы Талечки прошло уже несколько месяцев. Попав в вихрь высшего петербургского света того времени, в водоворот шумной, с разнообразными, одно за другим сменяющимися впечатлениями придворной жизни, молодая графиня ходила первое время в каком-то полусне. У нее не было времени сосредоточиться, задуматься не только над пестрой волной новых лиц, хлынувших на нее, но даже над своим собственным мужем, которого она видела только за обедом или перед сном, и даже в первом случае очень редко с глазу на глаз, так как почти ежедневно за столом являлся Петр Андреевич Клейнмихель и еще несколько приглашенных. По вечерам он обыкновенно лишь вводил ее в бальные залы и оставлял в кругу плеяды блестящих, но далеко не симпатичных аристократок — она чувствовала себя в этом обществе инстинктивно чужою, каковою они считали и ее, допуская до себя лишь в силу исключительного положения ее мужа. Наталья Федоровна, впрочем, не забывала о своих предсвадебных мечтах, мечтах, которым принесла она в жертву свою молодость, красоту, свою первую, сильную, еще не совсем угасшую любовь, но, увы, они разбивались мало-помалу.

Принимать участие в делах всесильного своего супруга для нее оказалось только благочестивым желанием, тем *puim dosiderium*, равносильным с полной неосуществимостью.

Люди, имевшие надобность в графе, а таких было тогда в Петербурге тысячи, пробовали зондировать почву со стороны влияния на него его молодой супруги, но вскоре разочаровались.

Первая же попытка молодой графини на поприще ходатайства перед мужем за одного просителя встретила со стороны графа не только решительный и бесповоротный отказ, но даже ухудшила положение дела, за успех которого ходатайствовала Наталья Федоровна.

Графиня, хотя это далеко было не в ее характере, попробовала взять настойчивостью, но наткнулась на почти резкий ответ, в первый раз услышала грубый тон мужа, обращенный по ее адресу.

— Знай раз навсегда, Наталья, что дела служебные и государственные не бабьего разума дело, и никакого я вмешательства в них бабы не потерплю, а тех дураков, которые с ними к тебе лазают, я от этого отучу по-свойски, — заметил ей Алексей Андреевич, когда она вторично, воспользовавшись его добрым расположением духа, заговорила о каком-то чиновнике, просившем похлопотать о повышении, так как он обременен был многочисленною семьею.

Разговор происходил в будуаре графини, и граф, сказав ей эти слова, быстро вышел и сильно хлопнул дверью.

Так окончилась общественная деятельность мечтательной энтузиастки.

Она обратилась к благотворительности. Толпы нищих стали собираться на угол Литейной и Кирочной улицы к дому 2-й артиллерийской бригады, где жил граф Аракчеев, и получали щедрую милостыню из рук молодой графини, их ангела-хранителя. Слух об ее благотворительности облетел все окраины тогдашнего Петербурга, где в лачугах и хижинах ютился неимущий люд. Нищие собирались обыкновенно во время отсутствия графа по делам службы, но однажды он, вернувшись ранее обыкновенного, застал выходящими со двора несколько десятков оборванцев.

— Это что такое? Отправить в полицию! — кратко и гневно распорядился он. — Кто впускал?

— По приказанию ее сиятельства! — пробормотал дежуривший у ворот перепуганный на смерть солдатик.

— Отправить! — повторил граф. — Впредь не пускать к дому на выстрел.

Он прошел прямо к графине.

— Ты это что же, матушка, дармоедов разводить в Питере задумала. Полиция старается очистить столицу от проходимцев, а графиня Аракчеева, жена первого советника государя, в своем доме их прикармливает. Хорошо, нечего сказать, графское занятие.

— Но ведь это же доброе дело. По Евангелию. Они такие несчастные, полуголодные, — попробовала возразить Наталья Федоровна.

— Доброе дело... По Евангелию... Я, матушка, побольше тебя в Бога верю и, кажись, взыскан за это Его святою милостью, да и Евангелие тоже не раз читывал, знаю, что вера без дел мертва есть, только несчастье от лени и лодырничества тоже отличать могу, а твоих несчастных пороть надо да приговаривать: работай, работай — все несчастье их как рукой снимет. Доброе-то дело я и сам сделаю ближнему, коли он в настоящем несчастье — помогу, человека поддержу, коли он стоит того, а поощрять дармоедство да бездельничанье ни сам не стану, ни тебе не позволю. Так-то!

— Из них есть и действительно несчастные.

— Ко мне пришли. Бабья благотворительность — это для них только пустое времяпрепровождение, с жиру они бесятся, делать им нечего, вот они и благотворят. А различать несчастья не бабье дело, так как для бабы, кто больше да громче канючит, вот и самый несчастный. Так-то!

Наталья Федоровна замолчала, потому что убеждать графа, она уже знала это по опыту, было совершенно бесполезно.

— Так пришли же ко мне своих настоящих несчастных! — проговорил граф после некоторой паузы и, поцеловав руку жены, вышел.

Графиня Аракчеева была, таким образом, ограничена и в своей благотворительной деятельности.

Но в последнем случае она не всецело подчинялась распоряжениям графа и тайком продолжала оказывать добро обращающимся к ней, — посредником между просителями и ее сиятельством был чуть не молившийся на молодую графиню камердинер графа Степан Васильев.

Среди прежних благодетельствованных графинею лиц настоящих несчастных, которые бы решились отправиться к самому графу за помощью, не оказалось, хотя многих из них графиня не замедлила уведомить о желании его сиятельства.

Алексей Андреевич часто шутил с женой на эту тему и подтрунивал над нею, находя поддержку в очень часто бывавшей у графини запросто подруге ее девичьих лет Екатерине Петровне Бахметьевой.

Последняя, очень скоро излечившаяся от своей оставшейся без ответа любви к Зарудину, с чувством злобной зависти встретила известие о выпавшей на долю ее подруги Наташи Хомутовой высокой участи сделаться женою всесильного Аракчеева. То обстоятельство, что скромная и, по ее мнению, далеко не красивая Наташа делается графиней и первой дамой в империи, а она, красавица Бахметьева, должна будет, быть может, довольствоваться более чем скромной сравнительно партией, наполняло ее душу почти ненавистью к самоотверженной, любившей ее от всего своего честного сердца Наталье Федоровне.

Но Екатерина Петровна была слишком остра и практична, чтобы обнаружить эти чувства; напротив, она сразу смекнула, что любовь к ней графини Аракчеевой будет, несомненно, для нее полезнее любви Талечки Хомутовой и даже стала, по-видимому, еще сердечнее относиться к своей подруге, радоваться ее радостям и печалиться ее печальями.

Не подозревая о существовании людского двуличия, наивная Талечка доверяла своей подруге все ее волновавшие чувства, призналась, так как Катя Бахметьева объявила ей, что совершенно равнодушна к Николаю Павловичу, в том, что любила и любит Зарудина и что теперь выходит замуж за графа Аракчеева лишь для того, чтобы сжечь свои корабли и свято выполнить слово, данное ей Кате, не становиться на ее дороге.

После этого, сорвавшегося с ее губ признания, Талечка на несколько минут умолкла, устремив на Бахметьеву умоляющий взгляд. Она как бы ждала, что ее подруга освободит ее от данного слова, от клятвы, и тогда, тогда... можно еще все поправить.

Это было недели за две до ее свадьбы.

Но подруга... промолчала...

«Ну, а я не задумаюсь стать на твоей дороге!» — только злобно подумала она.

— Конечно, я буду ему верной и честной женой! — добавила Талечка, как бы в свое оправдание, поняв молчание Бахметьевой за немой укор.

— Кто же усомнится в тебе, ведь ты — ангел! — восторженно воскликнула Екатерина Петровна, нежно заключая ее в свои объятия, чтобы скрыть волнение от появившихся в ее голове далеко не дружелюбных мыслей.

Не знала Наталья Федоровна, что своею откровенностью давала страшное оружие в руки своей вероломной подруги.

Сделавшись графиней, она, конечно, ничуть не изменилась к ней и с согласия графа Алексея Андреевича, на которого не осталась без влияния задорная красота молодой девушки, всюду таскала ее за собой в театры, на балы, и от себя не отпускала по целым неделям.

— Ты будешь тоже княганей или графиней! — шептала она ей в уши и была уверена, что красота Бахметьевой не пройдет незамеченной в высшем петербургском свете.

Она и не ошиблась — ее заметил действительно граф, и это, был... граф Алексей Андреевич Аракчеев.

В голову наивной и чистой душою Натальи Федоровны не могла даже закрасться мысль о чем-либо подобном.

XII

БОЛЕЗНЬ МИНКИНОЙ

Зимний сезон уже давно окончился, балы, приемы и выезды прекратились, жизнь Натальи Федоровны после шумного медового месяца потекла более однообразно. Начался и прошел апрель, наступили первые числа мая, и граф Алексей Андреевич приказал готовиться к переезду на лето в Грузино.

Собственно, особенных сборов для этого никаких не требовалось, так как в грузинском доме была уже давно устроена и меблирована половина графини, и само приказание готовиться к отъезду, а не просто назначение времени его, как это делалось графом обыкновенно, доказывало, что Алексей Андреевич неохотно покидал Петербург.

Да и на самом деле, предстоящее переселение в Грузино довольно сильно волновало его. Он — ему стыдно было сознаться в том самом себе — боялся встречи с Настасьей Федоровной. Не раздирающих душу сцен и горьких упреков боялся он, он знал, что Настасья не решится на них, хорошо памятуя то расстояние, которое существует между ними, не боялся и предстоящего объяснения с нею, так как никаких объяснений он ей не был намерен давать, ей, холопке, взысканной его, графским, милостивым капризом. Он будет молчать. Он считал Настасью слишком умною бабою, чтобы она могла действовать или поступать иначе, и из донесений вотчинного управления он видел до сих пор, что не ошибается: все распоряжения по приготовлению половины молодой графини исполнялись домоправительницей в точности и беспрекословно, с присущей ей пунктуальностью и заботливостью. Только в одном из докладов графу помощника управляющего Воскресенского появилось краткое известие: «А Настасья Федоровна, за последнее время, все прихварывает».

«Врет, притворяется...» — решил граф.

Других известий о грузинской домоправительнице в течение нескольких месяцев никаких не было. Первою мыслью графа Алексея Андреевича после, вероятно, не забытого читателями разговора о Настасье с Федором Николаевичем Хомутовым, было наградить ее и выслать из Грузино, вместе с маленьким Мишей, но вскоре эта мысль была им оставлена.

«Отношения мои с ней окончены навсегда, а как экономка она незаменима, жена — девочка, что смылит в хозяйстве, и что такое связь с холопкой, разорвал и баста — пикнуть не посмеет, только благодарна будет, что в три шеи не прогнал...» — рассудил граф и решил все оставить по-прежнему, но на свидание с Минкиной перед свадьбой не решился и упорно оставался в Петербурге в течение более полугода.

Теперь же граф сожалел, что не предупредил свою экономку-фаворитку, теперь он боялся, что она, обиженная и оскорбленная, сама уйдет от него, между тем как ее пленительный сладострастный образ все чаще и чаще стал восставать перед графом, так как его молодая жена была далеко не такой женщиной, которая могла бы действовать на чувственную сторону мужской природы.

В силу этого-то граф плотоядными глазами стал поглядывать на Екатерину Петровну Бахметьеву, но достижение цели в этом случае было сопряжено с риском светского скандала,

чего граф боялся, как огня, а там, а Грузине, жила красавица Настасья, полная здоровья и страсти и он, граф, променял ее на эту, сравнительно тщедушную женщину с почти восковым, прозрачным цветом лица, «святыми», как стал насмешливо называть Алексей Андреевич, глазами, далеко не сулящими утолить жажду плотских наслаждений — таковой вскоре после свадьбы сделалась Наталья Федоровна.

Такие чувства волновали графа, уже после первого месяца охладевшего к своей жене, а с другой стороны, силою своей железной воли, он старался побороть этот соблазн и остаться верным долгу, клятве, произнесенной перед алтарем, и, наконец, решил «от греха» на самом деле уволить Настасью.

Несколько раз принимался он писать в вотчинную контору этот роковой приказ, но не дописав до конца, рвал бумагу и откладывал до следующего дня.

Наступило время переезда в Грузино.

— Распоряжусь на месте! — пришел граф к последнему решению.

Приезд в Грузино графа и графини Аракчеевых состоялся с особою торжественностью: на пристани Волхова сиятельные владельцы были встречены всеми представителями вотчинного управления, из которых многие были в присвоенных их должности вышитых золотом кафтанах. Им были поднесены хлеб-соль на деревянном, искусно выточенном блюде, масса народа стояла шпалерами и бросала на пути графской коляски ветви деревьев и полевые цветы.

Графиня приветливо кланялась и улыбалась по сторонам. Торжественность встречи льстила ее молодому самолюбию. Граф был мрачен, и на его губах при приветствиях мелькала деланная улыбка.

Настасьи Федоровны при встрече не было.

Он ожидал, что она встретит его и графиню на крыльце грузинского дома, но и там среди высыпавших навстречу слуг, с Воскресенским во главе, не было домоправительницы.

«Коли так... прогоню... сегодня же прогоню!» — неслось в голове Алексея Андреевича.

Вскоре после приезда был сервирован обед на две персоны. Граф и графиня откушали и разошлись по своим апартаментам.

Алексей Андреевич приказал разбудить себя через два часа и прислать к нему в кабинет Егора Егоровича для доклада.

В назначенный час Воскресенский явился с кипой бумаг и книгами.

Граф внимательно стал пересматривать счета.

— А где же Настасья?.. Я ее не видал... — уронил Алексей Андреевич, как бы между прочим.

— Настасья Федоровна уже неделю как не встают с постели, — почтительно доложил Егор Егорович.

— Что с ней! Взаправду больна? — вскинул на него граф пронизательный взгляд.

— Больны... как только мы получили известие о прибытии вашего сиятельства, с того дня и занедужилось ей... жар, озноб, бред... Господин доктор два раза на дню посещает... а какая болезнь, ума не приложит... надо полагать, что простудилась... — объяснил помощник управляющего, видимо, повторяя заученный урок.

— А... а... — прогнул граф и, просмотрев последние бумаги, отпустил Воскресенского.

Оставшись один, граф стал большими шагами ходить по кабинету.

— Больна... Неделю лежит... И с чего это с ней приключилось... — по временам про себя бормотал Алексей Андреевич.

«Прогнать... — снова появилась в его голове мысль. — Да как же прогнать больную... Ведь не собака, и ту не выгонит больную хороший хозяин... А это все-таки женщина, столько лет бывшая мне близкой, преданной... Нельзя прогнать!.. Пусть выздоровеет!..»

Он стал припоминать заслуги перед ним его верной домоправительницы, ее обаятельный образ снова стал настойчиво носиться перед ним. Он так давно не видал ее.

«Что-то она, изменилась ли? Похудела ли?»

Граф нетерпеливо потрянул головой, как бы силясь отогнать эти мысли, вышел из кабинета и прошел к жене.

Наталья Федоровна лежала в своем роскошно меблированном будуаре и дремала. Быстрый и шумный приход мужа заставил ее встрепенуться. Она открыла глаза и удивилась необычайному выражению его лица: он был весь красный, глаза как-то особенно горели...

— Что с вами? — удивленно спросила она. Наталья Федоровна говорила мужу «вы».

— Ничего... Я пришел к тебе... — с дрожью в голосе проговорил он и сел на кушетку.

— А я еще не успела отдохнуть как следует, не могла уснуть никак, эта непривычная встреча так взволновала меня... я до сих пор совсем, как разбитая... с дороги верно... — слабым голосом произнесла она.

Граф нахмурил брови, быстро отнял руку, протянутую было для того, чтобы обнять жену, и сухо сказал:

— В таком случае, отдыхай, я мешать тебе не буду...

Он прошел снова к себе в кабинет, взял фуражку и вышел на двор.

Через несколько минут он уже поднимался по ступеням крыльца флигеля Минкиной.

XIII

ВЛАСТЬ СТРАСТИ

Первые комнаты флигеля были пусты, последняя, занятая под спальню, была погружена в полумрак, занавеси на окне были спущены, и только свет от двух лампад, висевших перед киотом со множеством образов в переднем углу комнаты, давал некоторую возможность разглядеть находившиеся в ней предметы.

Граф вошел тихо, стараясь не плотно ступать по полу.

— Батюшка, граф, родимый мой, вас ли я вижу... — раздался голос Настасьи Федоровны, лежавшей на постели.

Со скамейки, стоявшей у ее ног, быстро поднялась Агафониha, прерванная в середине доклада своей благодетельнице о приезде графа с графиней, сделала графу почти земной поклон и кубарем выкатилась из комнаты, не забыв, впрочем, плотно притворить за собою дверь.

— Больна? — отрывисто буркнул Алексей Андреевич, сделав несколько шагов по направлению к кровати.

— Что-то занедужилось, благодетель мой, может, и с тоски, вас, родимый, ожидая, свалилась я, сердце мое изныло по вас, да по графинюшке, ждала не дождалась вас, голубя с голубкою чистою, да, видно, не допустил меня Бог до того, окаянную... Все ли в исправности в доме-то, граф-батюшка, ваше сиятельство?

Настасья Федоровна стала как бы с трудом приподниматься на постели.

— Все исправно, благодарствуй... Лежи, лежи... — уже более мягким голосом произнес граф.

— Что чувствуешь?

— Да теперь как будто сразу полегчало, как благодетеля моего ваше сиятельство увидала, думала уже околею, не увидя ясных очей ваших, под сердце так все и подкатывало...

— Ну, колеть-то еще рано... поживешь... и сердце авось успокоится... — с лукавой усмешкой заметил Аракчеев.

— Хозяюшке-то, ее сиятельству, как имение приглянулось, все ли в порядке нашла в своих апартаментах, — пропустила как бы мимо ушей шутку графа Минкина.

— Кажись, всем довольна, только устала после дороги, растрясло ее, лежит, отдыхает...

— С чего же это растрясло, экипаж-то, как люлька, покойный...

— Хилая она у меня, Настасья, хилая... — как бы жалобным тоном заметил граф.

— Х-и-и-и-лая! — протянула Минкина и с соболеznованием покачала головой.

Алексей Андреевич, освоившись с полумраком комнаты, различил теперь вполне черты лица своей домоправительницы. Ему показалось, что она на самом деле похудела, хотя это не уменьшало ее красоты, а мягкий свет лампад, полусвещающая ее лицо с горевшим лихорадочным огнем, устремленными на графа глазами, придавал этой красоте нечто фантастическое, одеяло было наполовину откинута и высокая грудь колыхалась под тонкою тканью рубашки.

Граф присел на край кровати.

В глазах Настасьи Федоровны мелькнул чуть заметный огонек торжества.

— Может, спать хочешь, я уйду, коли беспокою... — заметил граф сдавленным голосом, видимо, лишь для того только, чтобы что-нибудь сказать.

— И что ты, батюшка, граф, родимый мой, свою верную рабу обижать вздумал; беспокоишь, да я нынешний день светлым праздником почитаю, что пришел ты, милостивец, навестил меня, болящую.

Настасья Федоровна совершенно неожиданно для графа схватила его руку и стала покрывать ее жаркими поцелуями.

— Перестань, перестань! — смущенно бормотал он, стараясь выдернуть руку, но Минкина

крепко держала ее в своих руках.

— Уж дай хоть на часок отвести душеньку... — почти сквозь слезы проговорила она.

Граф не выдержал и, наклонившись, поцеловал ее в голову. Несколько минут оба молчали.

— Ты как же приняла известие, что я... женился?... — с трудом, еле выговаривая слова, произнес Алексей Андреевич.

— Известное дело как, порадовалась, что по сердцу себе нашел из своего круга, от души пожелала счастья моему благодетелю. Сказывали, что графиня и красавица писаная, и доброты ангельской. Чай, не солгали мне, ваше сиятельство?

— Нет, она ничего, хорошенькая и добрая... — довольно равнодушно заметил он.

— Ну, о наследнике или наследнице, не слыхать еще? — с дрожью в голосе спросила Настасья.

— Нет, — мрачно ответил граф, — да кажись и не будет, говорю, она хилая.

— Не будет, вот грех какой, а может, Бог и пошлет, поправится ее сиятельство, летом на вольном воздухе. Знаю ведь я, граф милостивый, сердцем чую, что ты женился из-за ребеночка, тогда еще мысль эта в голову тебе запала, когда открылся обман мой окаянный относительно Мишеньки.

— А что он? — спросил Алексей Андреевич, чтобы переменить разговор.

— Растет сиротинушка, все папу вспоминает, несмышлениш еще, так я, прости мне, Господи, ему не сказывала, что нет у него ни отца, ни имени, а привязалась я к нему, как на самом деле к сыну... уж так привязалась.

— И дело, что не болтаешь вздору ребенку, что он поймет теперь, вырастет, будет еще время растолковать ему, — задумчиво отвечал граф.

Снова произошла довольно длинная пауза.

— Я не то хотел знать... радовалась ты или не радовалась. Я хотел спросить тебя, что ты о себе-то подумала, когда узнала, что я женюсь, — начал Алексей Андреевич.

— О себе? Да что же мне о себе думать-то, разве я своя, я твоя, благодетель мой, до конца живота твоя, что захочешь ты, то с верной холопкой сделаешь, захочешь — при себе оставишь, а захочешь — на двор с Мишей выкинешь или, может, одну — твоя воля графская, а мне чего же о себе думать.

— Вот ты какая!

— А то какая же, разве не знаешь!.. Раба, до гроба раба твоя, хочешь — со щами ешь, хошь — с маслом пахтай... ни слова не скажу, все снесу безропотно и ласку, и побои от руки твоей, родимый мой.

Она снова стала покрывать поцелуями его руку, которую он по забывчивости оставил в ее руке. От сильного движения ворот ее рубашки расстегнулся, и перед глазами графа мелькнула ее обнаженная грудь. Она заметила это, выпустила его руку и стала торопливо застегиваться, но он уже привлек ее к себе.

— Только вот что... ведь больна ты.

— Здорова, голубчик мой родимый, здорова, поглядела на тебя и выздоровела... люблю ведь

я тебя так, что кажись мертвая от ласки твоей воскресла бы.

Она обвила его своими горячими руками...

С веселой, почти торжествующей улыбкой вышел граф Алексей Андреевич из флигеля Минкиной. Забыты были и долг, и клятва перед церковным алтарем. Изгнание властной домоправительницы, так недавно бесповоротно решенное графом, отличавшимся во всем другом железною волею и непоколебимую решимостью, таким образом, не состоялось. Минкина снова царствовала в его сердце. Такова была власть страсти над этим замечательным человеком.

XIV

ПЕРВАЯ ЖИТЕЙСКАЯ ГРЯЗЬ

Чудная майская ночь спустилась над Грузиным.

После ужина вдвоем с графом, за которым последний был очень весел и оживлен, подробно говорил о проекте нового каменного дома, который он намеревался начать строить в Грузине нынешним летом, сугруги разошлись по своим комнатам.

Графиня, отдохнув днем, не могла заснуть и, раздевшись и отпустив горничную, накинула на себя легкий капот и, потушив свечу, села к окну и отворила его, подняв штору.

Окно выходило в сад. Волшебный белый свет майской ночи ворвался в спальню. Наталья Федоровна с жадностью вдыхала чистый свежий воздух, смешанный с ароматом трав и цветов. Причудливо распланированный сад с его роскошно растительностью, вековыми деревьями, переплетенные ветви которых в этом таинственном полусвете принимали фантастические формы, лежал перед ней, возбуждая в ее экзальтированной душе чувство какого-то боязливого благоговения. Кругом царило торжественное спокойствие, ни один листок не колыхался и не шелестел, и лишь изредка удары в чугунную доску церковного сторожа гулко отдавались в воздухе, еще более оттеняя окружающую тишину.

Наталья Федоровна тоже сидела совершенно неподвижно, она, казалось, замерла вместе с природою и боялась малейшим движением разрушить это обаяние величественно спящей природы.

Прошло около часу. Вдруг в соседней комнате раздались чьи-то осторожные шаги, послышался шелест платья, скрипнула дверь, которую Наталья Федоровна оставила не запертой.

Последний звук вывел из оцепенения графиню Аракчееву, она быстро и испуганно обернулась.

На пороге спальни, одетая вся в черном, стояла высокая, полная, красивая женщина, с небрежно свитой, черной как смоль косой и с блестящими, искрящимися в полусвете комнаты глазами.

Наталья Федоровна вскочила, но не произнесла ни звука; страх сковал ей уста.

— Простите, голубушка, ваше сиятельство, что не в урочный час вас беспокоить осмелилась, слава Создателю, что спать лечь не изволили, ночью чудною залюбовались, а то разбудить мне пришлось бы вас, потому дело у меня очень спешное... — заговорила

вошедшая.

— Кто вы, и что вам надо? — оправившись от первого испуга, все еще дрожащим голосом выговорила графиня.

— Верная слуга вашего сиятельства, здешняя экономка Настасья. Может, слышать изволили?

Минкина остановилась.

— Нет, не слыхала... что ж тебе надо? — все продолжая стоять, судорожно сжимая спинку кресла, отвечала Наталья Федоровна.

Это властное «ты», с которым обращался к Настасье Федоровне в грузинском доме только один граф Алексей Андреевич, как бичом ударило гордую экономку. Она даже слегка вздрогнула, и между ее густыми, точно нарисованными бровями появилась маленькая складка, а в глазах на мгновение блеснул недобрый огонек.

Графиня не заметила произведенного на вошедшую впечатления от изменения ее тона и молча ожидала ответа.

— Присядьте, ваше сиятельство, потому что речь моя будет долгая... — тоном фамильярной, тоже почти властной просьбы начала Настасья.

Наталья Федоровна машинально послушалась и опустилась в кресло.

Она, впрочем, и сама еле стояла на ногах, взволнованная неожиданным таинственным визитом.

Сердце ее томительно сжалось в предчувствии чего-то недоброго.

Минкина тихо приблизилась к ней, но молчала.

— Я слушаю! — с трудом произнесла графиня.

— Дайте мне, ваше сиятельство, с мыслями собраться... Как и речь свою начать, не придумаю... К приезду-то вашему да к беседе этой я уже с полгода, как к исповеди готовилась, даже слегла в постель, истомившись, думала перед вами во всех моих прежних грехах покаяться, да и в сторону... а тут ноне еще грех прибавился, так и не соображу...

Наталья Федоровна пристально смотрела на говорившую, не понимая положительно значения ее слов; у ней мелькнула даже мысль, что это сумасшедшая, и от этой мысли холод пробежал по ее спине, и она испуганно подвинулась в глубину кресла.

— Так о Настасье Минкиной, экономке его сиятельства, графа Алексея Андреевича, говорите вы, ваше сиятельство, и слыхом не слыхали?

— Нет, не слыхала.

Наталья Федоровна говорила совершенно искренно, она действительно даже не подозревала о существовании среди графской дворни женщины, заслуживающей ее исключительного внимания, в чем, видимо, так настойчиво сомневалась ее странная поздняя гостья, имевшая, по крайней мере, по ее внешнему виду, полное право на такое внимание.

Графиня Аракчеева поняла, что перед ней стоит далеко не обыкновенная служанка, что с присутствием этой красавицы в доме графа соединена какая-то тайна, которая касается и ее, Натальи Федоровны.

Тому, что Наталья Федоровна не знала о существовании знаменитой фаворитки своего мужа, о чем знала и говорила вся тогдашняя Россия и даже Европа, она была обязана замкнутости своей девичьей жизни; отец и мать не решились посвятить ее в это, даже когда она сделалась невестою графа, причем первый ограничился, как мы видели, коротким объяснением с Алексеем Андреевичем, две горничные Натальи Федоровны, перешедшие с нею в дом графа, также находились относительно Минкиной в полной неизвестности. Степан же Васильев, с которым с одним среди графских слуг имела разговор молодая графиня, из уважения к последней — он называл ее не иначе, как «небесным ангелом» не решался при ней произнести имя этой негодницы и, кроме того, считал, что с женитьбою граф покончил с «цыганкой», чему старый слуга очень радовался.

Потому-то появление Минкиной и было поражающим для графини Аракчеевой.

— Вижу, матушка, ваше сиятельство, что нет в вас ни на столько хитрости, — Минкина показала на кончик мизинца своей правой руки. — Хорошо, значит, я сделала, что поспешила предстать перед ваши ясные очи, пока люди обо мне вам ни весть чего наговорить не успели... Все равно, не нынче-завтра узнали бы вы, кто здесь до вас восемь лет царил да властвовал, кого и сейчас в Грузине, в Питере, да и по всей Россее называют графинею...

Она остановилась и пристально посмотрела на сидевшую неподвижно и молча Наталью Федоровну.

— Меня, ваше сиятельство, меня, холопку, мещанку Минкину!..

Графиня, уже насмерть перепуганная, широко раскрытыми глазами смотрела на нее. То, что она имеет дело с сумасшедшей, казалось ей непреложной истиной.

Настасья как бы угадала ее мысли.

— Может, вы думаете, ваше сиятельство, что я полоумная... Не бойтесь, в полном рассудке, хотя за последнее время вся исстрадалась я да измучилась, но видно родилась я такая крепкоголовая... Простите меня, ваше сиятельство, окаянную, поведаю я вам тайну великую, все равно от людей услыхали бы, бремя с души своей сниму тяжелое... Слушайте, как на духу, ни словечка не солгу я вам...

Настасья совершенно неожиданно для графини опустилась перед ней на колени.

— Встань, встань... что ты... — заторопилась было она, приподнимаясь с кресла.

— Сидите, ваше сиятельство, и слушайте! — дотронулась до нее рукой Минкина.

Наталья Федоровна повиновалась.

Медленно, тихим голосом начала Настасья свой рассказ об отношениях к графу Алексею Андреевичу с самого начала возникновения этих отношений, входя в мельчайшие, томительные, как она видела, для слушательницы подробности.

По мере того, как она говорила, Наталье Федоровне становился все яснее и яснее весь ужасный смысл ее рассказа, форма которого и тон исключали всякую возможность недоверия.

Настасья Федоровна именно и рассчитывала на это впечатление, чтобы в конце своей исповеди представить некоторые обстоятельства и изобразить свое положение в ином свете, нежели они были на самом деле, заранее гарантируя себе полное доверие графини. Она кроме того хотела пробудить в ней сочувствие к себе. Она вполне достигла и того, и другого. Графиня Аракчеева внимательно слушала стоявшую на коленях Минкину, и в ее чудных глазах отражалось испытываемое ею внутреннее волнение, несколько крупных слезинок

блестели на ее длинных ресницах.

— Загубил он мою молодость и красоту, каюсь, не вольной волюшкой сошлась я с ним первый раз, улестил он меня подарками да ласками, да и страху вдоволь натерпелась я, ребеночек у меня от него есть, сынишка, седьмой год мальчишке, Миша зовут, не признает он себя отцом его, да и мне не велит сказываться матерью, подкидыш, да и весь сказ, а что я с его графским сиятельством поделаю... Привязалась же я к графу страсть как, характер у меня уж такой привязчивый, да и девятый год — не девятый день, матушка графинюшка.

Настасья Федоровна умолкла.

— А где же он... этот... Миша? — прерывающимся голосом спросила Наталья Федоровна.

— Здесь, в Грузине, при мне, ваше сиятельство, это граф дозволили, и с первоначалу очень с ним сам забавлялся... а потом, с год уже...

Минкина тяжело вздохнула.

— Что же потом?

— А потом в Питере граф запропастился, вас, ваше сиятельство, увидал, присватался... уж не до меня и не до сынишки ему было... — чуть не со слезами в голосе ответила Настасья.

Графиня молчала, но ее лицо приняло какое-то совершенно несвойственное ей строго-вдумчивое выражение. Видимо, в ней происходила какая-то внутренняя ожесточенная борьба; безыскусный, правдивый во всех его частях, как по крайней мере была убеждена она, рассказ Минкиной разрушил созданные воображением Натальи Федоровны книжные идеалы. Брызнувшая на нее первая житейская грязь причинила ей не только нравственное, но и чисто физическое страдание.

В ее светлых глазах появилась мрачная тень, а по лицу забегали легкие судороги, симптомы физической невыносимой боли.

Настасья, зорко следившая за графиней, не могла не заметить этого и продолжала убитым голосом:

— Горько мне было, ох, как горько, как узнала я про графскую женитьбу, не то горько, что женился он, его это дело, и дай ему Бог счастья, совета да любви, не я, холопка, его не стоящая, могла ему быть помехою, а то горько, что не сказал мне напрямки, что обзавестись хочет законной хозяйшкой, а сделал это как-то тайком да крадучись... И решила я тогда, что дождусь я приезда вашего, свой грех прошлый с ним вам, как на духу, выложу, возьму Мишутку, да и попрощаюсь с его сиятельством, не показав ему горя моего тайного... Ан судьба-то мне иная выпала, не в одних прошлых грехах каяться перед вами, графинюшка, приходится, а и в настоящем грехе, сегодняшнем, граф-то у меня был под вечер...

Минкина остановилась и пристально взглянула на Наталью Федоровну.

— Сегодня? — спросила та, глядя на нее каким-то блуждающим взором.

— Сегодня, матушка, ваше сиятельство, пришел он ко мне прежний, ласковый, о вас и не заикнулся, да и я спросить побоялась, побоялась и супротивничать...

Настасья Федоровна стыдливо опустила глаза. Графиня молчала, глядя куда-то в сторону.

— Как-то легче стало мне, как перед вами я открылась, — снова начала Минкина, — теперь вам ведомо, так как прикажете?

Она замолкла, как бы ожидая ответа.

— То есть что, как прикажете? — после продолжительной паузы спросила Наталья Федоровна.

— Жить ли мне здесь или сбежать тайком, так как волею граф не выпустит, сегодня еще сказал мне, что не расстанется со мной до смерти, боюсь, и коли сбегу я, на дне морском сыщется, власти-то ему не занимать стать.

— Зачем же сбегать, живите, коли на то графская воля, — твердым, с чуть заметною дрожью, голосом сказала графиня.

— Нет, воля тут, ваше сиятельство, не графская, а ваша! — низко наклонив голову, почти прошептала Настасья. — Коли вам я во всем открылась, значит, вашу волю мне и знать желательно, потому, коли узнает его сиятельство, что все я вам поведала, со света сживет меня, и сбежать мне куда сподручнее. Без вашей воли да без слова вашего, что все, что я здесь вам ни говорила, в четырех стенах останется, я не жилица здесь, ваше сиятельство!

— Живите! — с видимым усилием почти вскрикнула Наталья Федоровна и, поднявшись с кресла, отодвинула его назад и пошла, шатаясь, по направлению к кровати.

Минкина несколько секунд осталась стоять на коленях среди комнаты; затем встала и тихо, с опущенною головою, вышла из комнаты. На пороге она полуобернулась и бросила на графиню злобный торжествующий взгляд. Последняя его не заметила: она лежала ничком на кровати, уткнувшись лицом в подушки, и беззвучно рыдала, о чем издали красноречиво свидетельствовало конвульсивно приподымавшееся ее худенькое тельце.

XV

ПРОЗРЕВШАЯ ИДЕАЛИСТКА

Слезы и рыдания лишь отчасти облегчили ту неожиданную тяжесть, которая упала на душу несчастной Натальи Федоровны при рассказе Минкиной. В ее сердце заклокотало какое-то до сих пор неведомое ей чувство горечи относительно всей окружающей ее обстановки и живущих около нее людей. Вокруг нее вдруг образовалась какая-то роковая пустота, и ей казалось, что она задыхается в безвоздушном пространстве. Голова ее горела, по телу пробегал озноб, и эти ее нравственные страдания вылились в форму мучительного бреда. Наталье Федоровне грезилось также ясно, как наяву, что она разломила пополам земной шар, обе половинки которого лежат перед ней, находящейся в совершенном одиночестве, в каком-то пространстве, без всякой точки опоры. «Жить более нельзя, — мелькала в ее голове мысль, — разве спастись, уйти», — подсказывал ей какой-то внутренний голос. Она бессознательно встала с постели, поставила стул на стол, ловко вскарабкалась на него, и в таком положении нашла ее горничная, проснувшаяся от шума передвигаемой мебели в спальне графини.

Горничная спала в соседней комнате.

Бесчувственную Наталью Федоровну осторожно сняли с ее оригинального сиделища и уложили в постель. Явившийся домашний доктор графа холодными компрессами привел ее в чувство и, не постигая ни причин, ни формы болезни, предписал лишь безусловный покой. Все в доме заходили на цыпочках.

Назначенное на другой день народное празднество, по случаю прибытия графа и графини в

Грузино, было отменено.

— Ужели ее так взволновала вчерашняя встреча? — догадывался граф. — Уж и неженка же, — недовольным тоном ворчал он сам про себя.

Ему и в голову не приходило, что эта, взволновавшая его жену встреча, была не встреча на пристани с народом, а неожиданная встреча с другой грузинской графиней — Настасьей Минкиной.

— Молодая-то графиня — порченая! — шепотом передавали друг другу грузинские крестьяне.

— Настасья хоть кого испортит! — умозаключали многие. В данном случае это была роковая правда.

Граф Алексей Андреевич несколько раз на дню заходил к больной, но та лежала с закрытыми глазами, спала или притворялась спящей.

Последнее было верней. Наталья Федоровна, очнувшись от своего тяжелого бреда, решила воспользоваться предписанным ей покоем, чтобы всесторонне обдумать свое положение, образ своих дальнейших действий и до окончательного решения не желала разговаривать с мужем.

Ночь свидания с Минкиной была ночью перерождения молодой женщины — идеалистка прозрела. Розовый флер, закрывавший от нее видимый мир, был безжалостно разорван в клочки рукой неумолимой действительности, и резкие формы окружающих ее предметов выступили перед ней во всей своей ужасающей безобразной наготы, клочки розового флера, там и сям еще покрывавшие расстилающуюся перед ней картину, придавали остальным ее частям еще более уродливый вид.

Наталья Федоровна начала срывать и эти последние клочья своих розовых грез недавней юности.

Эта работа, граничившая с самобичеванием, доставляла ей жгучее наслаждение.

Нет наслаждения выше пытки самого себя, хотя это наслаждение несчастья. Молодая женщина теперь испытывала это.

В течение трех дней, наедине сама, с собою, испытующим духовным взором вглядывалась Наталья Федоровна в свою прошлую и будущую жизнь.

Первая представлялась ей сплошным рядом ошибок в людях и в поступках, само ее отречение от своей первой искренней любви для Кати Бахметьевой, да и сама эта Катя получила в глазах Натальи Федоровны совершенно иную окраску. Она почти раскаивалась. Только четверо лиц светлыми точками блестели на темном горизонте ее прошлого: это был ее отец, мать, Зарудин и Кудрин, несмотря на то, что последнего она видела всего несколько раз. Вторая картина, картина ее будущей жизни, была сплошь затянута непроницаемой серой дымкой: что ожидало ее впереди? Какая цель теперь ее безотрадного существования? Она достигла высокого положения в обществе! Что ей дало оно? От общественной деятельности, о которой она мечтала, она должна отказаться навсегда — волею всемогущего графа, ее мужа, у ней связаны руки более, нежели у жены самого простого человека. Надежда быть матерью для нее, слабой здоровьем, является неосуществимой. В хозяйстве она ничего не понимает, да и ее высокое положение не позволяет входить в эти мелочи — дело слуг. Так сказал ей сам Алексей Андреевич. Быть верной женой? Увы, она должна будет в этом случае делить с другой ласки неверного мужа. Это выше ее сил! Что же остается ей? «Ничего!» — подсказывает ей единственный ответ какой-то внутренний голос.

Мысли графини переносятся на Настасью Минкину.

«Как неизмеримо эта женщина счастливее, чем я! — думает Наталья Федоровна. — Она любит и любима! Хотя эта любовь и не удовлетворила бы меня, но она не знает иной и... довольна. У ней есть ребенок! Надо непременно посмотреть его. У ней есть, наконец, деятельность».

«Что же делать?» — восстает в уме молодой женщины вопрос.

«Разве спастись, уйти!» — проносится в ее голове мысль недавнего бреда.

Куда, зачем?

В родительский дом, но отец и мать полагают, что она, их дочь, так счастлива. Зачем разрушить их иллюзию! Николай Павлович Зарудин потерян для нее навсегда. Он не простит ей оскорбленного чувства. Нет, увы, вступив в брак с графом Аракчеевым, она сожгла свои корабли, возврата нет. В монастырь! Но это серьезный шаг, хотя и единственный сообразный с обстоятельствами — его надо обдумать. Какие причины выставит она теперь своему мужу? Выдать Минкину — женщину, доверившуюся ей и искренне перед ней раскаявшуюся в своем невольном грехе, невольном несомненно, она достаточно знает графа. Нет, на это она не способна. Она будет молчать и постепенно удаляться от мужа, на это у ней есть причина — она больна. А там — Божья воля. Так решила Наталья Федоровна.

«А если эта женщина лжет, клеветает на графа, если она сумасшедшая?» — мелькают в голове графини вопросы.

«Нет, не может быть, так не лгут! — тут же раздается ответ.

А впрочем, у ней будет время проследить, убедиться.

XVI

ФАВОРИТ ГРАФИНИ

И Наталья Федоровна убедилась.

Оправившись от болезни, она приняла, наконец, Алексея Андреевича.

Он холодно поцеловал ее в лоб.

— Ну, что, как себя чувствуешь?

— Мерсі, теперь много лучше, думаю сегодня встать, но все еще чувствую себя слабой.

— Н-да... — прогнусил граф довольно равнодушно.

— Настолько слабой, — продолжала графиня, — что даже не знаю, как теперь примусь за хозяйство.

Она исподлобья пристально посмотрела на мужа.

— За хозяйство... — повторил он, не глядя на нее, — в хозяйство тебе соваться нечего, не барыни это дело, у меня есть ключница, восемь лет уже живет, хорошая, аккуратная женщина, знает грузинское хозяйство и мои вкусы. Настасьей ее зовут, может, слышала?

Граф остановился.

— Нет... не... слышала... — с трудом, вся покраснев от первой лжи, отвечала Наталья Федоровна.

Он этого не заметил, продолжая смотреть куда-то в сторону.

— Да, я и позабыл, она нас не встречала, так как больна была. Когда встанешь, прикажи ее позвать, потолкуй с ней. Будь только поласковой, она преданная и честная.

Граф с видимым усилием взглянул на жену.

Она уже успела оправиться и отвечала совершенно спокойно:

— Хорошо, это меня радует, а то я думала, что все это будет лежать на мне и боялась, справлюсь ли я.

— Нет, нет, ты поговори с ней, но ни во что не мешайся, это вредно для твоего здоровья... — как-то особенно заспешил граф и, посидев еще немного, ушел из спальни жены.

Графиня проводила его долгим взглядом.

В этом взгляде видна была скорее жалость, нежели раздражение.

От нее не ускользнуло его смущение — оно явилось первым подтверждением рассказа Настасьи.

Часа два спустя, Наталья Федоровна встала с постели и, одевшись с помощью своей горничной, села в кресло и сказала:

— Позовите ко мне Настасью.

— Настасью Федоровну? — сделала та испуганно-удивленное лицо.

Горничная, видимо, уже успела проникнуть в тайну посещения Минкиной.

— Ну да, Настасью Федоровну, если ее так зовут по-батюшке... одним словом, ключницу... — резко заметила графиня и бросила на свою служанку непривычный строгий взгляд, заставивший последнюю проглотить фразу, видимо, бывшую на ее языке и ограничиться стереотипным.

— Слушаю.

Горничная вышла.

„И эта знает все... всю эту грязь!“ — мелькнуло в голове графини.

Не прошло и четверти часа, как в спальню Натальи Федоровны уже входила скромно одетая в черное платье, с опущенными долу глазами Настасья Минкина.

— Звать изволили меня, ваше сиятельство?

— Да, я пригласила вас, чтобы, во-первых, с вами познакомиться, — Наталья Федоровна подчеркнула это слово, как бы давая понять, что она даже сама позабыла о ночном визите к ней Настасьи, — так как граф сказал мне, что по нездоровью, вы не могли представиться мне в день нашего приезда и, кроме того, заявить вам, что с моим приездом ваши обязанности не изменяются, так как хозяйством я заниматься не буду... Надеюсь, что граф будет по-прежнему вами доволен.

— Постараюсь угодить вашему сиятельству... — скромно ответила Минкина.

— Можете идти... — отпустила ее графиня.

Настасья Федоровна тихо вышла, по-прежнему не поднимая на Наталью Федоровну своих полуопущенных глаз.

Выйдя из комнаты, она гордо подняла свою красивую голову, и на ее красных, как кровь, губах появилась улыбка торжества: она поняла, что графиня сдалась, вследствие каких причин, какое ей было до этого дело!

Она чувствовала лишь, что она осталась все тою же могущественной домоправительницей, все тою же властной Настасьей-графинюшкой.

Прошла неделя.

Граф Алексей Андреевич, войдя в полную ничем не нарушаемого порядка колею грузинской жизни, занятый начавшимися постройками, не заметил перемену в отношении к нему молодой графини, да и перемена эта, кстати сказать, не была резка, так как отношения между супругами были уже давно холодны. Наталья Федоровна проводила дни в своей комнате, гуляла и, встречаясь с мужем во время утреннего и вечернего чая, завтрака, обеда и ужина, была по-прежнему ласкова и только чаще прежнего жаловалась на свое нездоровье, но эти жалобы, ввиду близости Минкиной, не особенно трогали графа.

Оба супруга, видимо, были довольны установившимся положением дел.

Наталья Федоровна с радостью видела, что может избежать рокового объяснения с мужем относительно дальнейших условий их совместной жизни. Бедняжка, она недоумевала, как начать такое объяснение.

Граф первые дни также был в некотором смущении, он ожидал каждый день, что сплетни грузинских кумушек, на роток которых, согласно русской пословице, нельзя было накинуть платок никакой строгостью, дойдут до его молодой жены и ему придется, быть может, давать ей неприятное объяснение, но ровное расположение духа графини, о чем последняя тотчас же сообщила ему, постепенно его успокоило, и он начал надеяться, что его привычки и порядок жизни ничем не будут нарушены.

Алексей Андреевич стал чрезвычайно весел, доволен и очень предупредителен и любезен с женою.

Сначала это ее испугало, как признак близости объяснения, но затем мало-помалу она успокоилась.

В одну из своих прогулок в саду Наталья Федоровна столкнулась с бегущим ей навстречу очень чисто одетым маленьким мальчиком.

„Это Миша! Его сын!“ — мелькнуло в ее голове.

Предчувствие не обмануло ее — это был действительно Миша. Графиня остановилась и подозвала к себе ребенка.

Мальчик без робости, бойко смотря в глаза нарядной молодой тете, подошел к ней.

Таково было начало знакомства молодой женщины с сыном ее мужа, как, по крайней мере, со слов Настасьи, полагала Наталья Федоровна.

Последняя излила на ребенка всю скрытую ласку своей нежной природы, повела его к себе,

накормила сладостями, и душа ребенка быстро отозвалась на призыв нежности.

С этого дня Миша был почти неразлучен с „молодой тетей“, как звал он графиню.

Граф и Настасья знали это, но не препятствовали этому сближению, или лучше сказать, не решались ему препятствовать. Первый по-прежнему старался избегать встречи с мальчиком, но при близости последнего к графини, избежать ее совершенно было невозможно, и встреча состоялась.

Это было в будуаре графини. Алексей Андреевич неожиданно вошел вечером и увидел Мишу, сидевшего на коленях его жены.

— Папа! — робко произнес ребенок. Аракчеев вспыхнул.

Это не ускользнуло от мельком взглянувшей на него Натальи Федоровны, и она объяснила это в смысле отцовского смущения.

— Глупый, какой я тебе папа! — дрогнувшим голосом, после некоторого молчания, заметил он и двумя пальцами правой руки стал щекотать шейку ребенка.

— Папа! — настойчиво повторил тот.

— Вот Бог послал сынка неожиданного! — деланно улыбнулся Алексей Андреевич.

— Это ключницы Настасьи забава! — кивнул на мальчика головой граф после двойной паузы. — Скучно ей по зимам в Грузине, вот и завела себе сироту, подкидыша... Кого не увидит, все папа кричит — такая уж его сиротская доля.

Графиня с усилием улыбнулась и погладила ребенка по курчавой головке.

— Бедный мальчик! Я хотела просить вас, Алексей Андреевич, нельзя ли что-нибудь сделать для него, не оставаться же ему без роду и племени... Я измучилась, думая, что с ним будет, когда он вырастет...

— Есть из чего, матушка, мучиться... вырастет, выучится, человеком будет... — равнодушно заметил граф.

Наталья Федоровна укоризненно посмотрела на него.

— Мне бы очень хотелось, чтобы его судьба была обеспечена... — тихо произнесла она, — я его так полюбила...

— А коли тебе хочется, так и будет обеспечен, подумаем, сделаем, — поспешно согласился граф, встал и вышел, поцеловав руку жены.

Миша, меж тем, сладко заснул на коленях неожиданного ходатая за его будущность.

XVII

ТОМИТЕЛЬНЫЕ ДНИ

Время в Грузине тянулось для Натальи Федоровны с томительной медленностью. Единственным ее утешением был маленький Миша, почти безотлучно находившийся при ней.

Вокруг нее, между тем, кипела усиленная деятельность. Перед задним фасадом старого деревянного графского дома, несколько отступя от последнего, уже высился передний фасад вновь строящегося каменного нового дома — это сравнительно небольшое, каменное здание возводилось это лето с невероятною быстротою, под наблюдением самого графа, массою рабочих, привлеченных щедростью грузинского владельца. Над его порталом предполагалось заменить скромную надпись старого дома „мал, но покоен“ не менее скромным девизом баронского герба Аракчеева: „Без лести предан“. По постройке нового дома старый предполагалось сломать, отчего глубина и без того огромного двора должна была увеличиться.

Невдалеке от барского дома шла другая спешная работа — окончательная отделка новой каменной церкви во имя святого апостола Андрея Первозванного, освящение которой назначено было графом на 20 сентября, в годовщину рождения императора Павла I.

Вся дворня и все село находились в тревожном ожидании этого торжества; одна молодая графиня безучастно переживала день за днем с удручающим душу однообразием, даже приезжавшие на поклон к всевластному графу петербургские гости не вносили оживления в жизнь молодой женщины, все еще находившейся под мучительным кошмаром несбывшихся грез и мечтаний, — кошмаром, который, казалось, продолжится бесконечно.

У Натальи Федоровны мелькнула даже однажды мысль пригласить погостить к себе Катю Бахметьеву, которая в довольно частых и длинных письмах жаловалась на скуку и однообразие жизни летом в Петербурге и весьма прозрачно намекала, что не отказалась бы провести даже месяц где-нибудь в деревне. „В Грузине у вас, говорят, совсем рай“, — писала хитрая девушка, не забывая в каждом письме посылать свой сердечный привет графу Алексею Андреевичу.

Мысль эта, впрочем, была тотчас же отброшена графинею.

Во-первых, ей далеко не улыбалось постоянное присутствие постороннего человека, разделяющего с ней томительно-однообразную жизнь в Грузине, не улыбалась перспектива вопросов, опыты, догадок, до которых так падка Бахметьева; а во-вторых, эта же самая Бахметьева, как мы уже упомянули вскользь, представлялась Наталье Федоровне теперь в ином, далеко не привлекательном освещении. Поневоле в продолжение этого лета умудренная житейскою опытностью молодая женщина, припоминая взгляды, которыми перекидывались зимой гостившая у ней подруга и ее муж, брезгливо содрогалась.

„Этого бы еще недоставало!“ — мелькало в голове графини Аракчеевой.

Лето, к удовольствию Натальи Федоровны, уже прошло, наступила осень, но дни стояли настолько хорошие, что так называемое „бабье лето“ сулило быть очень продолжительным. Промелькнула и первая половина сентября. День, назначенный для освящения церкви, быстро приближался, приближалось и 10 октября, когда граф решил переехать снова в Петербург, куда всем сердцем стремилась графиня. Хотя она очень часто получала известия из родительского дома, где все обстояло благополучно, но, несмотря на это, Наталья Федоровна мучилась каким-то тяжелым предчувствием, и каждый раз, когда она вскрывала письмо, полученное из Петербурга, руки ее дрожали и сердце переставало биться.

„Это не к добру, что-нибудь, да над ними стряется“, — решила она, платя дань обычному, господствовавшему в то время суеверию, наряду с занесенным с запада безусловным неверием.

Известно, что суеверие неизбежный суррогат веры, хотя может существовать и наряду с последней, как было и в данном случае, так как Наталья Федоровна была очень набожна.

Время, как мы уже заметили, хотя и томительно медленно, но шло вперед, день за днем

уходил в вечность, чтобы не возвращаться никогда со всеми его прошлыми тревожностями, выдвигая за собою другие дни, также разительно не похожие друг на друга, хотя с первого взгляда подчас чрезвычайно однообразные. Понятие об однообразии жизни есть результат нравственной близорукости людей.

Срок пребывания графини Натальи Федоровны в Грузии все уменьшался и уменьшался. Это, как мы заметили, чрезвычайно радовало ее, хотя жизнь в Петербурге не сулила ей ничего утешительного, но она находилась в том состоянии нервного возбуждения, когда всякая предстоящая перемена в жизненном строе, хотя бы даже к худшему, встречается с удовольствием.

Не ведала графиня, что приближение столь желанного для нее дня ее отъезда из Грузии заставляло тревожно биться сердца двух в том же Грузии людей, готовых отдать многое, чтобы по возможности отдалить этот далеко для них нежеланный роковой день.

Эти двое, со страхом ожидавшие отъезда графини, были Егор Егорович и Глаша.

Надежды Воскресенского, что власти его „варвара“ и „тирана“, как он мысленно обзывал Минкину, с женитьбою графа придет конец, и он будет иметь возможность разорвать так опрометчиво завязанные им с этой женщиной отношения, с часу на час становившиеся для него все тягостнее и тягостнее, как мы видели, не оправдались. Егор Егорович с ужасом увидел, что и в присутствии графини влияние Настасьи Федоровны на графа не только не уменьшилось, но пожалуй даже увеличилось, и молодая законная жена Алексея Андреевича, казалось, совершенно стушеввалась перед экономкой-любовницей. Не будучи посвящен в хитросплетенную интригу Минкиной, он только недоумевал и поневоле стал разделять мнение большинства грузинских старожил, что Настасья — колдунья.

По улыбке надменного торжества, игравшей на губах последней при встрече с ним, он видел, что не только ее ставка в игре с графом выиграна, но что она догадывается, что эта ее победа далеко ему не приятна. Несколько, будто шутя, брошенных ею слов в разговор с ним окончательно его в этом убедили. Он понял, что это открытие не пройдет ему даром со стороны мстительной женщины и не только отзовется на его дальнейшей судьбе, но и на участи горячо любимой им девушки Глаши.

Несколько подмеченных им взглядов Настасьи Федоровны на последнюю красноречиво свидетельствовали о ее затаенной непримиримой ненависти.

Слабый духом, не решавшийся на открытую борьбу с внушавшей ему почти мистический ужас женщиной, Егор Егорович покорно ждал ударов судьбы, олицетворенной для него в чернокудрой Настасье.

Минкина, видимо, тоже чего-то выжидала. Дворня положительно не узнавала ее: из флигеля перестали раздаваться вопли избитых ею до полусмерти девушек, прекратились любимые ею экзекуции на конюшне, она осталась строгой, бдительной хозяйкой, но казалось в ней умерла жестокая домоправительница, и при имени ее трепетали лишь по кровавым воспоминаниям прошлого.

Но дворовые и крестьяне были дальновидны.

— Это затишье перед бурей! — догадывались они.

Также понимали эту перемену в Настасье Федоровне Егор Егорович и Глаша, которых она тоже оставила в покое: первого она очень редко призывала к себе, а с последней была даже ласкова. Эти ласки не предвещали хорошего.

Оба они, повторяем, понимали это, но любовь и молодость брали свое, а общность

несчастья, общий висевший над ними роковой приговор, исполнение которого только замедлялось, чего они не могли не чувствовать, сблизили их скорее, чем это было бы при обыкновенном положении вещей, и они с какой-то алчностью брали от жизни все то, что она могла им еще дать, следуя мудрой русской пословице обреченных на неизбежную гибель и вследствие этого бесшабашных людей — „хоть день, да наш“.

Время неслось для них чрезвычайно быстро, наступила вторая половина сентября; пронесся слух, что 10 октября граф и графиня покинут Грузино и отправятся в Петербурге.

„Гром не грянет — мужик не перекрестится“, а это известие было положительно громом для Воскресенского и Глаши, оно не только ошеломило их, но как и в природе, грозой очищается воздух, так и на них этот жизненный гром произвел просветляющее впечатление. Они как-то вдруг поняли, что грозная домоправительница выжидала именно этого отъезда, чтобы начать с ними должную расправу.

И они не ошиблись.

XVIII

НЕЖДАННАЯ ГОСТЬЯ

Наступило 18 сентября, на другой день ждали приезда многих приглашенных на торжество освящения храма. В доме графа не было заметно особой сутолоки, так как все было приготовлено исподволь, и в нем царил образцовый, обычный порядок.

После завтрака графиня Наталья Федоровна отправилась на свою ежедневную прогулку в парк, где вскоре услышала звон колокольчиков въехавшего на двор экипажа. Она не обратила на это особенного внимания, так как граф Алексей Андреевич ни на минуту, даже живя в Грузине, не оставлял личного управления государственными делами и имел ежедневное сношение с Петербургом, откуда то и дело взад и вперед неслись курьеры и даже высокопоставленные лица, стоявшие во главе того или другого правительственного учреждения, для личного доклада всесильному графу о делах экстренной важности. Без скрепы графа Аракчеева не выходил ни один высочайший указ, и государь Александр Павлович был в постоянной переписке со своим подданным другом.

Слышно было по внезапно прекратившемуся звону, как кучер осадил лошадей у подъезда графского дома, а через несколько минут один из лакеев торопливо бежал по дорожкам парка вслед медленно удалявшейся графини.

Услыхав за собою шаги, последняя остановилась и вопросительно посмотрела на запыхавшегося слугу.

— Екатерина Петровна Бахметьева изволили прибыть из Петербурга к вашему сиятельству...

— почтительно доложил он.

Наталья Федоровна почувствовала, что у ней вдруг закололо в сердце.

— Бахметьева... Где она?.. — растерянно спросила графиня.

— В гостиной, с его сиятельством...

Графиня нервною походкою возвратилась в дом, сопровождаемая лакеем, шедшим в почтительном отдалении.

— Катя, какими судьбами?.. — все еще совершенно не придя в себя от изумления, произнесла графиня, обнимаясь с подругой.

— Это я тебе, Наташа, сюрприз сделал, послал Екатерине Петровне приглашение посетить нас и присутствовать на торжестве освящения, а внизу собственноручно приписал, чтобы приезжала пораньше, да и уехала бы попозже...

— Да, уж это совсем сюрприз, радостный сюрприз... — все еще растерянно лепетала молодая женщина.

— Хитрить вы что-то изволите, ваше сиятельство, — с комичной почтительностью заметила Бахметьева, усаживаясь на диван рядом с хозяйкой. — Кажется, вы мне не очень-то рады, так как в письмах ни слова не вымолвили о желании меня видеть...

— Ах, что ты, Катя, — заволновалась графиня, — я просто боялась, что ты здесь соскучишься; в Петербурге веселее, разнообразнее, то-то порасскажешь мне новостей. А у нас здесь что?..

— Как что? Да у вас здесь прелесть как хорошо, да, впрочем, там везде хорошо, где умница-граф руку свою приложит, при нем и в России стало хорошо...

Она обожгла Алексея Андреевича красноречивым взглядом. Тот довольно улыбнулся.

— Хотелось бы, Екатерина Петровна, такой же и во всей России порядок устроить, как у меня в Грузине, да руки короткие... — скромно заметил он.

— Это у вас-то короткие... — засмеялась гостя. — Да вы с неба все звезды снимите, как захотите... Не я одна это говорю, а все... уж на что Марья Антоновна не любит вас, а побаивается...

— Пустая женщина! — прогнусил граф и встал. — Однако, мне надо кое-чем заняться, а вы до обеда поговаривайте с Наташей, апартаменты вам отведены на ее половине, и завтрак там вас ждет.

Алексей Андреевич вышел.

Подруги отправились на половину графини. Время до обеда пролетело незаметно. Екатерина Петровна без умолку болтала о петербургских новостях, светских сплетнях.

— А Сергей Талицкий, помнишь, мой кузен... офицер... — между прочим заметила она, — вышел в отставку.

— Что так?

— Хорошенько сама не знаю, не поладил с начальством... его очень теснили...

— Что же он будет делать?

— Уже этого я совсем не знаю, знаю только, что штатское платье к нему очень идет... — захохотала Бахметьева.

После обеда, за которым граф был очень любезен с гостьей, кофе подали в гостиную.

— А profos, я забыла сказать тебе, Талечка, — с невинным выражением лица начала Екатерина Петровна, — ведь молодой Зарудин сошел с ума...

— С ума... — могла только повторить Наталья Федоровна.

— Это какой Зарудин... Павла Кирилловича сынок?.. — спросил граф.

— Да, — ответила Бахметьева и снова обратилась к графине.

— Разве ты не слыхала, это случилось еще в феврале...

— Нет, что же с ним случилось?

— Какая же, граф, ваша жена хитрая, люди по ней с ума сходят, а она невинно спрашивает, что с ним случилось...

Граф метнул на жену пронизательный взгляд. Та сидела бледная, как смерть.

Бахметьева сделала вид, что крайне смущена.

— Что с тобой, Талечка, прости, я не знала, что графу неизвестен наш глупый прошлый роман... Я думала, что ты, как жена... рассказала ему и вместе... посмеялась... — деланно взволнованным тоном заговорила она.

— Посмеяться никогда не ушло время, расскажите вы... хотя, вы правы, должна бы рассказать она, — прогнусил граф.

Во взгляде Алексей Андреевича, брошенном снова на сидевшую, как истукан, графиню, мелькнул огонек злобного торжества.

Он был доволен, что нашел, наконец, вину за женщиной, перед которой сам был виноват и которая подавляла его превосходством своих нравственных качеств.

— Я, право, не знаю... имею ли я право без согласия Талечки... — начала вилять хитрая девушка.

— Рассказывайте, рассказывайте... — почти крикнул на нее граф, — видите, она молчит, а молчание знак согласия, — кивнул он в сторону Натальи Федоровны.

Бахметьева повиновалась.

Она с неподражаемым комизмом рассказала свое увлечение Николаем Павловичем Зарудиным, свою исповедь Наталье Федоровне, неудачное сватовство последней и, наконец, неожиданное открытие, что подруга приносила для нее в жертву свое собственное увлечение тем же Зарудиным.

— Все, оказалось, устроилось к лучшему, — закончила она. — Талечка счастлива, да и я, слава Богу, давно вылечилась от этой любовной болезни...

По мере рассказа подруги, Наталья Федоровна постепенно приходила в себя. Это открытие, почти циничное глумление молодой девушки над тем светлым прошлым, которое графиня оберегала от взгляда непосвященных посторонних людей, от прикосновения их грязных рук, как за последнее время решила она, производило на нее ощущение удара кнутом, и от этой чисто физической боли притуплялась внутренняя нравственная боль, и она нашла в себе силы деланно-равнодушным тоном заметить, когда Бахметьева кончила свой рассказ.

— Я не думала, что эти пустяки, это ребячество могли заинтересовать графа...

— Гм! — издал тот неопределенный звук. — На чем же он помешался?.. — обратился граф к Екатерине Петровне.

— Да ведь я не знаю, правда ли это, люди ложь и я тож, рассказывают, что когда он получил приглашение на вашу свадьбу, разосланное всем гвардейским офицерам, то покушался на

самоубийство, но его спас товарищ... Это скрыли, объявили его больным... Теперь, впрочем, он поправился... и, как слышно, просится в действующую армию...

— В какую действующую армию, наши войска давно возвратились... — недовольным тоном буркнул граф.

— Ну, значит, когда будет война... — смеясь сообразила Бахметьева.

— Разве когда будет, — невольно улыбнулся граф, — тогда, пожалуй, хоть и не просись, пошлют...

Графиня сумела по наружности совершенно равнодушно принять и это известие о покушении на самоубийство любимого ею человека, покушении, доказывавшем ей силу отвергнутой ею его любви.

Такою часто силою управления собой обладают нервные люди. Эта сила укрепилась в молодой женщине в данном случае нежеланием допустить этих теперь уже прямо ненавистных ей людей в святилище ее сердца.

Разговор перешел затем на другие темы; граф предложил пройтись в парк и, идя рядом с немного отставшей от Натальи Федоровны Екатериной Петровной, склонился к ней и тихо сказал:

— Мне бы хотелось поподробнее слышать от вас рассказанную историю, вы не имеете обыкновения тотчас после ужина ложиться спать?..

Бахметьева лукаво посмотрела на Алексея Андреевича и, в свою очередь, прошептала:

— Нет, я долго не сплю...

— Позвольте зайти к вам сегодня...

— Милости просим...

XIX

НОВАЯ СОПЕРНИЦА МИНКИНОЙ

Было два часа ночи на 19 сентября.

Екатерина Петровна Бахметьева лежала в постели, но не спала, она, впрочем, только что успела лечь, так как не более получаса тому назад от нее вышел граф Алексей Андреевич. На ее губах еще горели его поцелуи, в ушах раздавались его клятвы и уверения.

Она отдалась ему. И этот шаг не был для нее неожиданностью. Она была к нему подготовлена, скажем более, она давно решила на него, убеждаемая доводами своего красивого кузена Сергея Дмитриевича Талицкого.

Пусть поэтому не удивляются дорогие читатели, что это совершилось так, с первого взгляда, неожиданно быстро.

Несмотря на то, что с момента нашего знакомства с обеими девушками, Хомутовой и Бахметьевой, не прошло и двух лет, время это успело сильно изменить их обеих, и если брызги житейской грязи только недавно коснулись молодой графини Аракчеевой и совершили

в ее внутреннем мире внезапный мучительный переворот, то что касается ее подруги, она, увы, сравнительно, гораздо ранее окунулась с головой в грязный житейский омут.

Единственная, балованная дочка, далеко не воспитанная в строгих нравственных правилах, с пылким темпераментом, дурно направленным самолюбием и необузданным характером, Катя Бахметьева в этих своих душевных свойствах носила причину своего раннего падения. Увлечшись Николаем Павловичем Зарудиным, она капризно и настойчиво шла к цели, приняла, как должную дань, жертву подруги, а когда цель эта не была достигнута, поплакала, как ребенок над сломанной игрушкой, но вскоре утешилась и занялась подвернувшейся ей под руку новой, но эта новая игрушка стала для нее роковой, она сама обратилась в игрушку человека, блиставшего еще более, чем она, отсутствием нравственных принципов.

Этой новой, поработившей всецело Екатерину Петровну игрушкой был ее кузен, Сергей Дмитриевич Талицкий.

Мы только мельком познакомим читателя с этим молодым офицером, рельефным представителем типа тогдашних петербургских „блазней“. Его мелкая личность, впрочем, и не стоит, да и не выдержала бы глубоко психического анализа, — это был, в полном смысле, „внешний человек“; красивая, но шаблонная наружность прикрывала его мелкие пороки и страсти, и всю гаденькую натуру не разборчивого на средства кутилы и игрока.

На вид, повторяем, он был смазливый, хорошенький мальчик — ему шел в то время двадцать четвертый год — но этим он лишь подтверждал правило, что наружность обманчива.

Он был любимцем и баловнем Мавры Сергеевны Бахметьевой, смотревшей на него, как на родного сына и брата своей дочери, с которой часто и беспрепятственно оставляла наедине. За эти-то любовь и доверие он, как истый „блазень“, отплатил черною неблагодарностью.

Вскоре по выходе в офицеры и достижении совершеннолетия он быстро прокутил доставшееся ему после родителей незначительное состояние и стал жить неведомо чем, частью на счет своих товарищей, а частью в кредит, пока последний не иссяк, но не оставлял своих привычек и своей страсти к игре.

„Кубышка“ тетеньки, как он звал Мавру Сергеевну, не давала ему покоя, но он не видел возможности легко завладеть ею. Жениться на своей кузине — отдаленность их родства не мешала этому — но практический юноша не хотел так дешево продать свою свободу, тем более, что с этой кузиной можно было, по мнению Талицкого, спокойно и без свадьбы проволочить время. Надо было измыслить другой план и как можно скорее, так как кредиторы усиленно его одолевали.

И план был измышлен. Известно, что солнце счастья редко светит для честных людей. Сергею Дмитриевичу удалось даже подстрелить двух зайцев.

Это было вскоре после, вероятно, памятного читателям визита Талечки к своей подруге с вестью о неудачном ходатайстве за нее перед Зарудиным. Отвергнутая самолюбивая девушка была в отчаянии, оскорбленная в своем, казалось ей, искреннем чувстве, она искала забвения. Талицкий явился счастливым утешителем, и Екатерина Петровна, в состоянии какого-то нравственного угара, незаметно поддалась его тлетворному влиянию и также незаметно для себя пала.

Она опомнилась, но было уже поздно, да и страсть взяла свое, она привязалась к своему любовнику со всею силою пробужденной им в ней чисто животной страстью. Она стала его верной рабой, его верной собакой, смотрящей в глаза. Такую чувственную любовь умеют пробуждать в женщинах одни мерзавцы.

Уничтожив таким образом возможность противиться его планам со стороны дочери, он

принялся за мать, которая, как он знал, имела обыкновение советоваться во всех делах со своей „Катиш“, которую она считала чрезвычайно умной и рассудительной.

— Вот, милая тетенька, если бы у меня было в распоряжении несколько десятков тысяч, можно бы нажить хорошие деньги без всякого труда и заботы... — закинул он удочку на старушку.

— Это, то есть, как так нажить — торговлей?

— Фи, торговлей, не дворянское это дело... нет, надо выручить одного человечка, с которого можно получить большие проценты, а вскорости возвратить и капитал.

— Такому же, может быть, как ты франту, блазню... — усмехнулась Мавра Сергеевна.

— Ну, нет, ошиблись, ma tante.

Сергей Дмитриевич наклонился к ней и что-то прошептал на ухо.

Старушка Бахметьева даже вытянулась.

— Что ты, такая особа, и не врешь?

— Зачем врать, пес врет, как говорила моя нянюшка.

— Да ты-то почему это знаешь?..

— Я приятель с одним близким к нему человеком.

Талицкий снова зашептал на ухо Мавре Сергеевне.

— Он выдаст и заемное письмо.

— А не сам?

— Вот чего захотели.

На этом разговор окончился.

Это было за чаем. После него Сергей Дмитриевич посвятил в предстоящее выгодное дело Екатерину Петровну.

— Ты уговори мать, — заметил он ей, — это меня может сильно подвинуть по службе, капитал твой увеличится, и тогда мы можем обвенчаться, а теперь что же плодить нищих.

Катя кивнула головой в знак согласия, так как в это время в комнату входила мать.

Совершилось все так, как и предполагал практичный Талицкий. Через несколько дней Мавра Сергеевна, посоветовавшись с дочерью, первая начала разговор о предложенном им выгодном деле.

— Я что же, я бы почла за долг выручить... Скоплено у меня на приданое Кате десять тысяч рублей, я говорила с ней, она согласна.

— Десять тысяч... — поморщился Сергей Дмитриевич. — Это очень мало.

— Больше у меня нет... — тоном сожаления, исключаящим возможность лжи, заявила старуха Бахметьева.

„Стоило из-за этого хлопотать, этой суммы не хватит на уплату и половины долгов, ведь надо

отдать ей проценты, поделиться с другим, — пронеслось в голове офицера, — впрочем, все-таки лучше, чем ничего“.

— Я сообщу... — хладнокровно сказал он вслух.

Прошло еще несколько дней. Талицкий приехал утром за Маврой Сергеевной, попросил ее захватить с собой деньги и повез к „особе“, которую, кстати сказать, старушка никогда не видала в глаза.

„Особа“ милостиво приняла ее услуги, взяла деньги, а вексель был выдан ее доверенным лицом, причем, Мавра Сергеевна, убежденная доводами Талицкого, согласилась приписать очень значительную сумму процентов за год, на какой срок было выдано заемное письмо к сумме последнего, и торжествующая удачной аферой, лицезрением и милостивым обращением „особы“, вернулась домой.

Рассказам старушки дочери не было конца.

Читатель, без сомнения, догадался, что „особа“ существовала лишь в воображении Сергея Дмитриевича, а доверчивая и жадная старушка была обобрана Талицким и его достойными товарищами-сообщниками.

Нахально и развязно сообщил он обо всем этом Екатерине Петровне. Они были вдвоем в ее комнате.

— Ну и облопошили же мы твою маменьку... — с хохотом заключил он.

— Зачем же ты это сделал? За что ты обокрал меня! — вскочила она, задыхаясь от волнения.

— Тебя! — протянул он. — Вот как, а я, дурак, думал, что если ты моя, то и твои деньги тоже мои. Впрочем, если так, я могу уйти, ты сообщи все своей дорогой мамаше, подложный вексель в ее руках, она может подать на меня в суд, если я до завтра останусь в живых. У меня есть верный друг, он сослужит мне последнюю службу.

— Так попроси этого друга и возврати деньги.

— Ха, ха, ха... как обрадовалась, но ты меня не поняла, этот верный друг — пистолет... Прощай!

Он встал.

Его импонирующий тон поколебал ее, она снова села на стул и заплакала.

— Ты не любишь меня.

— Напротив, я из любви к тебе хотел спасти себя от бесчестия, от позора, мне оставалось два выбора: или добыть деньги, или покончить с собою, я выбрал последнее, так как ты одна меня привязываешь к жизни, я думал, что ты любишь меня, что я дорог тебе.

— Отчего ты не сказал мне заранее все откровенно?

— К чему бы это послужило? Ведь ты не могла бы достать у матери этих денег, а больше мне взять было негде. Но что тут толковать, ты, видимо, совсем не любишь меня, зачем же мне жить? Прощай!

Он направился к двери. Она бросилась за ним.

— Останься, сумасшедший, ведь я люблю тебя!

Он как бы нехотя вернулся.

— Надо подумать лучше, что делать? — заговорила она.

— Что делать, я уже придумал; надо добыть у нее вексель.

Он тихо и хладнокровно начал развивать ей свой план. Недели через две после этого разговора, во время отсутствия из дому Мавры Сергеевны, неизвестные злоумышленники каким-то неведомым путем забрались в ее спальню, сломали шифоньер и похитили заемное письмо в десять тысяч рублей. Прислуга была в это время в кухне, а Екатерина Петровна, и Сергей Дмитриевич находились все время в противоположном конце дома, и никто ничего не слышал.

Так значилось в заявлении в квартал, писанном рукой Талицкого, по просьбе обезумевшей от горя старухи.

— Не упоминайте о заемном письме, нехорошо.

— Нет уж, батюшка, пиши, пиши, а то пропадут мои денежки.

Началось дознание. Оказалось, что пропавшее, по словам потерпевшей, заемное письмо подписано каким-то никогда не существовавшим князем. Когда же сама Мавра Сергеевна заявила, кому она будто бы отдала свои деньги, то на нее удивленно и с недоумением вытаращили глаза. „Старуха кажется спятила!“ — решил следователь. К допросу были вызваны поручик Талицкий и Екатерина Бахметьева. Оба они подтвердили, что давно замечали, что с Маврой Сергеевной творится что-то неладное и даже полагают, что ода сама как-нибудь сломала замок у шифоньерки, а заявила о пропаже у ней заемного письма в припадке сумасшествия.

Содержание заявления и словесное объяснение потерпевшей подтверждало все это, и дело о краже заемного письма было замято.

От понесенного потрясения Мавру Сергеевну Бахметьеву разбил паралич, но, несмотря на это, с ее дочери взяли подписку в том, что она обязуется наблюдать, чтобы ее душевно больная мать не беспокоила „известную особу“ своими нелепыми требованиями.

Исполнить это было нетрудно, так как Мавра Сергеевна была очень слаба и медленно угасала. Она, впрочем, на самом деле стала заговариваться. Сергей Дмитриевич утешал ее, что он похлопочет и деньги ей возвратит.

Связь несчастной Кати с Талицким укрепилась общим преступлением.

Она всецело находилась в его власти.

Наступил январь месяц 1806 года. По Петербургу разнесся слух о предстоящей свадьбе графа Аракчеева с Натальей Федоровной Хомутовой — Екатерина Петровна знала об этом, конечно, ранее всех.

— Мы можем тут с тобой обстряпать хорошее дельце. — заметил Талицкий. — Эта идеальная дура Хомутова графу совсем не под пару, он, слышно, любит бойких баб. Теперь, конечно, в ней ему нравится ее наивность, но помяни мое слово, она ему скоро надоест, тебе бы самый раз быть графиней Аракчеевой... чай, не отказалась бы...

Глаза Екатерины Петровны блеснули злобным огоньком. Она уже давно завидовала судьбе своей подруги.

— Что ты за вздор болтаешь, разве мне об этом можно мечтать, да я и не променяю тебя ни

на какого графа.

— Зачем менять, я останусь все тем же для тебя, жениться мне нечего и думать, а тебе пристроиться пора...

— Да ты серьезно? — удивленно посмотрела на него Бахметьева.

— Совершенно серьезно...

— Но как же расстроить брак Талечки?..

— Зачем расстраивать, пусть выходит, а ты постарайся сблизиться с графом, тебе что терять, нечего... — с откровенным цинизмом заметил он.

Екатерина Петровна даже не дрогнула, а только внимательно насторожила уши.

Ученица была достойна своего учителя.

Сергей Дмитриевич долго развивал перед ней программу ее будущих действий.

— Главное, увлечь и надуть этого сладострастного солдафона, а там мы сумеем заставить его развестись и жениться на тебе, ты девушка из хорошей дворянской семьи, а твоя идеальная дура сама тебе поможет в этом, если ты представишься ей жертвой его обольщений или даже его силы...

Читатель уже видел, как Екатерина Петровна была послушна своему ментору.

Цель ее была достигнута — граф Аракчеев пойман и, видимо, не догадался о ее прошлом.

Долго не спала она в эту ночь, лежа с открытыми глазами и обдумывая, удастся ли ей и ее Сержу вторая главная часть их гнусного плана.

Не спал и граф Алексей Андреевич, он мысленно взвешивал достоинства своей новой фаворитки с достоинствами Настасьи Минкиной.

Одна графиня Наталья Федоровна, измученная тревожностями дня, спала сном людей со спокойной совестью.

XX

РОКОВАЯ ВЕСТЬ

19 сентября, графиня Наталья Федоровна проснулась довольно рано, но медлила с туалетом и выходом и даже приказала подать себе отдельно утренний чай, а затем и завтрак. Ей хотелось побыть одной в это утро, а главное, с каким-то странным чувством брезгливости она отдаляла встречу с глазу на глаз с мужем и подругой.

— А его сиятельство у гостыи нашей почитай до самой зари просидели! — не удержалась, чтобы не сообщить с особенной таинственностью графине, ее горничная.

Та вспыхнула, но тотчас же смерила ее строгим взглядом и почти надменно сказала:

— Разве я тебя просила докладывать мне, когда и где бывает граф? Пошла вон!

Горничная сконфуженно удалилась.

К обеду набралось уже множество гостей. Наталья Федоровна вышла, с холодной любезностью поздоровалась с мужем, Бахметьевой и гостями и заняла место хозяйки за столом после обычных представлений некоторых еще незнакомых ей лиц.

День прошел в праздничной сутолоке, после обеда стали съезжаться остальные приглашенные, и графиня имела возможность держаться в стороне от подруги, которую окружала толпа кавалеров.

На другой день за обедней, отслуженной с необыкновенным благолепием, с участием новгородского и даже петербургского духовенства, совершилось торжественное освящение вновь выстроенного храма, после чего всем присутствующим был предложен роскошный завтрак, а крестьянам на дворе барского дома устроена обильная трапеза с пивом и медом.

Природа как бы гармонировала с торжеством: стоял теплый, яркий, солнечный осенний день.

После завтрака графине подали письмо от матери, присланное с нарочным. Она побледнела, как бы предчувствуя его содержание, ее уже два дня беспокоило отсутствие в Грузии родителей, тоже, конечно, приглашенных на торжество и обещавших приехать даже с Лидочкой, о чем отдельным письмом просила графиня.

Предчувствие молодой женщины оправдалось. Мать писала, что Федор Николаевич, накануне уже совсем собравшийся в Грузино, вдруг почувствовал себя худо и слег, к вечеру слабость увеличилась, а потому она и просила дочь немедленно приехать, если она хочет застать отца в живых. „Он очень плох, и доктора не ручаются за исход болезни. Приезжай немедленно“, — оканчивала письмо Дарья Алексеевна».

Наталья Федоровна молча подала мужу полученное письмо.

Тот прочел и поморщился.

— Вели запрягать и поезжай, я приеду на днях, на завтра у меня назначен осмотр Грузина; матушка как женщина, вероятно, преувеличивает... Гости тебя извинят...

Он передал сидевшим с ним причину, заставлявшую его жену ехать немедленно в Петербург.

Они рассыпались в соболезнованиях.

Весть об отъезде графини по случаю болезни ее отца быстро разнеслась между присутствующими.

Граф, между тем, подошел к группе, где сидела Екатерина Петровна и что-то тихо сказал ей.

Бахметьева встала и подошла к Наталье Федоровне.

— Ты в Петербург?

— Да, хочешь ехать со мной?

— Нет, меня граф просил остаться, помочь ему занять гостей...

— Вот как! — почти с оттенком презрения кивнула ей графиня. — Прощай!

Она прошла в свои комнаты.

«Она догадалась... — мелькнуло в голове Бахметьевой. — Пусть!..»

Наталья Федоровна отчасти была даже рада, что подруга ее осталась. Перспектива поездки с нею вдвоем далеко ей не улыбалась.

Скоро стук колес и звон колокольчиков возвестил об отъезде графини.

Наталья Федоровна вихрем, «по-аракчеевски», прискакавшая в Петербург, застала отца уже без памяти, он не узнавал окружающих, не узнал и дочери.

Два дня и две бессонные ночи провела она у постели умирающего.

Наконец, на третий день утром больной пришел в сознание, слабым, полупотухшим взором обвел комнату и находившихся в ней жену, дочь и Лидочку, движением руки подозвал их к себе и поочередно положил свою исхудалую руку на головы близких ему людей.

Последние беззвучно и горько плакали.

Больной с немою укоризною посмотрел на них, возвел глаза к небу, как бы давая тем знать, где искать им утешение в их утрате, или же давая понять, куда лежит его путь, затем набожно сложил руки крестообразно на груди, вытянулся и закрыл глаза.

Среди подавляющей, ничем не нарушаемой тишины комнаты послышался тяжелый, продолжительный вздох.

Этот вздох был последний — Федора Николаевича не стало.

Дарья Алексеевна и Наталья Федоровна с раздирающими душу рыданиями упали на труп дорогого им человека. Испуганная Лидочка с криком, обливаясь слезами, бросилась вон из комнаты.

Когда первое впечатление невозвратимой утраты и тяжелого горя прошло, обе женщины занялись печальной обрядовой стороной обрушившегося на них несчастья.

В Грузино был послан нарочный с извещением о кончине Федора Николаевича Хомутова.

Граф Алексей Андреевич прибыл на другой день к утренней панихиде, сочувственно отнесся к горю, постигшему его тещу и жену, и даже милостиво разрешил последней остаться при матери до похорон, после которых — объявил ей граф — ей не надо возвращаться в Грузино, так как все ее вещи и ее прислуга уже находятся в их петербургском доме.

Наталье Федоровне все это было безразлично. Потрясенная до глубины души смертью отца, для нее почти неожиданной, хотя за несколько дней доктора очень прозрачно намекнули на бессилие науки и близость роковой развязки, она не обратила внимание на такое поспешное удаление ее горничной из Грузина, что, впрочем, объяснилось и тем, что до 1 октября — срок, назначенный самим графом для переезда в город, — было недалеко.

Не спросила она мужа и о том, уехала ли из Грузина Екатерина Петровна Бахметьева. Не видя, впрочем, на панихидах Мавры Григорьевны, она вскользь выразила матери свое недоумение по этому поводу, а та ей на скорую руку рассказала о болезни старухи и о ходивших слухах о поведении молодой девушки.

Мы знакомы уже со всем происшедшим в это время в доме Бахметьевых.

— Я к ним и ходить бросила — мерзость одна! — резко заключила свой рассказ Дарья Алексеевна.

— Не может этого быть! — ужаснулась графиня. — Просто зря люди языками треплют.

В первый раз какой-то внутренний злобный голос подсказывал Наталье Федоровне, что болтают не зря, но она старалась заглушить его.

Граф Алексей Андреевич присутствовал на всех панихидах, к которым, ввиду последнего обстоятельства, аккуратно и неукоснительно собирались почти все высокопоставленные лица, даже и не знавшие при жизни покойного. Они считали своей обязанностью отдать последний долг «тестю всесильного Аракчеева».

Граф, по обыкновению, оглядывал эту подобоострастную, заискивающую перед ним толпу с презрительною усмешкою.

Похороны произошли тоже с надлежащею помпою. Дубовый гроб вынесли из дому на руках и поставили на погребальные дроги, кругом шли факельщики. Это было в то время привилегией первых сановников, а простой класс, по обыкновению, носили на руках. В числе сопровождавшего гроб духовенства были два архиепископа. Печальный кортеж, сопровождаемый множеством карет и колясок, двинулся через Исаакиевский мост, Морскую и Невский проспект в Александро-Невскую лавру, где после соборно отслуженной заупокойной литургии и отпевания, гроб был опущен в могилу на Лазаревском кладбище, близ церкви святого Лазаря, устроенной, по преданию, Петром I над прахом любимой сестры своей Натальи Алексеевны, тело которой в последствии было перенесено в Благовещенскую церковь.

Граф Алексей Андреевич всю дорогу от дома Хомутовых до кладбища шел пешком, ведя под правую руку Дарью Алексеевну, а под левую — свою жену.

Когда могила была засыпана, граф подал руку Наталье Федоровне и повел ее к карете. Садясь в нее, она обернулась, чтобы посмотреть на рыдающую мать, поддерживаемую под руки двумя незнакомыми ей генералами, и вдруг перед ней мелькнуло знакомое, но страшно исхудавшее и побледневшее лицо Николая Павловича Зарудина. В смущенно брошенном на нее украдкой взгляде его прекрасных глаз она прочла всю силу сохранившейся в его сердце любви к ней, связанной навеки с другим, почти ненавистным ей человеком.

Она быстро вошла в карету и буквально упала в ее угол. Сердце ее, казалось, хотело выскочить из высоко колыхавшейся груди, дыхание сперло, и она громко, истерически зарыдала.

Эти рыдания были не по мертвому, а по живому.

Граф остановился у дверцы, как бы недоумевая, что предпринять, но Наталья Федоровна, заметив это, переломила себя, быстро успокоилась и только продолжала тихо плакать.

Граф сел рядом и приказал ехать домой. Карета покатила.

По приезде на Литейную, графиня удалилась в свои апартаменты и там, на свободе, вся отдалась горьким воспоминаниям о двух для нее навсегда потерянных дорогих людях.

Вечером ей доложили, что граф уехал на несколько дней в Грузино.

Наталья Федоровна только горько улыбнулась.

XXI

ПИСЬМО

Прошло несколько дней. Граф Алексей Андреевич все продолжал находиться в Грузии. Графиня Наталья Федоровна, ввиду траура, не принимала никого и ежедневно половину дня проводила у матери. Отсутствие графа даже радовало ее, образовавшаяся между ними за последнее время с той роковой ночи, когда она выслушала исповедь Настасьи, по день похорон ее отца, когда она впервые после долгой разлуки увидела Николая Павловича Зарудина, пропасть делала постоянное общение с ним почти невыносимым. У ней мелькала даже мысль совершенно покинуть мужа и переехать к матери, но от этого шага удерживала ее не боязнь светских сплетен, а с детства привитая религиозность и развитое до крайности чувство долга.

«Я не смею об этом и думать, я поклялась быть ему верной женой перед церковным алтарем, и его пример не может служить извинением, это мой долг... Если Бог в супружестве послал мне крест, я безропотно обязана нести его, Он наказывает меня, значит, я заслужила это наказание и должна смиренно его вынести», — думала молодая женщина.

«Быть может, это... за него!» — мелькало в ее голове, и ей невольно вспоминался бледный, исхудалый Зарудин, с устремленным на нее полным беззаветной любви взглядом глубоких глаз.

Тяжелей всего было то, что несчастной Наталье Федоровне не с кем было поделиться своими душевными муками, не перед, кем было открыть свое наболевшее, истерзанное сердце.

Единственным близким ее сердцу человеком была ее мать, она не считала свою любимицу Лидочку — еще ребенка, но графиня откинула самую мысль поделиться своим горем с Дарьей Алексеевной, хотя знала, что она не даст ее в обиду даже графу Аракчееву. Ее удерживало от этого с одной стороны нежелание усугублять и так глубокое горе матери, потерявшей в лице Федора Николаевича не только любимого мужа, но и искреннего друга, а с другой — она знала, что открытие тайны ее супружеской жизни Дарье Алексеевне было равносильно неизбежности окончательного разрыва с мужем, на последнее же Наталья Федоровна, как мы видели, еще не решалась.

Она обрекла себя на терпение, пока это будет в ее силах.

Плача на груди матери, она не давала ей в настоящее время повода для расспросов о причине, так как старуха думала, что они вместе оплакивают дорогого усопшего. Не знала Дарья Алексеевна, что ее дочь плачет вместе с тем и о похороненном ее счастье.

Шел уже пятый день после похорон Федора Николаевича Хомутова, когда графине Наталье Федоровне, только что успевшей вернуться от матери, таинственно подала ее горничная письмо.

— От кого? — спросила графиня.

— Не могу знать, ваше сиятельство! Нищая странница какая-то на двор нынче зашла, меня вызвала и просила передать эту грамотку вашему сиятельству под великим секретом.

Наталья Федоровна несколько секунд испытующе посмотрела на служанку.

«Лжет или не лжет? Кажется, не лжет?» — пронеслось в ее голове.

Молодая женщина уже изверилась в людях.

— Хорошо, ступай!.. — сказала она.

Оставшись одна, она несколько времени вертела полученное письмо, как бы боясь его распечатать. Адрес на конверте был написан какими-то полуграмотными каракулями.

— Чего я боюсь, какая я стала слабая, верно, просто просьба о помощи! — ободряла себя графиня.

Она быстро сломала сургучную печать с каким-то затейливым рисунком и вынула письмо, писанное тем же почерком, что и адрес.

Письмо было сложено так, что первое, что бросилось в глаза Наталье Федоровне, была подпись:

«Вашего сиятельства покорная раба Настасья Минкина», — разобрала графиня, и вся кровь бросилась ей в лицо.

«Что могла, что осмеливалась писать ей эта женщина?»

Графиня порывисто перевернула письмо и начала читать.

«Милостивая госпожа моя и всепресветлейшая графиня Наталья Федоровна!

Простите меня, окаянную, что осмеливаюсь я утруждать ваше сиятельство моим письмом, но дело касается чести вашей, светлейшая графинюшка, которая мне, холопке вашей верной, дороже жизни, а потому и молчать мне зазорно было бы.

Высказала я напрямки вашему сиятельству грех мой подневольный с графом Алексеем Андреевичем, и поняли меня вы своею ангельскою душою и простили, даже сыночка моего, сиротинку несчастного, ласкать изволили. Так будь я, анафема, проклята, коли за ваше сиятельство душу свою не положу.

Меж тем, ныне в грузинском доме творится неладное, подруженька вашего сиятельства, что осталась здесь после отъезда вашего, в явную интригу с графом вступила, любовницей его сделавшись, забыв свой дворянский род и девичество. Что мне, холопке подневольной, простить не грешно, то ей ни в каких смыслах. Ходит же она, бесстыжая, по дому хозяйкою, да и бесстыжий граф ходит гоголем.

Лицемер триклятый в знак верной моей службы приказал на днях поставить невдалеке от барского дрма чугунную вазу и тут же от жены своей и от меня, рабы его многолетней, завел любовницу.

Не я отписываю к вам, ваше сиятельство, а горе мое горькое, да и жалость сердечная к вам, голубке чистой, моей благодетельнице. Терпеть ли вы, ваше сиятельство, все будете по своей доброте ангельской, али властью вашей как ни на есть накажете ее, озорницу и охальницу — все в руках вашего сиятельства, только я, по крайности, спокойна, не оставив вас в неведении.

Вашего сиятельства покорная раба

Настасья Мишина».

Бледная, как смерть, Наталья Федоровна замерла на кресле и бессильно опустила руки.

«Что делать? Что делать?» — неслось в ее голове.

Наконец, она встала, изорвала полученное письмо в мелкие клочки и стала порывистою походкою ходить по комнате.

«Терпеть, терпеть!..» — мысленно твердила она, повинуюсь какому-то внутреннему голосу.

В ЦЕРКВИ СВЯТОГО ЛАЗАРЯ

Бессонная ночь и тревожный, почти болезненный сон ранним утром был результатом полученного накануне графиней Аракчеевой письма грузинской домоправительницы.

Встав после полудня, Наталья Федоровна некоторое время все еще не могла прийти в себя от пережитых душевных треволнений, машинально выпила она поданную ей чашку кофе и вдруг приказала подать ей одеваться как можно скорее.

У нее явилась внезапная мысль:

«Да, там, на свежей могиле отца-друга, в горячей молитве, может она почерпнуть силу, найти утешение... Ему, отошедшему в тот мир, где нет ни печали, ни воздыхания, может поверить она свою земную печаль, открыть свою душу, он поймет ее и помолится за нее пред престолом Всевышнего».

«Туда, туда, скорей, скорей!»

Торопливо одевшись, она приказала подавать экипаж и уехала на Лазаревское кладбище. На кладбище было тихо и безмолвно, не было ни одной души человеческой, так как монахи предавались послеобеденному сну.

Выйдя из экипажа у главных ворот лавры, Наталья Федоровна быстро прошла на дорожную могилу.

Набожно склонилась она перед свежим могильным холмом и устремила полные слез прекрасные глаза на этот клочок земли, под которым был скрыт дорогой для нее человек. Она почувствовала всем своим существом, что не только под землей лежит его бездыханное тело, но что и душа его здесь близко около нее, что эта близкая ее, родная душа понимает, зачем она пришла сюда, слышит ее страдания, не требуя слов, да она, быть может, и не нашла бы этих слов. Эта немая беседа с отошедшим в другой мир, это все-таки разделение скорби облегчило ее; она даже как-то успокоилась, но это спокойствие было роковым. Появившаяся душевная крепость, выразившаяся в ослаблении нервного напряжения, вместе с тем, вдруг ослабила весь ее физический организм, она пала ниц перед могильною насыпью и глухо зарыдала.

Сколько времени длились эти рыдания, она не помнила, она очнулась в притворе церкви святого Лазаря, лежа на деревянной скамье, а около нее, близко наклонившись, стоял Николай Павлович Зарудин.

Несколько времени она смотрела на него широко открытыми глазами. Видимо, еще находясь в состоянии полубеспамятства, она не могла дать себе ясного отчета, стоит ли перед ней живой человек, или же это игра ее болезненного напряженного воображения.

— Как вы себя чувствуете? — тихим, ласковым голосом произнес он.

Она поняла, что она не грезит.

— Где я, и как вы очутились около меня? — спросила она и быстро поднялась со скамьи, но тотчас же почти упала на нее, бережно поддержанная им.

— Посидите, вы еще слабы!

— Где я? — повторила графиня.

— На Лазаревом кладбище, в церкви, нынче годовщина смерти моей матушки, я приехал помолиться на ее могиле и случайно увидел вас, распростертую, без чувств, у могилы вашего батюшки, кругом не было ни души, я положительно растерялся и, не зная, что делать, взял и принес вас сюда, так как на дворе дождь...

— Да, да, я помню, я так горячо молилась... Но я стала так слаба... — смущенно заговорила она.

Она снова сделала усилие подняться, но не могла.

— Отдохните! Побудьте еще... со мной... — видимо, невольно, с мольбой, вырвалось у него.

Она окинула его взглядом, полным какого-то безотчетного страха.

— С вами? — упавшим голосом произнесла Наталья Федоровна.

— Да, со мной... — нежно повторил он и взял ее руку.

На него напала смелость отчаяния. Он с ужасом думал, что вот сейчас промчатся эти чудесные мгновения, когда она, его бывшая Талечка, здесь, рядом с ним. Он глядит в ее дивные глаза, он чувствует ее дыхание.

Она, между прочим, тихо высвободила свою руку.

— Я не должна... не смею... — произнесла она, и на глазах ее заискрились слезы.

Он побледнел, и на его исхудалом лице появилось выражение такой нестерпимой душевной боли, что она, взглянув на него, порывисто вскочила со скамьи и, схватив его за руку, почти простонала:

— Пойдемте туда, в церковь...

Она быстро вошла в храм, он послушно последовал за нею.

— Помолимся, чтобы Бог простил нам нашу грешную беседу... — как-то особенно торжественно сказала она, опускаясь на колени посреди пустынного храма.

Он окинул ее недоумевающим взглядом, но все-таки последовал ее примеру.

Она уже тихо молилась и плакала, но это уже были не те слезы, которые она проливала на отцовской могиле, не слезы накопившегося тяжелого горя, а тихие сладкие слезы душевной мольбы и надежды на благость Провидения.

Искренние молитвы действуют заразительно.

Не прошло и нескольких минут, как рядом с Натальей Федоровной искренно молился и Николай Павлович. Наталья Федоровна встала первая с колен и пошатнулась. Силы снова начали оставлять ее.

Вскочивший Николай Павлович быстро поддержал ее и бережно довел до стула, стоявшего в глубине церкви. В последней царил таинственный полумрак, усугубляемый там и сям мерцающими неугасимыми лампадами, полуосвещающими строгие лица святых угодников, в готические решетчатые окна лил слабый сероватый свет пасмурного дня, на дворе, видимо, бушевал сильный ветер, и его порывы относили крупные дождевые капли, которые по временам мелкою дробью рассыпались по стеклам, нарушая царившую в храме благоговейную тишину.

Сидевшая на стуле графиня Аракчеева и стоявший перед ней Зарудин некоторое время молчали, как бы подавленные окружающей обстановкой, и невольно вздрагивали, когда дробь крупного дождя раздавалась то в том, то в другом окне.

— Я весь внимание, графиня!.. — прервал первый Николай Павлович тягостное для них обоим молчание.

— О, не называйте меня так, — воскликнула она, — пусть я буду для вас прежней Натальей Хомутовой, вы не можете себе представить, какую дороною ценою купила я этот громкий титул, и как мало цены придаю ему я именно вследствие этой ужасающей для меня дороговизны... Слушайте, я расскажу вам горькую повесть этих сравнительно немногих дней моей новой жизни...

Зарудин тихо опустился на колени возле ее стула. Его лицо было обращено не к ней, а к тонувшему в церковном полумраке алтарю...

Больше всего его поразило то одинаковое значение, которое она и он придавали этой встрече в храме.

Она поняла, что он стал на колени не перед ней, не подчиняясь какому-либо земному чувству, но, видимо, под наплывом иного, высшего, благоговейного, охватившего и ее саму в эту минуту... Но все-таки она остановилась и молчала...

— Я слушаю... — тихо промолвил он.

Она медленно начала свой рассказ. Подробно останавливалась она на своих мечтах, разбившихся мечтах... воспроизвела свое свидание с Минкиной, вероломство Бахметьевой и письмо Настасьи, полученное ею вчера... Она ни одним словом, ни намеком не дала понять ему о своей прошлой, не только настоящей любви к нему, но он понял это душою в тоне ее исповеди и какое-то почти светлое, радостное чувство охватило все его существо.

— Мне теперь легко, я высказалась, я облегчила свою наболевшую душу, поклонитесь же мне, что ни одна живая душа не узнает врученной вам мною тайны... — заключила она и с мольбой посмотрела на него.

Он скорее почувствовал, нежели видел этот взгляд, так как все продолжал смотреть на отдаленный алтарь.

— Разве нужны для этого клятвы... — с чуть заметным сердечным упреком произнес он. — Но если это вас успокоит, клянусь!..

— Простите! — чуть слышно прошептала она.

Наступило продолжительное молчание.

— Что же вы намерены делать? — начал он, встав с колен.

— Что делать? — грустно повторила она. — Терпеть... ведь я не могу винить его, всякая другая на моем месте могла быть счастлива, но только не я, да ведь он совсем и не знал меня...

— Вашей чистой душе лучше знать это... — уклончиво заметил он. — Но знайте, Наталья Федоровна, что во мне вы найдете всегда искреннего друга, готового пожертвовать для вашего счастья и спокойствия самою жизнью. Я жил и живу только вами и для вас...

Он сказал эту почти банальную фразу таким торжественным, искренним тоном, что слова его проникли в ее душу и она невольно, почти моментально протянула ему руку. Он взял ее и

благословенно поцеловал.

— Пора! — сказала она почти с грустью. — Прощайте, вероятно, навсегда.

— Прощайте... да будет над нами воля Божья...

В его голосе слышались слезы. Он подал ей руку и проводил до экипажа.

По приезде домой, Наталья Федоровна узнала, что граф во время ее отсутствия вернулся из Грузина и, не раздеваясь, немедленно поскакал во дворец.

XXIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЙСК

Граф Алексей Андреевич Аракчеев был прав, заметив, если припомнит читатель, Екатерине Петровне Бахметьевой, что Зарудин опоздал со своей просьбой о переводе его в действующую армию, так как участие в союзнической войне со стороны России окончено и наши войска возвратились. Наивное возражение молодой девушки: «Значит, когда будет война» — тоже оказалось пророческим, так как Николаю Павловичу действительно не пришлось ждать долго объявления новой войны; но не будем забегать вперед, а сделаем краткий обзор положения России относительно западно-европейских держав в описываемый нами период.

После несчастной битвы под Аустерлицом, австрийский император Франц, как мы уже говорили, вступил с Наполеоном в переговоры о мире, перемирие было подписано 26 ноября 1805 года, а на другой день император Александр Павлович уехал в Петербург. Воображение его было чересчур потрясено ужасными сценами войны; как человек он радовался ее окончанию, но как монарх сказал перед отъездом следующую фразу, достойную великого венценосца:

— Я привел мою армию на помощь Австрии и отправлю ее назад, если австрийский монарх желает обойтись без моей помощи.[4]

Русское войско двинулось в Россию, Кутузов вел его через Венгрию и Галицию, и везде оно было встречено местным населением с радушием и гостеприимством; нередко даже весь корпус офицеров угощали без денег, а за больными русскими ухаживали, как за родными.

На пути присоединились к русской армии отставшие и затерявшиеся солдаты; кто приносил знамя, оторванное от древка, кто привозил длинными и непроходимыми дорогами спасенную от врагов пушку. Нельзя не упомянуть, кстати, о подвиге унтер-офицера азовского полка Старичкова. Во время полного разгрома колонны Прибышевского, он был сильно изранен, но перед самым пленом своим успел оторвать порученное ему знамя от древка и спрятать под своей одеждой. Находясь в плену и чувствуя приближение смерти, он передал свою тайну рядовому Чайке и заклинал его беречь знамя, как святыню, и возвратит полку, если Бог приведет ему вернуться из плена. Чайка исполнил поручение.

Когда гвардейские полки прибыли в Петербург и подошли церемониальным маршем к Зимнему дворцу, все офицеры получили в награду за поход третное жалованье, а солдаты по рублю; конногвардейскому полку, как отбившему французское знамя в битве, пожалован георгиевский штандарт. Георгиевские кресты были даны великому князю Константину Павловичу, Багратиону, Милорадовичу, Дохтурову и другим генералам. Кутузов за все время похода получил Владимира I степени и фрейлинский вензель для дочери.

Аустерлицкая победа и пресбургский мир, унизившие Австрию, сделали Наполеона еще высокомернее. Стараясь поработить Германию и Италию, он сделал братьев своих королями: Иосифа — неаполитанским, Людовика — голландским, а другим своим родственникам и даже маршалам роздал во владение мелкие графства, княжества и баронства, образованные из захваченных у соседей земель; затем из Баварии, Вертемберга, Бадена, Гессен-Дармштадта и других германских земель устроил так называемый Рейнский союз, которому подчинил все мелкие германские земли («медиатизовал» их), чтобы самому под именем протектора (protecteur de la confederation du Rhin) распоряжаться их вооруженными силами. Государства Рейнского союза должны были выставлять для него более 60 000 войска. С Германией он более не церемонился и на регенсбургском сейме объявил решительно, что не признает более существования германской римской империи. Франц должен был сложить с себя титул императора священной римской империи.

Во время войны союзников с Наполеоном Пруссия держалась нейтралитета, и хотя общественное мнение было за войну, а войско ненавидело Наполеона, осторожный и малодушный король Фридрих Вильгельм держал себя робко и употреблял все средства, чтобы отклонить разрыв с сильным завоевателем. Страна ровная, с открытыми границами со всех сторон, Пруссия не представляла даже в середине таких преград, за которыми после уничтожения армии, можно было укрыться на время и организовать народное восстание, к тому же французская армия была почти у границ Пруссии и Наполеону не нужно было в войне с нею побеждать даже расстояния. Несмотря на все это, нерешительность короля была побеждена, когда Наполеон нанес Пруссии сильнейшее оскорбление: заняв некоторые ее земли, он объявил, что желает отдать Ганновер Англии. Начиная готовиться к войне, Фридрих-Вильгельм обратился за помощью к другу своему императору Александру, и когда тот, отвечая ему, «что не только союзник пребудет верен своему союзнику, но и друг явится в числе многочисленной и отличной армии на помощь своему другу», король объявил Наполеону войну.

XXIV

ПОРАЖЕНИЕ ПРУССИИ

Минута объявления войны Наполеону со стороны Пруссии, казалось, была самая благоприятная, так как необыкновенное оживление охватило все прусское общество. Пылкий принц Людовик, симпатичная королева не уезжали из лагеря; профессора на кафедрах, поэты в стихах призывали народ к оружию и даже философ Фихте в речах своих к германскому народу просил как милости принять его в ряды прусской армии.

Несмотря на это патриотическое возбуждение, с первого взгляда на силы Пруссии можно было видеть, что она проиграет. Действительно, что могла выставить она против 200 000 превосходной и закаленной в боях армии Наполеона?

Пруссия могла выставить только 150 000 человек, считая в этом числе 20 000 саксонцев; и эти солдаты не воевали со времен Фридриха Великого, были одеты в неуклюжие мундиры, делавшие их удивительно неповоротливыми, не имели шинелей, на головах носили косы и употребляли пудру; стреляли дурно; к тому же все главные начальники и генералы были люди старые, например, главнокомандующему, герцогу Брауншвейгскому было 71 год, а принцу Гогенлоэ и Блюхеру более 60 лет; кто-то сосчитал года 19 генералов магдебургского округа, и в сумме получилось 1 300 лет.[5]

Гордые преданиями, эти старинные тактики не хотели допустить никаких нововведений в военном искусстве и твердо держались правил Семилетней войны. Лазаретов и магазинов в

армии было мало, а между тем, обозы с ненужными вещами генералов и офицеров затрудняли движение армии; редкий из офицеров имел одну лошадь; один офицер возил с собой фортепьяно, другой не мог обойтись без французенки. Такая-то армия с криками «побьем французов» выступила в поход.

Семидесятитысячный корпус герцога Брауншвейгского пошел из Магдебурга на Веймар и Эрфурт, другой корпус, под начальством принца Гогенлоэ, пошел на Саксонию, взяв здесь 20 000 саксонцев и отправился через Эйзенах до конца Тюрингенского леса, чтобы увлечь также курфюрста Гессен-Кассельского.

Наполеон со свойственною ему быстротою и с огромными силами отрезал прусскую армию от Берлина и в двух сражениях при Иене и Ауерштадте разбил ее наголову. Последнюю битву можно бы назвать по справедливости бойнею. Прусскими войсками овладел панический страх: целые дивизии без выстрела бросали оружие, и сильные крепости сдавались французским гусарам. По следам разбитых и отступавших в беспорядке прусских отрядов Наполеон двинулся к Берлину и занял его. Здесь он потребовал от всех чиновников и служащих, чтобы они присягнули ему на верность службы, а вскоре особым декретом обложил Пруссию и ее германских союзников чрезвычайной контрибуцией в 159 миллионов франков.

Прусский король, потерявший столицу, большую часть королевства, лишенный армии и лучших крепостей, находился в это время в Кюстрине и здесь, рассчитывая на помощь императора Александра, отказался от мира, предложенного ему Наполеоном.

Тогда последний, раньше подстрекавший патриотизм поляков, быстро двинулся на Познань, где польские патриоты, мечтавшие о восстановлении королевства, встретили его с особенным восторгом. На Висле он объявил армии о начале войны с Россией.

Таким образом, Россия, только что окончившая войну с Наполеоном в союзе с Австриею, должна была начать ее снова.

16 ноября 1806 года Наполеону была объявлена война. Все французы, не желавшие принять русское подданство, были высланы за границу, с Францией прекращены торговые сношения.

Еще по возвращении русской армии после Аустерлицкого разгрома зимой начались преобразования по военной части; императору Александру Павловичу хотелось сейчас же привести наши боевые силы в такое положение, которое допускало бы сопротивление Наполеону. Одним из главных и усердных его помощников в этом деле был граф Алексей Андреевич Аракчеев, и, кроме того, с этой целью, под личным председательством его величества, был составлен военный совет из фельдмаршалов: графа Салтыкова и графа Каменского, военного министра Вязмитинова, генералов Кутузова, Сухтелена и других. Графа Аракчеева среди них не было, он стоял особняком, так как вообще не одобрял никаких коллегиальных учреждений.

Совет обязан был приискать средства к удобнейшему и скорейшему формированию войска и начертать план военных действий на случай войны с теми государствами, от которых ее можно было по разным обстоятельствам ожидать. В это же время начались деятельные приготовления к войне. Сделано было два рекрутских набора: один по четыре, другой по одной человеку с пятисот душ, и оба с уменьшенной мерой роста рекрут; сформировано 29 полков; артиллерия пополнена и преобразована — это было дело уже исключительно графа Аракчеева; усилена выделка оружия, заведены магазины, собраны фуры, возы и прочее.

По объявлении войны, когда сделаны были военные распоряжения и русские войска двинулись к прусской границе, вдруг получено было известие о полном поражении Пруссии. Обстоятельство, неприятное само по себе, было для нас тем более неприятным, что придавало делу другой оборот. Не отказываясь от войны с Наполеоном, русские из

союзников должны были обратиться в главных деятелей, и вместо того, чтобы прогнать Наполеона за Рейн, должны были заботиться о защите своих собственных границ.

XXV

ТАЙНА ЛЮБВИ

Ряд нравственных потрясений, обрушившихся на несчастного Николая Павловича Зарудина со дня злополучного свидания его с Натальей Федоровной на б линии Васильевского острова до получения им рокового пригласительного билета на свадьбу графа Аракчеева, довели его, как мы уже знаем, до неудавшегося, к счастью, покушения на самоубийство и разбили вконец его и без того хрупкий и нервный, унаследованный от матери организм.

В ту же ночь, следовавшую за днем катастрофы, после отъезда спасшего ему жизнь Кудрина с Николаем Павловичем сделался страшный жар, и он начал метаться в горячечном бреду.

Призванные доктора констатировали начало сильнейшей нервной горячки. Около двух месяцев пролежал в постели Зарудин, так как после благополучно разрешившегося кризиса восстановление сил шло очень медленно по вине самого больного, продолжавшего находиться в угнетенном состоянии духа.

«Нет худа без добра», говорит русская пословица. Оправдалась она и в данном случае: болезнь Николая Павловича оказалась очень кстати, она помогла скрыть его покушение на свою жизнь от начальства, так как за время ее от незначительного поранения виска не осталось и следа, хотя, как мы знаем из слов Бахметьевой, это не совсем осталось тайной для петербургского общества, и рассказ об этом с разными прикрасами довольно долго циркулировал в гвардейских полках и в великосветских гостиных, но затем о нем забыли, на сцену выступили другие злобы дня, главная из которых была предстоящая вновь война с Наполеоном, как бы предугаданная русским обществом и войском ранее, нежели она стала известна правительственным сферам.

Мы видели это из слов Кудрина, сказанных у постели раненого Николая Павловича.

Наконец, последний окончательно выздоровел и явился в свой полк, пунктуально и аккуратно, как и прежде стал исполнять свои обязанности, но сдержанный и до своей болезни относительно большинства своих товарищей, он стал теперь окончательно от них отдаляться, перестал бывать в обществе и сидел дома, погруженный в чтение или в свои горькие думы.

На него напала чисто болезненная меланхолия.

Его верный друг Андрей Павлович зорко следил за ним и один умел втянуть его в оживленную беседу по отвлеченным вопросам и осторожно, не давая ему заметить этого, поднимал упавший в нем дух.

Он не упрекал и не стыдил его, он даже, казалось, не замечал угнетенное положение его друга и в силу этого гораздо вернее приближался к цели, с особою чисто женскою нежностью и необычайным искусством вливая целительный бальзам утешения в душевные раны Зарудина.

Он не касался «тайны сердца» несчастного Николая Павловича, не требовал от него во имя дружбы, зачастую становящейся деспотической, откровенности в этом направлении, он, напротив, ловко лавировал, когда разговор касался тем, соприкасавшихся с недавно так

мучительно пережитым им прошлым. Николай Павлович хорошо понимал и высоко ценил эту сердечную деликатность своего друга, а потому не только не уклонялся от беседы с ним, но с истинным удовольствием проводил в этой беседе целые вечера.

Поступление в масоны было окончательно решено, и Зарудин деятельно и благоговейно под руководством Кудрина готовился к этому решительному шагу. Посвящение назначено было на октябрь месяц.

Не изменил Андрей Павлович своему деликатному отсутствию любопытства даже тогда, когда приехал к своему приятелю вечером того дня, в который состоялось неожиданное для обоих свидание Николая Павловича с графиней Аракчеевой, описанное нами в одной из предыдущих глав, хотя застал своего приятеля в исключительно возбужденном состоянии духа.

Таким он не видал его давно.

Действительно, это свидание на мистически настроенного Зарудина произвело отрадное впечатление, он был почему-то глубоко убежден, что оно, несмотря на последние слова Натальи Федоровны, далеко не последнее, он, проводив графиню, снова вернулся в церковь святого Лазаря и там горячо благодарил Бога за неизреченную благодать, явленную ему избранием его другом-охранителем несчастной, безумно любимой им женщины, он видел в этой встрече в храме доказательство именно этой воли Провидения. В его уме ни на одну секунду, при воспоминании об этой встрече, не появлялась мысль о Наталье Федоровне как о женщине, и это очищенное горнилом страданий чувство возвысило его в собственных глазах, доставляло ему чисто райское наслаждение и подтверждало запавшую в его голову мысль о его роли в жизни графини Аракчеевой.

Таким образом, цель его жизни была им наконец отыскана.

Мы увидим далее, что он не ошибался.

Кудрин пришел в этот вечер, как он сам выразился, с полным коробом новостей.

— Война будет объявлена очень скоро; если гвардия и останется в Петербурге, то тебе можно будет сейчас же просить о переводе в действующую армию; в этом, конечно, не откажут, я сам думаю сделать то же, нас с тобой не особенно жалует начальство и с удовольствием отпустит под французские пули, а там, там настоящая жизнь... Жизнь перед лицом смерти!.. — с одушевлением воскликнул Андрей Павлович.

Зарудин довольно хладнокровно принял известие о близком осуществлении его заветной мечты — вырваться из ненавистного ему Петербурга.

Кудрин удивленно и долго посмотрел на своего приятеля, но не выразил вслух своего удивления и продолжал:

— На днях ты будешь принят в ложу, а затем мы рука об руку как духовные братья пойдем смирать расходившегося европейского буяна, которому, сдается мне, суждено погибнуть от русской нагайки...

В конце концов восторженные, огненные речи друга возымели свое действие на Николая Павловича; в нем проснулся тот русский богатырь-солдат, который скрыт под тонким мундиром всякого честного офицера, и он с воодушевлением стал рисовать Андрею Павловичу картины их будущей бивачной жизни, заранее предвкушая сладость несомненной победы над «общеевропейским врагом», «палачом свободы», «насадителем военной тирании» Наполеоном, этим воплощенным зверем Апокалипсиса.

Зарудин далеко не был трусом, но при первых словах приятеля о предстоящей войне его вдруг неожиданно посетил страх смерти, не за себя, а за нее.

«Она лишится единственного друга...» — пронеслось у него в голове.

«Нет, я не буду убит... Бог не допустит этого».

Последнюю фразу подсказал ему какой-то внутренний голос.

Приятели пробеседовали далеко за полночь. Кудрин увидел, что друг его вдруг окончательно выздоровел. Он не старался доискаться причины этому — он только от души за него порадовался.

XXVI

КТО ВИНОВАТ?

Фраза, полная всепрощающей христианской любви и кротости, по отношению к ее мужу, сказанная Натальей Федоровной Аракчеевой Николаю Павловичу Зарудину в церкви святого Лазаря: «Ведь я не могу винить и его, всякая другая на моем месте могла быть счастлива, но только не я, да ведь он совсем и не знал меня», — была совершенно справедлива.

Трудно было найти два более противоположные существа, злосчастливым роком связанные между собою на всю жизнь, чем граф и графиня Аракчевы.

Говорят, что крайности сходятся, но в данном случае это было неприменимо, так как подобные союзы крайностей все-таки основаны на взаимных уступках, а в железном характере графа не было и не могло им быть места.

Быть может, он и сделал бы в этом отношении исключение для своей жены, но его ум не мог понять необходимости какого-либо послабления в супружеской жизни, этого прообраза монархического правления. Он был, кроме того, искренно убежден, что, женись на девице Хомутовой, сделав ее первой, после высочайших, дамой в империи, введя ее в высшие придворные сферы, окружив богатством, комфортом и роскошью, он доставил ей все, что могло составлять идеал женской доли и удовлетворять женскому честолюбию. Чего, на самом деле, не доставало ей? «Разве птичьего молока?» — с усмешкой думал он, замечая порой страдальческое, недовольное выражение лица молодой женщины в первые месяцы их супружества. Это выражение прямо оскорбляло его, раздражало и постепенно отдаляло от жены.

«Женской блажи», как называл он первые попытки вмешательства ее в его дела и приостановленную вовремя благотворительную деятельность графини, он не придавал ни малейшего значения.

«Блажит от скуки, с жиру бесится!» — решал он с присущей ему быстротою, хотя хорошо видел, что жиру, в буквальном смысле этого слова, не было и тени в исхудавшей после замужества Наталье Федоровне.

«И с чего ей скучать? — недоумевал он, всю свою жизнь не знавший скуки и считавший ее уделом лентяев и шаркунов. — Баба, а скучает!»

В применении ко всякой другой девушке тогдашних дворянских семей все эти рассуждения графа были бы совершенно правильны — каждая из них была бы счастлива судьбою жены

всемогущего Аракчеева, и недаром все маменьки и дочки с злобным завистливым ропотом встретили весть о замужестве Наташи Хомутовой, но, увы, для этой последней, воспитанницы m-lle Дюран, было мало наружного блеска, материального довольства, возможности исполнения дорогих капризов, ее стремления были иные, увы, неосуществимые.

Граф, действительно, совершенно не знал своей жены, он, впрочем, даже не понял бы, если бы кто взял на себя труд растолковать ему эти мечты и стремления; мужчину с подобными идеями он бы не потерпел около себя как опасного вольтерьянца, женщине же он прямо отказывал в возможности иметь такие мысли, как и в праве на скуку, что мы видели ранее.

«Что баба? Ее царство — кухня или бальная зала, ее дело — щи варить да языком чесать или рядиться да „шуры-муры“ строить, и коли в какое она дело замешается — пиши пропало, известно, там ум короток, где волос долог».

Под «шуры-муры» граф подразумевал светское кокетство.

Других горизонтов и не открывалось еще тогда для деятельности русской женщины, за единичными исключениями, а потому взгляд Алексея Андреевича был совершенно в духе его современников, и не его, конечно, можно винить в этом, если, скажем кстати, и в настоящее время вопрос о пресловутых женских нравах является очень и очень спорным.

Все это привело к быстрому охлаждению между супругами и даже почти полному отчуждению их друг от друга.

Графа раздражала апатичность Натальи Федоровны, он сознавал, что она чище, лучше его, что он все-таки виноват перед нею, и ему порой казалось, что она является воплощенным упреком его совести. В особенности он не мог выносить светлого взгляда ее чудных, страдальческих глаз.

— Точно она душу разглядывает! — ворчал он про себя, после беседы с женою.

Ее непорочность, покорность и безответность давили его.

Точно тяжелое бремя свалилось с его души, когда он узнал от Бахметьевой о романе Натальи Федоровны перед замужеством. Подруга не поскупилась на краски, а Алексей Андреевич наложил еще более теней.

«Спихнули дочку против воли, породниться со мной захотели! — думал он со злобой о стариках Хомутовых. — Тоже святошей прикидывается, а сама сохнет под кровлей законного мужа по любви к другому, чай, сбежала бы давно, кабы не страх да не стыд, который видно не весь потеряла... — продолжал он свои размышления уже по адресу своей жены. — Надо за нею глаз да глаз, недаром пословица молвится: „в тихом омуте черти водятся“».

Сознание вины перед Натальей Федоровной сменилось в сердце графа обвинением ее во всем, даже в его сближении с Минкиной и Бахметьевой, да кроме того в это же сердце змеей вползло чувство ревности, той мучительной ревности, которая является не результатом любви, а только самолюбия.

От графини не укрылось это изменение в отношении к ней ее мужа, но не в ее натуре было оправдываться, она считала себя выше взводимой на нее кем бы то ни было клеветы, тем более ее бывшей подругой, о чем она тотчас же догадалась.

— С кем это вы изволили сегодня прогуливаться по кладбищу?.. — глядя на нее в упор, спросил вернувшийся из дворца граф за вечерним чаем, когда они остались с глазу на глаз.

Графиня вспыхнула, она поняла, что окружена шпионами, но не потупила глаз и спокойно

ответила:

— Я случайно встретила с сыном друга моего покойного отца Николаем Павловичем Зарудиным...

— Гм!.. — прогнусил Алексей Андреевич.

— Я бы попросил вас по возможности избегать подобных случайностей! — добавил он после некоторой паузы, сделав весьма красноречивое ударение на последнем слове.

Наталья Федоровна промолчала. Граф вскоре ушел к себе в кабинет.

Мучительно потянулась однообразная жизнь молодой женщины. Начался зимний сезон, но и в шумных великосветских петербургских гостиных, среди расфранченной толпы, она чувствовала себя настолько же одинокой и несчастной, как и у себя дома, вечно под подозрительным, почти враждебным взглядом своего сурового мужа. Зарудина она не встречала нигде.

Наталья Федоровна положительно изнемогала под непосильным бременем этой жизни, полной светских сплетен, мелких дрязг, интриг и нравственной грязи. Она находилась в положении цветка без почвы, рыбы без воды, она буквально задыхалась от отсутствия малейшей струи свежего воздуха.

Чаша человеческого терпения готова была переполниться; недоставало только одной капли. Ожидать ее пришлось не особенно долго.

XXVII

В СЛУЖЕБНОМ ОСЛЕПЛЕНИИ

Семейный разлад, все более и более обострявшийся, казалось, не замечался графом Алексеем Андреевичем, жившим исключительно государственною жизнью и считавшим и дом свой только частью той государственной машины, управление которой ему вверено Высочайшею властью.

Страсть к строгому порядку и дисциплине с расчетливостью составляли исключительную заботу Аракчеева по службе и в жизни домашней. Село Грузино, где сосредоточены памятники доверенности и благодеяний императоров Павла и Александра, походило более на военную колонию, чем на имение помещика, даже в то время, когда он сошел уже с поприща государственного. Как в Петербурге, так и там, он был строг и взыскателен по службе, точно также не извинял ни одного упущения и беспорядка, где бы он ни появлялся, и всякая вина была в его глазах виною неизвинительною.

«Где нет суровости, там нет службы», было его любимым изречением, а служба была его жизнью.

К тому же он был человеком, скрывавшим от самых близких ему людей свои мысли и предположения и не допускавшим себя до откровенной с кем-либо беседы. Это происходило, быть может, и от гордости, так как он одному себе обязан был своим положением, но граф не высказывал ее так, как другие. Пошлого чванства в нем не было. Он понимал, что пышность ему не к лицу, а потому вел жизнь домоседа и в будничной своей жизни не гнался за праздничными эффектами. Это был «военный схимник среди блестящих собраний двора».

Масса государственных дел положительно отнимала у него все время, совершенно поглощала его и не давала возможности, даже при желании, следить за внутреннею жизнью близких ему людей, а быть может он и не подозревал о существовании такой жизни.

В 1803 году император Александр Павлович сделал его инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона, но, кроме того, он постоянно призывал его к себе для советов, и все главнейшие дела государственного управления, не исключая и дел духовных, рассматривались и приготавливались при участии графа Аракчеева.

Естественно, что при таких усиленных и разносторонних занятиях, поглощавших дни и часть ночей графа Алексея Андреевича, он, весь отдавшись исполнению священного долга служения государю и отечеству, в своем служебном ослеплении и не подозревал нравственных страданий своей молодой жены.

Если мы припомним к тому же его взгляд на женщин вообще и его отношение к ним, то нам станет совершенно ясна возможность того, что совершавшаяся в его доме глухая, скрытая житейская драма прошла для него совершенно незамеченною.

Весь строй его домашней жизни продолжал оставаться по своей внешности в той же заранее строго определенной им форме, всюду царил образцовый порядок, все исполняли возложенные на них обязанности, в приемные дни и часы гостиные графини были полны визитерами, принимаемыми по выбору графа, графиня аккуратно отвечала на визиты — все, следовательно, обстояло, по мнению Алексея Андреевича, совершенно благополучно.

Чего же ему надо было желать, до чего допытываться, да и где было найти для этого время?

XXVIII

У ПОСТЕЛИ УМИРАЮЩЕЙ

— Ну, что и как? — встретил тревожным вопросом Сергей Дмитриевич Талицкий свою кухню, вернувшуюся из Грузина. Он знал также, что она оставалась там одна, без графини, приехавшей в Петербург к умирающему отцу.

Екатерина Петровна как бы нехотя удовлетворила его любопытство.

— Вот и прекрасно, молодец!.. — одобрительно воскликнул он.

— Я все же виновата перед Талечкой, она была ко мне так добра, — как бы про себя проговорила она.

— Ну, это пустяки, сентименты... — пренебрежительно отозвался он. — Поговорим лучше о деле... Старухе-то скоро капут...

— Какой старухе? — не поняла Екатерина Петровна.

— Какой, известно какой, твоей матери; очень она плоха стала последние дни, третьего дня уже ее соборовали и причащали, лежит теперь без памяти второй день, доктор говорит, что каждую минуту надо ожидать конца...

Бахметьева побледнела.

В ее душе шевельнулось нечто вроде угрызения совести. Жалость к матери, всю жизнь

боготворившей ее, здоровье и самую жизнь которой она принесла в жертву греховной любви к сидевшему против нее человеку, приковавшему ее теперь к себе неразрывными цепями общего преступления — на мгновение поднялась в ее зачерствавшем для родственной любви сердце, и она почти враждебно, с нескрываемой ненавистью посмотрела на Талицкого.

Он не заметил этого взгляда.

— Почему же ты меня не уведомил?.. — упавшим голосом спросила она.

— К чему, помочь ей ты не могла, так зачем же было тебя по пустякам отрывать от серьезного дела... — с циничным спокойствием ответил он.

— По пустякам... Смерть моей матери, по-твоему, пустяки... — простонала она.

— Всякая смерть пустяки, а если она приходит в старости, то тем более, не два же века жить было старухе, пора и на покой...

Екатерина Петровна не выдержала и зарыдала. Сергей Дмитриевич вскочил со стула и стал быстрыми шагами ходить по комнате, проворчав довольно громко:

— Разнюнилась!

Бахметьева не слыхала этого замечания и продолжала плакать.

Первою ее мыслью было броситься к постели больной матери, но почти панически обуявший ее страх остановил и как бы приковал ее к креслу. Вся вина ее перед этой, там, за несколько комнат лежащей умирающей женщиной, готовящейся ежеминутно предстать на суд Всевышнего, Всеведующего, Всемиловитвейшего судьи и принести ему повесть о ее земных страданиях, главною причиною которых была ее родная дочь, любимая ею всею силою ее материнской любви, страшной картиной восстала перед духовным взором молодой Бахметьевой, а наряду с тем восстали и картины ее позора и глубокого безвозвратного падения.

Слезы неудержимым градом лились из ее очей.

Ее привел в себя резкий голос Талицкого.

— Если ты сейчас не перестанешь реветь, как корова, то я уйду и только ты меня и видела. Ты знаешь, я этого не люблю, слезы не внушали мне никогда чувства жалости, напротив, они всегда бесили и злили меня, бесят и злят и теперь... Если я не уйду, то не ручаюсь, что я исколочу тебя... Плачут только бесхарактерные, слабые люди, а они не стоят ни сожаления, ни пощады... Ты знала, на что шла, сходясь со мной, смерть матери входила в наши расчеты, она умирает вовремя, иначе она связала бы наши руки. Чего же плакать? С этой дороги, по которой ты пошла со мной, поворота нет.

Молодая девушка расслышала только последние слова своего страшного руководителя.

Они ударили ее, как обухом по голове. Она быстро отерла слезы.

— Ты прав, сняв голову, по волосам не плачут, — заметила она почти спокойным голосом, но при этом окинула Сергея Дмитриевича таким взглядом, полной непримиримой ненависти и бессильной злобы, каким арестант глядит на своего тюремщика, или дикий зверь на своего властного укротителя.

От него не ускользнул этот взгляд, но он только презрительно усмехнулся.

— Умные речи приятно слушать! — сквозь зубы заметил он. Несколько минут оба молчали.

— После смерти матери ты выдашь мне верящее письмо на управление всеми своими делами и домом, и именем, квартиру нашу мы разделим, и я займу заднюю половину, мы с тобой, таким образом, не будем расставаться, в глазах же света будет весьма естественно, что ты как девушка не можешь жить одна и пригласила к себе своего ближайшего родственника.

Она слушала его безучастно, она понимала, что он не советовался с ней, а только излагал свои окончательные решения.

— Что же ты молчишь, разве ты не одобряешь этого плана? — спросил он все-таки ее, видимо, для проформы.

— Делай, как знаешь, я во всем полагаюсь на тебя... одной, конечно, мне жить неудобно.

— Значит, это решено, мне пора, а ты иди к матери, но только не плачь, слезы не помогут, она все равно их не увидит, да и едва ли узнает тебя.

Он взял шляпу и вышел.

Все сказанное им о состоянии здоровья старухи Бахметьевой оказалось вполне справедливым. Мавра Сергеевна была совершенно без памяти, она вела себя бессознательным взглядом своих полузакрытых глаз и слабо стонала.

В комнате при больной, пригорюнившись, сидела на сундуке старая нянька Екатерины Петровны Акулина. Она неотлучно ухаживала за своей больной барыней и благодетельницей, хотя слабые силы старушки подламывались от проводимых ею бессонных ночей.

Она и теперь, сидя, вздремнула.

Молодая девушка опустилась на колени перед постелью матери и горько, искренне заплакала.

Умиравшая не узнала ее и даже, видимо, не обратила внимания на ее присутствие у постели.

Плач Екатерины Петровны потревожил лишь дремоту Акулины; последняя вздрогнула, отерла глаза и зевнула, три раза перекрестив свой беззубый рот.

Несколько минут она молча смотрела на свою воспитанницу.

— Чего реवेशь белугой, матери спокойно и умереть не даешь, сама во гроб вогнала сердечную, а теперь ишь заливаешься... — сердито молвила старуха.

— Прости, Господи, мое великое согрешение! — добавила она.

Екатерина Петровна быстро встала с колен и, повернувшись лицом к няньке, поглядела на нее широко раскрытыми глазами.

— Чего глазища-то на меня свои уставила, за правду рассердилась, непутевая... Мать при смерти лежит, а она невесть где по чужим людям слоняется... домой вернулась, чем бы прямо к матери, она с этим охальником, прости Господи, шуры-муры разводит, бесстыжая.

— Да как ты смеешь... — с какой-то дрожью в голосе вскрикнула Екатерина Петровна и сделала несколько шагов по направлению к Акулине.

— Чего сметь-то... правду-то тебе в глаза сказать, завсегда скажу, не закажешь... — невозмутимо продолжала старуха, не трогаясь с места. — Ударить думаешь, так бей, убей, пожалуй, как вон и ее убила.

Старуха вся выпрямилась и торжественным жестом указала на умирающую.

Екатерина Петровна отступила.

— Чего пятишься... бей!.. — продолжала Акулина. — Тебе что... все равно ты... проклятая!

Бахметьева вспыхнула.

— Погоди, уж, я с тобой на конюшне велю расправиться... — глухо проворчала она и вышла, так сильно хлопнув дверью, что даже умирающая испуганно повела взором в сторону ушедшей.

Старуха стремительно бросилась к постели, но больная по-прежнему была без всякого сознания.

— На конюшню... — ворчала Акулина, — молода старых людей на конюшне учить, тебя бы вот так поучить следовало с твоим любовником.

Между тем, Екатерина Петровна вошла к себе в комнату и бросилась, совершенно разбитая нравственно и физически, в кресло.

«Проклятая... — неслось в ее голове. — Действительно, я проклятая, Акулина права, с избранной мною дороги поворота нет! — припомнились ей слова Талицкого. — И он прав! — подумала она. — Значит, надо идти вперед, рука об руку с ним, только с ним, так как он один и остался около меня».

Недавнее, мгновенно посетившее ее, раскаяние, при известии об опасной болезни матери, так же мгновенно было заглушено опрометчивыми словами старой няньки, и прежняя эгоистическая злоба стала царить в ее уже теперь вконец испорченном сердце, в котором потухла последняя тлевшаяся в его глубине искра добра.

С хладнокровием и спокойствием, достойными лучшего применения, присутствовала Бахметьева на похоронах своей матери, умершей через два дня после возвращения Екатерины Петровны из Грузина.

Отпевание и погребение тела покойной происходило на Смоленском кладбище.

Злобным взглядом проводила издали Бахметьева графиню Наталью Федоровну Аракчееву и ее мать Дарью Алексеевну Хомутову, садившихся в экипаж после погребения Мавры Сергеевны, но ни за обедней, ни после нее не подошедших к искусно притворившейся убитой горем дочери покойной, во все время похорон поддерживаемой ее троюродным братом.

— Чего тебя корчит? — злобно шептал он ей по временам. — Все ты мне руки оттянула.

Но она не унималась и то и дело впадала в притворные обмороки.

— Покажу я вам себя, покажу... — прошептала она по адресу уехавших дам.

Вскоре после похорон старухи Бахметьевой, в доме начались переделки, квартира была разделена на две совершенно отдельные половины, большую из которых заняла Екатерина Петровна, а меньшую, заднюю, Сергей Дмитриевич, облеченный полным доверием молодой помещицы и домовладелицы.

Старуха Акулина, конечно, избегла конюшни, но, к великому удовольствию ее бывшей воспитанницы, отпросилась на богомолье по святым местам, на что и получила тотчас согласие барышни.

Последняя даже не спросила, когда она думает воротиться. Присутствие, хотя совершенно безмолвной после сцены в спальне, старой няньки было очень тяжело Екатерине Петровне. Она была очень рада от нее отделаться, не возбуждая нарекания знакомых...

Барышня предложила ей на дорогу денег, но Акулина отказалась.

— Как же ты пойдешь без денег? — с недоумением спросила Екатерина Петровна.

— А Христос-то на что? Весь мир обойду Его именем... — степенно отвечала старуха.

XXIX

БЕЗ МАТЕРИ

Образ действий Дарьи Алексеевны Хомутовой и графини Аракчеевой по отношению к молодой Бахметьевой не остался без подражателей среди знакомых Екатерины Петровны. Все они постепенно отшатнулись от нее вскоре после похорон ее матери и в особенности, когда слух о том, что она будет жить под одной кровлей со своим «кузеном» Талицким, пользовавшимся весьма нелестной репутацией, подтвердился на деле.

Переделка квартиры не принесла результатов, предсказанных Сергеем Дмитриевичем, и никого не убедила в чистоте отношений этих «родственников». «Шила в мешке не утаишь», — говорит русская пословица, в данном случае блистательно подтвердившаяся. Сплетня о Бахметьевой и Талицком росла, как снежный ком, среди обитателей Васильевского острова, и даже проникла в «город», как называли в то время центральную часть Петербурга. Сергей Дмитриевич, впрочем, не особенно дорожил честным именем своей кухни и даже под влиянием Бахуса, нередко среди пьяной компании своих товарищей-собутельников хвастался этой связью.

Ему, впрочем, терять было нечего. Принужденный выйти в отставку за растрату казенных денег, пополненных офицерами, он безвозвратно испортил свою карьеру и всецело предался своей страсти к вину и картам. Игру он вел довольно счастливо и даже, как поговаривали, не особенно чисто, а недостатка в партнерах в то время не было, как и недостатка в домах, где можно было поесть и попить на даровщинку.

Понятно, что подобный общественный строй порождал массу прихлебателей, лизоблюдов, бездельников и шулеров; к категории этих общественных паразитов принадлежал и Сергей Дмитриевич Талицкий.

В долгу, как в шелку, он вечно нуждался в деньгах, кредит же почти исчез после того, как он принужден был снять военный мундир, имевший большое значение в глазах и поставщиков, и ростовщиков того времени. Бесконтрольное и безотчетное распоряжение хотя и незначительным состоянием его кухни было ему на руку; он, что называется, оперился и пошел чертить, так что домой не появлялся подчас по несколько дней.

Екатерина Петровна по целым дням сидела совершенно одна; злобная тоска грызла ее, она срывала свою злость на своих крепостных служанках и на возвращавшемся «кузене». От последнего, впрочем, всегда получала энергичный отпор, и их ссоры оканчивались тем, что молодая девушка чуть не на коленях вымаливала себе прощенья и ласку. По странному

свойству ее чисто животной природы, грубость и даже побои Талицкого — случалось и это — все более и более укрепляли ее чисто собачью к нему привязанность.

Казалось, этим путем женского унижения добытые ею ласки были для нее приятней и слаще, казалось, она и затевала ссоры для того, чтобы потом молить о прощении и примирении.

Кто разгадает эту мировую загадку, которая называется женщиной?

Вскоре, впрочем, некоторые из отшатнувшихся от нее знакомых вернулись и у нее образовался свой кружок, внесший в ее жизнь некоторое разнообразие.

Этим она была обязана графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Первые визиты были сделаны к Бахметьевой на другой же день после того, как коляска могущественного графа довольно долго простояла у подъезда ее квартиры.

Посещения графа были хотя редки — он отговаривался делами — но все же приятно щекотали самолюбие Екатерины Петровны, и сладость этой связи для нее увеличилась еще тем, что ей казалось, что она мстила ее бывшей подруге Талечке и старухе Хомутовой, поведение которых на похоронах ее матери она не могла ни забыть, ни простить.

В силу этого же она продолжала настойчиво лелеять в своей тщеславной голове мысль сделаться в будущем графиней Аракчеевой.

Каким образом это случится, она не знала, но на возможности осуществления этой идеи продолжал настаивать Сергей Дмитриевич, и она ему верила, главным образом потому, что хотела верить, так как в подробности его плана он ее еще не посвящал.

Он, если говорить откровенно, и сам еще не создавал никакого плана, ему надо было занять чем-нибудь ум скучающей девушки, отвлечь ее от матери, всецело привязав к себе, чего он и достиг, играя на слабой струне ее мелкого тщеславия и не менее мелкой зависти к счастью, выпавшему на долю Талечки Хомутовой. Кроме того, он полагал, что сблизив ее с Аракчеевым, он может через нее исправить свою карьеру, получить хорошее место, но, увы, ошибся в этом, так как Алексей Андреевич наотрез отказал Екатерине Петровне при первой попытке ее протезировать своему родственнику.

— У меня есть правило, никогда не определять на службу тех, за кого просят женщины... — прогнусил ей в ответ Аракчеев, когда она чрезвычайно осторожно начала разговор о вышедшем в отставку и находящемся без места ее родственнике.

Граф, впрочем, не оставался совершенно глух к ее просьбе и, видимо, приказал собрать справки о Талицком.

— Уж и хорош молодец, твой родственник... не советовал бы я не только хлопотать за него, а и знаться с ним, его повесить мало... — заметил ей Алексей Андреевич при следующем посещении.

Он, понятно, не только не знал их отношений, но и того, что этот, родственник живет в ее доме, так как Сергей Дмитриевич избегал встречи с могущественным обожателем своей кухни.

Екатерина Петровна передала ему отзыв о нем графа.

Талицкий злобно заскрежетал зубами.

— Погоди же ты, дуболом неотесанный, солдафон, кто кого!.. Меня-то тебе повесить не удастся, а вот я тебе повешу на шею кузинушку, и будет тебе это хуже всякой петли...

Но и после этого Сергей Дмитриевич не позаботился о плане дальнейших действий, надеясь на случай, тем более, что ему было не до того. Он только что продал без ведома Бахметьевой ее маленькое имение, и в его кармане были деньги, а с деньгами разве думают о делах?

Сергей Дмитриевич, по крайней мере, решал этот вопрос отрицательно.

Екатерину Петровну он успокаивал общими фразами.

— Говорю, будешь графиней, значит, будешь, спешить не надо, можно все дело испортить, поспешишь, людей насмешишь, необходимо, чтобы он к тебе привык, привязался... Надо подождать...

И Бахметьева ждала.

Время, между тем, шло и обстоятельства складывались для нее, по-видимому, очень благоприятно.

Часть третья

СВОИМ СУДОМ

I

АДСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

В то время, когда в доме графа Аракчеева разыгрывалась глухая драма скрытых страданий его молодой жены, задрапированная блеском и наружным деланным счастьем и довольством беспечной светской жизни, в то время, когда на Васильевском острове, в доме Бахметьевой, зрело зерно другой светской драмы будущего, село Грузино служило театром иной грубой, откровенной по своему цинизму, кровавой по своему исполнению, возмутительной драмы, главными действующими лицами которой были знакомые нам Настасья Минкина, Агафониха, Егор Егорович и Глаша.

Прошла уже неделя после окончательного отъезда из Грузина графа Алексея Андреевича, а в нем, между тем, продолжала царить, как и летом, «тишь, гладь и Божья благодать». «Тишина перед бурей», — догадывались некоторые скептики из дворовых.

Настасья Федоровна, казалось, совсем изменилась и ходила такая тихая, добрая да ласковая.

Все окружающие диву давались, смотря на нее, и даже в сердце Егора Егоровича запала надежда на возможность объяснения с присмирившей домоправительницей, на освобождение его, с ее согласия, от тягостной для него связи и на брак с Глашей, которая через несколько месяцев должна была сделаться матерью и пока тщательно скрывала свое положение, что, к счастью для нее, было еще возможно.

Не ускользнуло, впрочем, это положение от зоркой и опытной Агафонихи, которая не преминула доложить своей благодетельнице Настасье Федоровне.

К удивлению старухи, та приняла известие довольно равнодушно.

— Знаю, — сказала она, — все знаю.

Агафониha замолчала.

Она, по своему ежедневному обыкновению, сидела у кровати отходившей ко сну Минкиной и занимала ее грузинскими сплетнями.

— Жаль Павлушку, парень первый сорт и как по ней, непутевой, убивается, — после некоторой паузы начала Агафониha.

— Какого Павлушку?

— Конюха, чернявый такой, парень непьющий, обстоятельный...

— Знаю, что ж?

— Да вот и говорю я, очень он по Глашке этой самой убивается, сколько разов ко мне на поклон приходил.

— К тебе, зачем?

— Приворожи, говорит, бабушка, век твоим холопом буду, совсем я по ней измаялся, да и по лицу видно, исхудал, глаза горят, как уголья; я ему, грешным делом, давала снадобья, да не помогают, вишь, потому все туча тучей ходит.

— Да разве есть такие приворотные зелья? — со смехом спросила Минкина.

— Коли правду сказывать, благодетельница, — своим беззубым ртом в свою очередь усмехнулась Агафониha, — настоящих нет, только людей морочим, а бывает удается, так случается. Конечно, есть одно снадобье, если его в питье положить да дать испить девице или бабе...

Агафониha наклонилась к уху Минкиной и что-то зашептала.

— Только в здоровьи большой изъян от него делается, — продолжала она вслух, — трех дней после того человек не выживает, потому и дать его — грех на душу большой взять надо, все равно, что убийство... Баба-то делается совсем шалая, в умопомрачении, видела я однорядь еще в своей деревне, одна тоже девка на другой день после этого снадобья Богу душу отдала... Говорю, что все равно, что убийство, грех, большой грех.

У Настасьи Федоровны блеснула мысль.

— Ты о грехе не толкуй, старая, — с усмешкой заметила она, — не первый он, чай, на твоей душе и не последний, так один не в счет... У тебя снадобье-то есть?

— А вам зачем, благодетельница? — вздрогнула старуха и уставила на лежащую Минкину свои слезящиеся глаза.

— Надобно, значит, коли спрашиваю, — с сердцем крикнула Настасья Федоровна и даже привскочила на постели.

Старуха присмирела и потупилась.

— Есть, спрашиваю?

— Есть, благодетельница, есть!

— Угости-ка завтра по вечеру Глашку в людской чайком с этим снадобьем, да и Павлушку настрой.

— Благодетельница, да ведь у ней под сердцем ребеночек, — почти взмолилась старуха.

— Молчать, исполняй, как приказывают, а то, знаешь меня, со света сживу! — вся красная от прилива злобы воскликнула Минкина.

Агафониha молчала, низко опустив голову.

Настасья Федоровна несколько успокоилась и через минуту начала другим тоном.

— Не ожидала я от тебя этого, Агафониha, чтобы ты мне так супротивничала, или ты недовольна мной, или мало награждала я тебя за службу твою верную, не поскуплюсь я, коли исполнишь, что приказываю, вот и задаточек.

Минкина вынула из ящичка, стоявшего у постели шкафчика, крупную ассигнацию и протянула ее сидевшей с поникшею головою старухе.

Последняя подняла голову. При виде денег глаза ее засверкали алчностью, она вздрогнула, выпрямилась и быстро схватила ее своей костлявой рукою.

— Будет исполнено, благодетельница!

— Так-то лучше, — с усмешкой заметила Настасья, — а то, что задумала, со мною ссориться, не советую.

Последние слова она снова сказала угрожающим тоном. Далеко за полночь перешептывались две сообщницы о подробностях гнусного их плана.

II

ИЗМЕНА ГЛАШИ

Тихо наступил и прошел следующий день. Был уже поздний вечер. Настасья Федоровна в своем флигеле угощала Егора Егоровича, позванного для обсуждения хозяйственных дел. Вся прислуга по обыкновению была отпущена.

Хозяйка была тиха, приветлива и ласкова. Воскресенский уже подумывал воспользоваться ее настроением и начать разговор на тему, к которой он так долго и так мучительно готовился.

Вдруг в соседней комнате послышался старческий кашель.

Глаза Минкиной засверкали злобною радостью.

— Агафониху принесло не вовремя! — заметила она деланно равнодушным тоном и, встав из-за стола, подошла к окну.

— Вечер-то какой распречудесный, не пройтись ли нам по селу, Егорушка? — ласково сказала она.

Октябрьский вечер был действительно великолепен; в природе царила какая-то особенная ясность и тишина, полная луна обливала всю землю своим молочным светом.

«Вот и хорошо, без помехи поговорю с ней во время прогулки!» — пронеслось в голове Егора Егоровича.

— Пройдемтесь! — покорно ответил он ей.

Старческий кашель за стеной продолжался.

Настасья Федоровна быстро оделась и вышла вместе с Егором Егоровичем.

Проходя мимо людской и тянувшихся за ней сараев, чтобы выйти на село через боковые ворота, Минкина вдруг остановилась и стала внимательно прислушиваться.

В крайнем из сараев, дверь которого была не на замке и он служил складочным местом для пожитков графской дворни, слышался какой-то странный шепот и стон.

Егор Егорович тоже насторожился, но не успел дать себе ясного отчета, откуда именно слышатся эти странные звуки, как его спутница быстро распахнула дверь сарая. Луна осветила его внутренность и глазам присутствовавших представилась картина нарушенного, несомненно преступного свидания.

Из сарая выскочила Глаша в растерзанном платье, с растрепанными волосами, с горящими каким-то демоническим блеском глазами и растерянно остановилась на пороге.

Вслед за ней показалась и быстро скользнула по освещенной, луною стене сарая испуганная фигура, мгновенно скрывшаяся за постройками.

— И с кем это она, непутевая, тут якшается? — невинным тоном воскликнула Настасья Федоровна.

— Егорушка! — бросилась на шею к Воскресенскому, видимо, обезумевшая девушка.

— Прочь, гадина! — с силой оттолкнул он ее от себя.

Несчастливая Глаша, как пласт, упала на землю, ударившись головой о стену сарая.

На происшедший на дворе шум сбежалась дворня, молодую девушку подняли и унесли в людскую.

Совершенно ошеломленного неожиданным зрелищем Егора Егоровича Минкина увела в свой флигель.

Он как-то машинально вошел в комнату, разделся и сел к столу.

— Чего это ты так расстроился из-за непутевой этой, тебе-то что? — тоном соболезнования и недоумения спросила Настасья Федоровна.

Он тупо посмотрел на нее блуждающим, почти безумным взглядом, но молчал.

— Выпей-ка лучше, это помогает! — продолжала Минкина, наливая в стакан Егора Егоровича рому, который имела обыкновение пить с чаем.

Воскресенский быстро схватил стакан и опорожнил его.

За одним последовал другой, и в этот вечер Егор Егорович первый раз в своей жизни мертвецки напился.

Предсказание Агафонихи сбылось. Над несчастной Глашей было действительно совершено «все равно, что убийство».

В ночь у ней сделался страшный жар и бред, она металась и билась в таких судорогах, что ее принуждены были связать, а на утро отправить в больницу.

Через четыре дня она умерла.

Егор Егорович пил почти без просыпу, поощряемый Настасьей Федоровной, охотно разделявшей ему компанию.

«И еще уведомляю вас, батюшка, ваше сиятельство, Алексей Андреевич, что на днях заболела моя дворовая девка Глафира и, отправленная в больницу, вскорости умерла, а от какой причины — неизвестно», — писала между прочим Минкина в Петербург графу Алексею Андреевичу, требовавшему от нее еженедельных отчетов обо всем происходящем в Грузине.

III

ОБНАРУЖЕННАЯ ТАЙНА

Прошло около месяца.

Егор Егорович Воскресенский сидел у себя в комнате и занимался сведением каких-то счетов. Работа, видимо, ему не удавалась, так как от ежедневного пьянства голова была тяжела, как чугун, и отекие руки не с прежней быстротой перекидывали косточки на лежавших перед ним конторских счетах.

Да он был к тому же изрядно пьян, так как зимний короткий день уже давно склонился к вечеру.

Нагорелая сальная свеча освещала его опухшее лицо и какие-то посоловелые, остановившиеся безжизненные глаза, устремленные в раскрытую испещренную рядом цифр страницу большой книги, лежавшей рядом со счетами на столе, под которым был привинчен железный сундук.

Вдруг дверь комнаты тихо отворилась и в нее робко вошел конюх Павел.

Егор Егорович не заметил вошедшего.

Тот несколько времени нерешительно потоптался у порога и откашлянулся.

— Тебе что? — оглянулся на вошедшего помощник управляющего.

— К вашей милости, Егор Егорович, выслушайте меня, окаянного... — сделал вошедший несколько шагов и вдруг неожиданно опустился на колени...

Егор Егорович вскочил.

— Чего ты, что с тобой? — бросился он подымать Павла.

— Не замайте, так мне сподручнее, только выслушайте, Христа ради!

— Говори!.. — остановился перед ним ничего не понимавший в этой сцене Егор Егорович.

— Глашина-то смерть, ведь, мой грех... да проклятой Агафонихи... — почти простонал Павел. — Третью неделю и во сне, и наяву мерещится она, Глаша-то, с ребеночком... покоя

не дает, туда зовет... на муку мученическую... руки я на себя решил наложить, да вот перед смертью вам открыться, казните вы ее, покойной, ворогов, ведьму Агафонику да Настасью, отродье цыганское, треклятое...

Павел проговорил все это серьезно и вдумчиво.

— Как же это так, Расскажи толком, — растерянно пробормотал Воскресенский.

Молодой конюх начал свой рассказ. Подробно рассказал он о своей любви к Глаше, от невнимания последней обратившейся в неудержимую страсть, о приворотных кореньях, которые он получил от Панкратьевны и носил на кресте в ладонке...

— Ничего не действовало, — с грустью заключил он, — а тут раз, с месяц тому назад, подозвала меня к себе Агафоница, да и говорит: «Помочь я тебе, парень, всерьез задумала, не помогают, видно, коренья-то приворотные в сухом виде, я твою зазнобушку попою сегодня вечером, сама к тебе на шею бросится... А ты, парень, возле людской посторожи вечером». Обрадовался я, окаянный, сердце затрепетало во мне, насилу дождался вечера... Похаживаю около людской с час, смотрю, выходит Глаша да такая из себя сменившаяся, глаза, как угли, горят, кругом никого, я ее в охапку сгреб, не соврала старая карга, не по-прежнему, не противится... Я ее в сарай и потащил... Остальное сами знаете... А как умерла она, домекнулся я, окаянный, что опоила ее Агафоница и отдалась она мне сама не своя, заглодала с тех пор тоска меня змеей лютою!.. Да и покойница мне все, как живая, мерещится... вон она и здесь стоит и глядит на меня строго-настрого...

Павел, весь бледный, вскочил с колен, несколько мгновений стоял, устремив свой взгляд в темный угол комнаты и вдруг стремительно бросился вон.

Старая Агафоница, случайно увидавшая его вошедшим в дом с заднего крыльца, последовавшая за ним и подслушивавшая у двери, едва успела отскочить в сторону.

Гонимый паническим страхом, конюх не заметил ее.

Егор Егорович остался стоять, как вкопанный, среди комнаты. Неожиданность открытия страшной тайны смерти горячо любимой им девушки, в связи с полной невиновностью ее перед ним, положительно ошеломила его.

Весь угар разом выскочил из его головы.

В искренности и правдивости этого человека, так бесповоротно, что было видно по тону его голоса, решившегося покончить свои расчеты с жизнью, сомневаться было нельзя, да и рассказ его всецело подтверждался мельчайшими обстоятельствами происшедшего, а главное характером и способностью решиться на такое гнусное дело обвиняемых им Агафоники и Настасьи.

Припомнил Воскресенский и те злобные взгляды последней, которые она бросала на покойную Глашу, взгляды, уже давно подмеченные им, по которым он еще тогда догадался, что от Минкиной не скрылись его отношения к покойной.

— Погоди же ты, подлая убийца, отомщу я тебе за мою голубку неповинную, отольются тебе ее слезы и кровь сторицею. По твоей же науке все сделаю, подольщусь к тебе, притворюсь ласковым да любящим и задушу тебя, чародейку подлую, задушу в грехе, не дам и покаяться... — с угрожающим жестом проговорил он вслух.

За дверь послышался какой-то шорох и как бы шум быстро удалявшихся шагов.

Воскресенский бросился к двери и распахнул ее. В следующей комнате не было никого.

— И мне, кажись, стало мерещиться! — про себя проговорил Егор Егорович и вернулся к себе.

Взгляд его упал на почти полную бутылку рому, стоявшую на столике около его постели. Он налил себе полный стакан, выпил его и грузно сел на свою постель.

Ром произвел свое действие на разбитый пережитыми волнениями организм. В голове его помутилось.

Он, тем не менее, налил и выпил еще стакан.

Голова его бессильно опустилась на грудь. Глаза устремились в какую-то одну видимую только им точку.

Он думал горькую думу.

Через несколько минут весь разговор конюха Павла с Егором Егоровичем и угрозы последнего были уже почти слово в слово известны Настасье Федоровне Минкиной.

Воскресенскому далеко не померещилось: за дверью его комнаты и после стремительного ухода конюха осталась подслушивать Агафониха.

Минкина, услышав рассказ своей взволнованной и испуганной наперсницы, и сама первые минуты не на шутку перетрусилась.

— Убьет, шалый да пьяный, убьет меня, как пить дать! — застонала она, страшно боявшаяся смерти. — Вернись, родимая, вернись, милая Агафониха, последи за ним, охальником, что он там у себя делает...

— И-и смертушка моя приходит, — заняла в свою очередь старуха, — боюсь я его, окаянного, глазищи у него огнем горят, как у дьявола, заметит он меня, неровен час, живую не выпустит.

— А ты потихоничку, на цыпочках...

— Уж только для тебя, королевна моя прекрасная, попытаюсь, головы своей грешной не жалеючи...

Старуха тихо, неслышными шагами, вышла из комнаты.

IV

РАСПРАВА

Настасья Федоровна осталась одна и, как подстреленный зверь, забежала по комнате.

— Убьет, окаянный, убьет, злобный он такой стал, огоньки так в глазах и бегают... Извести его надо скорей, а как? Агафониху не подошлешь, и ее пристукнет, и сюда ко мне придет... из людей никто за меня и не заступится, знаю я их, холопов подлых, все, все до единого зубы на меня точат, самой надо, да как? Я с ним, кажись, минуты вдвоем не останусь...

Минкина даже вздрогнула, продолжая быстро ходить по комнатам, боязливо прислушиваясь ко всякому малейшему шороху.

Прошло около часу.

Дверь неслышно отворилась, и перед все еще продолжавшей свои бесплодные размышления грузинской домоправительницей, как из земли, выросла Агафониха.

— Ну, что? — с тревогой спросила Настасья Федоровна.

— Дрыхнет пьяный поперек кровати, и свеча горит вся заплывши... при мне рома из этой бутылки страсть выдул, да так и свалился, ошеломило видно.

— Спит, говоришь, крепко?

— Страсть, как дрыхнет, сопит...

Минкина снова несколько раз прошлась по комнате.

— Иди себе, завтра поговорим! Благодарствуй! — обратилась она к Агафонихе. — Да скажи, что девки могут идти в людскую.

Та низко поклонилась и вышла.

Настасья Федоровна провела несколько раз рукою по лбу и медленно прошла к себе в спальню. Там она открыла ларец вычурной работы и что-то стала торопливо искать в нем.

Через несколько секунд в ее руках очутилась бритва. Это была бритва Егора Егоровича, случайно забытая им с месяц тому назад во флигеле Минкиной, когда он, по ее просьбе, обрезал сухие листья и ветви растений, наполнявших комнату грузинской домоправительницы.

Она открыла ее, попробовала острие — бритва оказалась остро отточенной.

Настасья Федоровна взглянула в окно: на дворе было совершенно темно.

Она осторожно вышла из спальни, прошла в переднюю комнату и, как была в одном платье, вышла на двор и пошла по направлению к дому, обогнула его и направилась к заднему крыльцу. Мелкий, недавно выпавший снег хрустел у нее под ногами и знобил ноги, одетые в легкие туфли, резкий ветер дул ей в лицо, но она не чувствовала холода. Твердою поступью взошла она на заднее крыльцо, открыла не запертую дверь и вошла в заднюю переднюю, через две комнаты от которой находилась комната помощника управляющего.

Чуть касаясь пола, как кошка, добралась она до двери этой комнаты и приложила свой глаз к замочной скважине. Представившаяся ей картина вполне подтвердила доклад Агафонихи. Еле мерцающая, сильно нагоревшая свеча полуосвещала комнату и спавшего крепким сном поперек кровати Егора Егоровича. Он даже сполз с перины и лежал, закинув голову назад. Богатырский храп гулко раздавался среди окружающей тишины.

На столе, у кровати, стояла опорожненная бутылка.

Минкина несколько минут простояла в нерешительности, затем осторожно скинула туфли и в одних чулках, полуотворив дверь, как змея, проскользнула в комнату.

Как будто по воздуху, еле скользя по полу, она через мгновение уже очутилась возле лежавшего Воскресенского. Он безмятежно и крепко спал сном пьяного человека.

Быстро вынула она бритву, раскрыла ее и что есть силы полоснула его по горлу. Он сделал конвульсивное движение, глухо простонал и замолк.

Кровь фонтаном брызнула из горла, но Настасья Федоровна, как серна, отскочила в сторону,

и ни одна капля ее не попала на нее. Выпущенная ею из рук бритва со звоном упала на пол.

Она несколько раз боязливо оглянулась.

Кругом все было тихо.

На постели лежал бездыханный труп, весь залитый кровью.

Минкина вздохнула полною грудью, как бы сбросив со своих плеч непомерную тяжесть.

Затем она, осторожно приподняв платье, подняла бритву и бросила ее около постели под свесившейся правой рукой трупа.

Взгляд ее упал на стол, где возле раскрытой конторской книги лежала связка ключей. Она подскочила к столу, взяла ключи и одним из них — она, видимо, хорошо знала которым — отперла стоявший под столом сундук.

При звоне замка она снова вздрогнула и инстинктивно обернулась к постели; труп лежал недвижимо. Она сунула руку в сундук, вынула объемистую пачку ассигнаций, бережно уложила ее в карман, снова заперла сундук и положила ключи на прежнее место.

Догоревшая свеча начала трещать и гаснуть. Настасья Федоровна быстро выскользнула из комнаты, надела туфли и через несколько минут была уже в своей спальне.

На другой день ей доложили о двух самоубийствах.

Помощник управляющего Егор Егорович Воскресенский найден зарезавшимся в своей комнате, а в том самом сарае, где месяц тому назад она накрыла на любовном свидании свою горничную, покойную Глашу, усмотрен повесившимся на вожжах конюх Павел.

Обо всем этом аккуратная домоправительница в тот же вечер отписала в Петербург его графскому сиятельству, благодетелю и другу Алексею Андреевичу.

«При осмотре конторского сундука, находившегося в комнате зарезавшегося слуги вашего сиятельства Егора Воскресенского, денег, каковые должны были быть по книгам, более тысяч рублей, не найдено».

В следующем за этим рапортом вторичном письме Настасья Федоровна, касаясь этого вопроса, не без гордости писала: «Недаром я, батюшка, ваше сиятельство, вас против него упреждала, чуяло мое вещун-сердце, что хотя тихоня он был, царство ему небесное, а вор».

V

В ПЕЩЕРЕ МАСОНОВ

Наступил, наконец, день, назначенный для принятия Николая Павловича Зарудина в масоны.

Это было в половине октября месяца.

Андрей Павлович Кудрин привез его в шесть часов вечера в ложу вольных каменщиков и, введя в небольшую комнату, оставил одного.

Там Зарудин дожидался более часа, пока окончился обряд принятия другого профана.

Наконец, в комнату вошел человек, одетый просто во фрак. Он завязал ему глаза и повел через большой ряд комнат, но вдруг остановился. Зарудин услышал гром запоров, заскрипели двери, и они переступили через порог.

Провожатый посадил его на стул и сказал:

— Когда я уйду — скиньте повязку и углубитесь в книгу, которая развернута перед вами.

Скрип двери и гром запоров возвестил его об удалении провожатого.

Николай Павлович снял повязку.

Черные стены мраморной пещеры окружали его; при слабом свете лампы, висевшей над ним, глаза его встретили мертвую голову и близ нее развернутую библию на бархатной голубой подушке, обшитой золотым галуном. Вверху темное мерцание изображало также мертвую голову с двумя внизу накрест костями и надписью: «Memento mori».

Зарудин взял библию и стал читать ее про себя.

Через несколько минут двери снова отворились и явился человек с обнаженным мечом; на шее его висела широкая голубая лента с золотым треугольником, такой же треугольник, но только гораздо менее, на алой ленте, с серебряными каймами, украшал левую сторону его груди.

Он важно спросил Зарудина по-французски:

— Какое намерение ваше, вступая в собратство вольных каменщиков?

Тот, заранее подготовленный к ответам, отвечал:

— Открыть вернейший путь к познанию истины.

— Что такое истина?

— Свойство той первоначальной причины, которая сообщает движение всей вселенной.

— По силе и возможности дастся вам понятие о тех путях; но теперь следует вам знать, что послушание, терпение и скрытность суть главнейшие предметы, которые требует от вас в начале общество, в которое вы вступить намерены. Чувствуете ли вы себя способными облечься сими первоначальными добродетелями?

— Я употреблю к тому все свои силы, но знайте также, что меня привлекает не любопытство к наружным обрядам общества; я хочу увериться в том, чего жаждет, но не постигает душа моя; хочу иметь средства утвердиться в добродетели и усовершенствовать те, которыми обладаю, хочу знать, бессмертна ли душа моя?

— Можно ли сомневаться в том? Ничто не исчезает в мире.

— Но будучи часть предвечной души мира сего, каким образом душа человеческая, оскверненная пороками, соединится с чистейшим источником своим? — спросил Зарудин.

— Ищите и найдете, толкните и отверзется, — отвечал ему вошедший, — но начните повиновением.

Затем, позвав брата-прислужника, он приказал ему снять с Николая Павловича мундир, жилет и сапог с левой ноги, перевязать ногу крепко платком выше колена, завязать глаза и, спустив с левого плеча рубашку, обнажить грудь. Вывел его, приставя обнаженный меч к груди, из мрачного убежища.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Долго он с Зарудиным делал различные обороты по комнатам, не переменяя позы и, наконец, остановясь, сказал:

— Ударьте три раза кольцом.

Он положил на это кольцо руку Николая Павловича.

Последний исполнил.

Через минуту за дверями послышался голос.

— Кто нарушает спокойствие беседы братской?

Путеводитель Зарудина отвечал:

— Профан, он желает вступить в члены священного братства.

— Не тщетное ли любопытство влечет его к тому?

— Нет, он жаждет озариться светом истины.

— Какое имя его? Звание, лета, месторождение?

Со стороны путеводителя последовали надлежащие ответы. По окончании этого допроса двери отворились, и Зарудин переступил порог, все еще имея на глазах крепкую повязку. Важный, тихий голос спросил его:

— Настоятельно ли желаешь ты, профан, вступить в священное сословие братства?

— Да! — отвечал Николай Павлович.

— Имеешь ли довольно твердости, чтобы перенести испытания, тебе предлежащие?

— Да.

— Брат-учредитель порядка, начни испытания, соверши с ним путь продолжительный и трудный, — воззвал тот же голос.

Тогда брат-учредитель порядка, приставя меч к груди Зарудина и взяв другою его за руку, начал исполнять повеление.

Он начал с Николаем Павловичем путь с востока на запад и тихо малыми шагами продолжал водить его, и говорил громко и внятно о жизни и смерти; потом остановился, потрепал его по плечу и воскликнул:

— Venerable! Профан сделал первое испытание, твердость его подает надежду к перенесению дальнейших испытаний.

Эта речь была повторена двумя голосами, и голос повелевающего сказал:

— Начни второй путь.

Когда и он был окончен, так как и третий, когда брат-наблюдатель порядка поставил Зарудина на место, потрепал по плечу и отдал отчет; когда тоже повторили два голоса, то голос тихий, сострадательный произнес:

— Возлюбленные братья! Профан окончил с похвалою испытания свои, он достоин вступить в общество наше, позвольте ли ему приобщиться к лику вашему?

Глухое рукоплескание братьев изъявило согласие; Зарудину велено было приблизиться, его повели прямо, направляя его ноги, чтобы он ступал на известные места; взвели на ступени, поставили коленом на подушку и положили руку на Библию и меч.

Кто-то положил на нее свою руку и повелел клясться в сохранении тайны, потом задом отвели его на прежнее место.

Тогда кто-то возле него сказал:

— Выстави язык! — и приложил к нему какое-то железо.

В то же самое время послышался голос:

— Да спадет повязка с глаз его, да удостоится видеть свет лучезарный!

Она упала.

VII

БЕЗ ПОВЯЗКИ

Огонь вспыхнул перед глазами Николая Павловича и исчез, и он увидел перед собою в освященной круглой зале около сорока человек, сблизившихся в полукружии к нему с устремленными прямо против него мечами.

За ними в возвышении, на престоле под зеленым балдахинном, усеянном звездами, стоял великий магистр. По его мановению сонм братьев занял свои места. Все они были покрыты шляпами и имели лайковые передники; но одни просто белые, другие обшитые розовыми и голубыми лентами, по степеням своих достоинств. По степеням же их достоинств были они украшены различными знаками, повешенными на голубых или красных с серебряными каймами лентах, на шее и в петлицах. Великий магистр был в шляпе с такими же знаками, но только кроме треугольника отличался угольником, висящим на голубой ленте.

Перед ним находился стол, покрытый до самого пола. На этом столе возвышались три подсвечника на трех углах стола и лежали на подушках библия, меч, циркуль, треугольник и белый молоток.

Когда все заняли свои места, великий магистр велел подвести Зарудина к своему престолу. Посреди зала лежало изображение храма Соломонова, через которое Николай Павлович проходил с завязанными глазами. Теперь он мог видеть, что ноги его переставляли для того, чтобы ступать на изображения, последовательно на те места, которые ведут постепенно к святилищу.

Вступив на ступени и подойдя к налою или столу, он преклонил колено Великий магистр взял циркуль, поставил его на обнаженную грудь и ударил молотком три раза.

Зарудин почувствовал боль и увидел, что из-под его груди отнесли чашу, орошенную кровью.

По окончании этой церемонии великий магистр велел ему одеться. Он был выведен в другую комнату, оделся там и снова вернулся в ложу.

Венерабль велел представить его и другого посвященного с ним брата к престолу, и когда они подошли, он начал речь:

— Любезные братья! Все, что вы ощутили и видели есть иероглифы таинственной сущности: повязка на очах, темная храмина, умственные углубления, ударение кольцом, пути с востока на запад, шествие по изображению храма Соломонова — все это есть не что иное, как разительные черты того, что может возбудить в душе вашей мысли о ничтожности мира, возбудить желание к отысканию истины: ищите и обрящете; толкните и отверзится. Мы уверены, что довольно было бы единого слова вашего к сохранению тайны, но мы ведаем также и слабость сердца человеческого и потому, над священной книгою религии, наполняющею сердца всех нас, приемлем, для обеспечения себя, клятвы ваши, связующие вас посредством сей священной книги с нами: для того требуем мы клятвы к хранению тайны, дабы профаны, не понимающие цели братства, не могли издеваться над оною и употреблять во зло. Свобода и равенство царствуют между нами; под именем вольных каменщиков мы будем стараться вкуче о восстановлении здания, основанного на краеугольных камнях, изображенных в сей священной книге.

Он правой рукою указал на библию.

— Для того-то, любезные братья, одеваем вас, подобно каменщикам, запоном и вручаем кирку.

Он подал им лайковый передник и маленькую серебряную кирку.

— Примите также сию безделку, знак братского союза нашего, и носите на груди вашей всякий раз, когда посетите общество.

Он подал им по алой ленте с серебряною каймою, прорезной золотой треугольник, на сторонах которого было изображено: «Les amis geupis», а в середине две соединенные руки.

— Примите сии перчатки в знак сохранения чистоты ваших деяний! — продолжал великий магистр. — Примите женские для подруги жизни вашей! Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава Творца и природы. Добрая жена есть утешение в ужасных испытаниях мира сего; но да будут они чисты и невинны в деяниях своих.

И та, и другая пара данных великим магистром перчаток были из батиста.

— Примите, наконец, сей меч, которым должны отсекасть страсти ваши, и ведайте, что общество соединенных братьев, в которое теперь вступили вы, есть ничто само по себе, если не устремите воли своей к отысканию истины; послужите преддверием в пути, который жаждет открыть пробужденная совесть падшей души.

По окончании этих слов великий магистр велел учредителю порядка облечь в знаки вольных каменщиков и поучать предварительным иероглифам.

Так как братья имеют различные степени и Зарудин и другой новичок облечены были еще первою — Les Apprentis (ученики), то знак их есть прикосновение правой руки к шее, а затем перенос руки на правое плечо и, наконец, опущение вдоль по бедру. Знак для познания брата есть пожатие руки таким образом, чтобы большой палец одного подавил руку другого вдруг два раза с малою остановкою, а в третий гораздо сильнее. Слово для узнания масона есть Saquin, и говорится так после пожатия руки: «скажи мне первое слово — я тебе скажу

второе»; другой произносит «s», первый: «a»; другой «q» и так далее. Слово священное tuboleain. Все эти слова и иероглифы имеют свое значение, но не открываются первой степени.

Когда новопосвященных научили этим знакам, то навязали запы, повесили на пуговицу кирку, а в петлицу треугольник, дали в руки обнаженные мечи, велели надеть шляпы подобно всем братьям и указали место, где должно сесть.

Обряд принятия в масоны окончился.

VIII

ПЕРЕМИРИЕ

С томительным однообразием миновал для Натальи Федоровны Аракчеевой зимний сезон, наступил май месяц 1807 года.

Граф Алексей Андреевич предложил своей жене отправиться на лето в Грузино, куда сам рассчитывал наезжать лишь изредка, занятый множеством государственных дел, осложненных все еще продолжавшейся войной с Наполеоном на прусской территории.

Графиня безропотно согласилась, ей было все равно, где владеть свою одинокую жизнь, ее даже радовала поездка, так как общество «бедного Миши», к которому она успела привязаться своим любящим, но волею рока замкнутым для всякой иной любви сердцем.

Просьбу ее относительно этого ребенка граф исполнил; он приобрел для него дворянство, что при тех известных исключительных обстоятельствах, при каких произошло рождение мальчика, представляло большие затруднения. Но граф достиг того, чего желала его жена, а главное, чего желал он сам, окончательно простивший Минкину за обман и привязавшийся не на шутку к ребенку. В Литве и Польше в то время существовала самая широкая фабрикация фальшивых дворянских бумаг. В городке Слуцке, Минской губернии, находился адвокат Томшевский, который за сорок или пятьдесят рублей давал какие угодно документы на дворянство. Аракчеев послал в такую обетованную землю генерала Бухмейера, который и привез оттуда бумаги дворянина Михаила Шумского.

Столкновений с Настасьей графиня не опасалась; она слишком хорошо поняла ее и знала, что эта женщина, в силу своего врожденного ума и такта, будет, как и в прошлое лето, искусно избегать ее.

Да и, кроме того, Наталья Федоровна за последнее время как-то совершенно окаменела — для нее все казалось безразлично. С некоторой душевной тревогой следила она за известиями с театра военных действий, и эта тревога увеличилась, когда вскоре после битвы при Прейсиш-Эйлау получено было известие о выступлении гвардии, в рядах которой служил Зарудин, в Юрбург под начальством великого князя Константина Павловича, а затем и сам государь поехал в лагерь.

Тяжелое известие о неудачной для нас битве при Фридрихсберге, происшедшей 27 июня, получено было графинею в Петербурге, когда она уже возвратилась из Грузина, где почти не расставалась со своим любимцем Мишей. Грузинская жизнь текла ровно и тихо. В Минкиной Наталья Федоровна не ошиблась, ее как бы не существовало в Грузине в присутствии ее сиятельства.

Графине нравились тишина и однообразие деревенской жизни, она жила какою-то чисто

растительную жизнью, без дум, без надежд, без опасений за будущее.

В Петербург графиня переехала внезапно, по случаю болезни своей матери, оказавшейся, впрочем, непродолжительной и неопасной; проведя в столице более двух недель, графиня уже решила ехать обратно в Грузино, но судьба решила иначе.

Графиня никогда более не была в Грузине. Но не будем спешить, все расскажется в своем месте.

Петербург с отъездом государя опустел, в нем царилла какая-то тягостная тишина.

Главнокомандующий армией Бенингсен донес императору о поражении нашей армии под Фридландом на другой день после битвы; в конце донесения он намекал на необходимость перемирия, с целью выиграть время и вознаградить наши потери.

Александр Павлович согласился на переговоры о перемирии с тяжелым чувством. «Вверив вам армию прекрасную, — писал он Бенингсену, — явившую столь много опытов храбрости, весьма удивлен я был ожидать известий, какие вы мне сообщили. Если у вас, кроме перемирия, нет другого средства выйти из затруднительного положения, то разрешаю вас на сие, но с условием, чтобы вы договаривались от имени вашего. Отправляю к вам князя Любанова-Ростовского, находя его во всех отношениях способным для сих скользких переговоров... Вы можете посудить, сколь тяжело мне решиться на такой поступок».

В день подписания перемирия 10 (22) июня Наполеон пригласил князя Лобанова к себе на обед. «В продолжении стола, — доносил он императору, — Наполеон спросил шампанского вина и, налив себе и мне, ударились вместе рюмками и выпили за здоровье вашего императорского величества. По окончании стола, почти до 9 часов вечера, оставался я с Наполеоном один. Он был весел и говорил до бесконечности, повторял мне не один раз, что он всегда был предан и чтит ваше императорское величество, что взаимная польза обеих держав всегда требовала союза и что ему собственно никаких видов на Россию иметь нельзя было. Он заключил тем, что истинная и натуральная граница российская должна быть река Висла».

После ратификации перемирия, Наполеон через Дюрока поздравил государя императора Александра Павловича с прекращением военных действий и предложил ему свидание.

IX

ТИЛЬЗИТСКОЕ СВИДАНИЕ

Знаменитое Тильзитское свидание произошло 13 июня.

На середине Немана, то есть на самой демаркационной линии Наполеон приказал соорудить два павильона на плотках: один большой и красивый для государей, другой — попроще, для их свиты. На одном фасаде большого павильона было огромное изображение буквы N, на противоположном такое же A, у берегов стояли большие барки с гребцами.

Тильзит был в это время переполнен войсками, толпами жителей и любопытных, желавших видеть торжество свидания.

По сторонам главной улицы от ее сгиба до берега была выстроена старая гвардия, а с другой стороны в виде конвоя стояли полуэскадрон кавалергардов и эскадрон прусской конной гвардии, правым флангом к реке, а левым к полуразрушенной усадьбе, где должен был

остановиться император Александр. Около 11 часов утра государь с королем прусским и цесаревичем отправились в коляске по тильзитской дороге к реке. Генералы свиты в полной парадной форме скакали верхом по сторонам коляски.

Александр Павлович был в Преображенском мундире, с аксельбантами на правой руке, но без эполет, которых тогда не носили; в белых погонах и коротких ботфортах, на голове высокая треугольная шляпа с черным султаном на гребне и белым плюмажем по краям. Шпага, шарф вокруг талии и андреевская лента через плечо. Государь и все другие остановились в уцелевшей комнате усадьбы и в продолжение получаса сидели молча. «Я не спускал глаз с государя, — говорил адъютант Багратиона Давыдов, — мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостью духа различные чувства, его обуревавшие и невольно обнаруживавшиеся в ангельском взгляде и на его открытом, высоком челе».

Через полчаса дежурный флигель-адъютант быстро отворил дверь в комнату и произнес:

— Едет, ваше величество!

Александр Павлович встал со стула, взял шляпу и перчатки и медленно вышел из комнаты.

В это время Наполеон, окруженный громадною свитою, скакал между рядами своей старой гвардии, которая приветствовала его оглушающими криками восторга.

Оба государя вступили на барки и отплыли от берега одновременно. Наполеон стоял впереди своих сановников: Мюрата, Бертье, Дюрока и Коленкура, в мундире старой гвардии, с лентой Почетного Легиона через плечо и в известной всему миру шляпе, скрестив руки на груди, как его и тогда уже изображали на картинках. Барки причалили к плоту одновременно, но Наполеон успел раньше взойти на паром и сделать несколько шагов навстречу Александру.

Они подали друг другу руки и рядом вошли в павильон. Беседа их длилась около двух часов. Свиты обоих государей остались на плоту и познакомились, пока не были призваны государями и отрекомендованы.

Наполеон говорил дольше других с Бенингсеном.

— Вы были злы под Эйлау, — сказал он ему между прочим и заключил разговор словами: — Я всегда любовался вашими дарованиями, еще более вашею осторожностью.

Свидание кончилось тем, что Александр проводил Наполеона до барки и тем как бы отплатил ему по этикету за его вежливость при встрече.

Статьи мирного договора, выработанные князьями Куракиным и Лобановым-Ростовским вместе с Талейраном под руководством самих императоров, были подписаны 27 июня.

Мир этот произвел на армию и на общественное мнение России тяжелое впечатление.

Чувствовалось, что им далеко не закончена борьба с этим злодеем, гиеной, грабителем, негодяем революции, как называли в то время Наполеона в русских журнальных статьях и драматических произведениях.

Х

АРАКЧЕЕВ-МИНИСТР

В декабре 1807 года император Александр Павлович отправил Аракчееву в числе других бумаг проект об учреждении министров и написал ему, что назначает его военным министром.

Деятельность графа Аракчеева как военного министра, хотя не была продолжительна, — он сам отказался от этого звания, — но полезна и плодотворна, как всякая, за которую брался этот замечательный человек.

Будучи министром, он ценил службу тех, к кому не имел личного расположения и считал обязанностью вникать не только в хозяйство и в администрацию армии, но и в строевое ее образование.

Казнокрадство и взяточничество, эти две язвы тогдашней русской администрации, против которых всю свою жизнь боролся граф Алексей Андреевич, с особым ожесточением были им преследуемы в бытность его военным министром. Кроме беспощадных исключений уличенных в этих пороках чиновников и примерных их наказаний, Алексей Андреевич прибегал к оглашению поступков не только отдельных личностей, но даже целых ведомств в печати путем приказов.

Понятно, что такой человек стоял поперек горла большинства русского, как военного, так и гражданского чиновничества, и они потихоньку злобствовали и исподтишка сочиняли целые легенды о его жестокости и разных недостатках.

Из этих клевет сложилось, к сожалению, чуть ли не историческое мнение об этом замечательном государственном деятеле.

Поручив Аракчееву, почти против его воли, военное министерство, государь Александр Павлович не обходился без его всегда правдивых и метких советов и по другим отраслям государственного управления.

Алексей Андреевич, несмотря на совершившийся в его частной жизни недавний переворот, ни мало не изменился в своем усердии к службе — служебный долг был для него выше всего.

XI

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Окаменелость и безразличие к настоящему и будущему, появившиеся в характере Натальи Федоровны за полтора года ее несчастного супружества, были результатом тех нравственных потрясений и унижений, которые она испытала одно за другим, не подготовленная к ним, не ожидавшая их, а напротив, лелеявшая, как мы видели, иначе мечты, вдруг забрызганные житейской грязью, строившая иные планы, вдруг разбившиеся вдребезги о камень жизни.

Слез не было, да их и понадобилось бы целое море, нервы не расшатались, а, скорее, закалились под неожиданными ударами судьбы, идея терпения, терпения нечеловеческого, запала в ум молодой женщины, и она отдалась вся преследованию этой идеи, не рассчитав своих сил. Как для туго натянутой струны, сделалось достаточно одного слабого удара смычка, чтобы она лопнула.

Так случилось и с графиней Аракчеевой.

К явным изменам графа своей жене, почти на ее глазах, даже с подругою ее девичества — с

чем графиня почти примирилась, присоединились с некоторого времени со стороны Алексея Андреевича сцены ревности и оскорбления ее неосновательными подозрениями.

Самолюбивый до крайности, ревниво оберегавший честь своего, им же возвеличенного имени, граф чрезвычайно боялся малейшего повода для светских сплетен, в которых он мог бы явиться в смешном виде обманутого мужа.

Это хорошо знали и этим искусно пользовались обе его фаворитки, преследовавшие каждая в своих исключительных интересах один и тот же план разлучить его с графиней Натальей Федоровной.

Безответность и терпение молодой женщины выводила их из себя; в особенности негодовала Бахметьева.

«Ишь присосалась, не оторвешь ничем, — рассуждала она сама с собою о Наталье Федоровне, — хоть плюй в глаза, она все будет говорить: „Божья роса“. Но погоди... я тебя доеду...»

И она действительно «доехала», хотя и не одна, но с совершенно неожиданной для нее помощью Минкиной.

Измученный их полупрозрачными намеками, выражаемыми сомнениями в святости и недоступности его жены, граф действительно вообразил, что надо принять тщательные меры к охранению его чести.

Мысль эта, в связи с предстоящим ему отъездом за границу в свите государя, не давала ему покоя. Он предложил жене уехать в Грузино, но, как мы видели, болезнь матери заставила ее вернуться в Петербург.

Граф еще не уехал за границу, но отъезд государя ожидали со дня на день, а Алексей Андреевич должен был сопровождать его.

На третий день после приезда жены граф действительно уехал. Уезжая, он между прочими домашними распоряжениями, отдал приказание своим людям, чтобы графиня отнюдь не выезжала в некоторые дома, в числе которых был дом Небольсиных, но ее даже не предупредили об этом.

Сделано ли это было по забывчивости или же по совету и наущению его фаворитки Минкиной и Бахметьевой, — неизвестно, но это-то и было последней каплей, переполнившей чашу долготерпения молодой графини.

Через несколько дней она приказала подать себе карету.

— К Небольсиным! — отдала она приказание, уже становясь на подножку экипажа.

— Его сиятельство изволили запретить... — почтительно отвечал лакей.

— Что? — удивленно уставилась на него графиня.

Лакей смутился и молчал.

— Что ты сказал? — повторила она.

— Его сиятельство... приказали... туда не возить... кучер знает и... не поедет... — с видимым усилием отвечал слуга, оказавшийся тактичнее графа и понимавший, в какое неловкое положение он ставит ее сиятельство.

Наталья Федоровна побледнела и до крови закусила свою губу.

— Вот как! — протянула она и несколько минут стояла в тяжелом раздумье, не снимая ноги с подножки.

— На Васильевский! — переменяла она приказание.

Карета покатила.

Графиня Аракчеева более не возвращалась в дом своего мужа. На нее нашло то мужество отчаяния, которое присуще всем слабым и нервным людям, доведенным до крайности.

Твердо высказала она свое бесповоротное решение Дарье Алексеевне. Неприготовленная к подобной выходке дочери, старушка остолбенела.

Дочь в подробности, шаг за шагом, рассказала ей всю свою жизнь в доме графа.

Что могла сказать ей в утешение ее мать? Она только тихо плакала. Наталья Федоровна не проронила ни одной слезинки. Дарья Алексеевна выразила молчаливое согласие на решение своей дочери, она боялась графа, но не хотела этого высказать.

Вся ее злоба обрушилась на Бахметьеву.

— Запутается, непутевая, в своих собственных сетях, — ворчала она.

Это оказалось почти пророчеством.

XII

ПОПЫТКИ К ПРИМИРЕНИЮ

По окончании кампании, граф Аракчеев, возвратившись в Петербург, немедленно поехал к жене и затем недели с две ежедневно ездил туда раза по два в день.

Он горячо убеждал ее вернуться к нему, не делать его сказкой города, вспомнить его и свое положение, обещал исправиться.

Было ли это искренно — кто знает?

Графиня долгое время оставалась непреклонна: наконец, однажды после особенно продолжительного убеждения, села с ним в карету, чтобы возвратиться на Литейную. Экипаж двинулся в путь.

Некоторое время супруги ехали молча. Вдруг Наталья Федоровна провела рукой по лбу — она как будто что-то вспомнила.

— Нет, это нечестно, я должна вам все высказать, я освобождаю вас от вашего слова, не гоните ту, другую... Я все равно не могу быть вашей женой... Я буду ею только для света... — зашепила она.

— Это почему?.. — уставился на нее граф.

— Я... я не могу...

— Но почему?

— Я не люблю вас... я только теперь это окончательно поняла... я не люблю вас, как должна любить жена... я люблю...

— Другого!.. — с иронией вставил Алексей Андреевич, в душе которого поднялась целая буря.

Графиня удивленно посмотрела на него. Она хотела сказать совсем не то, но его вопрос заставил ее задуматься на мгновение, она вспомнила Зарудина.

— Да... но клянусь вам, что эта любовь давно похоронена в моем сердце и никто, даже он не узнает о ней... Клянусь вам... Мы должны будем жить всю жизнь... Я не могу жить с тайной от вас... от своего мужа...

— Зарудина!.. — прогнусил граф, весь красный от волнения. Наталья Федоровна сидела, низко опустив голову.

— Стой! — крикнул кучеру Алексей Андреевич, отворив дверцу кареты.

Они ехали по Исаакиевскому мосту. Граф вышел.

— Пошел назад! — отдал он приказание.

Карета медленно поворотила и поехала обратно на Васильевский остров.

Так произошел вторичный разрыв между супругами Аракчеевыми.

Весть о нем быстро облетела столицу и достигла до Екатерины Петровны Бахметьевой.

Ей сообщил ее Сергей Дмитриевич Талицкий.

— Наконец-то! — с радостью воскликнула она.

Титул и положение графини Аракчеевой туманили ее ум, на их блеск она летела, как ночная бабочка на огонь, не сознавая, что летит на свою же собственную гибель.

— Не оставьте и впредь вашими милостями, ваше сиятельство! — с комическим почтением проговорил Сергей Дмитриевич, привлекая к себе свою кузину и крепко целуя ее в губы.

— Я подумаю... и буду иметь вас ввиду... — с такой же комической важностью ответила та.

Оба неудержимо расхохотались.

Им обоим следовало бы напомнить французскую пословицу: «Посмеется хорошо тот, кто посмеется последний».

Этот «последний смех» судьба, увы, готовила не им.

Осложнившиеся вскоре политические события принудили их отложить осуществление их гнусного плана в долгий ящик.

Даже в черной душе подлого руководителя, пожалуй, более несчастной, нежели испорченной девушки, проснулось то чувство, которое таится в душе каждого русского, от негодяя до подвижника, чувство любви к отечеству — он снова вступил в ряды русской армии и уехал из Петербурга, не забыв, впрочем, дать своей ученице и сообщнице надлежащие наставления и создав план дальнейших действий.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Прошло семь лет, полных великими историческими событиями, теми событиями, при одном воспоминании о которых горделиво бьется сердце каждого истинно русского человека, каждого православного верноподданного. Канул в вечность 1812 год, год, по образному выражению славного партизана Дениса Давыдова, «со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

Победоносные русские войска вернулись из Парижа, этого еще недавнего логовища «апокалипсического зверя», как называли в то время в России Наполеона, с знаменами, покрытыми неувядаемою славой, имея во главе венценосного вождя, боготворимого войском и народом.

Этот венценосный вождь — государь Александр Павлович, уже при жизни прозванный «Благословенным», сразу поставил Россию на первенствующее место среди европейских держав, даровав последним, по выражению бессмертного поэта: «вольность, честь и мир».

Восторженный прием, оказанный ему французами при его вступлении в Париж, наглядно доказал, что эти последние сами вздохнули свободнее, когда их «железный вождь», увлекший их, подобно стихийной силе, заманчивой, но не сбыточной перспективой завоевания мира, пал от «роковой улыбки» и мановения руки «русского витязя» — говоря словами другого бессмертного поэта.

Восторженные клики парижан, шедшие прямо от сердца и приветствовавшие «русского царя», принесшего Франции, измученной победами, и остальной Европе, измученной поражениями, миртовую ветвь мира, красноречиво говорили еще тогда о лежавших в глубине сердец обоих народов взаимных симпатиях, имеющих незыблемую опору в их территориальном положении и в их историческом прошлом.

Проследим вкратце деятельность за эти смутные и славные семь лет главного героя нашего правдивого повествования графа Алексея Андреевича Аракчеева.

По оставлении военного министерства, он был сделан инспектором всей пехоты и в этом звании состоял во время Отечественной войны при государе. 17 июля 1812 года в Свенцянах государь вновь просил его взять военное ведомство в свое управление, но граф отклонил это, хотя в течение всей войны, как тайная переписка, так все секретные донесения и высочайшие повеления шли через его руки. Есть два не лишние интереса указания, что данные им в то время советы имели большое значение. Первое то, что в самые трудные дни отступления армии от Вильны к Дриссе, Аракчеев, вместе с Шишковым, дал государю совет ехать в Москву, совет слишком смелый, потому что он шел вразрез только что торжественно объявленному в приказе обещанию императора не расставаться с войсками.

— Что скажет отечество? — заметил Алексею Андреевичу обсуждавший эту меру граф Комаровский.

— Что мне отечество? В опасности государь! — отвечал Аракчеев.

В этих словах сказался не льстивый придворный, как старались доказать враги Алексея Андреевича, а истинно русский верноподданный, для которого главною опасностью России было нахождение в опасности ее венценосца.

Другое указание встречается в любопытном рассказе французского историка Биньона о кампаниях 1812–1815 годов. Он говорит, что после занятия Москвы французами, Александр I впал в некоторое уныние. Заметив это, Аракчеев осмелился напомнить ему о здоровье, на что император ответил ему:

— Сердце мое обливается кровью, видя опустошение государства от Немана до Москвы и гибель стольких людей, а потому я почти решился предложить мир.

— Какую цену может приобрести его теперь Россия? — спросил граф.

Государь ответил, что потерю провинций, даже до Двины, можно потом возвратить; но что городов, сел, солдат и верных подданных никто уже не возвратит ему.

Видя, что государь слишком расстроен, Аракчеев ни слова не ответил ему, но решился обратиться к императрице Елизавете Алексеевне и упросил ее убедить ее венценосного супруга подождать до зимы. Биньон говорит, будто бы они на коленях умоляли государя не заключать мира, и он согласился.

В какой мере правдив рассказ иностранного историка, решить трудно, хотя он большую часть своих рассказов основывает на дипломатических документах, но для приведенного нами не указал ссылки.

Во всяком случае совет был хорош: уверенность графа Алексея Андреевича, что Русь одолеет врагов, оправдалась, что блистательно доказало триумфальное вступление русских войск в Париж в 1814 году.

Скромный инспектор всей пехоты продолжал оставаться, хотя и главным, но незаметным деятелем. Он упросил государя отменить приказ, уже подписанный им в Париже, о возведении его в сан фельдмаршала. Там же король прусский прислал графу Аракчееву бриллиантовую звезду ордена Черного Орла, но он возвратил ее.[6]

Он находил, что и так награжден чрезмерно — он был другом «освободителя Европы» и оставался им до конца жизни последнего.

Как еще можно было наградить его?

Другом и главным советником государя Александра Павловича он и вернулся в Россию, где ему предстояла деятельность, заставившая заволноваться Европу.

XIV

СРЕДИ ЗНАКОМЫХ ЛИЦ

Остальные действующие лица нашего рассказа, принимавшие активное участие в войне — Николай Павлович Зарудин, Андрей Павлович Кудрин и Антон Антонович фон Зеeman также благополучно окончили кампанию и, побывав в Париже, вернулись в Петербург с теми же чувствами, с теми же идеями и с теми же идеалами в душе.

Первые двое вернулись полковниками, на долю же последнего выпали капитанские эполеты.

Кудрин и Зеeman несколько раз были легко ранены, Зарудин же, несмотря на то, что выказывал положительно чудеса храбрости, — храбрости отчаяния и как бы искал смерти там, где она кругом него косила ежеминутно десятки жизней, провел всю кампанию не

получив царапины, если не считать легкой контузии руки в Бородинской битве, — контузии, продержавшей его в лазарете около трех недель. Он искал, повторяем, опасности и смерти, а они, казалось, настойчиво избегали его.

Желание смерти, вопреки красноречивой проповеди его друга и брата по духу Кудрина, нет-нет да и появлялось в душе еще не окрепшего в учении масонов неопита Зарудина, всякий раз, когда пленительный образ Натальи Федоровны восставал в душе Николая Павловича, а это происходило почти ежедневно.

С памятного, вероятно, читателям их свидания в церкви Александро-Невской лавры, Николай Павлович не видал графини Аракчеевой, ни до, ни после разлуки ее с мужем, о которой не мог не знать, так как об этом говорил весь Петербург, объясняя этот великосветский супружеский скандал на разные лады. Их второе свидание состоялось лишь по возвращении из похода.

Перед отъездом в армию Зарудин получил от неизвестного маленький образок в золотой ризе, с изображением святых Адриана и Наталии. Не трудно было догадаться, кто благословил его этой святыней, если бы даже голос сердца не подсказал ему имя приславшей.

«Она думает обо мне, значит, она любит меня!» — пронеслось в голове Николая Павловича, и эта мысль, увы, лишь порой примиряла его с жизнью.

«Что же что любит, но она потеряна для тебя навсегда, она замужем», — говорил разочаровавшийся внутренний голос.

Этому образку Зарудин приписывал то, что он выходил цел и невредим из страшных опасностей.

«Ее чистая молитва охраняет меня во всех путях моих!» — восторженно думал он.

Жизнь других частных людей, отошедшая, конечно, на второй план, в эти тяжелые для отечества годы, шла своим обычным чередом: молодое росло, старое старилось. Екатерину Петровну Бахметьеву война лишила друга и руководителя, но, как кажется, она не особенно об этом печалилась — ее кузен Талицкий пропал без вести, как гласила официальная справка.

Было семь часов вечера 11 января 1815 года.

В кабинете молодого Зарудина, обстановка которого за это время почти ни в чем не изменилась, если не считать нескольких привезенных из Парижа безделушек, украшавших письменный стол и шифоньерку, да мраморной Венеры, заменившей гипсового Аполлона, разбитого пулей, если помнит читатель, предназначавшейся для самого хозяина этого кабинета, сидели и беседовали, по обыкновению прошлых лет, Николай Павлович Зарудин и его друг Андрей Павлович Кудрин.

Прошедшие года не изменили обоим друзей ни нравственно, ни физически, только две-три морщинки на белом лбу Николая Павловича являлись видимой печатью пережитых им душевных страданий, скрытых им даже от близких ему людей.

Оба офицера с трубками в зубах полулежали в покойных креслах. Зарудин был в персидском архалуке, сюртук Кудрина был расстегнут. Последний с жаром объяснял Николаю Павловичу сущность масонства. Кроме того, что это было любимой темой разговора, коньком Кудрина, он видел, что друг и брат по духу недостаточно тверд в вере, недостаточно предан великому учению, не всецело отдался этой высочайшей деятельности на земле, как называл Андрей Павлович деятельность масонских лож.

Он находил еще, что Зарудин, особенно за последнее время, стал невнимателен к его поучениям, рассеян, занят какой-то, видимо, гнетущей его мыслью, хотя догадывался, что эта мысль витала на Васильевском острове, где в то время жила в глубоком уединении покинувшая мужа «соломенная вдова» — графиня Аракчеева.

Этот упрек в рассеянности Зарудина, особенно, если судить по его поведению в описываемый нами вечер, был вполне основателен. Николай Павлович находился, видимо, в волнении, то и дело к чему-то прислушивался и поглядывал на затворенные двери кабинета, ведущие в приемную.

С Андреем Павловичем он поддерживал разговор как бы по обязанности, стараясь навести своего друга на более продолжительный монолог, чтобы под его говор незаметно думать свою особую думу, которой он боялся поделиться даже со своим братом по духу, любимым им на самом деле истинной братской любовью.

Не клеившуюся беседу друзей, к вящему удовольствию последних, прервал своим приходом в кабинет сына Павел Кириллович Зарудин.

XV

СЕНАТОР

Старик Зарудин за эти почти семь лет тоже ни мало не изменился и даже казался как бы помолодевшим. Это происходило главным образом от изменившегося положения Павла Кирилловича в Петербурге.

Он уже не находился в угнетавшем его бюрократическое самолюбие «не у дел», а уже около года как был назначен сенатором.

«Сенаторство» было заветною мечтою старика Зарудина, считавшего это назначение воздаянием за его заслуги по управлению двумя губерниями, воздаянием, хотя и поздним, но все же приятным завзятому бюрократу.

С этим назначением он изменился не только нравственно, но и физически; сознание, что он снова занял место некоторой и даже далеко не незначительной спицы в государственной колеснице, вдохнуло в него силу и жизнь — он выпрямился и гордо стал носить свою еще так недавно опальную голову.

По странной иронии судьбы, назначение сенатором он получил по предстательству того же ненавистного ему Аракчеева. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Несмотря на видимое для всех враждебное отношение к графу Алексею Андреевичу, Павел Кириллович внутренне сознавал, как свои провинности, так и то значение, которое «железный граф» имел в управлении государством. Не признавая из упрямства открыто его заслуг, он втайне хорошо видел и понимал их. Аракчеев был и продолжал оставаться силой — этого не мог отрицать Павел Кириллович. Окружив себя лицами, враждебными всецельному графу, он увидал, что эти лица далее глумления над царским любимцем «за стеною» не идут и от них ему нечего ждать нужной протекции, а между тем, чувствовать себя выкинутым за борт государственного корабля для честолюбивого Зарудина стало невыносимым, и он решил обратиться к тому же, как он уверял всех, злейшему врагу его — графу Аракчееву.

Надо заметить, что решимость стоила Павлу Кирилловичу не дешево — она стоила ему в десяток начатых и разорванных в клочки писем к всецельному графу. Наконец, одно из писем

удовлетворило его.

Вот что написал он:

«Вы удивитесь, вероятно, получив письмо от человека вам неприятного, но это самое должно возбудить в вас чувство самолюбия, видя, что я, доведенный вами до последней крайности, вас же избрал орудием к оказанию мне справедливой защиты, предполагая в вас благородство превыше мести.

Я тридцать пять лет в службе, был губернатором в двух губерниях и везде был отличаем начальством и великой княгиней Екатериной Павловной. Никогда не просил, никогда ничего не получал и до сих пор не имею даже в петлице украшения. Ныне по проискам и клевете лишен места, а с тем вместе, дневного пропитания, и подобно страдальцу при овчей купели, взываю: человека не имам.

В вас-то надеюсь я обрести такого человека, почему и прибегаю об оказании мне справедливого возмездия за мою усердную и беспорочную службу».

Павел Кириллович отправил письмо.

По словам посланного, граф Алексей Андреевич взял его, прочел, положил на бюро и сказал:

— Кланяйся Павлу Кирилловичу!

Зарудин стал ждать ответа, но ответ не приходил.

Прежняя злоба против графа заклокотала в душе старика, особенно когда он узнал, что Алексей Андреевич выехал за границу, видимо, ничем не разрешив его просьбы.

Павел Кириллович не хотел принять во внимание, что его полное достоинств и самовосхваления письмо могло прямо не понравиться графу и остаться без всяких последствий. Он упрямо продолжал думать, что граф Алексей Андреевич обязан был оценить то унижение, которое испытывал он, Зарудин, обращаясь с просьбой к нему, Аракчееву.

Время шло. Прошло два года, когда в один прекрасный день «сенаторский курьер» привез Павлу Кирилловичу высочайший приказ о назначении его сенатором. Приказ был подписан и Аракчеевым.

Старик ожил, но не примирился с графом — он поставил ему в счет свое долгое томительное ожидание.

Приход Павла Кирилловича на половину сына вывел, повторяем, обоих друзей из натянутой беседы. Разговор сразу сделался общим. Николай Павлович, впрочем, почти не принимал и в нем участия.

Волнение его, видимо, достигло крайних пределов, что даже не ускользнуло от Павла Кирилловича, не отличавшегося особой наблюдательностью.

— Что ты точно на иголках сидишь? — обратился он к сыну.

— Я, что я, я... ничего! — захваченный врасплох, растерянно ответил Николай Павлович.

— Знаем мы эти «ничего»! Ох, не дело ты затеял, Николай, вот при твоём друге-приятеле скажу, что не дело... — продолжал старик.

— Я вас не понимаю, батюшка! — упавшим голосом произнес молодой Зарудин.

Иван Павлович Кудрин недоумевающе поглядывал на отца и сына: он, видимо, не был

посвящен в то дело, которое, по словам Павла Кирилловича, затеял его сын.

— Не финти, очень хорошо понимаешь, я сам не люблю, ты знаешь, графа Аракчеева, но на одной дорожке с ним столкнуться и сам не желаю, да и тебе бы не советовал.

Николай Павлович сидел молча, опустив голову.

— Может, у вас там с графиней все и по хорошему, по чести и по-божески, да на людской роток не накинешь платок, в городе не весть что про вас болтают, а граф не из таких, чтобы вынести позор своей фамилии...

Молодой Зарудин вспыхнул и гордо поднял голову.

— Подлая, гнусная сплетня, и я, и Наталья Федоровна можем смело смотреть в глаза всем честным людям... при том же, не нынче-завтра, она будет разведена с графом формально...

— Как формально? — почти в один голос спросили Павел Кириллович и Кудрин.

Николай Павлович только что хотел им ответить, как дверь кабинета отворилась и в комнату почти вбежал гвардейский офицер.

— Антон! Наконец-то ты! — воскликнул молодой Зарудин. Вошедший был действительно наш старый знакомый Антон Антонович фон Зееман.

С первого взгляда, впрочем, было довольно трудно узнать в этом статном, белокуром красавце, с мужественным энергичным лицом, того тщедушного блондина, почти мальчика, каким семь лет тому назад мы знали юнкера фон Зеемана.

Мужчину всегда изменяет до неузнаваемости или война, или любовь.

Ничего нет мудреного, что Антон Антонович изменился, — он испытал первое, а в описываемое нами время испытывал второе.

XVI

ТУРЧАНКА

Темно-коричневый домик Хомутовых, на 6-й линии Васильевского острова, за истекшие семь лет тоже ни мало не изменился, если не считать немного выцветшую краску на самом доме и на зеленых, в некоторых местах облупившихся ставнях.

Не то было с его обитательницами — молодое росло, старое старилось.

Дарью Алексеевну Хомутову состарило не столько время, сколько пережитое ею горе; не говоря уже о смерти ее мужа и оказавшемся несчастным замужестве любимой дочери, Отечественная война унесла ее обоих сыновей, с честью павших на поле брани.

Дарья Алексеевна со стойкостью древней спартанки вынесла эти, один почти вслед за другим, обрушившиеся на нее удары судьбы — между смертью ее двух сыновей не прошло и двух месяцев, — но все же эти удары не могли пройти бесследно для ее здоровья, и вместо доброй пожилой женщины, вместо прежней «бой-бабы» была теперь дряхлая, расслабленная старушка.

В стенах темно-коричневого домика уже не раздавался властный голос «старой барыни»,

всецело передавшей бразды несложного хозяйственного правления в руки Натальи Федоровны — «ангела-графинюшки», как называли ее прислуга и даже соседи, хотя сама она очень не любила упоминания ее титула, а домашним слугам было строго-настрого запрещено именовать ее «ваше сиятельство».

По внешности Наталья Федоровна мало изменилась со времени окончательного разрыва со своим знаменитым мужем. Ее худенькое, почти прозрачное личико приобрело лишь выражение доселе небывалой серьезной вдумчивости, а манеры и походка печать какой-то деловитости и обдуманности.

За последнее время, впрочем, на этом лице стала порой появляться редкая за истекшие семь лет гостя — улыбка.

Вызывать ее на постоянно подернутое дымкой грусти лицо несчастной молодой женщина имела власть лишь одна из обитательниц желто-коричневого домика, вносящая в него оживление шумной юности и освещавшая пасмурный фон его внутренней жизни лучом своей далеко недюжинной красоты.

Эта волшебница была приемыш и крестная дочь Дарьи Алексеевны и любимица Талечки — Лидочка, прозванная дворовыми людьми дома Хомутовых «турчанкою», что отчасти оправдывалось, как, вероятно, не забыл читатель, историей ее рождения.

Мы лишь мельком упомянули о ней в нашем повествовании, так как она до сих пор не играла и не могла играть в нем какой-либо роли по малолетству — в последний раз мы встретили ее у постели умирающего Федора Николаевича Хомутова, когда ей шел двенадцатый год.

В описываемое нами время это уже была не та стройненькая, смуглая хорошенькая девочка, какую мы знали ее семь лет тому назад, а вполне и роскошно развившаяся девушка с черной как смоль косою, с матовым цветом лица, с ярким румянцем на щеках, покрытых нежным пушком, но с прежними красиво разрезанными глубокими темно-коричневыми глазами, полузакрытыми длинными ресницами и украшенными дугами соболиных бровей.

Мы намеренно придали глазам Лидочки эпитет «прежние», так как несмотря на ее вызывающую красоту, взгляд ее глаз сохранил выражение детской чистой наивности, и они, эти глаза, являлись, согласно известному правилу, верным зеркалом ее нетронутой соблазнами мира и знанием жизни души.

Развившись физически, она осталась тем же ребенком, каким была семь лет тому назад.

Эти семь лет, преобразив тщедушную девочку в высокую, полную, пышущую здоровьем девушку, не коснулись, к счастью, *tabula rasa* ее души, на которой не было еще написано ни одного слова, не было сделано ни одной черточки.

Этим Лидочка, или, как звали ее теперь, Лидия Павловна (по крестному отцу, которым был один из адъютантов генерала Хомутова) обязана всецело Наталье Федоровне Аракчеевой.

Переехав в дом матери, последняя всецело посвятила себя и все время своей любимице, с любовью стала заниматься с нею и передавать ей всю премудрость, вынесенную ею из уроков и книг m-lle Дюран.

До этого времени с Лидочкой занималась сама Дарья Алексеевна, обучая ее знанию русской грамоты, на которой, и то с грехом пополам, оканчивалось и ее собственное образование.

Девочка, боготворившая свою «тетю Талю», с охотой просиживала с ней долгие часы за книгой или беседой.

Вместе со знанием Наталья Федоровна старалась передать своей ученице и свои взгляды на

жизнь, на людей, на права и обязанности женщины, но при этом не могла не заметить, что пылкая Лидочка подчас горячо протестовала против проповедуемого молодой женщиной «самоотречения», «самопожертвования», почти «нравственного аскетизма», поражая нередко свою воспитательницу возражениями и выводами чисто практическими, хотя они несомненно были лишь результатом склада ума ученицы, ума пытливого и наблюдательного.

С годами эти протесты принимали все более серьезную форму.

Быть может, это происходило от того, что сама проповедница, вспоминая свои неудачи в применении к жизни принципов m-Ile Дюран, не могла быть на высоте своего признания, и у ней самой прорывались едва заметные горькие ноты, жалобы на коротко и бесполезно прожитую жизнь. Наталья Федоровна считала себя заживо погребенной.

Ноты эти, конечно, не ускользнули от чуткой девочки.

Ученица усомнилась в искренности своего учителя — пытливый мозг, освобожденный от гнета авторитета, стал работать самостоятельнее.

Годы шли.

Это были томительно однообразные годы. Все в России, от мала до велика, с нервным напряжением прислушивались к известиям с театра войны, казалось, с непобедимым колоссом — Наполеоном. В каждой семье усиленно бились сердца по находившимся на полях сражения кровопролитных браней близким людям. Частные интересы, даже самая частная жизнь казались не существующими.

Смерть братьев Натальи Федоровны в конце 1812 года, когда Лидочке исполнилось уже шестнадцать лет, разразившаяся двумя, с небольшим промежутком, ударами над домом Хомутовых, как-то особенно сблизила трех одиноких женщин вообще, а Наталью Федоровну и Лидочку у постели заболевшей с горя Дарьи Алексеевны в особенности.

Общее горе уравнивает лета — так было с воспитательницей и воспитанницей — Они стали как-то незаметно подругами.

Наталья Федоровна со своими, накипевшими на сердце в течение стольких лет, невысказанными горькими думами, не была в силах отказать себе в подробной исповеди перед новой подругой.

XVII

ГЕРОЙ

В один из длинных зимних вечеров 1814 года, когда Дарья Алексеевна уже спала, Наталья Федоровна заговорила и заговорила неудержимо.

Лидочка с напряженным вниманием слушала ее, не спуская с нее своих прекрасных глаз.

Ей стало в один час известно и понятно все, о чем она только догадывалась, кроме, конечно, той житейской грязи, которой было забрызгано прошлое графини Аракчеевой, и воспроизводить которую в подробностях последняя не стала бы не только перед восемнадцатилетней девушкой, но даже наедине сама с собою.

Она старалась сама забыть эти подробности.

Наталья Федоровна рассказала лишь мечты своей юности, разбитые о камень жизни, свою первую любовь, свою жертву подруге, свою жизнь в замужестве и окончила жалобами на свое вконец разрушенное счастье, на свое в настоящее время бесцельное существование.

— Как же, тетя Таля, ты мне советовала относиться к людям точно так же... ведь, значит, я была права, говоря, что они не стоят этого... — серьезно и вдумчиво заметила Лидочка, выслушав рассказ.

— Надо терпеть, терпеть... Это крест, посылаемый Богом! — порывисто спохватилась Наталья Федоровна, с ужасом увидав последствия своей откровенности.

Она и не догадывалась, что в этот вечер дала своей воспитаннице лучший и полезнейший урок.

— А я так думаю, что не надо делать людям зла, но и не следует давать им возможность и волю делать его безнаказанно себе... — после довольно продолжительной паузы задумчиво произнесла молодая девушка, видимо, пропустив мимо ушей патетический возглас «тети Тали» о терпении и кресте.

Одного несомненно достигла молодая женщина своим влиянием — сердце ее воспитанницы-друга, несмотря на то, что последней шел восемнадцатый год, билось ровно ко всем окружавшим ее и сталкивавшимся с ней молодым людям.

«Герой» ее первого романа, неизбежного в жизни молодой девушки, как корь и скарлатина в детстве, еще не появлялся, и Наталья Федоровна начинала даже надеяться, что он не появится никогда.

Но, увы, это была, конечно, только надежда.

Появление героя было лишь вопросом времени.

Такое время настало. Под восторженным взглядом голубых глаз Антона Антоновича фон Зеемана — сердце Лидочки забило тревогу.

Достойная воспитанница «тети Тали» не вдруг, впрочем, откликнулась на этот призыв, она даже как-то испугалась нового для нее ощущения, насторожилась, ушла в себя и стала отдаляться от предмета ее грез и мечтаний.

Антон Антонович заметил это, и, не будучи знатоком женского сердца, принимал наружное охлаждение к нему молодой девушки за чистую монету.

Это только усугубляло силу его чувства.

Но прежде, нежели излагать дальнейший ход их романа, расскажем хотя вкратце читателю, каким образом столкнулись на жизненном пути эти два лица нашего повествования, не игравшие до сих пор в нем особенно значительной роли.

Энтузиазм русского общества при встрече героев Отечественной войны, вернувшихся из Парижа, был неопишем.

Сказать, что всюду их принимали с распростертыми объятиями, что всюду они были более чем желанные гости — значит, сказать очень мало.

Вернувшиеся счастливые «сыны Марса» не заставляли себя ждать в светских гостиных, хотя благоразумнейшие из них очень хорошо понимали, что большой процент того общественного

поклонения, которое оказывалось им, следует отнести не к их личным заслугам, а к той общей исторической услуге их отечеству, возбуждавшей патриотический восторг.

Не отказывать в возможности излияния этого чистого восторга они считали своей обязанностью.

К числу этих благоразумнейших военных лауреатов принадлежали и наши знакомцы: Николай Павлович Зарудин и Антон Павлович Кудрин.

Одним из первых визитов по возвращении из заграницы был визит к Дарье Алексеевне Хомутовой.

На этом настоял Андрей Павлович.

Зарудин вздрогнул и побледнел, услышав это предложение своего приятеля.

— Зачем это?.. Беспокоить! — с дрожью в голосе произнес он.

— При чем тут беспокойство... Мы обязаны это сделать... Она мать наших двух товарищей по оружию, умерших смертью героев на честном поле брани... — по обыкновению, с присущим ему пафосом, отвечал Кудрин.

— Да, да... это так... но... — попробовал было возразить Николай Павлович.

Кудрин перебил его.

— Не захочет принять нас — не примет... Но, повторяю, это наша обязанность... выразить соболезнование... Мы едем не к дочери, к которой, вероятно, относится твое «но»... Она, наверное, к нам и не выйдет, а впрочем, может быть... Ведь с мужем у нее все конечно.

Вся кровь бросилась в голову Зарудина при последних словах приятеля.

«Может быть», — мысленно повторял он и мгновенно понял, что его возражения против посещения дома Хомутовых ни к чему не поведут, что он все же поедет туда, благо есть предлог и предлог законный, побыть хотя несколько минут под одной кровлей с ней, подышать одним с ней воздухом.

— Хорошо, поедем... — лаконично согласился он вдруг. Визит был назначен на другой день.

Николай Павлович провел бессонную ночь. Он и боялся, и вместе с какою-то внутренней жгучею болью желал встретиться еще хоть раз с Натальей Федоровной... с «Талечкой», как мысленно продолжал называть он ее.

«Она наверное не выйдет, а впрочем, может быть...» — гвоздем сидели в его голове слова Кудрина, и не покидали его до самого того момента, когда он на другой день, вместе с Андреем Павловичем, позвонил у подъезда заветного домика на Васильевском острове.

Дарья Алексеевна встретила обоих друзей со слезами благодарности.

В этот момент она забыла, казалось, все прошлое, она помнила только одно, что перед ней люди, бывшие на том роковом поле, где легли костями два ее сына.

— Талечка, Талечка!.. Посмотри, кто к нам приехал, — заволновалась старушка, встречая в зале дорогих гостей и проводя их в гостиную, где за каким-то рукоделием сидели графиня и Лидочка.

Обе женщины обернулись на этот возглас. В гостиную входили уже Кудрин и Зарудин.

По лицу графини Натальи Алексеевны Аракчеевой разлилась сперва смертельная бледность, а затем она вдруг вспыхнула ярким румянцем.

Это было, впрочем, делом одного мгновения. Она снова прочла в глазах Николая Павловича, неотводно устремленных на нее, ту немую мольбу, которая заставила ее продолжить с ним свидание в церкви святого Лазаря семь лет тому назад. Она прочла в этих глазах, как и тогда, и то, что он никогда не заикнется ей о своей любви и не покажет ей, что знает о ее сочувствии ему.

Она подарила его почти ласковым взглядом.

Они оба мгновенно душой поняли друг друга и между ними сразу установилась та непринужденность, которая возникает между людьми, твердо и бесповоротно установившими их взаимные отношения.

Она одинаково любезно поздоровалась с обоими и представила их Лидочке.

Завязался общий разговор, конечно, на тему только что окончившейся кампании.

Дарья Алексеевна, узнав от Кудрина и Зарудина, что ее покойные сыновья были во время кампании особенно дружны с их общим приятелем капитаном фон Зеemanом, настойчиво стала просить обоих привезти к ней как можно скорее Антона Антоновича.

Она напомнила об этом и при прощании, прося их не забывать ее, старуху.

— Проси и ты, Талечка! — обратилась она к дочери.

Наталья Федоровна бросила испуганно-испытующий взгляд на Николая Павловича.

— Милости просим... Я всегда рада... Но у нас скучно, — произнесла она.

— Вот и будет веселее, — заметила Дарья Алексеевна. Через несколько дней Николай Павлович Зарудин представил Дарье Алексеевне Антона Антоновича.

Таким образом состоялась встреча «турчанки» Лидочки с ее «героем».

XVIII

НОВЫЕ МЕЧТЫ

Прошло около двух месяцев. Наступил январь 1815 года.

Николай Павлович Зарудин и Антон Антонович фон Зеeman были за это время частыми гостями на 6 линии Васильевского острова. Дарья Алексеевна не ошиблась — в доме стало веселей.

Наталья Федоровна оживилась: первый шаг к сближению ее с Николаем Павловичем был сделан, дальнейшие его визиты являлись лишь последствиями.

Да и за что ей было отстраняться его, видимо, даже не любившего ее теперь земною любовью, а боготворившего ее за ее чистоту, за страдания, не ухаживавшего за ней, а скорее поклонявшегося ей? Она сама любит в нем не его, а только свое светлое прошлое, она видит в нем единственного своего друга после матери и... только! Разве это грех? Так рассуждала молодая женщина первое время, проводя светлые минуты своей мрачной жизни в обществе

любимого и любящего ее человека. Минуты эти затем обратились в часы. Оба они порой, увлеченные беседой, совершенно забывали, что в жизни их обоих прошло семь лет, да они и старались забыть эти роковые годы.

Наряду с этим продолжением платонического романа двух уже испытанных в битве с жизнью людей шел другой более реальный по своим конечным целям роман между Антоном Антоновичем и Лидочкой. Мы в нескольких штрихах уже определили взаимные отношения этих двух влюбленных в описываемое нами время, входить в подробности, значит, повторять то, о чем исписаны миллионы пудов бумаги, значит, писать сентиментальный роман, так увлекавший наших бабушек. Это не входит в нашу задачу. Повторим лишь, что чем больше старалась молодая девушка, в силу боязливой скромности, избегать человека, заставившего ее впервые испытать сладостно томительное чувство любви, тем сильнее это чувство охватывало пожаром сердце этого человека.

Отношения между Лидочкой и фон Зеemanом не прошли, конечно, незамеченными старшими. Дарья Алексеевна от души, как сына, полюбившая друга своих покойных сыновей, радовалась, глядя на «ахтительную парочку», как выражалась она на своем своеобразном полковом жаргоне. Николай Павлович и Наталья Федоровна, несчастные во взаимной любви, не преминули, конечно, взять влюбленную парочку под свое горячее покровительство. Им казалось, что они вместе с ними переживают снова первые дни своей любви, своих сладких грез и мечтаний.

Антон Антонович глубоко ценил это и еще глубже, еще горячее привязался к своему другу, Наталью же Федоровну стал положительно боготворить. Он готов был для нее идти в огонь и в воду, не на словах, а на деле.

Случай испытать эту его преданность вскоре представился.

В первое январское воскресенье Наталья Федоровна, вместе с Лидочкой возвращаясь пешком из церкви, почти у самого подъезда своего дома столкнулась лицом к лицу с Екатериной Петровной Бахметьевой.

Последняя, видимо, ожидала ее.

— Ваше сиятельство... на одну минуту... — со слезами в голосе произнесла Бахметьева.

Наталья Федоровна остановилась, заслонив собою шедшую с нею девушку, как бы охраняя ее от малейшего соприкосновения с этой женщиной.

— Что... вам угодно... от меня? — с трудом спросила она.

— Несколько минут беседы... На вас вся надежда несчастной девушки, когда-то бывшей вашей подругой... — прерывистым шепотом начала Бахметьева, и слезы градом потекли из ее глаз.

Наталья Федоровна молчала.

— Я готова на коленях умолять вас об этом... — продолжала та и сделала движение опуститься к ногам молодой женщины.

— Что вы, что вы... на улице... Зайдемте ко мне... Лидочка, пройди вперед... — быстро сказала Наталья Федоровна.

В ее сердце уже закралась жалость к стоявшей перед ней плачущей бывшей подружке. По своей чистоте она и не подозревала, что делается жертвой гнусной, давно подготовленной комедии.

Они вошли в дом.

Наталья Федоровна пригласила Бахметьеву в гостиную и по ее просьбе плотно затворила все двери.

Екатерина Петровна сидела в это время в кресле, низко опустив голову.

— Я вас слушаю!.. — села против нее графиня.

Убитым, казалось, безысходным горем голосом начала рассказ Екатерина Петровна. Она описала ей свое падение в Грузине, выставив себя жертвой соблазна графа, свою жизнь за последние семь лет, свою сиротскую, горькую долю.

Доверчивая Наталья Федоровна невольно расчувствовалась.

— Чем же я могу помочь вам? — сочувственно спросила она.

— Он обещал на мне жениться... А теперь, а теперь, когда под сердцем моим я ношу его ребенка...

Бахметьева остановилась и указала глазами на свою фигуру, на самом деле красноречиво доказывавшую справедливость ее слов.

— Теперь он... перестал даже бывать... Вы расстались с ним навсегда... Напишите ему... что вы заступитесь за меня, что сами обратитесь к государю с просьбой о разводе; он тотчас же предупредит вас и поправит свою вину относительно меня... Иначе я сама дойду до государя и государыни и брошусь к их ногам, умоляя заставить его покрыть мой позор... Я решилась на все... я не могу долее выносить такую жизнь... я терпела семь лет... семь долгих лет...

Екатерина Петровна истерически зарыдала.

Наталья Федоровна подошла к рыдавшей Бахметьевой.

— Успокойтесь, я напишу ему... я не буду угрожать... но он сделает все... он честный человек... а вы... дворянка... Он просто упустил это из виду за массу дел. Вы не говорили ему об этом?

— Нет... я боюсь... его... — прошептала Екатерина Петровна.

— Я напишу, напишу на днях, — снова уверяла ее графиня и отпустила от себя почти обласканную.

По уходе Бахметьевой молодая женщина задумалась. Она решилась посоветоваться с Зарудиным и Зееманом; Они явились в тот же вечер. Она рассказала им все, конечно, в отсутствии Лидочки.

По окончании рассказа взгляды Натальи Федоровны и Зарудина встретились. Они прочли в этих взглядах одну, появившуюся разом, у них мысль.

Если граф согласится на развод, то она, Наталья Федоровна, будет свободна.

Новые мечты о возможности, быть может, для них счастья снова заютились в их сердцах.

Прошло несколько дней, во время которых графиня усиленно работала над письмом к мужу, изорвав несколько десятков начатых, но неоконченных. Наконец, письмо было написано и одобрено триумвиратом.

Но кто решится отвезти его графу, передать в собственные руки и просить ответ?

На этом главном вопросе, как всегда, в начале не останавливались, он возник лишь в конце и поставил всех трех в тупик.

Николаю Павловичу Зарудину, в силу ходивших по городу сплетен об его отношениях к графине, было неловко взять на себя это дело.

— Я отвезу письмо... — решил Антон Антонович.

Наталья Федоровна и Зарудин взглянули на него с испугом.

— Ты... Вы... — в один голос спросили они.

— Да, я... Это решено бесповоротно... Иначе, все равно, при первой встрече с графом я вызову его на дерзость и потребу ю удовлетворения... Отвезти письмо — меньше шансов погибнуть.

В голосе молодого офицера звучала такая бесповоротная решимость, что Зарудин и графиня согласились.

Любящие люди, впрочем, все немножко эгоисты.

С этим-то поручением графини Аракчеевой и появился капитан фон Зеeman в приемной всеcильного графа 11 января 1815 года «по личному, не служебному делу», как заявил он пораженному его присутствием Клейнмихелю, что, вероятно, не забыл читатель.

XIX

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

День 11 января 1815 года оказался знаменательным не для одной частной жизни главных действующих лиц нашего правдивого повествования, но и для всей России. В этот день в глубине ангельского сердца государя Александра Павловича зародилась мысль, которую по справедливости можно было назвать «мыслью от сердца», осуществление которой поразило и встревожило всю Европу, но которая, увы, в конце концов, при ее осуществлении на деле, ввиду отсутствия умелых исполнителей, оказалась тоже лишь дивной царственной мечтой, разбившейся о камень жизни.

Расскажем этот исторический момент, ярко и рельефно характеризующий великого венценосца.

В 1815 году повторилась почти такая же жестокая зима, какая была и в незабвенном для России 1812 году, когда русский богатырь-мороз, явился истинным посланником Всемогущего Бога для избавления в союзе с огнем народного негодования, выразившемся в московском пожаре, многострадальной русской земли.

Холод и жар, сплотившись вместе, изгнали пришельцев, и вместо французского ига, которое так самонадеянно готовил для нас избалованный ратной удачей Бонапарт, доставили нам славу освободителей Европы.

11 января был страшный мороз при ярком блеске холодного петербургского солнца.

Последнее, не достигнув еще полудня, целым снопом блестящих лучей вырвалось в зеркальные окна Зимнего дворца и освещало ряд великолепных комнат, выходивших на

площадь, среди которой не возвышалась еще, как ныне, грандиозная колонна, так как тот, о которым напоминает она всем истинно русским людям, наполняя их сердца благоговением, был жив и царствовал на радость своим подданным и на удивление и поклонение освобожденной им Европы.

Комнаты дворца были пусты.

Государь Александр Павлович находился у себя в кабинете. Это была большая, высокая комната, увешанная оружием и портретами, среди которых особенно выделялся висевший над камином портрет прелестной молодой женщины: ее улыбающееся личико с полными щечками и вздернутым носиком, сплошь освещенное солнечными лучами, дышало, несмотря на неправильность отдельных черт, какую-то неземною прелестью, какую-то гармоничною красотою. Посредине стоял рабочий стол государя с восковыми свечами в высоких канделябрах. Остальная меблировка кабинета отличалась необыкновенною простотою, хотя и не была лишена комфорта.

Император Александр Павлович, в расстегнутом мундире, из-под которого виднелся белый жилет, задумчиво стоял у мраморного камина, облокотясь правой рукой на выступ его карниза. Ему шел в это время тридцать восьмой год, лета цветущие для мужчины, но на его прекрасное лицо, с необъяснимо приятными чертами, соединяющими в себе выражения кротости и остроумия, государственные и военные заботы уже наложили печать некоторой усталости, хотя оно по-прежнему было соразмерной полноты и в профиль напоминало лицо его великой бабки — императрицы Екатерины II.

Невдалеке от государя в почтительной позе, в застегнутом наглухо мундире стоял граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Выражение лица советника государя было угрюмо и сосредоточенно.

Кроме этих двух лиц, в глубине кабинета находился дежурный флигель-адъютант князь Алексей Федорович Орлов.

После доклада, который обыкновенно кончался в десять часов утра, государь задержал графа Аракчеева и стал передавать ему свои соображения о необходимых улучшениях в учреждениях для просвещения народа, высших и низших, а также задуманный им вызов некоторых иностранных ученых.

— Я всегда был, да и теперь глубоко убежден, что развитие умственных способностей подданных может увеличить их благосостояние и доставить государству значение, влияние и вес. Ты, надеюсь, согласен со мной, Алексей Андреевич? — заключил свою речь государь.

— Не смею, ваше величество, входить об этом в рассуждение, не учен настолько, мое дело — фронт да стрельба... — уклончиво ответил Аракчеев.

— Заскромничал некстати, — улыбнулся государь, бросив взгляд на Орлова, который тоже почтительно улыбнулся, — не первый год я тебя знаю, дело не в науках, а в светлом уме и верном взгляде, а их тебе не занимать, другим — хоть уступить и то в пору.

Граф Аракчеев низко поклонился, но промолчал.

— Так как же, правильно ли я сужу, желая идти следом за моим прадедом Петром Великим, дать моим подданным следить за европейской наукой... за европейским развитием... или же нет? Говори...

— Вон, Сперанский недавно заметил, что там законы лучше наших, а люди хуже, так может, ваше величество, это и происходит от их законов, науки и развития... — снова, не отвечая на

вопрос и глядя куда-то в пространство, заметил граф.

— Ну, вижу, вижу, ты не любишь Европы; самобытность и патриотизм — качества достойные похвалы, но все же не следует так узко смотреть на вещи, для молодого народа необходимо учиться у поживших наций...

— Опасно, ваше величество, вливать старое вино в новые мехи... сильно бродит оно... Недавно вернулись мы из этой самой Европы, а как уже имел я честь докладывать вашему величеству, между офицерами явилось нежелательное брожение умов, влияющее на дисциплину... Полковник Зар...

— Знаю, знаю... Не называй фамилий... Я тебе уже говорил... я сам держусь тех же идей... не могу же я за них взysкивать... Прямого нарушения дисциплины ведь не было?..

— Не было! — мрачно отвечал Аракчеев. — Но зараза распространяется исподволь... Долг верноподданного... Необходимо предупредить... — отрывисто добавил он.

— Верю, верю в тебя, Алексей Андреевич, в твои добрые намерения, но верю тоже и в мои войска, покрытые европейской славой...

Государь медленно подошел к окну.

XX

МЕЧТЫ ВЕНЦЕНОСЦА

Из-под арки главного штаба шел, направляясь в казармы, Преображенский караул.

Государь движением руки подозвал к окну графа Аракчеева, продолжавшего насупившись стоять у камина.

— Кстати, посмотри, Алексей Андреевич, на моих гвардейцев. У меня всякий раз, как я смотрю на них, сердце обливается кровью, сколько они в походах испытали трудов, лишений и опасностей. Поход кончился, мы с тобой отдыхаем, а им служба в мирное время едва ли не тягостнее, чем в военное. Как подумаю еще и то, что по выходе в отставку, после 25 лет службы, солдату негде голову преклонить, у него нет семейного очага.

— Надо, ваше величество, подумать об этом и устроить быт войск к лучшему.

— Да, да, — поспешно заговорил государь, — тем более, что нам придется серьезно обдумать меры усиления войск, положение европейских государств меня сильно тревожит, надо ожидать новых осложнений, которые могут привести к новым войнам, надо отыскать средства усилить армию без обременения государства, так как Гурьев все жалуется на плохие финансы.

— Этого не трудно достигнуть, ваше величество, — спокойно и твердо отвечал Аракчеев, — необходимо водворить войска на казенных землях, занятых экономическими крестьянами, тогжа они сами в себе найдут средства своего содержания.

— Говори, каким образом.

— Это не будет новостью для вашего величества, вам известно, что я, будучи военным министром, поселил в 1807 году на казенных землях Могилевской губернии два батальона

елецкого и полоцкого полков, но дело не получило развития по независящим от меня обстоятельствам...

— Да, да, помню... Так ты хочешь?..

Государь остановился.

— Я ничего не смею хотеть, ваше величество, я лишь указываю на единственное, по моему мнению, средство исполнить желание вашего величества и осуществить выраженную вашим величеством заботу о войсках и думаю, что принятая мера вызовет беспокойство Европы...

— Да, да, водворить на землях, возвратить в мирное время семьям, из бобылей сделать хозяев... это мысль хорошая, светлая мысль... И скоро ты можешь мне представить проект?..

— Времени на это потребуется немного, так как существуют иностранные образцы...

— Вот и попался... — засмеялся государь, — так ты за этим пойдешь в ненавистную тебе Европу?..

— Я, ваше величество, пойду в старую монархическую, а не в новую революционную Европу... — угрюмо ответил Аракчеев.

— Тебя не слышишь. Продолжай...

— Военные поселения еще в конце XV столетия существовали в Австрии. Там учреждение их было вызвано желанием оградить южную границу от нашествия турок. Для устройства этих поселений, вся Германия дала средства императору Рудольфу, по воззванию которого на свободные земли между реками Кульною и Унною сошлось до 4000 славян, кроатов, масса переселенцев из Валахии и из христианских провинций, страдавших под владычеством турок. Правительство дало пришельцам земли и освободило их от податей, они были разделены на роты и находились в ведении военного министра. Кроме того, осмелюсь доложить вашему величеству, что хотя я и указал на европейский пример, но военные поселения и для России дело исторически новое. Казачье народонаселение по Дону и Днепру, по Кубани и Уралу, на берегах Черного моря и в Сибири составляют не что иное, как военные поселения...

— Верно, верно, — заметил государь, — но я прибавлю тебе пример Швеции, где есть отдельные поселения в виде отдельных хозяев, из которых каждое выставляет солдата. Этому хозяину отводится такое количество земли, чтобы он мог прокормить себя и свою семью, дается все необходимое для хлебопашества; казна же дает только ружье и амуницию, а при выступлении в поход — жалованье.

— Я приму это к сведению, ваше величество, — с поклоном отвечал Аракчеев. — Позвольте мне лишь выразить мнение о цели этих поселений...

— Конечно же, говори! — нетерпеливо воскликнул государь.

— Военные поселения должны, по моему убеждению, образовать резерв войск, обязанный заниматься сельским хозяйством, содержать себя и, неся военную службу, быть всегда готовым к бою...

— Так, совершенно так, — радостно сказал государь, — устрой же мне это, Алексей Андреевич, это моя заветная мечта, этим ты доставишь мне большое удовольствие, и я тогда умру спокойно.

— Постараюсь, ваше величество, но решусь заметить, что выполнение этой важной меры должно быть поручено одному лицу, так как при многих распорядителях, дело едва ли может

удастся так быстро и успешно...

— Конечно, конечно, и кому же, как не тебе, генерал-инспектору всей пехоты, распорядиться этим делом, я к тебе обратился, на тебя и полагаюсь; лучшего исполнителя и не найти, я помню твою гатчинскую службу при покойном отце моем. Не правда ли, Алексей Федорович? — обратился государь к стоявшему в некотором отдалении князю Орлову.

— Совершенно верно, ваше величество, в деле военных преобразований не найти искуснее Алексея Андреевича, все, я уверен, совершится в тишине и порядке...

В его голосе прозвучала чуть заметная ирония.

— Одно только, крут ты, а то бы был совершенство, — шутя обратился к Аракчееву государь.

Мутные глаза графа на мгновение вспыхнули. Произошло ли это от замечания государя или же от тона похвалы князя Орлова — неизвестно.

— Я не крут, ваше величество, а требую службы государю и отечеству по своей мерке, служи, как я служил, меня отличили, из ничтожества вызвали, значит, я служил неплохо, пусть служат так и другие, делом, а не словами и... интригами...

Он чуть заметно метнул взглядом в сторону князя Орлова.

— Знаю, знаю, я пошутил... — прервал его государь, и на его устах появилась та обворожительная улыбка, которая покоряла ему все сердца.

Он не терпел размолвок и старался всегда потушить всякое столкновение в самом его начале.

— Так, пожалуйста, ты мне устрой моих солдатиков, — добавил он, взглянув на часы.

— Слово государя моего для меня закон! — с низким поклоном отвечал Аракчеев.

— Приезжай нынче вечером... — подал ему государь руку.

Едва Алексей Андреевич вышел из кабинета государя, как лицо его сделалось еще более мрачным.

— Пошел! — крикнул он кучеру таким голосом, что тот вдруг сделался белей полотна и сани вихрем полетели по площади и свернули на Невский.

Через каких-нибудь пять минут они остановились уже у подъезда домика на Литейной, занимаемого графом Алексеем Андреевичем.

Что произошло затем, уже известно читателям.

XXI

В СУМЕРКАХ

Сумерки в обширной приемной дома графа Аракчеева окончательно сгустились. Был пятый час вечера в исходе.

От долгого нетерпеливого ожидания Антон Антонович фон Зеeman пришел в какое-то

странное напряженно-нервное состояние: ему положительно стало жутко в этой огромной комнате, с тонувшими уже в густом мраке углами. В доме царила безусловная тишина, и лишь со стороны улицы глухо доносился визг санных полозьев и крики кучеров.

— Да что он меня, дуболом, ночевать, что ли, здесь оставить хочет? — проворчал, наконец, сквозь зубы, Зееман. — Да нет, погодишь... Я к тебе в кабинет и без вторичного доклада войду...

Он встал, чтобы привести в исполнение это последнее решение, как вдруг дверь кабинета скрипнула, отворилась, и на ее пороге появилась высокая фигура графа Алексея Андреевича.

Не ожидая из этой двери появления самого графа, Антон Антонович, нервно разбитый долгим ожиданием, вздрогнул и остановился, как вкопанный, широко раскрытыми, почти полными ужаса глазами глядя на приближающегося к нему властного хозяина.

Последний шел медленно, как бы намеренно укорачивая шаги, и тоже в упор смотрел на стоявшего, по военной привычке, на вытяжке молодого офицера.

Наконец, он подошел к нему совсем близко.

— Ко мне? — прогнусил лаконично граф.

— К вашему сиятельству с письмом от ее сиятельства графини Натальи Федоровны, — по-военному, с чуть заметною дрожью в голосе, отрапортовал фон Зееман.

Вынув из кивера, который был у него в левой руке, письмо, он подал графу.

— Ее сиятельство просили обязательно ответа! — добавил он.

— А давно ли гвардейские офицеры на посылках у баб состоять стали? — вместо ответа снова прогнусил Алексей Андреевич, и не успел фон Зееман что-либо возразить ему, быстро, по-военному, повернулся к нему спиной и, так же быстро проследовав в залу, скрылся в своем кабинете.

В кабинете было уже совершенно темно. Граф захлопал в ладоши.

— Огня! — крикнул он явившемуся Степану.

Свечи были зажжены.

Граф Аракчеев не спеша уселся за письменный стол, так же не спеша разорвал конверт и принялся читать письмо.

На постоянно как бы с окаменелым выражением лице Алексея Андреевича невозможно было прочесть никакого впечатления от читаемых строк, только в конце чтения углы его губ судорожно передернулись и густые брови сдвинулись и нависли над орбитами глаз, как бы под гнетом внезапно появившейся мысли.

Он отложил письмо в сторону и стал рыться в кипе бумаг, лежавших на письменном столе. Наконец, он, видимо, нашел искомое.

Это были два полученные им третьего дня полицейские уведомления: первое об отлучившейся из своего дома девице из дворян Екатерине Петровне Бахметьевой, оставившей записку о том, чтобы никого не винить в ее смерти, и второе — о найденном около одной из прорубей реки Невы верхнем женском платье, признанном слугами Бахметьевой за принадлежащее этой последней. «Тело утопившейся, несмотря на

произведенные тщательные розыски, еще не найдено». Такой стереотипно-полицейской фразой оканчивалось последнее уведомление.

Граф вспомнил, какое тяжелое впечатление произвело на него это известие о самоубийстве все же близкой ему девушки, которую он видел всего за какую-нибудь неделю до означенного в уведомлении дня. Алексей Андреевич не заметил в ней ничего особенного, хотя она была как-то рассеянее и задумчивее обыкновенного. Он теперь припомнил это.

«Рехнулась, спятила! Баба, как задумается — беда!» — пронеслось в его голове.

Он не догадался и теперь, что эта задумчивость Екатерины Петровны была по поводу решенного ею на другой день визита к Наталье Федоровне.

Оставшийся, между тем, снова один в темной приемной, фон Зеeman со скрежетом зубов опустил на стул.

«Мальчишка, трус, не нашелся что ответить, растерялся, как баба!» — мысленно посылал он ругательства по своему собственному адресу.

Со злобной решимостью он стал ждать появления графа после прочтения письма, чтобы высказать ему все, особенно, если он откажется тотчас же ответить графине. В этом отказе Антон Антонович был почти уверен.

«Я покажу ему, что я не состою только на посылках у его жены, что я ее друг, и друг верный, готовый своею грудью защитить ее даже против него — „изверга Аракчея“», — мысленно продолжал злобствовать фон Зеeman.

Граф Аракчеев, сидя в кабинете, второй раз перечитал письмо жены, а затем стал припоминать мельчайшие подробности катастрофы с Бахметьевой. Он тотчас же приказал тогда произвести тщательное дознание, по которому оказалось, что в вечер исчезновения Екатерины Петровны в доме была только одна старуха Агафониha, которая показала, что барышня ушла из дому под вечер, приказав ей ставить самовар, и более не возвращалась. Прислуга же была частью отпущена со двора, а частью разослана за покупками. По показанию некоторых из соседей, они видели под вечер стоявшую у ворот крытую повозку, запряженную тройкой сильных деревенских лошадей.

Он сам, наконец, ездил в дом Бахметьевой и застал еще там Агафониху, собиравшуюся в дорогу. В ней он узнал любимицу Минкиной.

— Ты как попала сюда, старая карга? — спросил ее граф.

Старуха даже присела от испуга.

— Отвечай!

— Еще в Грузине, батюшка, ваше сиятельство, обласкала меня покойная барышня, царство ей небесное, так я сюда к ней гостить и шастала, тайком от Настасьи Федоровны...

— Тайком ли, старая?

— Видит Бог, тайком... Настасья Федоровна ни сном, ни духом ни о чем не ведает...

Граф прекратил допросы, но все это показалось ему настолько подозрительным, что он решил во что бы то ни стало обнаружить истину.

«Настасьино это дело! Как пить дать, Настасьино! Ревнива она у меня, словно черт...» — думал граф.

Последнее приятно защекотало его самолюбие.

«Но я это дело разберу...» — закончил он свою мысль.

Получение письма от жены разрушило этот план. Самоубийство Екатерины Петровны являлось теперь для него спасительным якорем от «светского скандала» и «огласки», которые несомненно вызвали бы предлагаемый и даже почти требуемый Натальей Федоровной развод и вторичный брак с Бахметьевой, а этого «скандала» и этой «огласки» он боялся более всего на свете.

При жизни последней избежать и того, и другого было бы для него невозможно; государь и государыня были бы — он знал это — в этом деле далеко не на его стороне.

Допытываться при подобных обстоятельствах, покончила ли с собой на самом деле молодая женщина, или же это только проделка ревнивой Минкиной и ее сообщницы — последнее-то и подозревал граф — было бы более чем неблагоприятно.

Граф решил не допытываться.

Остановившись на этом решении, Алексей Андреевич с письмом жены в руках вошел снова в приемную и подошел к вставшему при его появлении фон Зеemannу.

— Передайте ее сиятельству, что при всем моем желании, я не могу исполнить ее просьбы, так как особа, по ходатайству которой она обратилась ко мне с письмом, несколько дней тому назад утопилась в припадке умственного расстройства... Вероятно, и к ней являлась она в болезненном состоянии.

— Утопилась?.. Бахметьева?.. — мог только произнести совершенно растерявшийся Антон Антонович. — Не может быть.

— Я никогда не лгу... — строго заметил граф. — Вы можете узнать подробности в местном квартале...

Последнюю фразу он бросил уже на ходу, медленно удаляясь по направлению к своему кабинету.

Антон Антонович прямо из дома графа поехал на Большой проспект Васильевского острова. Там от местного квартального надзирателя и из расспроса соседей он узнал все то, что уже известно нашим читателям по поводу загадочного исчезновения и самоубийства Екатерины Петровны.

Получив все эти сведения, фон Зеemann отправился на 6 линию, в дом Хомутовых.

Спокойно выслушала Наталья Федоровна доклад своего верного посланного, только еще более мертвенная бледность покрыла ее исхудалое лицо и две крупные слезинки выступили на длинных ресницах.

Были ли эти слезы о погибшей ее бывшей подруге, или же об окончательно погибших последних мечтах о земном счастье — как знать?

— Царство ей небесное! — истово перекрестилась она... — Да будет Его святая воля! — добавила она после некоторой паузы.

Антон Антонович почувствовал сердцем, что молодой женщине необходимо остаться наедине и уехал.

Он спешил к тому же принести грустную весть Зарудину, нетерпеливо, как помнит читатель,

ожидавшему его в этот вечер сначала в обществе Кудрина, а затем и Павла Кирилловича.

— Антон! Наконец-то ты? — встретил его Николай Павлович.

По бледному, расстроенному лицу молодого офицера он увидел, что случилось что-то неладное.

— Говори скорей, не томи...

Антон Антонович вопросительно поглядел на Андрея Павловича и Павла Кирилловича, с которыми ранее как-то растерянно поздоровался.

— Говори при них, все равно... Они знают почти все...

Фон Зеeman начал свой рассказ. Он передал свое дежурство почти целый день в приемной графа, свою беседу с ним, ответ его, справки, наведенные на месте, и, наконец, свой доклад графине Аракчеевой. Он повторил сказанные ею слова: «Да будет Его святая воля!»

Бледный, как смерть, положительно убитый полученным известием, дрожащим голосом повторил эти же самые слова Николай Павлович и низко опустил голову.

Кудрин и Павел Кириллович стали обсуждать вместе с фон Зеemanом загадочность смерти Бахметьевой и странность ее совпадения с вопросом о разводе.

— Она жива! — вдруг поднял голову и почти диким голосом воскликнул молодой Зарудин.

Все трое взглянули на него с испугом.

«Он сошел с ума!» — почти мгновенно у всех мелькнула одна и та же мысль.

XXII

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Прошло десять лет.

Много воды утекло за эти долгие годы. Россия под скипетром «благословенного» Александра, пресыщенная бранною славою, быстрыми шагами шла по пути законодательного, административного и экономического процветания. «Свод законов Российской Империи» является бессмертным памятником этой эпохи подъема государственного духа, явившегося как бы последствием подъема народного духа, выразившегося в войне 1812 года.

К числу реформ славного Александровского времени, реформ, которые исключительно осуществлены графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, принадлежит и даже занимает среди них первое место осуществление уже известной нам «царственной мечты» — учреждение военных поселений, которые должны были образовать резерв войск и обязаны заниматься сельским хозяйством, содержать себя и, неся военную службу, быть всегда готовыми к бою.

Как из русских, так и иностранных историков видно, что учреждение поселений, несмотря на то, что это имело у нас столько порицателей, несколько озадачило Европу. Под личиною общей благодарности за избавление от порабощения, она с завистью смотрела на наше главенство, и поэтому все государства взглянули на учреждение военных поселений по новой системе, как на желание России сделаться еще сильнее. Были даже дипломатические

запросы, но они не только не ослабили мысль об основании поселений, а напротив, убедили в их пользе и ускорили их осуществление. Поощрением к этому послужило еще и то, что после наполеоновских войн все державы стали увеличивать свои армии до чрезвычайных для того времени размеров.[7]

За прошедшие десять лет поселения, благодаря неутомимой, полной энергии деятельности графа Алексея Андреевича, достигли апогея своего развития.

Кроме поселенных еще в 1805 году двух батальонов в Могилевской губернии, в 1815 году началось развитие поселенной системы в Новгородской губернии, затем военные поселения появились в Харьковской губернии, в Змиевском и Чугуевском уездах, а также в Херсонской и Подольской губерниях. Численность жителей во всех этих поселениях простиралась до 700 000 душ.

Во главе всех этих поселенных войск стоял граф Аракчеев, непосредственно, впрочем, управлявший лишь поселениями в Новгородской губернии.

Горечь семейного раздора с годами исчезла совершенно. Короткое, свободное от многосложных занятий время граф проводил в своем любимом Грузине, около своего верного друга Настасьи Федоровны, ставшей полновластной хозяйкой и в имении, и в сердце своего знаменитого повелителя, и если бы не огорчения со стороны его названного сына Михаила Андреевича Шуйского, графа можно было бы назвать счастливым.

Жизнь остальных действующих лиц нашего правдивого повествования во многом изменили пронесшиеся годы, не говоря уже о Павле Кирилловиче Зарудине и Дарье Алексеевне Хомутовой, в описываемое нами время уже давно лежавших в могилах на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Николай Павлович Зарудин вскоре по смерти отца вышел в отставку, недолго после него прослужил и Андрей Павлович Кудрин, и оба друга всецело отдались масонской деятельности.

Антон Антонович фон Зеeman, произведенный за это время в полковники, жил вместе с женою своею Лидиею Павловной на 6 линии Васильевского острова, в том самом домике, где «турчанка Лидочка» провела свое детство и юность, где встретила со своим ненаглядным «Тоней», как ласкательно называла она своего мужа. Свадьба их состоялась вскоре после отважного, хотя и неудачного визита Антона Антоновича к грозному Аракчееву. Дарья Алексеевна при жизни своей предложила поселиться молодым в ее доме, а после смерти отказала его по завещанию Лидочке.

Завещание это старушка сделала по просьбе Натальи Федоровны.

В том самом углу гостиной, где некогда притаившись любила играть в куклы маленькая Лидочка, теперь тоже сживал, окруженный игрушками, хорошенький белокурый мальчик с блестящими черными глазами, восьмилетний сын супругов фон Зеeman — «Тоня», Антон Антонович II, как в шутку называли его отец и мать.

Маленький Тоня был крестником Николая Павловича Зарудина и графини Натальи Федоровны Аракчеевой.

Породнившись духовно у купели новорожденного ребенка их счастливых молодых друзей, вскоре после разбитой самоубийством Бахметьевой последней мечты о совместном счастье, Зарудин и графиня Аракчеева вполне, казалось, удовлетворились своей духовной близостью, своим духовным единением.

Масонские перчатки, переданные ей Николаем Павловичем, Наталья Федоровна, как

реликвии, хранила в отдельной шкатулке.

Она жила в своем маленьком имении близ Тихвина, но по часту и подолгу приезжала гостить на Васильевский остров, в доме Лидии Павловны фон Зеeman.

В уютной гостиной этого дома собирался тесный кружок наших старых знакомцев, живших своею особою, удаленною от света жизнью и настолько замкнуто, что даже любопытный петербургский «свет», после тщетных попыток проникнуть в их мир, оставил их в покое и как бы забыл о их существовании.

Они были очень довольны этим забвением.

Тело погибшей в волнах Невы Екатерины Петровны Бахметьевой так и не было найдено. Его или унесло в море, или же оказывался правым Николай Павлович Зарудин, все продолжавший настойчиво уверять, что Бахметьева жива.

Нянькин сын Миша, ставший дворянином Михаилом Андреевичем Шумским, окончил курс в пажеском корпусе и, служа в гвардии, считался коноводом петербургских «блазней». Слава о его скандалах и дебошах гремела в столице.

XXIII

БРАТ И СЕСТРА

Для обитателей села Грузина прошедшие десять лет тянулись необычайно долго. День за днем, один безусловно похожий на другой, тот же систематический порядок без малейших отступлений от раз установленной нормы.

Настасья Федоровна, живавшая, впрочем, по зимам подолгу в Петербурге, тоже чувствовала эту томительную скуку, особенно во время отсутствия графа, занятого по горло делами, и срывала свою злость по-прежнему на окружавших ее безответных крепостных девушках.

Знаменитая «домоправительница» сильно состарилась, и хотя на ее чистом лице не было ни одной морщинки, а, скорее, появилась одутловатость и выражение какой-то усталости и изнурения, но все же это не была прежняя «красавица Настасья».

Эта одутловатость и это выражение изнурения явились последствиями периодического пьянства, почти запоя, которому она предавалась за последнее время и проводимые ею бессонные ночи в отвратительных оргиях с избранными дворовыми.

Все это она с прежним искусством скрывала от зоркого глаза графа, положительно ослепленного за последнее время хитрой женщиной. Последняя употребляла для этого все средства. Подосланная ею к графу цыганка сказала ему: «Береги Настасью, пока она жива, и ты жив и счастлив». Это произвело сильное впечатление на мнительного Алексея Андреевича. Другой ее фокус заставил графа считать ее даже «прозорливицей» и своим «ангелом-хранителем». Она перед сном позвала к себе правофлангового Свиридова и велела ему зарядить ружье пулей.

— Не бойся, — сказала она ему, — тебе ничего не будет.

Свиридов не смел ослушаться всемогущей экономки. Провожая графа, она сказала ему:

— Вот ты ничего не знаешь, а тебя хотят убить. Сегодня на смотре посмотри ружье у

правофлангового — оно заряжено.

Аракчеев поступил, как ему сказала Настасья, и на самом деле нашел заряженное ружье.

Он стал считать, что обязан Настасье жизнью.

Несмотря на такое положение ее в Грузии, она постоянно была в дурном расположении духа; постоянно была всем недовольна, угодить ей не было никакой возможности и бедные дворовые девушки терпели такие страшные истязания, что и вообразить было трудно. Они так были забиты и загнаны своею тиранкою, что на них больно было смотреть. Особенно доставалось красивым от злобствующей отцветшей красавицы. К числу последних и самых несчастных ее жертв принадлежала Прасковья Антоновна, выдающаяся по красоте блондинка. Характер у нее был несокрушимо твердый; никакие мучения не могли вызвать из груди ее ни стоны, ни жалобы. Только по впалым и бледным щекам ее, да по большим голубым глазам, полным безотрадной грусти, было заметно, что она, при всей твердости духа, не в силах была сносить тиранства Настасьи. А над нею-то, повторяем, более всего раздражалась злоба домоправительницы. Прасковья была ее старшею горничною, она убирала ей голову, одевала ее, смотрела за ее гардеробом, и, как старшая, отвечала за все проступки прочих.

— Ну, Паша, какая ты переносливая, — говорили ее подруги, — словно ты железная!..

Прасковья глядела на них и улыбалась, но в этой улыбке выражалась вся безнадежность ее страданий.

Было 6 сентября 1825 года.

Настасья Федоровна сидела перед зеркалом, совершая свой утренний туалет. Прасковья Антоновна стояла около нее и щипцами припекала ей волосы, завернутые в папильотки. Вдруг щипцы случайно скользнули и слегка коснулись уха Минкиной.

Она вскрикнула и вскочила в припадке страшного бешенства.

— Ты жечь меня вздумала, жечь! — кричала она, скрипя от злости зубами. — Так вот же тебе!

Минкина выхватила из рук Паши щипцы, разорвала ей рубашку и калеными щипцами начала хватать за голую грудь бедной девушки. Щипцы шипели и дымились, а нежная кожа лепестками оставалась на щипцах. Паша задрожала всем телом и глухо застонала; в глазах ее заблестел какой-то фосфорический свет, и она опрометью бросилась вон из комнаты.

Брат Паши, Василий Антонов, молодой парень, лет девятнадцати, находился поваренком в графской кухне. Он увидал в окно, что сестра его побежала растрепанная по направлению к Волхову. «Что-нибудь, да не ладно!» — подумал он и погнался за ней.

Он едва догнал ее на самом берегу и схватил за руку.

— Пусти меня, пусти! — бормотала Паша, стараясь освободиться из рук брата.

— Куда пусти? Что с тобой? Куда ты? — спросил он.

— В воду... топиться... — отрывисто отвечала она.

С ней вдруг сделался сильный истерический припадок. Она хохотала, прерывая хохот рыданиями, и упала на руки Василия, который бережно опустил ее на траву, сам не зная что делать.

— Паша!.. Парасковья!.. Что с тобой?.. Что это ты задумала? — говорил растерявшийся парень, ходя вокруг сестры.

Та продолжала метаться на траве и рыдать. Наконец, Василий догадался, стал пригоршнями носить воду и поливать на голову и грудь бедной девушки. Она очнулась.

— Дай мне испить, — проговорила девушка слабым голосом. Брат принес воды и сел возле сестры.

Паша молча показала брату свою сожженную грудь.

— Кто это так тебя истерзал? — с тревогой в голосе спросил он.

Она рассказала брату только что испытанные мучения от злобной Настасьи.

Во время этого рассказа Василий молчал. Он только изредка поскрипывал зубами, глаза его налились кровью, а кулаки судорожно сжались.

— Змея подколодная! — прошипел он, когда сестра окончила свой рассказ.

Наступило довольно продолжительное молчание, прерываемое болезненными вздохами Паши и скрипом зубов Василия.

Придя немного в себя, он начал что-то шептать на ухо Паше. Та отрицательно качала головой. Он горячился, махал руками. Наконец, Паша сама стала говорить что-то шепотом на ухо брату.

Долго они шептались и, по-видимому, о чем-то жарко спорили, наконец, Паша сказала громко:

— Ну, ладно! Будь что будет!

Оба они встали с травы и медленно вернулись на графский двор. Паша, по-прежнему спокойная, бесстрастная, прошла во флигель Минкиной.

XXIV

КРОВАВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Прошло три дня после описанного нами в предыдущей главе происшествия.

Рано утром в графскую кухню прибежала Парасковья, отозвала в сторону брата и стала с ним шептаться. По ее уходу Василий Антонов взял большой поварской нож и стал точить его на бруске. По временам он выдергивал из головы своей волос, клал на лезвие ножа и дул на него; волос оставался цел; тогда он с новым усилием принимался точить нож. Наконец, нож сделался так остр, что сразу пересек волос. Тогда Василий спрятал нож под передник и вышел из кухни.

— Что, спит? — спросил он сестру, поджидавшую его у флигеля Минкиной.

— Спит, иди смело! — сказала Паша, провожая брата в сени.

— Поди, посмотри, не проснулась ли? — сказал он, остановившись в первой комнате.

Он был бледен, как мертвец, и дико озирался по сторонам. Паша ушла. Он вынул из-под передника нож, попробовал его на ногте большого пальца левой руки и снова спрятал.

— Спит мертвым сном, — сказала Паша, вернувшись к брату.

— Нет ли кого, посмотри... — говорил он, неохотно следуя за ней.

— Да никого нет, говорю тебе, я их всех разогнала, — проговорила нетерпеливо Прасковья, вводя брата в спальню Настасьи Федоровны.

— Не промахнись!.. — шепнула она ему и вышла из комнаты, плотно затворив за собою дверь.

Василий остался один. Тихонько, на цыпочках подкрался он к спящей Минкиной. Она, закутанная до самой шеи в белое одеяло, лежала навзничь.

Василий затрясся всем телом, взмахнул ножом и ударил им ее в горло. Удар, нанесенный в волнении, оказался неверен. Нож только скользнул по шее, слегка ранив ее.

Убийца уже хотел бежать из комнаты, но Настасья вскрикнула и проснулась.

Василий снова подбежал к ней, занес нож, чтобы повторить удар, но она освободила из-под одеяла правую руку и схватилась за нож убийцы: два пальца ее правой руки упали на пол и кровь фонтаном брызнула в лицо Василия.

Он ударил ее ножом в грудь.

— Вася, Василий! Пощади меня! Ведь тебе я ничего не сделала худого, — проговорила Настасья Федоровна. Она сделала усилие вскочить с кровати, но упала на пол.левой рукой она так крепко схватила за ноги убийцу, что тот упал на нее, нанося ей раны ножом куда попало.

— Не убивай меня, — умоляла она. — Я выхлопочу тебе вольную, отдам тебе все деньги, какие у меня есть, я дам тебе десять тысяч, только оставь меня живою.

Василий молчал и не переставал наносить ей новые раны. Настасья Федоровна захрипела.

Убийца бросился вон из спальни, выбежал из флигеля и прибежал в кухню.

Повар стоял у плиты, задом к двери, когда вошел Василий Антонов и бросил на стол окровавленный нож.

— Ты где был? — спросил его повар, не глядя на него.

— Свежевал скотину... — отрывисто ответил тот.

Повар взглянул на него.

— Что с тобой? Ты весь в крови.

— Ну, что там толковать! Что сделано, того не вернешь... Я зарезал Настасью.

— Караул! — крикнул повар в окно во все горло.

Василий бросился было бежать, но собравшаяся дворня успела схватить его. Его вместе с сестрой посадили в подвал до приезда графа Алексея Андреевича, который только что накануне уехал в округ.

— Ты правду говорила, что добра из того не будет. Так и вышло... — говорил Василий сестре и в отчаянии старался разорвать веревки, которыми был связан.

— Баба! — с твердостью отвечала Прасковья и отвернулась, чтобы не видеть малодушия брата.

Графа со всеми предосторожностями вызвали обратно в Грузино. Оказалось, что он находился всего в тридцати верстах.

Ему сказали, что Настасью Федоровну опасно ранили.

Он прискакал с доктором.

Увидав изуродованный труп любимой им столько лет женщины, граф разорвал на себе платье, кинулся на ее тело и зарыдал, как ребенок.

Тридцать часов он провел, не вкушая пищи, в состоянии почти умоисступления.

Его насилу могли уговорить похоронить ее.

Похороны совершились с необычайною помпой. Для гроба с бренными останками властной экономки было приготовлено место в одном из приделов грузинской церкви, плита с трогательною надписью, выражавшею нежность чувств всецельного графа и его безысходное горе о невозвратимой утрате, должна была на вечные времена обессмертить память покойной.

Когда опустили в могилу гроб, граф бросился за ним в могилу, стал биться и кричать:

— Режьте меня... Лишайте, злодеи, жизни... Вы отняли у меня единственного друга! Я потерял теперь все!

Его насилу оторвали от гроба и вытащили из могилы, всего израненного от ушибов.

Такова была сила его отчаяния.

Он отказался заниматься делами и команду по поселениям сдал генерал-майору Эйллеру, а дела по совету и комитету в Петербурге — Муравьеву, о чем уведомил письмом государя Александра Павловича. Описывая ему яркими красками кровавое происшествие, он окончил письмо словами:

«Я одной смерти себе желаю, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься... Не знаю куда сиротскую голову преклонить, но уеду отсюда».

Отправив письмо, граф Алексей Андреевич заперся в своем кабинете и выходил оттуда лишь на могилу своего «единственного верного друга», на которой подолгу горячо молился, ударяя себя в грудь и целыми часами лежа яичком на могильной плите.

У себя он не принимал никого, кроме архимандрита новгородского Юрьевского монастыря Фотия.

По делу об убийстве Настасьи Минкиной и розыске виновных, каковыми граф считал чуть ли не все Грузино, наряжено было строгое следствие.

XXV

УТЕШИТЕЛЬ

Петр Андреевич Клейнмихель прибыл в Грузино в начале октября и застал своего крестного отца и благодетеля в состоянии той глухой, мрачной грусти, которая всегда является последствием взрывов дикого отчаяния.

Он недаром провел около графа многие годы почти со дней своей ранней юности, характер Алексея Андреевича и все струны души его были им изучены в совершенстве.

Петр Андреевич хорошо понимал, что смерть Настасьи Минкиной поразила графа Аракчеева не как утрата любимой женщины, а как гибель верного испытанного друга, быть может, погибшего по проискам его личных врагов; граф шел еще далее и был убежден, что это дело врагов России, желавших лишить его «ангела хранителя», подготавливая этим и его собственную гибель. Алексей Андреевич вообще был страшно мнителен. Эта его мнительность, особенно за последние годы, искусно раздуваемая покойной Настасьей, дошла до своего апогея. Он мнил себя, всюду и везде окруженным тайными и явными врагами, готовыми ежеминутно убить его из-за угла, подсыпать яд в его кушанье. Он ел и пил только то, что собственноручно было приготовлено им самим или Настасьей Федоровной, кроме того, каждое кушанье, не исключая кофе, он прежде нежели начать пить давал своей маленькой любимой собачке, или же просил попробовать собеседника.

Самому Петру Андреевичу не раз приходилось, во время легкого недомогания графа, пить с ним за компанию ромашку.

Значит, исцелить сердечную рану графа можно было лишь доказав, что Настасья была далеко не идеалом верного друга, ему одному безраздельно принадлежавшей преданной женщиной, какую идеалист Аракчеев считал ее до самой смерти и какую неутешно оплакивал после трагической кончины.

Этой целью и задался Петр Андреевич, так хорошо знавший все изгибы человеческого сердца вообще, а сердце своего крестного отца в особенности.

Граф, встретивший почти радостно Петра Андреевича, поручил разобрать и привести в порядок бумаги покойной грузинской домоправительницы.

Орлиным взглядом своим Клейнмихель тотчас открыл из дел покойницы преступную связь ее с Егором Егоровичем Воскресенским, а после того и до него с другими лицами. Настасья Федоровна, по присущей всем женщинам слабости, сохраняла письма своих любовников и даже оказалось, что нежные письма ее к графу составлялись Воскресенским и другими, а затем ею лишь переписывались.

С видом какого-то отчаянного торжества, он поверг улики преступления к стопам своего благодетеля.

Алексей Андреевич при первых словах своего крестника вскочил и пошатнулся.

— Ты лжешь... она... святая... — воскликнул он.

— Здесь доказательство этой святости!.. — не сробев графского окрика, с демонической улыбкой произнес Клейнмихель, подавая графу связку найденных им бумаг.

Граф быстро схватил пачку.

— Выйди вон!..

Петр Андреевич не заставил себе повторять приказание и быстро выскользнул из кабинета.

Алексей Андреевич остался один. Долго читал и перечитывал он роковые бумаги, уличающие, несомненно, изменницу Настасью, которую в мечтах своих граф окружал ореолом «святой мученицы».

Мечты были безжалостно разбиты. Любовь уступила место ярости.

После почти месячного промежутка снова раздался в грузинском доме властный голос его владельца. Петр Андреевич был позван к графу.

— Ты прав, она не стоит сожаления... Я отомщу ей... за себя... за пролитые мною слезы... — сказал граф, обнимая Клейнмихеля.

Последний испуганно взглянул на Алексея Андреевича.

«Уж не рехнулся ли он малость?» — пронеслось в его голове.

В этот же день недоумение его разъяснилось.

Темная, непроглядная осенняя ночь спустилась над Грузиным. Из графского дома вышла какая-то странная процессия, направляясь к церкви. Четверо слуг с зажженными фонарями и вооруженные длинными железными ломом освещали путь графу Алексею Андреевичу Аракчееву и Петру Андреевичу Клейнмихелю, шедшим в середине. Они шли медленно, храня глубокое молчание.

Подойдя к церковным дверям все остановились. Ключ громко щелкнул в громадном замке, и звук этот далеко отдался среди окружающей невозмутимой тишины. Войдя в церковь, они направились к могиле Настасьи Минкиной.

— Отвалить! — мрачно приказал граф.

Слуги принялись за работу. Плита, на внутренней стороне которой была высечена надпись — выражение нежнейших чувств любовника — была быстро поднята и упала рядом с отверстой могилой, в которой месяц тому назад бился в безумном отчаянии граф Алексей Андреевич.

Его взгляд упал на плиту и на надпись. В безумной ярости вскочил он на нее и стал топтать надпись ногами.

— Так вот ты какая была... Змея подколодная... Пес смердящий... — почти рычал Аракчеев.

Вдруг взгляд его упал на стоявший в открытой могиле гроб.

— Вот же тебе за обманом взятые у меня любовь и ласку...

Граф плюнул на гроб.

— Нешто ей, подлой... Авось в гробу перевернется... окаянная... — со злобой заметил Петр Андреевич, спокойно наблюдавший эту сцену и со своей стороны, в служебном усердии, плюнул на гроб три раза.

Эта отвратительная сцена, могущая найти себе оправдание лишь в той мучительной сердечной боли, какую должен был испытать при обнаруженных изменах покойной, почти, за последнее время, боготворимой им женщины, граф Алексей Андреевич, этот «жестокосердный идеалист», каким он остался до конца своей жизни, казалось, утешила эту боль, а его самого примирила с жизнью. Плита снова легла на могилу «изменницы» Настасьи, ставшей могилою и любви к ней грузинского властелина. Граф твердою походкою вернулся в дом и со следующего дня принялся за государственные дела. Сильное средство Клейнмихеля подействовало. Из Таганрога, между тем, стали доходить о здоровье государя

неутешительные вести. Новое горе подстерегало не только графа Аракчеева, но и всю Россию. Не прошло и месяца, как громовое известие с быстротою молнии облетело города и веси земли русской. Государь Александр Павлович тихо скончался 19-го ноября 1825 года.

Часть четвертая

ТЕНИ ПРОШЛОГО

I

НЕОЖИДАННЫЙ УЛОВ

Был пятый час в начале раннего августовского утра 1832 года.

Село Грузино и барский дом вместе с его сиятельным владельцем покоилось еще мирным сном — тем «сном на заре», который по общему, испокон веков сложившемуся убеждению, является самым сладким.

Кругом все было тихо и пустынно, и лишь на берегу быстроводного Волхова, невдалеке от перевоза, господствовало оживление — человек восемь грузинских крестьян под наблюдением подстаросты отбывали «рыбную барщину», как называлась производившаяся два раза в неделю, рыбная ловля для нужд графского двора.

По заведенному обычаю, невод закидывали три раза и мелкую рыбу брали на деревню и лишь крупную отправляли на барский двор.

Волхов в описываемое нами время отличался обилием всевозможной рыбы и уловы всегда были многочисленны. Мелко и крепко сплетенные сети не давали возможности спастись от рыболова даже мелкой рыбешке, хотя самую мелочь, по приказу графа Алексея Андреевича, бросали обратно в реку.

Невод был уже закинут третий раз, и рыбаки осторожно подводили его к берегу.

— Ишь рыбы-то привалило, братцы, руки обломило — не вытянешь, — заметил один из рыбаков, молодой парень атлетического сложения, с ярко-красными волосами, выбившимися из-под картуза со сломанным козырьком, надетого на затылок, и такого же цвета всклокоченною бородою — на селе его звали Кузьма Огневой.

— Что-то, и впрямь, тяжеленько, уж не сома ли Бог послал пудового? — слышалось в ответ на замечание Кузьмы.

— Сома! — передразнил третий рыбак, еще совсем молодой, безбородый парень. — Да разве они здесь водятся?

— Старики бают, в старину водились крупнющие, а теперь уже давненько улова на них в этих местах нет... В море, бают, ушли, — степенно отвечал Кузьма, напрягая вместе с товарищами все силы подвести невод к самому берегу. На береговой отмели стало тащить еще тяжелее. Рыбаки слезли с лодок и направились к берегу по колена в воде.

— Уж и поналезло же рыбины-то, до пропасти, николи так не упаривались, — снова после

некоторого молчания заговорил один рыбак.

— Э-э-э... разом!.. — послышалась команда Кузьмы, и невод, подхваченный дружным усилием, плюхнулся на береговой откос.

— Гляньте, братцы, утопленница!.. — вскрикнули почти в один голос рыбаки, наклонившись над неводом, и с испугом отшатнулись в разные стороны.

Картина на самом деле была полна холодящего душу ужаса.

Солнце появилось на краю горизонта, и его яркие, как бы смеющиеся лучи осветили береговой откос, на котором лежал невод, и заиграло в разноцветной чешуе множество трепещущей в нем рыбы, среди которой покоилась какая-то, на первый взгляд, бесформенная темная масса, вся опутанная водяными порослями, и лишь вглядевшись внимательно, можно было определить, что это была мертвая женщина, не из простых, судя по одежде и по превратившейся в какой-то комок шляпе, бывшей на голове покойной.

На ней было надето темное шерстяное платье и мантилья, обшитая кружевами. Стягивавшая горло утопленницы толстая веревка, к концам которой были привязаны два тяжелых булыжника, красноречиво говорили, что она была удушена при жизни чьей-то злодейской рукой, а затем уже брошена в Волхов.

Это же подтверждало характерно искаженное лицо несчастной, с высунутым до половины языком и с широко раскрытыми, полными предсмертного ужаса глазами.

Светло-золотистые волосы оттеняли сине-багровое, опухшее, еще молодое и когда-то красивое лицо утопленницы, в одну из щек которого впился крупный рак. Крестьяне несколько времени, как бы пораженные, созерцали эту картину.

Первый опомнился подстароста.

— Надо непременно разбудить Петра Федоровича, потому такая оказия, что и не приведи Господи, он уж как порешит, назад ли в воду ее кинуть — грех бы, кажись, большой, или графу доложить, да за полицией пошлет; ты, Кузьма, да ты, Василий, стерегите находку, а я побегу... Рыбу-то в ведра из этого улова не кладите, потому несуразно у покойницы из-под боку, да на еду... — отдал он наскоро распоряжение и быстрыми шагами пошел по направлению к селу. Остальные рыбаки тоже побежали за ним.

У невода, притащившего такой неожиданный улов, остались лишь Кузьма да Василий, тот молодой парень, который усомнился в существовании в Волхове сомов.

Он наклонился над трупом и внимательно любопытным взглядом осматривал утопленницу.

Кузьма сосредоточенно молчал, глядя куда-то в сторону.

— Ишь, как впилась нечисть-то... — как бы про себя заговорил Василий и взял впившегося в щеку покойной рака за хвост.

— Не трожь... — поспешно остановил его Кузьма, — до начальства упокойницу тревожить нельзя, потому можно через то в ответ попасть... Сторожить тебя поставили, а не рукам волю давать...

— Я только нечисть-то эту снять с нее хотел, потому все же христианская душа... — ответил Василий, быстро отдернув руку и отирая ее об рубаху.

— Говорю, не трожь... — повторил угрюмо Кузьма и снова смолк.

Весть о вытащенной графским неводом утопленнице с быстротою молнии облетела все Грузино, и скоро на берегу Волхова собралась громадная толпа крестьян и крестьянок.

Толкам и пересудам не было конца.

Бабы лезли, вперед и даже начинали причитывать над покойницей, но обруганные мужиками, столпились в сторонку и загалдели, по бабьему обыкновению, все разом.

— Цыц, сороки долгогривые! — осаждали их и тут мужики. Бабы стали перешептываться.

— Гляньте-ка, родимые, башмаки-то какие, немецкой работы, — не унималась лишь одна бойкая бабенка, лезшая вперед и указывавшая рукой на башмаки покойной. — А на руках сетка, — продолжала она, заметив на руке покойницы вязаную метенку...

— Староста идет, староста! — пронеслось в толпе. Все, даже и бойкая бабенка, смолкли.

К толпе важно, мерною поступью подходил рослый мужик лет пятидесяти с длинной русой с проседью бородой, одетый в кафтан тонкого синего сукна и в таком же картузе.

— Чего привалили, упокойников не видали? Марш на село, по избам; неровен час сам граф припожалует...

Слово «граф» произвело на толпу действие электрической искры — она сперва расступилась, а затем, один по одному, гуськом, крестьянки потянулись в село.

На берегу остались сторожившие невод Кузьма и Василий, да староста с подоспевшим вслед за последним подстаростой.

— Петр Федорович сейчас сами будут... — доложил он, запыхавшись от быстрой ходьбы.

— Оказия, — разводил, между тем, руками староста, разглядывая труп, — и ведь надо же было ей в невод попасть... Да и не впору, потому граф за последние дни и так туча тучей ходит, а тут эдакая напасть, прости Господи, нанесла ее нелегкая... царство ей небесное, тоже могилку свою, чай, ищет, сердешная.

Староста истово перекрестился.

Его примеру последовали подстароста, Кузьма и Василий.

— Графу-то Петр Федорович доложил? — спросил староста.

— Его сиятельство еще почивать изволят, а Петр Федорович сказали: «Приду сам, посмотрю и подумаю...» — отвечал подстароста.

— Такое дело тоже скрыть невозможно!.. — сквозь зубы, как бы про себя проворчал староста.

— Не можем знать... Да вот, Петр Федорович и сами идут... — указал подстароста рукой на приближавшегося мужчину, одетого в летнюю фризную шинель и белую фуражку.

Определить его лета по полному, совершенно бритому, плутоватому лицу было довольно затруднительно — не то ему было лет сорок, не то пятьдесят, а может, и более.

Это и был графский управляющий Петр Федорович Семидалов.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Петр Федорович не мог назваться новым управляющим села Грузина, так как занимал первое место в грузинской вотчинной конторе в течение уже нескольких лет, а именно, с памятного читателям 1825 года — года смерти императора Александра Павловича и совершенного незадолго перед кончиной венценосного друга графа Аракчеева убийства знаменитой домоправительницы последнего, Настасьи Федоровны Минкиной. Не мог он считаться даже и полным управляющим Грузинской вотчины, так как сам граф Алексей Андреевич, удалившись в начале царствования императора Николая Павловича от кормила государственного корабля России, поселился почти безвыездно в Грузине и начал лично управлять вотчинными делами, отодвинув, таким образом, Петра Федоровича на степень главного делопроизводителя вотчинной конторы. Последний сохранил лишь звание управляющего, а уважение крестьян приобрел в силу своей близости к графу и доверия к нему со стороны последнего, которое Петр Федорович добыл благодаря своей хитрости, сметливости и дальновидности.

Семидалов был в Грузине человек пришлый, каких, впрочем, было достаточное количество во дворце графа Аракчеева.

Родом он был из поповичей, что можно заключить и из его фамилии, но этим сведения о нем у любопытных графских дворовых и оканчивались, так как Петр не любил распространяться о своем прошлом.

Появился он в Грузине еще совсем юношей, лет около тридцати тому назад, и мог считаться, таким образом, грузинским старожилом.

Нельзя сказать, чтобы красивый, но свежий, румяный и здоровый, он не избег участи грузинских дворовых молодых парней и несколько раз побывал во флигеле сластолюбивой графской домоправительницы — Минкиной.

Близость с этой огневой женщиной не отуманила рассудок не по летам положительного и расчетливого парня. Он, казалось, забывал о проведенных минутах близости с этой властной женщиной и тотчас же после страстных объятий и жгучих поцелуев являлся почтительным, раболепным слугою, памятуя расстояние между ним, как одним из бесчисленных лакеев графа, и ею — фавориткою самого его сиятельства. Это особенно нравилось в нем Настасье Федоровне, и связь их даже продолжалась относительно довольно долгое время, но грузинская Мессалина, как знает читатель, не считала постоянство в привязанностях в числе своих добродетелей.

Петр Федорович вовремя заметил ее охлаждение и стал сам удаляться от нее, не доставив ей ни одной секунды раздумья, как ей отделаться от надоедавшего любовника; напротив, он дал ей понять, что на всю жизнь останется ее верным и преданным рабом, не притязающим даже на намек об их прежних отношениях.

— Надоедать я стал вам, ненаглядная моя красавица, вижу я это и не ропщу, ни на вас не ропщу, ни на судьбу свою, много счастья дали вы мне, приблизив к себе, но вы дали, вы и взять можете — ваша воля. Оставьте мне только, Настасья Федоровна, возможность послужить вам до конца дней моих, может, пригожусь я вам не раз — распоряжайтесь мной, как верным рабом вашим, да и этим я едва ли отплачу вам за то счастье, которое вы дали мне. Сам я мозолить вам глаза с непрошенными услугами не буду, а когда надо будет, только кликните...

Настасья Федоровна внутренне обрадовалась, но не показала ему на этот раз вида.

— Ну, чего ты заныл, не надоел еще, а надоешь — сама прогоню, слов же твоих никогда не забуду, раскаешься, коли на ветер говорил их, не обдумав...

Она обвила его своею обнаженной рукою.

— Не на ветер, кралечка моя, а одна только всю жизнь думка у меня будет — услужить тебе.

Минкина зажала ему рот страстным поцелуем.

Дальновидность Семидалова, однако, его не обманула, и вскоре она действительно прогнала его, но путем этой его тактичности он достиг, что в сердце Минкиной потухшая к нему страсть не перешла в ненависть, как это было относительно других ее фаворитов; он не был ни сослан в Сибирь, ни сдан в солдаты, а напротив, стал постепенно повышаться в иерархии графской дворни.

Петру Федоровичу не пришлось долго ждать, чтобы убедиться, что он этим путем избег действительно серьезной опасности — прошедшие перед его глазами за несколько лет грузинские драмы, включая сюда трагическую смерть управляющего Егора Егоровича, драмы, в которых ему не раз приходилось быть не только молчаливым свидетелем, но и активным участником, по призыву Настасьи Федоровны, памятовавшей его слова в одно из последних, их свиданий во флигеле.

Наконец, ему дано было одно поручение в Петербурге, которое он исполнил, но которое на всю остальную жизнь отравило его душевный покой — он не мог видеть равнодушную Минкину, давшую ему такое, по его мнению, гнусное поручение, и измыслил способ удалиться из Грузина, тем более, что как бы стал предчувствовать скорый конец власти в Грузине и его, теперь ненавистной ему повелительницы.

Исполнив петербургское поручение, он через несколько времени предстал перед Настасьей Федоровной.

— Что тебе, Петр? — спросила она, полулежа на диване в своей гостиной.

— К вашей милости с нижайшею просьбою...

— В чем дело?

— Сблагovolите устроить мне у его сиятельства перевод в петербургский дом...

— Это зачем тебе?

— Да молодцы-то мои, что со мной в известном деле были, боюсь без меня распяшутся, набедокурят, что так первое-то время все за ними мой глазок смотреть надобен, не ровен час...

— А-а-а...

— А здесь мне, кроме того, невтерпеж оставаться, боюсь, как бы себя самого врагам с головой не выдать...

— В чем это? — приподнялась Минкина с дивана.

— В моей к вашей милости преданности... — потупил скромно глаза Семидалов.

— Вот как! — улыбнулась довольною улыбкою Настасья Федоровна. — Ты постоянен...

— В Петербурге я вам тоже пригожусь, не без дела, чай, сидеть буду... — продолжал Петр Федорович, пропустив мимо ушей ее замечание.

— Хорошо, я подумаю!.. — встала Минкина и вышла в другую комнату, давая этим знать, что аудиенция окончена.

Прошел томительный для Семидалова месяц.

Настасья Федоровна, впрочем, надумала и путем мелких жалоб графу на Петра Федорова, достигла того, что он был отправлен в петербургский дом, что считалось среди грузинской дворни наказанием. Для Семидалова же этот день был праздником; выехав из Грузина, он первый раз с того момента, как впервые вошел во флигель Минкиной, вздохнул полной грудью.

Как бы тяжелое бремя скатилось с его плеч, хотя угрызения совести за последнее исполненное им поручение грузинской домоправительницы не уменьшились в его душе.

Напрасно представлял он себе, что среди других его поступков этот последний был каплей в море, но перед его духовным взглядом неотступно стояло молодое испуганное лицо, обрамленное, как бы сиянием, золотистыми волосами, и умоляющим взглядом испуганных, прекрасных глаз проникало в его душу. Разбойник был влюблен в свою жертву.

По прибытии в петербургский дом графа Аракчеева, Петр Федоров скоро сумел снискать себе расположение и даже любовь известного уже читателю дворецкого Степана Васильева. Старик почувствовал к нему даже некоторое почтение за грамотность и начитанность в священных книгах. Они сдружились и зажили, что называется, душа в душу. Степан Васильев в долгие вечера рассказывал Петру о былом времени; любознательный Петр слушал, не перебивая и не отвлекаясь ничем от нити рассказа. Особенно они сошлись в общей ненависти к Минкиной, от которой Петр, к своему удовольствию, не получал из Грузина никаких поручений. Она как бы забыла о его существовании.

Известие об ее убийстве достигло до петербургского дома в то время, когда Степан Васильев лежал на смертном одре, а Петр находился при нем бессменной сиделкой.

Когда последний сообщил больному полученное из Грузина известие со всеми подробностями и заключил свое сообщение словами: «собаке — собачья и смерть», то Степан Васильев укоризненно посмотрел на него.

— А разве ты забыл, что сказано в Писании: «прощайте врагов ваших». Царство ей небесное!

Больной истово перекрестился.

— Вот что, — начал он снова слабым голосом, — я чувствую, что не только мои дни, но и часы уже сочтены, — здесь больной снял с шеи зашитый холщевый мешочек на шнурке, — восемьсот рублей, скопленных во всю мою жизнь, пятьсот возьми себе на разживу, на пятьдесят рублей похоронишь и крест поставишь, другие пятьдесят раздашь нищим, а двести рублей внесешь в Невскую лавру — сто отдашь на поминовение о здравии рабы Божией Натальи, а сто на вечное поминовение за упокой души рабы Божией Настасьи... Не забудешь?

— Не забуду, успокой себя, и что за мысли, еще меня переживешь, поправишься... — заговорил растроганный Петр Федоров, не принимая мешочка, — и куда мне деньги, за что жалуешь...

— Бери, бери, не смущай, я знаю, что смерть недалеко, и уж приготовился не даром — вчера исповедывался и причащался, сподобился, близких у меня никого нет, а ты мне полюбился, только исполни, что я сказал: двести в лавру — сто о здравии рабы Натальи, а сто за упокой души рабы Наста...

Больной не договорил и впал в забытие. Предчувствие его сбылось — он умер через сутки, не приходя в сознание.

Петр Федоров свято исполнил волю покойного.

Вскоре после смерти и похорон Степана Васильева, на которых присутствовал сам граф, отдавая последний долг своему товарищу детских игр и столько лет гонимому им слуге, Семидалов был сделан на место покойного дворецким петербургского дома. В Грузии же, после убийства Настасьи Минкиной, граф Алексей Андреевич разогнал всех своих дворовых людей и ограничился присланными по его просьбе полковником Федором Карловичем фон Фрикен четырьмя надежными денщиками, которые и составляли личную прислугу графа.

Прошло несколько месяцев, и Петр Федоров, в один из приездов графа в Петербург, решился беспокоить его сиятельство обстоятельным докладом о поступках покойной Настасьи и его участии в некоторых из них, причем, конечно, выставил себя жертвою самовластия зазнавшейся холопки.

Подробности этого продолжавшегося несколько часов разговора между графом и его новым дворецким остались для всех тайною, но последствием был перевод Семидалова в управляющие села Грузина.

Это было в 1826 году, когда и граф перестал пользоваться петербургским домом, находившимся и до сего дня на Литейном проспекте и никогда не бывшим полною собственностью Алексея Андреевича, а принадлежавшим 2-й артиллерийской бригаде.

Таков был управляющий Петр Федорович, степенным шагом приближавшийся к тому месту берега Волхова, где в неводе, среди бившейся на солнце рыбы, лежала неизвестная утопленница.

Староста и подстароста, Кузьма и Василий, почтительно при его приближении сняли шапки.

— Неожиданный Господь нам гостинец послал... — заговорил староста, указав рукой на лежавшую женщину.

Семидалов наклонился, но вдруг его точно что отбросило в сторону. Его глаза встретились с глазами покойницы.

— Она!.. Она!.. Но неужели!.. Сколько лет!.. — бессвязно бормотал Петр Федорович и вдруг зашатался.

Он упал бы на траву, если бы староста с подстаростой не успели поддержать его, с недоумением переглядываясь между собою.

Семидалов вскоре, впрочем, сумел побороть охватившее его волнение и произнес почти спокойным, слегка лишь дрожащим голосом.

— Надо доложить графу! Сейчас иду разбудить его сиятельство.

Бросив как бы невольно последний взгляд на мертвую, он, шатаясь, как пьяный, побрел по направлению к графскому дому.

— Чего это ему причудилось? Али знакомая? — шепнул подстароста старосте.

Пережитые волнения после убийства Настасьи Минкиной и обнаружения ее измены, а затем разразившийся над Россией, вообще, а над графом Алексеем Андреевич Аракчеевым, в частности, удар в форме долетевшего из Таганрога известия о смерти его благодетеля и друга императора Александра Павловича окончательно расшатали и без того некрепкое здоровье графа.

При дворе с особенным участием стали заботиться о расстроенном его здоровье и настойчиво советовали ему ехать за границу.

Алексей Андреевич отговаривался и, между прочим, заявил однажды, что у него нет на это денег. Тогда, в уважение его стесненных обстоятельств, ему было выдано высочайшее пособие в размере 50 000 рублей. Сконфуженный такой неожиданностью Аракчеев пожертвовал эти деньги на екатерининский институт, а чтобы выйти из затруднительного положения, предложил через министра двора купить за 50 000 фарфоровый сервиз, подаренный ему императором Наполеоном I, мотивируя свое предложение тем, что сервиз с императорским гербом неприлично иметь в частных руках.

Предложение Аракчеева было принято, сервиз куплен, и граф Аракчеев уехал за границу.

Большинство исторических источников, враждебно относящихся к деятельности графа Аракчеева во время царствования императора Александра Павловича, видят в этой заботе о здоровье графа и советах ему ехать за границу лишь предлог деликатно удалить его от управления государственными делами, так как император Николай Павлович признал-де его деятельность вредною для России.

Нет сомнения, что при дворе была в то время большая антиаракчеевская партия, которая видела в нем человека своей прямою, бескорыстием и беззаветной преданностью престолу опасного для преследуемых ею личных целей.

Во главе этой партии даже стоял крестник графа Петр Андреевич Клейнмихель, обязанный Аракчееву всей своей карьерой. Что же касается до императора Николая Павловича, то он, как и брат его, Константин Павлович, высоко ценил заслуги и способности Алексея Андреевича, бывшего правой рукой их венценосного брата во все время его царствования.

Приведем для доказательства нами сказанного одно из писем к графу государя Николая Павловича, помеченное 6 апреля 1826 года и писанное из Царского Села.

«Сейчас только получил письмо ваше, Алексей Андреевич, о появившемся бродяге и о счастливом заключении его. Я приказал его закованного доставить сюда, где мы до него доберемся, если он в связи с нашими злрдеями, что весьма вероятно.

Я поручаю вам объявить по корпусу мою совершенную благодарность: полковнику Фрикену за его исполнительность, равно и дежурному офицеру, а равно объявить сему, что я приказал выдать ему не в зачет годовое жалованье. Покуда будут верные слуги, как те, кои под вами, и верный и достойный начальник, нечего нам бояться; а впрочем — по пословице: „На Бога надейся, а сам не плошай“.

Прошу обратить внимание на московский отряд, чтобы не сделали какие-нибудь молокососы каких-нибудь дурачеств, впрочем, я уверен, после сегодняшнего подтверждения будут они исправны и осторожны. Я здесь остаюсь до субботы; квартира прежняя ваша готова и тепла; и прошу пожаловать так, чтобы после обеда можно было заняться.

Николай».

Для всякого непредубежденного исследователя это письмо ясно показывает, что лично император Николай Павлович хорошо понимал, что лишь благодаря железной руке графа Аракчеева, укрепившего дисциплину в войсках, последние были спасены от общей деморализации, частью внесенной в них теми отуманенными ложными французскими идеями головами, известными в истории под именем «декабристов».

Быстрое усмирение бунта 14 декабря и не менее быстрое раскрытие преступной деятельности тайного общества «Союза друзей», покрывшего сеть своих, хотя и мелких, разветвлений почти всю Россию, государство обязано не только личным качествам Николая I, как монарха, но и как прошлым, так и современным заслугам графа Аракчеева по управлению им русскими войсками.

Таков был, как мы видим из приведенного письма, взгляд на заслуги Аракчеева и самого государя Николая Павловича.

Граф Алексей Андреевич сам дал в руки своих врагов козырные карты.

Во время его заграничной поездки иностранные дворы принимали Алексея Андреевича более, чем равнодушно.

Избалованное поклонением честолюбие не вынесло, и граф, желая напомнить о своем прежнем величии, напечатал в Берлине на французском языке письма к нему императора Александра I.

Это обстоятельство было доложено государю Николаю Павловичу и привело его в негодование. Он приказал скупить все издание и уничтожить.

По приезде Аракчеева в Россию, государь потребовал от него объяснения его поступка.

Вопрос государя застал графа врасплох.

— Письма издавал не я, ваше величество, у меня их украли и издали без моего ведома... — отвечал он.

— А... я тебе верю... — значительно смягчился государь.

Дело графских врагов было почти проиграно, но Клейнмихель послал в Берлин верного человека, которому удалось добыть корректурные гранки с пометками рукою самого графа.

Эти уличающие документы были представлены государю и возбудили страшное негодование императора и окончательно подорвали кредит Аракчеева.

Граф удалился в Грузино.

Ему было оставлено лишь звание генерал-фельдцейхмейстера всей артиллерии, которое он и сохранил до самой смерти.

Вскоре после его удаления государь Николай Павлович отправил к нему Петра Андреевича Клейнмихеля с требованием возвратить все бумаги, писанные рукою покойного императора Александра I.

У графа в кабинете сидел в то время грузинский священник. Алексей Андреевич заставил того долго ждать своего крестника, наконец приказал пригласить его в кабинет.

Тот вошел.

— Не хочешь ли, братец, ромашки? — озадачил его вопросом граф, намекая на то, что во время заискивания им у него Петр Андреевич не раз во время болезни Алексея Андреевича пивал с ним за компанию ромашку.

— Я не шутки шутить приехал к вашему сиятельству, а по поручению моего государя... — произнес красный, как рак, но немного оправившийся Клейнмихель...

Он изложил поручение.

— Скажи его величеству, что я тебе бумаг не доверил, а передам их его высочеству великому князю Константину Павловичу. Ступай.

Петру Андреевичу ничего не оставалось, как уехать.

При почти затворнической жизни в Грузии граф посвятил всю свою деятельность управлению своею обширною вотчиною, состоящею из 15 деревень, вникал в малейшие подробности жизни: как и кому ходить в церковь, в какие колокола звонить, как ходить с крестным ходом и при других церковных церемониях.

Крестьяне не были недовольны, но в Петербурге доставленные кем-то правила возбудили град насмешек. Причины для юмористического отношения к правилам, надо сознаться, существовали; так, например, на одном окошке № 4 полагалась занавеска, задерживаемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться.

Обо всех мелочах в жизни каждого крестьянина Аракчеев знал подробно; в каждой деревне было лицо, которое обязано было являться каждое утро лично к самому графу и подробно рапортовать о случившемся в течение суток.

О домашней жизни графа мы будем говорить в своем месте.

Прибежавший с берега Волхова в графский дом Петр Федоров застал графа уже вставшим; он был одет в серый военного покроя сюртук на беличьем меху и ходил взад и вперед по своему обширному кабинету, пристально взглядывая по временам на висевший на стене большой во весь рост портрет государя Александра Павловича работы Дау. Это было его обыкновенное утреннее занятие.

Граф думал.

Скрип двери вывел его из ежедневных дум о минувшем.

— Кто там? — раздражительно произнес Алексей Андреевич, не любивший, чтобы его беспокоили тотчас после того, как он встал с постели.

В дверях появился бледный Семидалов. Его растерянный вид не ускользнул от зоркости графа.

— Что случилось?

Семидалов начал подробный доклад.

— Что же в этом особенного? Мало ли на свете негодяев, способных и не на такое преступление. Дать сейчас же знать сотскому и исправнику.

Алексей Андреевич присел к столу, на котором стоял его утренний кофе.

Петр Федоров наклонился к графу и что-то прошептал. Последний вскочил.

— Ты врешь, не может быть! — воскликнул он.

— Как бы я смел соврать вашему сиятельству.

— Но как же это... столько лет... как можно узнать?

— Видимо, не особенно давно, ваше сиятельство, черты сохранились, глаза.

Семидалов вздрогнул.

— Идем, я хочу убедиться сам... — торопливо взяв со стола фуражку, сказал граф.

Петр Федоров почтительно отворил дверь кабинета и, пропустив графа, последовал за ним.

Алексей Андреевич шел быстро, и они скоро достигли того места берега, где лежал невод с так поразившей и графа, и Семидалова утопленницей.

Аракчеев долго всматривался в покойницу.

— Ты прав — это она! — сказал он Петру Федорову и с поникшей головою отправился к себе в дом.

— Дать тотчас же знать сотскому и исправнику, и как приедут, пусть явятся ко мне! — отдал он приказание сопровождавшему его Семидалову и удалился в кабинет.

IV

В МОСКВЕ

Дом вдовы действительного тайного советника Ольги Николаевны Хвостовой находился в Москве на Сивцевом Вражке — в местности между Арбатом и Пречистенкой.

Это был деревянный на каменном фундаменте, окрашенный в традиционную серую краску, старинный барский дом. Он стоял в глубине двора с круглым палисадником посередине, так что дорога к подъезду, обтянутому и зиму и лето полосатым тиком, шла вокруг этого палисадника.

Дом как бы разделялся подъездом на две половины; шесть высоких окон по фасаду каждой половины на ночь плотно затворялись ставнями, окрашенными в зеленую краску и с вырезанными в верхней их части сердцами.

По бокам деревянного решетчатого забора, окрашенного тоже в серую краску, с такими же репчатыми воротами посередине, находились два флигеля, в три окна каждый, выходящий на улицы. В правом флигеле помещалась кухня, а в левом людская — оба флигеля были соединены с главным домом крытыми галереями. За домом был тенистый сад, а за обоими флигелями тянулись обширные надворные постройки.

Таковы были владения вдовы действительного тайного советника Ольги Николаевны Хвостовой.

Сама хозяйка — высокая, худая старуха, лет около шестидесяти, с белыми, как лунь, волосами, причудливые букли которых спускались на виски из-под никогда не покидавшего голову Ольги Николаевны черного кружевного чепца с желтыми муаровыми лентами, одетая всегда в темного цвета платье из легкой или тяжелой материи, смотря по сезону — производила впечатление добродушной и сердечной московской аристократки, тип, сохранившийся в сановных старушках Белокаменной и до сего дня.

Властность в каждом взгляде и движении, наряду с отсутствием напускной чопорности и жеманства — служили в Хвостовой признаками истой родовитости, да и на самом деле она была последним отпрыском знатного, но обедневшего рода князей Брянских. Все окружающие ее любили и все боялись ее сдержанного гнева, никогда даже не выражавшегося крикливою нотою.

В молодости Ольга Николаевна была выдающеюся красавицей, о чем красноречиво говорили тонкие черты ее старческого лица, и украшением двора императрицы Екатерины II, при котором она была фрейлиной и в водовороте блеска и роскоши которого погибло громадное состояние ее родителей.

Оба они в один год сошли в могилу, почти следом за своей монархиней, когда их единственной дочери шел двадцать шестой год, не оставив ей никакого состояния, кроме знатности и красоты. Последняя в тот романтический век была сама по себе хорошим капиталом, не в том смысле, как понимается это выражение теперь, а действительным состоянием, обеспечивающим девушку на всю жизнь и делающим ее счастливой и довольной.

Это оправдалось на судьбе Ольги Николаевны, вскоре вышедшей замуж за гвардейского полковника Валериана Павловича Хвостова, человека с блестящей будущностью и громадным состоянием.

Москвич по рождению, он через два-три года после свадьбы перешел из военной в статскую службу и получил назначение на один из видных административных постов первопрестольной столицы.

С тех пор семейство Хвостовых, состоявшее из мужа и жены, сына Петра, родившегося в Петербурге, и дочери Марии — москвички по рождению, не покидало Москвы, где Валериан Павлович, лет за семь до того времени, с которого начинается наш рассказ, умер сенатором.

Оставшееся после него состояние выразилось в крупной сумме девятисот тысяч, кроме описанного нами дома на Сивцевом Вражке, купленного им на имя жены, и родовых имений в Рязанской губернии. По оставленному им завещанию, капитал делился на три части: триста тысяч получила жена, триста тысяч сын по достижении сорокалетнего возраста, и триста тысяч дочь по выходе замуж с согласия матери; имения отходили также к сыну, но он тоже делался их полноправным собственником лишь по достижении им сорокалетнего возраста.

До достижения сыном назначенного возраста и до выхода дочери замуж, процентами с капитала пользовалась жена завещателя Ольга Николаевна, выдавая своим детям суммы из дохода по ее усмотрению.

«В случае же смерти моей жены ранее достижения сыном моим Петром сорокалетнего возраста и ранее выхода замуж моей дочери Марии — оговаривался завещатель — все права матери по отношению пользования доходами переходят к сыну».

Завещание это в свое время в судейских кружках Москвы наделало много шума по своей оригинальности.

Смерть мужа не поразила Ольгу Николаевну своею неожиданностью — он уже с год, как был прикован к постели, и месяца три его смерти ожидали со дня на день — и не внесла какое-либо изменение в домашний режим, так как не только во время тяжелой болезни Валериана Павловича, но и ранее, с первого дня их брака, Ольга Николаевна была в доме единственной полновластной хозяйкой, слову которой безусловно повиновались все домашние, начиная с самого хозяина дома и кончая последним «казачком» их многочисленной дворни.

Искренно оплакивая кончину горячо любимого ею супруга, Ольга Николаевна не давала горю овладеть ею совершенно, памятуя, что на ней лежат обязанности по отношению к сыну, которому шел двадцать второй год и он был поручиком артиллерии и стоял с бригадой в одной из южных губерний, и к дочери — шестнадцатилетней красавице Мери, как звала ее мать.

Петр Валерианович находился в Москве, в долгосрочном отпуску, по причине со дня на день, как мы уже сказали, ожидаемой кончины его отца. Через шесть недель после его смерти, ему надо было возвратиться к месту своего служения, а потому первая забота Ольги Николаевны была выхлопотать для него перевод в полки, расположенные ближе к Москве.

Ее ненаглядный Петя, статный, красивый, с темно-каштановыми волосами, с правильными чертами лица и глубоким и умным взглядом темно-карих глаз, живой портрет ее покойного мужа, был ее кумиром, хотя властная женщина не давала никогда этого чувствовать своему первенцу-любимцу.

Она свои ласки расточала умеренно, и щедро лишь полезную, по ее мнению, строгость.

Перевести сына в гвардию, чего бы она легко могла достигнуть, она не хотела, помня завет покойного мужа, ни за что не желавшего, чтобы его сын был в этой не военной, а придворной службе, как называл Валериан Павлович, и сам бывший гвардеец, службу в гвардии.

— Одни пиры да балы — вот вся и служба, — говаривал он. — Нет, пусть послужит как следует, потрет солдатскую ляжку — человеком будет...

Валериан Павлович, наперекор мнению всей Москвы, был ярым сторонником графа Аракчеева.

Надо заметить, что сановная Москва не любила последнего как выскочку, не входя в обсуждение его государственных заслуг. Когда в Москве узнали, что граф Аракчеев отклонил намерение государя Александра Павловича сделать его мать, Елизавету Андреевну Аракчееву, статс-дамой, и пожаловать ей орден святой Екатерины, то даже эта скромность стоявшего на вершине власти человека была истолкована досужими москвичами как следствие необычайного, будто, самомнения Аракчеева. Говорили, что Алексей Андреевич сказал своим приближенным, что для его матери не может быть больше чести, как быть матерью Аракчеева.

К старушке Елизавете Андреевне, жившей, впрочем, и без того очень уединенно и скромно в Москве, сановитая ее часть относилась с холодной, сдержанною любезностью, и эти отношения не изменились даже после посещения ее государем Александром Павловичем 18-го августа 1816 года.

Дом Валериана Павловича Хвостова был один из немногих московских домов, где Елизавета Андреевна Аракчеева бывала запросто и всегда была радушно принимаема, как хозяином, так и хозяйкой.

Ольга Николаевна даже очень любила ее, и Аракчеева платила ей искренней взаимностью.

К ней-то и обратилась Хвостова, прося написать сыну о переводе ее первенца на службу под непосредственное начальство всемогущего графа, надеясь при дружбе с матерью открыть, таким образом, своему Пете блестящую карьеру.

Елизавета Андреевна, неохотно ходатайствовавшая за кого бы то ни было у всесильного сына, на этот раз сделала исключение и тотчас же при Ольге Николаевне написала письмо к Алексею Андреевичу.

Ответ не заставил себя долго ждать и пришел в форме уведомления через московского коменданта о переводе поручика артиллерии Петра Хвостова в распоряжение графа Аракчеева.

Приказ этот поразил, как громом, Петра Валериановича, которому мать, готовя сюрприз, ни слова не сказала о своем ходатайстве.

— Я погиб!.. — схватился за голову молодой офицер.

— Да разве можно служить вблизи этого изверга, — начал Петр Валерианович и около часа рассказывал матери все те нелепые басни, которые ходили про жестокого временщика, как в то время многие называли графа Аракчеева.

Ольга Николаевна испугалась.

— Как же быть-то? — растерянно спросила она.

— Как быть? — отчаянно воскликнул он. — Никак... Надо ехать... С ним шутить невякою или же подачей в отставку тотчас после назначения нельзя. И зачем я ему понадобился... Кто это добрый человек так порадел за меня...

Ольга Николаевна закусил губу и опустила глаза. Она не решилась сказать сыну, что этим он обязан ей.

Сын в волнении не заметил смущения матери.

Начались сборы и Петр Валерианович, простившись с сестрою и матерью, поскакал в Грузино.

— Бог даст все хорошо обойдется, граф его полюбит, и по службе как шар по мыльной доске покатится, я же буду еще любезнее с Елизаветой Андреевной и через нее повлияю на графа, — утешала себя Хвостова после отъезда сына.

Судьба, к несчастью, готовила иное.

V

НА ПУТИ В ГРУЗИНО

В первой половине 1820-х годов кипели, как известно читателям, работы по созданию военных поселений. Исполнителями их были большею частью артиллерийские офицеры, так как граф Аракчеев недолюбливал инженеров, и эти последние были только составителями смет и проектов. Впрочем, сам Алексей Андреевич зорко следил за производившимися работами, поощряя усердных и карая нерадивых. Офицеров, желавших служить в поселениях, почти не встречалось, и они были переводимы туда большею частью по распоряжению начальства, то есть по указанию графа, или по рекомендации тех начальников, которым он более доверял, вот почему письмо Елизаветы Андреевны имело, несмотря на то, что ее сын не любил, когда она кому-нибудь протезировала, такой быстрый и успешный результат.

Проезжая по почтовой дороге от Москвы до Новгорода, Петр Валерианович вечером остановился на одной из почтовых станций, чтобы погреться чаем.

Покончив эту операцию, он стал собираться в дальнейший путь, как вдруг зазвенел почтовый колокольчик, и храп остановившихся под окнами лошадей дал знать о прибытии на станцию нового проезжего, а вслед затем вошел в комнату пожилой господин в помятой артиллерийской фуражке, закутанный в поношенную енотовую шубу.

Вновь прибывший проезжий, пылливо осмотрев Хвостова, приветливо поклонился ему — и Петр Валерианович почтительно ответил на поклон старика.

— А, артиллерист, мое почтение, куда едете? — спросил проезжий.

— В военные поселения...

— А, к Аракчееву, ну и хорошо... — заключил проезжий, усаживаясь на кожаный диван.

— К сожалению, ничего не предвижу в этом хорошего, — с горечью возразил Хвостов.

— Почему же так, или служба так тяжела?

— Не служба, а жизнь. Кто не знает графа, этого жестокого и жесткого человека, у которого нет сердца, который не оценивает трудов своих подчиненных, не уважает даже человеческих их прав, — с горячностью произнес Петр Валерианович, почти до слова повторяя все то, что он несколько дней тому назад говорил своей матери.

— Вот как! А я так знаю, что Аракчеев только лентяев и вертопрахов не любит, пьяниц и мотов преследует, а хорошему слуге и у него хорошо, — протяжно проговорил проезжий, пристально глядя на Хвостова.

— Хорошо слуге, который льстит ему, слуге, который... — начал было снова последний.

— Смеленько, смеленько, молодой человек, смеленько осуждать человека, которого знаете только по слухам, — несколько сурово перебил его проезжий.

— Не я один осуждаю его, — поспешил оправдаться Петр Валерианович, торопливо собираясь выйти из комнаты.

— Мое почтение, желаю счастливого пути, доброй службы и советую не слушаться дураков — может быть, увидимся! — проговорил незнакомец на прощальный поклон Хвостова.

В воротах, при выходе его на улицу, прошмыгнул кто-то мимо него в военной шинели и в фуражке солдатского покроя и взошел на крыльцо станционного дома.

«Это слуга проезжего!» — подумал Петр Валерианович и роковая догадка промелькнула в его уме. Последние слова проезжего несколько его озадачили.

«А что, если это Аракчеев? — подумалось ему. — Вот попался!»

Но почтовая тройка тронулась, зазвенел колокольчик, и Хвостов помчался тою ухарскою прытью ямской езды, какую славилась Русь до искрещения ее сетью железных дорог, и на другой день вечером путник был уже у цели своего путешествия.

Явившись к новому своему начальству, он узнал, что все прибывающие на службу в поселения должны были непременно представляться самому графу, а так как граф накануне выехал в южные поселения, то Хвостову и предстояло исполнить этот долг по возвращении его сиятельства.

Известие, что граф Аракчеев уехал накануне, неприятно отозвалось в ушах Петра Валериановича, и теперь он был вполне убежден, что в дорожном незнакомце встретил

своего страшного начальника.

Со дня своего приезда в течение трех недель Хвостов был без дела, но, однако, никому не промолвил о своей встрече, не упомянув о ней и в письме к матери, ожидая разрешения своей догадки и придумывая средства выйти из затруднительного положения, если бы эта догадка оправдалась.

Но вот, наконец, раз вечером он получил форменную записку, содержащую в себе приказание:

«Ваше благородие имеет честь завтра, в 10 часов утра, представиться его сиятельству».

Тревожно проведена была Петром Валериановичем наступившая ночь.

На другой день, за час до назначенного времени для представления графу, он уже был в знаменитом Грузине — резиденции Алексея Андреевича.

Войдя в залу, назначенную для представления, Хвостов застал уже там двух-трех офицеров. Вскоре, впрочем, молча, тихо, как бы под давлением страха или благоговения, стали входить новые лица, и в какие-нибудь полчаса вся зала наполнилась военными чинами разных родов войск, начиная с генерала до прапорщика.

Несмотря на количество ожидавших, в зале царила глубокая тишина, нарушаемая лишь изредка порывистым шепотом старших чинов. У одной из запертых дверей стоял навытяжку офицер в парадной форме — это был дежурный.

Эта дверь, на которую часто обращались взоры присутствовавших, вела во внутренние покои графа.

Но вот дверь отворилась — все встrepенулись, и из нее вышел какой-то генерал с бумагой в руке.

— Клейнмихель! — шепнул Хвостову его сосед.

Петр Андреевич был начальником штаба военных поселений.

Он, раскланявшись с присутствовавшими генералами, развернул бумагу, оказавшуюся списком представляющихся графу, и стал по ней приводить длинный строй их в порядок вокруг залы.

Окончив эту проверку, Клейнмихель удалился снова в заветную дверь, и тишина в зале стала еще томительней.

Не прошло, однако, и пяти минут, как дверь снова отворилась и из нее вышел старый генерал, сопровождаемый Клейнмихелем.

Сердце бедного Петра Валериановича дрогнуло и сильно забилося: это был он — проезжий, встреченный им на станции, это был сам Аракчеев, которому он высказал о нем же самом столько дерзких мнений.

Граф Аракчеев, войдя в залу, остановился, суровым взглядом обвел всех присутствующих, как будто отыскивая кого-то своим взором, и Хвостову показалось, что этот обзор окончился на нем.

Началось и самое представление.

Генерал Клейнмихель по списку называл представляющихся.

Граф одних обходил молча, другим выражал свое одобрение, а некоторым делал строгие выговоры.

Дошла, наконец, очередь и до Хвостова.

Начальник штаба громко прочел:

— Поручик Петр Хвостов, переведенный из...

Граф Аракчеев не дал закончить генералу его доклада.

— Мое почтение! — сказал он полунасмешливо Петру Валериановичу.

Тот отдал ему почтительный поклон.

— Мое почтение! — повторил Алексея Андреевич с особенным ударением.

Хвостов повторил тот же поклон.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал граф, обернувшись к Клейнмихелю. — Не так ли? — обращаясь снова к Петру Валериановичу и пристально глядя на него, спросил Алексей Андреевич.

— В первый раз имею счастье представляться вашему сиятельству! — смело ответил Хвостов.

— Как в первый раз! А помнишь станцию на московской дороге? Помнишь, как ты честил меня?

— Я говорил с проезжим, ваше сиятельство.

— О, да ты, я вижу, молодец на слове, каков-то на деле? Повторяю тебе, что Аракчеев дураков и лентяев не терпит! Пусть он будет, по-твоему, такой-сякой, а посмотрим ты какой?

— Петр Андреевич! — обратился граф к Клейнмихелю. — Поручить поручику Хвостову постройку нумера...

При этом Аракчеев назвал номер предполагавшейся постройки какого-то нового здания близ самого Грузина.

Во все время этой сцены в зале царил мертвая тишина.

Отдав это приказание относительно Петра Валериановича и затем пасмурно окинув с места все остальное собрание представлявшихся, граф Алексей Андреевич удалился. Все стали расходиться.

По выходе из дома, несколько лиц обратилось к Хвостову с расспросами о знакомстве его с графом, и на свои объяснения он выслушал предупреждение:

— Будьте осторожны! Вам предстоит тяжелое испытание. Работы по устройству военных поселений открывались раннею весною, граф торопился с их окончанием.

Через две-три недели должен был начаться египетский труд.

За это время Петр Валерианович Хвостов получил для соображения все письменные и словесные наставления и усердно принялся за их всестороннее изучение. Так как порученная ему постройка находилась, как мы уже знаем, близехонько от Грузина, то он догадывался о цели такого распоряжения и приготовился к борьбе со всякою случайностью, приготовился

быть всегда начеку и настороже под зорким глазом самого графа Аракчеева.

VI

ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫЛИСЬ

Наконец настала и самая пора работ, и молодой офицер со всею горячностью предался порученному делу.

Отрешившись от всех знакомств, товарищеских связей, бросив все посторонние занятия, он только и помышлял о том, как выйти ему из того тяжелого положения, в какое он поставил себя своею опрометчивостью: одна надежда жила в его сердце, что его труды и усердие укротят, наконец, затаенный гнев на него всесильного графа.

Прошло несколько дней от начала его занятий, как вдруг граф Аракчеев пожаловал для осмотра работ.

Осмотрев их и не сказав ни слова, он удалился.

Не прошло после того и двух дней — новое посещение графа, потом скоро не замедлило и третье, и все три в разные часы дня.

Хвостов понял, что надобно не дремать и вооружился терпением.

Чтобы быть поближе к работам, он расположился бивуаком в одном из рабочих сараев и ночь только отдавал себе.

С раннею утреннею зарею он уже был на работах и с вечернею возвращался в свой сарай на ночлег, а граф неустанно посещал и посещал его, но всегда заставал строителя на месте работ.

В одно из таких посещений, Алексей Андреевич внимательно осмотрел всю постройку и вдруг заметил Петру Валериановичу, что в оштукатуренной печке один из углов крив.

Хвостов отвечал, что прям.

— А я говорю, крив! — раздражительно повторил граф.

Подали отвесную доску — угол оказался верен.

— Виноват — извини! — и затем, сказав по адресу Петра Валериановича несколько лестных слов, Алексей Андреевич уехал.

Петр Валерианович уже не раз после этого слышал от графа Аракчеева слова одобрения: «Хорошо, молодец», — и было за что. Работа под наблюдением Хвостова, действительно, кипела, и он далеко опередил своих товарищей по той же профессии.

В середине лета постройка была совершенно окончена, и через неделю Петр Валерианович был приглашен запискою представиться графу.

— Ну, поздравляю тебя — ты штабс-капитан, — обратился Алексей Андреевич к представлявшемуся ему Хвостову. — Повторяю тебе, что Аракчеев лентяев и дураков не жалует, но усердие и труды оценивает.

Сказав это, граф тут же передал приказание генералу Клейнмихелю о поручении Хвостову новой работы.

Как ни обрадовался Петр Валерианович чину штабс-капитана, который в описываемое нами время весьма туго доставался в артиллерии, но едва ли не более был опечален новым поручением. Он не боялся труда, но его сильно возмущал надоедливый надзор за ним графа.

Но и новая работа была окончена и так же благополучно, как и предшествовавшая, с тем же благоволением строгого начальника, и результатом ее была новая награда, полученная Хвостовым.

Таким образом, два с половиною года тянулись тяжкие для него испытания, и за это время он успел получить чин капитана и даже орден.

Граф, видимо, стал благоволить к нему и даже отличал его своим доверием, но, к несчастью, не таков был характер Петра Валериановича, чтобы быть счастливым вниманием к нему начальства. Одержав, как ему казалось, нравственную победу над графом, он возомнил о своем уме и способностях и даже решился вступить в борьбу с всеильным графом Аракчеевым на почве излюбленной последним заветной идеи будущей несомненной и неисчислимой пользы организуемых им военных поселений, долженствовавших покрыть свою сетью всю Россию, на страх, на самом деле, вострепнувшей при известии о преобразовании в этом смысле русского военного быта, Европе.

В это-то время, когда граф Алексей Андреевич, увлекаемый мечтою создать что-то необыкновенное из устройства военных поселений, так ревниво преследовал малейшее порицание задуманного им, по его мнению, великого дела, он, в лице Хвостова, встретил непрошенного дерзкого противника своей заветной мысли.

Последний находил, что устройство военных поселений — обращение мирных поселян с их потомством в пахотных воинов — не только не может принести ни малейшей пользы, но готовит в будущем непоправимое зло и грустные последствия.

От мнения Петр Валерианович перешел к делу: в обширной записке он изложил свой взгляд по этому предмету, критически отнесся к этому нововведению, пророча ему в будущем полную несостоятельность и, в конце концов, совершенную его отмену.

Эту несчастную записку он имел смелость представить через начальство своему грозному принципалу.

История умалчивает, с каким чувством читал граф Алексей Андреевич эту записку, но только вскоре она вернулась по начальству же к ее автору с лаконичною, энергичною пометкою самого графа: «Дурак! Дурак! Дурак!»

По слухам, и посредствующему начальству передача этой записки обошлась нелегко.

Петр Валерианович, однако, не уgomонился. Оскорбленное ли самолюбие, уверенность ли в непогрешимости своего мнения, изложенного в записке, а, быть может, упрямая настойчивость, подстрекнули Хвостова, и он успел, вероятно, при помощи врагов всеильного графа, а их было у него немало, довести свою записку до сведения императора Александра Павловича.

Государь прочитал записку, и она была им препровождена к графу Аракчееву с изображенною на ней, как говорили, такой, приблизительно, резолюциею государя: «Прочитал с удовольствием, нашел много дельного и основательного, препровождаю на внимание графа Алексея Андреевича».

Можно себе представить то раздражение графа, в какое он был приведен дерзкою настойчивостью Хвостова.

Муравей осмелился восстать на слона и беспощадно был им раздавлен.

Капитан Петр Валерианович Хвостов исчез в одну ночь.

Ходили разного рода слухи, догадки — но капитан исчез и на квартире его не оказалось даже его денщика.

Рассказывали, что в роковую ночь кто-то видел троечную повозку, отъезжавшую от квартиры Хвостова с ямщиком и двумя пассажирами.

Поговорили, посудили втихомолку об этом событии и забыли, занятые новыми интересами дня, а капитан все-таки пропал, пропал бесследно.

Это исчезновение живого человека было, на самом деле, до того полно и бесследно, что Ольга Николаевна Хвостова, ничего, кстати сказать, не зная о делах сына и радовавшаяся лишь его успехам по службе, так как Петр Валерианович хотя писал ей, исполняя ее желание, не менее раза в неделю, но письма его были коротки, уведомляли лишь о том, что он жив и здоров или же о каком-нибудь важном случае его жизни, как то: получение чина, ордена — встревоженная его продолжительным и ничем необъяснимым молчанием, сама поехала в Новгород и там узнала лишь, что сына ее куда-то увезли, но куда — этого не мог ей никто сказать, так как никто этого, и на самом деле, не знал.

— Кроме графа... — шепотом добавил городничий, смягченный и сделавшийся разговорчивым, ощутив в своей руке внушительную пачку ассигнаций, перешедшей в эту руку из руки неутешной матери.

Он рассказал ей подробно всю историю ее сына, но от этого ей было не легче, так как ответить на щемящий ее душу вопрос: «Где этот сын, жив ли, здоров ли?» — он не мог, да, по его словам, и никто ответить на этот вопрос не был в состоянии, даже губернатор.

Ольга Николаевна знала последнее по опыту, так как была у начальника губернии, но не узнала от него ничего.

— Никто ничего не знает, кроме графа! — снова понизив до шепота голос при произнесении последних слов, сказал городничий.

Хвостова бросилась в Грузино.

Там прожила она около недели, но никаким образом не могла добиться приема и с разбитым сердцем поехала в Петербург.

Но и тут ожидало ее полное разочарование — никто ничего не знал и не мог ей сказать об участии капитана Петра Валериановича Хвостова.

Последняя надежда, еще теплившаяся слабою искрою в сердце Ольги Николаевны, исчезла. Она впала в какую-то апатию. Без слез просиживала она по целым часам на одном месте, оставив свой взгляд в какую-то ей одной видимую точку.

В эти две-три недели она страшно осунулась, похудела, поседела и даже как-то сгорбилась.

Ей приходило на мысль, что если бы сын ее умер, то это не так бы сломило ее — все мы ходим под Богом, все мы должны умереть рано или поздно, но потерять его живым, не зная, где он находится, что делает, или вернее, что с ним делают — было более чем ужасно.

В таком страшном состоянии Хвостова возвратилась в Москву до того, как мы уже сказали, изменившаяся, что домашние и знакомые прямо не узнали ее.

На другой же день она поехала к Елизавете Федоровне Аракчеевой, но узнала от хозяина дома, где она жила, что старушка переехала на постоянное жительство в Тихвин; Ольга Николаевна послала ей длинное письмо, но оно осталось без ответа, доставив Хвостовой около месяца маленькой надежды.

Время, однако, этот исцелитель всякой скорби, затянуло сердечную рану матери и притупило жгучую боль.

Провидение как бы укрепляло силы несчастной Хвостовой, так как вскоре ее ожидало другое, не менее ужасное и тяжелое семейное горе.

VII

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Читатель, вероятно, не забыл, следя за судьбой героев нашего правдивого повествования, что Сергей Дмитриевич Талицкий — этот кузен и злой гений Екатерины Петровны Бахметьевой, так трагически исчезнувшей со сцены нашего романа, считался после войны 1812 года, по официальной справке, пропавшим без вести.

Но официальная справка всегда остается только официальной справкой, а жизнь — жизнью.

Быть может, читатель, знакомый с нравственным обликом этого «героя», узнав об его исчезновении, с довольным видом воскликнул: «Худая трава из поля вон», — но мы, увы, должны напомнить ему другую, но уже немецкую поговорку: «Unkraut fergeht nicht», — то есть, худая трава не изводится, которая всецело и оправдалась на Талицком.

Он был жив, здоров и даже относительно счастлив, но он не был только Сергеем Дмитриевичем Талицким. Волк надел другую шкуру.

Метаморфоза эта произошла при следующих трагических обстоятельствах.

Во время медленных движений нашей армии до Бородинского сражения и после него Сергей Дмитриевич успел сойтись на короткую, дружескую ногу с капитаном своей роты Евгением Николаевичем Зыбиным.

Последний был одних лет с Талицким, и даже в лице их было некоторое сходство, и не будь Талицкий светлым шатеном, а Зыбин совершенным брюнетом, сходство это было бы еще разительнее.

Долгие дни военного бездействия сдружили молодых людей и побудили их к откровенности в продолжительных беседах.

Скажем кстати, что со стороны Талицкого эти дружеские излияния были сплошной ложью, и только добряк и, что называется, «рубаха-парень» — Зыбин говорил искренно.

Из этих рассказов Сергей Дмитриевич узнал, что Евгений Николаевич Зыбин круглый сирота, имеет независимое состояние, заключающееся в двух сотнях душ в Тамбовской губернии.

Из родных у него в живых одна старая тетушка, имеющая в Москве дом на Арбате и

маленькое имение в Новгородской губернии, душ в тридцать.

Зовут эту тетушку Ириада Александровна Зыбина, но он, Зыбин, не видал ее почти с детства, хотя и переписывается с ней изредка.

На воспоминаниях своего детства, когда он жил до поступления в корпус в доме этой тетушки, Евгений Николаевич останавливался с особенными подробностями и удовольствием.

Сергей Дмитриевич старался не проронить ни слова из рассказа своего друга и товарища.

Ему казалось, что эти сведения пригодятся ему.

Петербургская жизнь травленного зайца, где бесчисленные кредиторы играют роль неутомимых охотников и к которой Сергей Дмитриевич volens nolens должен будет возвратиться после кампании, представлялась Талицкому страшным кошмаром, от которого он страстно желал освободиться всеми средствами.

Но освободить его от этого кошмара могла одна смерть.

Умирать же ему не хотелось.

«Смерть! — повторял сам себе Сергей Дмитриевич. — Страшная штука!»

«А если не твоя, а чужая!» — подсказывал ему какой-то насмешливый голос.

Страшный план возник в его уме. Гнусная мысль нашла уже в нем готовую почву.

Время шло.

Наша армия дошла до реки Березины, через которую так бесстыдно бежал Наполеон с ничтожными остатками своей «великой» армии.

Война окончилась согласно обету государя Александра Павловича — ни один живой враг не остался в пределах русской земли.

Русские войска, во главе со своим венценосным вождем, побывали в Париже и, даровав мир с облегчением вздохнувшей Европе, возвратились на родину.

Офицеры получили продолжительный отпуск при переходе через границу.

Евгений Николаевич упросил совершенно влезшего к нему в душу Талицкого провести время этого отпуска у него в имении.

Услыхав это дружеское предложение, Талицкий невольно вздрогнул — так это соответствовало задуманному им ужасному плану.

Он некоторое время даже молчал, ничего не отвечая на любезное приглашение.

— Разве ты составил себе другой план? — с тревогой в голосе спросил его Забын.

— План, какой план? — с испугом уставился на него Сергей Дмитриевич.

— Да что с тобой, чего ты на меня так уставился, конечно, план провести время нашего отпуска...

— Нет, мне, собственно, на этот счет безразлично, — с облегченным вздохом проговорил Талицкий, — я очень буду рад проехать с тобою к тебе...

— Вот это по-приятельски, благодарю, благодарю, — бросился обнимать друга Евгений Николаевич.

Почтовые тракты еще не были приведены после войны в должный порядок, но Зыбин приобрел в одном из пограничных местечек у какого-то жида бричку и пару лошадей, и друзья решились отправиться в путь вдвоем.

— Я правлю, как настоящий жокей — мы отлично обойдемся без кучера, — успокаивал своего приятеля Зыбин. — Это что, клячи, — указывал он на купленных им лошадей, — а вот погоди, в имении на каких я буду тебя рысаках катать.

Талицкий только кивал головой в знак полного согласия. Внутренне он переживал состояние человека, подхваченного быстрым потоком, справиться с волнами он не был в силах и с головокружительной быстротой несся по течению.

Сборы приятелей были не долги — Зыбин даже вещи Талицкого положил в свой чемодан, купленный им за границей и оказавшийся очень вместительным.

— Это не чемодан, а целый дом, — смеялся он, укладывая вещи.

Наконец, в одно прекрасное раннее утро они выехали. Путь им лежал на Вильну.

— Там найдем кучера и покатым уже с большим комфортом, — заметил Евгений Николаевич.

Талицкий при этом замечании только вскользь бросил на него тревожный взгляд.

Зыбин был в каком-то восторженном состоянии духа, он болтал без умолку, рисовал планы будущего, их жизнь в деревне, затем в Петербурге.

Сергей Дмитриевич был, напротив, сосредоточенно угрюм.

— А ты чего нос повесил? — допытывался по временам у него Евгений Николаевич. — Теперь ты не один на свете, у тебя есть друг, друг преданный, и этот друг — я.

Талицкий часто рисовался перед приятелем своим сиротством, одиночеством, неимением друзей, и тем, что он в мире «один, как перст».

— Тяжело, брат, сойдешься с кем по душе, а потом и видишь, что она норовит тебе гадость сделать, а смерть не берет, одно остается — самому пойти за ней! — заключал он, по обыкновению, свои угрюмые монологи.

— Ужели и теперь, когда мы с тобой вышли невредимы буквально из-под тысячи висевших над нашими головами смертей, я отделавшись легкой царапиной, а ты уже совершенно неприкосновенным, ты все думаешь о смерти? — озабоченно спросил его приятель.

Он не ошибся, Сергей Дмитриевич действительно думал о смерти.

«Не твоя смерть, а чужая!» — шептал ему уже давно преследовавший его насмешливый внутренний голос.

Об этой-то чужой смерти и думал Талицкий, и эта чужая смерть была смерть человека, называвшего себя его искренним другом — смерть Зыбина.

Таков был конечный план этого, до сих пор сравнительно мелкого негодяя, готовящегося стать крупным.

Переход этот оказывался не из легких.

Убить человека, убийство которого было так удобно, человека, ему доверяющего и не подозревающего его гнусных замыслов, сидящего с ним бок о бок, и, конечно, не думающего принимать против него каких-либо мер предосторожности — ведь это же так легко, но на деле оказывалось страшно трудным.

Это доверие, эта близость, эта незащищенность и, в конце концов, именно эта легкость исполнения затрудняли дело, парализовали злую волю — рука, уже державшая заряженный пистолет, сама собою разжималась и бессильно падала.

А между тем, убить было необходимо — это уже давно обдуманно, решено, закончено...

Это венец того плана, зародыш которого сидит в голове, растет, вырос и требует настоящего появления на свет — это так же физиологически неотложно, как неотложно беременной женщине родить в установленный природою срок.

Внутреннее сознание подсказывало все это Сергею Дмитриевичу, и, между тем, силы оставляли его.

Он переживал все муки невозможности разрешиться от тяготевшего в его душе бремени, напрягал все усилия нравственных мышц своей воли, подбодрял себя, укорял, стыдил в своей слабости и минутами был готов завершить обдуманное дело, но это были только минуты.

«В Вильне мы найдем кучера! — припоминал он слова Зыбина. — Значит, появится свидетель, следовательно, надо это сделать до Вильны. Может быть, можно избежать... Нет... надо... необходимо... неотложно».

«Не твоя смерть — чужая!» — свинцом засело в его голове. Они приехали в последнюю деревушку перед Вильной.

VIII

УБИЙСТВО

Дорога к Вильне от той деревушки, в которой имели последний привал наши путешественники, была почти сплошь густым лесом.

Осень 1814 года, во время которой происходили описываемые нами события, была поздняя, но сухая и ясная. Была уже половина октября, а деревья еще не обнажались от покрасневшей листвы. Днем в воздухе чувствовалась даже теплота, только к ночи температура резко понижалась, а на заре были холодные утренники.

Когда Зыбин с Талицким въехали в деревушку, уже вечерело, небо было покрыто тучами, а потому было совершенно темно.

Зыбин предложил заночевать и дать более продолжительный отдых лошадям, но Сергей Дмитриевич, всю дорогу во всем соглашавшийся со своим спутником, тут вдруг горячо запротестовал:

— Помилуйте, до Вильны осталось каких-нибудь тридцать верст и вдруг сидеть всю ночь в этом свином котухе, без воздуха, среди вони и смрада.

Он сделал даже отчаянный жест, указывая на действительно неприглядную обстановку

крестьянской хаты, в которую они зашли отдохнуть.

Евгений Николаевич усмехнулся.

— Ишь... неженка, тюфячка захотел, оно и правда, давно мы с тобой не нежили наши походные кости, так будь по-твоему, часа четыре дадим постоять лошадям, а там и в путь в Вильну.

Талицкий успокоился и снова как-то еще более затих, погрузившись в свои думы, машинально выпил несколько кружек чаю, две чарки водки и закусил.

Зыбин, привыкший к его настроению, не беспокоил его расспросами. «Само собою пройдет. В Вильне я его развлеку», — думал он глядя на своего задумчивого товарища.

— А я все же всхрапну часок-другой, а тебе тоже советовал бы сделать, — заметил он Сергею Дмитриевичу, устроив себе из шинели ложе на лавке и с наслаждением располагаясь на нем. — Вон порожняя лавка.

— Я спать не хочу... — сквозь зубы процедил Талицкий и, положив локти на стол, уронил голову на руки.

Вскоре в хате раздался храп Зыбина с каким-то легким присвистом.

Эти звуки вывели Сергея Дмитриевича из задумчивости.

Он поднял голову, оглядел хату, и взгляд его, остановившись на спящем, как-то злобно сверкнул.

«Ишь, дрыхнет, — пронеслось в его голове, — вот что значит иметь светлое прошлое и светлое будущее... я давно не спал так. Будущее, — повторил он мысленно, — впрочем, он не знает этого будущего, даже очень близкого, и хорошо, что не знает, пусть спит, скоро так заснет, что не проснется».

«А если не смогу, не удастся!» — мелькнуло в его уме.

«Вздор, смогу, должно удастся... так надо...» — решил он тотчас же.

«А если рассказать ему все по душе, — продолжал размышлять Талицкий, глядя на спящего Евгения Николаевича, — попросить по-дружески помощи, поддержки... Он добрый малый, не откажет, даст денег расплатиться с петербургскими долгами, и тогда можно зажить новой жизнью; служить, выслужиться... не прибегая к преступлению, не проливая крови».

Он стал припоминать свои долги: цифры одна за другой укладывались в его уме — итог вышел внушительный. Такой помощи нельзя было и просить.

«Он откажет, и что тогда? Перенести такое унижение... нет, ни за что... Но если бы даже не отказал, если бы это было в его средствах, — Сергей Дмитриевич был уверен, что Зыбин не откажет ему в чем может, — то быть всю жизнь ему обязанным, считать себя благодетельствованным — это невыносимо. Но если бы даже допустить и это, уплата долгов не очистит его в Петербурге — имя Талицкого слишком скомпрометировано, Талицкий не должен существовать... одна смерть может дать ему спокойствие... смерть».

«Не твоя смерть — чужая!» — снова шепнул ему насмешливый внутренний голос.

Если же он сделается Зыбиным, богатым человеком, со светлым прошлым... с деньгами в кармане на первый случай... тогда — другое дело!

Он знал, что и теперь у Евгения Николаевича было тысяч шесть рублей.

«Ведь это капитал, в сравнении с этими нищенскими тремястами рублей, лежащими у меня в кармане. А имение, а богатая тетка».

Губы Талицкого искривились злобно-завистливою улыбкою.

«Нет, решено, не надо быть бабой, надо действовать», — тряхнул он головой, как бы желая отогнать даже малейшие сомнения в осуществлении составленного им плана.

Все эти размышления взволновали его, он стал нервно ходить по земляному полу хаты.

Где-то пропел петух, перекликнулся другой, третий.

Сергей Дмитриевич взглянул на часы, была полночь.

— Пора!..

Он стал будить Зыбина.

Тот быстро вскочил на ноги и они отправились во двор под навес и стали с помощью крестьянина и его сына — хозяев хаты, запрягать лошадей.

Небо очистилось и лишь порой луну застилала облака.

Путешественники щедро заплатили за постой и, напутствуемые всякими благими пожеланиями со стороны довольных хозяев хаты, выехали из ворот, проехали деревню и повернули в длинную, темную лесную просеку.

Сначала их охватил полный мрак, но через несколько минут, когда глаза привыкли, сделалось светлее, да и луна вышла на чистую полосу неба и сквозь густоту деревьев причудливыми узорами освещала дорогу. Перспектива просеки при этом лунном освещении, который лился бесконечно, представляла из себя таинственную и великолепную картину.

— Кабы не послушался я тебя, да проспала бы мы в вонючей хате, не видать бы нам этой прелести, — восторженно воскликнул Зыбин.

Талицкий что-то промычал в ответ. Путники ехали молча.

Вдруг среди этого безмолвия раздался выстрел, протяжный стон, шум от падения тяжелого тела, и снова все смолкло. В бричке сидел один Талицкий.

— Конечно! — почти простонал он, подхватывая вожжи и напрягая все усилия, чтобы остановить подхвативших, испуганных выстрелом и шумом лошадей.

— Тпру... Тпру... — каким-то хриплым голосом останавливал он их.

Лошади наконец остановились.

Увы, еще не все было кончено, только начинается. Он понял это и несколько времени просидел в бричке, не шевелясь.

«Если он жив, он начнет кричать, погонится за мной», — думал он, жадно вслушиваясь в малейший шорох.

Но кругом все было тихо. Луна зашла за облако — мрак сгустился.

Сергей Дмитриевич все сидел и слушал. Луна вышла из-за облака — сделалось светлее.

Талицкий осторожно слез с брички, отвел лошадей в сторону, привязал вожжами к дереву и тихо пошел назад по лесной дороге. На ней, освещенной луною, вдали чернелась какая-то черная масса.

Он медленно, но твердо приближался к ней и наконец различил лежавшего Зыбина.

Он подошел к нему и нагнулся.

Евгений Николаевич лежал ничком, за левым ухом зияла глубокая рана, череп был разбит, виднелся мозг, шляпа валялась невдалеке.

Талицкий дотронулся до руки лежащего, с которой свалилась рукавица, и ощутил холод трупа.

Он отдернул свою руку, отскочил назад, в каком-то моментально охватившем его паническом страхе: он почувствовал, как под его шляпою один за другим поднимались волосы.

Несколько раз он боязливо оглянулся по сторонам и снова стал медленно приближаться к трупу. Сделав над собой невероятное усилие, он схватил его и повернул навзничь и вдруг встретился с спокойным взглядом мертвых глаз — свет луны падал прямо в лицо покойника.

Сергей Дмитриевич мгновенно повернулся и бросился со всех сил бежать по направлению к оставленным им лошадям.

Близость этих живых существ как-то успокоила его, но от быстрого бега он так устал, что должен был обеими руками схватиться за бричку, чтобы не упасть — у него подкашивались ноги.

«Вот оно, что значит убить... — мелькали в его голове отрывочные мысли. — Убить легко!.. Вот я и убил... Но зачем убил? Зачем?.. Вот тут-то и начинается самое страшное... Надо, во-первых, достать его бумажник, документы, кошелек, все ценное, все пригодится... Документы... Да за этим я и убил! — вдруг как бы только вспомнил он. — Во-вторых, надо его убрать с дороги. А для этого надо опять идти к нему. К нему. Ни за что!.. Это-то и есть самое страшное».

Он вздохнул с каким-то стоном и опустил голову, плотно прижавшись к холодному железу брички — это освежило его.

«Баба! Трус! Чего я испугался... Ведь он мертвец... ведь он ничто...» — стал он усовещивать самого себя.

Это, видимо, помогло. Гордо выпрямившись во весь рост, он спокойною, ровною походкою снова направился к трупу.

IX

СТРАШНАЯ РАБОТА

Волнение Сергея Дмитриевича улеглось совершенно, он почувствовал себя вдруг как-то совершенно спокойным, его страх исчез так же мгновенно, как и появился.

Мысли его почему-то особенно стали ясны.

Он вынул еще по дороге к трупу из ножен висевший у него на поясе кинжал и, подойдя к

мертвецу, стал спокойно и осторожно разрезать на нем одежду, чтобы не тратить времени на раздевание трупа. Шинель на покойном была только накинута, Талицкий разрезал пальто, сюртук и остальное. Для того, чтобы снять разрезанные лоскутки одежды, ему приходилось осторожно приподнимать труп, поворачивать его и даже иногда ставить прямо на ноги.

Картина этой адской, страшной работы, освещенная кротким светом луны, была ужасна.

Когда эта часть работы была окончена, Сергей Дмитриевич, как бы забыв о лежавшем рядом теле, стал шарить в этих лоскутках, ища карманов. Он нашел их, вынул все, что в них было: объемистый бумажник, кошелек, часы с цепочкой, кисет с табаком, трубку и записную книжку.

Переложив все это в свои карманы, Сергей Дмитриевич имел хладнокровие снова осмотреть каждый лоскуток. Пистолет, саблю и кинжал, бывшие на покойном, он отложил в сторону у края дороги. Разрезанную одежду он бережно положил на шинель, закатал в нее и завязал ременной портупеей покойного, взвалил узел на плечи, захватил оружие и понес все это к брчке.

Все это он проделывал с какою-то особенной, точно рассчитанной медленностью.

Подойдя к брчке, он уложил свою добычу на ее дно и снова вернулся к трупу.

Хладнокровно взяв его за ногу, он было потащил его в лес, но вдруг свет луны отразился на чем-то блестящем на груди трупа.

Сергей Дмитриевич приостановился и снова наклонился над телом.

Блеснувший предмет оказался золотым тельным крестом, висевшим на такой же тонкой цепочке.

Талицкий без особого усилия разорвал последнюю и сунул крест в карман.

Затем он снова взял труп за ногу и быстро скрылся с ним в чаще леса.

В лесу было уже совершенно темно, Сергей Дмитриевич шел тихо, ощупью, держась прямого направления, чтобы не сбиться с дороги на возвратном пути.

Он углублялся все далее и далее в глубь, таща за собою труп, путаясь в кустарниках, натываясь на деревья и цепляясь за ветви. Ему все казалось, что он все еще очень близко от дороги.

Вдруг он увидел впереди себя на довольно далеком расстоянии два блеснувшие глаза.

Не помня себя от страха, он выпустил из рук ногу трупа и бросился бежать назад, спотываясь, падая, но продолжая свой неистовый бег — страх, казалось, открыл его ноги.

Позади его послышался протяжный вой, а впереди уже виднелась дорога.

«Волки! — вдруг осенила его мысль и сразу успокоила. — Это мои союзники и помощники... К рассвету от него останутся одни кости...»

Он вышел на дорогу, бледный, как полотно.

Кое-как влез он в брчку, и упав головой в угол сиденья, со свесившимися с краю брчки ногами, заснул как убитый.

Когда он проснулся, было уже светло.

Сон был так крепок, что Сергей Дмитриевич несколько минут не мог прийти в себя и

сообразить, где он и что с ним. Его взгляд упал на сверток одежды Зыбина, на котором он спал.

Он стал припоминать и, наконец, события минувшей ночи восстали перед ним во всей их страшной рельефности. Холодный пот выступил у него на лбу.

Он несколько мгновений стоял в раздумьи.

Что же делать? Что же делать?

«Ничего, теперь все кончено!» — успокоил он самого себя, бросив все же боязливый взгляд в ту сторону леса.

Ему даже показалось, что в просветлевшей чаще леса мелькнул голый мертвец.

Он вздрогнул, но вскоре снова оправился и инстинктивно повернул назад и пошел к месту совершенного им преступления.

Там все было, как и ночью: лужа крови, кровавый след, ведущий к лесу, следов других колес, видимо, не было, значит, еще никто не проезжал по этой дороге.

«А теперь, теперь каждую минуту могут проехать!» — мелькнуло в его голове.

Он тщательно и поспешно начал уничтожать следы крови с помощью найденной им толстой палки с заостренным концом и своих собственных ног.

Вскоре все подозрительное исчезло. Так, по крайней мере, показалось ему.

Вдали послышался какой-то неясный шум — стук колес.

Он расслышал его чутким ухом, напряженным страхом.

Он бросился к лошадям, отвязал их и пустился почти вскачь. Застоявшиеся лошади, видимо, были рады поразмять свои ноги. Но вскоре Сергей Дмитриевич одумался и придержал их.

«Это может хуже возбудить подозрение», — подумал он.

Он пустил лошадей сперва мелкой рысью, а затем почти шагом. Стук колес слышался все ближе и ближе — он не ошибся, по дороге кто-то ехал.

Талицкому вдруг страстно, до боли захотелось увидеть живое, человеческое лицо, взглянуть в живые человеческие глаза. Ему казалось, что это уничтожит взгляд мертвых глаз Зыбина, неотступно носившихся перед его духовным взором.

Кроме того, у него появилась другая мысль — ему захотелось убедиться, что человек, проехавший роковое место, ничего не заметил. Сергея Дмитриевича вдруг стали мучить сомнения, что он не окончательно уничтожил кровавые следы.

Вследствие этого, он пустил лошадей шагом.

Стук колес становился все яснее и яснее. Талицкий уже чувствовал, что кто-то едет сзади него, но не оборачивался, а принял даже рассеянный, небрежный вид.

Ему сильно хотелось оглянуться, но он положительно не мог. Ехавший сзади, видимо, не решался обогнать его.

— Должно быть, мужик! — соображал Сергей Дмитриевич, мучимый нетерпением.

Такое его состояние продолжалось около четверти часа, показавшиеся ему целою вечностью.

Наконец, он не выдержал, свернул лошадей в сторону и остановился, делая вид, что ему надо слезть с брички. Мимо него проехал в таратайке, запряженной парой лошадей, какой-то крестьянин, почтительно снявший шапку перед офицером. Талицкий храбро глянул ему в лицо, в глаза и не прочел ничего подозрительного.

— Далеко ли до Вильны? — по-польски спросил он крестьянина.

— Да верст шестнадцать будет! — отвечал тот, почтительно сняв шляпу.

Услышанный звук человеческого голоса совершенно успокоил Сергея Дмитриевича, и он слез с брички, стал осматривать колеса, упряжь лошадей, будто поправлял то одно, то другое с деланно равнодушным видом.

Крестьянин поехал далее своею дорогою крупною рысью. Сергей Дмитриевич наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Крестьянин даже ни разу не оглянулся. Это окончательно успокоило Талицкого.

Переждав еще некоторое время, пока стук колес проехавшей таратайки заглох в отдалении, Сергей Дмитриевич снова забрался в бричку и поехал шажком.

Через два часа он въехал в город подполковником Евгением Николаевичем Зыбиным, как мы и будем называть его отныне.

Х

ВИЛЬНА

Город Вильна за время Отечественной войны 1812 года приобрел себе весьма любопытное историческое значение.

13 июня 1812 года соединенные силы Западной Европы, с французами во главе, перешли Неман, то есть тогдашнюю границу России, и началась война.

Государь Александр Павлович жил в это время уже более месяца в Вильне со всем двором и с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, делая смотры и маневры.

В тот самый день, в который войска Наполеона переправились через Неман и, оттеснив казаков, заняли русскую территорию, император Александр Павлович был на бале, дававшемся ему его флигель-адъютантами по подписке, для которого богатый помещик Виленской губернии, граф Бенингсен, любезно предоставил свой загородный дом в Закрете.

Во время разгара этого веселого, блестящего праздника, при начале мазурки, один из флигель-адъютантов с озабоченным видом подошел к государю и, наклонившись, шепотом передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы России.

Государь удивленно вскинул свои чудные глаза на говорившего, оставил одну из польских дам, с которой до этого времени разговаривал, взял флигель-адъютанта под руку и отошел с ним в отдаленный угол залы, на ходу движением руки подозвав к себе графа Аракчеева.

До слуха присутствовавших, освободивших место залы, где стояли эти трое людей — и то

только до ближайших долетели следующие слова государя:

— Без объявления войны вступить в Россию! Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.

Известие о переходе французами Немана через несколько минут стало известно всем присутствовавшим на бале и принято было с совершенно различными чувствами: русские негодовали, поляки торжествовали, хотя, конечно, явно этого в данное время не выказывали.

Возмущенный наглым поступком того, кого он еще так недавно называл своим другом, государь остался, однако, до конца бала.

Возвратившись домой в замок Кейстута, государь немедленно послал за статс-секретарем Шишковым и приказал тотчас же написать приказ по войскам и рескрипт фельдмаршалу князю Салтыкову, требуя непременно, чтобы в последнем были помещены слова о том, что он не положит оружия до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.

На другой день было написано государем письмо к Наполеону следующего содержания:

«Государь, брат мой! Вчера дошло до меня, что несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства по отношению к вашему императорскому величеству, войска ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня по поводу этого вторжения, что ваше величество считает себя в неприязненных отношениях со мною с того времени, как князь Куракин потребовал свои паспорта. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорта, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности, он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели ваше величество не расположено проливать кровь ваших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все прошедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше величество еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны.

Александр».

Письмо это император Александр Павлович отправил для передачи лично императору французов с тем самым флигель-адъютантом, который первый передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы русской земли.

По странной исторической случайности, посол русского государя был задержан в неприятельском лагере и через несколько дней уже снова в Вильне, в том самом замке Кейстута и даже в том самом кабинете, откуда отправлял его русский император, получил аудиенцию у императора французов, который и вручил ему письмо с дерзким и заносчивым ответом императору Александру Павловичу, полное лживых обвинений и непомерных требований.

Это письмо было последним письмом Наполеона к Александру, и война началась.

Последний раз город Вильна появляется на скрижалях русской истории в конце 1812 года, когда собственно война была окончена и неприятель изгнан из пределов России.

23 ноября 1812 года в Вильну приехал Кутузов, этот вождь, избранный царем, освободитель

России.

Здесь он, в противность воле государя, оставил большую часть войска.

Государь Александр Павлович со всею свитою — графом Толстым, князем Волконским, графом Аракчеевым и другими, выехав 7 декабря из Петербурга, приехал в Вильну 11 декабря.

Здесь, в том же замке Кейстута, состоялось последнее свидание великого государя и знаменитого полководца.

Государь обнял при встрече старика, пожаловал ему Георгия I степени и сказал ему и собравшимся начальникам отдельных частей и офицерам знаменитые, золотыми буквами начертанные на скрижалях русской истории слова: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу».

Но роль Кутузова была кончена, он сделал свое дело и, не одобряя дальнейшего заграничного похода, решенного государем, должен был сойти с исторической сцены. Он и сошел с нее — он умер.

Таково историческое значение Вильны.

Она уцелела от французского погрома, была по-прежнему богата, полна жизненных удобств и житейских удовольствий.

Мнимый Евгений Николаевич Зыбин, въехав в нее и остановившись в гостинице, решил остаться здесь неопределенное время, находя ее самым безопасным местом от неприятных и неожиданных встреч с лицами из его прошлого.

Заняв богатое и роскошное помещение, он, переодевшись, немедленно поехал в парикмахерскую.

— До похода я был черный... а за это время слинял... — небрежно сказал он парикмахеру. — Нельзя ли почернить.

— Можно... — отвечал тот далеко не удивленным тоном, что очень успокоило мнимого Зыбина.

Через какой-нибудь час он сделался совершенным брюнетом.

Взглянув в зеркало, он нашел, что это ему даже идет и остался очень доволен.

Заплатив щедро за труды парикмахеру и купив у него несколько склянок заграничной краски, расспросив о способе ее употребления, он возвратился в гостиницу.

Отдав хозяину гостиницы отпускной билет на имя подполковника Евгения Николаевича Зыбина, он велел затопить камин и потребовал кипятку, лимону, сахару и рому.

Слуга исполнил требуемое, дрова весело затрещали в камине, а из наполненного стакана неся по комнате аромат крепкого пунша. Евгений Николаевич запер дверь номера на ключ и принялся за разборку бумаг.

Отложив в отдельную пачку все бумаги на имя поручика Сергея Дмитриевича Талицкого, он внимательно пересмотрел их и бросил в камин.

Медленно стали они загораться, а Зыбин, между тем, аппетитно прихлебывал из стакана пунш, наблюдая, как синеватое пламя постепенно охватывает документы, составляющие

юридическую часть человека.

«Вот оно, зрелище своего собственного аутодафе!» — мелькнуло в его голове.

Вдруг перед ним снова мелькнули мертвые глаза.

Он усиленно налег на пунш и с отуманенной головой уснул тревожным сном.

Со следующего дня он ревностно принялся за дела. Прежде всего он послал прошение об отставке по домашним обстоятельствам, а затем сделал несколько визитов и вскоре познакомился со всем виленским обществом.

По рекомендации он нашел себе поверенного, которого, снабдив полномочиями, послал в тамбовское имение Зыбина получить доходы, а кстати поискать, не найдется ли на имение покупателя.

Этому же поверенному он поручил заехать в Москву, узнать жива ли и здорова ли его тетка — Ираида Александровна Зыбина, и если жива, передать ей сердечный поклон от племянника.

Устроив все это, он предался светской рассеянной жизни, вечера с дамами сменялись холостыми кутежами, он приобрел друзей, любовь общества, и жизнь его, казалось, катилась бы как по маслу... но...

Во всем и всегда бывает это «но».

Для нашего героя оно заключалось в том, что ему приходилось оставаться одному, и что за днем обыкновенно следовала ночь, которая дана для того, чтобы спать, а спать он не мог — мертвые глаза тотчас же появлялись перед ним, как только он ночью оставался один.

Он стал все чаще и сильнее прибегать к благодетельному пуншу. Впрочем, при здоровом организме ему это сходило с рук — он был бодр, здоров, цветущ.

Прошло около года, поверенный выслал деньги из имения и уведомил, что подходящий покупатель наклевывается; о тетушке же Ираиде Александровне известил, что она умерла вскоре после бегства французов из Москвы, в которой она оставалась, и что дом уцелел.

Евгений Николаевич письменно поручил ему принять наследство, так как других наследников не было.

Получен был, наконец, и указ об отставке подполковника Евгения Николаевича Зыбина, который при отставке был награжден чином полковника.

XI

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ШУЙСКОГО

15 августа 1831 года, под вечер, по дороге к селу Грузину, постоянной в то время резиденции находившегося в опале фельд-цейхмейстера всей русской артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, быстро катился тарантас, запряженный тройкою лошадей.

В тарантасе сидел отставной офицер лет тридцати, высокого роста, с русыми волосами, с большими голубыми глазами, мутными и утомленными.

Черты лица его были красивы, но на них лежала печать весело проведенной юности, о чем

красноречиво говорили преждевременные морщины и блеклость кожи.

Это был мнимый сын графа Аракчеева, небезызвестный читателям Михаил Андреевич Шумский.

Он равнодушно поглядывал по сторонам дороги, но по мере приближения его к Грузину, выражение лица его изменялось, какая-то болезненная грусть читалась в его глазах и в деланно насмешливой, иронической улыбке.

Картины прошлого с самого раннего памятного ему детства против его воли теснились в его голове, вызванные окружавшими его знакомыми местами.

Детство — этот счастливый, беспечный возраст пролетело совсем не так приятно для него, как для других детей.

Считавшаяся его матерью Настасья Федоровна Минкина более его мучила, чем берегла.

Это была, как знает читатель, женщина без всякого образования, грубая, жестокая, она старалась направить его воспитание к тому образу жизни, к которому он назначался.

Не имея понятия о жизни аристократии и зная о ней только понаслышке, она старалась привить ему аристократические манеры и придать ему вид природного аристократа.

Миша был здоровый ребенок — яркий румянец не сходил с его щек. Это сильно огорчало Настасью Федоровну, и она старалась придать интересную бледность его лицу, чтобы он походил на аристократа.

По ее мнению, все аристократические дети должны были быть бледными.

Для достижения этой цели, она не позволяла никогда кормить его досыта и даже поила уксусом.

Если бы добрая кормилица, находившаяся потом при нем в качестве няньки, не кормила бы его тайком — неизвестно, чем бы это кончилось.

Ребенок был связан во всех своих движениях. При своей мнимой матери он вел себя, как солдат на ученьи: вытянувшись в струнку, важно расхаживал, как павлин, закинув голову назад. Зато вырвавшись от нее, он вполне вознаграждал себя за все лишения и неудержимо носился по саду и лугам до истощения сил.

Несмотря на то, что Настасья Федоровна готовила из него изящного аристократа, она без милосердия порола его розгами.

Много горьких сцен этого времени припомнилось Шуйскому.

Кормилица всегда жалела его и заступалась, когда собирались его наказывать: она, со слезами на глазах, просила за него прощения и помилования, становилась перед Минкиной на колени, целовала ее руки, называя ее всеми нежными, сладкими именами, какие были только в ее лексиконе.

Иногда же она принимала угрожающее положение и говорила:

— Сейчас пойду к графу и все расскажу ему, чтобы ты не смела тиранить детище!

Угрозы действовали сильнее, чем ласки: ребенка оставляли в покое, но зато кормилица всегда после таких сцен много плакала и даже стонала.

Это продолжалось до шестилетнего возраста Миши.

После этого времени угрозы не повторялись.

Развивать в ребенке добрые чувства вовсе не заботились. Его учили и молитвам, только не для того, чтобы молиться Богу, а для того, чтобы он твердо и бойко мог прочесть их, когда графу-отцу вздумается спросить его. С младенчества старались ему привить гордость и презрение к низшим. Если Минкина замечала, что он говорил с мужиками или намеревался поиграть с крестьянским мальчиком, она секла его непременно, но если он бил по лицу ногой девушку, его обувавшую, она смеялась от чистого сердца. Таково было его первоначальное воспитание, мало, впрочем, отличавшееся от воспитания подобных барчуков того времени.

Самыми приближенными лицами к его мнимой матери была его кормилица, а затем нянька Авдотья Лукьяновна Шеина и Агафониха.

Шеина была женщина веселого и беспечного характера и очень красива. Минкина любила ее за веселость нрава и забавлялась, заставляя ее петь песни и плясать.

Агафониха — старуха со свиным рылом, хитрая, вкрадчивая. Со льстивыми речами, с низкими поклонами, она, как змея, заползала в сердце своей жертвы, выведывала все тайны и сообщала их Настасье Федоровне, которой, таким образом, было известно все, что делается кругом. Вот между какими людьми рос, хотя и не долго, мальчик Миша.

Граф Алексей Андреевич любил его и ласкал, не раз он сживал у него на коленях, но Миша дичился и боялся его, всеми силами стараясь избегать, особенно после той сцены, памятной, вероятно, читателю, когда граф чуть было не ударил ногой в лицо лежавшую у его ног Настасью Федоровну, которую ребенок считал своею матерью.

Мальчику было как-то неловко в присутствии графа.

К его счастью, последний был очень занят, а потому его свидания с ним были редки и коротки.

С восьми лет Миша Шумский начал жить вместе со своей мнимой матерью более в Петербурге, в доме графа на Литейной.

К нему приставили учителей: француза, немца, англичанина и итальянца.

Француз находился при нем безотлучно — мальчик был более всех расположен к нему. Он в свободное время учил его гимнастике, что очень нравилось ребенку, рассказывал про Париж, про оперу, про театр, про удовольствие жить в свете; многого он не понимал из его рассказов, но темное понятие осталось в его памяти, и когда ему было восемнадцать лет, они стали ему понятны и много помогли в его шалостях.

Англичанин был строг, холоден и неразговорчив — он много мучил его, оговаривая постоянно, и стараясь охладить в нем живость, которую развивал француз.

Немца он терпеть не мог за немецкий язык, не нравившийся ребенку.

С нетерпением дожидался он часов, когда приходил итальянец. Он учил его музыке и итальянскому языку. Его учили играть на скрипке, на фортепиано и на гитаре. Ребенка это забавляло.

По-русски он учился мало: все науки читались ему, по обычаю того времени, на иностранных языках, а более на французском.

Благодаря таким наставникам, мальчик сделался вполне джентльменом, развязным, ловким, болтливym, надменным и даже немножко безнравственным, а благодаря петербургскому климату и своим менторам, он сделался интересно бледным, что приводило в восторг

Настасью Федоровну.

Граф Алексей Андреевич был как нельзя более доволен его воспитанием. Ребенок знал Париж, не выдав его, знаком был с образом жизни французов, англичан и итальянцев. Немцев он не любил в образе своего учителя, а потому мало ими занимался.

Мальчик знал даже, где в Париже можно провести весело время, но вовсе не знал России и с Петербургом знаком был мало. Его познания о России ограничивались начальными уроками географии и грузинской усадьбой, куда он летом ездил на праздники, да и там он более занимался изучением лошадей, собак и мест, удобных для охоты. Гувернер-француз был страстный охотник, во время прогулок он обращал внимание своего воспитанника лишь на места, удобные для охоты, и на разные породы догов.

Бедная кормилица! Сколько слез пролила она за это время! Мальчик не обращал на нее никакого внимания: простая русская баба не стоила того!

Так он воспитывался до того времени, когда его отдали сперва в пансион Греча, а затем в Пажеский корпус.

В корпусе жизнь мальчика пошла правильнее. Избавившись от докучливых менторов, он старался пользоваться свободой, какую мог иметь в корпусе.

Много проделал он проказ, но они всегда сходили ему с рук сравнительно легко — имя Аракчеева было для него могущественным талисманом. Впрочем, он учился хорошо, способности его были бойки, его знанием иностранных языков были все восхищены. На лекциях закона Божьего он читал Вольтера и Руссо, хотя, правда, немного понимал их, но тогда это было современно: кто не приводил цитат из Вольтера, того считали отсталым, невеждой.

Незаметно пролетело время в корпусе — он кончил курс в числе первых и был выпущен в гвардию. Это было счастливое время.

Получив, по тогдашним понятиям, блестящее воспитание, он вступил на широкую дорогу — будущность представлялась ему в самом восхитительном виде. Воображение его терялось в приятных картинах светской, рассеянной жизни.

Михаил Андреевич Шумский поехал в Грузино к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Последний встретил его со слезами на глазах и восторженно любовался им — видно было, что его самолюбие было вполне удовлетворено его образованием. Он приказал отвести ему комнаты в главном доме, был с ним ласков и постоянно твердил ему, что он, как честный дворянин, должен быть предан царю до последней капли крови.

Настасья Федоровна была тоже в положительном восторге; не знала куда лучше посадить и чем потчевать. Когда вскоре граф уехал на один день из Грузина, она напоила его шампанским до пьяна.

Кормилица Лукьяновна, как звали ее в доме, глядя на него, плакала и с какою-то нежною любовью улыбалась ему сквозь слезы.

Она не сводила с него глаз, порывалась обнять, прижать к своему сердцу, но удерживалась присутствием посторонних.

Наконец, она дождалась счастливой минуты, когда они остались одни.

Она обхватила руками его голову, крепко прижала к своему сердцу, целовала его в губы, в лоб, в глаза и шептала в каком-то исступлении.

— Желанный мой, родной мой!

Он чувствовал, как на его лицо падали ее горячие слезы и не старался освободиться от ее ласк — ему было приятно в ее объятиях.

От этих ласк какое-то, неведомое ему прежде, новое чувство взволновало его грудь. Это были минуты первого и последнего его счастья на земле.

И теперь, при воспоминании, на поблекшее лицо Шуйского скатилась слеза.

Дворня и крестьяне с диким любопытством смотрели на него, но молодой барин не обращал на них внимания, не достаивал их даже взглядом.

Вскоре он соскучился в деревне и заторопился в Петербург — поскорее вступить в новую самостоятельную жизнь.

Прощаясь с графом и Настасьей Федоровной, он не чувствовал ни тоски, ни сожаления, неизбежных при прощании, весело прыгнул в коляску, но взглянув в сторону, увидел свою бывшую кормилицу, устремившую на него полные горьких слез взоры.

Тупую болью отозвались в сердце молодого офицера эти слезы — Михаил Андреевич отвернулся и мрачный выехал из Грузина.

XII

BATARD!

В Петербурге Шуйской начал жить так, как вообще жили тогда молодые люди, получившие подобное ему воспитание. С ученья или с парада он отправлялся на Невский проспект, встречал товарищей — они гуляли вместе, глаза на хорошеньких, заходили в кондитерскую или трактир, обедали; после обеда отправлялись в театр, пробирались за кулисы и отправлялись ужинать.

На утро он возвращался домой, измученный вином и разгулом.

Со следующего утра начиналась та же вчерашняя история.

Он посещал и аристократические дома столицы, бывал на обедах, вечерах и балах, иногда читал французские романы, правда, не совсем охотно и только для того, чтобы вычитать из них несколько громких фраз для разговоров.

Жизнь его катилась, как по маслу — на службе он быстро возвышался и был даже произведен во флигель-адъютанты.

В деревню он ездил на праздники, когда там бывал граф Алексей Андреевич, но без особенного удовольствия. Там он не находил себе никакого занятия и от нечего делать скакал верхом на лошади с собаками, гоня бедных зайцев по полям и лугам.

Особенной привязанности к графу и к Минкиной у него не было. Он бы, кажется, не соскучился, если бы не видал их целые годы; лишь к Лукьяновне его влекла какое-то бессознательное чувство, ему часто хотелось повидаться с нею, посмотреть на нее. Он думал, что эта симпатия была результатом искреннего ее к нему расположения.

Он всегда возил ей из Петербурга подарки и часто давал тайком денег.

Так проводил он время, состоя на службе, в полном сознании, что живет, как следует жить образованному человеку. Это сознание тем более укоренялось в нем, что и все почти его товарищи жили точно так же.

Товарищи любили Шуйского. Во всех шалостях и проделках он был всегда во главе. Бойкий и задорный, избалованный надеждою безнаказанности, он в своих выходках часто доходил до дерзости, но ему все прощали.

Рассказы гувернера-француза очень пригодились ему: руководствуясь ими, он удивлял всех своими выходками.

Без Шумского не обходилось ни одной шумной пирушки, ни одной вздорной затеи.

Офицерам того времени не нравился один генерал, строго соблюдавший форму.

Молодые люди, как известно, большие вольнодумцы в отношении формы: чем строже взыскивают за нее, тем охотнее они делают отклонения, чтобы задать шику.

Генерал этот был грозой нарушителей формы.

— Сделай милость, Шумский, проучи его! — не раз подговаривали его товарищи, указывая на нелюбимого генерала.

Долго Михаил Андреевич искал случая, чтобы посмеяться над ним, но случай этот все не представлялся.

Раз был назначен парад на Царицыном лугу; войска уже были в сборе; генералы и адъютанты разговаривали, собравшись в кружок, в ожидании государя.

День был жаркий, солнце так и палило. Нелюбимый генерал был тут же. Чтобы заслонить свое лицо от палящих лучей солнца, он повернул свою шляпу не по форме.

Шумский обрадовался случаю, подскакал к нему, и крикнул на весь плац по-французски:

— Ваше превосходительство, не по форме изволите носить шляпу!

Офицеры засмеялись.

— Tais toi, batard! Молчи, подкидыш, — даже перевел по-русски, отвечая дерзкому офицеру, сквозь зубы генерал.

На французском языке это слово выражает более, чем «подкидыш».

Кровь застыла в жилах Шумского от этой брошенной ему в лицо позорной клички, и он без чувств упал с лошади.

Его отнесли в карету и повезли домой.

Как только дома он очнулся, слово batard — подкидыш, снова раздалось в его ушах, как будто кто-нибудь стал над его ухом и постоянно твердил это ненавистное название.

Первою его мыслью было броситься к генералу и требовать от него удовлетворения, но ему тотчас представился он с этим едким словом на устах и им овладело чувство робости.

«Да кто же я такой? — спросил он сам себя, хотя и не в первый раз, но теперь с особою горечью. — Я считаю Аракчеева своим отцом, а ношу фамилию Шумского! Моя мать мещанка, а я считаю себя дворянином!.. Кто же я такой? Кто же я такой?»

Он, как сумасшедший, метался по комнате.

Он не велел никого принимать. Ему страшно было встретит человека, так и казалось ему, что при встрече прямо в глаза ему скажут: «Batard — подкидыш», — что на него все будут показывать пальцами.

Batard — подкидыш!

Мучения его были ужасны, глубоко было уязвлено его самолюбие. Он силился припомнить свое детство, — старался припомнить своего отца, кто он такой был? — но ничего не мог вспомнить.

Делать было нечего и Шумский решил обратиться за разъяснением мучившего его рокового вопроса к тем, которых считал своими отцом и матерью, к графу Аракчееву и Настасье Федоровне.

Ему не хотелось ехать к ним, не хотелось их видеть — они сделались ему ненавистны, но как бы то ни было, надо было узнать истину.

Он сказался больным и поехал в Грузино.

Не таким приехал он в него, как прежде. Бывало, только приедет, крикнет во весь двор: «Егеря!», — и бежит к собакам, да целые дни и рыщет по полям за зайцами.

Теперь же, приехав, он заперся в своих комнатах и всеми мерами старался избегать встречи с людьми, боялся, чтобы дворня не узнала его позора, и не указала бы на него пальцем.

Он желал всеми силами души и вместе сам же избегал откровенной беседы с графом Алексеем Андреевичем — ему страшно было узнать истину.

Наконец, преодолев все волнения, он решился заговорить с графом, но говорил косвенно, намеками, стараясь заставить его самого высказать все то, что его интересовало.

Граф Аракчеев, казалось, сразу понял намерение молодого человека и был уклончив в ответах.

Шумский не мог ничего от него добиться. Много раз пытался он выведать от него тайну, но безуспешно. Неудача еще более раздражала его.

Один раз, когда они гуляли в саду, он решился сделать попытку.

— Скажите, Бога ради, чей я сын? — робко спросил он графа. В тоне его голоса слышалась непритворная мольба.

— Отцов да материн! — холодно ответил Алексей Андреевич, отвернулся и быстрыми шагами пошел домой.

Такой ответ уязвил Михаила Андреевича до глубины души. Долго сидел он в саду, не давая себе отчета в волновавших его чувствах, в мешавшихся в голове его мыслях. Он даже не знал, был ли это страшный мучительный сон или бред наяву.

Он просидел бы на скамье целый день и целую ночь, если бы лакей, посланный за ним, не вывел его из этого мучительного состояния.

— Его сиятельство вас просят к себе! — доложил он. Луч радостной надежды блеснул в его голове.

«Может быть, он тронулся моим горестным положением, может быть, смягчилось его

жестокое сердце!» — подумал он.

Он вошел в кабинет Алексея Андреевича. Граф был мрачен и суров. Он сидел за своим столом, разбирая какие-то бумаги.

Исподлобья взглянул он на вошедшего и протяжно, носовым голосом сказал:

— Молодому человеку грешно тратить бесполезно время; я бы советовал вам заняться службой.

Он замолчал, кивнув головою по направлению к двери. Шумский поклонился и вышел.

Сказанные слова имели смысл приказания отправиться немедленно в Петербург. Михаилу Андреевичу не хотелось уехать, не узнав тайны своего рождения. Оставался один человек, могущий открыть ему эту тайну, но он мало верил в чистосердечие своей матери. Несмотря на это, как утопающий, хватаящийся за соломинку, — он пошел к Настасье Федоровне.

Скрепя сердце, он начал ласкаться к ней и не вдруг приступил с вопросом. Часа два он говорил с ней о разных предметах, старался быть любезным и внимательным, чтобы расположить к откровенности.

— Чей я сын? — наконец спросил он ее.

— Мой, родной мой! — отвечала она, стараясь придать своим ласкам всю нежность и горячность родной матери.

Но в ласках ее было столько натянутого и поддельного, что они были ему противны. Он едва удержался, чтобы с презрением не оттолкнуть ее от себя.

— Кто мой отец? — спросил Шумский.

— Он, — отвечала Минкина. — Разве не говорит тебе этого твое собственное сердце? Разве ты не можешь узнать твоего отца в тех нежных и заботливых попечениях, которыми он тебя окружает.

— Да кто же он? Назовите мне его!

Она посмотрела на него каким-то робким, недоумевающим взглядом.

— Кто же, как не граф! — сказала она, потупив глаза.

— Неправда!

— Вот тебе свидетель Бог! — указала она рукой на образ. — Пусть я умру на этом месте в мучительных страданиях, если это неправда! — с отчаянием в голосе произнесла она.

Ему страшно стало за нее. Она — ему это было более, чем ясно — бессовестно лгала.

Шумский быстро вышел из ее спальни, велел подать лошадей и уехал в Петербург, ни с кем не простившись. В страшном, мучительном нравственном состоянии выехал он из Грузина.

Он ехал туда с надеждою узнать отца и мать, думая найти родных его сердцу, думая разделить с ними свое горе, выплакать его на родной груди, найти себе родственное участие и утешение в глазах матери, но, увы, жалко обманулся.

Он даже потерял навсегда надежду узнать своих родных. Он был одинок в целом мире и еще с таким позорным прозвищем.

«Batard... Подкидыш!» — все время звучало в его ушах.

Он возненавидел графа Аракчеева и Настасью (он мысленно иначе не называл ее), а с ними и всех людей. У него не было ни одного человека, близкого его сердцу.

XIII

НА ГРУДИ РОДНОЙ МАТЕРИ

Отвратителен показался Михаилу Андреевичу Петербург. Несносно было ходить по многолюдным улицам: это многолюдство напоминало его одиночество и всю пустоту его жизни. Он ни в чем не находил утешения, да где было и искать его?

Он заперся в своей квартире на Морской и выходил только по надобности на службу.

Чего только не придумывал он в то время, чтобы найти себе утешение. Он старался найти его в своем прошлом, но оно было пусто и безотраднo: страшно было заглянуть в него. Кутежи, пиры — вот все, что восставало в его памяти при тщательных усилиях вызвать из нее что-нибудь утешительное.

Сожаление о бесплодно проведенном времени, угрызания совести за растрату юных сил поселили в нем отвращение к самому себе, и хандра — неизбежное последствие недовольства самим собою — овладела им.

Он искал средства избавиться от нее, желал найти себе занятие, труд, и посвятить ему всего себя, чтобы забыться в нем — и не находил. Он принялся читать, но чтение нагоняло на него еще большую скуку.

У него, не приученного к серьезному труду, не было жизненной цели.

Одни несбыточные химеры занимали его голову — они рассыпались в прах при первой неудаче. По целым часам просиживал он в своем кабинете, устремив взгляд на один какой-либо предмет, без мысли, без чувства.

Товарищи всеми силами старались развлечь его, но старания их оставались тщетны.

Он дичился их. Ему завидно и больно было видеть их счастливыми.

Кроме того, он подозревал, что они знают его тайну и из одного только страдания не бросают его. Это было для него обидно, оскорбительно. Он сделался едок и желчен — это отделило его от многих.

Наконец, его положение сделалось так невыносимо-мучительно, что он стал искать самозабвения: верным средством оказалось вино, и он предался пьянству.

Потеряв уважение к самому себе, он хотел заставить других уважать себя силою. Каждая шутка казалась ему насмешкой и оскорблением — он сделался сварлив и вздорен.

Одна еще цель была в его жизни — отомстить генералу, так грубо его оскорбившему. Он хотел ему отомстить так, чтобы он всю жизнь казнил его мезтью.

Убить его ему было мало — нет, он хотел отнять у него доброе имя, спокойствие совести — словом, все радости жизни, чтобы генерал испытал все мучения, какие испытывал он.

И если бы не эта цель, привязывавшая его к жизни, он сделался бы самоубийцей без всякого сожаления о жизни. Ему нечего было терять в ней!

Однажды после развода, когда Михаил Андреевич возвращался домой, по дороге с ним пошел один из его добрых товарищей, Петр Дмитриевич Калачев, и, видимо, старался завязать разговор.

Шумский нехотя отвечал ему, чтобы скорее от него отделаться, но не тут-то было.

Калачев зашел к нему, что сильно не понравилось Михаилу Андреевичу.

Ему хотелось выпить, а при Калачеве было стыдно. Шумский сделался рассеян, умышленно невнимателен к своему гостю, но Петр Дмитриевич, как бы не замечая этого, стал говорить ему о непристойности такого образа жизни, какой он ведет.

Михаил Андреевич отвечал ему неохотно, но тот спокойно продолжал говорить.

Шумский злился и стал отвечать желчно и едко, но Калачев не оскорблялся этим и не прерывал своей речи.

Сколько было в его словах правды, искренности, неподдельного чувства. Он победил Шумского своим великодушием. Михаилу Андреевичу стало стыдно, что он оскорблял человека, который искренне желал ему добра, несмотря на его неблагодарность.

— Благодарю тебя, — сказал он, с жаром пожав руку Петра Дмитриевича, — я вижу, что ты искренне желаешь мне добра, я знаю, что твои слова не пустые фразы. От всей души верю в их правду и искренность, но не могу следовать твоим советам.

— Отчего же? — спросил Калачев, с грустью посмотрев на него.

— Оттого, что для меня в жизни все потеряно.

— Ты разочарован?

— Может быть, и так. Но нет, я мог бы еще найти себе счастье в жизни, если бы не одно несчастное обстоятельство.

— Скажи мне, или, может быть, это тайна?

— Да, это страшная тайна, которой я еще не могу разгадать; мне тяжело говорить о ней: она связана с такими воспоминаниями, которые могут свести меня с ума. Ты знаешь, как тяжело вспоминать то, что мы стараемся, если не выкинуть совсем из памяти, то, по крайней мере, заглушить чем-нибудь.

— Так старайся и ты чем-нибудь заглушить свое горе.

— Чем, например?

— Сначала хоть рассеянной жизнью: ездь в гости, на гулянья, в театр.

— Это для меня невыносимо, все это будет только напоминать мои горькие утраты.

— Так займись серьезным делом. Ты получил прекрасное воспитание; оно не должно быть бесплодно: читай, размышляй, действуй.

— Пробовал, брат, и это, да пользы ни на грош. Видишь ли что: меня учили говорить, а думать не заставляли — так эта работа мне не по силам теперь — скучна.

— В самом деле, положение твое незавидное. Что бы еще придумать? — говорил в раздумье Калачев.

— А вот что, — сказал Шумский, — выпить было бы прекрасно. Одно вино в состоянии прогнать тоску и мрак.

— Полно шутить! — ответил ему с упреком Петр Дмитриевич. — Высказывать всю пагубу пьянства я не буду, ты сам хорошо это знаешь. Посуди сам, прилично ли это образованному человеку...

— Что же мне делать-то? — прервал его Михаил Андреевич, чтобы удержать его от бесполезных рассуждений.

Калачев задумался.

— Есть еще одно средство, — сказал он после минутного молчания, — попросись в деревню к графу Алексею Андреевичу. Он устраивает свою усадьбу, ты ему можешь быть во многом полезен, да и сам незаметно развлечешься, это дело будет для тебя ново и интересно. При этом же сельская жизнь имеет очень благоприятное на нас влияние...

Он долго говорил на эту тему, говорил умно, живо, увлекательно, рисовал перед Шумским такие восхитительные картины, что тот невольно поддался его влиянию и решился ехать в Грузино.

Сказано — сделано. Он взял отпуск и уехал из Петербурга.

Но, увы, предсказания товарища не сбылись — пребывание в Грузии лишь усилило ненависть Шумского к графу и Минкиной и усугубило его хандру.

Он снова принялся не за дело, а за вино.

Графу Алексею Андреевичу, конечно, не нравилось его поведение — он преследовал его своими холодными наставлениями. Михаил Андреевич стал избегать его, как вообще всех людей, и сидел более в своей комнате за бутылкой. Вопрос о его происхождении не давал ему покоя. Ему сильно хотелось разрешить его, но кто мог это сделать?

Однажды к нему зашла Лукьяновна. Светлая мысль блеснула; в его голове.

«Не знает ли чего она? — подумал он. — Она должна бы, кажется, знать; ведь я вырос на ее руках».

— Сослужи мне небольшую службу... — обратился он ласково к ней.

— Изволь, охотно, — отвечала она, — не винца ли принести, справлю сейчас, да так, что никто и не проведаст...

— Спасибо, не надо теперь. Я хочу просить тебя о другом деле, только с условием, чтобы ты сказала откровенно сущую правду.

— Как перед Богом, ничего не скрою... — отвечала она с такою искренностью, что ей нельзя было не поверить.

— Ты с самого начала, как я родился, поступила ко мне в кормилицы?

— С самого первого дня.

— И все хорошо помнишь?

— Еще бы не помнить! — тяжело вздохнула она.

— Скажи, пожалуйста, кто мой отец?

Лукьяновна побледнела и даже попятилась назад при этом вопросе.

— Знать-то, я знаю... — сказала она, понижая голос до шепота и пугливо озираясь по сторонам. — К чему это вздумалось тебе спросить?

— Мне бы хотелось знать отца.

— Да какого тебе отца? Родного, что ли? Зачем он тебе так понадобился? Сам ты не маленький, барин уже большой.

— Тебе, видно, не жаль меня? — сказал он с упреком.

— Аль беда какая приключилась? — с испугом спросила Лукьяновна.

— Ты не знаешь, как я несчастлив... — мрачно ответил Михаил Андреевич.

— Желанный ты мой! Да что тебе приключилось такое? — заговорила она сквозь слезы. — И какому быть несчастию? Молод ты, пригож, в чинах, барин, как следует быть барину!..

— Что мне в этом, когда я не знаю, кто я и мои родители?

— Зачем бы они тебе понадобились? Сам, кажется, на степени; зачем бы тебе их.

— Ах, ты не знаешь, что...

Он хотел сказать ей, что его презирают, что его называют «подкидышем», но ему и ее стало стыдно.

— Скажи, ради Бога, если ты знаешь, кто мой отец? — с неподдельным отчаянием в голосе спросил он.

— Знать-то, я знаю, как мне не знать?.. Да не было бы мне чего от Настасьи Федоровны. Не узнала бы она, как я скажу тебе об этом всю правду.

— Что же может быть?

— Да она меня за это со свету Божьего сживет, в могилу живую закопает. Раз уж, махонькой ты был, вышло это дело перед графом наружу, досталось ей от него, а теперь она с ним уж сколько лет опять скрывать стали...

— Клянусь Богом, никто не узнает того, что ты мне скажешь! — сказал ей торжественно Шумский.

— Быть так, потешить тебя! Твой-то родной отец, Иван Васильевич — покойный мой сожитель.

— Как так? — вскочил с дивана Михаил Андреевич и быстро подошел к стоявшей перед ним Лукьяновне.

— Э... коли говорить, так видно надо все говорить, — сказала она, махнув рукою. — Годов это куда уж более двадцати схоронила я моего покойничка Ивана Васильевича и осталась после него тяжелою. Прихожу я к Настасье Федоровне, я-таки частенько к ней хаживала: бывало, песни попоешь и сказочку ей расскажешь, да и выпьешь с ней за компанию, и всегда хорошее вино пьешь, шампанское называют. Весело время проводили, особенно когда графа

дома не было. Вот таким манером, раз сижу я у ней, а она и говорит:

— Авдотья, ты, кажется, в тягости?

— Точно так, сударыня, Настасья Федоровна, — отвечала я.

— Счастливая! — сказала она и вздохнула.

— Уж какое мое счастье! Осталась сиротой, куда мне с ребенком-то деваться? — заметила я.

— Отдай мне твоего ребенка, когда родишь, если будет мальчик.

— Да зачем это вам, сударыня?

— Пожалуй, я тебе и скажу, только чур молчок, а то по-своему, разделаюсь, ты меня знаешь. Графу хочется иметь наследника — вот и будет наследник. Согласна ты, или нет?

— Да как же это, сударыня, я отдам свое детище в утробе?

— Это все равно, но только, чтобы ты не смела и виду подать, что он твой, я его выдам за своего родного, — говорит мне она.

Страшно мне стало от таких слов.

— Как же это, сударыня, отказаться от своего детища — это смертный грех, — сказала я.

— Полно тебе, глупая. Нашла — грех устроить счастье своего детища! Граф тоже будет считать его своим родным, сделает своим наследником — он будет барином.

— Обольстила она меня, окаянная, своими льстивыми речами — я и согласилась. Пришло время, родила я тебя, желанный мой...

Далее Лукьяновна рассказала Шуйскому все, что уже известно нашим читателям.

Горько зарыдал он в ответ ей и, упав на ее грудь, горько плакал, вместе с нею.

— Матушка, матушка! Что ты сделала? Ты погубила меня...

Только это он и мог сказать ей. Она ничего ему не отвечала.

XIV

БЕЗУМНАЯ ВЫХОДКА

Открытие тайны не обрадовало Шумского, оно скорее еще более огорчило его.

«Прав был генерал, назвавший меня подкидышем!» — подумал он.

Впрочем, это его не примирило с ним, не потушило в его сердце жажды мести.

Он хотел мстить оскорбившему его генералу, хотел мстить графу Аракчееву и Настасье, насильно вырвавшим его из собственной его среды и бросившим в среду, совершенно ему чуждую. И все это только для своих корыстных и прихотливых видов.

Наконец, хотел мстить людям, законно пользовавшимся своими правами, а не так, как он, по-воровски.

Сначала он порывался было сейчас идти к графу, снова напомнить ему об обмане Настасьи, представить ему свое несчастное и неестественное положение в обществе и всю гнусность его поступка — украсть человека из родной семьи и воровски дать ему право незаконно пользоваться не принадлежащими ему именем, состоянием и честью. Но Михаила Андреевича удерживала клятва, данная родной матери, и страх мести со стороны Настасьи его матери за открытие тайны.

Он отложил объяснение с графом до более удобного времени и уехал в Петербург.

Здесь он неудержимо предался кутежу и буйству. Граф Аракчеев терпеть не мог пьянства — оно было самым лучшим средством мучить его.

Был вечер 12 сентября 1825 года. Михаил Андреевич Шумский находился в самом веселом расположении духа, сидел и покачивался на диване в своем кабинете, когда его камердинер Иван доложил ему, что из Грузина от графа Аракчеева прибыл нарочный с важными известиями.

— Подать его сюда! — крикнул Шумский.

Вошел посланный.

— Что хорошего скажешь? — спросил Михаил Андреевич.

— Его сиятельство граф приказал доложить вашему высокоблагородию, что Настасья Федоровна приказала долго жить, и просит вас пожаловать похоронить.

— Умерла?.. — вскочил Шумский с дивана, но сильно покачнувшись, сел опять.

— Точно так...

Как ни ненормально было состояние Михаила Андреевича, но неожиданное известие о смерти Минкиной его поразило.

— Да как же она умерла? — стал допытываться он у посланного.

— Так, умерла... — отвечал он, и сколько Михаил Андреевич ни расспрашивал его, добиться более ничего не мог.

На другой день он отправил посланного с письмом к графу Алексею Андреевичу. Он писал, что смерть Настасьи Федоровны так его расстроила, что он захворал, а потому и не может приехать. Ему не хотелось видеть ненавистой ему женщины даже мертвой.

Впрочем, после, когда он узнал подробности смерти Минкиной, он пожалел, что не поехал полюбоваться на графа Аракчеева, горько оплакивавшего верного и незаменимого своего друга.

После смерти Настасьи звезда счастья графа Алексея Андреевича стала быстро катиться к закату.

Через очень короткое время он схоронил своего благодетеля-государя, а за ним и сам сошел с поприща государственной деятельности и потерял прежнее могущество.

Он сделался еще более желчным и угрюмым — здоровье его, видимо, стало расстраиваться — он никуда не выезжал.

Собственными глазами он видел, как дела его, которыми он хотел увековечить свое имя, разрушались.

Тяжело было его положение.

Как развенчанный кумир, он не чувствовал к себе более ни благоговения, ни страха, а лишь холодное любопытство; иногда ему даже приходилось переносить хотя и неважные оскорбления, для другого почти не чувствительные, но для него, избалованного безусловным повиновением, слишком мучительные.

Наскучив бездеятельною жизнью и невниманием к нему, от скуки и досады, да, кажется, и по совету других, граф Алексей Андреевич отправился для поправления своего здоровья за границу.

На долю Шумского выпало сопутствовать ему. Чтобы занять и развлечь своего покровителя, которому делать всякого рода неприятности было для него весело, он начал напропалую кутить в дороге.

Граф Аракчеев не выдержал этого испытания и, чтобы избавиться от мучений и беспокойства, отправил Михаила Андреевича обратно в Россию, как вовсе ненужного ему человека.

Возвратившись в Петербург, Шумский не считал долгом ни к кому явиться, кроме своих приятелей-собутельников.

С ними отпраздновал он свое возвращение в любезное отечество.

За обедом, во время которого в вине не было недостатка, он тешил всех рассказами о своем кратковременном путешествии с графом.

После обеда вся компания отправилась в театр.

На этот раз судьба побаловала Михаила Андреевича. Ему как раз пришлось сидеть позади нелюбимого генерала — заклятого его врага.

У генерала во всю голову была громадная лысина. Глядя на нее, Шумский придумал безумную выходку.

Когда воодушевленные игрою артистов зрители начали аплодировать, он встал и с усердием, достойным лучшей участи, три раза ударил по лысине генерала, крича во все горло:

— Браво, браво, браво!

Вся публика разразилась гомерическим хохотом при виде такого своеобразного аплодисмента.

Шумский был тотчас же арестован и отвезен на гауптвахту, и оттуда через двадцать четыре часа в солдатской шинели налегке отправился на курьерских на Кавказ, в сопровождении молчаливого товарища — жандарма.

Путешествие его не было продолжительно — ни на одной станции не задерживали с отпуском лошадей.

Шумский очутился в стране, богатой дикими красотами природы и вином.

Но ни эти дикие картины природы, ни знойное солнце, ни прочие поэтические наслаждения не занимали его — оно было дело для него постороннее. Вино было дешево — вот что было для

него самым важным.

Он, что называется, пил без просыпу.

Много раз он участвовал в экспедициях и, надо сознаться, не всегда трезвый, но все же успел несколько раз отличиться и заслужил чин поручика. Наконец, он был ранен кинжалом в шею и, как храбрый, раненый воин, вышел в отставку и воротился в отечество.

В Петербург ему въезжать было запрещено.

Все эти события, описанные нами в предыдущих главах, проносились в уме ехавшего прямо с Кавказа в Грузино Михаила Андреевича Шумского и восставали в его памяти с особой рельефностью, когда это чудесное село уже открылось перед ним.

Издали оно казалось городом с бесконечными садами и красивыми зданиями.

На первом плане представлялся огромный каменный трехэтажный дом, назначенный для кадетского корпуса; за ним высился большой, окруженный колоннами, купол собора и золотой шпиль колокольни, а там в разных местах выглядывали зеленые и красные кровли зданий, за которыми бесконечный сад сливался с горизонтом.

Вид Грузина тем более великолепен, что в этом месте берега Волхова низки, плоски и опушены мелким лесом; однообразие их утомительно и скучно — точно необитаемая пустыня, где не видно никакой жизни, и после такой скучной и безжизненной местности вдруг из-за колена реки восстает целый город, окруженный возделанными полями, которые пересекаются дорогами во всех направлениях. Дороги эти очень заметны.

Они обсажены березками и, сливаясь с садом и парком, кажутся одним общим бесконечным садом.

Чем более подъезжаешь к Грузину, тем яснее представляются окружающие его строения, но само Грузино остается все еще загадкой: город это, или мыза?

Огромный дом заслоняет все детали этого чудного села. Надо проехать этот дом, чтобы видеть самое Грузино.

Ехавший в тарантасе Михаил Андреевич Шумский, как мы уже сказали, равнодушно оглядывал окружающую местность и думал свои тяжелые думы, думы о прошлом.

Только взгляд, брошенный им на находившуюся возле дороги сплошь вырубленную рощу, вдруг заискрился, и на его губах появилась довольная улыбка.

Он вспомнил историю вырубки этой рощи.

Лет пять тому назад это была чудная сосновая роща, но в ней было много валежнику и мелкой лесопоросли.

Проезжая мимо, граф Алексей Андреевич сказал батальонному командиру, батальон которого был расположен на этом месте:

— Рощу надо вычистить.

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — отвечал ярый служака, приложив палец к козырьку.

Через месяц граф приехал и не узнал места. Следов не было видно существования несчастной рощи, кое-где лишь торчали пни, которые и обратили теперь внимание Шумского.

Он вспомнил, как рассвирепел граф Аракчеев от такого ревностного исполнения его

приказаний.

«Быть может, он и не виноват во многом, имея таких слепых исполнителей каждого брошенного им слова, — мелькнуло в голове Михаила Андреевича. — Но передо мной он виноват всецело!» — закончил он свою мысль.

Тарантас уже в это время въезжал в ворота графского двора и через минуту остановился у подъезда главного дома.

Выбежавшие слуги приняли немногочисленные вещи приезжего, который, пройдя в свои прежние комнаты, приказал доложить графу Аракчееву о приезде отставного поручика Шумского.

XV

У МНИМОГО ОТЦА

Не очень ласково принял Михаила Андреевича его мнимый батюшка — граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Не по сердцу была ему проделка молодого человека в театре и поведение на Кавказе — он знал про него всю подноготную.

Но Шумскому было и горя мало, он не обращал на графа никакого внимания, промыслит, бывало, себе винца, да и утешается им на досуге. Он уже начал надеяться, что будет себе жить в Грузине, да попивать винцо на доброе здоровье, но вышло далеко не так.

Граф нахмурился, глядя на почти всегда полупьяного Михаила Андреевича, но в объяснения с ним не вступал; последний же старался как можно далее держать себя, что первое время ему удавалось, так как и сам Алексей Андреевич избегал его.

Прошло около месяца.

Однажды после обеда граф вдруг не тотчас же пошел в свой кабинет и заговорил. Шумский тоже принужден был остаться в столовой.

— Плохое дело старость, — начал, вздохнув, Алексей Андреевич, — хотелось бы потрудиться да поработать, но силы изменяют. Вот в твои лета я работал и усталости не знал. Самый счастливый возраст, чтобы трудиться для собственной и ближнего пользы — так охоты, видно, нет, лень одолела, а между тем, и стыдно, и грешно человеку в твоих летах тратить попусту время...

Михаил Андреевич хорошо понимал, в чей огород летят камешки, но молчал.

«Пришла охота старику побрюзжать, пусть его, на здоровье! Не стану ему отвечать, соскучится скоро один разговаривать и меня оставит в покое», — думал он про себя.

— Кажется, воспитание было дано отличное, — продолжал, между тем, граф, как бы говоря сам с собою, — и все было сделано, чтобы образовать человека, как следует быть дворянину, но ничто не пошло в прок. Вам и не скучно без занятия? — спросил он, обращаясь уже прямо к Шуйскому.

«Дело дрянь, — подумал последний, — молчком не отделаться».

— Что же прикажете делать, и поскучаешь другой раз... — смиренно отвечал он.

— Мне странно, что ты не можешь найти себе дела.

— Что же прикажете мне делать? Служить я не могу — это вам хорошо известно.

— Да ведь тебя учили всему; можно и без службы найти себе занятие.

Зло взяло Михаила Андреевича.

— Учили меня всему, чему не нужно, а чему нужно, тому не учили. Вот если бы учили меня сапоги шить и веретена точить — точил бы здешним бабам на досуге, а я и этого не умею.

— Хоть бы молился Богу на досуге, если ничего не можешь придумать делать.

— Не за кого! За себя я молюсь — этого с меня и довольно.

— Как не за кого? А за твою несчастную покойную мать... — хриплым голосом, с видимым усилением сказал граф.

— Моя мать, благодаря Бога, и теперь еще жива и здорова.

Алексей Андреевич грозно сверкнул очами.

— Да ты-то сам, братец, здоров ли? — спросил он сурово Шумского.

Последний встал.

— Время узнать вам истину, если вы только ее не знаете. Женщина, имени которой я не хочу произносить — оно мне ненавистно — недостойна была вашего внимания: она бессовестно обманула вас и погубила меня, насильно вырвав из родной семьи, из той среды, где я, быть может, был бы счастливым и все это из корыстных видов, чтобы этим низким обманом упрочить к себе вашу привязанность.

Граф сидел бледный — губы его посинели и тряслись, он слушал Шумского и не прерывал. Воспоминания прошлого, которое он столько лет старался забыть, одно за другим восставали в его уме.

Михаил Андреевич передал ему дословно рассказ своей родной матери — Лукьяновны.

Когда он кончил, Алексей Андреевич молча встал и неровными шагами ушел к себе в кабинет.

Михаил Андреевич отправился тоже к себе и выпил с горя так, что до утра проспал без памяти и ничего не слышал, что вокруг него делалось.

Поутру, когда он проснулся, к нему вошел с озабоченным видом старый слуга Гаврила.

— У нас не совсем благополучно, Михаил Андреевич, — сказал он.

— Что такое?

— Граф захворать изволили вчера, и очень сильно — хлопот было довольно всем, в Петербург за доктором посылали, сейчас только приехал.

— Это все ничего — пройдет. Главное, есть ли водка — вот важный вопрос, на который тебе следует обратить внимание, — сказал Шумский, потягиваясь на постели.

— Эх, Михаил Андреевич, — покачал головой Гаврила, — пора бы вам и бросить: дело неприличное для вас, а для его сиятельства больно претительное. По правде сказать, вы, кажется, изволили его-то и расстроить вчера; как вы изволили с ним расстаться после обеда — все ему стало делаться дурно.

— Ну, ты там, что хочешь думай, а опохмелиться сегодня надобно. После что будет, а сегодня опохмелиться нужно: голова больно тяжела.

— Воля ваша, как угодно вашей милости! — отвечал Гаврила с каким-то ожесточением.

Дня три хворал серьезно граф, не выходил из своей комнаты и никого не принимал к себе; потом стал поправляться и выходить.

Через неделю после описанного разговора, Алексей Андреевич позвал Шумского к себе.

До этого времени последний не показывался ему на глаза.

— Вот что, Михаил Андреевич, скажу я вам, — начал граф, когда Шумский вошел в его кабинет и остановился перед письменным столом, за которым сидел Аракчеев. — Вам, действительно, здесь трудно найти себе занятие, а без дела жить скучно. В мире для вас все потеряно, но есть еще место, где вы можете быть полезным, если не ближним, то, по крайней мере, самому себе. Ваша жизнь полна горьких заблуждений; пора бы подумать вам о своем спасении и загладить грехи вашей юности молитвою и покаянием.

«Не мешало бы и вам?» — подумал Михаил Андреевич, но промолчал.

— Я бы вам советовал попробовать поискать себе утешение в монашеской жизни; особенно хорошо было бы пожить вам в Юрьевом монастыре. Отец архимандрит Фотий, человек замечательно умный и строгой жизни: под его покровительством вы бы нашли мир душе своей и, может быть, полезное занятие.

— Я не нахожу себя способным к монашеской жизни, — отвечал Шумский.

— Чего не испытаешь, того не знаешь, — продолжал граф, — может, это и есть ваше настоящее призвание. Я вас не неволю, но по моему мнению, гораздо лучше иметь какое-нибудь верное средство к жизни, чем томиться неопределенностью своей участи и не иметь ничего верного для своего существования. Подумайте.

Он легким наклоном головы дал знать, что разговор кончен.

— Плохи делишки! Плохи делишки! — говорил сам себе Михаил Андреевич, выходя от графа.

Думать было нечего — надобно было выбирать одно из двух: или идти в монастырь, или по миру.

Из слов графа Аракчеева ясно было видно, что если Шумский не пойдет в монастырь, то он выгонит его из дома.

А куда ему идти? Надобно было покориться неизбежной участи.

Но прежде чем обдумать, что ему делать, Михаил Андреевич с горя выпил.

Пьяному как-то все вещи представляются в лучшем виде.

«В монахи, так в монахи! — решил он, махнув рукой. — Ведь и в монастырях люди живут. Только дают ли там водку?»

Он никогда не бывал в монастырях, а потому вовсе не знал их порядков.

Вопрос этот смутил его.

— Эй, Гаврила! — крикнул он.

Гаврила явился.

— Бывал ты в монастырях?

— Бывал.

— Пьют ли там водку?

— Не знаю, может быть, и пьют, — ответил Гаврила, удивленно посмотрев на барина.

— Вот что!.. Ну, ступай, куда хочешь; ты мне не нужен.

Гаврила ушел.

XVI

В МОНАСТЫРЕ

«Значит, и в монастыре выпить можно! — рассуждал сам с собою Шумский. — Только Фотий больно строг!.. Да что же он со мной сделает? Я отставной поручик — розгами не посмеет».

На другой день утром он явился к графу.

— Что хорошенького скажешь, Михаил Андреевич? — спросил он его.

— Я пришел поблагодарить вас за спасительный для меня совет ваш, которому я решился последовать, — сказал смиренно Шумский.

— Хоть одно умное дело сделаете в продолжение всей вашей жизни. Конечно, для вас, с непривычки, тяжелою покажется строгая монастырская жизнь, но чтобы облегчить ее и дать вам возможность хоть на первый раз не испытывать всех лишений, я каждый год буду присылать вам по тысяче рублей.

Михаил Андреевич поблагодарил графа и вышел.

«Э! Да дело-то не совсем дрянь! — думал он. — С тысячью можно и в монастыре жить припеваючи!»

Через три дня был назначен его отъезд в Юрьев монастырь, Шумский дал знать своей матери.

Накануне отъезда она пришла проводить его. Оба они поплакали и выпили вместе на прощание.

Наступил урочный час, подали лошадей. Михаил Андреевич пошел проститься к графу и встретил его в столовой.

— Забудемте, что было между нами, Михаил Андреевич! — сказал Алексей Андреевич, обнимая его.

Он был взволнован.

— Вот письмо: потрудитесь отдать его отцу-архимандриту.

— Прощайте, — сказал он и быстро ушел к себе в кабинет. Не без грусти уехал Шумский.

Он приехал в Новгород и, когда вступил в монастырский двор, им овладело тревожное чувство.

«За этими стенами, — пронеслось в его голове, — мне приходится заживо схоронить себя от света — это моя могила».

И действительно, тишина, царствовавшая в монастыре, застроенном внутри огромными каменными зданиями, с обширным двором, усаженным деревьями и перекрещенным в разных направлениях тротуарами из плит, казалась могильною.

Изредка покажется монах, как привидение, весь в черном, мерно и плавно пройдет мимо и скроется куда-нибудь в коридор здания, но шаги его еще долго раздаются в ушах, вторимые эхом.

Шуйского проводили к архимандриту. Он передал через келейника письмо графа.

Фотий не долго заставил себя ждать в приемной. Быстро отворил келейник двери и перед Михаилом Андреевичем открылась целая анфилада больших, но скромно меблированных комнат.

В перспективе дверей, как в раме, показалась фигура Фотия. Он шел к нему медленно, склонив голову, как будто занятый размышлением.

Архимандрит Фотий был невелик ростом и сухощав; лицо его было бледно и так сухо, что ясно обрисовывались все мускулы.

Шумский подошел к нему принять благословение. С невольным уважением он низко поклонился архимандриту. В лице и осанке последнего было столько важной строгости и достоинства, что невозможно было смотреть на него без чувства какого-то благоговения.

Михаил Андреевич не счел нужным рекомендоваться Фотю, державшему в левой руке письмо графа Аракчеева. По этому письму он уже знал, кто стоял перед ним.

— Ты, сын мой, — сказал Фотий тихим, приятным голосом, — пришел искать к нам убежища от сует мирской жизни?

— Точно так, ваше высокоблагородие! — по-солдатской привычке ответил Шумский.

Фотий слегка улыбнулся на такой титул и продолжал:

— Ревность по Богу и желание святой иноческой жизни похвальны; только для этого одного желания мало: надобно иметь твердую решимость, чтобы отказаться от всех прелестей суетной мирской жизни и посвятить всего себя строгому воздержанию, смирению и молитве — первым и главным добродетелям инок.

— Я на все готов!

— Искренно ли твое желание? — спросил архимандрит Фотий, окидывая Михаила Андреевича пронизательным взглядом.

— Искренно! — ответил тот смущенно.

Он не мог вынести его взора, прожигавшего душу.

— Помоги тебе Господь Бог! — сказал Фотий, подняв взор кверху. — Отец наместник устроит тебя.

Шумский принял благословение и пошел в сопровождении келейника к наместнику.

Подойдя к келье наместника, келейник, провожавший Михаила Андреевича, постучал тихо в дверь и громко произнес:

— Господи Иисусе Христе, Боже наш!

— Аминь! — ответил кто-то звучным басом.

Вслед за ответом послышались шаги, щелкнул крючок и дверь отворилась.

На пороге стоял монах среднего роста, плотный, коренастый, с окладистой бородой, широким лицом, ничего не выражавшим, кроме самодовольства, с бойкими карими глазами.

Он был в подряснике.

Келейник, а вместе с ним и Шумский, приняли от него благословение.

— Отец-архимандрит благословил меня проводить к вашему преподобию Михаила Андреевича Шумского, — сказал келейник.

— Милости прошу в гостиную, — проговорил наместник, развязно взмахнув обеими руками в ту сторону, где была гостиная.

Михаил Андреевич пошел в гостиную, а наместник остался поговорить с келейником архимандрита.

Гостиная представляла из себя довольно обширную, светлую комнату, стены которой были вымазаны клеевой небесно-голубой краской, и на них красовались картины по большей части духовного содержания и портреты духовных лиц, в черных деревянных рамках, три окна были заставлены цветами, среди которых преобладали: плющ, герань и фуксия.

Мягкий диван, со стоящим перед ним большим овальным столом, два кресла и стулья с мягкими сиденьями составляли главную меблировку комнаты. Над диваном висело зеркало в черной раме, а на диване было несколько шитых шерстью подушек. Большой шитый шерстью ковер покрывал большую часть пола. В одном из углов комнаты стояла горка с фарфоровой и хрустальной посудой, а в другом часы в высоком футляре.

В момент входа Михаила Андреевича в комнату они звонко пробили два часа.

Не успел Шумский осмотреть гостиную наместника, как тот уже явился перед ним.

— Прошу покорно, Михаил Андреевич, садиться, — сказал он, указывая ему место на диване.

— Я честь имею... наместник здешнего монастыря Кифа, в мире Николай.

С этими словами он крепко пожал руку Шумского. Они уселись рядом на диване.

— Что же вы к нам Богу молиться или совсем хотите украсить свою особу черным клобуком?

— спросил наместник.

— Думаю, если Бог поможет мне, остаться совсем у вас.

— Так, совсем приехали к нам; скажите, сделайте милость, где ваши вещи? Я велю их

принести сюда. Позвольте мне предложить к услугам вашим мою убогую келью, пока отец-архимандрит не сделает особого распоряжения.

— Не стесню ли я вас?

— Полноте, что за церемонии! Мы бесхитростные иноки; с нами все светские этикетки можно отложить в сторону. Во-первых, позвольте узнать, где оставлены ваши вещи, а во-вторых, позвольте предложить вам скромную монашескую трапезу. Вы, я думаю, еще не обедали, не так как мы уже успели оттрапезовать, несмотря на то, что только первый час в исходе.

— Искренно благодарю вас за внимательность. Если вы так добры, что принимаете на себя труд устроить меня, то делать нечего — я отдаюсь в полное ваше распоряжение! Мои вещи в повозке у монастырских ворот.

— Извините, если я оставлю вас на минуту, — сказал наместник и вышел в другую комнату.

Он вскоре вернулся.

Немного погодя, принесли вещи Шумского.

Затем явился послушник, накрыл на столе тут же в гостиной и подал обед.

Шумский пообедал с отцом-наместником.

«Не дурно, — подумал он, — если каждый день будут так кормить, да еще с такой порцией».

— Не хотите ли отдохнуть после обеда с дороги? — спросил его наместник. — Скажите без церемонии.

— Позвольте! — сказал он.

Сытный обед после дороги невольно клонил его ко сну. Ему на том же диване, где он сидел, положили подушки и он скоро заснул, вполне довольный своим положением.

XVII

НЕИСПРАВИМЫЙ

Долго ли спал Михаил Андреевич, он и сам не мог припомнить. Его разбудил густой звук колокола. Он открыл глаза. Перед ним стоял послушник.

— К вечерне не изволите ли?

Шумский пришел в церковь. Служба только что началась. Его поразил необыкновенный напев иноков Юрьева монастыря — они пели тихо, плавно, с особенными модуляциями. Торжественно и плавно неслись звуки по храму и медленно замирали под высокими его сводами. Это был не гром, не вой бури, а какой-то могущественный священный голос, вещающий слово Божие. До глубины души проникал этот голос и потрясал все нервы.

Первый раз в жизни Шумский — он внутренне сознался в этом самому себе — молился Богу как следует.

Новость и неизвестность его положения, огромный храм с иконостасом, украшенный щедро золотом и драгоценными камнями, на которых играл свет восковых свечей и лампад,

поражающее пение, стройный ряд монахов в черной одежде, торжественное спокойствие, с каким они молились Богу — словом, вся святость места ясно говорила за себя и невольно заставляла пасть во прах и молиться усердно. Несмотря на то, что вечерня продолжалась часа три, Михаил Андреевич не почувствовал ни утомления, ни усталости.

После вечерни все монахи, и в том числе и он, благословились от архимандрита. Наместник пошел за Фотием, монахи по своим кельям, а Шумский пошел осмотреть монастырь.

Обойдя кругом главный храм, он пошел было за монастырь посмотреть на Новгород, но ворота монастырские уже были заперты.

Он вернулся назад и, встретившись с отцом Кифой, пошел к нему. Самовар уже кипел на столе, когда они вошли в келью. Вечер прошел скоро, тем более, что легли спать часов в десять.

Ночью во сне Шумский услышал не ясно, как будто кто-то его будит.

Нехотя он проснулся, открыл глаза и увидел, что перед ним стоит тот же послушник, а монастырский колокол гудит, сзывая монахов на молитву.

— К утрени не угодно ли? — сказал послушник.

— Так рано?..

— Два часа утра.

Не хотелось ему встать, он бы еще с удовольствием поспал, но нечего было делать — надо было привыкать к новой службе.

Обстановка храма, торжественный обряд служения, окружавшая его толпа искренно молившихся монахов снова произвели на Михаила Андреевича сильное впечатление.

Молитвенное настроение заразительно: он поддался ему — в его внутреннем мире совершился как бы духовный перелом, дух победил плоть — свежий и добрый, он отстоял обедню и моментами снова, как и накануне, горячо молился. Но, увы, это были только моменты.

После службы, когда он пришел к наместнику, тот сказал ему, подавая подрясник:

— Надевайте здесь, без церемонии; мне надобно посмотреть, впору ли вам будет новое платье.

Шумский оделся, взглянул на себя в зеркало — и невольная слеза выкатилась из его глаз. Отец Кифа был настолько тактичен, что сделал вид, что не заметил злодейки-слезы, обличавшей малодушие неопита.

Затем наместник проводил его в назначенную келью, состоявшую из одной комнаты, очень бедно меблированной. Объяснив ему, что за чистотой и порядком кельи он должен наблюдать сам, так как ему прислужника дано не будет, и, пожелав мира и спасения, он вышел.

Шумский остался один, один в полном смысле этого слова. С ним не было не только родного и близкого друга, но даже знакомого человека.

Один, сам с собой!

Разумеется, такое положение заставило его обратить внимание на самого себя, заглянуть,

так сказать, к себе в душу. Давно не делал он этого, с тех пор, как слово «batard», «подкидыш», заставило его обратить на себя внимание.

Но тогда он еще несколько выше и благороднее представлялся самому себе.

Перед ним рисовались только пустота жизни да грехи юности... А теперь?..

Погибший, вследствие бессмысленной своей жизни...

Погубивший все, что было в нем доброго, постыдною склонностью к вину, он сделался отвратителем самому себе.

Припоминая свою жизнь, он вздрагивал с тем чувством отвращения к себе, которое ощущается людьми, когда глазам их представляется гнойная рана или ползущая гадина.

Желание исправиться явилось в нем. Оно было искренно, тем более, что в руках его теперь были все средства.

Прошло две недели.

Он прожил их как нельзя лучше — к службе, хотя ему и было тяжело, постепенно привыкал. Стал брать и читать книги духовного содержания, но читал только для того, чтобы убить время и спастись от скуки.

Скоро, впрочем, Михаил Андреевич забыл об искреннем желании исправиться и вкусил запрещенного плода.

Но первый раз он поступил тихо и скромно, сказался больным и все сошло благополучно.

Ему показалось, что он очень ловко обманул бдительность старших.

Во второй раз он был уже менее скромн, но и на этот раз все оказалось шито и крыто.

«Э, — подумал он, — дело пошло лихо, бояться нечего!»

Шумский развернулся во всю, вспомнил походную жизнь и потешал монахов военными шуточками и рассказами о своих петербургских похождениях.

При описании петербургских балетов он начал даже откалывать примерные антраша и, наконец, ободренный смехом молодых послушников, пустился в присядку.

Старшая братия немедленно прекратила «соблазн», о котором и было сообщено по начальству.

На первый раз его арестовали в собственной келье, а поутру потребовали к архимандриту.

Робко вошел он в его апартаменты и с трепетным сердцем предстал пред лицо Фотия. Долго читал он Шумскому наставления, говорил много дельного и с чувством. Это сознавал сам виновный и слезы градом полились из его глаз.

Они послужили на этот раз спасением.

Архимандрит Фотий принял их за плоды чистосердечного раскаяния и отпустил Михаила Андреевича.

Самолюбие последнего было оскорблено — Фотий делал ему наставления в присутствии старшего монастырской братии и далеко с ним не церемонился.

«Как, — думал Шумский, идя от архимандрита, — меня смеют трактовать как какого-нибудь пришельца? Разве не знают они, кто был Шумский в оное и весьма недалекое время. Можно ли так бесцеремонно обращаться с бывшим офицером, флигель-адъютантом... Конечно, теперь я не состою им, но все же бывал, да и теперь все же я отставной поручик, а не кто-нибудь...»

Чтобы заглушить оскорбление, он прибегнул снова к спасительной бутылочке, но пьяному обращению архимандрита с ним показалось еще более унижительным.

Шумский поднял гвалт на весь монастырь. Его хотели без церемонии отправить в карцер и прислали за ним двух отставных солдат, но едва они приблизились к нему, как он крикнул:

— Как вы смеете оскорблять поручика?

И, вероятно, чтобы доказать свои права, дал ближайшему к нему солдату пощечину.

Военная дисциплина, впрочем, не помогла. Шуйского скрутили и посадили в карцер на три дня, на хлеб и на воду.

С тех пор жизнь его в монастыре стала невыносима. Он маялся и жил более в карцере, чем в своей келье. Его ничто не могло исправить — ни наставления, ни строгие меры.

Для монастыря он был человек лишний и даже вредный, но его держали единственно из уважения к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Архимандрит Фотий подробным письмом сообщил последнему о вторичном описанном нами буйстве Шуйского. Это письмо граф получил накануне того дня, когда сетями грузинских рыболовов была вытащена так поразившая грузинского управляющего Семидалова и самого графа Алексея Андреевича утопленница.

XVIII

МОСКОВСКИЙ ДОН ЖУАН

Вернемся ко второму тяжелому горю, обрушившемуся на Ольгу Николаевну Хвостову.

В то самое время, когда она, без ведома сына, устроила ему, как ей казалось, блестящую будущность, переведя его в военные поселения, под непосредственное начальство всесильного Аракчеева, в московском обществе появился новый кавалер, человек лет тридцати пяти, тотчас же записанный московскими кумушками в «женихи».

Это был отставной полковник Евгений Николаевич Зыбин, поселившийся в собственном вновь отстроенном доме на Арбате, доставшемся ему после смерти тетки, вместе с маленьким имением в Новгородской губернии, как повествовали те же всезнающие кумушки.

Занятая делом определения сына и другими домашними и хозяйственными заботами, Ольга Николаевна поручила вывозить в московский «свет» свою дочь, Марию Валерьяновну — восемнадцатилетнюю красавицу-блондинку, с нежными цветом и чертами лица и с добрыми, доверчивыми голубыми глазами — жившей в доме Хвостовой своей троюродной сестре, Агнии Павловне Хрущевой.

У последней был сын, юноша лет двадцати трех, служивший офицером в одном из расположенных в Белокаменной столице полков. Муж Хрущевой, полковник, был убит во

время Отечественной войны, оставив своей жене и сыну лишь незапятнанное имя честного воина и незначительную пенсию.

Добрая Ольга Николаевна приютила свою дальнюю родственницу с сыном, и Вася, превратившийся с годами в Василия Васильевича, вырос вместе с Петей и Машей, детьми Хвостовой, с которыми его соединяли узы искренней дружбы детства, а относительно Марьи Валериановны это чувство вскоре со стороны молодого человека превратилось в чувство немого обожания и любви, увы, неразделенной.

Сердце Мани, как звали ее мать и брат и даже Василий Васильевич, представляло нежный бутон, еще не начавший распускаться под солнцем любви.

На московские балы Василий Васильевич всегда сопровождал свою «кузину», ездившую на них или с его или со своей матерью.

На одном из таких балов и состоялась встреча Марьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем. Красивая внешность, соединенная с дымкой романтической таинственности, окутывавшей прошлое Зыбина и послужившей поводом для московских сплетниц к всевозможным рассказам о любви к нему какой-то высокопоставленной дамы из высшего петербургского круга, ее измене, трагической смерти, и призраке этой дамы, преследовавшем Зыбина по ночам, так что он изменил совершенно режим своей жизни и день превращал в ночь и наоборот — сделали то, что молоденькая, впечатлительная, романтически настроенная девушка влюбилась в красивого bruneta, в глазах которого, на самом деле, было нечто демоническое.

Знакомство с дочерью произошло без Ольги Николаевны, а когда на одном из следующих балов, на котором она присутствовала, ей представили Зыбина, она, несмотря на обычай московского гостеприимства, не пригласила его к себе в дом.

Что-то отталкивало Хвостову от этого красивого bruneta с иссиня-черными волосами.

Другой человек тоже носил в своем сердце какую-то беспричинную ненависть к Зыбину — этот человек был Василий Васильевич Хрущев.

Марья Валерьяновна, конечно, не высказала своей матери своего мнения о Зыбине и своего желания, чтобы он бывал в их доме, но после того, как он не был принят, сделав визит, вдруг сделалась скучна и задумчива.

Прошло несколько месяцев. На дворе стоял конец июля. На даче одного из московских санных тузов был назначен бал, куда была приглашена Хвостова с дочерью, а в качестве кавалера их должен был сопровождать Василий Васильевич.

Мы застаем Ольгу Николаевну в гостиной ее дома на Сивцевом Вражке, куда вошел Хрущев и обвел комнату выразительным взглядом.

Хрущев был высокий стройный шатен, с умным, но некрасивым лицом, единственным украшением которого были большие, голубые глаза, дышавшие неизмеримой добротой, но подчас принимавшие выражение, доказывавшее непоколебимую силу воли их обладателя.

— Мани здесь нет... хотя еще рано, пятый час, но я думаю, что она отправилась к себе одеваться... — сказала Ольга Николаевна.

— Вероятно, так как ее вязанье лежит здесь, на столе.

— Она спешит... и это меня радует, а то меня очень беспокоит ее грусть за последнее время, и я не могу хорошенько объяснить ее себе... Я говорю это тебе, Вася, так как ты у нас свой... С величайшим удовольствием я пользуюсь сегодняшним праздником, чтобы рассеять Маню и

дать ей возможность повеселиться... Для меня эти балы — одна усталость, но веселье Мани сторицею искупает ее...

— Я тоже, тетя, заметил печаль и озабоченность кузины... — с грустью отвечал молодой офицер, — и тоже надеюсь, что нынешний вечер, к которому она готовится с такой поспешностью, рассеет ее грусть...

— Пойду и я понемногу одеваться, — сказала старуха. — Карету подадут к семи... не опоздай за туалетом...

— Офицеру долго ли одеться, тетя!

Громадная четырехместная карета, запряженная шестеркой цугом, уже с половины седьмого стояла у крыльца... Без четверти семь Марья Валерьяновна вышла из своей комнаты.

Хвостова и Хрущев ожидали ее.

Она явилась в самом изящном наряде, который она, видимо, долго придумывала. На ней было белое тюлевое платье на голубом атласе, а на голове маленькая корона из голубых цветов с серебряными листьями.

Девушка была до того прелестна, что Ольга Николаевна не могла не похвалить ее со свойственной матери гордостью.

Они вышли на крыльцо, в сопровождении многочисленной прислуги обоего пола, и уселись в карету.

— Пошел! — крикнул один из выездных лакеев, ловко вскочив на запятки, где уже стоял его товарищ, такой же рослый гайдук.

Роскошные подмосковные палаты туза-миллионера блестели массою зажженных в люстрах, канделябрах и бра восковых свечей.

Хвостовы и Хрущев прибыли в самый разгар бала, начинавшегося в те времена с восьми часов вечера.

Гостей было множество, — вся Москва, Москва сановная и родовитая почтила этот бал своим присутствием.

Он, по обыкновению, открылся польским. В первой паре с хозяйкою дома шел старик, одетый в белые короткие панталоны, в шелковых чулках, в башмаках, с туго накрахмаленными брыжжами и жабо, в синем фраке покроя французского кафтана. Голова его была напудрена, по сторонам были две букли, а сзади коса, или пучок, вложенный в кошельке с бантом из черной ленты. Борода была выбрита необыкновенно гладко, а в левой руке он держал золотую эмалированную табакерку. Он нюхал, видимо, часто, отчего верхняя, немного оттянутая губа его и манишка были засыпаны французским табаком.

Это был обломок вельможного века Великой Екатерины — князь Юсупов.

Марья Валерьяновна вскоре была увлечена в вихрь танцев.

Полонезы, экосесы, мазурки, французские кадрили, русские кадрили, манимаски, ригодины или контреданцы, вальсы, англезы — сменялись одни другими.

Гремели шпоры улан и гусар в мазурках, отчетливо выделяющих па-де-зефир и антраша, разносили чай, часто подавали оршад, лимонад и фрукты.

Все прыгало, вертелось, мешалось...

Почтенные московские дамы — маменьки — чинно сидели по стенам, следя завистливыми глазами за большим или меньшим успехом своих дочерей.

Успех молодой Хвостовой был полон.

Она искренно наслаждалась им; прежде она им пренебрегала, а теперь, вследствие какой-то странной прихоти, гордилась. В первый еще раз она со всею грацией молодости предавалась светским удовольствиям, которые ненавидела в течение всей своей жизни.

Это было для нее как бы до сих пор совершенно новое, еще неизведанное ощущение.

До этих пор она встречала в обществе только скуку и не испытывала ни удовольствия, ни интереса. Может быть, только недавно почувствовала она эту притягательную силу и, наверное, такая перемена вполне оправдывала заботливое внимание Ольги Николаевны, которая, спокойная, доверчивая и счастливая тем, что ее дочь от души веселилась, не искала причины, почему вдруг проявилась в ней такая охота к танцам.

Не так доверчиво к этой метаморфозе отнесся Василий Васильевич.

С тревожным биением сердца зорким, ревнивым взглядом он следил за своею изменившеюся подругой детства, которая составляла для него все в этой жизни, даже более, чем сама эта жизнь.

В течение этого бала он окончательно убедился, кто был причиной такой разительной перемены в Марье Валерьяновне.

Среди толпы окружавшей ее молодежи особою благосклонностью молодой Хвостовой, видимо, пользовался Евгений Николаевич Зыбин.

Это не укрылось не только от Хрущева, но и от Ольги Николаевны, которая даже с неудовольствием сказала подошедшему к ней Василию Васильевичу:

— Опять этот ворон около нее кружится!..

Хрущев только пожал плечами и отошел, и, со своей стороны, танцуя и ухаживая за дамами, он старался ни на минуту не упускать из вида интересующую его парочку и заметил, как Зыбин за кадрилию передал Марье Валерьяновне записку.

Да это трудно было и не заметить наблюдавшему за ней — она вся вспыхнула и так растерялась, что не знала куда с ней деваться, и лишь через несколько минут спрятала ее за корсаж.

Вся кровь бросилась в голову молодого офицера. Он чуть было не бросился к этому «ворону», как называла старуха Хвостова Зыбина, видимо, готовящегося отнять у него его голубку, но удержался. Скандал на балу сделал бы Марью Валериановну сказкой всей Москвы.

«Надо следить, следить за ними!» — решил в уме Хрущев.

После бала был сервирован роскошный ужин, а по его окончании снова начались танцы, но Ольга Николаевна подозвала дочь и сказала ей, что пора отправляться домой.

Марья Валерьяновна не возражала.

Василий Васильевич побежал распорядиться подавать карету, и вскоре он и Хвостовы снова

двинулись в Москву, куда приехали на рассвете. Утомленную впечатлениями пережитого бала молодую девушку пришлось разбудить у подъезда московского дома.

XIX

ДУЭЛЬ

Василий Васильевич стал следить, следить упорно, следить так, как может следить только бесправный ревнивец, и подозрения его скоро, неожиданно скоро, подтвердились страшным, роковым образом.

Недели две спустя после описанного нами бала, во время утренней прогулки в обширном саду, окружавшем дом Хвостовых, Хрущев направился к калитке, выходившей в один из бесчисленных переулков, пересекающих Сивцев Вражек; вдруг глаза его остановились на предмете, лежавшем на траве, которая сохраняла еще капли утренней росы.

Он наклонился и поднял мужскую лайковую перчатку коричневого цвета.

В доме Хвостовых не было лиц, носящих подобные перчатки, и эта перчатка была, несомненно, перчаткой Зыбина. В сердце и уме Василия Васильевича явилась в этом какая-то безотчетная непоколебимая уверенность.

Значит, они здесь, в саду назначают свидания!

Надо наказать дерзкого хищника, вползающего змеей в дом его благодетелей...

Хрущев пошел домой, погруженный в свои мысли. Во время завтрака его глаза обращались часто на Марию Валерьяновну, за которую он внимательно наблюдал, но черты молодой девушки не выказывали ни малейшего внутреннего смущения, и ее непринужденные манеры отрицали всякую возможность подозрения.

Но Василия Васильевича это не подкупило и не остановило на пути наблюдений. В этот же день он, войдя случайно в гостиную, увидел в руке молодой Хвостовой клочок бумаги, который она быстро спрятала.

«Это назначение свидания! — мелькнуло в его голове. — Некогда?.. Наверное, ночью, так как днем невозможно!.. Будем дежурить по ночам».

Вечер прошел спокойно, и каждый удалился в свою комнату. Все затихло в доме, и с час не было слышно никакого шума, когда Хрущев тихонько вышел из своей комнаты и направился к дверям передней.

Оставив свечу и осторожно отворив дверь, он пошел в сад к группе деревьев, едва освещенных луною.

Он шел торопливо, неровными шагами, то тихо, то скоро, и, казалось, повиновался какому-то лихорадочному влечению. По временам он останавливался, задерживал дыхание, чтобы лучше слышать, и затем, через несколько мгновений, снова подвигался по тенистым аллеям сада.

Василий Васильевич все понял и все отгадал инстинктом. Ему пришли на память тысячи мимолетных обстоятельств, действовавших так или иначе на расположение духа и характер Марии Валерьяновны. Все это еще сильнее восстало в его уме теперь, когда он узнал, что

между Зыбиным и молодой девушкой существуют какие-то отношения, и когда он основательно мог опасаться какой-нибудь дерзкой выходки со стороны первого или просто ловкой западни.

На повороте аллеи он очутился у маленькой калитки — она была отперта.

В эту минуту луна вышла из-за облака. Она осветила опушку деревьев, отделявших калитку от аллеи сада, и две шпаги сверкнули в руке Хрущева. Эти шпаги были его единственным наследством после отца, и за несколько минут до выхода Василия Васильевича в сад, висели над изголовьем его кровати.

Видя, что калитка отперта, Хрущев быстро скрылся в аллею и направился назад к лужайке, расстилавшейся перед домом; он остановился под густым деревом и стал выжидать.

Вскоре легкие шаги раздались вдалеке, в той части сада, где находилась калитка.

Судорожно прижав к своей груди шпаги, Василий Васильевич направился в ту сторону, откуда слышался ему шелест шагов на песке, и вдруг очутился подле Зыбина.

— Кто вы такой? Как смели вы так поздно пробраться в чужой сад? — спросил он. — Куда вы идете?

Зыбин, не ожидавший подобной встречи, невольно отступил на несколько шагов.

— Куда вы идете? — повторил Хрущев.

Евгений Николаевич сперва хранил молчание; может быть, он искал предлога, который мог вывести его из этого неприятного положения; через минуту присутствие духа совершенно покинуло его, и он надменно произнес:

— А вы сами кто такой и по какому праву делаете вы мне подобные вопросы? Как смеете вы в такой час разгуливать здесь по саду вблизи дома?

— Всякий ответ с моей стороны был бы только уступкою. Вам довольно знать, что мой долг и мое сочувствие к семейству, живущему в этом доме, дают мне право делать вопросы, на которые, как кажется, вы не знаете, что отвечать.

— Нисколько; но, поверьте, лучше расстанемся без дальнейших объяснений, разойдемся в разные стороны и окончим без шума эту сцену, довольно смешную для нас обоих.

— Вы жестоко ошибаетесь! Ваше присутствие в этот час в этом саду, подле этой беседки, совсем не смешно, а, напротив, отвратительно. Если вы не хотите объясниться, то я должен считать вас подлецом.

— Я никогда не слышал подобных оскорблений, — вскрикнул с бешенством Зыбин, — и вы дорого поплатитесь за ваши слова!

— Вы видите, что я приготовился ко всему, — хладнокровно возразил Василий Васильевич, — вот пара отличных шпаг, два клинка одинакового достоинства; выбирайте скорее. Вы хорошо понимаете, что бывают поступки, которые можно искупить только кровью.

Зыбин быстро схватил одну из шпаг, предложенных Хрущевым.

Поединок начался. Сперва медленно и нерешительно, как бы в фехтовальной зале. Оба молодых человека обладали почти одинаковой силой, но на стороне Зыбина была крепость руки и невозмутимое хладнокровие. Очевидно, сперва он не хотел убить или даже тяжело ранить своего противника, который мог оказаться родственником Хвостовой, но мало-помалу

в нем зашевелилась и подавила все соображения ревность.

Со своей стороны Хрущев, которому надоела эта невинная борьба, позабыл все правила и бросился на Зыбина вне себя от гнева, придававшего его оружию какое-то конвульсивное движение. Клинки обеих шпаг скрестились с зловещим звуком.

Зыбин был наготове и ждал своего противника; он быстро отразил удар, и Василий Васильевич, не приготовившийся к отступлению, получил в грудь тяжелую рану. Он упал, как пораженный молнией.

Дверь беседки отворилась и Марья Валериановна появилась на пороге, вся бледная и дрожащая.

Уже несколько минут молодая девушка ожидала сигнала свидания, на которое она согласилась по неотступной просьбе Евгения Николаевича и которое устроила ее горничная, задобренная Зыбиным, служившая для них почтальоном любви.

Евгений Николаевич, отбросив шпагу, кинулся ей навстречу. Она заметила пятна крови на его платье и, побледнев еще более, не говоря ни слова, стояла перед ним, как роковое видение; тщетно Зыбин, совершенно растерянный, хотел рассказать ей, как произошло все дело, и провести ее в беседку, чтобы она не видала страданий Хрущева; молодая девушка, чувствуя, что колени еегибаются, стояла на пороге с бесстрастным, помутившимся от отчаяния взглядом.

Устроившая свидание горничная первая в паническом страхе убежала из сада и разбудила всех в доме. Послышался шум и говор. Потеряв всякое самообладание при виде смертельно раненного друга детства, думая о горе своей матери, когда она узнает о ее бесчестии и ужасной катастрофе, которой она была причиною, Марья Валерьяновна воскликнула:

— Евгений, я не могу здесь оставаться ни минуты более, уведи меня! Бежим, бежим!..

Она зашаталась и упала без чувств на руки Зыбина.

Несколько часов спустя дорожная коляска, запряженная четверкой отличных лошадей, принадлежавших Евгению Николаевичу Зыбину, мчалась, как вихрь по московскому шоссе.

Сбежавшиеся в сад слуги нашли Василия Васильевича совершенно без чувств, залитого кровью. Бережно перенесен был он в его комнату.

— Вася, Васенька! Умер, убили... — с плачем и рыданиями бросилась к почти бездыханному сыну Агния Павловна.

От волнения она тоже лишилась чувств и была вынесена из комнаты по распоряжению Ольги Николаевны.

Последняя, несмотря на обрушившееся на нее страшное горе, не потеряла присутствия духа, и первую ее мысль была мысль не о дочери, а о лежавшем перед ней тяжело раненном молодом человеке, пошедшем на смерть, защищая честь этой дочери, честь семьи.

Горничная молодой девушки, объятая ужасом от всего происшедшего, повинилась во всем перед старой барыней и рассказала все в подробности.

Молча, с сухими, горящими глазами, выслушала ее Ольга Николаевна.

— Пошла вон, мерзкая... собирайся ехать в деревню, ты мне не нужна.

Горничная, всхлипывая и причитая, отправилась в девичью, а Хвостова в комнату Василия

Васильевича, отдав, впрочем, сперва распоряжение съездить за доктором.

Старичок Карл Карлович Гофман, годовой врач дома Хвостовых, не заставил себя ждать.

Встретившая его в комнате раненного Ольга Николаевна объяснила ему происшествие собственной неосторожностью молодого человека.

Карл Карлович начал осматривать и зондировать рану.

— Wunderlich!.. Мой не понимайт! Это другой делайт!.. — глубокомысленно сказал он, сделав с помощью прибывшего фельдшера перевязку.

Крупная ассигнация перешла из руки Хвостовой в руку эскулапа.

— Да, да... бивайт... бивайт!.. — заторопился он подтвердить возможность ранения от неосторожного обращения со шпагой.

XX

ВЫНУЖДЕННОЕ СОГЛАСИЕ

То, чего особенно опасалась Ольга Николаевна Хвостова, свершилось. Чуть ли не ранним утром другого дня вся Москва уже знала о разыгравшейся в саду Хвостовой кровавой драме и о бегстве Марьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем Зыбиным.

Эта сенсационная новость, от которой московские кумушки пришли в неописанный восторг и передавали ее друг другу, захлебываясь от волнения, все же считалось великим секретом для лиц власть имущих и в качестве такового не служила для них основанием официально вмешаться в это «семейное дело».

Василий Васильевич после сделанной ему перевязки к утру пришел в себя, и Карл Карлович, явившись снова после двенадцати часов, подал надежду на благополучный исход поранения.

— Starke Natur!.. Здоров природ... — заметил Гофман.

К вечеру, впрочем, лихорадочное состояние усилилось и начался бред.

Ольга Николаевна и Агния Павловна, успокоенные Карлом Карловичем, сменяя одна другую, сидели у постели больного. Обе несчастные матери чутко прислушивались к горячечному бреду раненого, и этот бред болезненным эхом отдавался в душе каждой из них.

Обе они поняли ту беззаветную, горячую любовь, которую питал бедный юноша к своей бежавшей с другим кузине, и сила этой любви усугублялась в их глазах силой непроницаемой тайны, в которую облек свое чувство юноша не только для окружающих, но и для самого предмета этой безграничной, почти неземной привязанности, той высшей любви, из-за которой душу свою полагают за друга.

К утру второго дня больному снова стало легче, и к вечеру даже лихорадочное состояние выразилось в менее резкой форме. Карл Карлович оказался правым: молодость брала свое.

Прошло два дня с вечера роковой катастрофы.

Было два часа дня.

Ольга Николаевна только что сменила у постели Василия Васильевича Агнию Павловну и задумчиво сидела в кресле, вперив свои сухие, воспаленные глаза в лицо находившегося в легком забытии Хрущева.

О чем думала несчастная, осиротевшая мать? Теперь, когда лежавший перед ней человек, чуть не поплатившийся за ее дочь жизнью, был на пути к выздоровлению, мысли старухи Хвостовой, естественно, обратились к «погибшей» дочери.

«Погибшей, совершенно погибшей... — проносилось в ее голове. — Как и чем поправить совершившееся?.. Как вернуть беглянку?.. Официальным путем, еще более раздуть скандал, и так, как снежный ком, растущий по Москве... Невозможно».

Таковы, в общих чертах, были ее думы.

В комнату больного на цыпочках вошел лакей.

— Ваше превосходительство... ваше превосходительство... — почтительным шепотом вывел он из задумчивости Ольгу Николаевну.

— Что надо? — подняла она голову.

— Там приехали.

— Кто?

— Господин Зыбин.

Хвостова вскочила с кресла... и зашаталась. Ухватившись за спинку кресла, чтобы не упасть, она несколько мгновений смотрела на доложившего ей эту роковую фамилию лакея помутившимися, почти безумными глазами.

— Зыбин... Зыбин... — машинально повторяла она.

— Так точно... ваше превосходительство.

Смущение Ольги Николаевны от неожиданности доклада продолжалось, впрочем, повторяем, несколько минут.

— Где он? — спросила она, оправившись от охватившего ее волнения уже почти ровным голосом.

— В угольной, ваше превосходительство...

— Хорошо... я иду.

Лакей беззвучно удалился.

Хвостова несколько раз прошла в зад и вперед по устланной ковром комнате Хрущева, медленно вышла и пошла по направлению к угольной, где ожидал ее похититель ее дочери и почти убийца ее племянника.

Евгений Николаевич переживал тоже нелегкие минуты. Те десять-пятнадцать минут, которые ему пришлось ожидать хозяйку дома, показались ему целой вечностью.

Надо заметить, что решаясь на этот визит к Хвостовой, на это роковое свидание с глазу на глаз с оскорбленной им матерью, Зыбин был вынужден обстоятельствами.

Широкая жизнь, как в Вильне, так и в Москве, бессонные ночи, проводимые за картами и

кутежами, окончательно расстроили его финансы, так как добытые им кровавым преступлением капиталы человека, имя которого он воровским образом присвоил себе, были далеко не велики и к моменту нашего рассказа давно прожиты. Недвижимая же собственность в виде московского дома и маленькое имение в Новгородской губернии были обременены закладными. Кредиторы за последнее время злобно осаждали Евгения Николаевича, и последний с часу на час, поддерживаемый лишь кредитом добродушной Москвы, ожидал кризиса, после которого он мог очутиться буквально нищим.

Марья Валерьяновна была лакомым куском для «прогоревшего негодяя», но только в смысле обладательницы богатого приданого, а между тем, это приданое зависело, согласно воли покойного Хвостова, от согласия матери на ее брак.

За этим согласием он и явился к Ольге Николаевне. Без этого приданого похищенная им безумно любящая его девушка не представляла для него — ничего. Чувство любви слишком высоко для низких людей.

Понятно, таким образом, то чувство нетерпеливого ожидания, которое переживал Зыбин, ожидая Хвостову.

Наконец, портьера медленно поднялась, и в комнату вошла, видимо, невольно задерживая шаги, Ольга Николаевна.

С минуту произошла между встретившимися тяжелая пауза.

Сухой, горящий взгляд старухи Хвостовой встретился с нахальным, но, видимо, деланным взглядом Зыбина.

— Прошу садиться... — медленно, стальным голосом произнесла, наконец, Ольга Николаевна и тем нарушила гнетущее молчание.

Евгений Николаевич с деланной развязностью подошел к креслу и опустился в него.

Хвостова села в противоположное.

Как бы боясь, чтобы снова не наступило роковое молчание, Зыбин быстро заговорил:

— Вы, вероятно, не ожидали моего визита, ваше превосходительство... хотя если бы вы знали меня ближе, то, конечно, поняли бы, что я, как порядочный человек, не мог бы поступить иначе, как поступаю теперь...

Он на секунду прервал эту, видимо, заученную речь и пытливый взгляд окинул сидевшую против него Ольгу Николаевну. Лицо последней было как бы отлито из бронзы. Евгений Николаевич потерялся и еще более заспешил.

— Я приехал за бумагами вашей дочери...

— За бумагами... моей... дочери... — отчеканила каждое слово, как-то почти не раскрывая рта, Хвостова. — У меня... нет... дочери...

— То есть это как!.. — окончательно стал в тупик Зыбин.

— У меня... нет... дочери... — снова повторила Ольга Николаевна. — Девушка, решившаяся опозорить мои седины, решившаяся бежать из родительского дома с убийцей ее двоюродного брата... чтобы сделаться любовницей этого убийцы... не дочь мне.

При слове «убийца», Евгений Николаевич побледнел и затрясся, но это было делом одной секунды. Яркая краска сменила бледность его лица, глаза загорелись злобным огнем, как бы

в предвкушении близкого торжества над этой холодной женщиной.

— Остановитесь... Ольга Николаевна... Моя невеста... невеста отставного полковника гвардии Зыбина, не может быть ничьей любовницей... ни даже моей... если вы не принудите меня к этому.

— Невеста? — углом рта с горечью улыбнулась старуха, презрительно оглядев с ног до головы своего будущего зятя.

— Да, невеста... Я прошу вас тотчас же вручить мне бумаги Марьи Валерьяновны, и через несколько дней мы будем обвенчаны с ней в моей деревенской церкви...

— А если я не исполню вашего требования, что тогда? — вызывающе спросила его Ольга Николаевна.

— Тогда... тогда... нам придется уехать за границу... без благословения церкви... благословения, препятствием к которому была не кто иная, как... родная мать... Я решусь сделаться любовником вашей дочери только вследствие вашей же настойчивости... Нам нужно же, кроме того, и ваше согласие... ваша дочь...

Зыбин не успел договорить, как Ольга Николаевна быстро встала с кресла и так же быстро исчезла за портьерой. Евгений Николаевич сделал даже шаг вперед, как бы намереваясь остановить ее, но было уже поздно: он очутился у опустившейся портьеры, не понимая смысла всего совершившегося пред ним.

Что значил этот уход? Что ему делать? Ждать или отправляться восвояси?

Зыбин в нерешительности прошел раза два по комнате.

«Однако, это прескверная история... Обвенчаться мне с ней необходимо... Впрочем, обойдется, быть может, и без бумаг», — решил он и двинулся через залу в переднюю.

В последней комнате перед ним предстал лакей, держа в руках серебряный поднос, на котором лежал объемистый пакет...

— Их превосходительство приказали передать это вам и сказать, что их превосходительство согласны...

Улыбка торжества мелькнула на губах Евгения Николаевича. «Сдалась!» — мелькнуло в его голове.

— А-а-а... — небрежно протянул он и, взяв пакет, сунул его в карман пальто, поданного лакеем.

Усевшись в ожидавшую его у подъезда извозчицью карету, он первым делом распечатал пакет. Он не ошибся — в нем были все бумаги Марьи Валерьяновны и документы на ее собственные капиталы.

— Молодец Сережка Талицкий! — радостно вскрикнул он, но тотчас, при звуке этой фамилии, пугливо начал озираться.

Ольга Николаевна Хвостова тем временем стояла на коленях в своей молельной перед переполненным образами киотом и просила у Бога силы перенести ниспосланные ей испытания.

В доме Хвостовых запрещено было произносить имя Марьи Валерьяновны, хотя среди прислуги шепотком передавались московские сплетни.

На этот раз эти сплетни были отголоском истинных происшествий. Говорили, что в сельской церкви имения Евгения Николаевича Зыбина в Новгородской губернии — имения, доставшегося ему от его тетки, — состоялась скромная свадьба его и Марьи Валерьяновны Хвостовой и что молодые тотчас же после венца уехали за границу.

Здоровье Василия Васильевича Хрущева быстро поправлялось благодаря тщательному и неусыпному уходу за ним его родной матери и Ольги Николаевны, перенесшей на своего родственника всю таившуюся в ее сердце материнскую любовь, объекты которой исчезли для нее в силу рокового стечения обстоятельств.

Но, поправляясь физически, молодой человек, видимо, находился в сильном нравственном угнетении.

Чуткое сердце старухи Хвостовой угадало причины этого состояния духа выздоравливающего и занялось изысканием средств оказать ему радикальную помощь. Она поняла, что все здесь, в Москве и московском доме должно было напоминать молодому человеку ту, за которую он неустрашимо посмотрел в глаза преждевременной смерти. Его надо было по совершенном выздоровлении удалить из этого дома, из Москвы.

Об этом и принялась хлопотать Ольга Николаевна, и хлопоты ее увенчались успехом — поручик Василий Васильевич Хрущев был переведен корнетом в гвардию и волей-неволей должен был отправиться в северную Пальмиру.

Приказ о переводе был получен им месяца через два после роковой катастрофы в саду и поразил его своею неожиданностью.

— Как? Ему служить в гвардии... Но где же средства?

За разъяснением этого вопроса он обратился к своей матери. Агния Павловна смутилась, но быстро заговорила:

— Я... за этой... твоей болезнью... совсем растерялась... и позабыла сказать тебе... что за то время, как ты хворал, наши дела значительно поправились... Мы выиграли процесс... помнишь, о котором хлопотал отец... и теперь ты можешь располагать пятью тысячами годового дохода... Мне самой на старости лет не надо; так как Ольга и слышать не хочет, чтобы я покинула ее...

Старик Хрущев, действительно, вел при своей жизни крупный процесс, но он давно был проигран во всех инстанциях, пять же тысяч годового дохода, о которых говорила Хрущева, были с положенного Ольгою Николаевною Хвостовой капитала на имя Василия Васильевича в благодарность за заступничество за ее дочь.

Агния Павловна, спавшая и видевшая своего сына блестящим гвардейцем, была на седьмом небе от этого подарка, но боялась сказать о нем сыну, опасаясь, что тот откажется от щедрой подачи за его чистую любовь.

Она в нем и не ошиблась.

— Уж ты, ma chere, сделай от него тайно, а то ведь он молод, глуп, своего счастья не понимает, ведь эта молодежь все верхогляды, самолюбцы, мечтатели... Я скажу ему, что выигран процесс, оставшийся после отца...

Ольга Николаевна согласилась.

Такова была причина смущения Хрущевой. Сын поверил матери, не заметив этого смущения. Ему, впрочем, было не до того. Иные мысли теснились в его голове. С отъездом из Москвы, думалось ему, он отрешится от того душевного гнета, который давил его в московской обстановке, где каждая мелочь напоминала ему об утраченной им навсегда любимой девушке. Несчастный! Он не понимал, что ни перемена места, ни даже самоубийство — мысль о нем приходила ему в голову — не в силах освободить его от его внутреннего «я», что оно всюду следует за человеком, не оставляя его даже за пределами видимого мира.

Не обстановка создает человека, а наоборот, но до этого, к несчастью, для них самих, большинство людей не додумывается.

Недели через две Василий Васильевич уехал к месту своего нового служения на берегу Невы. Служебные обязанности свели Хрущева с полковником Антоном Антоновичем фон Зеemanом, о котором, надеюсь, не позабыл дорогой читатель.

Не забыл он, конечно, и того, что семья фон Зеemanов жила в доме, принадлежавшем прежде Хомутовым, на 6 линии Васильевского острова, и жила своею особою замкнутою жизнью, и в их гостиной собирался тесный интимный кружок близких знакомых и сослуживцев Антона Антоновича.

Последний и своих собратьев по оружию приглашал к себе «запросто» с разбором. Почетными гостями фон Зеemanов по-прежнему были Николай Павлович Зарудин, Андрей Павлович Кудрин и графиня Наталья Федоровна Аракчеева.

Молодой Хрущев почему-то сразу полюбился «нелюдиму-полковнику», как прозвали Антона Антоновича в полку, он обласкал его и пригласил бывать у себя.

Василий Васильевич, чувствовавший себя в Петербурге совершенно чужим и не освободившись от своего внутреннего душевного гнета, с радостью ухватился за это приглашение, тем более, что из остальных своих товарищей по полку, с которыми он познакомился, он не нашел ни одного, особенно ему симпатичного.

Полковник фон Зеeman, напротив, произвел на него почти чарующее впечатление.

Он посетил домик на Васильевском острове. Его охватила атмосфера истинного русского радушия, и он стал частым гостем Антона Антоновича и Лидии Павловны.

Кроме того, в доме Зеemanов перед москвичом Хрущевым открылся другой мир: мир отвлеченных идей, социальных и государственных проектов, долженствовавших, якобы, облагодетельствовать Россию, поставить ее на равную ступень с государствами Западной Европы в государственном отношении. Чад этих громких фраз отуманил молодого корнета, как отуманил многих, мнивших себя благодетелями своей родины и превратившихся вскоре в гнусных преступников...

Но не будем опережать событий.

Настроение тогдашней русской интеллигенции было простым отголоском настроения Запада, где стали распространяться революционные начала и открыто грозить существованию правительств, находившихся под покровительством Священного Союза Государей, организованного императором Александром.

Прошло два года.

Скрытый заговор змеей расползлся по России. Польша волновалась с целью освободиться от русского владычества, что весьма огорчало императора Александра, справедливо обвинявшего ее в неблагодарности, припоминая все, что он сделал для удовлетворения польских интересов.

Государь далеко не разделял доверия великого князя Константина Павловича, и не подозревавшего, что императорское правительство могло встретить серьезные препятствия в провинциях старой Польши. Император же, напротив, знал, что опасность существовала и что она скоро должна обнаружиться.

Понятно, почему он, хотя и больной, хотел лично открыть польский сейм и пробыть более двух месяцев в Варшаве.

Цесаревич приехал на праздник Пасхи в Петербург. Весь двор заметил, что никогда оба брата не были так тесно связаны между собою: они почти не расставались и часто вели долгие беседы у императрицы-матери.

Отъезд Константина Павловича предшествовал отъезду императора, который уехал 4 апреля 1825 года, оставив в столице своих двух братьев великих князей Николая и Михаила Павловичей с двумя императрицами.

Василий Васильевич Хрущев, отдавшись душой и телом кружку свободомыслящих, собиравшихся у фон Зеемана, с пылкой чуткостью, так свойственной молодости, прислушивался к этим толкам и делаемым из них выводам, сделался более рьяным поборником проводившихся в кружке идей, чем фон Зееман, Зарудин и Кудрин, около которых группировался кружок.

— Il est plus royaliste, que le roi meme! — шутя говорил о нем последний, но на губах Андрея Павловича скользила при этом печальная улыбка.

XXII

В ВАРШАВЕ

Император Александр Павлович прибыл в Варшаву 15 апреля. Движение и развлечения путешествия, казалось, имели благодетельное влияние на его здоровье. Он, казалось, помолодел и выказывал более деятельности.

Его бюро было уже завалено, как обыкновенно, письмами и просьбами, которых он еще не читал.

— Вот, — говорил он, показывая на эту грудку бумаг сопровождавшему его в Варшаву графу Алексею Андреевичу Аракчееву, — подневольная работа императора.

Взоры его машинально остановились на запечатанном пакете, форма и адрес которого обратили на себя его внимание: это было простое письмо с надписью на английском языке: «Императору одному». Слова эти были написаны беглым почерком, казалось, принадлежавшим руке женщины.

Император сломил печать и молча прочел письмо, на котором был почтовый штемпель и потому оно естественно попало на стол, куда каждый день клали адресуемые императору

послания со всех концов мира.

Государь побледнел — так сильны были удивление и печаль, причиненные ему этим письмом, подпись под которым гласила; «Шервуд, унтер-офицер 3-го полка Новомиргородских копейщиков».

Писавший считал своим долгом, как он говорил в письме, предупредить своего государя, что составлялся заговор с целью ниспровержения порядка, установленного в государстве. Он знал из верного источника, что в первой и второй армиях многие лица принадлежали к тайному обществу, которого члены умножались с каждым днем. Поэтому он просил позволения отправиться в Курск, чтобы переговорить с лицом, которое было в сношениях с этим тайным обществом. Он надеялся собрать таким образом более подробные сведения о предмете и агентах заговора.

Александр Павлович пожелал иметь более подробные сведения относительно автора этого письма, и граф Аракчеев, наведя справки, доложил ему, что унтер-офицер Шервуд по происхождению англичанин.

Государь вызвал его к себе и сам расспросил его, но узнал от него относительно заговора только то, что молодой человек скорее угадал, чем открыл, живя несколько недель у богатого помещика в Киевской губернии, по соседству главного штаба 2-й армии. Там Шервуд застал сборище заговорщиков, узнал имена многих и добился доверия одного из них, именно, Вадковского.

Открытиями, сделанными Шервудом, император был глубоко огорчен. Он сознавал усилия, употребленные им во время своего царствования на улучшение нравственного, политического и материального положения своих народов, и потому его глубоко огорчали несправедливость и неблагодарность, которые одни только и могли вооружать против него руку заговорщиков.

Польский сейм окончил свое третье заседание, которое было ведено спокойно и благоразумно. 2 июня закрытие сейма было совершено в присутствии императора, который на другой день уезжал в Петербург.

Александр Павлович, сидя на троне, произнес на французском языке речь, полную ободрений и обещаний, которую сенаторы, нунции и депутаты слушали в глубоком молчании. Голос августейшего оратора был глух и печален. Его благородное лицо, носившее отпечаток болезненной бледности, было покрыто облаком грусти. Речь окончилась следующими замечательными словами:

— Представители царства Польского, я покидаю вас с сожалением, но и с удовольствием, видя, что вы трудитесь для вашего блага, сообразно вашим интересам и моим желаниям. Разделяйте это чувство, распространяйте его между согражданами и верьте, что я сумею ценить доверие, которого характером запечатлено ваше настоящее собрание. Глубокое впечатление этого собрания сохранится в моей душе и всегда будет соединено с желанием доказать вам, как искренна моя любовь к вам и насколько ваше поведение будет иметь влияние на вашу будущность!

Александр Павлович возвратился в Россию с горестью в сердце. 13 июня 1825 года он прибыл в царскосельский дворец.

Императрица Елизавета Алексеевна вышла к нему навстречу. Она была бледна, глаза ее лихорадочно блестели, она трудно дышала и сухо кашляла.

— Что с вами? — спросил ее император с беспокойною заботливостью.

— Я очень счастлива, что снова вижу вас, государь, — отвечала она, вздыхая. — Я хотела первая сказать вам, что императорское семейство увеличилось...

— Великая княгиня Александра разрешилась от бремени? — живо прервал ее Александр Павлович. — Не сыном?

— Дочерью, — отвечала императрица, — она счастливо явилась на свет в нынешнюю ночь.

— По мне лучше бы она родила великого князя... Но скажи, ради Бога, не больна ли ты, что у тебя такой больной вид.

— Государь, — тихо сказала она, — я страдаю только от вашего отсутствия...

Она его успокаивала... На самом деле, она была серьезно больна. Грудная болезнь, которую вначале считали незначительной, с каждым днем принимала в ней более и более серьезный хронический характер.

Медики беспокоились, и английский доктор Уайлис, первый врач императора, сказал, что императрице необходимо провести зиму в Италии, или на острове Мальта.

— Я не больна! — возражала она на эти слова доктора Уайлиса. — Да если бы я еще серьезно была больна, — грустно добавила она, — то тем более было бы мне необходимо остаться здесь, потому, что супруга русского императора должна умереть в России.

Доктору Миллеру, высказавшему ей свои опасения, она отвечала:

— Я не больна, или, лучше сказать, я не хочу быть больною.

Государь показывал вид, что не замечает болезни императрицы; он ни с кем не говорил об этом и силился казаться перед ней спокойным и даже веселым. Но наедине он предавался своим мрачным предчувствиям и иногда впадал как бы в отчаяние.

— Уайлис, — сказал он однажды своему первому доктору, — я недоволен своим здоровьем: предпишите мне путешествие в южную Россию, в Крым или куда-нибудь еще, только чтобы путешествие это было полезно для императрицы, которая отправится вместе со мною.

Уайлис повиновался, и путешествие было решено.

Прощаясь с великим князем Николаем Павловичем, который, по его желанию, должен был принять прямое участие в правительственных делах во время его отсутствия, Александр Павлович сказал:

— Революция теперь всюду господствует в Европе; она точно также есть и в России, хотя и скрывается здесь лучше, чем в других местах; поэтому мы должны удвоить бдительность и рвение с помощью Божественного провидения. Мы, государь, отвечаем перед Богом за нерадение управления народом. Тебе, брат, предстоит окончить великую обязанность, которую я принял на себя, основав Священный Союз Государей под покровительством Святого Духа.

Эти таинственные слова тронули и смутили великого князя. Он запечатлел их в своей памяти и всегда считал последним советом, который дан был ему Александром I, стоявшим уже на краю могилы.

Мы знаем, что императору Александру Павловичу не суждено было возвратиться из Таганрога.

19 ноября 1825 года государя не стало.

Великий князь Николай Павлович при роковых обстоятельствах понял совершенно последние таинственные слова своего в Бозе почившего государя и брата. Искусно скрытое революционное движение в России выпустило свои когти.

Часть пятая

ГРУЗИНСКИЙ ОТШЕЛЬНИК

I

ОТРЕЧЕНИЕ

Великий князь Михаил Павлович находился с 8 ноября 1825 года в Варшаве у своего брата Константина Павловича.

Он рассчитывал пробыть в Польше до конца года, а может быть, и больше, несмотря на искреннюю привязанность к своему семейному кружку. Восторженная его любовь к цесаревичу была сильнее всего, и он нигде не чувствовал себя лучше и счастливее, как в обществе своего достойного брата.

Константин Павлович, со своей стороны, тоже не щадил ничего, чтобы показать брату удовольствие, которое он доставляет ему своим присутствием.

Каждый день были смотры и парады, на которых они присутствовали вместе, разделяя команду, каждый вечер были праздники, балы и концерты в Бельведерском дворце.

Так быстро и беззаботно летело время в Варшаве.

Вдруг 22 ноября цесаревич, бледный и расстроенный, объявил великому князю, что не будет в этот день обедать за столом и удалился к себе.

Это заявление удивило Михаила Павловича, который дружески взял его за руку и спросил:

— Что с тобою?

— Ничего, — отвечал Константин Павлович, — я нехорошо себя чувствую... но это пройдет. До завтра!

Он вышел из маленькой гостиной, в которой происходил разговор.

Прошло два дня.

25 ноября, в 7 часов вечера, курьер прибыл в ту минуту, когда великие князья садились за стол. Цесаревич вышел и удалился в свой кабинет, откуда через несколько минут прислал сказать, что обедать не будет.

После обеда Михаил Павлович отправился в свои покои.

Он узнал, что из Таганрога прибыл курьер и с понятным нетерпением ожидал, когда брат позовет его.

Под влиянием какого-то тягостного предчувствия, он нервно ходил взад и вперед по комнате, наконец бросился на диван и забылся дремотою.

Вдруг дверь с шумом отворилась, великий князь проснулся и увидел входящего цесаревича, с бледным, расстроеным лицом и полными слез глазами.

— Что с тобой? Что случилось?

— Приготовься, Мишель, услышать известие о великом несчастье! — торжественно произнес Константин Павлович.

— О, Боже мой! Не случилось ли чего с нашею матерью?

— Нет, не с ней... Великое несчастье обрушилось на нас, на всю Россию... Мы потеряли нашего благодетеля!.. Император умер!

Братья бросились друг другу в объятия и слили вместе свои слезы.

После первых излиятий скорби великий князь Константин Павлович прочел брату подробное донесение о кончине императора Александра Павловича, составленное в присутствии императрицы Елизаветы Алексеевны князем Волконским и бароном Дибичем. Он прочел ему также два официальных письма, адресованных ему обоими этими лицами, чтобы известить его об упразднении трона и просить его занять этот трон. Он вручил ему и другое конфиденциальное письмо, которое князь Волконский просил держать в секрете.

Это письмо, не дошедшее до нас, кажется, имело целью предупредить великого князя Николая Павловича, что усопший император перед смертью не сказал и не написал ничего относительно какого-либо изменения в порядке престолонаследования, так как князь Волконский, вероятно, знал, что Александр I несколько лет тому назад занят был необходимостью самому назначить себе преемника.

В государственном совете всем было известно, что великий князь Николай Павлович должен был получить наследственные права цесаревича Константина, с согласия последнего.

Вследствие этого князь Волконский считал нужным уведомить великого князя Константина Павловича, что его августейший брат умер, не произнося ни единого слова, которое бы выражало волю, или даже желание относительно наследования престола. Кроме того, он писал ему, что когда он спрашивал императрицу, выражены ли были намерения усопшего императора на этот счет в завещании или в каком-нибудь рескрипте, то императрица отвечала, что не знает об этом ничего положительного, но, во всяком случае, советует свестись с цесаревичем.

Князь Волконский, вспомнив, что император всегда носил на себе запечатанный пакет, которого содержание, может быть, было государственною тайною, отыскал этот таинственный пакет в кармане мундира, который был надет последний раз на усопшем императоре. Императрица сломала печать, и они увидели, что в конверте вложены две молитвы и несколько текстов Священного Писания.

Императрица Елизавета Алексеевна сперва хотела сохранить эту бумажку у себя, но затем раздумала и велела князю Волконскому вложить ее в мундир, который надели на тело почившего императора, в тот самый карман, где он всегда носил ее.

Великий князь Константин Павлович и не думал воспользоваться этим пробелом в выражении последней воли усопшего державного брата.

Он сказал великому князю Михаилу:

— Теперь настала минута, когда я должен доказать всем, что мой образ действия изъят от лицемерия и двоедушия. Теперь нужно окончить дело с тою же твердостью, с которою оно было начато. В моих намерениях, в моей решимости ничего не изменилось, и моя воля отказаться от престола более чем когда-либо непреложна.

После этой беседы великий князь Константин Павлович созвал во дворец главных сановников правительства.

Они явились с поспешностью, удивленные этим внезапным приглашением в поздний час вечера.

Когда они собрались, цесаревич печально объявил им, что император Александр окончил жизнь.

— Каковы же будут приказания вашего императорского величества? — быстро спросил его Николай Новосильцев, один из главных сановников Польши, наиболее любимых покойным императором.

— Прошу вас не давать мне титула, который мне не принадлежит! — строго заметил Константин Павлович.

Он тотчас же объявил присутствующим, что передал все права свои брату Николаю, с согласия усопшего императора, и что теперь Николай Павлович сделался законным монархом России.

Он вошел затем в подробности насчет причины своего отречения и представил копию с письма, написанного им в январе 1822 года императору Александру и рескрипт, адресованный ему императором от 2 (14) февраля того же года, которым принималось и утверждалось его отречение от российского престола.

Затем он заставил собравшихся присягнуть новому императору и сам первый присягнул, по обычной форме на кресте и Евангелии.

По окончании этой церемонии, Константин Павлович отдал приказание приготовить немедленно в своей канцелярии официальные письма к императрице-матери и великому князю Николаю Павловичу, а также к князю Волконскому и к барону Дибичу.

Вся ночь прошла в составлении и в приготовлении этих важных писем и только с пяти часов следующего утра цесаревич мог дать себе несколько отдыха.

— Я исполнил данный обет и свой долг, — сказал он Михаилу Павловичу, — печаль о потере нашего благодетеля останется во мне вечною, но, по крайней мере, я чист перед священной его памятью и перед собственной совестью. Ты понимаешь, что никакая сила уже не может поколебать моей решимости. Ты сам отвезешь к брату и матушке мои письма. Готовься сегодня же ехать в Петербург.

26 ноября, после обеда, великий князь Михаил Павлович отправился с врученным ему письмом в Петербург.

II

СЫНОВНИЙ ДОЛГ

В тот самый день, когда в Варшаву пришло известие о смерти императора Александра Павловича, в Петербург прибыли из Таганрога письма, извещавшие об его опасной болезни.

В этот вечер 25 ноября в Аничковом дворце у детей великого князя Николая Павловича были в гостях их сверстники. Великий князь и великая княгиня принимали участие в играх.

Вдруг великому князю тихо доложили, что Санкт-Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович просит у него позволения переговорить с ним наедине.

Николай Павлович, удивленный этой необычной просьбой, переданною ему так таинственно, поспешил в приемную залу и нашел там старого генерала, сильно взволнованного и расстроенного.

— Что такое? Что случилось?

— Ужасная новость, ваше высочество, — отвечал Милорадович со слезами на глазах. — Император умирает! Осталась только слабая надежда.

Великий князь увел генерала в свой кабинет и последний представил ему депеши, только что полученные из Таганрога.

Николай Павлович почувствовал, что у него подкашиваются ноги и поспешил сесть, чтобы не упасть. Глаза его застилала слезы, и он едва мог прочесть письма, в которых князь Волконский и барон Дибич отдавали подробный отчет о болезни императора, не скрывая, что врачи не надеялись более спасти его, если только не совершится чудо. Волконский, впрочем, в конце письма намекал, что, может быть, не вся надежда потеряна.

— Да хранит Бог святую Россию! — проговорил великий князь. — Да сохранит нам Его провидение императора!

Он старался казаться спокойным и, сообщив эти печальные вести великой княгине Александре Федоровне, которая тотчас же начала молиться, он хотел уже отправиться к императрице-матери, как вдруг от нее поспешно прислали за ним, так как она, по нескромности своего секретаря Вилламова, узнала роковую новость.

Великий князь поспешил в Зимний дворец в сопровождении своего адъютанта и друга детства Владимира Федоровича Адлерберга и нашел свою несчастную мать в таком отчаянии, что все его попытки успокоить и утешить ее были напрасны. Она была убеждена, что ее обманывают, и что ее возлюбленный сын уже не существует.

Великий князь Николай не имел духа отойти от нее, пока они немного не успокоятся, и провел вместе с Адлербергом ночь в соседней с ее опочивальней комнате.

Он вполголоса молился за Россию, постоянно прислушиваясь; чтобы увериться, не спит ли его августейшая родительница.

Владимир Федорович Адлерберг сидел возле великого князя, а так как последний не имел секретов от этого честного подданного друга, то и давал волю своим мыслям, без порядка и последовательности пробегавшим в его уме.

По временам он предавался мрачному и безмолвному размышлению.

Разговор их, естественно, сосредоточивался на полученных из Таганрога известиях.

— Если Бог определит испытать нас величайшим из несчастий, кончиною государя, то по первому известию надо будет тотчас, не теряя ни минуты, присягнуть брату Константину.

Ночью императрица часто призывала к себе сына, ища утешений, которых он не в силах был ей дать.

— Какое несчастье, что Константина нет с нами, — говорила она ему, между прочим. — Следовало бы предупредить его! Не послать ли курьера в Варшаву?

Под утро, часов в семь, из Таганрога приехал фельдъегерь с известием о перемене к лучшему и с письмом императрицы Елизаветы Алексеевны.

«Il y a un bien sensible, — писала она, — mais il est tres faible».

Николай Павлович пытался поселить в сердце своей матери надежду, оставаясь сам под бременем тяжелых предчувствий.

Назавтра он рассчитывал, впрочем, на лучшие известия и ему не трудно было убедить императрицу Марию Федоровну, что за жизнь императора уже нечего бояться.

День 26 ноября прошел между страхом и надеждою; с часу на час ждали нового курьера, но он не приехал.

Слухи о болезни императора распространились в городе и произвели всеобщую горесть. Народ толпами стремился в храмы молиться, но когда узнали, что в Зимнем дворце было совершено благодарственное молебствие, и что утром было получено из Таганрога от императрицы Елизаветы Алексеевны письмо, то из этого заключили, что император находится вне опасности.

Горесть сменилась веселием, и жители Петербурга обнимали друг друга на улицах, с восторгом повторяя:

— Бог милостив! Император выздоравливает!

На другой день, 27 ноября, в обычный час курьера тоже не было, но замедление это не было сочтено дурным предзнаменованием.

Все ожидали хороших известий.

Литургия с благодарственным молебствием должна была быть отслужена в Зимнем дворце для императорской фамилии.

Главные сановники империи были созваны в Александро-Невскую лавру, где также должно было совершиться благодарственное служение за поправление здоровья императора.

В Зимнем дворце служба началась в 11 часов утра. В церкви было только несколько человек из свиты императрицы-матери и великих князей.

Императрица-мать стояла на коленях около алтаря и горячо молилась. С ней рядом молился великий князь Николай.

Последний приказал старому камердинеру императрицы-матери Гримму в случае, если бы приехал новый фельдъегерь из Таганрога, подать ему знак в дверь.

Едва кончилась обедня, начался молебен, как знак был подан.

Великий князь тихо вышел из ризницы и в библиотеке, бывшей половине короля прусского, увидал графа Милорадовича, по лицу которого и угадал ужасную истину.

— C'est fini, Monseigneur, courage maintenant, donnez l'exemple![8] — сказал граф и повел его под руку.

У перехода, бывшего за прежнюю Кавалергардскою залю,[9] великого князя оставили последние силы — он упал на стул, как бы изнемогая под поразившим его ударом, но вскоре снова возвратились к нему твердость и присутствие духа.

Он приказал позвать Риля, врача императрицы-матери, и тихо вошел вместе с ним и графом Милорадовичем в ризницу.

Императрица-мать заметила отсутствие своего сына и уже начала беспокоиться, как вдруг увидела его входящим вместе с Рилем. Великий князь был бледен, как полотно.

Войдя, он повергся ниц на землю, не говоря ни слова.

Императрица-мать поняла все несчастье; она не находила ни слов, ни слез, чтобы выразить все, ею испытываемое: она оставалась неподвижною. Великий князь встал, вошел в алтарь и переговорил потихоньку с духовником императрицы-матери, отцом Криницким, который тотчас же направился медленными шагами к своей августейшей духовной дочери и сказал, подавая ей крест:

— Государыня, человек должен преклоняться перед судьбами Провидения.

Императрица-мать поцеловала изображение Христа и тогда только пролила несколько слез, но через минуту разразилась рыданиями. Вот как описывает эту трогательную сцену тяжелого горя августейшей семьи один из ее очевидцев, наш известный поэт Жуковский, бывший тогда наставником великого князя Александра Николаевича.

«Вдруг, когда после громкого пения в церкви сделалось тихо, и слышались только молитвы, вполголоса произносимые священником, раздался какой-то легкий стук за дверями, — отчего он произошел, не знаю, помню только то, что я вздрогнул и что все, находившиеся в церкви, с беспокойством оборотили глаза на двери; никто не вошел в них, это не нарушило молчания, но оно продолжалось недолго — отворяются северные двери, из которых выходит великий князь Николай Павлович, бледный; он подает знак к молчанию: все умолкло, оцепенев от недоумения; но вдруг все разом поняли, что императора не стало, церковь глубоко охнула. И через минуту все пришло в волнение; все слилось в один говор криков, рыдания и плача. Мало-помалу молившиеся разошлись, я остался один; в смятении мыслей я не знал, куда идти, и, наконец, машинально, вместо того, чтобы выйти общими дверями из церкви, вышел северными дверями в алтарь. Что же я увидел? Дверь в боковую горницу отворена. Императрица Мария Федоровна, почти бесчувственная, лежит на руках великого князя великая княгиня Александра Федоровна умоляет ее успокоиться: „Maman, chere maman, au nom de Dieu, calmez vous“.[10] В эту минуту священник берет с престола крест и, возвысив его, приближается к дверям; увидя крест, императрица падает пред ним на землю, притиснув голову к полу почти у самых ног священника. Несказанное величие этого зрелища меня сразило; увлеченный им, я стал на колени перед святынею материнской скорби, перед головою Царицы, лежащей во прахе под крестом испытующего Спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, подняли, посадили в кресло и понесли во внутренние покои. Дверь за нею затворилась».

III

ДОЛГ ВЕРНОПОДДАННОГО

Долг сыновний был исполнен. Предстоял еще другой священный долг — старшего сына русской земли.

К его-то исполнению и приступил великий князь Николай Павлович. Предоставив свою августейшую мать попечениям и заботам великой княгини, он отправился со своим адъютантом Адлербергом на воинский пост дворца.

Пост этот был занят ротой Преображенского полка под командою Граве. Великий князь объявил солдатам и офицерам этой роты, что император Александр скончался в Таганроге, и что теперь обязанность каждого — присягнуть новому императору Константину Павловичу, законному наследнику русского престола.

То же самое объявил он двум другим внутренним дворцовым караулам, занятым конногвардейцами.

Принять присягу от этих караулов он поручил генералу Потапову и послал с этою же целью своего адъютанта Адлерберга в казармы корпуса инженеров, состоявшего под его непосредственным начальством.

Сам же он с графом Милорадовичем и генерал-адъютантами: князем Трубецким, графом Голенищевым-Кутузовым и другими пошел в малую дворцовую церковь, но узнав, что она, после разных в ней переделок, еще не освящена, возвратился в большую, где еще оставалось духовенство после молебствия, и здесь присягнул императору Константину и подписал присяжный лист. Его примеру последовали все бывшие с ним и еще разные другие, случившиеся тогда во дворце, военные и гражданские чины.

По выходе из церкви, великий князь отправился к императрице-матери, которую не покидала великая княжна Александра Федоровна. Он нашел Марию Федоровну, погружившуюся в глубокую печаль, но уже полную покорности судьбам Провидения.

Николай Павлович рассказал ей обо всем происшедшем и об исполнении им своего долга в отношении нового императора.

— Я присягнул в верности Константину и подал этим пример другим, — между прочим заметил он.

— Николай, что ты сделал! — воскликнула императрица Мария Федоровна, пораженная этою новостью. — Разве ты не знаешь, что существует императорский рескрипт, назначающий тебя наследником?

— Я этого не знал! — откровенно отвечал великий князь. — Впрочем, если императорский рескрипт и существует, то, мне кажется, никто не знает о нем. Но мы все знаем, что наш законный государь, после императора Александра — есть мой брат Константин, следовательно, мы исполнили наш долг, дав ему присягу. Пусть то будет, что угодно Богу!

— Николай, — торжественно возразила императрица-мать, — Константин знает также свой долг и выполнит его, отказавшись принять корону, которую покойный мой сын Александр пожелал передать тебе.

Пока все нами описанное происходило в Зимнем дворце, должностные лица, собравшиеся в Александро-Невскую лавру, чтобы присутствовать при благодарственной службе, были извещены о печальной новости, привезенной курьером из Таганрога.

Сообщил ее командующему гвардейским корпусом приехавший в собор во время причастного стиха начальник штаба корпуса Нейдгардт.

С быстротою молнии эта весть разнеслась по всей церкви и вызвала общее рыдание.

Близкие ко двору лица, не дождавшись окончания службы, один за другим поспешили в Зимний дворец.

Князь Александр Голицын, министр духовных дел, прибыл туда одним из первых. С изумлением узнал он о событиях, совершившихся час тому назад.

Он отправился к великому князю Николаю Павловичу; последний принял его в кабинете.

Голицын, вне себя от потери обожаемого монарха, не скрыл своего отчаяния и по поводу происшедшего. Он смело стал укорять великого князя за присягу, данную Константину, торжественно отрекшемуся от своих прав на престол. Он самым энергичным образом настаивал на том, чтобы великий князь сообразовался с волею покойного императора и принял принадлежавшую ему корону.

— Замолчите, — с сердцем сказал ему великий князь, — ваши настояния просто неуместны, я не только не раскаиваюсь в том, что сказал, но поступил бы точно так же и в другой раз...

Сказав это, Николай Павлович вышел из кабинета, не простившись с Голицыным.

Отсюда начинается тот величественный эпизод в нашей истории, подобного которому не представляют летописи ни одного народа. История — есть ничто иное, как летопись человеческого властолюбия. Приобретение власти, праведное или неправедное, сохранение или распространение приобретенной власти, возвращение власти утраченной — вот главное ее содержание, около которого сосредоточиваются все другие исторические события. У нас она отступила от вечных своих законов и представила пример борьбы неслыханно великодушной, борьбы не за приобретение власти, а за отречение от нее.

Того же 27 ноября государственный совет был созван на чрезвычайное заседание к двум часам по полудни.

Князь Александр Голицын опередил всех своих сотоварищей, решившись настоять на выполнении воли покойного императора; по мере того, как члены входили в залу, он отводил их в сторону и рассказывал им, какое объяснение он имел с великим князем Николаем Павловичем по поводу присяги, данной Константину.

Когда в совете собралось требуемое число членов, князь Голицын изложил со всеми подробностями, что произошло четыре года тому назад между покойным императором и братом Константином, когда этот последний отказался от всех своих прав на российский престол в пользу великого князя Николая. Он порицал поспешность, с которой дана присяга цесаревичу, когда манифест императора Александра, относительно наследования престола, существовал не только в архивах сената, но и святейшего синода. Он присовокупил, что этот документ положен также в Успенский собор в Москве, и что генерал-губернатор этого города и епархиальный архиерей имели поручение взять его оттуда тотчас после кончины императора.

Необходимо было, по его мнению, отменить совершившийся факт и дать силу манифесту Александра I.

Адмирал Александр Семенович Шишков, министр народного просвещения, с присущим ему горячим красноречием, высказался, что государство не может ни одного дня оставаться без императора и что присягу прежде всего, надо дать великому князю Константину, и он волен принять корону или отказаться от нее.

Все прочие члены были одного противного мнения и положили, что необходимо сперва распечатать конверт и прочесть хранящийся в нем акт.

Тогда председатель совета, князь Лопухин, послал правившего должность государственного секретаря Оленина в архив за конвертом, который по освидетельствовании целостности печатей был вскрыт, и находившиеся в нем бумаги прочитаны перед советом во всеуслышание.

Но едва только — сказано в журнале совета — «выслушана была с надлежащим благоговением, с горестными и умилительными сердцами, последняя воля блаженной и вечно достойной памяти государя императора Александра Павловича, ознаменованная в копии с высочайшего манифеста, скрепленной собственноручно покойным государем императором», как граф Милорадович, который с должностью санкт-петербургского военного генерал-губернатора соединял и звание члена государственного совета, объявил собранию: «Его императорское высочество великий князь Николай Павлович торжественно отрекся от права, предоставленного ему упомянутым манифестом, и первый уже присягнул на подданство его величеству государю императору Константину Павловичу».

Это торжественное объявление повергло совет в величайшее затруднение.

После горячих прений, решено было предстать перед великим князем, чтобы от него лично узнать его окончательное решение.

Он принял членов совета с печальным и недовольным видом, повторил то, что поручил уже сказать графу Милорадовичу, добавив, что решение его неизменно.

После такого категорического ответа, князь Лобанов объявил, что он не будет вскрывать пакет, положенный в сенате, так как документы, в нем содержащиеся, тождественны с теми, которые прочтены в государственном совете.

— Ваше высочество — сказал граф Литте, один из влиятельнейших членов совета, — те, которые еще не дали присяги вашему брату Константину, уверены, что сообразуются с волею покойного императора, признавая вас своим государем. Вам одному они могут повиноваться. Итак, если ваше решение непоколебимо, то оно есть приказание, которому мы должны подчиниться. Ведите же нас сами к присяге и мы будем повиноваться.

Сенат собрался поспешно, принес присягу императору Константину Павловичу и определил указом от имени нового императора дать ту же присягу по всей Империи.

Указ этот был приведен в исполнение в одно время в различных частях Империи.

В этот же день присягнули войска санкт-петербургского гарнизона и все городские чиновники.

В Варшаву были отправлены адъютанты Лазарев и Опочинин, чтобы дать отчет Константину Павловичу обо всем совершившемся в Петербурге. Великий князь Николай послал, кроме того, своему брату — новому императору — письмо с изъявлением верноподданнических чувств.

Официальное провозглашение императора Константина было фактом совершившимся. Новое царствование началось 27 ноября, и имя Константина заменило во главе всех правительственных актов и в церквах имя Александра.

IV

ИМПЕРАТОР

Шесть дней прошло, как цесаревич Константин Павлович был провозглашен императором и как правительственные акты давались от его имени, а в Петербурге все еще не получали известия из Варшавы.

Великий князь Николай Павлович, по-видимому, со дня на день ожидал его, хотя мысленно,

зная непреклонный характер брата, подчас был уверен, что он не приедет в Петербург.

Не без сильного сопротивления согласился он принять на себя управление государственными делами во время этого междуцарствия и то, уступив лишь просьбам, даже приказаниям своей матери.

Вследствие этого он не покидал Зимнего дворца, куда перенес свою резиденцию с 27 ноября, заперся там в своих комнатах, и лишь немногие лица имели к нему доступ.

Чаще других принимал он графа Милорадовича, приходившего отдавать ему отчет о настроении умов столицы и радовавшегося царившему в этом смысле полнейшему спокойствию.

Это спокойствие было, впрочем, только кажущееся.

Донесения полиции говорили о скрытом и необъяснимом в нескольких пунктах города волнении, но приписывали его сильному впечатлению, произведенному смертью Александра Павловича.

Николай Павлович, внимательно читавший все правительственные акты и все бумаги, присылаемые из министерств, сам пробегал эти полицейские донесения и был удивлен, что каждый день собиралось по 20–30 человек в различных кварталах с дозволения генерал-губернатора.

Сборища эти прикрывались литературой, и между самыми частыми посетителями их было два или три известных поэта — друзья и приятели А. С. Пушкин, Кондратий Рылеев и капитан Александр Бестужев, и многие гвардейские офицеры, более или менее известные за любителей поэзии и литературы. По тем же сведениям полиции, эти молодые люди принадлежали к либеральной молодежи, называвшейся «Молодою Россиею».

Когда великий князь Николай Павлович спросил об этих подозрительных сходках у графа Милорадовича, последний улыбнулся.

— Все вздор, ваше высочество, я решил оставить этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки.

— Следовало бы все-таки наблюдать за ними попристальнее... — заметил Николай Павлович.

— Я вас уверяю, ваше высочество, что это не стоит внимания — это просто детские забавы!

— Время-то выбрано для этого некстати, — возразил великий князь, — теперь Россия только что понесла невозвратимую потерю, и все мы еще находимся под ужасным впечатлением этой катастрофы!..

— Ваша правда, ваше высочество, — сказал генерал-губернатор, — это какие-то взбалмошные вертопрахи. Я сейчас сделаю нужные распоряжения, но мне кажется, что поэты не опасны.

В ночь с 1 на 2 декабря великий князь Михаил Павлович прибыл, наконец, в Петербург.

Проезжая через Митаву, где он остановился на несколько часов у генерала Паскевича, он узнал, что смерть императора Александра была уже известна в Петербурге и что там уже присягнули Константину Павловичу. Прибыв в Петербург, он поспешил в Зимний дворец.

Императрица-мать, предупрежденная о возвращении своего сына в Петербург, с беспокойством ожидала его. Никто не присутствовал при их первом свидании.

Пришедший великий князь Николай Павлович нашел двери запертыми и остался сидеть в соседней комнате..

Через полчаса дверь отворилась, и Мария Федоровна сама вышла к нему со слезами на глазах.

— Николай, — торжественно сказала она, — преклонись перед твоим братом Константином, потому что он достоин уважения за свое непреклонное решение предоставить тебе престол.

— Прежде, чем я преклонюсь перед ним, матушка, — отвечал великий князь, — позвольте мне знать причину этого, потому что я не знаю, с какой стороны жертва: со стороны того, кто отказывается, или же со стороны того, кто принимает.

Он вместе с императрицей-матерью вошел в ту комнату, где находился великий князь Михаил Павлович. Между нею и ее детьми произошел продолжительный и интимный разговор.

Прочитаны были письма, присланные Константином Павловичем матери и брату, но великий князь Николай не счел их достаточными, чтобы основать на них свой дальнейший образ действия.

Великий князь Михаил не мог не выразить сожаление относительно данной присяги, которую слишком поспешили дать и которую рано или поздно придется отменить новой присягой.

Он стал даже упрекать брата Николая за то, что он велел провозгласить цесаревича императором и не сообразовался с желанием императора Александра I.

Николай Павлович отвечал, что эти желания никогда не были ему высказаны категорически и что секрет, в котором держали от него их, не позволял ему действовать иначе.

— Впрочем, — печально добавил он, — все можно еще поправить, если мой брат Константин решится приехать в Петербург.

По совету своей матери, он объявил, что примет корону в том случае, если цесаревич еще раз положительным образом объявит свое формальное отречение от Российского престола.

В этом смысле он и императрица Мария написали ему письма, которые и были отправлены в Варшаву на другой день.

Это семейное собрание продолжалось более двух часов.

Зимний дворец был полон народа.

Слух о прибытии великого князя Михаила с утра распространился в столице, и все, имевшие доступ во дворец, поспешили туда.

— Присягнул ли уже Михаил Павлович? — спрашивал каждый.

— Нет, — отвечали прибывшие.

— А вы присягали?

— Нет.

— Когда же?

— Не знаем...

Когда, наконец, великий князь вышел из апартаментов императрицы-матери, все бросились за ним. Каждый старался прочесть на его лице известия, привезенные им из Варшавы, многие даже задавали ему об этом вопросы.

Он отвечал уклончиво, ссылаясь на усталость, и тотчас же удалился в свой дворец. Там он пробыл три дня, не принимая никаких посетителей и не давая присяги.

Узнали только, что он велел отслужить в своей дворцовой церкви заупокойную обедню по императору Александру, но эта обедня не сопровождалась благодарственным молебном в честь нового императора.

Через три дня императрица-мать выразила желание, чтобы великий князь Михаил снова отправился в Варшаву и употребил все усилия для того, чтобы побудить цесаревича немедленно приехать в Петербург.

6 декабря адъютант Лазарев возвратился из Варшавы со следующим письмом цесаревича к брату его Николаю: «Твой адъютант, любезный Николай, по прибытии сюда, вручил мне твое письмо, которое я прочел с живейшею горечью и печалью. Мое намерение неподвижно и освящено покойным моим благодетелем и государем. Твоего предложения прибыть скорее в Санкт-Петербург я не могу принять и предваряю тебя, что удалюсь еще дальше, если все не устроится согласно воле покойного государя. Твой по жизни верный и искренний друг и брат Константин».

Лазарев рассказал о приеме, сделанном ему цесаревичем по приезде его в Варшаву: сначала Константин Павлович нахмурил брови при титуле «величество», данном ему адъютантом и выразил живейшее огорчение, узнав о принесенной ему присяге, он хотел, чтобы Лазарев тотчас же отправился в Петербург, но когда последний извинился состоянием здоровья и просил позволения отдохнуть несколько часов, то великий князь держал его как пленника в Бельведерском дворце, строго приказав ему не сноситься ни с кем.

Лазарев отправился обратно только на другой день, с приказанием нигде на дороге не останавливаться и не говорить ни с кем о письме, которое он должен передать в собственные руки великому князю Николаю.

Однако, в Неннале, почтовой станции в 260 верстах от Петербурга, Лазарев встретил великого князя Михаила Павловича, который остановился там накануне и, казалось, не располагал ехать далее, надсматривая за проездом курьеров из Польши.

Великий князь Николай Павлович одобрил это решение своего брата Михаила и даже отправил к нему генерала Толля, начальника главного штаба первой армии, главная квартира которой находилась в Могилеве на Днестре, прибывшего в столицу с тайным поручением к новому императору от главнокомандующего этой армией, графа Сакена, выразив ему желание, чтобы он оставался в Неннале с великим князем, под предлогом, что они ожидают императора.

12 декабря Николаю Павловичу доложили, что возвратился фельдъегерь Белоусов, отправленный им 3 декабря с письмом к цесаревичу. Он удивился, что этот курьер не встретил в Неннале великого князя Михаила, но узнал, что фельдъегерь вместо рижской дороги ехал по Брест-Литовской, как более безопасной и легкой.

В своем ответе цесаревич повторял самым формальным образом и в самых ясных выражениях свое отречение от короны и неизменное намерение сообразоваться с волею Александра I. Поэтому он просил своего брата Николая немедленно занять престол, принадлежавший ему по праву, и ограничивался тем, что давал ему на этот счет некоторые конфиденциальные советы.

Письмо оканчивалось следующими словами:

«Я передаю тебе от души благословение старшего брата, который становится твоим верным подданным, и прошу тебя рассчитывать на безграничную преданность, с которою я не перестану быть твоим лучшим другом.

Константин».

Великий князь Николай молча прочел это письмо, но волнение, им испытываемое, несмотря на все усилия скрыть его, отразилось на его лице.

Великая княгиня Александра Федоровна с беспокойством следила за ним.

— Что случилось? — с тревогой спросила она.

— Должно преклоняться перед судьбами Провидения, — отвечал он глухим голосом, — небо повелевает, и я против воли повинуюсь: теперь я император.

V

ЗАГОВОР

Последние годы жизни императора Александра Павловича были омрачены горестными для его сердца открытиями. Еще с 1816 года, по возвращении наших войск из заграничного похода, несколько молодых людей замыслили учредить у нас нечто подобное тем тайным политическим обществам, которые существовали тогда в Германии.

Первое общество этого рода, основанное сперва по мысли тех лиц, постепенно увеличивалось и в феврале 1817 года приняло уже некоторую правильную организацию, под названием союза спасения.

Горсть молодых безумцев, незнакомых ни с потребностями Империи, ни с духом и истинными нуждами народа, дерзко мечтала о преобразовании государственного строя.

Есть основание полагать, что часть этих намерений сделалась известною Александру Павловичу еще в 1818 году, в бытность его в Москве, когда приближенные заметили в нем внезапное изменение в расположении духа и особенное мрачное настроение, какого прежде никогда не замечали.

С течением времени внешнее проявление тяготившей его скорби более или менее изгладилось, но побуждения к ней не перестали сокровенно существовать.

Известное ему и весьма немногим из его приближенных он хранил в глубочайшей тайне, ограничиваясь лишь бдительным надзором, и ни за что не соглашаясь с мнением графа Алексея Андреевича Аракчеева о необходимости принятия строгих мер.

В последнем случае даже благоразумные современники были на стороне последнего, втайне осуждая мягкость венценосца.

По Москве ходили слова графа Растопчина, сказанные им о внутренней политике Александра Павловича.

— Он начал Лагарпом, а, попомните, кончит Аракчеевым, подберет вожжи распущенной родной таратайки...

Но пока что родная таратайка мчалась без удержу. Показание одного чиновника, добровольно сделанное пред командиром гвардейского корпуса генерал-адъютантом Васильчиковым, пролило на то, что прежде казалось мало важным, более истинный и, вместе с тем, более устрашающий свет, а затем, двумя различными путями: через юнкера 3-го бугского уланского полка, Украинского военного поселения Шервуда и через капитана вятского пехотного полка Майбороду, обнаружено было существование заговора.

Мера долготерпения Александра Павловича истощилась.

Во время пребывания в Таганроге, он отдал приказание захватить главных злоумышленников, известных правительству.

По кончине Александра Павловича находившиеся при нем и посвященные в эту важную тайну лица сочли долгом довести о ней до сведения нового государя, и в неизвестности, где он находится, барон Дибич послал два пакета в Петербург и Варшаву.

В субботу 12 декабря великого князя Николая Павловича разбудили в шесть часов утра.

Барон Фридерикс, полковник Измайловского полка, прибыл из Таганрога с депешою генерала Дибича. Эта депеша, адресованная: «Его величеству императору, в собственные руки», — имела на конверте подпись: «Очень нужное».

Великий князь спросил полковника, знает ли он содержание пакета. Барон Фридерикс отвечал, что совсем не знает его, но что имеет приказание передать письмо в его руки в случае, если императора еще нет в Петербурге; он присовокупил, что такая же депеша послана в Варшаву.

Николай Павлович колебался распечатать ли письмо, адресованное императору но заставив повторить себе точные инструкции, данные Дибичем своему посланному, сломал печать, так как дело могло касаться благосостояния государства.

Он был поражен, наскоро пробежав глазами бумагу.

— Хорошо! — сказал он Фридериксу, стараясь казаться покойным и равнодушным. — Император уже, без сомнения, дал свои приказания барону Дибичу. Впрочем, император завтра, быть может, будет здесь. Я советую вам подождать его.

Фридерикс почтительно поклонился и вышел.

Великий князь остался один и внимательно прочел длинное письмо, писанное, по приказанию Дибича, рукой генерал-адъютанта Чернышева.

Это было подробное донесение об обширном революционном заговоре, с давнего времени готовившегося против императорского правительства. Тайные общества имели сильное разветвление в армии, не только в Петербурге и Москве, но и в разных местах.

За несколько дней до своей смерти, покойный император, которому, как мы уже сказали, было известно положение дел, приказал произвести несколько арестов. Начальнику казачьего полка Николаеву поручено было арестовать Вадковского, отставного офицера, который оказывал важное влияние на офицеров — своих прежних товарищей.

По смерти Александра Павловича в его бумагах нашли список главных начальников заговора, и барон Дибич, убежденный, что этот заговор мог не сегодня-завтра вспыхнуть, счел себя вправе привести в исполнение последние приказания своего августейшего повелителя. Он послал в Тульчин генерала Чернышева, чтобы уведомить обо всем князя Витгенштейна, главнокомандующего южной армией, и чтобы арестовать нескольких штаб-офицеров, между прочим, и Павла Пестеля.

Барон Дибич в своем донесении умолял императора как можно скорей обратить внимание на опасность положения и называл ему поименно некоторых заговорщиков, большая часть которых принадлежала к армии и которые в это время должны были находиться в Санкт-Петербурге.

Чтение этого письма заставило Николая Павловича еще сильнее почувствовать тяжесть своего положения. Чтобы спасти Империю от угрожающего ей волнения, даже, быть может, междоусобицы, надо было действовать немедленно, не теряя ни минуты, с решительностью, с полною силою, а он, без власти, без права что-либо непосредственно предпринять, мог распоряжаться только через других, и не как повелитель, а единственно по степени личного их к нему доверия.

Один, совершенно один. К кому великий князь должен был обратиться за советом, кому мог поверить ужасное открытие?

Он прежде всего нашел благоразумным избегать всего, что могло бы встревожить заговорщиков, и так как он подозревал, что они имеют связи внутри дворца, то не сообщил даже императрице полученных им неприятных известий, чтобы, кроме того, не усугубить тяжесть горя, и без того лежавшего на ее сердце.

Он призвал только к себе графа Милорадовича, который в качестве петербургского генерал-губернатора должен был знать о существовавшем заговоре, и князя Александра Николаевича Голицына, главного начальника почтового ведомства, который всегда пользовался доверием покойного императора.

Великий князь прочел им письмо Дибича, и они втроем решили арестовать тех из поименованных в списке заговорщиков, которые по месту их службы должны были находиться в Петербурге. Но странная вещь, ни одного из них не оказалось в столице — они все взяли отпуск под разными предлогами, видимо, для того, чтобы соединиться со своими единомышленниками в провинциях и готовить там восстание.

Без сомнения, были еще и другие неизвестные заговорщики. Граф Милорадович обещал не щадить трудов для разоблачения их, хотя известия, сообщенные из Таганрога, казались ему преувеличенными, и князь Голицын тоже обещал иметь самый бдительный надзор за почтою в империи.

Николай Павлович сам не совсем был убежден в точности сведений, сообщенных бароном Дибичем.

Он понял, однако, что если Дибич послал те же сведения в Варшаву, то благоразумие требовало от цесаревича не покидать Польшу и быть готовым на всякий случай. Он сам со своей стороны должен был поджидать результата полицейских мер, принятых графом Милорадовичем для ареста некоторых заговорщиков и для вызова капитана Майбороды, за которым граф Милорадович послал своего адъютанта Мантейфеля. От этого капитана, особенно упоминаемого в донесении Дибича, надеялись получить подробные сведения о заговоре.

Граф Милорадович вскоре возвратился в Зимний дворец, чтобы успокоить великого князя, и сообщил, что он уже собрал точные сведения и считал себя вправе объявить мнимые открытия барона Дибича несправедливыми. Офицеры, которых Дибич поименовал, как принадлежавших к тайным обществам, все были, по словам Милорадовича, чисты от подозрения; они выехали из Петербурга по законным отпускам и по делам службы. Капитан Майборода также был в отлучке, но должен был на днях возвратиться. Граф Милорадович поэтому считал себя вправе объявить, что спокойствие столицы обеспечено.

— Впрочем, — прибавил он, — я спрашивал не одних начальников полиции. Самые лучшие

сведения я получил от капитана нижегородских драгунов Якубовича, который лучше всякого знает храбрых офицеров, несправедливо обвиняемых перед императором.

Все это произошло до обеда, за которым получено было, как известно читателю из предыдущей главы, письмо Константина Павловича с решительным отречением от престола.

Этим письмом пресеклась возможность всякой нерешительности. С этой минуты на Николае Павловиче, в особенности после утренних известий, лежала священная обязанность для блага и спокойствия России воскресить жизненную силу престола. Он не скрывал от себя, теперь еще менее, чем прежде, что повиновение воле брата может подвергнуть его серьезной опасности, но сознание долга превозмогло все другие чувства. Внеся на страницы нашей истории одно из благороднейших и величественных ее событий, Николай Павлович заставил умолкнуть в своем сердце, перед святым долгом к отечеству, голос самосохранения и себялюбия: с душою, исполненною благоговейного доверия к Промыслу, он покорился его предначертаниям.

VI

ЦАРЬ И ПОДДАННЫЙ

После обеда, повидавшись со своею матерью и получив от нее благословение на великий подвиг, Николай Павлович удалился в свой кабинет со своим адъютантом Адлербергом, которому быстро продиктовал заметки, назначенные служить основанием манифесту по поводу своего восшествия на престол — в нем были подробно изложены все обстоятельства, предшествовавшие этому важному политическому акту и обусловившие его.

Адлерберг начал набрасывать очерк манифеста, как вдруг великому князю пришла мысль поручить его редакцию знаменитому историку Карамзину, который находился в это время в Зимнем дворце. Карамзин часто приходил после смерти императора Александра, и великий князь Николай Павлович, который ценил как его характер, так и его талант, имел с ним частые беседы. Поэтому он велел позвать его и передал ему необходимые заметки и инструкции.

Когда Карамзин, полчаса спустя, принес проект, то нашел великого князя разговаривающим с князем Голицыным и графом Милорадовичем, которые оба настаивали на том, чтобы манифест был составлен ученым юристом Сперанским, членом государств венного совета, которому не раз были делаемы подобные поручения. Карамзин поспешил одобрить этот выбор и отклонить всякое соперничество с этим знаменитым государственным человеком.

Манифест этот должен был быть прочтенным в торжественном заседании государственного совета, в присутствии великого князя Михаила Павловича, личном свидетеле и вестнике воли цесаревича.

Михаил Павлович, однако, все еще находился в Неннале.

Николай Павлович тотчас отправил к нему курьера с письмом: «Наконец, все решено, — писал он ему, — и я должен принять бремя государя. Брат наш Константин Павлович пишет ко мне письмо самое дружеское. Поспеш с генералом Толлем прибыть сюда. Все смирно и спокойно».

Сделаны были со стороны Николая Павловича и другие распоряжения, и самый день назначения присяги и обнародования манифеста был назначен на 14 декабря.

Все это делалось втайне. Происшедшая перемена и день, назначенный для присяги, не остались скрытыми только от заговорщиков.

Никто их не знал, но сами они все знали.

Николай Павлович, в продолжение трех, четырех послеобеденных часов выказавший изумительную деятельность, счел, однако, своим долгом и удовольствием исполнить трогательную просьбу своей возлюбленной супруги: он отправился с великою княгиней в Аничков дворец, который в продолжение нескольких лет был их убежищем и свидетелем их домашнего счастья, и который теперь они должны были покинуть, чтобы поселиться в императорском дворце.

Они вместе посетили своих спящих детей, стараясь не разбудить их, пришли вместе через те комнаты, которые напоминали им о стольких счастливых днях, и, войдя в маленькую залу, где обыкновенно любила находиться великая княгиня Александра Федоровна, остановились перед бюстом покойной королевы прусской, которая не раз высказывала свое желание, чтобы ее дочери не пришлось стонать, подобно ей, под тяжестью короны.

Они рука об руку стали на колени перед этим бюстом.

Глаза их были полны слез.

— О, моя матушка! — восторженно воскликнула великая княгиня. — Не мы желали этого; ты знаешь, что мы гораздо лучше предпочли бы не менять ни своего положения, ни образа жизни! Дай Бог, чтобы и на троне было счастье...

По возвращении в Зимний дворец, Николай Павлович заперся в своем кабинете и стал просматривать государственные бумаги, которым реестра не было сделано с самой смерти Александра I.

Было 9 часов вечера.

В дверь кабинета постучались и доложили, что адъютант генерала Бистрома, начальника гвардейской пехоты, просит позволения передать великому князю в собственные руки важное письмо.

Николай Павлович, предполагая, что это письмо адресовано ему генералом, приказал, чтобы ему передали его и чтобы офицер подождал ответа. Когда это письмо было ему принесено, он пробежал его с удивлением и волнением, усиливавшимся с каждою строчкою. Вот содержание этого письма:

«В продолжение четырех лет с сердечным удовольствием замечал я иногда ваше доброе ко мне расположение; думая, что люди, вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно честности быть откровенными с вами, горя желанием быть, по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России, наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону, как к человеку истинно благородному, можно иметь полную уверенность, я решился на сей отважный поступок. Не считайте меня коварным доносчиком, не думайте, чтобы я был чьим-либо орудием, или действовал из подлых видов моей личности, — нет. С чистою совестью я пришел говорить вам правду.

Бескорыстным поступком своим беспримерным в летописях, вы сделали предметом благоговения, и история, хотя бы вы никогда и не царствовали, поставит вас выше многих знаменитых честолюбцев; но вы только начали славное дело; чтобы быть истинно великим, вам нужно довершить оное.

В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от

престола. Следуя нередко добродушному влечению вашего сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам вашим, вы весьма многих противу себя раздражили. Для вашей собственной славы погодите царствовать.

Противу вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва, от нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державою азиатскою, и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут вашим уделом.

Ваше высочество! Может быть, предположения мои ошибочны; может быть, я увлекся и моею привязанностью к вам, и любовью к спокойствию России; но дерзаю умолять вас именем славы отечества, именем вашей собственной славы — преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это будет пагубное для вас междуцарствие, и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он приедет в Петербург; излейте ему, как брату, мысли и чувства свои; ежели он согласится быть императором — слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас своим государем.

Всемиловитейший государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким — казните меня. Я буду счастлив, погибая за Россию, умру благословляя Всевышнего. Ежели же вы находите поступок мой похвальным, молю вас, не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и своих собственных. Об одном только дерзаю просить вас — прикажите арестовать меня.

Ежели ваше воцарение, что да даст Всемогущий, будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие; ежели же к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, та наградите меня вашей доверенностью, позволив мне умереть, защищая вас».

Автор этого восторженного, но полного благородных чувств письма, был подпоручик егерского полка, Яков Иванович Ростовцев. Николай Павлович припомнил, что несколько раз замечал его усердие и ум.

Великий князь просидел минут десять в глубокой задумчивости, подперев рукою лоб, затем встал и вышел в соседнюю комнату, где дожидался Ростовцев. Взяв дружески его под руку, он ввел его в свой кабинет и плотно затворил за собою дверь.

— Вот ты чего заслуживаешь! — воскликнул он, несколько раз поцеловав его. — До тебя никто еще не говорил мне подобных истин!

— Государь, — отвечал молодой офицер с почтительным достоинством, — не смотрите на меня, пожалуйста, как на доносчика, и не думайте, что я пришел искать награды.

— Подобная мысль недостойна тебя и меня, — возразил великий князь, — я понимаю тебя, и твой поступок внушает мне чувство уважения и признательности.

Николай Павлович стал было спрашивать его о подробностях заговора, но Ростовцев холодно ответил, что не назовет по имени никого, так как и сам имеет смутные и, может быть, ошибочные сведения, но что великий князь должен знать, что число приверженцев политических реформ в России весьма велико.

— Спокойствие, царствовавшее здесь, — добавил он, — может быть, только кажущееся.

Николай Павлович несколько минут молчал, как бы что-то обдумывая.

— Ты, без сомнения, знаешь имена некоторых заговорщиков? — сказал он наконец, устремив на Ростовцева пронизательный взгляд. — Но так как ты не хочешь назвать их, опасаясь нарушить долг чести, то я уважаю твое молчание. Теперь доверие за доверие! Я скажу тебе, друг мой, что ни просьбы моей матери, ни мои собственные не могли склонить цесаревича принять корону. Он положительно отвергает ее и даже в письме, которое я сейчас получил, обращается ко мне с сильными упреками за то, что я велел присягнуть ему в верности.

— Но его присутствие необходимо, — горячо возразил Ростовцев, — ему одному принадлежит право провозгласить вас наследником Александра I и императором всероссийским.

— Что же делать? — возразил великий князь с нетерпением и печалью в голосе. — Константин не приедет и, может быть, имеет важные причины оставаться в Варшаве. Я не могу заставить его приехать в Петербург. Но что бы ни случилось, я исполню свой долг, и, если нужно, буду защищать свое дело оружием. Престол остается праздным, потому что старший брат не желает сесть на него, потому что он отрекается от всех своих прав в мою пользу. Я, один я, его законный и прямой наследник, Россия не может долее оставаться без государя.

— Государь, — отвечал, поклонившись, молодой человек, — вы наш император. Но враги ваши, враги императорского правительства, имеют злобные замыслы, я опасюсь всего — восстания, убийства!..

— Ну, так что же! — прервал его Николай Павлович. — Я умру с мечом в руке, если угодно Богу, и предстану перед Ним с чистою и спокойною совестью. Если буду императором хоть один час, то покажу, что был этого достоин.

Взволнованный этими словами, Ростовцев хотел упасть к его ногам, но великий князь протянул свои руки к нему и удержал его. Царь и подданный плакали.

Прошло несколько минут.

— Этой минуты я никогда не забуду, — заметил Николай Павлович, после некоторой паузы, — знает ли Карл Карлович, что ты поехал ко мне?

— Он слишком к вам привязан, я не хотел огорчить его, а главное, я полагал, что только лично с вами могу быть откровенным насчет вас.

— И не говори ему ничего до времени, я сам поблагодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе благородного человека.

Ростовцев почтительно поклонился и пошел было к двери, но вдруг остановился:

— Государь, всякая награда уничтожит в моих глазах достоинство моего поступка...

— Будь покоен! — прервал его Николай Павлович, второй раз поцеловав его. — Твоею наградою будет моя дружба.

VII

СРЕДИ БЕЗУМЦЕВ

В то время, когда около так внезапно и неожиданно опустевшего трона происходили

описанные в предыдущих главах события, среди некоторых молодых людей того времени, одержимых политическим безумием, шла усиленная деятельность.

Еще в последние годы царствования императора Александра Павловича зараза различных эфемерных политических теорий, занесенная некоторыми представителями нашего войска из Европы, подобно эпидемии, стала быстро распространяться между молодыми умами того времени.

Неблагодарная, освобожденная Россией Европа воздала ей, таким образом, за добро злом, — злом, погубившим многие силы молодой России.

Среди молодежи того времени, по большей части военной, возникла мысль, вскоре приведенная в исполнение, основать тайное общество: «Союз спасения, или истинных и верных сынов отечества», который с течением времени был заменен «Союзом благодетельства». Члены этих союзов, по степени доверия к ним его членов, разделялись на братьев, мужей и бояр. Последние имели право вербовать других членов. Союз разделялся на северный и южный, а каждый из них, в свою очередь, на несколько управ, главной из которых была в южном союзе Тульчинская, или Коренная.

Кроме этого союза, в России было еще несколько тайных обществ: «Соединенных славян», «Варшавское патриотическое» и виленское общество «Филаретов». Первое вскоре слилось с «Союзом благодетельства».

Центром южного союза был Киев, а северного Петербург. К последнему принадлежали знакомые нам Зарудин, Кудрин и фон Зеeman.

В доме последнего по 6-й линии Васильевского острова собирались члены союза.

Справедливость, впрочем, заставляет нас заметить, что до рокового 1825 года совещания представителей молодого офицерства были в рамке благочестивых пожеланий и, быть может, не своевременных, неосуществимых, но, в строгом смысле слова, не преступных проектов.

Собрания происходили еженедельно по пятницам, в гостиной дома фон Зеemана, в той самой гостиной, которая была свидетельницей стольких драм в жизни Натальи Федоровны Аракчеевой, изредка присутствовавшей на этих собраниях и с любовью прислушивавшейся к голосу своего друга, кума и брата по масонству, Николая Павловича Зарудина.

Лидочка лишь изредка навевалась к мужчинам, занятая сыном и хозяйственными распоряжениями.

На это-то собрание был приглашен Василий Васильевич Хрущев.

С трепетом, понятным для новичка, ищущего в серьезном и опасном деле излечения от серьезной страсти, переступил порог гостиной фон Зеemана молодой Хрущев.

Кроме известных завсегдатаев гостиных, были еще пять-шесть человек офицеров: князь Трубецкой, граф Коновницын, князь Оболенский, Каховский, Якубович и другие и один штатский. Последний был Кондратий Федорович Рылеев, секретарь российско-американской компании, бывший поручик гвардии. Антон Антонович представил новоприбывшего.

— Из молодых да ранних! — заметил он, улыбаясь.

Разговор между собравшимися вертелся на том незримом, без видимой должности и власти человеке, который, между тем, был вся сила и власть — об Алексее Андреевиче Аракчеве.

— Он лазутчик под личиной скромности, — говорил фон Зеeman, — змеей вползает всюду,

все хулит, ловко сеет в сердце монарха недоверие к лучшим силам страны.

— К нему в Грузино, — заметил Рылеев, — стали ездить не только члены государственного совета, но даже министры...

— А тебе, кажется, хотелось бы, чтобы они ездили к твоему болтуну — Мордвинову, или к этой покаявшейся грешнице — Сперанскому?

Рылеев не отвечал.

— Таким образом, нам известно, — заговорил Кудрин, — кто первый противится лучшим мыслям государя и в том числе мысли об освобождении крестьян. Ставлю на очередь, господа, вопрос, своевременно ли и желанно ли такое освобождение?

— Еще бы, — вставил свое слово Василий Васильевич.

— Какой может быть тут вопрос? — блеснув своими выразительными глазами, металлическим голосом начал Николай Павлович Зарудин. — Освобождение крестьян было постоянной мыслью наших лучших умов... Эта мысль была у Екатерины II, граф Стенбок двадцать лет тому назад подавал мнение о вольных фермерах... Малиновский советовал давать волю всем крестьянским детям, родившимся после изгнания Наполеона, Мордвинов предлагал план, чтобы каждый, кто внесет за себя в казну известную сумму по таксе, от пятидесяти до двухсот рублей за душу, или сам пойдет охотой в солдаты — был свободен, и даже сам граф Аракчеев — будем справедливы — предлагал особую комиссию и пять миллионов в год дворянству на выкуп крепостных и двух десятин надела для всякой души...

Начался спор, кстати сказать, как всегда, не окончившийся ничем. Разговор затем перешел на другие темы. Возбудили вопрос о предположении закрыть масонские ложи и другие тайные благотворительные общества, кто-то рассказал, что некто Якушин предложил общую и безусловную вольную своим крепостным, возил ее к министру Кочубею. Удивленный министр выслушал и ответил: рассмотрим, обсудим...

— Ну и что же? — спросил Хрущев.

— Ну и обсуждают до сих пор.

— А слышал о новом героизме женщины? — спросил фон Зеeman.

— Нет, а что такое?

— Девица Куракина, москвичка, увлеклась католицизмом и, чтобы показать свою преданность этому учению, сожгла себе палец.

Снова приступили к обсуждению разного рода мер, к поднятию образования в народе, искоренению взяточничества, запрещению публикаций о продаже людей...

Гости разъехались далеко за полночь.

Этот первый «политический», как он называл его, вечер у фон Зеemanов произвел на Василия Васильевича сильное впечатление.

— Какая громадная разница между этим домом и московскими, где я бывал прежде... Вот истинно умные русские люди... и как все это у них просто, без чопорности... задушевно!

Он стал посещать усердно эти собрания и вскоре был принят Рылеевым, бывшим в числе «бояр», в «братии».

При вступлении этом совершилось все очень просто. Не было ни клятв, ни таинственности, от него отобрали лишь простую собственноручную расписку. С каким сильным волнением подписал он эту расписку, хотя знал, по прочтенной им «Зеленой Книги» — так называли устав союза — что эта расписка вслед за ее подписью должна быть сожжена.

Все же с этого мгновения он считал себя оторванным от мира, без воли.

Это настроение дало ему силу вырвать из памяти нет-нет да и появлявшийся перед его духовным взором образ Марьи Валерьяновны.

Но вырвал ли он ее из сердца?

Время шло. 1825 год близился к концу.

Среди членов «Северного союза благоденствия» произошел раскол. Зарудин, Кудрин и фон Зеeman, как более благоразумные, заявили себя противниками всяких насильственных мер и подпольных действий, а первый даже подал мысль явиться к государю, изложить выработанные планы и просить инициативы их осуществления с высоты трона.

Горячие головы, предводительствуемые Рылеевым, конечно, не согласились и перестали посещать фон Зеemanовские пятницы. В числе их был и Василий Васильевич Хрущев.

Местом нового сборища заговорщиков — они могли именоваться теперь по справедливости этим позорным именем — был одноэтажный дом с красной черепичной кровлею, стоявший в глубине уютного садика, выходившего решеткою на угол набережной реки Мойки и Демидова переулка. Над крыльцом этого дома красовалась вывеска: «Магазин мод мадам Полин».

Француженка-содержательница этого модного магазина, Полина Гебель была подругой гувернантки невесты Бестужева-Рюмина, одного из деятельных членов «Южного союза благоденствия».

Император Александр Павлович, между тем, уехал в Таганрог, и вскоре было получено роковое известие о его смерти.

Началось продолжавшееся около месяца томительное междуцарствие.

Заговорщики через своих членов, имевших доступ в Большой и Аничковский дворцы, знали в подробностях все, что там происходило, и ликовали.

Данная войсками присяга Константину Павловичу, со дня на день долженствующая быть замененной другою, давала им в руки возможность действовать на солдат якобы легальным путем, указывая на то, что шутить присягой грешно, что от присяги может освободить их лишь тот, кому они присягали, а именно, их император Константин Павлович, которого брат его Николай держит, будто бы, под арестом, намереваясь захватить престол силою.

Одержимые политическим безумием, заговорщики все же хорошо понимали, что русский народ вообще, и русских солдат в частности, можно взбунтовать не «против царя», а только «за царя». Таков внутренний смысл появления всех русских самозванцев.

Отуманенные французскими идеями и ходившими в то время на западе десятками, одна другой несуразнее, политическими теориями, сами лично они добивались изменения формы правления, хорошо зная всю суть причин наступившего междуцарствия — этой, повторяем, неслыханной в истории государств борьбы из-за отречения от власти, между двумя рыцарями без страха и упрека, стоявшими около опустелого трона.

Но народ и солдаты не знали, конечно, ничего этого.

Грамотные — среди солдат того времени, они были редкостью — и те наивно полагали, что «конституция», о которой трактуют господа офицеры, была не кто иная, как «супруга царя Константина». С такими людьми надо было действовать иначе.

Заговорщики и действовали.

VIII

СМЕРТЬ ИЗМЕННИКАМ!

Подпоручик Яков Иванович Ростовцев, открывший, как мы знаем, великому князю Николаю Павловичу существование готового вспыхнуть заговора, был совершенно чужд ему и не знал ни его целей, ни разветвлений: он угадал только, что заговор этот давно существовал и что обстоятельства давали ему в руки опасное оружие против императорского правительства. Он узнал также по счастливому случаю имена главных заговорщиков.

Один из товарищей его по службе и его лучший друг, граф Коновницын, поручик главного штаба гвардейской пехоты, был вовлечен в тайное общество и со всем жаром юности усвоил себе убеждения членов «Союза благоденствия» и даже не скрывал перед своими друзьями своих стремлений и политических надежд.

Он часто говорил о необходимости полного преобразования Русской Империи и излагал революционные принципы.

Ростовцев с каким-то энтузиазмом привязался к графу Коновницыну, но не разделял его политических убеждений.

Он употреблял всю силу своей дружбы, чтобы противодействовать пагубному влиянию, которое оказывали на молодого человека многие офицеры главного штаба, известные своими демагогическими идеями.

Князь Оболенский, также поручик гвардии и адъютант генерала Бистрома, Кондратий Рылеев, бывший поручик этого же корпуса, и два-три других приверженца тайных обществ, в числе которых был и Хрущев, главным образом окружали Коновницына и оказывали на него сильное влияние.

Ростовцев напрасно старался удалить их от него, и хотя беспрестанно встречался с ними у Коновницына, однако, не сблизился с ними. Он понимал, что знакомство с этими людьми должно быть губительно для Коновницына.

Он следил, в силу этого, за каждым шагом своего друга и старался как можно меньше разлучаться с ним, но с тех пор, как в Петербург долетела роковая весть о смерти императора Александра Павловича, Коновницын сделался мрачным и задумчивым. Он беспрестанно ускользал от присмотра Ростовцева и отправлялся на тайные сходки. Сходки эти имели подозрительный характер, изумивший Ростовцева — он откровенно передал свою мысль другу и остался неудовлетворенным его неясными и сбивчивыми объяснениями.

Граф Коновницын не скрывал, впрочем, своих личных чувств.

— Великий князь Николай, — начал он, — не может ни в каком случае наследовать императору Александру, так как престол принадлежит исключительно цесаревичу...

Ростовцев только удивленно и с сожалением смотрел на положительно обезумевшего

юношу.

Самому себе он объяснил эти выходки своего друга личной неприязнью, которую граф Коновницын питал к великому князю Николаю Павловичу.

12 декабря Ростовцев, по обыкновению, зашел к Коновницыну и застал у него до двадцати офицеров разных полков.

При входе его, все они замолчали и недоверчиво начали на него поглядывать.

Коновницын, смущенный неожиданным посещением друга, подал ему руку и сказал, обращаясь к присутствующим:

— Господа, те из вас, которые не знают Ростовцева, могут поверить мне, что говоря в его присутствии, нам нечего бояться. Это мой лучший друг, и хотя он еще не из числа наших, но человек, как нельзя более либеральный.

— Прошу извинения, господа, что я беспокоил вас! — прервал его Яков Иванович, узнавший в числе присутствующих Рылеева, Каховского, князя Оболенского и некоторых других, которых он уже прежде заподозрил в политическом заговоре, — я понимаю, что мое место не здесь, и удаляюсь...

Выйдя с этой сходки, он решился из благородного патриотизма сделаться доносчиком, чтобы спасти империю и императорскую фамилию.

Он более не сомневался в существовании ужасного заговора, который в первую удобную минуту готов вспыхнуть, и написал свое письмо к великому князю Николаю Павловичу, в надежде предупредить намерения заговорщиков — мысль о друге была в этом случае его главной мыслью.

На другой день, 13 декабря, проведя все утро в делах службы, он вернулся домой и начал записывать разговор, который имел накануне с Николаем Павловичем. Присоединив к этому, так сказать, протоколу, копию своего письма к великому князю, он вложил оба эти документа в пакет, запечатал его и отправился к графу Коновницыну.

Он встретил там опять Рылеева и многих других заговорщиков.

— Господа, — сказал он, обращаясь к ним холодно-вежливым тоном, — позвольте дать вам совет: отрекитесь от проектов, которые ни для кого не тайна...

— Так между нами есть изменники! — воскликнул Рылеев, бросив пронизательный взгляд на побледневшего и смутившегося Коновницына.

— Вы не веряли мне ваших тайн, — возразил Яков Иванович, — и благодарю вас за то, что вы оставили мне свободу действий. Знайте только, что великий князь Николай Павлович обо всем извещен.

Рылеев бросился на Ростовцева, но последнего заслонил собою Коновницын.

Все присутствующие встали разом и окружили двух друзей, осыпая их угрозами и проклятиями.

— Смерть изменникам! — кричал Каховский, взмахивая кинжалом.

— Клянусь честью, — возразил спокойно Ростовцев, — что Коновницын совершенно не участвовал во всем том, что произошло между великим князем и мною. Я сделал то, что должен был сделать всякий хороший гражданин, преданный своей стране и своему государю.

Я ни на кого не доносил, но предупредил императора, чтобы он принял надлежащие меры...

— Николай — не император и не будет им! — раздалась возгласы.

Каховский бросился на Ростовцева с поднятым кинжалом. Коновницын схватил его за руку и, таким образом, предупредил убийство.

— Господа! Ростовцев у меня! — сказал он. — Под моим покровительством, и я надеюсь, что вы не заставите меня защищать его ценою жизни...

— Подумайте, господа, о совете, который я позволил себе дать вам, — с тем же непокидавшим его все время спокойствием сказал Ростовцев, пожимая руку своего друга Коновницына. — Ты найдешь в этом пакете мое и свое оправдание.

Он сунул в его руку пакет и, не торопясь, вышел из комнаты. Несколько заговорщиков хотели было броситься за ним, но Коновницын удержал их.

— Господа, он не уйдет от вас и не станет скрываться... Выслушаем лучше его письменное оправдание.

Он подал пакет Рылееву. Тот дрожащими от волнения руками взял его и сломал печать.

Неизвестно, с какими чувствами выслушали чтение этих документов заговорщики, но впоследствии эти бумаги найдены были в числе других, отобранных у них.

Первое впечатление у заговорщиков было, что все погибло, что готовое увенчаться здание рухнуло, рассыпалось до основания, но затем все понемногу успокоились, и так как в разговоре Ростовцева с Николаем Павловичем первый не упомянул ни одного имени, то решили, что опасность не так велика, как представлялась всем вначале.

— Не так страшен черт, как его малюют, — выразил почти общую мысль находившийся у Коновницына Хрущев.

— А может, он соврал, может, он там же, с глазу на глаз с великим князем, всех переименовал в точности.

Граф Коновницын горячо возразил:

— Нет, этого же быть не может... все, что здесь у него записано, правда, это чистосердечная и не прикрашенная исповедь — я знаю Ростовцева и повторяю вам — он человек безусловно честный.

— Давайте окончим прерванное чтение, — проговорил Рылеев. — Пора и по домам.

Был пятый час вечера.

— Читай, Рылеев, читай! — слышались голоса.

Кондратий Федорович вынул из кармана объемистую рукопись, спрятанную им при входе Ростовцева, откашлянулся и начал чтение. Рукопись эта была — кодекс будущих русских законов, составленных главою «Южного союза благоденствия» Пестелем и названная им «Русской Правдой». Чтение это не вызвало энтузиазма в слушателях, так как далеко не соответствовало их настроению. Один Василий Васильевич благоговейно не проронил ни одного слова.

«Сентименты!» — решили другие.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Проект манифеста был приготовлен Сперанским к вечеру 12 декабря. Государь, одобрив его с некоторыми исправлениями, продолжал сохранять дело втайне до ожидаемого приезда великого князя Михаила Павловича и потому переписку манифеста поручил личному надзору князя А. Н. Голицына.

Проект был переписан в ночь с 12 на 13 число в трех экземплярах Гавриилом Поповым, доверенным чиновником князя, в его кабинете, со строгим запрещением всякой огласки.

Государь, подписав манифест утром 13 декабря, пометил его, однако же, 12-м, как тем днем, в который все решилось окончательным отказом цесаревича.

В то же утро 13 декабря объявили воцарение нового императора, под запрещением, впрочем, кому-нибудь рассказывать это наследнику — великому князю Александру Николаевичу — тогда семилетнему отроку.

Ребенок много плакал.

Затем Николай Павлович с супругою обедали в Аничковом дворце, как бы на вечное прощание со всем минувшим.

13 декабря было воскресенье. По приказанию, отданному через князя Лопухина, члены государственного совета, в числе которых был и граф Алексей Андреевич Аракчеев, явились к 8 часам вечера в чрезвычайное собрание.

Когда все собрались, Лопухин объявил, что в это заседание желают прибыть «великие князья» Николай и Михаил Павловичи.

Прошло, однако, несколько часов в бездейственном ожидании, которым все усиливалось и напрягалось тревожное любопытство, а великих князей еще не было.

Государь продолжал ждать Михаила Павловича, а его приезд, как оказалось после, замедлился, несмотря на поспешность отправления и быстроту переезда, оттого, что посланный за ним поспел в Ненналь только в два часа пополудни того же 13 числа.

Наступила полночь.

В городе давно разнеслось, что совет созван в чрезвычайное заседание и, по необычности дня собрания — в воскресенье, по поздней поре его, все догадывались, что должно, наконец, последовать что-нибудь решительное, и с нетерпением ждали конца томительной неизвестности.

Государь с сердечным сокрушением покорился необходимости предстать совету без своего брата.

Отсюда мы продолжим наше повествование подлинными словами светского журнала. Он любопытен не только в отношении историческом, но и по самому образцу изложения, так как в одном и том же акте одно и то же лицо называется сперва великим князем и высочеством, потом императором и величеством.

«Его высочество, по прибытии в совет, заняв место председателя и призвав благословение Божье, начал сам читать манифест о принятии им императорского сана вследствие

настоятельных отречений от сего высокого титула великого князя Константина Павловича. Совет, по выслушивании сего манифеста в глубоком благоговении и в молчании, нелицемерной верноподданнической преданности новому своему государю императору, обратил опять свое внимание на чтение всех подлинных приложений, объясняющих действия их императорских высочеств».

Когда все члены, при начале чтения государем манифеста, по невольному движению встали, то и сам Николай Павлович встал с места и продолжал чтение стоя.

По окончании весь совет благоговейно ему поклонился.

«После сего государь император повелел правящему должности государственного секретаря прочесть вслух отзыв великого князя Константина Павловича на имя председателя совета, князя Лопухина. По прочтении сего отзыва, его величество изволил взять его к себе обратно и, вручив министру юстиции читанные его величеством манифест и все к нему приложения, повелел немедленно приступить к исполнению и напечатанию оных во всенародное известие. После чего его величество, всемилостивейше приветствовав членов, изволил заседание совета оставить в исходе 1 часа ночи. Положено: о сем знаменитом событии занести в журнал для надлежащего сведения и хранения в актах государственного совета; причем, положено также сегодня, то есть 14 декабря, исполнить верноподданнический обряд, произнесением присяги пред лицом Божиим в верной и непоколебимой преданности государю императору Николаю Павловичу, что и было членами совета и правящим должности государственного секретаря исполнено в большом дворцовом соборе».

Журналы совета всегда представляются на монаршее усмотрение в так называемых «мемориях», или «извлечениях», но этот был представлен в подлиннике и на нем написано: «Утверждаю. Николай».

Так совершилось и второе историческое заседание государственного совета — первое державное слово нового императора.

Из совета государь возвратился в свои комнаты. Там его ожидали в тревоге родительница и супруга. Супруги проводили императрицу-мать на ее половину, где комнатная прислуга, с ее разрешения, первая поздравила новую императорскую чету.

Бывшая великая княгиня отметила в своем дневнике, что их должно бы не поздравлять, а скорее утешать и сожалеть о них. Те же чувства разделял и ее супруг.

Во внутреннем карауле от конной гвардии, перед половиной императрицы, стоял тогда случайно один из заговорщиков, князь Одоевский.

Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами о всем происходившем — обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.

Того же 13 числа государь подписал приготовленное Сперанским по его приказанию и мыслям письмо к цесаревичу, следующего содержания:

«Любезный брат!

С сердечным сокрушением в полной мере разделяя с вашим высочеством тяжкую скорбь, совокупно нас постигшую, я искал утешения в той мысли, что в вас, как старшем брате, коего от юности моей привык я чтить и любить душевно, найду отца и государя.

Ваше высочество, письмом вашим от 26 ноября лишили меня сего утешения. Вы запретили мне следовать движением моего сердца, и присягу, не по долгу только, но и по внутреннему

чувству мною вам принесенную, принять не благоволили.

Но ваше высочество не воспретите, ничем не остановите чувство преданности и той внутренней, душевной присяги, которую, вам дав, возратить я не могу и которой отвергнуть, по любви вашей ко мне, вы не будете в силах.

Желания вашего высочества исполнены. Я вступил на ту степень, которую вы мне указали и коей, быв законом к тому предназначены, вы занять не восхотели. Воля ваша совершилась.

Но позвольте мне быть уверенным, что тот, кто против чаяния и желания моего поставил меня на сем пути многотрудном, будет на нем вождем моим и наставником. От сей обязанности вы пред Богом не можете отказаться; не можете отречься от той власти, которая вам, как старшему брату, вверена самим Провидением и коей повиноваться, в сердечном моем подданстве, всегда будет для меня величайшим в жизни счастьем.

Сими чувствами заключая письмо мое, молю Всевышнего, да в благости своей хранить дни ваши, для меня драгоценные.

Вашего императорского высочества душевно-верноподданный

Николай».

Державная чета отошла к покою, и сон ее был безмятежен: с чистою перед Богом совестью она предала себя от глубины души Его неисповедимому промыслу.

Наступило 14 декабря...

Государь встал рано.

В семь часов утра он вышел в залу тогдашних своих покоев, где были собраны начальники дивизий и командиры бригад, полков и отдельных батальонов гвардейского корпуса.

Он объяснил им сперва, что, покоряясь неременной воле старшего брата, которому недавно вместе со всеми присягал, принужден теперь принять престол, как ближайший в роде отрешенного.

Затем, прочтя им манифест и приложенные к нему акты, спросил: не имеет ли кто каких сомнений?

Все единогласно отвечали, что не имеют никаких и признают его законным своим монархом.

Тогда, несколько отступя, государь, с особенным величием, которые еще живы в памяти у свидетелей сей незабвенной минуты, сказал:

— После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы, а что до меня, если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин!

Отпуская начальников гвардейских полков, государь приказал им ехать в главный штаб присягать, а оттуда немедленно отправиться по своим командам, привести их к присяге и донести об исполнении.

В то же самое время собрались в своих местах для выслушания манифеста и принесения присяги синод и сенат, и разосланы были повестки, чтобы все, имеющие приезд ко двору, собирались в Зимний дворец к 11-ти часам для торжественного молебствия.

В главном штабе присяга была совершена в круглой зале библиотеки.

Так начался этот знаменательный в русской истории день.

«Если буду императором хоть один час, то покажу, что был того достоин» — эти слова незабвенного императора Николая Павловича, сказанные им Ростовцеву и повторенные начальникам гвардейских полков, золотыми буквами занесены на скрижали новой русской истории.

Торжественно оправдались они!

Тридцать лет среди благословения мира и громов войны, в законодательстве и суде, в деле внутреннего образования и внешнего возвеличения России, везде и всегда император Николай I был на страже ее чести и славы, ее отцом, а вместе, первым и преданнейшим из ее сынов.

Случайно набежавшая и быстро рассеянная туча, омрачавшая первые часы его славного царствования, только рельефнее оттенила последующие полные света долгие дни благоденствия России под скипетром «Незабвенного».

Туча рассеялась... Взошло солнце... еще ярче, еще лучезарнее... Пронеслась легкая гроза... Атмосфера, сгущенная парами гнилого Запада, очистилась.

Россия вздохнула свободно.

Х

НОВЫЙ КАИН

На дворе стоял январь в начале нового 1826 года. Год этот, после рокового декабря 1825 года, канувшего в вечность, был встречен благоразумным большинством в России с облегченным вздохом.

Кровавое событие на Сенатской площади за истекшие две-три недели с каждым днем теряло, даже в глазах современников, значение выдающегося исторического факта, а лишь приобретало окраску незначительного эпизода — безумной выходки нескольких безумных голов.

Заговор, говоря языком официальным, был потушен при первом вылившемся наружу языке пламени, полное спокойствие воцарилось в империи. Оно явилось как бы реакцией, сопровождая несколько бурное воцарение императора Николая Павловича, а твердая рука царственного вождя России ручалась за продолжительность этого спокойствия.

К этому облегченному вздоху нашего отечества присоединились рыдания и слезы родственников арестованных безумцев, которых ожидала строгая и вполне заслуженная кара.

О них плакали как о нравственно умерших, и даже самые близкие им люди не присоединяли к этому плачу жалобы на быстроту предпринятых со стороны правительства мер, на строгость назначенной кары.

Кара эта завершилась, молчаливо и единогласно одобренная Россией.

Мы умышленно опустили завесу на происшествия 14 декабря и не вошли в подробности изложения массы, в этот, печальной памяти, исторический день, одного за другим сменившихся событий.

Официальные, или, если можно так выразиться, протокольные источники произведенного следствия видят главными виновниками вспыхнувшего за несколько часов заговора представителей нашей армии, мы же полагаем, что эти «представители» только явились олицетворением русской поговорки: «В семье не без урода», — и никакого отношения к общему настроению русской армии того времени иметь не могли, что красноречиво доказывается быстрым подавлением «безумного дела» тою же, всегда преданной престолу армиею. Только несколько человек вожаков действовали сознательно, если это слово применимо к «делу безумия», остальная же военная и народная толпа была вовлечена в активную роль путем грубого обмана, благодаря своему легковерию.

День этот не может бросить ни малейшей тени на полную блеска и света историю нашей всегда верной царю, отечеству и долгу армии, как темные пятна на солнце не могут помешать его лучезарному блеску.

В задачи нашего повествования не входят вопросы по исторической патологии, к каковой, несомненно, должно быть отнесено, как иноземный нарост на здоровом русском теле — событие 14 декабря 1825 года.

В самый день Крещения, 6 января, часу в седьмом вечера, из одного из грязных трактиров на Сенной площади вышел человек, одетый в почти новый дубленый полушубок и сдвинутую на самые глаза мерлушечью шапку, остановился на минуту в дверях трактира, блок которых еще продолжал издавать резкий скрип, как бы в нерешительности, куда ему идти, и пошел, видимо, наудачу, вправо, как-то крадучись и озираясь по сторонам.

На Сенной было сравнительно пустынно, ее завсегдатаи провожали святки в трактирах и кабаках, из отворявшихся дверей которых слышался пьяный шум, доказывавший, что там идет разливное море веселья.

Вышедший медленно, по всем признакам бесцельно, направился по Садовой к Невскому проспекту, где, смешавшись с толпой гуляющих, пошел к адмиралтейству, но не доходя его, свернул направо по Морской и вышел под арку главного штаба.

Пройдя ее, он остановился, прислонившись к одному из ее выступов.

Перед ним расстилалась Дворцовая площадь.

Незнакомец на минуту вышел из-под тени арки. Лунный свет ударил ему в лицо. Он как бы боязливо попятился и снова скрылся в тени.

Этой минуты было достаточно, чтобы узнать в исхудалом, обросшем жесткими волосами лице Василия Васильевича Хрущева.

С рокового дня 14 декабря, когда он по назначению членов «Союза благоденствия» — какую злою ирониею звучало в это время это название — должен был с некоторыми из своих сотоварищей изображать «бунтующий народ», вел несчастный, к ужасу своему прозревший в самый момент начала безумного, братоубийственного дела, скитальческую жизнь — жизнь нового Каина.

И теперь, прислонившись к выступу арки главного штаба и глядя на освещенные окна дворца и искрящуюся под кротким светом луны белоснежную площадь, переживал он снова виденные им более трех недель тому назад картины.

Вот он видит царственную фигуру императора Николая Павловича, выходящего без шинели одного на площадь к толпам народа, среди которого по тяжелой, невыносимо тяжелой, как кажется ему теперь, обязанности заговорщика находился и он, Хрущев.

Народ окружил царя.

— Читали вы мой манифест? — отдается в ушах Хрущева заданный государем народу вопрос и слышится ему затем протяжное, с расстановкой чтение государем этого манифеста.

Вот толпа сдвинулась, сплотилась вокруг монарха, и множество голосов закричало, что не допустят до него никого, разорвут всех на клочки, не выдадут его.

Два человека в партикулярном платье, с георгиевским крестом в петлицах, подходят к государю.

— Мы знаем, государь, что происходит в городе; но мы старые раненые воины и покуда живы, вас не коснется рука изменников! — припоминает Василий Васильевич слова этих доблестных сынов отечества.

Другие из народа хватали руки царя, фалды его мундира, падали на землю, целовали его ноги.

Русский народ вполне выказал тут врожденную царелюбовность, то святое патриархальное чувство, которым искони сильна наша Русь.

Но при первом слове царя: «Ребята!» — это всколебавшееся море опять успокоилось и сделалось тихо и неподвижно.

— Ребята, — сказал государь, — я не могу поцеловать вас всех, но — вот за всех!

Николай Павлович обнял и поцеловал ближайших, так сказать, лежавших у него на груди, и несколько секунд в тишине смолкших тысяч слышались только поцелуи.

Народ свято делил между собой поцелуй царя.

Этот звук царственного поцелуя болезненно отозвался в душе Хрущева, и как тогда, так и теперь, вызвал на его глазах горячие слезы.

В его душе проснулся тогда русский человек, понявший всю пропасть своего падения. Первою мыслью его было броситься к ногам этого монарха-отца и молить, подобно блудному сыну, о прощении, но его грех показался ему настолько великим, неискупимым, что тяжесть его парализовала все его чувства, и он дал себя увлечь стоявшему рядом с ним Якубовичу.

Василий Васильевич долго стоял с устремленными на площадь глазами, из которых текли по исхудалым щекам горячие слезы.

Затем, как бы очнувшись от тяжелого сна, он медленно отправился по направлению к Сенатской площади, к памятнику Петра Великого.

Здесь, облокотившись на гранитную глыбу, служащую пьедесталом памятника, Хрущев стал снова воспроизводить в уме своем роковые картины.

Особенно рельефно восстала в его памяти картина убийства графа Милорадовича, одного из героев войны 1812 года. Заговорщик Каховский выстрелил в генерала в упор из пистолета, а другой заговорщик ударил его штыком в спину. Граф, смертельно раненный, упал на руки своего адъютанта.

Раздался ружейный залп.

Этот залп был последним воспоминанием Василия Васильевича. Какое-то горькое чувство презрения к самому себе охватило его. Он, не поднявший ни на кого руки, уже сделался

братоубийцей. Это роковое сознание тяжелым свинцом залегло в его мозгу.

«Каин, где брат твой Авель?» — неслось, казалось ему, по его пятам.

Это еще более ускоряло его бег. Он бежал уже прямо по льду Невы. Вдруг ему бросилась в глаза зимовавшая полуразрушенная барка.

Он вскочил в нее и, забравшись в уцелевшую каюту, как сноп бросился на лежавшую в углу промерзлую солому.

«Каин, где брат твой Авель?» — продолжало звучать в его ушах.

И теперь, стоя у памятника Петра Великого, Хрущев вздрогнул всем телом, и в ушах его снова раздался этот роковой вопрос.

С поникшею головой он отправился к спуску на Неву, и затем вдоль реки по льду к той самой барке, где он провел весь день 14 декабря и где с тех пор скрывался более трех недель. Зачем скрывался он? Что мешало ему явиться и понести кару за свое преступление, кару справедливую, которую уже понесли его недавние сообщники по преступлению. Разве им, даже приговоренным к смерти, не было легче, чем ему? О, конечно, легче, неизмеримо легче — в этом не могло быть сомнения. Что же останавливало его разделить их участь?

Эти вопросы во время тяжелых дней и бессонных ночей не раз задавал себе сам Василий Васильевич.

Ему казалось, что эта-то сравнительная легкость наказания с громадностью совершенного им преступления и останавливала его. Он сам наказывал себя более страшно, более жестоко.

Кроме того, его останавливала еще одна страшная, роковая мысль. Что если, когда он явится с повинной, ему придется увидеть государя.

Царственный поцелуй, слышанный им на Дворцовой площади, звучал в его ушах — волосы его поднимались дыбом.

Лицезрение царя для него, преступника-братоубийцы, казалось ему такую страшную непереживаемую минутой, что холодный пот выступал на его лбу и нервная дрожь охватывала все его члены.

Он избегал смотреть в глаза даже незнакомым, встречавшимся с ним людям, он говорил с людьми в течение этих трех недель только по необходимости. Ему казалось, что каждый, глядевший на него, узнает в нем преступника, что каждый брезгливо сторонится от него, что на его лице лежит именно та печать «древнего Каина», которая по воле карающего Бога мешала первому встречному убить «братоубийцу».

Хрущев вскоре достиг своего убежища — барки, вошел в каюту. Лунный свет слабо проникал в замерзшее маленькое окошко и освещал убогое помещение. Соломы в углу, служившей постелью, было довольно много — Василий Васильевич собрал ее в других частях барки, было даже несколько незатейливой глиняной посуды, кружка, горшки, словом, каюта, за эти проведенные в ней несчастным молодым человеком дни, приобрела некоторый вид домовитости.

Усталый и нравственно, и физически, Хрущев лег на свое жесткое ложе и устремил свой взгляд на замерзшее окно, на льдинках которого лунный свет переливался всеми цветами радуги.

ПО ЗАПОВЕДИ

Василию Васильевичу не спалось, несмотря на то, что он давно успел привыкнуть к своему убогому ложу в не менее убогом жилище.

Вид затейливо замерзшего окна каюты барки навел его на размышления о далеком прошлом. Он вспомнил свое детство, свою кузину Мери, как звал он когда-то Марью Валерьяновну Хвостову. Живо представилось ему ее миловидное, детское личико с широко раскрытыми глазами, слушавшее рассказы старой няни, повествовавшей о доброй фее, разрисовывающей зимой окна детской послушных девочек искусными и красивыми узорами.

Как живая, стояла она перед ним сперва ребенком, затем взрослой девушкой, такой, какая она была в тот роковой день, когда он видел ее последний раз в доме ее матери.

Где-то она теперь? Счастлива ли? Довольна ли? Ужели никогда-никогда нам не суждено уже встретиться?

Этот вопрос перенес мысли Хрущева на будущее.

Что ожидало его в будущем?

Эта мысль с момента бегства его с Сенатской площади почему-то совершенно не приходила ему в голову.

Теперь он вдруг стал всесторонне, настойчиво обдумывать этот вопрос, как бы наверстывая потерянное время.

Будущее! Да есть ли для него это будущее? Его, несомненно, считают мертвым, да и на самом деле, он заживо похоронил себя в этой ужасной барке.

Эти три недели ему казалось, что это единственный исход в его положении, что иначе поступить ему было нельзя, что этим он навеки ушел от людей, скрылся, исчез бесследно, навсегда, что будущего нет совсем и нечего о нем и думать.

Теперь же, когда эта мысль о будущем пришла ему в голову, все изменилось в его мыслях: он сразу как бы понял то, что в нормальном состоянии должен был бы понять давно. Он понял, что долго в таком положении он быть не может, что каждый день могут прийти разбить полуразрушенную барку и лишит этим его крова.

Куда пойдет он?

«Надо умереть!» — мелькнула в голове его мысль.

— Умереть! — повторил он даже вслух и вдруг ему стало невообразимо жутко. Он окинул взглядом свою маленькую каморку и ему показалось, что это и есть его гроб, что здесь он похоронен, зарыт, похоронен заживо, когда ему хочется жить. Стены гроба давят его, ему тяжело дышать, члены онемели, ему хочется двинуться — он не может приподняться — не в состоянии. Он умер, а жить ему хочется. О, как хочется ему жить. Где его мать? Где она, Мери? Никого нет! Он один, один в тесном гробу. Все кончено. Выхода нет.

Василий Васильевич напряг все свои усилия, вскочил на ноги и бросился из каюты. Он выскочил на барку, прыгнул на лед реки и побежал, не зная сам куда и зачем. Ветер бил ему в лицо, поднималась вьюга — небо заволочло тучами, ноги порой до колен утопали в снегу,

но он, видимо, не обращал на это внимания и бежал все быстрее и быстрее.

Происшествие 14 декабря не коснулось обитателей коричневого домика на 6 линии Васильевского острова ни прямо, ни косвенно. Знакомство с заговорщиками, прерванное своевременно, не отразилось ни на служебной карьере Антона Антоновича фон Зеемана, ни на жизни его друзей Зарудина и Кудрина. Арестованные деятели кровавой политической трагикомедии не назвали даже по имени людей, которые предостерегали их и отговаривали от исполнения безумного плана. Первое время наши трое друзей ожидали приглашения в следственную комиссию, но ожидали совершенно спокойно, так как могли явиться пред лицом властей с вполне чистою совестью. Время шло, а вызова не было. Лидочка и Наталья Федоровна волновались гораздо более, но мало-помалу тоже успокоились и даже в вечер Крещенья решили устроить елку для маленького Тони.

Был двенадцатый час ночи. Елка, стоявшая посреди залы, давно потухла, а сам виновник миновавшего праздника спал безмятежным сном в детской, сладко улыбаясь во сне, как бы переживая приятные треволения вечера.

В гостиной, несмотря на поздний час ночи, сидели хозяин с хозяйкой, графиня Аракчеева и Зарудин с Кудриным.

Лица эти, связанные такою долгою дружбою и общностью чисто частных интересов, вели оживленную беседу, которая была прервана вбежавшей прислугой, горничной Лидии Николаевны.

— Барыня, у наших ворот лежит упокойник! — испуганно проговорила она.

— Что-о! — поднялись все с места.

— Упокойник у наших ворот лежит! — повторила горничная.

— Какой покойник, что ты болтаешь? — раздраженно произнес Антон Антонович, бросив тревожный взгляд на побледневших, как полотно, жену и Наталью Федоровну.

— Сейчас умер — правда, Иван пошел запирать калитку, а он около нее и есть, я и сама бегала смотреть и другие.

— Пусть Иван зажжет фонарь и идет за ворота, я пойду посмотрю сам... — отдал приказание горничной Антон Антонович.

— Пойдем все вместе, нам и по домам пора! — заметил Кудрин. — Не так ли? — обратился он к Николаю Павловичу.

— Давно, дружище! Засиделись. Но надо прежде посмотреть, что это за несчастный, нельзя ли помочь ему.

— Это само собою.

Мужчины отправились в переднюю, оделись и вышли на улицу.

Там уже стоял дворник с фонарем в руке, полуосвещая лежавшего неподвижно ничком человека.

Зарудин наклонился к лежавшему и дотронулся рукой до открытой шеи.

— Он не мертвый, тело теплое, вероятно, просто пьяный.

Дворник принялся после этого замечания расталкивать лежавшего.

— Эй, ты, земляк, поднимайся, да ступай своею дорогою... неча здесь зря прохлаждаться, — приговаривал он.

Лежавший не шевелился.

Наконец, дворник перевернул его навзничь. Свет от фонаря ударил ему в лицо. Зарудин, Кудрин и Зеeman в ужасе отступили.

— Хрущев! — почти в один голос воскликнули они.

— Как он попал сюда! И в таком виде? Я слышал, что он убит! — слышались догадки.

— Однако, надо внести его в комнаты. Может, удастся привести в чувство... тогда все объяснится само собою, — заметил Антон Антонович.

Все трое подняли бесчувственного Хрущева на руки и понесли в дом.

Дворник и другая, выбежавшая за ворота, прислуга с немим удивлением смотрели на казавшуюся им чрезвычайно странной барскую затею — внести в чистые горницы пьяного проходимца. Что он был пьян — они ни капли не сомневались после слов Николая Павловича.

Фон Зеeman поместил его в своем кабинете, где на широком диване наскоро приготовили постель, на которую, раздев, уложили Василия Васильевича.

Теплота комнаты и нашатырный спирт сделали свое дело — Хрущев пришел в себя, открыл глаза и обвел комнату и присутствовавших помутившимся, бессмысленным взглядом.

Он не узнал никого и вскоре снова впал в забытие.

— У него горячка, — заметил Антон Антонович, дотрагиваясь до лба лежавшего.

Как бы в подтверждение его слов, у больного начался бессвязный бред. Фраз понять было нельзя, слышны были только отдельные слова: государь, Мери, Каин, Абель.

— Поедем, Кудрин, и по дороге завернемся к доктору и пришлем его сюда, — сказал Николай Павлович, и оба друга стали прощаться, как с Антоном Антоновичем, так и с только что вошедшими в кабинет Лидочкой и Натальей Федоровной, которым Антон Антонович рассказывал, как он был поражен, узнав в лежавшем у ворот их дома бесчувственном человеке, принятом им за пьяного, Василия Васильевича Хрущева.

— Он ведь был с ними... — сделав ударение на последнем слове, испуганно заметила Лидочка, переводя беспокойный взгляд с лежавшего в забытии Хрущева на мужа.

— С кем бы он ни был, матушка, но не умирать же ему на улице... — раздражительно ответил ей последний.

Наталья Федоровна одобрительно кивнула головой.

— Бедный, как он страдает! — с глубоким вздохом сказала она.

Больной тяжело и прерывисто дышал, продолжая бредить.

Только через два часа приехал, наконец, присланный Зарудиным его, знакомый доктор, которому он сказал, что у его друга фон Зеemана заболел приехавший погостить издали родственник.

Доктор осмотрел больного и покачал головою.

— Что с ним? — с тревогой в голосе спросила Наталья Федоровна.

— Нервная горячка, сударыня, да такая, что не пожелаешь злему лиходею! С ним, вероятно, произошло что-нибудь ужасное. Вы не знаете, что именно?

Наталья Федоровна смутилась.

— Нет, положительно не знаю.

— Он получил неприятное известие из дому... — выручил ее Антон Антонович.

— А-а-а... — протянул доктор и сел писать рецепты.

Крупная ассигнация, перешедшая незаметно в его руку из руки фон Зеемана, видимо, совершенно удовлетворила любопытство эскулапа.

— Придется поехать к вам недельку-другую, возни много будет... — заметил он, прощаясь.

— Пожалуйста! Я хотел только что просить вас об этом... — сказал Антон Антонович. — Он опасен?

— Н-да... — прогнусил внушительно доктор... — Главное — тщательный уход.

— Уход будет... — заметила Наталья Федоровна таким решительным тоном, что фон Зеeman вопросительно посмотрел на нее.

Доктор уехал.

— Я буду сама ухаживать за ним, — заявила Наталья Федоровна Лидочке и Антону Антоновичу.

— Зачем же сами? — возразил последний. — Пусть дежурит около него поочередно одна из горничных.

— Нет, нет, разве можно положиться на них. Я вам сказала, что я буду сама, и мое решение непоколебимо.

— В таком случае, я буду чередоваться с вами... — заметила Лидочка.

Антон Антонович бросил на жену взгляд, полный восторженной любви.

— Это доброе дело! — согласилась Наталья Федоровна и, взяв за талию Лидочку, привлекла ее к себе и крепко поцеловала.

Больной слабо застонал и начал делать движения пересохшими от жара губами.

— Ему хочется пить, — заметила Наталья Федоровна, — распорядись, Лидочка, чтобы приготовили лимонаду.

Лидочка быстро вышла.

— Надо узнать стороной, насколько он скомпрометирован, поехать к нему на квартиру, привезти белье, платье и разузнать, давно ли он отлучился из дому... — обратилась Наталья Федоровна к фон Зееману.

— Да, да, непременно, я постараюсь исполнить это завтра же... Бедный, если он и выздоровеет, то не на радость, ему предстоит хотя справедливое, но все же тяжелое наказание. Уж лучше пусть умрет!

— Что вы говорите! Пусть живет. Он молод, он может сторицею искупить свое безумное заблуждение верноподданной службой царю и отечеству... — горячо возразила Наталья Федоровна.

— Но кто решится ходатайствовать за него. Он из тех, злодейство которых так гнусно, что для них казнь — милость.

— Он еще совсем мальчик, а просить за него буду я.

— Вы?!

— Да... я! Сегодня первый раз в жизни я благословляю небо, что я... графиня Аракчеева!

XII

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Доктор не ошибся. Около двух недель Василий Васильевич Хрущев находился между жизнью и смертью.

Графиня Наталья Федоровна Аракчеева, верная своему слову, почти день и ночь не отходила от постели больного. Она даже неохотно позволяла себе сменять изредка Лидию Николаевну, тем более, что на здоровье последней обязанности сестры милосердия оказывали пагубное действие. Бессознательный бред больного, горячечные пароксизмы, в связи с продолжавшимся беспокойством, что в их доме нашел себе приют один из «них», как она в третьем лице называла заговорщиков, и боязнь, чтобы это не отразилось на личности боготворимого ею мужа, сделали то, что нервы молодой женщины окончательно расшатались.

Наталья Федоровна, между тем, как бы совершенно забыла, кто лежит перед ней, она видела в Хрущеве только беспомощного, опасного больного человека — брата, если не спасти жизнь которого, то хотя облегчить страдания было обязанностью каждого христианина.

Прислушиваясь ежедневно и еженощно к отрывочному, бессвязному, казалось, бреду горячечного, Наталья Федоровна чутким сердцем почти поняла всю предшествующую поступлению в заговорщики жизненную драму молодого человека.

Ей было ясно, что он бросился в море безумных политических треволнений вследствие безнадежной любви, вследствие безвозвратной потери им любимой девушки, стереть образ которой из своего любвеобильного сердца он не мог, даже переживая страшные минуты сознания своего гнусного преступления.

Все это душою поняла Наталья Федоровна, и Василий Васильевич Хрущев стал ей родным по сердцу, по страданиям... Разве этот кабинет — бывший кабинет ее отца — не был свидетелем потери и ее любимого человека, потери, когда она сама пожертвовала им, любящим, во имя долга дружбы, во имя желания принести пользу человечеству? Это казалось Наталье Федоровне легче, нежели быть отвергнутым любимым существом, не чувствовать взаимности любви, а напротив, видеть, что это существо любит другое лицо, с ним ищет то житейское счастье, которым бы так хотелось окружить его. Эти страдания невыносимы — это понимала Наталья Федоровна, хотя никогда в жизни не испытала их.

С нескрываемым беспокойством следила она за ходом болезни, и сам доктор приписывал нормальность этого хода тщательным и непрерывным попечениям самоотверженной и

идеальной сестры милосердия, как он не раз называл Наталью Федоровну.

Василий Васильевич, наконец, пришел в себя.

Удивленным, но совершенно сознательным взглядом обвел он незнакомую ему комнату, и этот взгляд встретился с полным неземной доброты и участия взглядом Натальи Федоровны.

— Где я? — прошептал больной.

— У друзей! — отвечала графиня.

— Как я попал сюда; когда? — заволновался Василий Васильевич.

— Успокойтесь, вам вредно волнение, я расскажу вам, что знаю... — поспешила перебить больного Наталья Федоровна и в коротких словах рассказала ему, как его бесчувственного нашли у ворот их дома и как уже около трех недель он находится под кровлею дома Антона Антоновича фон Зеемана.

Узнав, что он находится в доме своего начальника, в доме фон Зеемана, Хрущев весь вспыхнул.

Это была краска стыда от воспоминания о том, что несколько месяцев тому назад он отшатнулся от того же фон Зеемана, называл его отсталым обскурантом и вместе со своими недостойными товарищами глумился над ним, над его трусостью, эгоизмом, нерешительностью принести в жертву свои личные интересы пресловутому общему делу.

А этот эгоист, между тем, спас его от смерти, приютил у себя в доме, не выдал как гнусного преступника, каким он, Хрущев, признавал самого себя.

Антон Антонович успел стороной узнать о положении дела нашедшего в его доме себе приют заговорщика. Хрущев оказался, хотя и не особенно скомпрометированным, ни показаниями остальных обвиняемых, ни найденными и арестованными бумагами и перепиской заговорщиков, но участие его в заговоре не было тайной; не было тайной и то, что он, переодетый, был 14 декабря на Сенатской площади, но проявил ли он чем-нибудь еще большим свою преступную деятельность — об этом не знали. Его считали убитым, или пропавшим без вести и не особенно беспокоились его розысками, хотя квартиру его опечатали, так что добыть какие-либо вещи из нее было затруднительно без разрешения властей.

Антону Антоновичу ничего не оставалось делать, как обратиться к этим властям и рассказать, каким образом судьба столкнула его с Хрущевым, который лежит опасно больной в его доме.

Власти нашли возможным оставить его до выздоровления на поруках у фон Зеемана и разрешили взять белье и платье из его квартиры, что Антон Антонович и исполнил.

Таким образом, отбытие наказания и самый арест Василия Васильевича были отсрочены на неопределенное время, но в случае его выздоровления на Антоне Антоновиче лежала тяжелая обязанность представить его куда следует.

Фон Зееман, конечно, сообщил все подробности своих визитов и хлопот за Хрущева своим домашним и друзьям, и все единогласно одобрили его действия и питали лишь надежду, что наказание молодому человеку будет назначено сравнительно с другими его сообщниками более легкое.

Избавить его от этого наказания никому и не приходило в голову — его преступление было из таких, которые вопиют о наказании.

Одна Наталья Федоровна не соглашалась со своими друзьями, что было большою редкостью, и находила, что несчастный достаточно наказан. Она не умом, а скорее сердцем поняла те нечеловеческие страдания раскаяния, которые вынес Хрущев и которые привели его к жестокой нервной горячке.

Это было еще до дня счастливого перелома в болезни молодого человека.

С того дня, когда он очнулся и сказал несколько слов, выздоровление его пошло быстрее; через несколько дней он уже мог разговаривать, хотя и не долго, так как его это утомляло.

Наталья Федоровна с присущим ей умением и нежным тактом занимала его рассказами, не касаясь больных струн его сердца.

Больной всеми силами своей души привязался к своей спасительнице и с каким-то восторженно-молитвенным выражением глядел на ее все еще прекрасное, хотя уже сильно поблекшее лицо, сохранившее выражение почти девической непорочности и дышавшее неизмеримой добротой и тою высшей любовью к людям, которая озаряет лица каким-то почти неземным светом. Взгляд ее «святых» глаз проникал в его душу.

Эта душа невольно раскрылась и Василий Васильевич в течение нескольких дней исповедывался перед графиней Аракчеевой во всех совершенных ими преступлениях.

Слезы искреннего раскаяния то и дело крупными каплями лились из его глаз, но это не волновало его. От этих слез ему, казалось, делалось легче.

С мельчайшими подробностями рассказал он ей свою жизнь в Москве, свою любовь к Марье Валерьяновне Хвостовой, брат которой служил в военных поселениях графа Аракчеева и пропал без вести, дуэль с Зыбиным, бегство Хвостовой из родительского дома, свой приезд в Петербург и, наконец, роковое сознание участия в братоубийственном деле, охватившее его на Сенатской площади, его бегство и жизнь в полуразрушенной барке.

— Но каким образом вы попали к нашим воротам? — спросила взволнованная рассказом Наталья Федоровна. — Это перст Божий!

— Я и сам это думаю... Но зачем было меня спасать от смерти, я все равно погиб! — заметил он, после некоторой паузы, дрогнувшим голосом.

— Зачем погибать... Если Бог спас вас, то затем, конечно, чтобы вы искупили тяжкий грех свой перед Ним и Его помазанником.

— О, если бы мне дали эту возможность! — восторженно воскликнул Хрущев. — До последней капли крови я был бы весь всецело предан лишь моему государю и Отечеству.

— Как знать! Государь милостив и, главное, человек редкой, высокой души! — заметила Наталья Федоровна.

— Грех, в котором человек искренно раскается, не грех, отнимающий всякую надежду на спасение... — серьезно сказала графиня. — Помните слова писания: «Не праведных пришел я спасти, а грешных...»

Василий Васильевич недоверчиво покачал головой.

— А как звали этого Хвостова, который служил у моего мужа? — с видимым желанием переменить разговор, спросила Наталья Федоровна, заметив, что больной впал в зловещую задумчивость.

— Петр Валерьянович!

— За что же его постигла такая печальная участь?

Хрущев передал графине те сведения, которые Ольга Николаевна Хвостова получила в Новгороде и Грузии, во время своих безуспешных поисков канувшего, как ключ ко дну, сына.

— А-а-а!.. — протянула Наталья Федоровна.

В кабинет вошли Лидочка и Николай Павлович Зарудин. Разговор сделался общим.

Время шло.

Василий Васильевич Хрущев хотя медленно, но все-таки с каждым днем значительно поправлялся.

День, в который ему надобно будет явиться перед следственной комиссией, уже кончавшей дело об остальных преступниках, приближался.

Антон Антонович фон Зеeman, когда Хрущев уже почти окончательно окреп и даже стал ходить по кабинету, с полной откровенностью рассказал ему о своих хлопотах и о возложенной на него печальной обязанности представить его по выздоровлении по начальству.

Василий Васильевич принял это известие совершенно спокойно, горячо благодарил Антона Антоновича за участие и рассыпался в извинениях за причиненное беспокойство.

— Меня давит мое преступление, я и без того сам бы явился, чтобы понести наказание; мне кажется, что мне будет легче, хотя бы я был приговорен к смерти.

— Нет, этого не будет... Государь чрезвычайно милостив к осужденным... — стал было утешать Хрущева фон Зеeman.

Тот, казалось, не расслышал его.

— Хотя бы даже и был приговорен к смерти! — задумчиво повторил он, как бы взвешивая каждое слово.

Прошло уже около двух месяцев. Василий Васильевич окончательно оправился и уже выходил в другие комнаты.

Однажды к утреннему чаю Наталья Федоровна вышла одетая в дорожное платье, села к столу и начала наскоро пить чай, приказав своей горничной приготовить ей шляпку и перчатки.

— Лошади поданы? — спросила она, когда та принесла требуемое.

— Куда вы едете так рано? — спросил Антон Антонович.

— К мужу... к графу Аракчееву.

Фон Зеeman, Лидочка и Хрущев были поражены этим ответом. Графиня, не дожидаясь и как бы избегая их расспросов, вышла из-за стола, оделась и уехала.

XIII

ПРЕД СУДОМ САМОГО СЕБЯ

Граф Алексей Андреевич Аракчеев с конца ноября 1825 года, то есть с того времени, когда в Петербурге было получено известие о смерти императора Александра Павловича, находился почти безвыездно в Петербурге.

Это знал весь Петербург, и даже в придворных сферах подсмеивались, как быстро излечился он от тяжелого горя — потери своей любовницы, чуть узнав о смерти своего благодетеля-государя и почувствовал, что его власти приходит конец.

Немногие знали о своеобразном утешении его Клейнмихелем, сильно подействовавшем на «железного идеалиста», каким по натуре своей был, несомненно, граф Алексей Андреевич, и о ночной процессии ко гробу Минкиной.

Смешки, впрочем, оставались смешками, а во внутреннее «я» графа Аракчеева никто проникнуть не хотел; да если бы у кого и явилось подобное желание, то он едва ли сумел бы — Алексей Андреевич был загадкой даже для близких к нему людей, чем объясняются многие, почти легендарные рассказы о нем современников.

Его почти постоянное присутствие в Петербурге, его почти затворническая жизнь в доме на Литейной улице, совпавшая с временем, следовавшим за неожиданную катастрофой в Таганроге, далеко, вопреки злорадствующим намекам, не объяснялись страхом со стороны графа Аракчеева потери власти.

Такого страха, прежде всего, он не мог ощущать, так как хорошо сам знал себе цену как государственного деятеля, знал расположение к себе обоих великих князей Константина и Николая Павловичей — наследников русского престола, опустевшего за смертью Благословенного, и следовательно за положение свое у кормила власти не мог опасаться ни минуты.

Печальное происшествие 14 декабря, которое он своим зорким взглядом провидел в течение десятка лет и старался предупредить, уничтожив в корне «военное вольнодумство», как он называл укоренявшиеся в среду русского войска «идеи запада», но находя постоянный отпор в своем государе-друге, ученике Лагарпа, сделало то, что люди, резко осуждавшие систему строгостей «графа-солдата», прозрели и открыто перешли на его сторону. Звезда его, таким образом, перед своим, как мы знаем, случайным закатом, блестела еще ярче.

Наконец, настроение Алексея Андреевича после грузинской катастрофы и пережитых треволнений было далеко не из таких, чтобы он даже мог думать о власти. Последняя тяготила его, и он совершенно искренно не раз говорил своим приближенным, что его многосложные обязанности ему уже не по силам, что ему надо отдохнуть, удалиться от дел, и только любовь к своей родине не позволяет ему сделать этого.

— Цесаревич, великий князь Константин Павлович, мягок и добр по натуре, вспыльчив, но быстро отходчив, — говорил граф Аракчеев, — он сам всегда сознавался, что не создан для верховной власти, для тяжелой и ответственной службы русского государя, и это главная причина его отречения. Покойный мой благодетель сознавался не раз в том же самом, а потому и дорожил мною, моими советами, он знал хорошо цесаревича, и его заветною мечтою было передать престол Николаю Павловичу. «Вот сильный ум и мощная рука!» — говаривал он мне про него. Брат Николай, как и ты, воплощенная служба. Таков должен быть русский царь!

К великому князю Николаю Павловичу граф Алексей Андреевич относился с восторженным благоговением. Он казался ему идеалом русского самодержца. Хладнокровный, настойчивый, прямой в своих действиях, неуклонный в достижении своей цели — все эти качества великого князя приводили в восторг Алексея Андреевича.

«Жизнь есть служба! — любил повторять граф. — Великий князь Николай Павлович, — добавлял он по обыкновению, — совершенно разделяет мое мнение. Еще в молодости, после войны двенадцатого года, раз во время царскосельских маневров он сказал мне замечательные слова, которых я не забуду пока жив. Я записал их слово в слово и выучил наизусть, как катехизис».

В то время, когда войска шли в атаку мимо государя, а я стоял рядом с его высочеством, он вдруг обратился ко мне: «Знаешь ли, Алексей Андреевич, я говорю это тебе, так как знаю, что ты совершенно поймешь меня. Здесь, между солдатами, посреди этой деятельности, я чувствую себя совершенно счастливым. Здесь порядок строгий, решительная законность, нет умничания и противоречия, здесь все одно с другим сходится в совершенном согласии. Никто не отдает приказаний, пока сам не выучится повиноваться; никто без прав друг перед другом не возвышается, все подчинено определенной цели, все имеет значение, и тот самый человек, что сегодня делал государю по команде на караул, завтра идет на смерть за него. Здесь не помогает нелепое притворство, потому что всякий должен рано, или поздно показать, чего он стоит, ввиду опасности и смерти. Оттого-то мне так хорошо между этими людьми, и оттого у меня военное звание всегда будет в почете. В нем повсюду служба, и самый главный командир тоже несет службу. Вся жизнь человеческую я считаю ничем иным, как службою: всякий человек служит. Многие, правда, служат страстям своим, а солдат менее всего может служить страстям своим, даже наклонностям своим. Отчего на всех языках есть слово богослужение? Это не случайное явление, тут есть глубокий смысл. Человек должен весь, как есть, нести службу Богу, без лицемерия, без всяких условий. Если бы на свете каждый нес только ту службу, какая выпала ему на долю, всюду были бы тишина и порядок; и когда бы от меня зависело, подлинно, не было бы на свете никакого беспорядка, ни даже нетерпения. Посмотри, вон идет на смену караул: до обеда уже немного осталось, но еще не пришел час, и они идут не евши, и останутся на часах не евши, пока их не сменят. И ведь никто не жалуется. Служба! Так и я стану нести свою службу до самой своей смерти и не перестану заботиться о храбром солдате».

Слезы неподдельного восторга всегда катились из глаз графа Аракчеева, когда он повторял эти слова великого князя. Со вступлением его на престол, Алексей Андреевич видел возможность для себя удалиться от дел — судьба горячо любимого им отечества была, по его мнению, в надежных руках.

Но государь Николай Павлович, как мы знаем, ценил заслуги помощника своего покойного венценосного брата и далеко не имел желаний отпустить его на отдых.

Таким образом, слухи о боязни графа за власть были более чем преувеличены.

Он не возвращался надолго в Грузию даже после того, когда после 14 декабря спокойствие столицы было восстановлено и все вошло в свою обычную колею совершенно по другим причинам.

Не государственные работы удерживали его в Петербурге, а кропотливая и тяжелая работа над самим собою, над анализом собственного «я», которое было совершенно забыто графом в течение десятков лет в шумном водовороте службы государству.

Граф Аракчеев в тиши своего угрюмого, пустынного дома и не менее угрюмого и пустынного кабинета судил самого себя.

Суд этот был, как и его суд других, строгий, неумолимый!

Алексей Андреевич весь ушел в воспоминания прошлого, в воспоминания своей частной жизни, своих отношений к близким к нему людям.

На первом плане этих воспоминаний, конечно, стояла покойная Настасья Федоровна

Минкина.

Эта женщина, посвятившая ему более половины своей жизни, более четверти века бывшая около него в роли преданной собаки! Чем он платил ей за эту преданность! Он давал ей кров, поил, кормил, дарил ее, ласкал... но достаточно ли этого?

Над этим вопросом граф первый раз в жизни серьезно задумался.

«Я ласкал ее, — продолжал рассуждать сам с собой граф, — но только тогда, когда у меня было свободное время, было желание, разве я мог разделять страсть этой огненной по натуре женщины, не естественно ли, что она изменяла мне?»

Алексей Андреевич решил этот вопрос утвердительно.

«Она обманула меня своей беременностью, она, наконец, совершила целый ряд преступлений, — граф вспомнил подробный и искренний рассказ Семидалова, — но какая была цель этого обмана, этих преступлений?»

Он сам и отвечал на этот второй вопрос.

«Цель, несомненно, привязать меня сильнее к себе, скрыть от меня свои грехи, в которых большею частью виновата была ее природа, пылкая, страстная, дикая...»

Так решил граф Аракчеев и начал припоминать все мелкие заботы, которыми окружала его эта женщина, угадывавшая его желания по взгляду, по мановению его руки... Даже устранение с его пути Бахметьевой, устранение, несомненно, преступное, но явившееся единственным исходом, чтобы избежать громкого скандала, в его глазах явилось почти доблестным поступком Минкиной... Из любви к нему она не останавливалась перед преступлениями!..

Перед духовным взором Алексея Андреевича восстал образ убитой и изувеченной Настасьи Федоровны. Разве не из-за того, что она строго исполняла его волю и блюла образцовый порядок в Грузине, она стала жертвою разнузданности холопов?

Эта мысль окончательно примирила графа с памятью покойной — он во всем обвинял одного себя и с дрожью невыразимого отвращения припоминал ночную сцену надругания над единственным преданным ему существом — надругания, которого он был инициатором под первым впечатлением открытия, сделанного Клейнмихелем.

В тот день, когда граф пришел к такому выводу, он тотчас же сделал распоряжение возвратить в барский дом Таню, считавшуюся племянницей покойной Минкиной, сосланную им же сгоряча на скотный двор. Девочке шел в то время четырнадцатый год. В том же письме Алексей Андреевич приказал взять из кладовой и повесить портрет Настасьи Федоровны на прежнее место.

Покончив с вопросом об отношениях своих с Минкиной, граф мысленно перенесся ко времени своей женитьбы и кратковременной жизни с женой.

Алексей Андреевич припомнил свою встречу с Натальей Федоровной Хомутовой в павильоне Ritter-Spiel'я на Крестовском острове, припомнил ее миловидное, дышавшее невинностью личико, ее почти детскую, хрупкую фигурку.

— Связался черт с младенцем! — со злобой прошептал он уже вслух.

За что, на самом деле, погубил он жизнь молодой женщины? Из-за своего каприза, чем единственно можно было объяснить этот брак. Он, один он, виноват в том, что женился на ней, и в том, что она покинула его. За истекшие почти двадцать лет Алексей Андреевич имел

случай совершенно убедиться, что и живя с ним совместно, и во время долгой разлуки, графиня Аракчеева ничем и никогда не запятнала его чести, его имени. С омерзением вспомнил граф ту гнусную сплетню о Зарудине и его жене, пущенную его врагами и не подтвердившуюся ничем, и с еще большим чувством гадливости припомнилась ему сцена в Грузии, когда Бахметьева своим сорочьим языком — Алексей Андреевич и мысленно назвал его «сорочьим» — рассказала невиннейший девический роман Натальи Федоровны и, воспользовавшись появившимся у него, мнительного и раздраженного, подозрением, в ту же ночь отдалась ему.

При воспоминании об этой безнравственной девушке из хорошего дворянского рода, граф Аракчеев даже вздрогнул. Так гадко сделалось у него на душе.

Он, конечно, и не подозревал, что несчастная Екатерина Петровна была слепым орудием стоявшего за ее спиною негодяя, поработившего ее волю.

Он судил по фактам, а факты были против Бахметьевой.

И перед женой, этой второй, вызванной им в памяти, его обвинительницей, Алексей Андреевич оказался более чем неправым.

Этот-то продолжавшийся несколько месяцев процесс самоосуждения удерживал графа в Петербурге, в его доме, где он никого не принимал и откуда выезжал лишь по экстренным надобностям службы.

XIV

МУЖ И ЖЕНА

В то утро, когда графиня Наталья Федоровна Аракчеева решила сделать с ей одной известными целями, о которых Антон Антонович и Лидочка только догадывались, визит своему мужу, после восемнадцатилетней разлуки, в период которой у них не было даже мимолетной встречи, граф Алексей Андреевич находился в особенно сильном покаянном настроении.

Перед его духовным взором то и дело восставали не только те люди, которые были к нему близки, но даже и те, с которыми ему приходилось входить в те или другие продолжительные отношения. К числу последних припомнился графу и Петр Валерьянович Хвостов.

Он совершенно забыл о нем, иначе бы он давно уже облегчил его участь... Устранить его для пользы дела, дела великого — таковым считал граф Аракчеев созданные им военные поселения — было необходимо, но наказание через меру не было в правилах Алексея Андреевича.

Он быстро начал писать что-то на лежавшем перед ним листке для памяти.

Дверь кабинета бесшумно отворилась, и на пороге ее появился знакомый нам Петр Федорович Семидалов, бывший тогда дворецким петербургского дома графа.

Мягкою походкою он сделал несколько шагов и молча остановился в почтительном расстоянии от письменного стола, у которого сидел Алексей Андреевич.

Последний поднял голову и вопросительно-строгим взглядом оглядел вошедшего.

— Что надо?

— Ее сиятельство графиня Наталья Федоровна Аракчеева желают видеться с вашим сиятельством!

— Что...о...о! — вскочил граф со стула, но тотчас бессильно упал на него и задумался.

Громовый удар из ясного неба не поразил был его более, чем этот доклад.

Петр Федорович в почтительном молчании стоял в своей прежней позе, не нарушая, казалось, даже дыханием задумчивости своего господина.

— Где же... она? — упавшим слабым голосом спросил граф, после нескольких минут молчания.

Он потрянул головой, как бы отгоняя мрачные, навязчивые мысли.

— Ее сиятельство изволят дожидаться в приемной, — бесстрастно ответил Семидалов, ни одним мускулом своего лица не обнаружив, что он заметил и удивился далеко необычному волнению графа и еще более необычайной его слабости.

— Проси!

Петр Федорович так же беззвучно удалился, как вошел.

Алексей Андреевич по уходе Семидалова быстро встал из-за письменного стола, торопливо пододвинул к нему стул и нервною походкою стал ходить по кабинету.

«Зачем?.. После стольких лет... И именно теперь... Что ей надо?.. Ведь мы чужие... Зачем я принял ее?..» — мелькали в голове графа отрывочные мысли.

«Не надо принимать...» — мысленно решил он и уже дернул за сонетку, но оказалось было поздно.

Дверь отворилась и на ее пороге появилась графиня Наталья Федоровна.

Последняя пережила тоже далеко не легкие чувства по дороге к дому на Литейную и в те несколько минут, которые она провела в приемной своего мужа, дожидаясь результата доклада о ней графу.

Двадцатилетнего периода времени как бы не существовало: ее менее чем двухлетняя совместная жизнь с графом, казалось ей, окончилась только вчера. Так живо это далекое пережитое и выстраданное ею представилось ей перед моментом свидания с человеком, именем которого, окруженным частью удивлением и уважением, а частью злобною насмешкою и даже проклятиями, была полна вся Россия и который по закону считался ей мужем.

Она не видала его без малого восемнадцать лет.

«Восемнадцать лет — это целая жизнь! — проносилось в ее уме. — Да, несомненно, для нее это более, чем жизнь, это медленная смерть... Ее жизнь...» — Наталья Федоровна горько улыбнулась. Эта жизнь окончилась в тот день, когда она в кабинете своего покойного отца дала слово графу Алексею Андреевичу Аракчееву быть его женой, момент, который ей пришел на память, когда она поняла внутренний смысл бессвязного бреда больного Хрущева.

Проезжая по Исаакиевскому мосту, ей вспомнилась последняя семейная сцена с мужем в

карете — та последняя капля, которая переполнила чашу ее человеческого долготерпения.

Воспоминания о первой встрече с Минкиной, образ коварной Кати Бахметьевой — живо восстали перед графиней, когда она подъехала к дому на Литейной и вошла в подъезд, охраняемый почетным караулом.

Этот мрачный дом, под кровом которого она провела не менее мрачный год своей жизни, когда она вошла в него, показался ей каким-то темным, тесным гробом.

Он давил ее, парализовал ее волю и за минуту твердая в своей решимости говорить с графом Алексеем Андреевичем и добиться от него исполнения ее желания, добиться в первый раз в жизни, она, оставшись одна в полутемной от пасмурного раннего петербургского утра, огромной приемной, вдруг струсила и даже была недалеко от позорного бегства, и лишь силою, казалось ей, исполнения христианского долга, слабая, трепещущая осталась и как-то не сразу поняла слова возвратившегося в приемную после доклада Семидалова, лаконично сказавшего ей:

— Его сиятельство вас просит!

Медленно, боязливо последовала она за Петром Федоровичем.

Он распахнул перед ней дверь кабинета.

Собрав все свои силы, Наталья Федоровна перешагнула порог этой роковой комнаты, в которой в продолжение стольких лет решалась бесповоротно участь стольких людей.

Жена очутилась лицом к лицу со своим мужем.

Граф Алексей Андреевич стоял у письменного стола, опершись на него обеими руками, в видимо деланной официальной позе.

Графиня Наталья Федоровна остановилась у порога и, чтобы не упасть, прислонилась на минуту к косяку двери.

Петр Федорович плотно затворил эту дверь, отрезав таким образом для графини отступление, о котором, к слову сказать, у нее снова мелькнула мысль.

Муж и жена несколько секунд, которые для них обоих показались вечностью, глядели друг на друга. Граф первый заметил более чем смущение Натальи Федоровны и подошел к ней.

— Чем могу служить? — необычным для него мягким тоном произнес Алексей Андреевич.

В этом тоне звучала почти нежность.

Наталья Федоровна бросила на него благодарный взгляд и почти твердой походкой приблизилась к стулу около письменного стола и села.

Граф тоже сел на свое обычное место.

— Вас, граф, вероятно, немало удивило мое неожиданное посещение после стольких лет разлуки? — начала Наталья Федоровна после некоторого молчания под вопросительным, но далеко не суровым взглядом Алексея Андреевича. — Я надеялась, что именно эта разлука сделала то, что я могу спокойно явиться перед вами в роли просительницы и моя просьба будет вами исполнена, хотя бы в воспоминание тех немногих дней — они несомненно были — когда вы любили меня... То обстоятельство, что мы с вами не встречались восемнадцать лет, вы не могли, в силу вашей справедливости, приписать тому, что я умышленно избегала вас, скрывалась от вас, как женщина с нечистой совестью, нет, видит Бог, что как двадцать

лет тому назад, когда мы приехали в этот день из церкви мужем и женой, так и теперь, я могу прямо смотреть вам в глаза — на совести и на репутации графини Аракчеевой не лежит ни одной темной полоски...

— Я не сомневаюсь в этом, к чему эти разговоры... — перебил почти шепотом граф. — Говорите, что вам угодно, я исполню все, что только в силах... что могу...

Алексей Андреевич сидел с опущенным взглядом. Тени внутреннего страдания бежали по его лицу.

Это состояние мужа не ускользнуло от графини. Ей стало жалко его, она поняла то внутреннее чувство, которое царило в эту минуту в ее сердце. Ей страстно захотелось чем-нибудь утешить его.

— Прежде, нежели я перейду к той просьбе, которая заставила меня решиться потревожить вас, я не могу, граф, не сказать несколько слов о том внутреннем переломе, который произошел в моем внутреннем «я» за эти долгие годы. Вы вправе, вспоминая прошлое, считать меня не только покинувшей вас женою, но и человеком, передавшимся партии ваших врагов... В этом-то заблуждении мне и не хочется вас оставить... Не подумайте, что я говорю это, чтобы склонить вас к исполнению моей просьбы, с этой стороны вы хорошо меня знаете, лезть не в моем характере... То, что я скажу вам сейчас, я скажу не как ваша жена, не как просительница, а как русская женщина, любящая свое Отечество, и мое мнение разделяется всеми истинно русскими людьми... Существует русская пословица: «Гром не грянет, мужик не перекрестится», — эта пословица всецело подходит к более благоразумной части ваших врагов... События последнего времени показали, что ваша прошлая деятельность, в связи с настоящею рыцарскою доблестью нашего государя, сделали то, что дуновение вихря политических страстей было остановлено в самом начале преданной армией, вы подготовили — государь довершил спасение спокойствия Империи... Это сознали многие, а вместе с ними и я...

Граф болезненно улыбнулся и низко опустил голову.

— Простите, что я задерживаю вас, но я должна была сказать вам это, я хотела сказать, я ношу ваше имя, и мне приятно заявить вам, что с недавнего времени я стала гордиться этим именем, как русская, верноподданная моего царя. Теперь перехожу к просьбе... не к одной даже, а к двум...

— Я слушаю... повторяю... что в силах... что могу... — вставил Алексей Андреевич, подняв голову.

— Вы все можете... Государь ценит вас и знает, что вы не будете ходатайствовать без серьезной уважительной причины, он выслушает, а этого довольно — я убеждена, что моя просьба будет исполнена...

Наталья Федоровна перевела дух. Она спешила и волновалась.

Ей, видимо, стоило большого труда снова перейти на спокойный тон.

— Другая же просьба зависит всецело от вас...

Граф молчал.

Наталья Федоровна подробно рассказала ему всю историю Василия Васильевича Хрущева, причину его перехода в Петербург, увлечение политическим заговором, раскаяние, жизнь в барке и, наконец, болезнь...

С каким-то почти вдохновенным красноречием она описала нравственные и физические

страдания молодого, сошедшего с прямого пути безумца.

— Выхлопочите ему помилование у государя, пошлите его на Кавказ, или переведите к себе в военные поселения... Он достаточно наказан и горит искренним желанием искупить свою тяжелую вину перед царем и отечеством... Председательствуя за него, вы не покривите душою и сделаете доброе, христианское дело...

Она остановилась.

Алексей Андреевич по-прежнему молчал, но по его лицу графиня заметила, что она произвела впечатление.

— Другая просьба касается двоюродного брата Хрущева, Петра Валерьяновича Хвостова...

— Хвостова... знаю, знаю... сегодня будет сделано распоряжение об увольнении его в отставку с чином полковника, мундиром и пенсией... — торопливо прервал ее граф. — О Хрущеве я похлопочу... сделаю все, что в силах... но не решаюсь обещать... воля государя...

Алексей Андреевич встал, как бы давая знать, что аудиенция кончена.

— Благодарю вас... — с чувством сказала графиня, тоже поднявшись со стула и невольным движением протянула ему руку.

Алексей Андреевич почтительно поцеловал эту руку и также почтительно проводил до двери свою жену-просительницу.

XV

ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

Сильное и глубокое впечатление оставило у графа Алексея Андреевича свидание с женой.

Впервые он воочию убедился в нравственной силе и даже политическом смысле русской женщины и преклонился перед этим дивным образом, воплотившимся, казалось, всецело в графине Наталье Федоровне.

Тронул графа и рассказ ее о молодом Хрущеве, в безыскусственности изложения получивший еще большую силу.

Исполнение просьбы жены — граф внутренне решил это — его священная обязанность, тем более, что просьба в глазах графа была более чем основательна, — разумная милость не уничтожила благодетельных последствий разумной строгости.

Алексей Андреевич решил тотчас ехать к государю. Он встал из-за стола и уже протянул руку к звонку, как вдруг опустил руку, сел за стол и задумался.

Хотя государь Николай Павлович был, несомненно, расположен к нему, хотя он был любимцем императрицы Марии Федоровны, знавшей, как привязан был к нему ее покойный сын, но все же граф Аракчеев хорошо понимал, что ему теперь придется разделить влияние на ход государственных дел с новыми, близкими государю людьми, людьми другой школы, другого направления, которые не простят ему его прежнего могущества, с которыми ему придется вести борьбу, и еще неизвестно, на чью сторону станет государь.

Невольно перед духовным взором графа восстал незабвенный для него, как и для всей России, образ государя Александра Павловича — ехать к нему с просьбой, подобной настоящей, с покаянием по делу Хвостова, было бы легче — он не задумался бы ни на минуту.

Вспомнились графу недавние торжественно страшные дни, произведшие не на него одного глубокое впечатление, а на всю Россию — время продолжительного печального кортежа с прахом усопшего императора от Таганрога до Петербурга.

Расскажем, кстати, о подробностях этого небывалого в русской истории печального кортежа, прошедшего почти всю Россию. Начальником кортежа был назначен государыней Елизаветой Алексеевной граф Василий Васильевич Орлов-Денисов.

Порядок шествия во всю дорогу был следующий:

- 1) Исправник или заседатель уезда в санях, и за ними 6 сотских верхами в черных кафтанах.
- 2) 2 эскадрона кавалерии, при бригадном генерале, ехавшем всю дорогу верхом.
- 3) Коляска с духовным протоиереем отцом Федотом, держащим икону, и камердинером Анисимовым с серебряным ковчегом.
- 4) Колесница в 8 лошадей под траурными попонами, ведомых уланами. Кучером был постоянно Илья Бойков. На крыльях стояли по каждую сторону по одному дежурному флигель-адъютанту. Подле колесницы верховые ординарцы и бригадные командиры верхом.
- 5) Коляска графа Орлова-Денисова.
- 6) Коляска полковника Соломки.
- 7) Эскадрон гвардии.

В каждой епархии на границе встречал архиерей с духовенством того уезда и сменял духовенство предшествовавшей губернии с отпением панихиды. При приезде тела на станцию, гроб вносили в церковь, и архиерей служил панихиду; на другой день была утренняя и архиерейская обедня. Духовенство с архиереем ехало впереди до первой стоящей на дороге церкви, где, не снимая гроба с колесницы, служили литию; на станции архиерей встречал шествие, и вносили гроб в церковь тем же порядком. При гробе на ночь оставались два флигель-адъютанта и дежурные караула. На границе каждой губернии останавливались в поле, и губернатор с адъютантством одной губернии передавал церемониал губернатору другой, который и провожал его через свою.

В городах войска выстраивались шпалерами, и где была артиллерия, во время следования процессии производилась пальба. Дворянство, купечество, мещанство и цехи с значками шли попарно; в колеснице народ обыкновенно отпрягал лошадей и вез на себе.

До 10 часов позволялось всем прикладываться и служить панихиды, а после церковь запиралась и оставались при теле дежурные и священники. Золотую корону носил обыкновенно во время процессии князь Николай Григорьевич Волконский с двумя ассистентами из дворян; ордена несли дворяне, также при ассистентах, все в траурных мантиях и шляпах.

Припомнилось графу Алексею Андреевичу, как он мысленно с тяжелой безысходною грустью переживал этот кортеж, чувствовал приближение к столице дорогого ему, как и всей России, праха незабвенного государя.

Особенно горькое чувство шевельнулось в его душе при воспоминании о ближайшем

времени, когда при въезде в Новгород команду над процессией принял по высочайшему повелению он сам.

23 февраля, утром, у заставы встретил он тело. Граф был со всем своим штатом. Кортёж был растянут на большое пространство, и чтобы передовые тронулись, были даваемы знаки ракетой. У каждой церкви по улицам служили литии; тут также для остановки передовых и для продолжения хода пускали ракеты. Катафалк в Софийском соборе был отлично устроен Стасовым. Алексей Андреевич несколько дней вперед сам делал репетиции монахам, чиновникам и солдатам, как подходить к гробу и прикладываться. При выступлении из города он хотел стать на колесницу, но флигель-адъютанты не допустили его.

С тяжестью в сердце вспомнил он и теперь это непривычное для него препирательство у дорогого ему праха.

Граф сел на дроги в головах у тела.

Перед Ижорой, в селе Бабине, а прежде того в Клину, вскрывали гроб и осматривали тело, которое найдено в порядке.

Императрица Мария Федоровна выехала навстречу в Тосну.

28 февраля шествие прибыло в Царское Село. Государь Николай Павлович, великий князь Михаил, принц Прусский и принц Оранский выехали навстречу за пять верст.

Государь бросился на гроб и долго обнимал его, потом пешком проводил до дворца.

Флигель-адъютанты окружали гроб, а за государем и принцами шли: генерал-майор князь Никита Волконский, Н. И. Шениг и он, граф Аракчеев.

Тело до 6 марта простояло в дворцовой церкви, затем перевезено было в Чесьму, а на другой день в Казанский собор, откуда через четыре дня в Петропавловскую крепость.

Это было 12 марта 1826 года.

«Так недавно... — мелькнуло в голове Алексея Андреевича. — Всего менее двух недель — сегодня 24 марта... Если бы он был жив — он не опасался бы, как теперь, за исполнение его просьбы государем...»

Граф позвонил и приказал подать себе парадную форму.

Графиня Наталья Федоровна вышла из кабинета мужа, а затем и из дома и села в экипаж тоже не без внутреннего волнения — последствия свиданья ее с мужем — но волнение это было скорее радостное.

Она почувствовала свою нравственную победу над мужем, а для идеалистки Аракчеевой это было почти удовлетворением за все пережитое и выстраданное.

Это пережитое и выстраданное не было, таким образом, по ее мнению, бесплодным — оно дало всход даже в душе железного графа, не говоря уже о других.

Наталья Федоровна «по-своему» торжествовала. Мы умышленно подчеркнули слово по-своему, так как в этом торжестве не было и намек на удовлетворенное тщеславие, на эгоизм. Это торжество, как и все действия, поступки и даже мысли Натальи Федоровны были торжеством, радостью исключительно за других, а не за себя.

Графине думалось, что граф, в душе которого она успела тронуть им самим забытые струны любви к ближнему, сам найдет в их гармонических звуках себе утешение в далеко невеселой,

одинокой своей жизни.

Радовалась графиня и малейшему отсутствию сомнения, что Алексей Андреевич исполнит ее просьбу относительно Хрущева и Хвостова и будет ходатайствовать за первого у государя. В благополучном результате такого ходатайства она тоже не сомневалась.

Ей вспомнился рассказ Василия Васильевича о несчастной матери — Ольге Николаевне Хвостовой, лишившейся своих обоих детей. Она живо вообразила себе ту радость при встрече с сыном, которая наполнит сердце старушки, разделяла заранее с нею эту радость.

К Василию Васильевичу Хрущеву графиня чувствовала почти материнскую нежность. Перспектива его участи холодила ее сердце. Она сама бы не подала голоса за его безнаказанность — он совершил преступление и должен понести соответствующую кару, но эта кара не должна была, по ее мнению, лишить его возможности на деле доказать боготворимому им теперь царю свое чистосердечное раскаяние в участии в гнусном злодействе.

Разжалование в солдаты и ссылка на Кавказ с правом выслужиться — казалось ей именно тем соответствующим наказанием для вовлеченного в преступление другими несчастного юноши, павшего так низко от безнадежной любви, не разделенной страсти к девушке, — страсти, которую он хотел заглушить, окунувшись в омут страстей политических.

Таковы были мысли Натальи Федоровны по дороге от Литейной до 6 линии Васильевского острова.

Дома ее встретили, конечно, расспросами.

Она подробно рассказала о своем свидании и о данном им ей обещании.

Прошло несколько дней.

Антон Антонович представил совершенно выздоровевшего Хрущева в следственную комиссию и для обитателей коричневого домика потянулись дни томительной неизвестности о судьбе Василия Васильевича.

Граф Аракчеев не подавал также вести.

Наконец, через три недели узнали, что Василий Васильевич Хрущев, разжалованный в рядовые, отправлен в полк, находящийся в Грузии.

Вскоре было получено от него письмо, полное благодарностей и надежд на возможность загладить свой грех, как продолжал он называть свое преступление — перед царем и Отечеством.

Почти одновременно с этим получено было Натальей Федоровной от графа Алексея Андреевича лаконичное письмо, в котором он уведомлял ее, что ему удалось исполнить ее просьбу относительно ее протезе. «Полковник Хвостов уехал в Москву», — стояла не менее лаконичная приписка.

XVI

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Невдалеке от дома Ольги Николаевны Хвостовой, на том же Сивцевом Вражке, жила издавна известная почти всей Москве того времени одинокая старая дева Ираида Степановна Погорелова, всегда окруженная толпой разношерстных приживалок.

В тот год, когда в доме Хвостовой произошло известное читателям кровавое романическое происшествие, Ираиде Степановне было далеко более шестидесяти лет.

Дом ее был небольшой, старинный, построенный на дубовых подклетьях. Подклетьями назывались деревья в естественном виде, с обрубленными только сучьями и вершинами, но нисколько не тесанные и не отделанные, сложенные на поверхности земли клетками, одно на другое, в вышину от земли на сажень, что заменяло фундамент. Естественно, что таким образом сооруженные дома, имея такое под накатом свободное движение воздуха, переживали столетия.

Дома такого типа и до сих пор, хотя очень редко, как остаток седой старины, встречаются в Белокаменной столице.

К одному из углов переднего фасада дома было пристроено крыльцо с сенями и с лестницей, ступеней в пятнадцать, над которым спускался далеко выдававшийся вперед тесовый навес. Тесовая крыша дома, с большим слуховым окном, круто и высоко поднималась над домиком.

Кругом дома был расположен просторный двор, поросший летом травой и кругом обнесенный службами, то есть амбарами, погребами, кухней, избами для дворовых и разного рода клетушками. К одной стороне двора примыкал сад.

Весь дом состоял из комнат, очень просторных, деливших его на восемь равных частей. Из сеней входили в переднюю или лакейскую, там зал, далее гостиная. Из гостиной дверь вела в спальню, из спальни в девичью, с выходом на заднее крыльцо, другая дверь из гостиной вела в две боковые комнаты, занятые «благородными», как называла Ираида Степановна своих приживалок. В восьмую комнату дверь была из лакейской и ее занимал Карп Карпович, крепостной человек Погореловой и ее главный управляющий.

В холодные зимы приятным теплом охватывало всякого, кто входил в переднюю, но еще теплее было в спальне Ираиды Степановны, где обыкновенно она сидела по целым дням, одетая почти всегда в ситцевом капоте на вате, с ост-индским клетчатый платком на плечах и таким же платком на голове.

Сидела она на диване, что-то в роде турецкого, но довольно жестком, обитом самым простым полосатым тиком, стоявшем возле лежанки из старинных изразцов, на которой стояли бутылки с закисавшим уксусом домашнего приготовления. Перед старушкой стоял круглый дубовый стол без полировки и лака, на белых кленового дерева ножках самой простой работы. На столе лежала серебряная с чернью табакерка и носовой ост-индский платок такого же качества, как на голове и на плечах. На стене, с одной стороны дивана, висели на гвозде большие карманные серебряные часы-луковица.

Кровать Ираиды Степановны стояла у противоположной лежанке стены; несколько отступя от нее, над кроватью высоко поднимался ситцевый, подбитый крупными узорами пестрый полог, утверждаемый на четырех столбах, с подбором в виде широкой оборки наверху. Под всеми четырьмя точеными ножками старинной кровати подставлены были жестяные тарелки с водой. Мера эта была принята от клопов, чтобы они не могли по ножкам вползть на ложе. Другой небольшой столик, старинного красного дерева комод с откидной крышкой, или, лучше сказать, с конторкой и десятка два разной величины образов, в серебряных вызолоченных ризах и без риз, с теплившейся перед ними висячей лампадкой в углу, да несколько кресел, довершали все убранство спальни.

Зала и гостиная меблированы были старинною тяжеловесною мебелью красного дерева,

зеркалами в таких же рамах и лампами в углах на высоких подставках.

Ираида Степановна была высокого роста, сухого сложения, лицо ее было продолговато, но не сухощаво, ее небольшие карие глаза выражали природное добродушие.

Жизнь она вела пунктуально регулярную. Вставала рано, часов в семь утра, пила чай и покопошившись в своем комодике или в сундуках, садилась на свой диван.

Карп Карпович, управляющий Ираиды Степановны, был высокого роста, имел большой, довольно красный нос, седые волосы и небольшие серые умные глаза, ходил солидною поступью, говорил плавно и авторитетно, и вообще, вся наружность его была благовидна. Одевался он в сюртук серого сукна, всегда опрятно, и высокие сапоги носил поверх панталон. Обращение его с Ираидой Степановной было почтительное, но с примесью некоторой фамильярности, или, лучше сказать, уверенности, что она без него обойтись не может. Все дворовые и крестьяне чтили его как барина. Впрочем, доверия своей барыне он во зло не употреблял и вел хозяйство исправно, часто отъезжал в принадлежавшую Погореловой тамбовскую вотчину. Крестьянам и дворовым и в вотчине, и в Москве, всем было хорошо, все жили, что называется, как у Христа за пазухой.

В половине двенадцатого часа Ираида Степановна смотрела на часы, кликала девку и приказывала идти к повару сказать, чтобы припускал жаркое. В 12 часов обедали, в 5 часов кушали чай, в 8 часов ужинали.

В полдень Карп Карпович сам приходил не то что доложить, что кушать подано, а просил пожаловать в зал кушать.

В зал выходила Ираида Степановна, собирались все ее «благородные» и садились за стол.

Карп Карпович, продев в петлю борта своего сюртука салфетку, сам подавал кушанье с достоинством, не как официант, или лакей, а как радушный хозяин. Разнеся блюдо и отдав его буфетчику, он становился к окну и прислонившись к стоявшему у стены столу, заложив нога на ногу и сложив руки, разговаривал с Ираидой Степановной о новостях, о соседях, о ближайших видах на урожай в имени, или шутил с «благородными», но всегда в меру и с достоинством.

Карп Карпович был грамотный. С малолетства жил всегда при господах и при отце Погореловой состоял в должности земского. Кроме книг священного писания, он читал много книг и светских, какие, разумеется, попадались под руку. По большей части это были романы иностранных писателей в плохих переводах, которыми тогда была наводнена русская книжная торговля.

Одним словом, Карп Карпович в умственном развитии, в умении держать себя и в обращении с выше и ниже себя поставленными ничуть не отличался от тогдашнего общества дворян средней руки.

Такие личности, как он, могли быть только завещаны нам прошедшим столетием, когда умственное образование для большинства самих дворян заключалось только в грамотности; естественно, что всякий дворовый мальчик, который готовился для домашнего письмоводства, живший постоянно в барском доме, в умственном и нравственном развитии шел в уровень с детьми своих господ. Как для тех, так и для других учителями были, если не старый длиннополый земский, то приходский дьячок.

Каждую зиму из тамбовской вотчины Погореловой приезжал в Москву староста и кроме денежного дохода привозил свинину, откормленную всякую домашнюю птицу, масло, пшено, крупу и все это в большом количестве. Разумеется, все это поедалось Ираидой Степановной с «благородными» и ее московскою дворнею, отчего все окружавшее ее было довольно,

весело, счастливо, каталось, как сыр в масле, и, несмотря на то, что по кончине «барыни» они должны были воспользоваться заранее написанными отпусковыми на волю, молили искренно Бога о продлении ее жизни.

Крестьяне тамбовской вотчины жили зажиточно. Староста Тит был очень умный и богатый мужик, но не без хитрости и плутовства проходил свое служение. Вместе с оброком он привозил приходо-расходные книги для проверки, которые велись подобным же, ему плутом, земским Степаном.

Карп Карпович просматривал книги, и хотя по книгам все, отчеты были верны, исправно подведены итоги и всякие концы; плутней были припрятаны, но всегда находилось что-нибудь, дабы придраться к старосте с тем, чтобы его посечь. Тит, выезжая еще из тамбовской вотчины, знал уже, что его посекут; но ведь на это барская воля. Барская же воля в этом случае основывалась не на уликах в плутовстве, а в убеждении, что староста Тит уже непременно плутует, а потому надобно его поучить на будущее время.

И вот, когда все отчеты сданы, привезенные запасы приняты и старосту надобно отпустить, перед отъездом его Ираида Степановна приказывала принести в лакейскую розог, выходила туда сама и в присутствии своем матерински учила Тита не плутовать.

Получив розог пятнадцать, Тит вставал, приводил в порядок свой костюм, потом подходил к своей старой барыне, низко кланяясь, целовал ей руку на прощание, благодаря при том, что его поучили.

Посекши Тита, Ираида Степановна возвращалась на свой диван у лежанки так же спокойно, ничуть не взволнованная, как пошла, и, посмотрев на часы, добродушно приказывала «припускать жаркое».

Среди благородных приживалок Ириады Степановны особенно выделялась одна дворянка, Зоя Никитишна Белоглазова, девушка лет тридцати с небольшим, но казавшаяся моложе, с великолепными золотистыми волосами и задумчиво печальным взглядом прекрасных глаз, порой блестящих злобным огоньком.

Интересна судьба этой девушки.

Ее привез года за два до времени, к которому относится наш рассказ, староста Тит вместе с живностью из тамбовской вотчины. По его рассказам, он нашел ее полузамерзшую на почтовом тракте, верстах в двадцати от Тамбова, и, усадив на одни из саней обоза, привез прямо к своей «старой барыне».

Этот подвиг человеколюбия не освободил Тита от ежегодного «ученья», но бездомную скиталицу Ираида Степановна приютила у себя и вскоре к ней привязалась, как к родной.

XVII

ПО НАСЛЕДСТВУ

Мы уже заметили, что Ираиду Степановну Погорелову знала вся Москва, дворянская, чиновная и даже купеческая, знала и любила.

Происходило это не потому, что она держала открытым свой дом, любила гостей и сама была отзывчива на приглашения. Напротив, Погорелова жила очень уединенно, была домоседкой и кроме церковных служб по воскресным и праздничным дням, не посещала никого, а между

тем, со всех концов Москвы приезжали к ней, но приезжали поодиночке, хотя всегда встречали истинно русское хлебосольство.

«Фриштыки» Ираиды Степановны, как своеобразно называла завтрак Настасья Карповна, памятливы чуть ли не до сих пор старожилам первопрестольной столицы.

Они и без гостей, и при гостях происходили в девичьей. Там на большом белом липовом столе, накрытом простою, но ослепительной белизны скатертью, в изобилии подавались: творог с густыми сливками, пироги и ватрушки, ячницы разные, молочные, глазунья и прочее, молочная каша и тому подобное.

Не из-за хлебосольства и завтраков ездили к Ираиде Степановне — к ней ездили за пищей духовной, за утешением в неприятности, в горе, в несчастьи.

Никто лучше ее не умел утешить и подкрепить человека даже тогда, когда положение его казалось ему безвыходным. Ее спокойная, плавная речь действовала магически на расшатанные нервы, ее логические доводы были неотразимы, а ее практический ум всегда находил выход из неприятно сложившихся обстоятельств, выход такой простой и возможный, что люди, которым давала свои советы Погорелова, подчас долго ломали себе голову, почему такая простая мысль не появилась ранее у них. Они забывали, что отчаяние, в которое впадают слабые люди, парализует способность мышления.

Подчас Ираида Степановна давала и не одни советы и утешения — некоторые из обращавшихся к ней получали и нечто более существенное, для чего Погорелова открывала свою заветную «конторку».

Происходило это, впрочем, в редких, исключительных случаях. Нельзя было сказать, чтобы Ираида Степановна была скупа, нет, она была только рассудительно бережлива.

У нее был племянник — сын ее покойной любимой сестры, которого она считала своим прямым и единственным наследником, каким он был и по закону, а потому и берегла копейку, считая ее не своей, а «Аркаши», как она звала Аркадия Петровича Савина, оставшегося в детстве сиротой после одного за другим умерших родителей и когда-то воспитывавшегося в московском корпусе, и воскресные и праздничные дни проводившего у Ираиды Степановны, боготворившей мальчика. Рассудительность Погореловой взяла верх даже над этой привязанностью — она сама решила, что Аркаше надо «служить», в полном смысле этого слова, на Кавказе, а не баловаться в московских и петербургских гостиных. Она посылала ему деньги, но далеко не в обильном количестве.

«Умру — все его будет, для него и берегу. В зрелых годах он на деньги и смотреть иначе будет — они и принесут ему пользу, а мальчику много денег — одна погибель», — говаривала старушка.

Повторяем, она не была скупа, но рассудительно бережлива, а потому необходимо было, чтобы обстоятельства пришедших к ней за помощью были таковы, что эта помощь действительно могла принести существенную пользу, поднять пошатнувшегося человека на ноги, а не оказать лишь временную поддержку, отсрочить неизбежный конец.

В первом случае она давала, не стесняясь суммою, во втором она отказывала, порой даже в резкой форме.

— Знаешь, чай, батюшка, меня, — отвечала в тех случаях Ираида Степановна, если разговаривающий был мужчина, или же заменяя слово «батюшка» словом «матушка», если имела дело с собеседницей, — я милостыни не подаю, да ты, чай, и не возьмешь ее; милостыня — один вред, получил человек, истратил, и опять просить надо, а там повадится, попрошайкой сделается, от работы отобьется, лентяя да праздношатая хуже нет. Тебе дать

денег, все одно, что в окно швырнуть, а на это у меня их нет, да и деньги не мои — племянника... в них я отчет должна дать Богу.

— Да помогите уж, голубушка, Ираида Степановна, я поправлюсь, уж я знаю... — пробовал было возразить проситель, но Погорелова сурово останавливала его.

— Ничего ты не знаешь, я лучше тебя твои дела знаю... так ты мне зря не болтай, слушай.

За этим следовал какой-нибудь разумный совет.

Замечательно то, что Ираида Степановна никогда на самом деле не ошибалась ни в людях, ни в настоящем положении их дел, и поддержка, оказываемая ею, всегда приносила пользу и деньги возвращались ей с благодарностью, хотя на них не было никакого документа.

— На что мне твое «заемное письмо», с глазу на глаз даю, между нами Бог! — возражала Погорелова на предложение расписки.

И надо сказать, к чести того времени, что не одна Ираида Степановна практиковала такой способ кредита, и эти «божьи долги» никогда не пропадали.

Много дворянских семейств спаслись от разорения, много московских купеческих фирм пошло в гору с легкой руки Погореловой.

Слава об этой легкой руке гремела по Москве.

Близкая соседка Погореловой Ольга Николаевна Хвостова была ее давнишней и задушевной приятельницей. Не раз Ираида Степановна обращалась к ней за более крупными суммами, которых не имела в своем распоряжении, но которые были нужны для поддержки того или другого лица, могущего поправить свои дела при своевременной помощи, и никогда не встречала отказа. Возвращенные деньги Погорелова в тот же час отправляла к Хвостовой.

После несчастья с сыном Ольга Николаевна в доме Погореловой находила тот живительный бальзам утешения, который необходим был ей, гордой и не склонной к откровенной беседе с окружавшими ее домашними, не исключая и Агнии Павловны Хрущевой.

Свою душу открывала она одной Погореловой и раза два в неделю непременно «фриштыкала» у соседки и часа два проводила с ней в интимной беседе с глазу на глаз.

Что говорили они в это время — было тайною, но Ольга Николаевна выходила из дома Ираиды Степановны, как и другие, искавшие там утешения, с легким сердцем и спокойствием на душе.

После второго обрушившегося на Ольгу Николаевну несчастья — бегства ее любимой дочери, осиротевшая мать также нашла утешение в доме Погореловой, но уже у постели больной Ираиды Степановны.

Старушка слегла недели за две до кровавого происшествия в саду Хвостовой, слегла не вследствие какой-нибудь болезни, а вследствие ослабления всего организма.

Никакие доводы о необходимости немедленной помощи не могли убедить старушку послать за врачом, к помощи которого она не прибегала никогда в жизни, лечась только домашними средствами.

— И что, матушка, идти против Божьей воли — умереть определено, так умирать надо! — говорила она в ответ на предложение пригласить доктора.

Почувствовав себя плохо, она пригласила священника, исповедывалась и приобщилась

святых тайн, а затем выразила желание видеть Ольгу Николаевну Хвостову.

Домашние тотчас же послали за ней.

Она не замедлила явиться.

— Это вы... — сказала больная слабым голосом. — Я просила вас! Чувствую, что умираю.

— Полноте, что за мысли, еще как поправитесь... — пробовала утешить ее Хвостова.

— Нет, я знаю, поэтому и попросила вас; по завещанию я сделала, простите, без вашего согласия, вас полную распорядительницей моей воли... это так и должно быть, так как есть должники, которые должны не мне, а вам, вы давали деньги.

— Зачем об этом говорить.

— Как не говорить... дело прежде всего. Все оставляю племяннику Аркаше. Остальных тоже не забыла, все будут довольны. Об одном только хотела я переговорить с вами, если вы захотите исполнить волю умирающей.

— Исполню с благоговением, — отвечала Ольга Николаевна, под впечатлением серьезности тона просьбы.

— Есть у меня тут девушка Зоя, хорошая, честная девушка, оставила я ей по завещанию три тысячи рублей, но куда она денется, не знаю, очень меня беспокоит ее судьба. Ежели здесь останется, приедет племянник, человек молодой, а у ней много в глазах... этого... плотского... как я опасаюсь...

Старушка остановилась.

— Чего же вы хотите? — спросила Хвостова.

— Возьмите ее к себе, приютите, любимица она моя, так в воспоминание обо мне сделайте это доброе дело... девушка она хорошая... ласковая... вам будем в утешение, как и мне была.

Ираида Степановна видимо уставала и снова остановилась.

— Что ж, я с удовольствием, я теперь совсем одна, и если она хорошая девушка, то это мне будет, на самом деле, утешением.

— Именно утешением... — проговорила больная. — Зоя такая девушка, с которой и поговорить приятно. Одно не надо, спрашивать ее о прошлом, задумается и замолчит. Видно, тяжело, очень тяжело ее прошлое.

— Я приму это к сведению.

— Значит, вы исполните мою просьбу относительно Зои... тогда я умру спокойно.

— Конечно, но что за мысли... вы поправитесь и еще будете жить долгие годы.

— Нет, не утешайте... я скоро умру... — серьезным тоном возразила Погорелова.

Предчувствие ее сбылось... Через неделю ее не стало.

Ираида Степановна умерла тихо и лежала в гробу с той же добродушной улыбкой на устах, с которой встречала тех, которые нуждались в ее нравственном подкреплении.

Похороны, на которые покойная по завещанию оставила тысячу рублей, приказав из этой суммы оделить и нищих, были совершены с особенною помпою, тем более, что Ольга Николаевна ассигновала оставленную тысячу рублей исключительно на бедных города Москвы, а самые похороны устроила на свой счет, как душеприказчица.

Зоя Никитишна, по воле покойной и в силу любезного приглашения Ольги Николаевны Хвостовой, переехала к ней.

Обе они не знали, что в этом были только слепыми орудиями судьбы.

XVIII

МАНИФЕСТ 1823 ГОДА

Летом 1823 года, московский архиепископ, впоследствии митрополит Филарет, находясь в Петербурге для присутствования в синоде, просил временного увольнения в свою епархию.

Министр духовных дел князь Александр Николаевич Голицын объявил ему на это открыто Высочайшее соизволение и в то же время секретно Высочайшую волю исполнить, прежде отъезда, особое поручение государя.

Вслед за тем ему было передано подлинное письмо цесаревича великого князя Константина Павловича 1822 года и повелено написать проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича, с тем, чтобы акт этот, оставаясь в тайне, пока не настанет время привести его в исполнение, хранился в московском Успенском соборе с прочими царственными актами.

Мысль о тайне тотчас же родила в уме архиепископа Филарета вопрос: каким же образом при наступлении эпохи восшествия на престол, естественно имеющего совершиться в Петербурге, сообразить это действие с манифестом, хранящимся в Москве?

Он не скрыл своего недоумения от государя, и последний вследствие того соизволил, чтобы снимки с составленного акта хранились также и в Петербурге: в государственном совете, синоде и сенате, что и было включено в самый проект.

Вручив последний князю Голицыну, архиепископ Филарет, как уже уволенный в Москву, просил позволения откланяться и был допущен пред государем на Каменном острове и вместе с тем получил повеление дожидаться возвращения проекта для некоторых в нем поправок.

Филарет, заботясь о вверенной ему тайне, слышал, что продолжение пребывания его в Петербурге, после того, как всем уже было известно, что он уволен, возбуждает вопросы любопытства, просил позволения исполнить высочайшую волю при проезде через Царское село, где мог остановиться под видом посещения князя Голицына.

Так и сделалось.

Филарет нашел у князя возвращенный проект; некоторые слова и выражения были в нем подчеркнуты; стараясь угадывать, почему они не соответствовали мыслям государя, он заменил их другими.

Манифест, вышедший, таким образом, из-под пера архиепископа Филарета, был следующего содержания:

«Божьею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец всероссийский и прочее. Объявляем всем нашим верным подданным. С самого вступления нашего на всероссийский престол непрестанно мы чувствуем себя обязанными перед Вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благоденствие возлюбленного нами отечества и народа, но желая предуготовить и обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и точное указание преемника нашего сообразно с правами нашего императорского дома и с пользами империи, мы не могли, подобно предшественникам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно неведомым судьбам Божиим даровать нам наследника в прямой линии. Но чем далее протекают дни наши, тем более поспешаем мы поставить престол наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.

Между тем, как мы носили в сердце нашем сию священную заботу, возлюбленный брат наш, цесаревич и великий князь Константин Павлович, по собственному внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было тому, кому оно принадлежит после него. Он изъявил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании престола, поставленному нами в 1820 году, и им, поколико то до него касается, непринужденно и торжественно признанному.

Глубоко тронуты мы сею жертвою, которую наш возлюбленный брат, с таким забвением своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений нашего императорского дома и для непоколебимого спокойствия Всероссийской империи.

Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к нашему сердцу и столь важном для государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования престола, у имеющих на него право, не отъемлют свободы отрешить от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, — с согласия августейшей родительницы нашей, по дошедшему до нас наследственно верховному праву главы императорской фамилии, и по врученной нам от Бога самодержавной власти, мы определили: во-первых — свободному отречению первого брата нашего, цесаревича и великого князя Константина Павловича от права на всероссийский престол быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в московском Большой Успенском соборе и в трех высших правительственных местах Империи нашей: в святейшем синоде, государственном совете и правительствующем сенате; во-вторых — вследствие того, на точном основании акта о наследовании Престола, наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу.

После сего мы останемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет нас от сего временного царствия в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная воля наша и сие законное постановление наше, в надлежащее время, по распоряжению нашему, должно быть известно, принесут верноподданническую преданность свою назначенному нами наследственному императору единого, нераздельного Престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского. О нас же просим всех верноподданных наших, да они с тою же любовью, по которой мы, в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу Нашему Иисусу Христу о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в царствие Его вечное».

В том же году, 25 августа, император Александр Павлович прибыл в Москву и 27-го прислал архиепископу упомянутый манифест, подписанный в Царском Селе 16-м числом того же месяца.

Он был в запечатанном конверте, с собственноручною подписью государя: «Хранить в

Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».

На следующий день посетил архиепископа граф Алексей Андреевич Аракчеев и, осведомись, получены ли им известные бумаги, спросил, когда они внесутся в собор?

Филарет отвечал, что 29 числа, в повечерии дня тезоименитства государя, он будет лично совершать всенощное бдение в Успенском соборе и при вступлении в алтарь по чину службы, прежде ее начатия, воспользуется этим временем, чтобы положить запечатанный конверт в ковчег к прочим актам, не открывая, впрочем, никому, что это значит.

Мысль его была, чтобы, по крайней мере, те немногие, которые будут в алтаре, заметили, что к государственным актам приобщено что-то неизвестное и чтобы от этого остались, в случае кончины государя, некоторые догадки и побуждение вспомнить о ковчеге и обратиться к вопросу: нет ли в нем чего на этот случай?

Граф Алексей Андреевич ничего не ответил и вышел, но вскоре опять возвратился с отзывом, что государю не угодна ни малейшая огласка.

29 августа, когда в соборе были только протопресвитер, сакелларий и прокурор синодальной конторы с печатью, архиепископ вошел в алтарь, показал им печать, но не надпись принесенного конверта, положил его в ковчег, запер, запечатал и объявил всем трем свидетелям, к строгому исполнению, высочайшую волю, чтобы о совершившемся никому не было открываемо.

Он не сомневался, что существование манифеста, по крайней мере, известно князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, которому, в качестве московского военного генерал-губернатора, надписью на конверте поручалось вскрыть его в свое время, но не решился объяснить с князем по этому предмету, не имев на то полномочий.

Позже оказалось, что генерал-губернатору ничего не было сообщено и что о новом акте, положенном к прочим актам в Успенском соборе, он узнал только уже после кончины императора Александра Павловича от самого Филарета.

По подписании манифеста и положении подлинника в Успенском соборе, списки, с него написанные, как и подлинник рукою князя А. Н. Голицына, были посланы и оставлены в означенные в нем места, с собственноручными надписями государя, подобными той, которая была на конверте с подлинником.

Рассылка этих конвертов при переходах по канцеляриям не могла остаться без огласки, но одержание конвертов, где, по красноречивому выражению архиепископа Филарета, «как бы в гробе хранилась погребенная царская тайна, скрывавшая государственную жизнь», было известно только трем избранникам.

Публика, даже высшие сановники, ничего не знали, терялись в соображениях, в догадках, но не могли остановиться ни на чем верном.

Долго думали и говорили о загадочных конвертах; наконец, весть о них, покружась в городе, была постигнута общею участью: ею перестали заниматься.

Не знал о манифесте и тот, чья судьба им решалась. Тайна была сохранена в целости.

ПРИСЯГА В МОСКВЕ

Опасность болезни императора Александра Павловича огласилась и в древней первопрестольной столице.

27 ноября 1825 года — в тот день, когда Петербург уже присягал новому государю, в Москву прибыло известие несколько утешительное о состоянии здоровья Александра Павловича, но это был последний луч угасающей надежды.

28 числа вечером, к архиепископу Филарету пришел ко всенощной один из его знакомых и на вопрос: «Отчего он печален?» отвечал:

— Разве вы не знаете, уже с утра говорят, что мы лишились государя!

Когда Филарет опомнился от первого испуга, ему показалось странным, что его так долго оставляет в неведении московский военный генерал-губернатор, долженствовавший, по его мнению, знать всю важность открывающихся обстоятельств.

Утром 29-го он пригласил к себе одного из первых московских сановников, князя Сергея Михайловича Голицына и отправился с ним к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну.

Последний еще не имел никакого официального известия о кончине государя.

Архиепископ начал говорить ему о затруднительности настоящего положения дел:

— Цесаревич Константин в начале 1822 года написал к государю письмо о своем отречении от наследия престола; до половины 1823 года не было составлено о том государственного акта и последовавший, наконец, манифест о назначении на престол второго брата остался в глубокой тайне, которая была распространена и на самое хранение манифеста. Случится может, что цесаревич, не зная о нем и считая отречение свое не получившим окончательного утверждения, согласится на принятие престола, тогда Москва может получить из Варшавы манифест о воцарении Константина Павловича прежде манифеста из Петербурга о вступлении на престол Николая Павловича.

При этом разговоре обнаружилось, что генерал-губернатор не знал совершенно о существовании акта в Успенском соборе.

Он хотел было тотчас же идти в собор, чтобы удостовериться в существовании пакета, но архиепископ воспротивился этому, заявив, что из этого может возникнуть молва, какой нельзя предвидеть, и даже клевета, будто только теперь что-то подложено к государственным актам, или что положенное подменено.

Окончательно решили, в случае получения манифеста из Варшавы, не объявлять о нем и не приступать ни к какому действию, в ожидании манифеста из Петербурга, который укажет истинного монарха.

Вечером того же числа открылись еще большие затруднения. В Москву приехал Мантейфель, адъютант графа Милорадовича, присланный из Петербурга с частным письмом от графа к московскому военному генерал-губернатору до рассылки еще сенатского указа.

Граф Милорадович уведомлял князя Голицына, что в Петербурге совершена присяга императору Константину, что первым принес ее Николай Павлович и что неременная воля великого князя есть, чтобы она была принесена и в Москве, без вскрытия пакета, положенного в 1823 году для хранения в Успенском соборе.

При таком неожиданном известии генерал-губернатор счел необходимым узнать сперва мнение обер-прокурора общего собрания московских департаментов сената, князя Павла Павловича Гагарина, которого должность была тогда облечена особыми полномочиями.

— Присягая покойному государю, — отвечал Гагарин, — мы присягали вместе и тому наследнику, который назначен будет. Теперь мы не имеем ввиду никакого акта, которым он назначал себе наследника: следовательно, долг наш — обратиться к коренному закону 1797 года, а по этому закону, при беспотомственной кончине императора, престол переходит к старшему после него брату.

Кроме того, Гагарин предложил собрать утром следующего дня сенат, постановить в нем, в силу указанного закона, определение о присяге Константину Павловичу и тотчас же принести ее в Успенском соборе.

Архиепископ Филарет, к которому генерал-губернатор приехал после беседы с Гагариным и привез письмо Милорадовича, заметил, что это частное извещение не может, в деле такой государственной важности, быть принято за официальное.

Генерал-губернатор со своей стороны находил, что когда присяга принесена уже в Петербурге, то откладывать ее в Москве было бы неблагоприятно и, может быть, даже небезопасно для общественного спокойствия.

Филарет продолжал настаивать, что для государственной присяги в церкви необходим и акт государственный, без которого и без указа из синода духовному начальству неудобно на это решиться.

Тогда Голицын рассказал о своем свидании с Гагариным и о предположении созвать сенаторов в чрезвычайное собрание, добавив, что если сенат не решится ни на какое действие, то он, генерал-губернатор, думает привести к присяге, по крайней мере, губернаторских чиновников.

Архиепископ возразил, что такая мера будет не только далека от точности официальной, но неприлична, и даже может возбудить сомнение в народе, особенно, если не присягнет вместе и сенат.

Наконец, когда генерал-губернатор потребовал, чтобы присяга была совершена хотя в том случае, если сенат постановит о ней определение и оно будет прочитано в Успенском соборе, Филарет не нашел возможным отказать в этом и принять на свою ответственность последствия этого отказа.

Духовенство было вызвано в Успенский собор на молебен, обыкновенно совершаемый 30 ноября в честь святого Андрея Первозванного, а генерал-губернатор обещал о решении сената дать знать архиепископу в 11 часов утра в Чудов монастырь.

Утром, 30 числа, в 10 часов, сенаторы съехались по особым повесткам.

Курьера из Петербурга с официальным известием все еще не было.

Генерал-губернатор лично объявил собранию о содержании письма графа Милорадовича, а обер-прокурор предложил заготовленное заранее определение о принесении присяги императору Константину.

Один из сенаторов, Ртищев, начал было выражать некоторые сомнения.

Князь Голицын остановил его замечанием, что дело это не такого рода, по которому могло бы произойти разногласие.

Другой, князь Долгорукий, требовал предъявления подлинного письма Милорадовича, чему препятствовали, однако, разные конфиденциальные его подробности.

Сенаторы подписали определение и все вместе пошли в собор, а генерал-губернатор послал сказать об этом в Чудов монастырь.

Через несколько минут печальным благовестом в Успенский колокол дано было столице церковное извещение о преставлении императора.

Кремль кишел народом, между которым еще прежде разнеслась молва, что произошло нечто важное, и что для этого созвано чрезвычайное собрание сената.

В соборе князь Гагарин прочел во всеуслышание, при открытых царских дверях определение сената, и архиепископ Филарет, которому выпал странный жребий быть хранителем светильника, спрятанного под спудом, привел всех к присяге.

В тот же день, вскоре после принесения присяги, пришел из Петербурга указ сената от 27 ноября.

Этот указ, свидетельствуя, что распоряжения в одной столице согласовались со сделанными в другой, окончательно рассеял все сомнения, какие могли еще оставаться.

Около трех недель продолжалась в Москве полная уверенность, что на всероссийский престол вступил император Константин Павлович. Его именем давались все указы, его имя поминалось в церквах.

Только трое лиц: архиепископ Филарет, князь Голицын и князь Гагарин с минуты на минуту ждали новых важнейших известий из Петербурга, хорошо понимая, что такой акт первостепенной важности, как манифест 1823 года об изменении престолонаследия, не может остаться лежать в ковчеге Успенского собора.

Они и не ошиблись — он, действительно, увидал свет.

18 декабря было получено в Москве известие о вступлении на престол императора Николая Павловича и о происшествии 14 декабря. Того же числа подлинный манифест 1823 года с приложением к нему был вынут из ковчега, распечатан и всенародно прочитан в Успенском соборе.

Вторичная присяга совершилась в Москве с тем же благоговением, как и первая.

Москва, узнавшая во всех мельчайших подробностях перипетии неслыханной в летописях истории борьбы из-за отречения от власти, происходившей в течение этих дней в недрах царственной семьи, чисто русским сердцем оценила это самоотвержение и подчинение долгу двух великодушных братьев и каждому из них с сердечною готовностью и искренностью принесла пред алтарем свои верноподданнические чувства.

XX

В ДОМЕ ХВОСТОВОЙ

Несколько часов петербургских политических безумств, не нашедших себе ни малейшего отзвука в Москве, отразились лишь роковым образом на частной жизни некоторых московских домов, родственники которых, более или менее близкие, оказались замешанными в гнусном

злодействе.

К числу таких домов принадлежал и дом Ольги Николаевны Хвостовой, в котором, как мы знаем, жила Агния Павловна Хрущева — несчастная мать не менее несчастного сына.

Обеспечив щедростью своей троюродной сестры своего любимого сына, отправив его в Петербург в блестящий гвардейский полк, Агния Павловна была в совершенном восторге и ждала лишь известий об успехах своего Васи в обществе и по службе.

Через год-через два, думала она, он приедет в отпуск, окруженный ореолом петербуржца-гвардейца, и будет блистать в московских гостиных.

Так мечтала мать.

Василий Васильевич в неделю-две присылал ей длинные письма, которые вечером читались вслух в гостиной Ольги Николаевны торжествующей матерью.

В них молодой человек подробно описывал свои занятия, знакомства, развлечения петербургской жизни, и тон этих писем был умышленно таков, что в нем не звучала ни одна грустная нотка прошлого.

Это все более и более успокаивало Агнию Павловну, серьезно побаивавшуюся сначала, чтобы блажь к кузине, как она называла чувство сына к Марье Валерьяновне, не оставила бы на жизни и карьере ее любимца серьезный след.

— Видимо, выздоровел... совсем выздоровел... Слава Тебе, Господи! — шептала она про себя, ложась спать под впечатлением прочитанного письма из Петербурга.

При этих чтениях присутствовала и Зоя Никитишна, к которой, к слову сказать, Ольга Николаевна и Агния Павловна успели очень быстро и сильно привязаться. Она внесла относительную жизнь в осиротелый после отъезда молодого Хрущева дом Хвостовой.

Внимательно, но с какой-то непонятной для присутствующих грустью, слушала она петербургские вести, сообщаемые Василием Васильевичем, а однажды даже поразила Хрущеву и Хвостову истерическим припадком, прервавшим чтение одного из таких писем.

В этом письме Василий Васильевич описывал свое знакомство в доме фон Зеемана с Зарудиным, Кудриным и графиней Натальей Федоровной Аракчеевой.

Обе старушки были в страшном недоумении.

— И с чего это с ней случилось?.. Кажется, ничего не было особенного в письме?.. — соображали они.

Когда Зоя Никитишна успокоилась, они обе осторожно приступили к ней с вопросами.

— Вы знаете этих новых знакомых Васи? — спросила Агния Павловна.

— Каких знакомых? — как будто не сразу поняла Зоя.

— А вот этих, о которых он пишет.

— Нет... Как же я могу знать их... я ни разу не была в Петербурге, — спокойно ответила Белоглазова.

— Что же на тебя так повлияло?.. Из-за чего с тобой сделалось дурно? — задала вопрос Ольга Николаевна.

— Ей Богу, не знаю, ваше превосходительство... Простите, что испугала...

— Я не об этом... Я думала, что именно содержание письма... — смущенно, как бы начала оправдываться в высказанном подозрении Хвостова. — Может быть, Аракчеев... Он много сделал зла.

В глазах Ольги Николаевны блеснули слезы.

— Кто этот Аракчеев? — наивно спросила Зоя Никитишна.

— Ты не знаешь Аракчеева?

— Нет.

Наступил декабрь 1825 года.

От Василия Васильевича около месяца уже не было писем. Агния Павловна, писавшая сыну каждую неделю, а порой и чаще, ходила, как опущенная в воду.

— Заболел... умер... — то и дело твердила она Ольге Николаевне.

Та сначала успокаивала ее, но затем, когда молчание Хрущева сделалось на самом деле подозрительным, стала беспокоиться и сама.

Беспокойство увеличилось, когда до Москвы долетела весть о происшествии 14 декабря.

Семейства, сыновья или родственники которых служили в гвардии, заволновались и потянулись в генерал-губернаторский дом узнать о судьбе своих близких.

Агния Павловна до того растерялась, что отпустить ее справляться самой о сыне было невозможно, и Ольга Николаевна Хвостова лично поехала к князю Голицыну.

Последний, знавший хорошо ее покойного мужа, принял ее более чем любезно, внимательно выслушал и распорядился навести справку эстафетой.

— Через несколько дней вы получите, ваше превосходительство, самую точную справку... — отпустил он ее из своего кабинета.

Эти несколько дней для совершенно упавшей духом Агнии Павловны и Ольги Николаевны показались целой вечностью.

Наконец, генерал-губернаторский курьер привез Ольге Николаевне Хвостовой письмо, запечатанное траурной сургучной печатью с княжеским гербом.

Письмо было от генерал-губернатора.

Хрущева, Хвостова и Зоя Никитишна сидели в гостиной за работой.

Когда лакей подал на серебряном подносе так, казалось, давно ожидаемый пакет, то Ольга Николаевна и Агния Павловна боязливо переглянулись и побледнели, как полотно.

Им показалось, что ожидание известия легче того момента, когда оно уже получено, и вот сейчас... все кончено...

Дрожащими руками сломала Хвостова сургучную печать, вынула письмо и, надвинув очки, начала читать его про себя.

— Читай вслух! — простионала Агния Павловна.

Ольга Николаевна, погруженная в чтение, казалось, не слыхала этого крика наболевшего сердца матери.

Вдруг крупные слезы неудержимо посыпались из ее глаз.

— Что случилось... с ним?.. — снова с видимым усилием выкрикнула Хрущева.

Ольга Николаевна окончила чтение, бережно сложила письмо, положила его в конверт и, вынув носовой платок, вытерла слезы.

Агния Павловна сидела перед ней, как будто в столбняке, она поняла, что над ее головой должен разразиться удар, и, казалось, боялась шевельнуться под занесенной уже над ней десницей роковой судьбы.

Ольга Николаевна медленно встала с дивана и подошла к креслу, на котором продолжала сидеть, не шевелясь и глядя куда-то в пространство, Хрущева.

— Агния... приготовься... — положила ей Хвостова руки на плечи, — не надо отчаянием оскорблять... Провидение... Это страшный грех!..

— Он убит? — спросила беззвучно одними губами Хрущева.

— Да! — чуть слышно отвечала Ольга Николаевна.

Тяжелый вздох вырвался из груди матери. Она схватилась за сердце и откинулась на спинку кресла.

Наступило томительное молчание. Слышно было только тяжелое дыхание Агнии Павловны, сухими глазами смотревшей на Хвостову.

— Защищая царя? — после долгой паузы спросила она.

— Нет! — скорей угадала по губам, нежели услышала она ответ Хвостовой.

Из груди Хрущевой вырвался неистовый крик. Она как-то моментально вытянулась и сползла с кресла. Раскрытые полные ужаса глаза остановились.

В ней сказалась русская мать, для которой измена сына тяжелей его смерти.

Почти окоченевшую Агнию Павловну отнесли в ее спальню. Закаленная несчастьями, Ольга Николаевна не потерялась и распорядилась послать за доктором.

Явившийся Гофман заявил, что Хрущеву разбил паралич и что надежды нет.

— Конечно... все кончено... она без ум и без язык...

— Умрет? — спросила Хвостова.

— Не теперь... недель... другой... — отвечал Карл Карлович.

Доктор ошибся только на неделю. Три недели Агния Павловна пролежала полумертвая, без языка, не приходя в сознание, и, наконец, умерла после глухой исповеди и причастия.

Все три недели, почти бессменно, дни и ночи ходила за ней Зоя Никитишна.

Такое самоотверженное человеколюбие девушки заставило Ольгу Николаевну еще более привязаться к ней — она полюбила ее, как родную дочь.

После похорон Хрущевой, тело которой опустили в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Девичьего монастыря, в доме Ольги Николаевны стало еще пустыннее, еще сиротливее.

Прошло более двух месяцев со дня смерти Агнии Павловны, когда на ее имя было получено письмо.

Ольга Николаевна была поражена, узнав руку Василия Васильевича, за упокой души которого она не раз уже служила панихиды.

В письме к матери он каялся в своем преступлении и писал, что надеется тяжелою солдатскою службою загладить свой грех и беззаветной преданностью царю и отечеству доказать свое искреннее бесповоротное исправление.

Дня через два после этого письма прислано было на имя Хвостовой от князя Голицына письмо, в котором излагалась точная справка о судьбе корнета гвардии Василия Васильевича Хрущева.

«Поздно... — пронеслось в голове Хвостовой. — Впрочем, она умерла не от известия о смерти сына, а от известия о его преступлении... Она там будет молиться за него и Господь по молитве матери даст ему силу совершить подвиг исправления до конца...»

Василий Васильевич в том же письме восторженно описывал графиню Наталью Федоровну Аракчееву, ее участие во время его болезни, ее хлопоты за него перед ее всесильным мужем и просил мать молиться за нее.

Ольга Николаевна тотчас же записала в свое поминание в отделе «о здравии» имя «Наталия».

Она рассказала содержание письма Зое Никитишне и, рассказывая о доброте графини Аракчеевой, случайно посмотрела на Белоглазову.

Лицо последней исказилось такой болезненной злобой, что Хвостова прервала свою речь на полуслове.

— Что с тобой опять, Зоя? — не выдержала старуха.

— Ничего... у меня изжога... не знаю с чего... — ответила та, закрыв лицо руками.

Когда она опустила руки, выражение, поразившее Ольгу Николаевну, исчезло.

На дворе стоял великий пост — объяснение было вероятно, но Хвостова все-таки сомнительно покачала головой.

«Она знает ее... Она лжет, что не была в Петербурге! — пронеслось в ее голове. — Тут какая-то тайна!»

«Что мне за дело до чужой тайны?» — остановила самое себя Ольга Николаевна.

В тот же вечер она написала Василию Васильевичу письмо, полное нежных утешений, скрыв от него, что причиной смерти его матери было полученное известие о его преступлении.

Жизнь в доме Хвостовой после этих эпизодов снова вошла в свою обычную печальную колею.

Злой рок, казалось, утомился сыпать удары на голову многострадальной Хвостовой.

Прошло несколько дней.

Курьер генерал-губернатора снова появился в доме Ольги Николаевны с письмом от князя Дмитрия Владимировича Голицына.

На этот раз курьер привез неожиданную радость.

Князь писал, что по полученным им известиям, Петр Валерьянович Хвостов, награжденный чином полковника, уволен в отставку с мундиром, пенсионом и уже выехал из Петербурга. При письме была приложена копия с высочайшего приказа.

В тот же день вечером пришло письмо и от самого Петра Валерьяновича, который писал уже с дороги в Москву.

Непривычная радость, видимо, подействовала сильнее на крепкую духом Хвостову, она разрыдалась до потери сознания, но вскоре, впрочем, оправилась и стала готовиться к встрече дорогого гостя.

Дня через два, ранним утром, дорожная карета въехала в ворота дома на Сивцевом Вражке и через минуту, считавшийся мертвым сын был в объятиях своей матери.

Петр Валерьянович постарел до неузнаваемости — два страдальческих года не прошли бесследно.

XXI

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

В то время, к которому относится наш рассказ, племянница Настасьи Федоровны Минкиной, которую только один граф Алексей Андреевич продолжал звать «Таней» и «Танюшей», для всех остальных уже сделалась Татьяной Борисовной.

Ей шел семнадцатый год, но на вид она казалась старше.

Высокая, с не по летам развитыми грудью и торсом, она отчасти напоминала свою тетку, хотя далеко уступала ей в красоте.

Темно-каштановая толстая коса спускалась далеко ниже пояса — Татьяна Борисовна заплетала волосы в одну косу и почти всегда носила русский костюм, который очень шел к ее круглому, чисто славянского типа лицу цвета, что называется, «кровь с молоком».

Лучшим украшением этого лица все-таки были большие, иссиня-серые глаза с зеленоватым отливом, делавшимся заметнее в минуты волнения их обладательницы.

С летами своевольная шаловливая девочка угомонилась, но все же воспитание ее, отличавшееся столь резкими переходами из барских хором на скотный двор и обратно, не осталось без влияния на характер и нравственную физиономию молодой девушки.

По окончательном удалении от государственных дел, граф Алексей Андреевич сам занялся ее образованием, но успел лишь выучить ее русской грамоте и начальной арифметике. Законом Божьим занимался с ней грузинский священник, отец Иван.

К шестнадцати годам образование ее было окончено, и граф предоставил ее самой себе, давая ей книги из своей библиотеки. Библиотека эта не отличалась выбором нравственных сочинений, книги давались без разбора, и беспорядочное чтение в связи с формирующимся

физическим развитием поселили в уме и сердце Татьяны Борисовны такой хаос мыслей и чувств, что она не в силах была в них разобраться.

Она чувствовала лишь сначала какую-то неопределенную неудовлетворенность, то хандрила по целым дням, то делалась неестественно шумна и весела; все это сопровождалось капризами и подчас отчаянными выходками — остатками своевольного детства.

На Татьяну Борисовну, как выражались дворовые села Грузина, «находило» — она то убегала в лес даже в суровую осень и пропадала там по целым дням, пока, по распоряжению графа, посланные его не находили ее сидящей под деревом в каком-то оцепенении и не доставляли домой, то забиралась в собор и по целым суткам молилась до изнеможения, и тут уже никакие посланные не в состоянии были вернуть ее в дом, пока она не падала без чувств и ее не выносили из церкви на руках, то вдруг, выпросив у графа бутылку вина, пила и поила вином дворовых девушек, заставляла их петь песни и водить хороводы, сама принимала участие в этих забавах, вдруг задумывалась в самом их разгаре, а затем начинала неистово хохотать и хохотала до истерического припадка.

При малейшем возражении и отказе со стороны графа, она поднимала такую бурю, бросалась на пол, билась руками и ногами и так неистово кричала, что Алексей Андреевич кончал тем, что исполнял каприз «взбалмошной девчонки», как он обзывал, и то не в глаза, Татьяну Борисовну.

Граф Алексей Андреевич хорошо понимал причину этих выходок своей любимицы. Он, умудренный житейским опытом, ясно видел, что Татьяну Борисовну пора выдавать замуж, но во что бы то ни стало старался отогнать эту для него неприятную мысль, опровергая это внутреннее свое сознание чисто деланными искусственными рассуждениями и убеждениями самого себя вопреки действительного положения дела, что «Танюша еще совсем ребенок».

Цыганская кровь, между тем, кровь матери, как уверяли сестры Минкиной, клокотала, как говорится, во всю в этом ребенке.

Сердце девушки просило любви, требовало страсти.

Граф настойчиво закрывал на это глаза и продолжал уверять и себя, и окружающих:

— Малолеток еще, просто балуется!..

Такое упорное отрицание очевидности происходило от странного характера привязанности графа к этой девушке. Мы уже заметили, что это чувство было старчески-эгоистическое. Граф не мог не только вообразить себе, что он останется в Грузине без Танюши, но еще более не мог допустить, что кто-либо другой завладеет ею и отнимет ее у него. Ему доставляло удовольствие исполнять ее капризы, ухаживать за ней во время ее припадков злобы, ссориться и мириться с нею, трепать ее по свежей щечке и целовать в как бы из мрамора выточенный лоб, гулять с нею под руку по аллеям грузинского сада, чувствовать трепетание молодой груди и иногда прерывистое, полное нетронутой страсти дыхание молодой девушки.

Это не была, таким образом, привязанность отца, не была и ревность любовника, каким не мог быть для свежей молодой девушки одряхлевший от болезни и ударов судьбы Алексей Андреевич, но все же в этой привязанности было какое-то плотское чувство, которое остается всегда в натуре устаревших «женолюбцев», каким всю жизнь был граф Аракчеев.

Чувство это доходило до того, что граф почти бесповоротно решил в своем уме, что лучше он лишится ее, чем отдаст ее своими руками другому. Это было чувство скупца, дрожащего над своими сокровищами, лежащими совершенно без пользы для него самого в его сундуках.

Граф мучился и в каждом новом лице, появлявшемся в его грузинском доме, особенно

молодом, видел этого «другого», собирающегося отнять у него его сокровище.

Поэтому-то граф не любил новых лиц, нарушавших его уединение, и хотя любезно, но холодно принимал некоторых офицеров военных поселений, приезжавших к нему по старой памяти «на поклон».

Быть может, это происходило и потому, что эти явки «на поклон» напоминали ему былое его могущество и горечь настоящего положения «опального».

Кружок графа состоял из немногих лиц: священник отец Иван, Федор Карлович фон Фрикен, продолжавший и после падения графа сохранять к нему чисто сердечную привязанность, домашний врач графа Семен Павлович Орлицкий, и два-три офицера из тех, которые, зная слабость Алексея Андреевича, даже беглым взглядом не обращали внимания на Татьяну Борисовну.

И эти гости, впрочем, собирались не часто, и, в общем, жизнь в Грузии была томительно-однообразно скучна.

Граф был угрюм, и это настроение сообщалось гостям. Лишь изредка тучи на лбу грузинского отшельника рассеивались, и он добродушно шутил со своими гостями, особенно с молодыми офицерами. Любимым коньком разговора Алексея Андреевича было современное военное воспитание.

— У вас в корпусах нынче все вежливости да нежности, — говаривал он, — все «Вы», да «Вас»; а в наше время, бывало, отдерут в субботу правого и виноватого и тогда отпустят домой. Зато учились хорошо и годились на всякий род службы.

Когда граф был в таком благодушном настроении, то офицеры с ним спорили довольно бесцеремонно.

Эти споры обыкновенно происходили за обедом.

Обеды эти были прекрасны — граф любил поесть хорошо, и особенно любил угостить — черта гостеприимства, унаследованная им от отца.

Во время обеда за стулом графа стоял казачок и летом отгонял мух опахалом из павлиньих перьев.

Летом зачастую обеденный стол накрывался в саду, у бюста императора Павла Петровича, против которого оставалось незанятое место и во время обеда ставилась на стол каждая перемена кушанья; в конце обеда подавался кофе, и граф Аракчеев, взяв первую чашку, выливал ее к подножию императорского бюста, после же этого возлияния он брал уже другую чашку.

На личности домашнего врача Алексея Андреевича — Семене Павловиче Орлицком — мы остановимся несколько дольше, так как он сыграл в грузинской жизни графа хотя небольшую, но все же некоторую роль.

Семен Павлович был красивый, высокого роста мужчина, светлый шатен, с серьезными, вдумчивыми серыми глазами.

В описываемое нами время ему было лет под сорок.

За последнее время могущества графа Орлицкий был объездным врачом в поселениях полка короля Прусского. Этот полк Алексей Андреевич по этой причине особенно любил и проживал по неделям в особо предназначенной для него связи в 3-й поселенной, роте у Ложитовского моста, выстроенного производителем работ Алексеем Федоровичем Львовым. Здесь граф

разговаривал с бабами, слушал их сплетни, заходил к поселянкам в отсутствие хозяев.

Возвращаясь раз осенью из бывших саперных рот близ мызы графа Сперанского мимо мызы, занимаемой графом, Семен Павлович взглянул в окно и увидел, что Аракчеев не только машет ему рукою, но и стучит в оконную раму.

«Беда, — подумал Орлицкий, — вероятно, какой-нибудь недосмотр с моей стороны или со стороны фельдшера».

Он перепугался, да и нельзя было не перепугаться при тогдашних строгостях, но делать нечего, надо было явиться.

Очистив свою обувь от грязи, он вошел по заднему крыльцу в приемную залу. Не прошло нескольких минут, как к нему вышел дежурный адъютант и спросил:

— Что вам угодно?

Орлицкий рассказал, в чем дело.

Адъютант пошел сейчас же доложить графу и вскоре возвратился.

— Граф приказал вам ждать! — сказал он, а затем тихо добавил: — Все ли у вас в порядке, так как граф прогуливался еще рано утром и заходил в некоторые мызы, где вы, может, не были, и больным не было дано помощи.

Дверь кабинета отворилась, и из нее вышел Алексей Андреевич, с довольным, веселым видом, кивая головой Орлицкому.

— Я, братец ты мой, был сегодня у тебя, желал с тобой поближе познакомиться, но жаль, что не застал тебя дома.

«Слава Богу, — подумал про себя Семен Павлович, — а то быть бы мне на гауптвахте», — и вслух добавил:

— Вышел по службе, ваше сиятельство!

— Знаю, знаю... слышал, что ты поселян бережешь и о них заботишься, служи, как служишь, и я тебя не забуду. Прощай!

По возвращении домой с облегченным сердцем, Семен Павлович узнал из доклада денщика, что вскоре после его ухода из дома, часов в шесть утра, граф, никем незамеченный, зашел к нему и спросил:

— Дома ли лекарь?

— Никак нет-с, ваше сиятельство, — отвечал денщик, — так как барин мой давно уже уехал и ранее сумерек не возвратится.

— Ты, братец, врешь. Вероятно, твой барин и дома не ночевал, а у кого-нибудь в карты играет.

— Никак нет-с, ваше сиятельство, барину некогда в карты играть.

— А что у вас там, в мезонине? — спросил граф.

— Аптека.

— Веди меня туда.

Алексей Андреевич застал там засаленного аптекарского ученика и снова спросил об Орлицком. Получив такой же ответ, как и от денщика, граф сказал:

— Как же ты, братец, лжешь, когда денщик мне передал, что лекарь и дома не ночевал!

— Денщик не прав, ваше сиятельство, ибо лекарь уже давно уехал, и по его рецепту я przygotowляю лекарство, — отвечал засаленный аптекарский ученик.

Граф вообще не любил щеголей, полагая, что подобные люди плохие работники и занимаются более своей персоной, нежели делом.

Поблагодарив денщика за найденный уже так рано порядок в комнатах, Алексей Андреевич отправился дальше.

Несколько времени спустя пришлось Орлицкому посетить одну больную поселянку, которая его спросила:

— Помните, ваше благородие, когда вы с неделю тому назад проезжали здесь мимо, взглянули в окно, и я вам кланялась?

— Очень хорошо помню, но что же?

— А больше ничего, что в это время стоял за моею спиной граф и спросил, кому я так низко кланялась? «Нашему лекарю, ваше сиятельство! Дай Бог ему доброго здоровья, он нас лечит и бережет!...»

Этот маловажный случай был причиною посещения графом квартиры Орлицкого и послужил причиною его дальнейшего фавора.

По возвращении из заграницы, граф Алексей Андреевич попросил как милости, чтобы ему в домашние врачи командировали Семена Павловича.

Просьба была исполнена.

Орлицкий с женой, красивой, статной молодою женщиной, поселился в Грузине и уже жил года два до времени нашего рассказа.

XXII

ВЗРЫВ СТРАСТИ

Семен Павлович Орлицкий отличался серьезностью и даже некоторой угрюмостью, составлявшей, видимо, не последствие лет, ни даже усиленных занятий, а бывшей свойством его характера.

Эта черта была особенно симпатична в докторе графу Алексею Андреевичу, характер которого тоже, как известно, не отличался игривостью. Они иногда по целым часам играли, как говорится, «в молчанку», изредка перекидываясь лаконичными фразами, и такое время препровождения им обоим, видимо, казалось приятным.

Граф Аракчеев, конечно, не мог допустить и мысли, что этот угрюмый, строгий, нелюбимый даже окружающими человек, является героем романа, и даже серьезного романа, так ревниво охраняемой им — Тани.

Не подозревал возможности стать героем романа молодой девушки и сам Семен Павлович.

Если бы за несколько дней до рокового момента кто-нибудь бы выразил Орлицкому лишь подозрение возможности его связи с Татьяной Борисовной, он взглянул бы на такого человека, как на сумасшедшего — так неестественна, даже омерзительна показалась бы ему эта нелепая мысль.

А между тем, все это совершилось, и совершилось с такою невообразимую быстротою, что Семен Павлович сам не мог хорошенько дать себе отчет в случившемся, и без воли, без мысли был подхвачен потоком нахлынувшей на него страсти, страсти девушки, долго сдерживаемой, и тем с большею силою вырвавшейся наружу.

Но расскажем все по порядку.

Томительное однообразие грузинской жизни, мертвящая скука, царившая в графском доме, доводившая Татьяну Борисовну до описанных нами безумных выходок, заставила ее, наконец, наброситься на чтение переводных французских романов, которые она и стала поглощать без разбора с невероятною быстротою.

Чтение это не осталось без влияния и открыло ей новый мир, мир плотской любви, как раз попавший в тон ее страстной натуры.

Она поняла причины ее необъяснимого до сих пор томления, и образ мужчины стал неотступно носиться перед ее духовным взором.

С трепетным волнением она читала и перечитывала, заучивала наизусть сцены и картины свиданий героев и героинь, подчас даже не прикрытые дымкой приличия — и восприимчивая ее натура быстро всасывала в себя развращающие соки этих описаний.

Она начала искать себе «героя», и выбор ее пал на Семена Павловича Орлицкого, мужская красота которого подходила ко многим романическим описаниям — его угрюмый, серьезный вид не оттолкнул молодой девушки, а напротив, раздражал ее страсть, и она в своих мечтах даже установила причину этой угрюмости, этого нелюдимства в семейном несчастье доктора, окружив его ореолом мученика законного брака.

«Он не ведает страсти, — думала она, — я введу его в ее капище... Со мной, только со мной поймет он жизнь и даст жизнь мне...»

Это было почти дословное повторение слов одной из героинь прочтенного Татьяной Борисовной романа.

Но как овладеть человеком, сделать его против воли «героем романа»? Вот вопросы, которые предстояло разрешить молодой девушке.

Из романов она уже знала много средств к этому, но томные, красноречивые взгляды, вызывающие улыбки, технику которых Татьяна Борисовна изучала даже перед зеркалом, не помогали.

Угрюмый доктор, пользовавший молодую девушку от приключавшегося нездоровья, казалось, не замечал их, и его холодно-равнодушный тон при посещениях выводил из себя пылкую девушку.

На решительный шаг, ввиду постоянного присутствия кого-либо из прислуги при визитах Орлицкого в ее комнату, она не решалась.

Все героини французских романов имели своих наперсниц, которые помогали им в устройстве любовных свиданий. Татьяна Борисовна решила, что и ей необходима

наперсница.

Исключительно к ней приставленная горничная — молодая девушка Настя — показалась ей совершенно подходящей для такой роли.

Она стала готовить ее к ней.

Это было нетрудно: несколько небольших подачек в виде ленточек, старых платьев и мелких денег сделали Настю преданной, верной своей госпоже собачкой.

Когда Татьяна Борисовна увидела, что на созданную ею наперсницу можно положиться, она начала пускаться с ней в откровенности.

— Настя, голубушка, ты кого-нибудь любишь? — спросила она ее раз, когда они поздним вечером, перед отходом ко сну, были вдвоем в комнате Татьяны Борисовны.

Настя потупилась и покраснела.

— Любишь, любишь!.. — радостно захлопала в ладоши Татьяна Борисовна, заметив смущение девушки. — Милочка Настенька, расскажи, кого, как?..

— И на что вам, барышня, о нашей мужицкой блажи знать приспичило? — вместо ответа спросила Настя.

— Какая там блажь, Настя, это любовь, понимаешь, любовь, чувство, которым живет все в мире, и которое повелевает всеми, от царя до нищего, перед ней все равны и все ничтожны, — разразилась Татьяна Борисовна слово в слово заученною тирадой из романа. — Понимаешь?

— Понимаю... — скорее из угодливости, нежели искренно отвечала девушка.

— А если понимаешь, то должна понимать также, что рассказ о любви очень интересен, о ней целые книжки пишут...

— Пишут... это об нашей-то... — сомнительно покачала головой Настя.

— Все равно, обо всякой... вообще о любви... — заметила Татьяна Борисовна. — Так расскажи же... Мне не хочется спать...

Татьяна Борисовна окончила раздеваться и легла в постель.

— Садись здесь на постели и рассказывай...

— Я, барышня, и так, стоя...

— Говорю, садись...

Настя села на край постели и шепотом начала передавать Татьяне Борисовне о своем романе с поваренком Сергеем...

Молодая девушка слушала ее с пылающим лицом.

— Ты что же за него замуж не выходишь? — спросила она.

— Граф не дозволит, ему девятнадцать только... а мне уже двадцать второй... Его сиятельство скажет, не пара, и только нам сильно достанется... Уж мы так...

— То есть как так?

Настя еще более покраснела.

— Говори, говори...

Горничная заговорила еще тише, совсем наклонившись к Татьяне Борисовне.

Та, видимо, жадно ловила каждое ее слово.

— И я тоже люблю, Настя, — сказала она по окончании рассказа.

— Вы, барышня!

— Да, и знаешь кого?

— Недомекнусь... кого же здесь вам... любить... Верно, из приезжих.

— Нет, он живет здесь...

— Здесь? — с недоумением повторила Настя.

— Да, здесь... Я люблю Семена Павловича.

Настя даже вскочила с места.

— Лекаря... буку?..

— Он несчастлив... оттого и мрачен...

— Зверь... — решительным тоном сказала Настя.

— Зверя-то и приручить... — проговорила молодая девушка опять фразой из романа. — Ты мне поможешь? — заискивающим тоном продолжала она.

— Я?!

— Да, ты...

— Что же я могу?..

— А я вот сейчас... как все заснут, заболую и пошлю тебя за ним... Он придет, а ты уйдешь...

— Что вы, барышня?.. Ночью... с ним вы с глазу на глаз останетесь... И не страшно?

Настя наклонилась к Татьяне Борисовне и что-то озабоченно зашептала.

«Пустяки...» — решила молодая девушка.

— А как граф узнает, что я в этом деле вам потворщица... не миновать мне конюшни... — испуганно заметила Настя.

— А как он это узнает?.. Заболеть что ли я не могу... а ты перепугаться и побежать за доктором...

— Отчего, скажет, меня не разбудили... ведь вы знаете, что он с вами, как с сырым яйцом носится...

— Мне ли не знать, надоел до одури...

— Вот то-то и оно-то...

— Скажешь, беспокоить не осмелилась... Сделай, голубушка, как я говорю... если меня любишь... Иначе, сейчас же убегу... до утра...

— С нами крестная сила... Ведь октябрь к концу идет, на дворе холодина такая... сырость...

— Все равно... Умирать, так умирать... а так жить я не могу... слышишь, не могу...

Татьяна Борисовна схватилась за голову.

— Слышу-с, барышня, слышу-с... Будь по-вашему... сделаю... себя не пожалею, а сделаю... Только не дело вы затеваете... Скажет он все графу... помяните мое слово... Тем все и кончится...

— Небось... не скажет... тоже не из железа, чай, истукан он...

— Истукан, верное слово сказали, истукан...

— Посмотрим...

Часа два еще говорила с Настей Татьяна Борисовна и, наконец, послала ее убедиться, все ли заснули в графском доме. Настя вернулась через несколько минут.

— Все, барышня, кажись, спят, тихо!

— Так ступай!

— Ох, барышня, не отложить ли?! — покачала головой Настя.

— Ступай! — уже нетерпеливо, с сердцем крикнула Татьяна Борисовна.

Настя вышла не спеша, продолжая качать головой.

Татьяна Борисовна осталась одна и стала вслушиваться в окружающую тишину.

«Будь что будет... — мелькнуло в ее голове. — Не истукан же он, на самом деле...»

Она откинула одеяло и оглядела себя с самодовольным видом. Высокая девственная грудь от переживаемого волнения страсти, распаленной рассказами горничной, колыхалась под тонким полотном сорочки, обнаженное плечо и полная рука, казалось, были изваяны из розового мрамора и покрыты тем мелким пухом, который делает сходство плеча молодой девушки с нежным персиком.

Надо было быть на самом деле истуканом, чтобы устоять против этого чарующего соблазна.

Татьяна Борисовна натянула одеяло на себя и продолжала прислушиваться... Щеки ее пылали горячечным румянцем, глаза сверкали лихорадочным блеском — она была несомненно больна, больна избытком здоровья.

В голове ее носилась во всех подробностях та сцена французского романа, которую она решила повторить с Семеном Павловичем. Там тоже был доктор и молодая жена старого барона, которую он держал взаперти.

Татьяна Борисовна не знала, что ее тетка Настасья Минкина собственным умом дошла до почти подобной же сцены, которую она, как припомнит читатель, проделала с Егором Егоровичем Воскресенским.

Наконец послышались шаги. Татьяна Борисовна узнала тяжелую походку доктора и торопливую — Насти.

Молодая девушка замерла и даже как-то съежилась в ожидании. Ей вдруг сделалось страшно.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Семен Павлович со своим обыкновенным серьезно-угрюмым видом.

Настя, отворив ему дверь, тотчас плотно затворила ее и осталась в соседней комнате.

Татьяна Борисовна лежала не шевелясь, с устремленными в одну точку глазами.

— Заболели... чем?.. — отрывисто спросил Орлицкий.

Больная не отвечала.

Семен Павлович положил ей руку на голову.

— Жар! Жажда есть?.. Дайте руку...

Татьяна Борисовна высвободила правую руку из-под одеяла и молча подала ее доктору.

Тот стал слушать пульс, глядя на вынутые часы.

Он не заметил искрящихся зеленым огнем глаз молодой девушки, неподвижно устремленных на него.

— Жар, сильный жар... — повторил как бы про себя Орлицкий. — Еще где чувствуете боль?

— Здесь! — указала, освободив левую руку, на грудь Татьяна Борисовна.

Семен Павлович бесстрастно откинув одеяло, наклонился к груди молодой девушки, чтобы выслушать ее.

Вдруг больная обхватила его за шею горячими руками стала покрывать его лицо, глаза, губы страстными поцелуями.

Ошеломленный неожиданностью, Орлицкий с силой отшатнулся от постели, но руки Татьяны Борисовны точно окостенели и она всем туловищем повисла на шее Орлицкого, продолжая целовать его с бешеной страстью.

Слабый полусвет лампы освещал ее огнем пылавшее лицо с блестящими, уже совершенно зелеными глазами, ее колыхавшуюся страстью роскошную грудь.

В глазах Семена Павловича вдруг сверкнул огонь ответной страсти... Руки против его воли обхватили талию молодой девушки.

Их губы слились во взаимном поцелуе...

Настя сладко вздремнула в соседней комнате. Ее разбудил Орлицкий.

— Иди спать! Татьяне Борисовне лучше, — сказал он.

Голос его дрожал.

«И впрямь, он не истукан!» — ухмыляясь, думала она, провожая из-дому Семена Павловича.

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Вернувшись к себе после совершенно неожиданного по своим последствиям визита к внезапно заболевшей Татьяне Борисовне, Семен Павлович Орлицкий без мысли, как подкошенный, упал, не раздеваясь, на диван в своем кабинете и заснул, как убитый.

Только на утро все происшедшее ночью живо восстало в его памяти, и холодный пот выступил на его лбу.

Сначала ему показалось, что это был страшный сон, но увы, он вскоре должен был отбросить это утешительное предположение — то, что совершилось, была ужасная действительность.

Он сделался любовником воспитанницы графа Аракчеева, восемнадцатилетней молодой девушки!

Семен Павлович стал припоминать подробности ночного приключения, и ужас его поступка еще более усилился в его глазах.

«Она было просто в горячечном бреде, а я негодяй воспользовался этим ее болезненным состоянием!» — думал он, и волосы его при этой мысли поднимались дыбом.

Он и не подозревал, что это свидание было заранее обдуманно и устроено по плану одного из романов из графской библиотеки.

«Что делать теперь? Как вести себя?» — возникали в его голове вопросы, возникали и оставались без ответа.

Какая-то двойственность появилась в его мыслях. С одной стороны, голос рассудка говорил, что ему следует бежать из этого дома и более никогда не встречаться с жертвой его гнусного преступления, какую считал он Татьяну Борисовну, а с другой, голос страсти, более сильный, чем первый, нашептывал в его уши всю соблазнительную прелесть обладания молодой девушкой, рисовал картины ее девственной красоты, силу и очарование ее молодой страсти, и снова, как во вчерашнюю роковую ночь, кровь бросалась ему в голову, стучала в висках, и он снова почти терял сознание.

Никакие рассуждения не помогали — Семен Павлович понял, что, несмотря на его лета, его без вспышек настоящей страсти прошедшая молодость давала себя знать сохранившимися жизненными силами, которые, вопреки рассудку, деспотически подчиняли его себе. Он понял, что он весь во власти вспыхнувшей в нем поздней страсти к Татьяне Борисовне и от воли последней будет зависеть его дальнейшее поведение, даже его жизнь, пока пробужденная ею страсть не угомонится сама собою всеисцеляющим временем.

Тогда только наступит отрезвление, которое безуспешно призывать голосом рассудка.

«Будь что будет!» — решил он и отправился с обычным утренним визитом к графу.

Первая, кто встретила его, была Татьяна Борисовна. Она, видимо, поджидала его и поздоровалась без малейшего смущения. Он казался смущеннее, чем она, и с усилием заставил себя взглянуть ей в глаза. Эти глаза смеялись, и вся она дышала какой-то особой свежестью и еще большей привлекательной красотой. Так, по крайней мере, показалось ему.

— Сегодня после обеда в зеркальной беседке, — успела шепнуть она ему.

Он кивнул головой, и в этой голове мелькнула последняя мысль о его бессилии перед этой девушкой, являющейся олицетворением прелести греха, — он почувствовал себя подхваченным быстрым течением и отдался ему, так как бороться у него не было сил.

Зеркальная беседка находилась в глубине грузинского сада и в прежнее время была свидетельницей многих мимолетных романов графа с приглянувшимися ему дворовыми девушками. Искусно сделанным механизмом украшавшие стены зеркала поворачивались на шарнирах и открывали ряд картин соблазнительного содержания. В описываемое нами время ее уже не посещал Алексей Андреевич и, только исполняя каприз Тани, отдал ей от нее ключ. Она любила уединяться в этой беседке, не подозревая секрета зеркал, который, конечно, не открыл ей старый граф.

Беседка была приспособлена для свиданий — ее-то и избрала Татьяна Борисовна.

Прошло несколько месяцев. Угар страсти в Семене Павловиче прошел, наступило отрезвление.

Семен Павлович с ужасом думал о роковой связи, которая с минуты на минуту могла быть открыта графом Алексеем Андреевичем, хотя и не прежним властным распорядителем служащих, но все же могущим путем личного письма к государю погубить такую мелкую сошку, как полковой лекарь, да еще и за несомненную вину, за безнравственность.

Эта мысль стала отравлять ему часы свиданий в зеркальной беседке, свиданий, к слову сказать, порядком надоевших Орлицкому, и потерявших обаятельную прелесть новизны. Сорокалетний возраст давал себя знать...

Случай выручил его из беды сравнительно легко.

Сплетня грузинской дворни о «дохтуре» и барышне или «ведьминой племяннице», как втихомолку звали грузинские дворовые и крестьяне Татьяну Борисовну, дошла до графа. Он понял ее только в том смысле, что между Орлицким и Танюшей начинаются «шуры-муры» и, конечно, тотчас принял решительные меры, особенно когда пойманные им на лету несколько взглядов Татьяны Борисовны на доктора подтвердили основательность этой сплетни.

В один прекрасный день Татьяна Борисовна была отправлена в Новгород, в Свято-Духов монастырь, к игуменье Максимилиане Петровне Шишкиной, под предлогом обучения рукоделью, а Орлицкий был отозван в Петербург.

Граф сухо простился со своим бывшим любимцем, но не сказал ему ни слова.

Так окончился мимолетный грузинский роман угрюмого врача.

Семен Павлович благословляет судьбу, что так сравнительно благополучно расстался с графом Алексеем Андреевичем, и вместе с своею женою, добродушной, ничего не подозревавшей женщиной, далекой от грузинских сплетен, уехал в Петербург.

Граф через Федора Карловича фон Фрикена предложил врачу новгородского госпиталя, Ивану Ивановичу Азиатову, которого граф Алексей Андреевич знал ранее и часто у него пользовался, и даже был крестным отцом его сына, занять место Орлицкого, но тот уклонился и просил поблагодарить графа за оказанную честь.

Несмотря на это, через несколько дней в Новгород приехал Орлицкий и явился к Азиатову, с которым был сослуживцем по военным поселениям.

— Поздравляю тебя, ты назначен состоять при графе Аракчееве, — были его первые слова, — а мне предписано принять от тебя госпиталь. Вот тебе предписание медицинского департамента с приложением высочайшего приказа, распорядись, как знаешь.

— Я в Грузино не поеду, — отвечал Азиатов, — ты сам знаешь, какое там житье... Приезжай завтра в госпиталь и вручи мне бумаги в конторе.

— Прощай, брат, завтра увидимся, — ответил Семен Павлович и уехал.

Иван Иванович не знал, с чего начать, но подумав немного, поехал, хотя уже довольно поздно, к генерал-лейтенанту Данилову и, рассказав в чем дело, просил его превосходительство уволить его хотя на четыре дня в Петербург, на что тот и согласился, хотя выразил мнение, что все хлопоты отделаться от графа ни к чему не поведут, тем более, что высочайший приказ уже состоялся, но все-таки приказал снабдить билетом.

На другой день, прибыв в контору госпиталя, Иван Иванович уже застал там Орлицкого, который и вручил ему бумаги, а Азиатов сообщил ему, что он еще вчера уволен генерал-лейтенантом Даниловым в Санкт-Петербург на 4 дня и до его возвращения приказал приготовить все необходимое для сдачи госпиталя и, передав свою должность, отправился в Грузино.

Он прибыл туда около шести часов вечера и остановился в доме для приезжающих, так называемой «гостинице». С полчаса спустя, пришел грузинский полицеймейстер господин Макариус и передал доктору желание графа видеть его сейчас же, так как чай уже подан.

Одевшись, против обыкновения, в мундир, он отправился в главный дом и застал графа за чайным столом.

— Что это у тебя, братец, новый мундир что ли, что приехал в мундире? — встретил его Алексей Андреевич.

— Никак нет, ваше сиятельство, но был назначен состоять при особе вашей, долгом счел явиться, — отвечал Азиатов и сообщил графу о переданном ему предписании медицинского департамента и высочайшем приказе.

— Не думал я, чтобы государь так скоро исполнил мою просьбу. Спасибо Якову Васильевичу Виллие за его дружбу ко мне, больному старику. Вы уже совсем из Новгорода?

— Никак нет; а ежели ваше сиятельство позволите, то мне нужно бы предварительно побывать в Петербурге по некоторым домашним обстоятельствам.

— Хорошо, но пожалуйста поторопись, ибо Орлицкий от меня уже отчислен.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, но позвольте мне доложить, что на условиях, переданных мне Федором Карловичем Фрикен, я служить у вас не могу. Вы даете мне 2500 рублей ассигнациями и квартиру, но это для меня недостаточно, так как все припасы у вас в Грузине дороже. Я имею теперь уже двоих детей и содержу двух старух, так что из определенного вашим сиятельством жалованья ничего отложить не могу, и совесть упрекала бы меня, что я, в угождение вашему сиятельству, жертвую благосостоянием своего семейства. Прибавьте же 500 рублей, и я готов остаться у вас до гробовой доски, побережь вас, сколько хватит знания и опытности, готов пользоваться и крестьян ваших по деревням, как мой предместник.

— Ты, брат, в Новгороде избалован, — сказал граф, — впрочем, здесь рассуждать нечего, у тебя высочайший приказ, а это свято.

— Я это очень хорошо понимаю, но какая вашему сиятельству охота иметь при себе врача, которому вы доверяете свою жизнь, против его воли и желания. Я обязан у вас служить, но 1 октября подам в отставку и все-таки вашему сиятельству придется искать себе другого врача.

Граф, видимо, расстроился, нахмурил брови и сказал в нос:

— Ступай в свой флигель и явись к утреннему чаю — тогда потолкуем. Покойной ночи.

Алексей Андреевич ушел в кабинет.

Не спав почти всю ночь, Азиатов явился к графу в шесть часов утра и застал его с чайником в руке, так как после трагической смерти Настасьи Федоровны он редко кому доверял приготовить чай, разве только приезжим дамам или Татьяне Борисовне, которой в то время уже не было.

Походив по комнате с четверть часа и посматривая на явившегося доктора с какою-то насмешливой и язвительной улыбкой, он наконец спросил:

— Хорошо ли ты обдумал вчерашний разговор?

— Как же, ваше сиятельство, но, к сожалению, я должен вам объявить, что, несмотря на ваше ко мне благодеяние и ласки, я у вас долее сентября остаться не могу. Извините мой дерзкий отказ, но я говорю от души, как отец семейства.

Граф переменялся в лице. Он был, видимо, тронут этим ответом.

— Не ожидал я этого от тебя, любезный кум, — сказал граф и начал ходить по комнате и после некоторого раздумья спросил:

— Кто же назначен на ваше место в Новгороде?

— Орлицкий.

— Какой Орлицкий?

— Ваш бывший врач, Семен Павлович.

— Гм! Гм! Где же в настоящее время ваш госпиталь?

— В порожних строениях бывшей фабрики.

— Как? Следовательно, стена об стену с Духовным монастырем?

— Точно там.

Граф несколько минут оставался в раздумье и затем проговорил вполголоса:

— Этому не бывать.

— Знаете ли вы, за что я просил удалить господина Орлицкого? — обратился он к Азиатову.

— Слышал кое-что, но мне что-то не верится.

— Но это так, и потому я отправил Татьяну в Духов монастырь, а теперь предстоит им опять случай видеться и возобновить прежние отношения, но этому никогда не бывать. Я хотел их разлучить, но ваше сиятельство соединило их опять. Шутить, что ли, надо мной, стариком, хотят?

Граф, по-видимому, был вполне уверен, что все грузинские сплетни должны быть известны и медицинскому департаменту, который, чуждый, конечно, всем грузинским происшествиям, назначил Орлицкого в Новгород, а Азиатова в Грузино.

— Позвольте мне теперь отправиться, так как я уволен только на четыре дня, и господин Орлицкий ждет меня в Новгороде, — сказал Азиатов.

— Подождите немного, зайдите в библиотеку, там найдете разные новые модели и рисунки,
— заметил граф и ушел в свой кабинет.

Через час доктор был позван к Алексею Андреевичу, который, вручая ему письмо к Якову Васильевичу Виллие, просил передать поклон.

Азиатов тотчас же отправился в Петербург и на другой день явился в медицинский департамент к дежурному генералу и в департамент военных поселений. Везде он получил один и тот же вопрос.

— Вы из Грузина?

— Точно так.

— Хорошо, что исполнили так скоро волю государя.

Около двух часов Иван Иванович явился к Якову Васильевичу Виллие.

— Вы из Грузина?

— Точно так.

— Совсем переехали?

— Никак нет.

— Пожалуйста, поторопитесь, так как вы знаете, что граф без врача долго оставаться не может.

— Граф теперь здоров, просил передать вашему превосходительству свой дружеский поклон и вручить это письмо.

Яков Васильевич прочел письмо, взял свое увеличительное стекло, прочел вторично и задумался.

— Вы говорите, что граф здоров, но мне кажется, что он сошел с ума.

— Не думаю, так как при моем выезде вчера вечером я ничего особенного не заметил.

— Знаете ли вы содержание письма?

— Никак нет.

— Граф просит меня об одной милости у государя — оставить вас на прежнем месте в Новгороде, обещая уже более не беспокоить государя о назначении ему врача. Скажите, пожалуйста, что за причина столь быстрого и крутого поворота? Может быть, вы сами умоляли графа остаться в Новгороде?

— Я и подумать не смел! — ответил Азиатов и рассказал историю с Татьяной Борисовной.

Яков Васильевич улыбнулся.

Азиатов возвратился прямо в Новгород и вступил в прежнюю должность, а Орлицкий был назначен в Чугуевский госпиталь.

Граф Аракчеев пригласил к себе вольно-практикующегося врача, но вскоре его уволил и

обращался к врачу военных поселений К. П. Миллеру и иногда к Азиатову.

Жизнь «грузинского отшельника» сделалась еще более томительно одинока.

Часть шестая

КРОВАВЫЕ ДНИ

I

НА ПОЧТОВОЙ СТАНЦИИ

Зима 1830 года отличалась чрезвычайно лютыми и продолжительными морозами.

В один из вечеров конца ноября месяца к почтовой станции Московского тракта невядалеке от города Тихвина подъяехал дормез, запряженный четверкой почтовых лошадей, и из него вышли две тепло закутанные с головы до ног женские фигуры.

Торопливо взобрались они на ступеньки крыльца станционного домика и в первой же комнате были встречены выбежавшей на звон колокольчика старушкой, благодушной, маленькой, со сморщенным в виде печеного яблока лицом, — женой станционного смотрителя Петра Петровича Власова — Софьей Сергеевной.

— Матушка, Наталья Федоровна! Добро пожаловать! — заволновалась старуха. — Только не знаю, где мне вас поместить; пожалуйста уже к нам в горницы, потому для приезжих комната четвертый день занята и как освободить ее ума не приложу... Такая беда стряслась, что жалости достойно!..

— Что такое, что случилось? — заволновалась одна из приезжих.

— Проходите, проходите, матушка, в горницу... Все расскажу по порядку... Может, советом мне поможете, что делать... Ум хорошо, а два лучше... Свой-то я на старости лет растеряла...

Софья Сергеевна отворила дверь, ведущую в квартиру смотрителя...

Приехавшая была графиня Наталья Федоровна Аракчеева со своей служанкой Ариной. Последняя, крепостная графини, еще девочкой служила в доме Хомутовых и после смерти матери Натальи Федоровны была взята последней в качестве горничной.

Графиня ехала из своего имения близ Тихвина в Москву гостить к фон Зеemannу.

Антон Антонович уже более года, как вышел в отставку и переехал с женой и сыном в первопрестольную столицу, где получил весьма видный пост по администрации.

Вскоре после переезда в Москву фон Зеemannов туда перебрались и Николай Павлович Зарудин со своим неизменным старым другом Андреем Павловичем Кудриным. Последних побудили расстаться с невяской столицей, кроме перехода на службу в Москву Антона Антоновича цели масонского общества, совершенно прекратившегося в Петербурге и в небольших остатках еще продолжавшего влачить свое существование в Белокаменной. Для

поддержки и возможного развития дела и перебрались с берегов Невы на берега реки Москвы наши оба беззаветно преданные делу масонства приятеля.

Наталья Федоровна Аракчеева была в душе очень довольна этим перенесением центра ее симпатий из Петербурга в Москву, так как первый навевал на нее грустные воспоминания прошлого, и она с удовольствием выехала из него в свое новгородское имение, с тем, чтобы никогда в него не возвращаться.

Гостить она ездила теперь в Москву, город, ничем не связанный с ее прошлым, и по душевности, простоте и радушию его обитателей пришедшийся совершенно по душе графине.

Коричневый домик по 6-й линии Васильевского острова стоял с закрытыми, заколоченными досками ставнями и один в Петербурге остался немым свидетелем многолетних драм, разыгравшихся в нем в течение четверти века.

Мы застали графиню Аракчееву на почтовой станции Московского тракта, ехавшую уже третий раз в Москву и на этот раз рассчитывавшую пробыть в ней довольно продолжительное время, уступая усиленным просьбам Антона Антоновича и Лидии Павловны.

Пока с помощью своей горничной Наталья Федоровна разоблачалась от массы платков и шалей, буквально окутывавших ее с головы до ног, Софья Сергеевна прерывающимся от волнения голосом рассказала ту беду, которая стряслась над ними дня четыре тому назад.

— В это же время, матушка Наталья Федоровна, — говорила жена смотрителя, знакомая давно с Аракчеевой, она знала, что та не любила, чтобы ее титуловали «графиней» или «сиятельством», — мороз был еще сильнее, чем сегодняшней, дня четыре уже будет тому назад, да и темней было, не в пример, чем теперь, слышу я кто-то на крыльцо вбежал, отворил дверь и шаст в горницу. Выбежала я так же, как и к вам, со свечей, глядь — барыня в салопике налегке и с ребеночком на руках стоит у порога и дико озирается... — Что вам, голубушка? — спрашиваю я, а она как зальется слезами да затрясется всем телом — меня мороз по коже подрал... Я без разговоров ее ввела в горницу для приезжающих, усадила на диван, водицы испить дала, ну, она и успокоилась... Ребеночек у нее в легонькое одеяльце завернут был, ознобился, видно, на морозе, не шелохнется... Хотела я было у нее его взять, да не дает и таким диким взглядом меня окинула, что я попятилась... Поврежденная... грешный человек, про нее подумала.

Старушка приостановилась.

— Что же дальше? — спросила Наталья Федоровна, присевшая к столу, на котором Арина уже поставила вынутый из сундука чайный прибор, а сама побежала на кухню распорядиться самоваром. — Да вы присядьте...

Софья Сергеевна села на другой стул, стоявший около стола.

— Да кое-как я ее опять успокоила, ребеночка она сама уложила на диван, с полгода ему, не более — девочка, крикнул он, да так пронзительно, что сердце у меня заглодело... она его к груди, да, видно, молока совсем нет, еще пуще кричать стал... смастерила я ему соску, подушек принесла, спать вместе с ней уложила его, соску взял и забылся, заснул, видимо, в тепле-то пригревшись... Самоварчик я соорудила и чайком стала мою путницу поить... И порассказала она мне всю свою судьбу горемычную... Зыбина она по фамилии...

— Зыбина! — перебила рассказчицу графиня и в ее уме мелькнуло какое-то смутное воспоминание...

— Зыбина, матушка, Зыбина... имение тут у ее мужа верстах в двенадцати, только не в вашу сторону, а в противоположную... С год они из чужих краев вернулись, ну и изверг же муж у ней, у несчастной, все как есть дочиста прожил, что за ней было, а денег была уйма — триста тысяч, сын у ней в Париже воспитывается, в чужие руки басурманам его отдал, и с собой взять запретил, как назад в Россию они ехали. Здесь она девочку-то и родила, а супруг-то ее закрутил, да запил, полюбовниц из дворовых завел, ночь не спит, пьет напропалую, а днем дрыхнет. Полюбовниц своих жену поносить заставляет... Не вытерпела она, сгрубилла ему, так он ее из дому выгнал с грудной девочкой... Она пешком к матери в Москву пробирается, да окоченела вся и зашла к нам... А мать-то ее, как она говорит, богатая, пребогатая... Хвостова, по фамилии.

— Хвостова! — вскрикнула Наталья Федоровна. — А как зовут ее, эту несчастную!..

— Марья Валерьяновна...

При произнесении этого имени в голове графини разом восстали уже совершенно определившиеся воспоминания. Она поняла, что в соседней комнате находится та самая Марья Валерьяновна Хвостова, которая была предметом безумной и безответной любви Василия Васильевича Хрущева, желавшего утопить эту несчастную любовь в мутных волнах политического заговора и поплатившегося за это почти четырехлетним пребыванием на Кавказе под тяжелою солдатскою лямкой. Наталья Федоровна недавно узнала, что по ходатайству ее уже теперь «опального» мужа, молодой Хрущев был прощен, произведен в офицеры и находился в настоящее время на службе в военных поселениях.

Узнала это она от него самого, приехавшего к ней в имение и со слезами на глазах благодарившего ее за свое спасение. Прошедшие лета и перенесенные невзгоды изменили и состарили Василия Васильевича до того, что Наталья Федоровна с трудом узнала его.

Рассказ Софьи Сергеевны приобрел для нее, в силу этого, еще больший интерес.

— Продолжайте, продолжайте... — почти подавленным от волнения шепотом произнесла графиня.

Жена зрителей удивлением взглянула на нее.

— А вы разве, матушка, ее знаете?

— Слышала... Знала ее родственника... Но что же дальше... Почему она до сих пор у вас... Заболела?..

— Заболела бы — не беда... Как-нибудь выходили бы... Хуже — совсем рехнулась... Я уже, прости мое согрешение, раскаиваюсь, что ее задержала, сказала ей, что авось проезжие господа до Москвы ее по пути доставят, пешком идти куда же, не ближний свет, в мороз, да с ребенком... Переждите, я говорю, денек другой... — Денег у меня, говорит, нет и сама не знаю как до Москвы доберусь, — отвечает она... — Мне-то, говорю, ваших денег не надо, накормлю и напою и даже малость помочь могу, потом отдадите, да и проезжий иной добрый человек, тоже войдет в ваше положение. Вот и уговорила на свою голову...

— Чем же на свою... Я с удовольствием доставлю ее в Москву... — сказала Наталья Федоровна. — И даже сама завезу к ее матери...

— То-то и оно-то, что теперь поздно, она сама не нынче-завтра умрет, потому второй день не ест, не пьет и все качает мертвого ребенка... Прислушайтесь-ка... Просто за эти три дня мне всю душу своим заунывным пением вымотала.

Из соседней комнаты действительно слышались заунывные звуки.

— Да, уж удружила мне старуха постоялицу, кажется, на свой бы счет в Москву ее отправил... И жалко-то, и тяжело... — вмешался в разговор вышедший из соседней комнаты стационарный смотритель — благообразный старик, одетый в вицмундир. — Здравствуйте, матушка Наталья Федоровна... Лошадок сейчас запрягать прикажете?

Он расшаркался по-военному перед графиней Аракчеевой и почтительно поцеловал протянутую ему руку.

— Нет, никаких там лошадей, я переночую... Если только не стесню вас...

— Какое там стеснение, для вас сами в чулан уйдем, все горницы предоставим.

— Зачем же это?.. Я, если можно, в этой комнате...

— Это я так, к слову... Устроим, устроим... — отвечал смотритель.

— Когда же умер ребенок? — обратилась Наталья Федоровна к Софье Сергеевне.

— Да в ночь же, как она пришла, жар у него начался, горлышко, видимо, схватило, а к утру он и преставился...

— Что же она?..

— Тут-то с ней и попритчилось. Как увидела она, что девочка-то ее умерла, схватила она ее, прижала к своей груди и ну качать, да убаюкивать... Я ее и так, и сяк уговаривать... Ангельская-де душа за нее молиться будет перед алтарем Всевышнего, грех и убиваться о них, великий грех, потому радоваться надо, если кого в младенческих летах Господь к себе призывает, тягостей жития этого нести не приказывает... Куда тебе! Глядит на меня глазищами, ничего, видимо, не понимает, и даже улыбается... Улыбка такая, что хоть слезами от нее обливайся и то впору...

— Несчастливая! — воскликнула графиня. — Но что же делать, надо ее все-таки увезти к матери... Как же быть с ребенком?..

— Не отдаст... нечего и думать, я уж не раз приступалась... Куда тебе... так прижмет к себе, что хоть руки ей ломай и кричит не своим голосом, пока не отойдешь... Я уже ее и оставила, и мужа к ней не допустила... мужчина, известно, без сердца, силой хотел отнять у нее... Я не дала, а теперь, грешным делом, каюсь... Пожалуй, сегодня или завтра все же его послушаться придется... Не миновать...

— Известно, баба... волос дорог, а ум короток. Не дело безумной потакать, мертвого младенца столько дней не прибранного держать... Наедет кто-нибудь из властей... Ох, как достанется... А кому?.. Все мне же, а не бабе... Баба что... дура... для нее закон не писан... а моя так совсем об двух ярусах... Сегодня же отниму у ней трупик и отвезу к отцу в имение. Пусть хоронит, как знает...

— Оставьте, я постараюсь уговорить ее, — поспешила вступиться Наталья Федоровна, — проводите меня к ней. А если нельзя уж будет, так я ее и с ее мертвым ребенком до Москвы доведу, а там доктора, мать ее, авось, Бог даст, придет в себя и поправится. Ведите меня к ней, Софья Сергеевна, — добавила она, встав с места и направляясь к двери комнаты.

— Голубушка, родимая, и впрямь, может, вы уговорите, — быстро сорвалась с места Софья Сергеевна и, забежав впереди графини, отворила дверь комнаты для приезжающих.

Наталья Федоровна остановилась в дверях, пораженная представившейся ей картиной.

БЕЗУМНАЯ

Картина, которая представилась глазам графини Натальи Федоровны Аракчеевой, была, на самом деле, полна холодящего душу ужаса.

На диване с обитым коричневым сафьяном и сильно потертым сиденьем и спинкою красного дерева, полусвещенная стоявшей на столе нагоревшей сальной свечой, сидела молодая женщина, одетая в темно-коричневое шелковое платье, сильно смятое и поношенное, на руках у ней был ребенок, с головой закутанный голубым стеганым одеяльцем, обшитым кружевами.

Исхудалое лицо женщины с большими, широко раскрытыми глазами, совершенно лишенными проблеска мысли, было полно такого невыразимого нечеловеческого страдания, что невольно при взгляде на него сердце обливалось кровью и слезы лились из глаз.

Никто в этой худой, не по летам состарившейся женщине не узнал бы гордой красавицы-девушки — Марьи Валерьяновны Хвостовой, какую мы знали ее около десяти лет тому назад.

Много эти годы должны были принести ей невзгод и треволнений, мук и страданий, чтобы положить такие резкие черты безысходного отчаяния на это все еще до сих пор красивое, но с оступевшим от непрерывных ударов судьбы выражением, лицо. Когда-то роскошные волосы стали жидки и в них даже пробивалась преждевременная седина. Теперь они были даже растрепаны и жидкими прядями падали на лоб.

Грустная и красноречивая повесть читалась на этом лице и во всей фигуре сидевшей женщины.

И действительно, то, что наскоро передала графине о судьбе молодой женщины Софья Сергеевна, была одна сплошная неприкрашенная правда.

Менее года длилось семейное счастье Марьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем Зыбиным, если можно назвать счастьем непрерывно продолжавшийся около года угар чисто животной страсти со стороны ее мужа, на которую она отвечала такою же страстью, но источником последней была далеко не одна плотская сторона молодой женщины: она привязалась к нему искренно и беззаветно, не только телом, но и душою. Это, увы, составляет высокое, но часто губительное для женщины свойство неиспорченной женской природы, не способной отдаваться без любви, без чувства, подчиняясь одной чувственности, которая для большинства мужчин всю жизнь исполняет должность любви.

Угар страсти, естественно, должен был окончиться, а вместе с ним окончились и счастливые дни для Марьи Валерьяновны. Это совпало с рождением сына-первенца, — сына, названного, по настоянию матери, в честь отца Евгением.

Жена перестает быть желаемой любовницей мужа и делается для него ненужной обузой, ее ласки тяготят его, и он ищет рассеяния на стороне; средства его или даже жены позволяют ему это в широких размерах. Такова печальная участь всех жен беспринципных негодяев, в душе которых нет места ни чистому чувству любви, ни понятию о святости брака, а вся жизнь их в конце концов дряблого организма зиждется на похоти и только на одной похоти...

Эта участь постигла и Марию Валерьяновну Зыбину.

Евгений Николаевич вдруг резко изменился в отношении своей жены, стал зол,

раздражителен и порой бросал на нее полные ненависти взгляды. Переход этот показался резким только одной Марье Валерьяновне, так как, на самом деле, охлаждение к ней мужа шло постепенно, и он сначала принуждал себя ласкать ее, старался забыться под ее ласками, но это принуждение себя сделало то, что он стал к ней чувствовать физическое отвращение и головой бросился в омут разврата и кутежей, чтобы найти то забвение, которое он почти в течение целого года находил в страсти к своей молодой жене.

Забвение нужно было Евгению Николаевичу: образ человека, имя которого он носил, не переставал преследовать его, лишь только он оставался наедине с самим собою, мертвые глаза смотрели ему в глаза и в ушах отдавался протяжный вой волков...

Евгений Николаевич дрожал, обливаясь холодным потом. Около полугода со времени женитьбы этот страшный кошмар наяву, казалось, совершенно оставил его — он забыл о прошлом в чадущей страсти обладания красавицей-женой, но как только эта страсть стала проходить, уменьшаться, в душе снова проснулись томительные воспоминания, и снова картина убийства в лесу под Вильной рельефно восставала в памяти мнимого Зыбина, и угрызения скрытой на глубине его черной души совести, казалось, по временам всплывшей наружу, не давали ему покоя.

Он старался забыться, переезжая с места на место, но всюду привозил с собой своего рокового спутника, свое внутреннее «я», требовавшее его к ответу за содеянное им преступление.

Он снова начал прибегать к спасительному вину, искать сильных, заглушающих этот внутренний голос, ощущений в игре в карты и рулетку, и в оргиях с женщинами, которых цинизм граничит с грацией, и в беспутстве которых есть своего рода поэзия, поэзия низменных душ.

Это женщины, поцелуй которых — медленный, но смертельный яд, а объятия полны сладострастия могильного холода. В обладании этими живыми нравственными трупами заключается высшая прелесть и незаменимое наслаждение для нравственно умерших людей.

Мы не будем описывать перипетий той многолетней драмы, которую пережила Марья Валерьяновна, окончившейся полнейшим ее разорением, приездом в отечество и изгнанием из дома мужа, предававшегося безобразным оргиям в кругу своих многочисленных крепостных любовниц.

Это могло бы составить многотомный, совершенно отдельный роман, построенный на идее самоотверженного долготерпения русской женщины.

Наталья Федоровна Аракчеева несколько минут стояла, как пригвожденная к месту. На нее даже на минуту напало раскаяние, что она пришла сюда, — так невыносимо тяжело было созерцание этой страдальницы, — но это было только на минуту. Мысли о том, что она, может быть, спасет эту несчастную и доставит ее к ее матери, наполнили душу графини тем радостным чувством, которое для доброго человека является лучшим вознаграждением за доброе дело, и она, мысленно укорив себя за мгновенную слабость, также мысленно возблагодарила Бога, что он привел ее в этот дом одновременно с пребыванием в нем Марьи Валерьяновны.

Софья Сергеевна, между тем, тихо подошла к сидевшей, сняв лежавшими около подсвечника щипцами нагар со свечи.

— Вот вы теперь и можете ехать к мамаше, барыня одна приехала, добрая, да ласковая, берется вас доставить в Москву, знает вашу маменьку и ваших родственников...

Марья Валерьяновна повернула свое лицо к говорившей, но взгляд ее совершенно безучастно скользнул по Софье Сергеевне, — она, видимо, ничего не слышала, или не поняла, что та говорила ей, продолжая укачивать ребенка, напевая какие-то заунывные на самом деле, но выражению жены станционного зрителя, выматывающие всю душу мотивы.

Софья Сергеевна повторила сказанную фразу и указала рукой на приблизившуюся к больной Наталью Федоровну.

Марья Валерьяновна, казалось, внимательнее вслушалась в сказанное ей, — в глазах ее блеснуло сознание.

— К мамаше, да, к мамаше, поедем!

Она заторопилась и даже встала с дивана...

— Не сейчас, завтра, теперь уж скоро ночь... — сказала Наталья Федоровна. — Я вас довезу и хотя не знаю лично вашей мамаше, но много слышала о ней и о вас от моего знакомого Василия Васильевича Хрущева.

— Василия Васильевича... Хрущева... Basile... — как бы припомнила несчастная женщина и горько улыбнулась, покорно снова садясь на диван.

Сознание исчезло так же быстро, как возвратилось, и больная снова затянула свою заунывную песенку.

В голове Натальи Федоровны мелькнула мысль, которую она решила привести в исполнение.

Пробыв еще несколько минут около Марьи Валерьяновны, совершенно как бы не замечавшей их присутствия, графиня шепнула Софье Сергеевне:

— Пойдемте, мне нужно с вами переговорить...

Обе женщины перешли в другую комнату, где на столе уже кипел самовар.

— Вот что я придумала, Софья Сергеевна, — начала графиня. — Надо заставить ее заснуть крепче и во время сна взять трупик и заменить его сшитой из тряпок куклой... тогда можно завтра ее увезти, а трупик отвезет ваш муж в имение этого Зыбина и сдаст ему, сказав, что графиня Аракчеева повезла его сумасшедшую жену к матери, а трупик приказала ему похоронить... так пусть и скажет: графиня Аракчеева, этот титул и это имя еще до сих пор страшны для негодяев...

— Слушаю-с, это все сделать можно, а вот как заставить ее заснуть, не спит все ночи, я и сама подумывала украсть у ней трупик во время сна и наблюдала за ней... не спит.

— Со мной есть, сонные капли, я ведь сама часто страдаю бессонницей... Дайте ей их в чаю... выпить чаю уговорить ее, я думаю, можно...

— Это можно, я ей дала утром сегодня прямо с ложечки, целую чашку выпила и кусочек булки съела, только сама ни до чего не дотрагивается, боится из рук ребенка выпустить...

— Так вот и теперь напоите ее чайком, с этими капельками... Она устала от бессонных ночей и на нее они скоро подействуют...

Наталья Федоровна приказала подать себе саквояж и скоро разыскала в нем пузырек, из которого и накапала в налитую Софьей Сергеевной чашку чаю тридцать капель.

— Идите, милая, напоите ее... — сказала графиня.

Жена зрителя взяла чашку и отправилась в комнату, а Наталья Федоровна стала пить чай.

Минут через десять Софья Сергеевна вернулась с опорожненной чашкой.

— Ну, что? — спросила ее Наталья Федоровна.

— Слава Богу, все выпила... Я ей и подушки на диване поправила, в случае если в самом деле подействуют капли-то ваши, чтобы удобнее ей лечь было... Только мне что-то не верится... не заснет...

— Если выпила, так заснет непременно... Эти капли отлично действуют... — заметила графиня.

Софья Сергеевна присела к самоварчику, пришел и Петр Петрович, по приглашению Натальи Федоровны тоже присевший к столу.

Все трое стали пить чай и рассказывать Наталье Федоровне о своем житье бытие.

— Не житье, а собачья травля, каждый норовит тебя обидеть, обляять, с кулаком так к морде и лезет, — жаловался зритель на приезжающих.

Арина на таком же, как и в первой комнате, диване, приготовляла постель для своей барыни.

Вдруг из соседней комнаты послышался стук от падения чего-то на пол.

Софья Сергеевна, со свойственной ее возрасту быстротой, вскочила из-за стола и бросилась в соседнюю комнату.

Через несколько минут она возвратилась, держа в руках завернутый в одеяльце труп умершей девочки.

— Спит, крепко-прикрепко, как сидела, так и свалилась на подушки, и ребенка из рук выронила, он на пол и упал...

— Я говорила, что заснет... — заметила Наталья Федоровна.

— Вижу, матушка, что правы вы, уж извините, что усумнилась, наше дело темное, неученое...

Тотчас же ребенка в соседней комнате, спальне хозяев, положили на столик под образа, а Софья Сергеевна смастерила из старых чистых тряпок такого же размера куклу, набила ее сеном и, завернув в одеяльце, бережно положила около спавшей крепким сном Марьи Валерьяновны.

Сделав все это, все успокоенные заснули.

Наутро больная проснулась позже всех, взяла положенную куклу и стала качать, не заметив подмена.

Лошади были запряжены и Наталья Федоровна, повторив Петру Петровичу инструкцию, как поступить с мертвой девочкой, уехала и увезла с собою несчастную Марию Валерьяновну, которая покорно дала себя одеть в салоп, закутать и даже положила на это время на диван свою драгоценную ношу, хотя беспокойным взглядом следила, чтобы ее у ней не отняли.

ОНА ЖИВА!

Фон Зееманы поселились в Москве на Тверской улице.

Они наняли довольно большой дом особняк, одноэтажный, окрашенный серой краской, с зеленой железной крышей и такого же цвета ставнями на семи окнах по фасаду, с обширным двором, куда выходил подъезд с громадным железным зонтом к которому вели ворота с деревянными, аляповато выточенными львами, окрашенными, как и самые ворота, в желтую краску.

Такие же дома еще изредка встречаются и теперь в отдаленных переулках Москвы, на Тверской же их исчез давно самый след.

Жизнь фон Зееманы вели в Москве хотя и не настолько обособленную, как в Петербурге, что было бы уже совершенно противно вековым уставам гостеприимства Белокаменной, но все же довольно уединенную — Антон Антонович, ссылаясь на служебные занятия, а Лидия Павловна на детей, которых кроме знакомого нам Антона Антоновича II, было еще двое: сын Николай, названный в честь Зарудина, и дочь Наталья — в честь Натальи Федоровны Аракчеевой. Оба последние ребенка были также крестники Николая Павловича и графини.

По-прежнему, таким образом, в гостиной фон Зееманов собирался интимный кружок, состоявший из Николая Павловича Зарудина и Андрея Павловича Кудрина, да приезжавшей гостить Натальи Федоровны Аракчеевой. Изредка забегал на огонек, что было в обычаях Москвы того времени, кто-нибудь из московских знакомых, всегда радушно принимаемый хозяином и хозяйкой.

В конце ноября 1830 года фон Зееманы ждали из Тихвина Наталью Федоровну Аракчееву, обещавшую приехать, как мы уже знаем, на долгую побывку. Извещенные письмом о времени ее выезда, они ждали ее с нетерпением, тем более, что за несколько дней перед этим случилось обстоятельство, положительно ошеломившее фон Зееманов, Зарудина и Кудрина.

Однажды вечером оба приятеля явились к фон Зееманам чрезвычайно взволнованными.

— Знаете ли, кого мы сейчас видели? — были первые слова вошедшего в гостиную Николая Павловича.

— Кого?.. — почти в один голос спросили Антон Антонович и Лидия Павловна.

— Катю Бахметьеву...

Ошеломленные этим именем и фамилией давно уже считавшейся мертвою несчастной девушки, и муж и жена фон Зееманы молча и пытливо взглянули на сообщившего эту странную весть Зарудина.

— Вы, может быть, думаете, что я сошел с ума, — ну, так знайте же, что не далее, как час тому назад, я лицом к лицу встретился с Екатериной Петровной Бахметьевой на Кузнецком мосту... Я всегда говорил, что она жива, вот и вышло по-моему...

— Перестань, не волнуйся, быть может, ты ошибся, я себе доверять не могу, я видел ее в Петербурге лишь несколько раз и то мельком, — заговорил Кудрин. — Сходство, положим, есть, но ведь мы спрашивали кучера и он нам сказал другую фамилию и имя.

— Кто же ей мог помешать выйти замуж? — горячо протестовал Зарудин. — Но я ее хорошо

знаю и помню! Это она, несомненно, она...

— Но, позвольте... — заговорил Антон Антонович. — Прежде всего здравствуйте, а потом садитесь и расскажите толком, где и как повстречались вы с воскресшей из мертвых Бахметьевой, которую давно уже, чай, обглодали невские раки...

— Разве ты не помнишь, что тело ее не было найдено... — снова, не переставая волноваться, заговорил Николай Павлович. — Я тогда же говорил, что я уверен, что она жива, и вот сегодня я ее встретил, наверное, лицом к лицу...

— Где, как? — в один голос снова спросили фон Зееманы.

Николай Павлович, несколько успокоившись и усевшись в кресло, рассказал им, что идя к ним, они с Кудриным проходили по Кузнецкому мосту; вдруг у одного из магазинов остановились парные сани и из них вышла молодая дама, которая и прошла мимо них в магазин. Эту даму Николай Павлович разглядел очень пристально, так как свет из окон магазина падал прямо на ее лицо и готов прозакладывать голову, что это была не кто иная, как Екатерина Петровна Бахметьева.

— Я был тоже поражен сходством, хотя не решусь утверждать, что это была действительно она, — добавил Андрей Павлович. — К тому же, почти убежденный уверениями Зарудина, я обратился к кучеру с вопросом, кто эта барыня? «Полковница Хвостова», — отвечал кучер. Как ее, братец, зовут? «Зоя Никитишна», последовал ответ. Из этого я заключаю, что это была не она и Николай ошибся. Она действительно могла переменить фамилию, выйдя замуж, но имя и отчество, как известно, при браке не меняются...

— Какой ты чудак, Андрей Павлович! Она по воле Аракчеева должна была исчезнуть с лица земли, ну и исчезла Екатерина Петровна, а появилась Зоя Никитишна, малый ребенок и то поймет, так это ясно... Трудно что ли было Аракчееву достать ей другой паспорт, достал же он Шумскому все бумаги, да еще дворянские...

— Хвостовы тоже дворяне.

— Да ведь она, конечно, замужем... а на таких у нас дворяне не женятся...

— Зарудин, пожалуй, и прав, — заметил Антон Антонович, — но в сущности, что нам теперь до этого за дело — жива или не жива Екатерина Петровна Бахметьева, да притом еще замужняя? Что может изменить она в строе жизни Николая Павловича?.. Тогда дело другое, а теперь, по-моему, нет основания волноваться... Прошло пятнадцать лет, нельзя же теперь перетряхивать старые истории.

Николай Павлович удивленно-вопросительным взглядом окинул фон Зеемана, но через мгновение на его устах появилась горькая улыбка; он встал и, подойдя к Антону Антоновичу, подал ему руку.

— Ты прав, дружище; я все еще прежний старый фантазер, пятнадцать долгих лет не угомонили меня.

На его глазах навернулись невольные слезы, и он отвернулся, чтобы скрыть их.

Разговор перешел на другие темы, но все вообще решили, что передадут рассказ об этой загадочной встрече с Бахметьевой Наталье Федоровне Аракчеевой, как только она приедет в Москву.

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней после этого разговора в ворота дома, занимаемого фон Зееманами, въехал дормез, из которого вышли графиня Наталья Федоровна, Марья Валерьяновна Зыбина и Арина, поддерживавшая последнюю.

Это было под вечер. Антон Антонович был дома, и оба супруга выбежали навстречу приезжей с радостными восклицаниями, но оба и остановились в недоумении при виде исхудалой донельзя молодой женщины с блуждающими бессмысленно глазами, прижимающей к своей груди какой-то завернутый в одеяло предмет.

— Вы удивляетесь, друзья мои, видя меня не одну... Но позвольте Арине проводить эту несчастную в мою комнату, а я вам тотчас расскажу в коротких словах ее страшную историю и объясню появление у вас со мною... — заговорила Наталья Федоровна.

Антон Антонович и Лидия Павловна не замедлили исполнить желание графини Аракчеевой.

Последняя, между тем, сбросив с себя платки и салоп, прошла прямо в гостиную и тут тотчас же немедленно рассказала во всех подробностях встречу свою с Марьей Валерьяновной на почтовой станции, рассказ жены зрителя и положение больной, почти умирающей женщины.

— У нее в Москве мать... Она только один день переночует здесь, а завтра я поеду к Хвостовой...

— К Хвостовой? — в один голос спросили фон Зееманы.

— Да, к Хвостовой... Насколько я могла добиться от несчастной, в минуты, когда на нее дорогой находило нечто вроде сознания, ее мать зовут Ольгой Николаевной и она живет в собственном доме на Сивцевом Вражке.

— Странное совпадение! — заметил Антон Антонович.

— А что такое?

Лидия Павловна опередила мужа в рассказе о странной встрече Николая Павловича Зарудина с дамой на Кузнецком, в которой он признал Екатерину Петровну Бахметьеву, и которая, по справкам у кучера, оказалась полковницею Зоей Никитишной Хвостовой.

— Очень может быть, что это жена ее сына — он при отставке произведен в полковники, — равнодушно заметила Наталья Федоровна. — Что же касается до того, что это не кто иная, как Катя Бахметьева, то это вздор, я узнаю в этом пылкое воображение Николая Павловича...

Она старалась казаться спокойной, между тем, как это имя заставило нахлынуть на нее целый ряд далеких воспоминаний и усиленно забиться ее сердце, но она переломила себя.

— Если это жена ее сына, то я, наверное, завтра увижу ее и разочарую Николая Павловича... Надеюсь, что вы не сердитесь на меня, что я без спросу решила привезти несчастную сюда, чтобы иметь время подготовить не менее несчастную мать к роковой встрече с безумной, еле живую дочерью...

— Что ты, тетя Таля... наш дом всегда был и будет твоим домом, и разве кроме хорошего, доброго и умного, ты можешь что-нибудь сделать... — с искренней наивностью сказала Лидия Павловна.

Графиня Аракчеева улыбнулась и крепко поцеловала молодую женщину.

— Позволь и мне поцеловать тебя за эти твои слова! — сказал Антон Антонович, привлекая к себе жену. — Тетя Таля лучшая женщина в мире...

— Уж вы скажете, — с ясной улыбкой пригрозила ему пальцем Наталья Федоровна.

Удалившись к себе, чтобы переодеться с дороги, она позаботилась, чтобы больную устроили удобно и покойно в одной из отведенных для ее приезда комнат и только тогда вышла к вечернему чаю.

В столовой уже сидели Зарудин и Кудрин. До позднего вечера проговорили они, передавая друг другу новости: Наталья Федоровна — петербургские, а остальные — московские, и на разные лады обсуждали случай с дочерью Хвостовой, Марьей Валерьяновной, и встречу с полковницей Хвостовой, которая, как продолжал уверять Николай Павлович, была не кто иная, как Екатерина Петровна Бахметьева.

— Ведь в эту несчастную женщину, в Марью Валерьяновну, был влюблен Василий Васильевич Хрущев, еще до ее рокового замужества, — заметила Наталья Федоровна, видимо, с целью переменить разговор, и передала присутствующим свое свидание с возвращенным с Кавказа и помилованным бывшим заговорщиком.

— Он служит теперь в военных поселениях...

— Тяжелая теперь там служба... Хуже, чем при графе, — вставил Кудрин. — Вот ругали, ругали человека, а отстранили, еще хуже пошло...

Гости разошлись около полуночи.

IV

ПОЛКОВНИЦА ХВОСТОВА

Прошедшие четыре года внесли много перемен в дом Ольги Николаевны Хвостовой.

Радость, говорят, молодит, и это всецело оправдалось на старушке Хвостовой. Приезд сына, которого она в течение двух лет считала мертвым, положительно влил в ее скорбную душу живительный бальзам, вдохнул в нее прежнюю силу и энергию.

По дому вновь стал раздаваться ее властный распоряжающийся голос.

Она окружила своего воскресшего из мертвых сына нежными заботами и попечениями. Он, впрочем, и нуждался в этих заботах: двухлетнее заключение в крепости тяжело отразилось на без того и ранее далеко не крепком здоровье Петра Валерьяновича.

Первое время по приезде в Москву он чувствовал себя довольно бодрым, сделал визиты, выезжал в гости, в клуб, но эта бодрость была, увы, непродолжительной. Это мнимое здоровье поддерживалось исключительно возбужденной нервной системой в первое время по освобождении из тягостного и, главным образом, совершенно безвинного — так, по крайней мере, думал сам Хвостов — заключения.

Вскоре разбитый этим заключением организм не выдержал — Петр Валерьянович стал прихварывать, сперва на короткое время, а затем нездоровье становилось продолжительнее.

Прошел год. Однажды, возвратившись с одной из зимних загородных прогулок, совершенной в большом обществе, Петр Валерьянович, видимо, не поберегся дорогой, простудился и слег в постель.

Призванные врачи определили начало тифозной горячки. Ольга Николаевна была в отчаянии

и просиживала дни и ночи у постели больного сына. Ее сменяла Зоя Никитишна, также усердно, с нежною заботливостью исполнявшая роль сиделки.

Когда кризис миновал и консилиум врачей решил, что опасность прошла и больной, хотя медленно, но начнет поправляться, Белоглазова даже убедила Хвостову пожалеть себя и предоставить ей одной уход за дорогим выздоравливающим.

— Я моложе вас и крепче! — говорила Зоя Никитишна. — Посмотрите, на кого вы стали похожи; в эти шесть недель вы исхудали до неузнаваемости, и еле ходите. Отдохните, если не для себя, так для вашего сына, которому неприятно будет, что его болезнь так страшно отразилась на вашем здоровье.

Ольга Николаевна, действительно, была страшно слаба и послушалась рассудительного совета Зои.

— Уж не знаю, как мне и благодарить тебя, — заметила она. — Дай Бог царство небесное, место покойное Ираиде Степановне, что оставила мне тебя в наследство, лучше ты мне родной дочери.

На глазах старухи навернулись слезы — она вспомнила свою Мери, которую она силою своего железного характера навсегда вычеркнула из своего сердца и не ответила ни строчки на присланные ее дочерью письма из заграницы.

— Какая там благодарность — мне самой его, как родного, жаль! — ответила Зоя Никитишна и стала с этого дня почти одна дежурить у постели выздоравливающего Хвостова.

Выздоровление, как и предвещали доктора, шло медленно.

Больной был очень слаб и находился почти все время в полузабытьи.

Белоглазова аккуратно давала ему лекарства, переменяла компрессы, подносила питье и с нежною внимательностью следила за каждым движением больного.

Эта внимательность была искреннею и это ухаживание за сыном хозяйки не было жертвой со стороны Зои Никитишны, оплатой Ольге Николаевны за приют и ласки. Белоглазова, действительно, полюбила Петра Валерьяновича, как родного, и даже пожалуй еще сильнее, но в этом последнем она боялась сознаться самой себе, понимая, какое громадное расстояние лежит между ней, приживалкой его матери, и им, хотя больным, хилым, некрасивым, но все же богатым женихом, с положением в московском аристократическом обществе, женихом, на которого плотоядно смотрели все московские маменьки, имеющие дочек на линии невест.

Петр Валерьянович со своей стороны в течение года жизни в Москве в отставке с радушием, а за последнее время даже с нежностью относился к предупредительной Зое Никитишне, любил, когда она ему читала после обеда газеты, книги, а он дремал в большом вольтеровском кресле, стоявшем в одном из углов гостиной, и даже не раз Белоглазова замечала устремленные на нее его внимательные, пытливые взгляды.

Сохранившаяся красота хотя уже далеко не молодой девушки произвела на него свое впечатление. Ему нравилась в ней порой ее сосредоточенность, даже угрюмость, указывающие, что и ее жизнь не прошла совершенно гладко, что и у ней в прошлом были сильные бури, испытанные несчастья, а это, казалось ему, сродство их судьбы поневоле влекло его к ней, хотя он не высказывал ни малейшего любопытства, не старался сорвать завесу с тайны прошлого Белоглазовой. Но что эта тайна существовала, он был глубоко убежден и она-то влекла его к ней, вызывала симпатии.

Что касается до других девушек, московских невест, маменьки которых наперерыв старались поймать богатого жениха Хвостова в свои сети, то он, к огорчению и первых, и вторых, не обращал на них никакого внимания и не шел в обществе далее обыкновенной вежливости. Он понимал хорошо, что там ищут не его самого, а его имя и деньги, так как он, разбитый и нравственно, и физически, не мог представлять из себя идеала для молодой девушки, до его души же, до его внутренних качеств им было мало дела. Они были слишком мелки для того, чтобы даже понимать его. Понять и полюбить его могла только женщина, испытавшая горе, людскую несправедливость, понявшая, как и он, чего стоит эта показная сторона людского общества. Такой женщиной была, по его мнению, эта «приживалка Зоя», в глазах которой он порой читал, хотя и не ясно, целую пережитую ею жизненную драму.

Перед болезнью он уже почти любил ее, хотя сам хорошенько не мог дать себе отчета в этом чувстве.

Ничего этого не подозревала Зоя Никитишна — ей даже не приходила в голову мысль о взаимности, ей достаточно было, что она открыла в своем сердце источник чистой, бескорыстной любви, она была этим неизмеримо счастлива и ей не было даже дела, разделяется ли это ее чувство — в нем самом она находила полное удовлетворение.

Когда Петр Валерьянович опасно заболел, она совершенно искренно пришла в отчаяние и всеми силами старалась помочь вырвать его из когтей смерти; она спасала в нем, быть может, даже не самого его, а свое чувство.

Это чувство было дороже ей самой ее жизни, оно очищало ее, оно возвышало ее в ее собственных глазах, и под его обаянием она забывала порой свое страшное прошлое.

Прошло еще несколько недель, и поправление здоровья Петра Валерьяновича стало идти заметнее.

Он был еще слаб, но уже в полном сознании. От него не укрылась та заботливая внимательность, которою окружила его Зоя Никитишна, а Ольга Николаевна, кроме того, с восторгом передавала ему почти ежедневно о самопожертвовании Зои, недосыпавшей ночей и недоедавшей куска за время опасного периода его болезни.

Больной начал смотреть на свою красивую сиделку взглядом, полным искренней благодарности, в котором порой блестели даже слезы.

Зоя Никитишна краснела под этими взглядами и казалась, с залитым ярким румянцем лицом, как будто моложе и красивее.

Дни шли за днями. Больной стал уже сидеть на постели, и однажды, когда Зоя Никитишна подала ему лекарство, он принял его и вдруг нежно взял ее за обе руки.

Она не отняла их.

— Чем могу я вознаградить вас за спасение моей жизни! — с какой-то особой серьезною вдумчивостью сказал он.

— Какая там награда... Я сама так счастлива, что вы поправляетесь... — сконфуженно пробормотала она и хотела было высвободить свои руки из его рук.

Петр Валерьянович, несмотря на сравнительную слабость, крепко держал их и вдруг начал покрывать эти руки горячими поцелуями.

— Что вы, что вы, стою ли я этого? — растерянно говорила Зоя Никитишна, стараясь, но безуспешно, высвободить свои руки.

Вдруг она почувствовала на этих руках две упавшие горячие слезы.

Вся кровь бросилась ей в голову, она наклонилась к нему совсем близко и прошептала:

— Вы плачете... Отчего?

— От счастья! — восторженно произнес он. — От счастья, что встретил женщину, которую люблю всей душой и которая достойна этой любви...

Он привлек ее к себе.

Их губы слились в горячем поцелуе.

— Боже мой, Боже мой, что я сделала! — воскликнула она через мгновение, вырвав у Петра Валерьяновича свои руки и закрыв ими лицо.

— Что же ты такое сделала? — перешел он на сердечное ты. — Разве невеста не может поцеловать своего жениха?..

— Невеста! — горько улыбнулась она. — Разве я смею даже думать об этом! Вы не знаете меня, я совсем не то, что вы думаете, я скверная, гадкая...

— Ни слова... Я не хочу знать твоего прошлого, я знаю тебя второй год такую, как ты есть, и такую я люблю тебя.

— Но ведь я... — начала было Зоя Никитишна, подойдя к Петру Валерьяновичу.

— Говорю, ни слова... — зажал он ей рукою рот и снова привлек к себе.

Она села на край кровати.

Он, не давая ей сказать ни слова, начал говорить о их будущем.

— Но что же я... быть может, ты не хочешь... не любишь меня?.. — вдруг перебил он самого себя.

— Я?! — тоном вопроса и упрека отвечала Зоя Никитишна и уже сама крепко поцеловала его.

— Значит, любишь, а больше ничего мне знать не надо, слышишь ли, ничего!..

Они решили, до окончательного выздоровления Петра Валерьяновича, ничего не говорить Ольге Николаевне.

Счастье, говорят, лучшее лекарство — это лекарство подействовало на Хвостова, он стал поправляться и крепнуть не по дням, а по часам.

Когда он в первый раз встал с постели и вышел в гостиную, для Ольги Николаевны был настоящий праздник.

Она с восторгом смотрела на сидевшего в кресле сына и бросилась обнимать присутствовавшую при первом выходе больного Зою Никитишну.

— Тебе, тебе обязана я этим счастьем... Чем награжу я тебя!.. — воскликнула старуха.

Зоя смущенно молчала.

— Она спасла мне жизнь, — сказал Петр Валерьянович, вставая с кресла и подходя к

Белоглазовой. — Я посвящу ей ее остаток — вот ее награда! Матушка, позвольте представить вам мою невесту.

Ольга Николаевна сначала в недоумении отступила.

— Мы любим друг друга... — продолжал Хвостов, и в голосе его была такая мольба по адресу матери, не разрушать даже, малейшим колебанием его счастья, что старуха торжественно подняла руки.

Хвостов и Белоглазова упали на колени.

Благословение совершилось.

Через месяц, в приходской церкви святых Афанасия и Кирилла, на углу Афанасьевского переулка, совершилось скромное венчание Петра Валерьяновича Хвостова с Зоей Никитишной Белоглазовой, неожиданно, даже для самой себя, ставшей полковницей Хвостовой.

V

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

Почти три года промелькнули незаметно.

Внезапная, неожиданная, скромная свадьба Петра Валерьяновича, конечно, поразила москвичей и в особенности москвичек, к числу которых принадлежали рассерженные маменьки и разочарованные дочери.

Толки о позорном, из ряда вон выходящем «messalianse» — как московские матроны называли брак полковника Хвостова с приживалкой своей матери — возбудили много сплетен в обществе, но прошло несколько месяцев, явилась новая московская злоба и «молодых» Хвостовых оставили в покое.

Наряду с этими сплетнями московское общество далеко не отшатнулось от жены Хвостова, так как, по «достоверным московским источникам», фамилия Белоглазовых оказалась хотя и захудалым и бедным, но все же дворянским родом, а таинственное, известное одной Зое Никитишне ее прошлое не набрасывало на нее в глазах москвичей такой тени, из-за которой они могли бы подвергнуть ее остракизму.

Впрочем, ни Петр Валерьянович, ни Зоя Никитишна не были особенно озабочены возникшими об их свадьбе толками и не особенно радовались сыпавшимся к ним приглашениям после сделанных ими официальных послебрачных визитов.

Оба они, по возможности, избегали общества, особенно Зоя Никитишна, что казалось странным после такой долгой затворнической жизни, которую она вела сперва у Погореловой, а затем у Ольги Николаевны.

Муж, сам склонный к домоседству, был доволен такими наклонностями жены, приписывал их свойству ее нелюдимого характера, но заметил, что она всегда необычайно смущалась при представлении ей новых лиц и как-то боязливо на них взглядывала.

О последнем обстоятельстве Петр Валерьянович даже как-то раз сказал ей:

— Точно ты всегда ждешь какой-то неприятной встречи.

— Я... нет... С кем же?.. — как-то растерянно ответила Зоя Никитишна. — Это просто я одичала за эти годы... — поспешила она поправиться.

Он удовлетворился этим объяснением и не заметил ее смущения.

Петр Валерьянович угадал: она действительно каждый день, каждый час ждала встречи, и это отравляло всю ее жизнь, а с замужеством при все же некоторой обязанности хотя изредка появляться в обществе, такая встреча сделалась еще возможнее.

Это отравляло ее семейное счастье, и складка грусти еще чаще стала появляться на ее красивом лице.

Какой же встречи боялась она? С кем? Почему?

Она боялась встречи с людьми, которые знали ее далекое прошлое, которые знали ее не Зоей Никитишной Белоглазовой, а — читатель, вероятно, догадался — Екатериной Петровной Бахметьевой.

Она боялась разоблачения этого прошлого, которое представлялось ей одним сплошным тяжелым кошмаром, и о котором она хотела забыть, хотела страстно, безумно, но... не могла.

Сознание, что такая встреча может случиться, тяжелое предчувствие, что она должна случиться, отравляло, повторяем, каждую минуту ее безотрадного существования в качестве приживалки у Ираиды Степановны и в доме Хвостовой и продолжало отравлять и тогда, когда она в этом последнем доме стала равноправной с Ольгой Николаевною хозяйкой.

С этого времени мучения этого страха встречи даже увеличились, а предчувствие обратилось в какую-то роковую уверенность, что вот-вот сейчас войдет кто-нибудь из тех — петербургских — которые знают ее позор, догадывались о ее преступлениях, которые молчат только потому, что считают ее мертвой, которые даже, вероятно, довольны, что такая худая трава, как она, вырвана из поля.

Она жива — и этого довольно, чтобы они смело бросили в нее камень.

И они будут правы!

За свое прошлое Екатерина Петровна — как теперь мы будем называть ее — не находила себе ни малейшего оправдания.

А настоящее?

Разбившая там, в этом далеком омерзительном прошлом, окончательно две жизни — Хомутовой и Зарудина, буквально убившая свою мать, разве теперь она не разбила жизни любящему и любимому ею человеку — ее мужу. Если все откроется, то брак ее, совершенный под чужим именем, не будет действительным.

Какой позор!

Он не перенесет его! Он, доверившийся ей, не хотевший выслушать уже срывавшегося с ее губ признания, подумавший, что услышит исповедь падшей девушки, прошлое которой он мог исправить всепрощающим чувством любви, он не допускал и не допускает, вероятно, и мысли, что его жена... самозванка, преступница.

И роковое предчувствие ее сбылось.

Встреча с Зарудиным на Кузнецком мосту поразила, как громом, Екатерину Петровну.

Подготовленность к подобной встрече инстинктивным ее ожиданием далеко не умалила совершившегося факта.

Ожидая и опасаясь, она все же надеялась, что это не совершится, что эта чаша пройдет мимо нее.

Но чаша не прошла — факт совершился.

Зарудин в Москве, тот самый Зарудин, который, когда-то давно первый зажег в ее сердце чистое чувство, — этот чудный цветок, загдохший потом так быстро в грязном репейнике жизни. Он может, следовательно, встретиться с нею в обществе, в гостиной... узнать ее... Он уже и узнал ее — она видела это по выражению его пристального взгляда — и тогда... все кончено!

Она вошла в магазин и бессильно опустилась на первый попавшийся стул.

— Madam se trouve mal! — воскликнул француз-хозяин и приказал подать посетительнице стакан воды.

Екатерина Петровна жадно сделала несколько глотков и немного успокоилась.

Она умышленно пробыла в магазине дольше, сделав даже совершенно ненужные покупки и, боязливо озираясь, вышла на улицу и села в сани.

— Пошел домой... Скорей! — приказала она кучеру. Сани помчались.

Подъезжая к дому, кучер несколько попридержал лошадей и, обернувшись к Екатерине Петровне, добродушно заметил:

— Два господина какие-то у магазина видно в вас обознались, спрашивали меня, как зовут мою барыню... Я сказал...

Бахметьева промолчала.

«Узнал, узнал!» — замелькало в ее голове. Она вспомнила пристальный взгляд Николая Павловича и чуть снова не лишилась чувств.

Домой она приехала совершенно больная.

— Что с тобой, ты бледна, как смерть? — заметил Петр Валерианович. — Чего-нибудь испугалась?... Понесли лошади!

— Нет... Не знаю сама с чего мне в магазине еще сделалось вдруг дурно... И теперь страшно кружится голова и тошнит.

— А-а-а!.. — успокоенный, почти радостно воскликнул он.

Заветною мечтой Петра Валерьяновича было иметь ребенка, но Бог не посылал ему этой радости. Теперь в голове его мелькнула мысль о возможности осуществления этой надежды.

— Ты поди приляг! — с нежной заботливостью посоветовал он.

— Я сама думаю это сделать... Ты не беспокойся... это пройдет... пустяки...

— Я... ничего... я даже рад!..

Он лукаво подмигнул ей.

— Рад!.. А... — догадалась она. — Нет, кажется, не то...

— А может быть!

Она не отвечала и поспешила уйти в свою комнату. Войдя к себе, она заперла дверь и буквально упала на кушетку. Надежда, высказанная ее мужем, ножом вонзилась в ее сердце и окончательно доконала ее.

— Если б он знал причину ее нездоровья?.. И он узнает! Какое горькое разочарование готовит она ему, этому доброму, хорошему, любимому ею человеку...

Она лежала недвижимо, с устремленными в одну точку глазами. Перед ней неслись с поразительной рельефностью страшные картины ее прошлого.

После памятного, вероятно, читателям последнего визита к графине Наталье Федоровне Аракчеевой в доме матери последней на Васильевском острове и после обещания графини Натальи Федоровны оказать содействие браку ее с графом Алексеем Андреевичем, Екатерина Петровна, довольная и радостная, вернулась к себе домой.

Ее судьба, казалось ей, совершенно была обеспечена.

Граф Аракчеев, несомненно, исполнит волю своей оскорбленной жены, исполнит, положим, не по своему желанию, а из боязни придворного скандала, но что ей за дело до того, по воле ли графа или против его воли, она сделается графиней Аракчеевой.

Лишь бы сделаться ею, а там она сумеет поставить себя и в петербургском обществе, и в доме своего мужа!

План, намеченный и наполовину исполненный при содействии ее дорогого кузена Сергея Дмитриевича Талицкого, таким образом, близился к блистательному осуществлению.

Екатерина Петровна вспомнила о Талицком.

«Бедный, погиб и не дождался торжества своей Кати и своего! — мелькнуло в ее голове. — И чего его понесло на эту проклятую войну!»

Она искренно пожалела о нем. В ней шевельнулась чисто животная к нему привязанность, ей не доставало его теперь для полноты благополучия.

В тот же вечер, когда она возвратилась из коричневого домика на шестой линии, горничная Екатерины Петровны доложила ей, что ее спрашивает какая-то старушка из Грузина.

Бахметьева велела впустить ее.

В гостиную, где сидела молодая девушка, с низкими поклонами вошла знакомая нам наперсница Настасьи Федоровны Минкиной — Агафониха.

— Здравствуйте, кралечка моя ненаглядная, здравствуйте, красавица моя писаная! — нараспев начала старуха.

— Что тебе? — уставилась на нее Бахметьева.

— Да вот, барышня моя добрая, приплелась я из Грузина сюда в Питер, да и подумала: дай зайду, поклонюсь ангелу-барышне Екатерине Петровне...

— А ты почему меня знаешь?

— Как мне вас не знать, ведь я из Грузина, около этой змеи подколодной, колдуньи Настасьи проживала... Тоже слышала, что в вас наш сиятельный граф души не чаёт... любит вас превыше всех...

Екатерина Петровна самодовольно улыбнулась.

— Наша-то ведьма со злости рвет и мечет, иссохла вся... да ничего не поделает, видно... Хороша-то, хороша, да супротив вас, красавицы писаной, ничего не стоит... Известно, хамово отродье...

Наглая лесть старухи звучала в ушах Бахметьевой чудной музыкой.

Та продолжала:

— Вот бы вам, королева моя аметистовая, быть графиней, не чета вы настоящей графине Наталье Федоровне — кожа ведь да кости одни, ни подставной — нашей Настасьи... И будете, бриллиантовая, будете, чует мое старушечье сердце, что будете...

Это пророчество хитрой старухи, так совпадавшее с положением дела и с искренним желанием Бахметьевой, окончательно подкупило ее в пользу Агафонихи. Она стала поить ее чаем и оставила у себя пока погостить...

— Благодарствуйте... Отдохну у вас, душой отдохну, уж мне в эту ведьмину берлогу, к Настасье-то, и возвращаться не хочется... — заявила старуха.

— И не возвращайся... — милостиво разрешила Бахметьева.

Если бы она только знала, какие от этого приглашения будут для нее роковые последствия.

VI

НАЕДИНЕ С ПРОШЛЫМ

Визит к графине Аракчеевой и появление в ее доме Агафонихи — первое, что пришло на память Екатерине Петровне Бахметьевой, когда она осталась наедине со своим прошлым.

Это были еще отрадные моменты ее жизни — моменты золотых грез и надежд.

Но вдруг все изменилось... Светлый горизонт покрыла черная зловещая туча и распространила вокруг нее тот непроницаемый мрак, который вот уже пятнадцать лет, как не может рассеяться. Ее нравственное зрение свыкло с этим мраком и различает окружающие предметы... Эту сплошную тучу перерезывают порой лучи света, лучи искреннего раскаяния в прошлом, лучи светлой надежды на будущее, но мрак, страшный мрак этого прошлого борется с этими проблесками света, и в этой борьбе, кажется, сгущается вокруг нее еще сильнее, еще тяжелей ложится на ее душу, давит ее, и со дня на день невыносимее становится жить ей, особенно, когда гнетущие воспоминания так ясно и рельефно встают перед нею, как теперь...

Прошло два дня, как в квартире ее появилась Агафониха. Был поздний зимний вечер. Она сидела в своей спальне и читала какую-то книгу.

Екатерина Петровна силится теперь припомнить, какую именно и... не может. Роковые события, совершившиеся во время этого чтения, совершенно изгладили из ее памяти и

название книги, и ее содержание.

Она все-таки напрягает память, как бы желая этим назойливым напряжением отдалить от себя дальнейшие воспоминания... но нет, они идут, надвигаются...

Вдруг за дверью послышались тяжелые шаги нескольких человек, мужские шаги... Дверь отворилась и в комнату вошли трое неизвестных ей людей... Один из них, с гладко выбритым плутоватым лицом — остальные его звали Петром Федоровичем.

Это имя крепко засело в памяти Екатерины Петровны Бахметьевой.

Она помнит, что при неожиданном появлении этих людей она вскочила, выронила книгу. Книга упала на пол корешком и раскрылась.

— Кто вы? Что вам надо?

— Кто мы, милая барышня, вам того и знать не следует... а что нам надо, о том доложимся... Не спешите... — отвечал бритый человек.

— Но как вы смели ворваться ко мне в дом?... Я закричу о помощи...

— Не трудитесь, не надрывайтесь... все равно никто не услышит, в доме только одна Агафониха, да и та из наших, совсем глухая...

У Екатерины Петровны как тогда, так и теперь упало сердце: она поняла, что ей расставлена западня, что она во власти этих людей... Она бессильно опустила в кресло.

— Что же вам надо? — почти простонала она.

— Достаньте-ка, барышня, бумажки, да черкните на ней, что я вам скажу...

— Зачем?

— Любопытна больно... делай, коли велют... — с угрожающим жестом заявил другой бородатый мужчина с зверским лицом.

— Да, барышня, уж вы делайте, что я вам скажу, а то хуже будет, да нам и некогда... лошади у дома ждут... Не будете делать — худо вам будет, ох, худо...

— Лошади... худо... — почти бессознательно повторила Бахметьева. — Хорошо... я напишу.

Она подошла к конторке, стоявшей в спальне, достала листок бумаги и, взяв перо, обмакнула его в чернильницу.

— Что же писать?... — обратилась она, чуть слышно, к бритому человеку.

— Пишите: прошу никого не винить в моей смерти...

Она дописала до последнего слова.

— Смерти!.. — повторила она и бросила на своего мучителя умоляющий взгляд.

От этого взгляда он потупил взор и яркая краска залила его лицо.

— Да... смерти... — глухо повторил он. — Так надо... Будет она или не будет, там увидим... Пишите...

Последнее приказание он отдал деланно резким голосом. Еле державшаяся на ногах

Бахметьева с трудом написала это роковое слово.

— Подпишитесь...

Она исполнила и это, но далее ничего не помнит — она лишилась чувств.

Екатерина Петровна и теперь силится припомнить, что происходило после этого, но в ее уме мелькают только смутные, отрывочные воспоминания.

Она помнит, что в ее спальне появилась Агафониха и начала с помощью мужчин одевать ее.

«Ты снеси ее одежонку-то на реку...» — вспомнилась ей отрывочная фраза, сказанная Агафонихе одним из неизвестных, кажется, бритым. Далее она ничего не помнит.

Она очнулась и увидела себя лежащую на кровати, покрытой ситцевым одеялом, сшитым из разных лоскутков, нарезанных треугольниками.

И теперь живо представляются ей эти лоскутки и некоторые из рисунков, в особенности один — разноцветным горошком.

Деревянный, ничем не оклеенный потолок комнаты, очень маленькой и очень узкой, был низок и черен.

Екатерина Петровна сообразила, что она в крестьянской избе: на стенах наклеены были лубочные картины, в углу стоял киот с образами, отделанными блестящей фольгой, свет лампы, горящей перед ними, еле освещал окружающий мрак.

На дворе выл ветер и снег резкими порывами засыпал маленькое оконце — видимо, была вьюга.

Все это сообразила тогда Бахметьева и теперь припоминала с поразительной точностью.

В полуоткрытую в ее комнату дверь виднелся мерцающий свет лучины, а за тонкой стеной слышались голоса.

Один из них она узнала — это был тот самый, который заставил ее написать роковую записку.

Другой голос был грубый.

— Что ж, здесь с ней и покончить?.. Сам говорил в Рыбацком... Река под боком... Навяжем камень, да в прорубь и аминь ее душеньке... — говорил второй голос.

Екатерина Петровна и теперь, как тогда, вся похолодела.

— Погоди, чего горячишься... Тебе что за печаль... жива ли она будет или умрет? — отвечал первый голос.

— Мне-то, Петр Федорович, наплевать... Только чтобы за труды полностью...

— Об этом не беспокойся, все, что обещано, получишь, хоть сейчас...

— Это будет по-божески!

До слуха Бахметьевой долетел шелест ассигнаций.

— Теперича в расчете... Пообождать... может, прикажете ее и в прорубь, али с одним хозяином управитесь...

— Пообожди...

Через минуту дверь в комнату, где лежала очнувшаяся Екатерина Петровна, отворилась и при мерцающем свете она увидела вошедшего к ней бритого человека, которого называли Петром Федоровичем.

Он плотно притворил дверь и даже запер ее на крючок.

Мрак в комнате еще более сгустился, только слабый свет лампы освещал лицо вошедшего, приблизившегося к ее кровати.

Бахметьева положительно замерла от страха.

И теперь при воспоминании об этом моменте холодный пот выступил на ее лбу и волосы поднялись дыбом.

Она глядела на вошедшего полными ужаса, широко раскрытыми глазами.

— Ну-с, барышня, потолкуем... — начал Петр Федорович Семидалов — это был он, как, вероятно, уже угадал читатель. — По душе потолкуем. Велено мне вас известить — приказ такой вышел через Настасью Федоровну от самого его сиятельства графа Алексея Андреевича...

— Графа... — простонала молодая девушка и замолкла.

— Да-с, графа... Что-нибудь вы ему да супротивное сделали... Приказ строгий... Не исполнить нельзя... Так помолитесь перед кончиною...

Она вдруг с необычайною ясностью поняла бесповоротность этого решения и то, что его несомненно сейчас, вот сейчас приведут в исполнение... жажда жизни проснулась в ней с особою силою.

— Пощадите... — нечеловеческим голосом крикнула она и вскочила и села на кровати, схватив обеими руками руки стоявшего перед ней Петра Федоровича.

— Пощадить, отчего не пощадить, самому мне жаль вас, красавица... Пленила меня красота ваша даже до одури... как взглянули вы на меня еще давеча... Приму на себя ответ и избавлю вас от смерти лютой, только...

Глаза его горели во мраке каким-то диким огнем, он наклонился к Бахметьевой совсем близко и прошептал несколько слов.

Молодая женщина и теперь гадливо вздрогнула, вспомнив эти слова.

— Прочь... хам!.. — с силой оттолкнула она его от себя.

— А-а... ты вот какова, — злобно прошипел он, — так молись Богу... да готовься в прорубь... Видно, тебе туда и дорога.

Он тихо пошел к двери.

Она соскочила с кровати, бросилась к нему, упала перед ним на колени и охватила его ноги.

— Пощадите... пощадите! — рыдала она, ерзая по полу.

— Пощажу... или погублю... все в моей власти... Коли послушаешься — жить будешь, коли нет — капут! — обернулся он к ней.

Она лежала на полу и истерически рыдала.

Он поднял ее с полу и на руках донес до кровати.

Екатерина Петровна купила жизнь дорогою ценою.

С чувством невыразимого омерзения вспомнила она теперь эту ужасную ночь.

Было раннее утро, когда она с Семидаловым снова села в повозку и выехала из Рыбацкого.

— Домчу я тебя, моя краля ненаглядная, в Тамбов, к брату, там ты погостишь, паспорт тебе оборудую... А сам вернусь да попрошусь у графа на службу в Питер, я хотя ему и слуга, но не хам, как ты меня вечер обозвала, потому я из духовенства, а брат у меня в Тамбове поваляничником в суде служит — чиновник заправский... Поселю я тебя в Питере в отдаленности, никто тебя под чужим именем не разыщет...

Так мечтал Семидалов.

Екатерина Петровна молчала и едва ли понимала то, что он ей говорил.

Она и теперь смутно припомнила все сказанное этим ее любовником поневоле, любовником-палачом, как она мысленно называла его и тогда, и теперь.

Далее несутся ее воспоминания.

Они приехали в Тамбов, проехали город и остановились у маленького домика в три окна за красной церковью; особенно осталась в памяти Бахметьевой эта красная церковь, да еще застава с орлами, которой оканчивалась улица, на которой стоял домик.

Все совершилось как по-писанному, что предполагал Петр Федорович. Брат и его семья, состоявшая из жены и восьмерых детей мал мала меньше, приняли очень радушно Семидалова и его спутницу и согласились на его просьбу, подкрепленную опять же шелестом ассигнаций.

На другой же день брат Петра Федоровича принес откуда-то вид на жительство девицы из дворян Зои Никитишны Белоглазовой, по году рождения подходившей к Екатерине Петровне.

Петр Федорович сам вручил ей его.

— Эта, что в виде значится, умерла года с два тому назад, значит, все в порядке, — заметил он.

В тот же вечер он уехал обратно в Грузино, наказав — это слышала Екатерина Петровна — беречь ее и присматривать за ней...

— Помните, это моя невеста, а я наградою не оставлю...

— Слушаем, братец, уж будьте покойны, — отвечали муж и жена.

Петр Федорович производил на нее какое-то подавляющее влияние страха и ужаса. При нем она не могла мыслить и рассуждать. Когда он уехал, то тяжесть спала с ее души, и в ее мозгу как будто рассеялся сгустившийся там туман...

— Из любовницы графа Аракчеева, попасть в любовницы его лакея... О, зачем я лучше не согласилась умереть! — начала тотчас думать она. — Ехать к нему в Петербург... нет, нужно бежать, хоть на верную гибель, но бежать...

На другой же день, чуть свет, пока хозяева спали и не успели учредить над ней надзора, она

убежала.

Мы знаем, что ее нашел полузамерзшую староста Тит и доставил в Москву к своей старой барыне Ираиде Степановне Погореловой.

Все эти воспоминания в какой-нибудь час пережила Екатерина Петровна Бахметьева, но силою своего характера стряхнула с себя их нравственную тяжесть, и даже вышла в тот же день к ужину прежней Зоей Никитишной Хвостовой.

VII

ПОДРУГА ДЕТСТВА

Прошло несколько дней.

Впечатление роковой встречи несколько изгладилось.

Екатерина Петровна окончательно пришла в себя, к великой радости ее мужа, удвоившего свою нежность с тех пор, как у него появилось отрадное предположение о причинах болезни его жены.

Он не переставал верить в эти причины, несмотря на то, что последняя несколько раз разуверяла его — ему так хотелось верить.

Жизнь Хвостовых вошла в свою обычную колею, и несчастная женщина не ожидала, что ей в очень недалеком будущем готовится новый удар.

Был первый час дня. Петра Валерьяновича не было дома, он куда-то уехал по делам. Ольга Николаевна сводила счета в кабинете, а Екатерина Петровна сидела в угловой гостиной за пальцами. Она вышивала мужу туфли и, надо сознаться, что вышивала не очень прилежно, так как работа была начата чуть ли не с первой недели после их брака.

В передней раздался звонок.

«Должно быть Петя!» — подумалось ей, и она спокойно продолжала работать.

В двери гостиной, подойдя неслышной походкой, появился лакей.

— Графиня Наталья Федоровна Аракчеева! — доложил он.

— Что-о-о! — не своим голосом вскрикнула Екатерина Петровна. — Что ты сказал?

— Графиня Наталья Федоровна Аракчеева! — бесстрастно повторил лакей, с удивлением глядя на вытарашенные, казалось, готовые выскочить из орбит глаза молодой барыни, на покрывшую ее лицо мертвенную бледность.

Она пересилила свое волнение, заметив, что лакей смотрит на нее с недоумением.

— Так доложи Ольге Николаевне, — сказала она и встала, чтобы уйти из комнаты.

— Их сиятельство не приказали беспокоить их превосходительство, а приказали доложить вам, так и изволили сказать: доложи молодой барыне.

Екатерина Петровна остановилась и чтобы не упасть, оперлась рукой на преддиванный стол.

— Где она?

— В зале...

Отступление было отрезано... Не принять было нельзя, доложить Ольге Николаевне, но она всегда просит ее, Зою, принимать приезжающих гостей вместе... Сослаться на нездоровье, но Наталья Федоровна может приехать и в другой раз, и в третий... верно, ей необходимо ее видеть... Лучше принять ее одной, без свидетелей, без старухи Хвостовой, и без того подозревавшей, что она, Зоя, знает графиню Аракчееву.

Все это мгновенно промелькнуло в уме молодой женщины вместе с той сценой, когда ей сделалось дурно во время чтения письма Василия Васильевича Хрущева, где он упоминал о графине Наталье Федоровне.

«Быть может, не узнает... столько лет...» — мелькнула в ее голове последняя надежда.

— Проси, — с дрожью в голосе сказала она лакею, а сама села в кресло у преддиванного стола, спиной к окнам.

Лакей удалился.

Прошла, быть может, одна минута, показавшаяся Екатерине Петровне целой вечностью. Все далекое прошлое, связанное с именем вот сейчас, сейчас имеющей войти в комнату графини, — пронеслось в уме молодой женщины.

В дверях гостиной появилась графиня Аракчеева. Екатерина Петровна поднялась и через силу пошла навстречу вошедшей.

— Madam la colonelle Chvostow?[11]

— Our, comtesse![12]

Екатерина Петровна приветливым жестом показала графине на кресло.

— Prenez place, comtesse![13]

Наталья Федоровна медленно подошла к креслу и села. Несколько минут она молчала, пристально вглядываясь в сидевшую против нее молодую женщину.

— Простите... Вы не узнаете меня? — спросила она, после долгой паузы.

— Вас, графиня? — дрогнувшим голосом произнесла Екатерина Петровна. — Я не понимаю.

— Положим, мы не видались столько лет, но так долго были связаны дружбой, которая не забывается, дружбой детства, — продолжала графиня.

Она с первого взгляда, как и Николай Павлович Зарудин, узнала Бахметьеву и это так поразило ее, что она позабыла ту тяжелую миссию, с которой она приехала к Хвостовым.

Екатерина Петровна, со своей стороны, напрягала все свои усилия, чтобы побороть охватившее ее внутреннее волнение при встрече со своей бывшей подругой, и при этих словах Натальи Федоровны, видимо, забывшей все зло, сделанное ей Бахметьевой и сохранившей в своей памяти лишь светлые черты их отношений в те прошлые далекие годы.

— Вы ошибаетесь, графиня, вы принимаете меня, видимо, за другую, я первый раз имею честь вас видеть, — с трудом, сдавленным голосом произнесла молодая женщина.

— Меня... в первый раз... Но это мистификация. Ведь вы урожденная Бахметьева...

Екатерина Петровна.

Смертная бледность покрыла лицо Екатерины Петровны. С минуту она молчала, опустив глаза.

— Вы ошибаетесь, графиня. Я урожденная Белоглазова, меня... зовут... Зоя Никитишна.

— Белоглазова... Зоя Никитишна... — машинально повторила Наталья Федоровна. — В таком случае, простите... я вам верю... более, нежели себе, своим глазам. Он прав, он мог ошибиться, — добавила она про себя.

— Кто он? Зарудин? — вдруг вскрикнула Екатерина Петровна.

Графиня вскинула на нее быстрый, вопросительно недоумевающий взгляд и встала.

— Вы мистифицируете меня. Вы — Катя Бахметьева!

Она узнала голос своей подруги, который с годами несколько изменился, но в момент невольного возгласа в нем явились знакомые ноты.

Екатерины Петровна сидела, как окаменелая: вырвавшийся у нее вопрос о Николае Петровиче Зарудине, вырвавшийся против ее воли, при помутившихся от необычайного волнения мыслях, ударил ее как обухом по голове.

Еще мгновение — мысли прояснились, и она с ужасом поняла, что далее отпираться невозможно, что этим нелепым вопросом она выдала себя с головой, что им она уничтожила закравшееся было, как она видела, в голову Натальи Федоровны, хотя и небольшое, но все же сомнение в том, что перед ней сидит ее подруга детства — Катя Бахметьева.

Молодая женщина вдруг сорвалась с кресла и упала к ногам Аракчеевой.

Это было так неожиданно быстро, что последняя не успела удержать ее.

— Талечка, милая, дорогая Талечка! Прости меня, не выдавай меня! — простонала Екатерина Петровна, силясь обнять ноги Аракчеевой.

Та быстро наклонилась к ней.

— Встань, Катя, встань! Что с тобой. За что прощать? В чем не выдавать?

— Я расскажу тебе все, как на духу, — несколько успокоившись, встала Екатерина Петровна.

— Я сама так несчастлива от этого невольного самозванства.

— Самозванства?.. — с удивлением посмотрела на нее графиня.

— Садись... вот сюда, в уголок.

Они сели на маленький диванчик, стоявший в глубине гостиной.

— Слушай!

Екатерина Петровна прерывающимся шепотом стала передавать Наталье Федоровне грустную повесть ее злоключений с того момента, когда для всех она сделалась самоубийцей. Она не упустила ни малейших ужасных подробностей и окончила рассказом, как она сделалась женой полковника Хвостова.

Графиня слушала с непрерывным вниманием, и эта искренняя исповедь подруги произвела на нее тяжелое впечатление. В ее чудных глазах, с любовным состраданием глядевших на

Екатерину Петровну, то и дело блестили крупные слезы. К концу рассказа они смочили все ее еще красивое лицо.

— Ты меня не выдашь. Ты не отомстишь мне этим за твою; разбитую жизнь... Хотя я и стою этого, но я и так достаточно наказана, — окинула графиню молодая женщина умоляющим взглядом.

— И ты можешь думать, что я на это способна? — вопросом ответила Наталья Федоровна. — У меня нет в душе против тебя ни малейшего зла. Ты, на самом деле, несчастна... и мне искренне жаль тебя. Но, быть может, Бог даст, все это никогда не обнаружится. У меня же твоя тайна, как в могиле.

В голосе Аракчеевой звучала такая правдивость, что Екатерина Петровна совершенно успокоилась.

— Я бы хотела обнять тебя и поцеловать, но... ты... слишком чиста... а... я...

— Кто из нас чище — судить будет Бог, — тоном искреннего убеждения произнесла Наталья Федоровна и заключила в свои объятия молодую женщину.

— Ты ангел... святая! — восторженно шептала Екатерина Петровна.

— Полно... полно... я так рада, что тебя встретила.

Обе женщины плакали.

В передней раздался звонок. Он заставил их обеих опомниться.

Они наскоро вытерли слезы и сели друг против друга в кресла около преддиванного стола.

Наталья Федоровна передала в коротких словах Екатерине Петровне причину ее приезда в дом Хвостовой.

— Это ужасно... несчастная! — воскликнула Екатерина Петровна.

— Кто несчастная? — спросил, поймав на лету восклицание жены, вошедший в гостиную Петр Валерьянович.

Екатерина Петровна смутилась, но тотчас же совладала с собой и представила его графине.

Он вежливо поклонился и сел.

— О чем ты плакала... и кто несчастен? — обратился он к жене.

— Я привезла вам тяжелые вести, которые я передавала вашей супруге, — отвечала за нее Наталья Федоровна и подробно передала Хвостову свою встречу с его сестрой на почтовой станции, рассказав, смотря на состояние больной, находящейся теперь в доме фон Зеemanов.

— Это ужасно! Вот негодяй. Он мне ответит за сестру! — воскликнул Петр Валерианович.

— Я приказала доложить о себе Зое Никитишне, чтобы подготовить к этому страшному известию вашу матушку.

— Да... да... я уж не знаю, как быть. Придется все-таки сказать ей теперь же.

Он вышел и через несколько минут вернулся в гостиную под руку с Ольгой Николаевной.

После взаимных представлений, Ольга Николаевна села на диван.

— Петя сказал мне... это страшный удар для меня, но я привыкла к ударам судьбы. Благодарю вас, графиня, за вашу заботу о несчастной. Она, впрочем, пожалала то, что посеяла.

Старуха, видимо, хотела казаться суровой и бессердечной, но по страдальческому выражению ее лица видно было, что она переживала в это время в душе.

— Я пришлю за ней карету, — продолжала она. — Ты съездишь, Петя.

— Конечно.

— Это неудобно. Она все равно никого не узнает, а ко мне она привыкла. Я привезу ее к вам сама сегодня же, — заметила графиня.

— Вы так добры. Заочно я с вами давно знакома по письмам моего несчастного племянника Хрущева, благодарю вас и за него, и за дочь, — сказала Хвостова, подавая руку Наталье Федоровне.

Графиня вспыхнула.

— За что же — долг всякого христианина, — ответила та, пожимая руку старухи.

— Мало что-то христиан у нас осталось, — с горечью заметила Ольга Николаевна.

Наталья Федоровна поднялась с места и стала прощаться.

VIII

НА ГРУДИ МАТЕРИ

— Ну, что, тетя Таля, видели вы молодую Хвостову? — был первый вопрос, заданный Лидией Павловной фон Зеeman Наталье Федоровне, по возвращении последней домой.

— Видела! — коротко отвечала та.

— Николай Павлович, конечно, ошибся?

— Ошибся, — ответила графиня Аракчеева и отвернулась от Лидочки, чтобы скрыть покрасневшее от этой вынужденной лжи лицо.

— Надо, однако, собрать больную, да нельзя ли велеть заложить карету? — тотчас зашепила она.

— Конечно, можно, я распоряжусь? — сказала Лидия Павловна и дернула за сонетку.

Наталья Федоровна из гостиной, в которой происходил этот разговор, прошла в свои комнаты, где Арина почти неотлучно сторожила Марию Валерьяновну.

Несчастливая женщина была все в том же положении, только казалась, если это было возможно, еще более исхудавшей.

Так же держала она у своей груди тряпочную куклу, принимая ее за своего ребенка, те же

заунывные звуки по целым часам оглашали комнату, в которой она сидела, бессмысленно устремив глаза в одну точку.

Эти глаза, впрочем, как будто потускнели и порой казались почти мертвыми.

— Поедьте к мамаше! — подошла к ней графиня Аракчеева.

— К мамаше, — бессознательно повторила больная, но все же беспрекословно положив свою драгоценную ношу на диван, позволила одеть себя.

Вошедшая горничная доложила графине, что карета подана.

— Хорошо, сейчас едем, — заметила Наталья Федоровна, между тем, как Арина надевала на голову Марья Валерьяновны капор.

— Готово! — сказала Арина, взяв под руку больную.

— Вы не возьмете с собой Арины? — спросила вошедшая в комнату Лидочка.

— Зачем это?

— Мало ли что может с больной случиться дорогою... а вы одни.

— Бог милостив, ничего не случится, — заметила Наталья Федоровна уже в передней.

Марью Валерьяновну усадили в карету, графиня села рядом и лакей, вскочив на запятки, крикнул кучеру:

— Пошел!

Карета покатила.

Известие о несчастном положении сестры и дочери как громом поразило Петра Валерьяновича и Ольгу Николаевну.

Первый был вне себя и грозил стереть Зыбина, погубившего его сестру, с лица земли. Петр Валерьянович любил Мери, как называл он сестру, но поступок ее с матерью был, по его мнению, таков, что он, по приезде в Москву, не решился сказать за нее даже слова защиты, хотя часто думал о ней, но полагал, что она счастлива с любимым человеком, которого его мать пристрастно описывает мрачными красками.

Эта мысль отчасти примиряла его с разлукой с любимой сестрой, несчастье которой его страшно поразило.

«Быть может, как женщина, графиня преувеличивает!» — мелькнула в его уме слабая надежда, когда он, нервно шагая по гостиной, поджидал Наталью Федоровну, обещавшую тотчас же привезти сестру.

Ольга Николаевна, несмотря на деланно резкий тон, с каким она приняла известие об участи оскорбившей ее дочери, была внутренне сильно потрясена рассказом графини Аракчеевой. Ее не было в гостиной — она удалилась в свою спальню и там перед ликом Того, Кто дал нам святой пример с верой и упованием переносить земные страдания, коленопреклоненная искала сил перенести и этот удар не балующей ее счастливыми днями судьбы.

Перед ликом Того, Кто сам был всепрощение, она, конечно, простила все прошлое своей несчастной дочери и, казалось, любовь к ней в ее материнском сердце загорелась еще сильнее, чем прежде. Ольга Николаевна молила Бога спасти ее, если это не идет в разрез Его божественной воле.

Суть этой молитвы была, впрочем, такова, что Ольга Николаевна всецело отдавалась на волю всеблагого Провидения.

— Да будет воля Твоя! — шептали ее губы и слова эти были произносимы с редкой верою и со смирением.

Она так забылась в молитве, что ожидаемый приезд дочери не томил ее трепетным ожиданием.

В передней раздался звонок.

С помощью выбежавшей прислуги Наталья Федоровна Аракчеева — это приехала она — ввела Марию Валерьяновну в переднюю, раздела и, поддерживая под руку, привела в залу, где их встретили Хвостов и его жена.

Родной дом не произвел, видимо, ни малейшего впечатления на больную: она глядела так же безучастно.

Петр Валерьянович при виде своей несчастной сестры положительно остолбенел — так незнаваемо изменилась она.

Все прошли в гостиную, где и усадили больную в одно из кресел.

Не узнавая никого из окружающих, она запела свою заунывную песенку.

Хвостов пришел в себя.

— Мери, Мери! — воскликнул он, подходя к сестре сбоку.

Она услышала зов и повернула голову в сторону Хвостова. В этих глазах не было ни проблеска сознания — она не узнала брата.

Петр Валерьянович отвернулся, чтобы скрыть крупные слезы, брызнувшие из его глаз. Он вынул носовой платок и стал усиленно сморкаться, незаметно для других вытирая слезы.

Екатерина Петровна при виде этой тяжелой сцены вдруг почти упала в кресло и горько заплакала.

На глазах Натальи Федоровны тоже блестели две крупные слезинки.

Ольга Николаевна, которой доложили о приезде ее сиятельства с «барышней», как выразилась горничная, медленным шагом, точно желая отдалить роковой момент свиданья с несчастной дочерью, вошла в гостиную.

Увидав сидевшую в кресле, качавшую сверток и напевавшую свою заунывную песенку Марию Валерьяновну, Ольга Николаевна остановилась в дверях и пошатнулась.

Она упала бы, если бы ее сын не подрос к ней и не поддержал ее.

— Несчастная, до чего довел ее этот ворон!.. — глухо произнесла старуха Хвостова, и на лице ее отразились нечеловеческие душевные страдания.

Она, однако, совладала с собой и даже, отстранив рукой помощь сына, подошла к дочери.

— Мери, Мери! Ты не узнаешь свою мать, свою маму.

Больная вдруг насторожилась при звуке этого голоса, перестала петь и подняла свои опущенные до этого глаза на мать.

С минуту она молча вглядывалась — в ее глазах, казалось, мелькало пробуждающееся сознание.

Вдруг она вскочила с кресла, выронив сверток, который покатился под ноги все продолжавшей плакать молодой Хвостовой.

— Мамочка, дорогая мамочка! — вскрикнула Марья Валерьяновна и бросилась на шею Ольге Николаевне, принявшей ее в свои объятия.

«Слава Богу... она пришла в себя!» — почти одновременно мелькнула одна и та же мысль у Хвостова, у графини Аракчеевой, и даже у переставшей плакать Екатерины Петровны.

Но в этот момент, среди воцарившейся в гостиной тишины, раздался какой-то странный хрипящий, протяжный вздох.

Это был последний вздох Марьи Валерьяновны.

На груди несчастной матери лежал бездыханный труп не менее несчастной дочери.

Ольга Николаевна сразу не поняла роковой смысл совершившегося и продолжала еще несколько минут держать в объятиях свою мертвую дочь, но вдруг заметила на своем плече кровавое пятно...

— Мери, Мери... Что с тобой... кровь... — растерянно заговорила она.

Петр Валерьянович догадался первый.

— Оставьте ее, мама, оставьте... Она теперь счастливее нас...

Он осторожно высвободил труп сестры из рук своей матери и понес его на руках к стоявшей кушетке.

— Умерла!.. — дико вскрикнула Ольга Николаевна и, как сноп, без чувств повалилась на пол.

Хвостов, уложив умершую на кушетку, с помощью сбежавшейся на крик прислуги унес бесчувственную мать в ее комнату, за ним последовали Наталья Федоровна и Екатерина Петровна.

Гостиная опустела.

На кушетке лежала мертвая Марья Валерьяновна, с широко раскрытыми глазами и с каким-то застывшим, радостным выражением просветленного лица.

Графиня Аракчеева пробыла около, через довольно долгое время, пришедшей в себя Ольги Николаевны до вечера и почти успокоила несчастную мать той искренней верой во Всеблагое Провидение, которую Наталья Федоровна всю жизнь носила в своем сердце и которую умела так искусно и властно переливать в сердца других.

Покойницу, между тем, обмыли, одели и положили на стол в той самой зале, где не более десяти лет тому назад восторженно любовались ее красотой ее мать и влюбленный в нее кузен Хрущев перед поездкой на загородный летний бал — бал, решивший ее участь.

Наталья Федоровна приехала к фон Зееманам совершенно потрясенная пережитыми ею событиями дня.

Она застала у них Зарудина и Кудрина и рассказала со всеми подробностями все происшедшее у Хвостовых.

Часто прерывала она рассказ, чтобы вытереть невольно лившиеся из ее глаз слезы.

Лидия Павловна еще до возвращения графини от Хвостовых сообщила мужу, Зарудину и Кудрину, что тетя Таля виделась с молодой Хвостовой и сказала, что это не Бахметьева.

— Я говорил, что он ошибся... — заметил Андрей Павлович.

— Фантазер... — сказал фон Зеeman.

Зарудин промолчал.

Вечером он уллучил минуту, когда остался с глазу на глаз с Натальей Федоровной и спросил ее:

— Это не она?

— Она не должна быть ею! — коротко отвечала Аракчеева.

Он понял все и не стал расспрашивать.

IX

ВДОВЕЦ

Похороны Марьи Валерьяновны Зыбиной состоялись на четвертый день после такой неожиданной, несмотря на плохое состояние ее здоровья и такой своеобразной ее смерти.

Прах ее был опущен в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Ново-Девичьего монастыря.

Отсрочка на один день произошла оттого, что необходимо было уладить некоторые формальности, ввиду отсутствия у покойной вида на жительство и внезапного отъезда ее мужа, Евгения Николаевича Зыбина, за границу.

Известие об этом отъезде принес дворецкий Ольги Николаевны Хвостовой, старый грамотный слуга, которому генеральшей поручались некоторые несложные дела.

Петр Валерьянович сам хотел ехать к этому извергу, палачу и убийце его сестры, но Ольга Николаевна и Екатерина Петровна воспротивились этому и убедили его отложить объяснение с этим «негодяем», как выразилась старуха Хвостова, до более благоприятного времени.

— Ты его этим не исправишь, а только устроишь скандал, и скандал совершенно несвоевременный, у еще неостывшего праха покойной, — заметила, между прочим, Ольга Николаевна.

— Я убью его! — запальчиво произнес Петр Валерьянович.

— Что же ты этим сделаешь? Ему благодеяние, себе погибель!

— Как, ему благодеяние?

— Несомненно. Насильственная смерть его зачтется ему перед справедливым и нелицеприятным Судьею и облегчит его участь там. Иначе же он предстанет перед Ним под

всею тяжестью содеянных им злодеяний.

— Это еще когда будет, а до тех пор он натворит еще много зла, надо пресечь ему эту возможность, надо вырвать эту худую, траву из поля.

— Кто тебя ставил над ним судьей и даже исполнителем этого суда? Если Господь Бог в своей неизреченной благодати допускает на земле зло и его носителей, то, значит, это входит в высшие цели Провидения, бдящего над миром, и не человеку — этой ничтожной песчинке среди необъятного мироздания — противиться этой воле святого Промысла и самовольно решать участь своего брата — человека, самоуправно осуждать его, не будучи даже уверенным, что суд этот не преступление самого совершенного ближним преступления.

— Вы договорились до абсурда, мамочка. Вы отрицаете право суда. Вы говорите против земного правосудия!.. — воскликнул Хвостов и вскинул на мать удивленные глаза.

— Ничуть, — спокойно ответила Ольга Николаевна, — я говорю не против права государства исторгнуть из своей среды вредного сочлена, и даже совершенно уничтожить его, я говорю о самоуправстве между равными членами этого общества, каковым самоуправством, несомненно, является убийство из мести, дуэль и тому подобные, самим государством признаваемые за преступные действия. Но если ты хочешь, то и суд земной, как учреждение человеческое, конечно, необходим, но зачастую далеко не непогрешим. Ты сам томился два года в заключении по необходимости, но не по справедливости.

— По какой это необходимости? — спросил Хвостов.

— Несомненно, что граф Аракчеев для пользы затеянного им, по его мнению, великого дела, нашел нужным устранить тебя и устранил, без всякой даже мысли, справедливо ли это, или несправедливо. Это было необходимо, а потому это и сделано. Не говорю не всегда ли, а скажу не часто ли в основу земных судебных приговоров кладется именно этот закон о необходимости.

Петр Валерьянович несколько времени молчал, как бы обдумывая все сказанное ему его матерью.

— Пожалуй, вы правы, проповедуя непротивление злу.

— Для тебя это ново, а между тем, это старо, как мир... — заметила старуха.

— А между тем, вы наказываете своих крепостных.

— По необходимости, а не по справедливости. Не думаешь ли ты, что я совершаю этим хорошее, богоугодное дело. Один Бог без греха...

На этом разговор окончился, но Хвостов, упрощенный кроме того и женой, остался в Москве, а в имение Зыбина с уведомлением о смерти его жены был послан дворецкий.

Он, как мы уже сказали, не застал в имении Евгения Николаевича.

На последнего, как и ожидала графиня Наталья Федоровна Аракчеева, ее имя произвело гораздо большее впечатление, нежели привезенный Петром Петровичем Власовым трупик его дочери и факт бегства его жены к своей матери.

Имя Аракчеева, действительно, имело еще значение громового удара для людей с нечистой совестью — у Евгения Николаевича разом выскочил его продолжительный хмелевой угар, он так любезно принял станционного смотрителя и прикинулся таким огорченным мужем и отцом, что старик совершенно размяк, даже прослезился и по возвращении домой сказал жене:

— Уж не знаю, матушка, что и подумать, барин такой нежный, ласковый, так по дочке и жене убивается, что ума я не приложу, не она ли сама всему этому причина: известно, баба, кошечкой прикидывается, а сама зверь зверем...

Софья Сергеевна накинулась на мужа.

— Ишь, рассудил, как по писанному... Баба да баба, а вы-то, мужики, какие, подумаешь, ангелы... Зверье дикое, только и всего. Да что говорить, поднес тебе стаканчик, ты и запел в его сторону, одного поля ягода, — пьяницы, свой своему поневоле брат... Ишь, что загнул, она в этом причина... Идол, право, идол... Тьфу... прости, Господи, мое согрешение...

Старушка сплюнула и вышла из комнаты, сильно хлопнув дверью.

— Ну, пошла, поехала... телега скрипучая... — послал ей вдогонку супруг.

Дня три-четыре Софья Сергеевна, действительно, не могла успокоиться и все ворчала на мужа за необдуманные слова.

Евгений Николаевич Зыбин, между тем, поспешил похоронить свою дочь и, забрав от старосты своего именица кой-какие деньжонки, помчался в Москву, чтобы издали следить за своей женой.

В Москве он не остановился в своем доме, который отдавал внаймы, а пристал на постоялом дворе, на Тверской-Ямской, откуда и совершал таинственные путешествия на Тверскую к генерал-губернаторскому дому и на Сивцев Вражек, где вел не менее таинственные переговоры с дворниками дома, где жила графиня Аракчеева, — он узнал ее адрес от Петра Петровича Власова — и дома Хвостовой.

Из этих источников он узнал о смерти своей жены, но, не дождавсь похорон, уехал в Париж за сыном.

Поездка эта была предпринята Зыбиным далеко не из чадолюбия — он, предпринимая ее, остался верен себе, и взять к себе сына решился чисто из материальных расчетов.

Денежные обстоятельства Евгения Николаевича в описываемое нами время были из очень тонких. Помощь богатой тещи ускользнула от него окончательно со смертью его жены, а потому он вспомнил о нескольких десятках тысяч франков, помещенных во французском банке на воспитание сына, и решил взять их для поправление своих дел, а сына отдать в один из московских пансионеров.

Месяца через два Евгений Николаевич привез своего девятилетнего сына Женю в Москву и, снова остановившись на том же постоялом дворе, отправился на поиски пансиона.

В то время частных пансионеров в Москве была тьма. Не была не только улицы, но даже и переулка, где бы не было вывески: «Пансион для благородных детей мужского пола», или «Пансион благородных девиц».

Гимназия в Москве была одна и далеко не была в том виде, как теперь, и потому дворянство предпочитало отдавать своих детей в так называемые «благородные пансионеры», хотя в сущности в них принимались всякие дети, лишь бы платили деньги.

В то время в пансион без «благородных детей» на вывеске никто бы детей и не отдавал.

Евгений Николаевич остановил свой выбор на пансионе Шлецера, и в один прекрасный день извозчицья коляска, в которой сидел Зыбин со своим сыном, остановилась на Мясницкой, у подъезда дома Лобанова-Ростовского.

У подъезда стоял швейцар, плешивый, в нанковом сюртуке. Он и проводил посетителей по лестнице вверх, затем через комнату, в которой находились шкафы с книгами и физическими инструментами, и ввел их в гостиную.

Дом Лобанова был отделан великолепно: паркетные полы, лепные карнизы и подделанные под мрамор панели, пилястры и амбразуры окон.

Через минуту в гостиную вошел один из содержателей пансиона. Это был доктор Кистер.

Он был мужчина толстый, с солидным брюшком; голова седая и плешивая, черты лица правильные, крупные и с выражением кислоты, принимаемой за глубокую ученость. На лице его сияла приветливая и вкрадчивая улыбка, которую он всегда принимал, когда привозили к нему отдавать детей. Походка его была торопливая, движения озабоченные.

— Вы господин Шлецер? — спросил его Зыбин. — Я доктор Кистер. Шлецер уже оставил пансион. Пансион мой, я директор!

После чего Кистер просил садиться.

Судьба Жени Зыбина была устроена в каких-нибудь полчаса. Евгений Николаевич договорился с директором, отдал вперед на год деньги и на обзаведение и, поцеловав сына, оставил его в пансионе.

Мальчик, привыкший к чужим людям, не выразил особой печали при расставании с отцом, как не выразил в Париже радости при свидании.

Зыбин был рад, что отделался от сына. Он спешил вырваться из Москвы, где боялся мести Хвостова, о намерениях которого проучить его узнал стороной, и в тот же день выехал на почтовых в Вильну.

Наталья Федоровна Аракчеева загостилась в Москве у фон Зееманов, встретила новый 1831 год и в конце марта этого года собралась было в деревню, но легкое нездоровье помешало осуществлению ее плана, и она задержалась в Москве еще на месяц, а затем в Москву долетели слухи о появлении в Петербурге и его окрестностях холеры, и Антон Антонович с Лидочкой положительно не отпустили от себя графиню.

Приближались летние месяцы 1831 года, принадлежащие к тяжким эпохам новейшей русской истории. Шла ожесточенная борьба и на окраинах, а внутри России свирепствовала холера, сопровождаемая народными волнениями и бунтом военных поселян.

К описанию этих событий мы и перейдем.

Х

В ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Кровавые события, совершившиеся в июле месяце 1831 года на берегах реки Волхова, сами по себе и по своим последствиям чрезвычайно интересны и поучительны.

Бесчеловечно замученные мятежными поселянами офицеры, а затем, в свою очередь, жестоко наказанные убийцы — были искупительными жертвами с одной стороны народного заблуждения, а с другой — тех порядков в военных поселениях, которые наступили со времени удаления от дел их творца — графа Алексея Андреевича Аракчеева.

В описываемое нами время военные поселения, начинаясь в шести верстах от Новгорода, тянулись по берегам Волхова на далекое пространство.

Занимая уезды Новгородский и Старорусский, они разделялись на четырнадцать округов; в каждый округ входили поселения одного полка, который делился на три батальона, а эти последние дробились на роты, капральства и взводы.

В 1831 году два действующие батальона из каждого поселенного полка ушли в поход против восставших поляков, как в царстве Польском, так и в западных русских губерниях, и в поселениях осталось по одному батальону от полка, резервные роты и строевые резервные же батальоны.

Таким образом, по Волхову вытягивались поселения полков: императора австрийского Франца I — между большой московской дорогой и Волховом, далее короля прусского, затем — полки имени графа Аракчеева, наследного принца прусского и другие.

Полки разделялись полями и лугами, принадлежавшими каждому округу; в самом округе каждая рота жила отдельно; имела свою ротную площадь, гауптвахту, общее гумно и риги; офицеры жили тут же, в особых домиках.

Все хозяйственные работы производились не иначе, как под надзором и по распоряжениям офицеров. Для руководства им издана была масса правил и уставов: о расчистке полей, рубке лесов, содержании в чистоте изб и прочем. Эти правила имели для офицеров и для военных поселян одинаковую силу с рекрутским уставом.

В лице поселенных офицеров сосредоточивалась власть и помещиков, и военных командиров. Палки, шпицрутены, розги, кулачная расправа — все это было в полном ходу.

Нельзя быть, впрочем, излишне строгим к лицам, прибегавшим к этим мерам: они были детьми своего времени, они были исполнителями той общей системы, которая была принята тогда относительно солдата — безразлично, как строевого, так и поселенного.

Заря нравственного возрождения русского солдата и признание, как в солдате, так и в крестьянине человеческой личности с правами на милосердие и справедливость к ней — была в то время еще очень-очень далека...

Внушение страха было задачей начальников от высших до низших, и на этом страхе покоилась дисциплина войск.

Зима 1830–1831 года была очень холодная.

26 декабря, около Новгорода, показывались на небе необыкновенные северные сияния, продолжавшиеся часа на три. Поселяне выходили из своих домов и, удивляясь небесному явлению, говорили между собой:

— Это не к добру; настали последние времена!

Некоторые вспоминали при этом комету, бывшую в 1811 году.

Весною 1831 года для содержания караулов в Новгороде и для приготовления к смотру начальника штаба, генерала Клейнмихеля, — все резервные батальоны выступили из округов; по недостатку в них офицеров, были командированы от поселенных батальонов ротные командиры, которые, по этому случаю, находились в Новгороде, а по окончании очереди, возвращались в свои роты к управлению хозяйственной частью; во время же их отсутствия, обязанность по этому предмету лежала на фельдфебелях.

По наступлении лета 1831 года, резервные батальоны выступили в лагерь, находившийся

при «Княжьем дворе».

В Новгороде тогда была чрезвычайная тишина. По базарам изредка показывались служивые для покупок.

С весны этого же года появилась со всеми ужасами эпидемия, неизвестная до того времени в России — холера: множество народа сделалось ее жертвою.

Наконец, она достигла до Петербурга и дала здесь повод к народному волнению.

О причинах холеры, в особенности после вызванных ею волнений, пошли в народе самые нелепые толки.

Высланный из столицы простой народ, проходя мимо военных поселений, распространял слухи, что холеры, как болезни, не существует, но что поймано множество злодеев, отравляющих съестные припасы и даже целые реки.

Поселяне с любопытством слушали эти рассказы, по врожденному простому народу легковерию принимали их за истину и тем более увлекались этими бреднями, что болезнь появилась уже тогда в Новгороде и в округах поселения.

Бригадный командир, генерал-майор Томашевский, предписал по всем округам: постановить секретным образом журнал о предосторожностях против холеры.

Батальонный командир, подполковник Бутович секретно же уведомил об этом ротных командиров, которые и собрались в квартире Бутовича.

Принятые собравшимися меры состояли, главным образом, в том, чтобы удерживать поселян от отпусков из рот, для чего была расставлена на границах округа стража, учредить карантин и во всем наблюдать чистоту.

Во время рассуждений об этом, в комнату вошел аптекарь Гопольд и, слыша разговоры, заметил Бутовичу, что он только что возвратился из Новгорода, где слышал о высочайшем повелении об уничтожении карантин во всех городах.

Это известие очень удивило присутствующих.

Тем не менее, журнал был составлен и отправлен по начальству.

Вскоре поселяне, узнав, что все ротные командиры собирались на квартире полковника, и не зная причины этого собрания, стали переходить от одного предположения к другому и, наконец, выдумали, что господа офицеры собирались для составления подписки об отравлении поселян ядом.

Эти толки послужили к возбуждению между ними недоверия к начальству.

К этим толкам присоединились еще другие, что-де карантин и больницы не прекращают, а плодят холеру, и что, будто бы, воду и огородные овощи отравляют посыпанием яда неблагонамеренные люди, «господа», как толковал народ, подкупленные поляками, стремящимися из чувства неприязни к России отравить русский народ под предлогом холеры.

Некоторые уверяли, что, будто, холера ходит в глухую полночь по улицам в виде страшной женщины, одетой в саван, которая если к чьему дому подходила, то там на следующий день непременно кто-нибудь умирал из семейства.

По этому поводу на многих домах прикреплялись над входными дверями таблички с

надписью: «Дома нет», или же с псалмом: «Живый в помощи Бога небесного».

Носилась также молва, будто холера показывается на реках в виде темного облачка, особенно по утрам и вечерам, и если кто, не догадавшись, черпал с этим облачком воду, то все употреблявшие ее непременно умирали холерой.

В это время из лагеря, при Княжьем дворе, отделен был отряд и составленные из него маршевые батальоны отправлены к Санкт-Петербургу, но, не доходя станции Чудово, были возвращены обратно в лагерь, куда они и направились поспешно проселочными дорогами.

Вскоре по прибытии их туда, в городе Старой Руссе и округах 2-й и 3-й гренадерских дивизий сделался неслыханный мятеж. От старорусского мятежа заразились почти все округа возмутительным духом.

В России давно не было таких бедственных происшествий; неистовый народ ожесточился до такой степени, что, забыв верность и присягу, данную государю, дерзнул варварским образом убивать своих начальников, предавал их тиранскому мучению, и, наконец, намеревался истребить всех офицеров, находившихся в поселениях, не щадя при этом их семейств.

Сама природа изменилась в то время и явила картину прогневанных небес.

Везде горели леса, трава на лугах, а местами выгорали целые поля, засеянные хлебом. Густые облака дыма носились в воздухе и затмевали солнце, выжженная земля громадными пустырями виднелась во все стороны.

По вечерам воздух сгущался до того, что с улицы в окна дым проникал в комнаты.

По ночам воздух наполнялся непроницаемым туманом, от которого утренняя роса была причиною большого падежа скота.

Рожь поспевала в первых числах июля.

В предшествовавшую зиму иней на деревьях нарастал в виде щетины на вершок, молодые деревья инеем пригибало к земле или ломало, или раздирало сучья; река Волхов обмелела необычайно.

Народ, под влиянием всех этих обстоятельств, также был в унынии: многие поселяне уже умирали холерою; другие, предубежденные против этой болезни, полагали, что умершие — жертвы отравы.

Некоторые поселяне по ночам стерегли колодцы.

Впрочем, о старорусском мятеже во 2-й роте императора австрийского Франца I поселенного полка не было говорено еще явным образом, по крайней мере, поручик Василий Васильевич Хрущев, командуя этою ротою, ни от кого не слыхал об этом происшествии.

Но скоро ему воочию пришлось увидеть этот русский, беспощадный, бессмысленный бунт.

XI

И СМЕХ, И ГРЕХ

Начало серьезных народных волнений в Новгородской губернии произошло в Старой Руссе, хотя и в самом Новгороде не обошлось без некоторых инцидентов.

Последние имели подчас трагикомический, а то и совершенно комический характер, так лаконично красноречиво определяемый народной поговоркой: «И смех, и грех».

Под влиянием упомянутых нами циркулировавших в народе слухов, что холера не больше, как одна лишь выдумка, смертоносность же происходит единственно оттого, что «господа», будучи подкупаемы поляками, отравляют озера, реки и колодцы и даже грибы и ягоды в лесах, новгородцы, под предводительством купца С-ва, составили общество для преследования и уничтожения мнимых отравителей.

Один проезжий из Петербурга надворный советник, переехав волховский мост, вышел из коляски, чтобы тут же в обжорном ряду, где на столиках продавались горожанками разные припасы, купить себе что-нибудь из съестного на дорогу.

Обойдя несколько торговых, набивавшихся ему со своими пирогами с рыбой, печенкой, бараниной и прочим, он купил что-то у одной из них.

Это возбудило в прочих торговках зависть, и они закричали в один голос, что этот господин, ходя между их столиками и прилавками, сыпал на них какой-то порошок. По всей вероятности, он нюхал табак.

Услышав этот крик, рядские сбежались и, не говоря ни слова, начали немилосердно бить проезжего, и, наконец, всей ватагой, человек до сорока, привели прямо к губернатору, для поступления с ним как со злодеем-отравителем.

Губернатор, хотя был весьма вспыльчивого нрава, но на этот раз умел сдержаться.

Не подав ни малейшего вида негодования на столь наглую и противозаконную буйство, он довольно кротко сказал горожанам:

— Оставьте этого господина у меня. Я прикажу произвести над ним строжайшее следствие, а вы ступайте себе по своим местам, и на будущее время, если кто покажется вам подозрительным, то ведите его прямо ко мне, но отнюдь не самоуправствуйте и не причиняйте ему никакой обиды.

— Слушаем, ваше превосходительство, — отвечали горожане, и, совершенно довольные губернатором, разошлись тихо и спокойно по своим домам. После этого никакого буйства со стороны их не происходило.

Что же касается надворного советника, то губернатор, обласкав и успокоив его, отпустил в ночь благополучно следовать в дальнейший путь.

Другой случай был следующий: один бедный старичок, отставной приказный, шел из Антониева монастыря берегом реки Волхова и на дороге, понюхав табачку из бумажки, бросил ее с остальной пылью в воду. Увидав это, бывший на барках приказчик и рабочие закричали:

— Смотрите-ка, ребята, ведь это он реку-то отравляет.

Несколько человек тотчас же соскочили на берег и избили невинного старика до такой степени, что он едва мог дотащиться до квартиры и на другой день умер.

В Старой Руссе волнения приняли еще более серьезный характер.

Летом 1831 года поселяне двинулись полчищем человек до трехсот на этот город. Они были вооружены косами, вилами и кто чем попало.

Здесь, под смертельными угрозами, они принудили архимандрита, настоятеля монастыря,

выйти с крестным ходом на городскую площадь и привести всех их к присяге, чтобы действовать всем им заодно и друг другу не изменять, за что архимандрит впоследствии был лишен монастыря и предан уголовному суду.

Затем злодеи разгромили городскую аптеку, заставив аптекаря пробовать лекарства из всех склянок и банок, в удостоверение, что он не отравляет ими воду. Это стоило ему жизни.

Наконец, засекли до смерти полицеймейстера, майора Манжоса, и труп его привязали к хвосту лошади, которая таскала его по мостовым улиц до тех пор, пока не остался только безобразный костяк.

Особенно немилосердно относились поселяне к аптекарям и докторам. Назначенный на должность оператора новгородской врачебной управы — врач Белопольский — был застигнут поселянами на дороге к Новгороду.

Они окружили его и стали расспрашивать, кто он такой?

— Я оператор Белопольский! — отвечал он им, думая озадачить их этим громким званием.

— А, так ты польский император? Эге, ребята! Вот какой зверь нам попался. Это не простой какой-нибудь полячишка — бродяга, а, видишь, вздумал уже приехать в Россию и губить людей сам их нехристь-император! Нечего же на него смотреть, давайте веревку. Повесить проклятого!

И действительно, привели было Белопольского к воротцам, какие обыкновенно бывают при въезде в селения, накинули уже на шею веревку, и только что хотели вздернуть его на перекладину воротца, как на счастье доктора налетел исправник, разогнал толпу и спас жизнь мнимому императору.

Волнения поселян усиливались еще тем, что когда в поселениях стали многие умирать холерой, то, чтобы не было ни малейшей задержки в похоронах умирающих, военные начальники распорядились заблаговременно заготовить могилы, гробы и известь для засыпки гробов. Это распоряжение сильно возмутило умы поселян и уверило их в мнимом отравлении.

— Ну, братцы, нас уже заживо хоронят! — говорили они.

В числе собственно медицинских мер предписывалось, чтобы в каждом селении, при въездах в них, постоянно курились навозные кучи, чтобы жители воздерживались есть кислое, соленое и незрелые плоды; наконец, чтобы в каждом селении у старост было в готовности вино, настоенное стручковым перцем для растирания заболевающих и употребления внутрь.

Все это привести в исполнение возложено было на попечителей и смотрителей, избранных из дворян.

Последние стали действовать весьма ревностно, и даже иные чересчур энергично.

Предписав сельским жителям отнюдь не употреблять в пищу ничего кислого, соленого, рыбы и сырых плодов, они, невзирая ни на какие просьбы крестьян и на горькие слезы баб, заставляли выливать квас в навоз, а капусту, редьку и другие овощи выкидывать за селение в овраги, так что крестьянам приходилось терпеть самый изнурительный пост.

Смотрителей это не трогало.

Один из них, какой-то не служащий дворянин, напав в селении своего участка на торговца, развозившего по деревням для продажи свежую рыбу, в порыве неудержимой ревности, приказал мужикам обложить воз торговца хворостом и соломой и сжечь среди селения со

всею поклажею и упряжью, едва дозволив отпрячь лошадь.

Несчастный торговец обратился с жалобой к предводителю, но тот улыбнулся и сказал:

— На этом человеке во всей точности сбываются слова писания: «Имать ревность, но не по разуму».

Просителю же он объявил, что крайне жалеет о понесенных им убытках, но к удовлетворению ничего сделать не может, так как у смотрителя нет никакого состояния и взыскать с него нечего.

Торговцу, над возом которого было совершено такое оригинальное ауто-да-фе, ничего не оставалось, как отправиться восвояси верхом на оставшейся ему лошади, с пустыми руками.

Другой смотритель ни на что не обращал столько внимания, как на то, чтобы в каждом селении непременно была запасена перцовка.

При постоянных разъездах по участку, заезжая в каждом селении к старосте, он обыкновенно всякий раз требовал перцовку налицо для свидетельствования.

— А что, любезный, — скажет он бывало старосте, — перцовочка у тебя водится?

— Как же, ваше благородие, два штофика имеется, как изволили приказывать.

— То-то же... так и надобно. Принеси-ка мне посмотреть, да захвати стаканчик.

— Извольте, батюшка, посмотрите, вот вам обе посудинки. Не взыщи, кормилец, что стаканчик-то маловат.

— Ничего, братец, годится.

Поболтав оба штофа и посмотрев их на свет, смотритель всякий раз наливал стаканчик и выпивал его залпом, отчего захватывало у него дух и он несколько минут оставался с открытым ртом.

Наконец, проперхавшись, он говорил:

— Добре, добре, брат староста! Настоено как следует. Дай-ка кусочек хлебца с солью, а перцовку убери; но нет, так и быть, налей еще стаканчик из другого, на дорожку. Ну, теперь убирай! Да смотри у меня, долей непременно, чтоб оба штофа всегда были целы, забузую тебя, ракаля!

— Слушаю, сударь, будьте покойны; все будет исполнено.

Выпив второй и закусив, смотритель, посидев немного, с тяжелой головой и с жжением в глотке отправлялся в другое селение, где происходила та же история с перцовкой.

Система устроенных карантинных была тоже весьма своеобразна и могла едва ли достигать какой-нибудь полезной цели, кроме обременения жителей.

Зачастую при въезде в селения происходили такие сцены:

— Смотри, брат, на эту большую улицу не въезжай, а то беспрременно попадешь в карантин, — говорили встречные поселяне.

— Да разве тут неблагополучно?

— Нет, слава Богу, холеры пока здесь не слыхать, да так уж, стало быть, приказано, что кто

поедет по этой улице, то и прощай! Сейчас подхватят тебя в избу и давай курить каким-то снадобьем, так что другой еле-еле жив останется!

— Где же проехать?

— А вот возьми левее, в другую улицу... Тут проедешь, как угодно, и никто не тронет.

Носился даже слух, что одного семинаристика, который шел домой из старорусского училища, закурили в карантине до смерти. Он, по незнанию, пошел по неблагополучной половине дороги, так как последняя в некоторых местах в карантинном отношении делилась на две половины, по правой можно было пройти свободно, а шедших по левой забирали в карантин и окуривали.

Такие порядки и меры естественно не могли внушать к себе доверия и только волновали умы невежественных поселян, которых, к тому же, смущали еще разные злонамеренные проходимцы, не без некоторого участия польского влияния.

XII

ИЗ-ЗА БАБЫ

15 июля 1831 года Василий Васильевич Хрущев получил предписание батальонного командира распорядиться помещением на квартирах имеющую прибыть 7-ю фузелерную роту, которая плыла по Ильменю на катерах; было приказано разместить ее по гумнам и не допускать новоприбывшим никакого сношения с поселянами.

Едва Хрущев успел обо всем распорядиться, как увидел роту, идущую с песнями по дороге. Командир роты, поручик Забелин, отведя людей в назначенные им гумна, зашел к Василию Васильевичу и, между разговорами, сообщил ему, что в Старой Руссе беспокойно, хотя не мог сообщить никаких подробностей волнения.

Забелин вскоре ушел на свою квартиру, а Хрущев, объехав свою роту и, не найдя никаких беспорядков, возвратился на ротный двор для отдачи приказаний собранным на дворе десяточным унтер-офицерам.

Последние доложили ротному о согласии военных поселян, вместо сбора с них для пожарных лошадей по 9 пудов и 33 фунтов сена, скосить всею ротою сообщая с берегов Витлинского ручья траву.

Василий Васильевич велел для этой цели снаряжать со следующего дня нужное число людей.

На другой день 16 июля в 8 часов утра он вышел для осмотра этой работы.

Шедший за ним унтер-офицер говорил поселянам тихо, но так, что Хрущев мог услышать:

— Ну, что же вы сами не говорите командиру?

Поселяне молчали.

Когда же Василий Васильевич прошел некоторое расстояние, то тот же унтер-офицер сказал:

— Люди не желают косить общим порядком, но хотят сдавать сено каждый от себя, по той причине, что они не имеют летошнего сена; свое же остается еще не скошенным.

— Кто из вас не желает косить? Выходи вперед! — обратился к поселянам Василий Васильевич, выслушав унтер-офицера.

Все отвечали в голос:

— На этом покосе у нас лучшая трава! Если мы сдадим лучшее сено, то у нас у самих мало останется хорошего... В общих покосах, кидаемых по жребью, иному достанется в часть одна дурная трава...

— Зачем же вы согласились вчера, а сегодня на попятный? — заметил Хрущев и приказал продолжать работу.

Поселяне повиновались.

Это было часу в одиннадцатом утра.

Через несколько времени прибежал к Хрущеву кантонист и заявил, что у Витлинского поста пойманы унтер-офицер шоссейной команды и баба, у которых найден яд.

— Их поселяне подозревают в отравлении — заметил кантонист.

Василий Васильевич тотчас же выехал на большую дорогу и встретил здесь толпу поселян, которые вели солдата и женщину.

У первого были связаны руки за спину и лицо избито до крови.

— Как вы смели отлучиться от своей работы? — обратился он к ним.

— Можно ли быть нам на работе, когда этот злодей сыплет яд в воду? Он, может быть, отравил ручей, из которого теперь нельзя пить воду. Да если бы мы его не поймали, то он всыпал бы яд в варившуюся на берегу кашу; шутка ли, сколько бы поморил народу. Мы не отступим от него до тех пор, пока не откроет нам и других подобных злодеев.

Поселяне показывали на найденную при унтер-офицере купоросную кислоту и хлоровую известь и были страшно возбуждены.

Хрущев, выслушав поселян, подошел к пойманному унтер-офицеру и спросил:

— Ты откуда и зачем попал сюда?..

— Ваше высокоблагородие, — взмолился унтер-офицер, — все это одна моя глупость... Баба мерзкая, давно живу я с ней, привык, сбежала от меня, захотел ее пострадать, побег за нею, да с дурости, захватил с собой эти снадобья... А она, охальная, стала меня же стращать, что пойдет в Нижний земский суд жаловаться на побои... Не стерпел я, повалил ее на землю и хотел ударить, а она «караул» крикнула... На крик-то и набежали люди, да и захватили нас, а у меня нашли снадобья... Их роздал по шоссейным казармам нам доктор для окурки от худого воздуха и от холеры... Ослобоните, ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние...

— Голова не приказал выдавать их начальникам, пока они не воротятся из новгородского Нижнего земского суда! — крикнуло несколько поселян.

— Какой голова? — спросил Василий Васильевич.

— Иван Иванов! — слышался ответ.

Унтер-офицер 7-й фузелерной роты объяснил, что застал обоих обвиняемых в таком положении: шоссейный унтер-офицер, повалив женщину на землю, давил ей коленом грудь и

хотел влить ей яд в рот; но она, ударив рукою по склянке, вышибла ее из рук, после чего свидетель нашел пузырек этот в траве.

— У них много еще этого яда в сундуках! — крикнула баба.

— И в Новгороде не один раз ловили таких злодеев, но губернатор также ничего им не делал, а отпускал их на волю... — слышались голоса.

— Ведите их в ригу, там допросим! — крикнул поселянам один из унтер-офицеров.

Толпа повела пойманных большою дорогою в ригу.

— Ведите их на ротный двор! — приказал Хрущев, но поселяне, не слушая его, повернули к гумну, где стали снова допрашивать захваченных.

В это время подъехал резервного батальона майор Баллаш и хотел вместе с Василием Васильевичем разогнать толпу.

— Покамест ты цел, убирайся отсюда, а не то... — крикнули почти в один голос поселяне, и некоторые из них даже пытались схватить за узду его лошадь.

Однако, Баллаш вместе с Хрущевым благополучно возвратились на квартиру последнего, и Василий Васильевич вкратце написал рапорт батальонному командиру и с конным унтер-офицером отправил его в штаб.

— Лучше бы простой запиской уведомили, а то по рапорту это происшествие сочтется за весьма важное, — заметил Баллаш.

В это время на гумне происходили следующие сцены: одна часть поселян была в риге, другая сидела при большой дороге и громко рассуждала о происшествии. К этим группам присоединились поселяне и из других рот.

Явившиеся на гумно поручики Чернцов и Забелин, увидав, что все вышли из повиновения, отправились к своим ротам.

Вскоре в квартиру Василия Васильевича прибыл батальонный командир, полковник Бутович, и, выслушав подробный доклад Хрущева, отправился вместе с ним к риге.

Когда они вошли в нее и подошли к толпе, воцарилась глубокая тишина, но перед этим поселяне, видимо, о чем-то сговаривались.

— Что вы тут бездельничаете и самовольничаете? — крикнул на них Бутович. — Как смели вы схватить шоссейного унтер-офицера и в чем вы его подозреваете?

— Если бы мы его не поймали, то никого бы и в живых не осталось, — слышались возгласы поселян. — Он нам признался, что у них по всем казармам роздан яд, по приказанию начальства и докторов.

— Вот до чего дожили, что само начальство начало морить нас! — кричали другие.

— Вот и яд, стало быть, все подкуплены, — заявляли третьи.

— То, что вы называете ядом, употребляется, напротив, с пользою: это хлорная известь, которою окуриваются казармы и дома для очищения воздуха. Я сам делаю это, — заметил Бутович.

— Знаем, какая это окурка, она насквозь прожигает; а по-нашему, это — мышьяк, — отвечал один из поселян.

— Молчать, мерзавец! — напустился на него полковник. — Сегодня громко кричишь, но я тебя проучу, завтра пойдешь сквозь строй.

Не успел он договорить последних слов, как толпа вдруг стала подвигаться, как один человек.

— Сквозь строй, кого? За что? Пусть всех нас гонят сквозь строй!

Поселяне подвигались все ближе и ближе; глаза их сверкали, лица были бледны и искажены злобою, у многих у рта была пена.

Картина была полна холодного ужаса, усугубленного наступившей мертвой тишиной.

Стоявшие сзади толкали передних на Бутовича и Хрущева, и последний, опасаясь за батальонного командира, толкнул ближайших к нему и закричал:

— Осади, осади, что вы осмеливаетесь делать?!

Толпа также тихо продолжала наступать. Вдруг раздался крик:

— Вот сама холера приехала!

Хрущев оглянулся и увидел штаб-лекаря Богоявленского, вызванного Бутовичем для разъяснения поселянам свойств найденных при унтер-офицере снадобий. Доктора ввели под руки в середину толпы.

Последняя кричала:

— Ура, ура... сюда... сюда его!

— Говори, где у тебя яд? — сыпались вопросы и поселяне с поднятыми руками, вооруженными шкворными и вилами, окружили Богоявленского.

Василий Васильевич с Бутовичем остались в стороне и направились было к выходу, когда к первому подскочил один из бунтовщиков и схватил за руки.

— Куда? Не уйдешь...

Но один из унтер-офицеров роты Хрущева толкнул его так, что тот упал.

— Уйдите, ваше благородие, отсюда! Видите, как народ озлился, — сказал унтер-офицер и вывел Василия Васильевича из риги.

Полковник Бутович, между тем, выбежал с другой стороны, маленькие кантонисты бежали за ним и бросали в него грязью.

Вскоре из риги выскочил и доктор Богоявленский и побежал по пашне, едва держась на ногах, весь избитый и оборванный, то и дело падая и торопясь опять подняться. Наконец, выбившись совершенно из сил, он упал у полевой канавки и уж не мог встать.

Два поселянина подбежали к нему, схватили под руки и повели опять в ригу. Туда принесли пустой сундук и скамейку, посадили на нее доктора и стали допрашивать, страшая смертью, если он не сознается в отравлении поселян ядом.

— Нам уже известно, — говорили поселяне, — что все начальники недавно сделали подписку отравить нас, то говори нам, кто подписался?

На сундук поставили чернильницу и положили лоскуток бумаги и требовали, чтобы доктор

написал имена «подписавшихся на холеру». Доктор сперва отвечал, что не знает ни о какой подписке, что холера распространилась по всей Европе и, идя полосой, оставляет за собою заразительный воздух, для очищения которого хлорная известь самое лучшее средство.

Ему не дали кончить и стали снова бить.

— Что его слушать! Давайте веревку, повесим его! — крикнуло несколько голосов.

Богоявленский, испугавшись, стал писать имена всех начальников и сам подтвердил, под угрозой неминуемой смерти, что была «подписка». Поселяне обрадовались этому заявлению, и не спрашивая уже более ни о чем, закричали:

— Более ничего не нужно! Вот доказательство, что нам отравляют!

Совершенного избитого, почти мертвого Богоявленского положили к стороне. По счастливой случайности, в составленный им список не был внесен Василий Васильевич Хрущев.

XIII

РИГА-ГРОБ

Несмотря на нанесенные оскорбления и явную опасность, Василий Васильевич Хрущев остался верным долгу службы и подошел к разъяренной толпе поселян.

— Ребята, неужели вы мне не доверяете? До сих пор я всегда был вами доволен и теперь уверен, что меня послушаете! Скажите мне, что вы вздумали делать?

— Пусть распустят резервный батальон из риг! — закричали ему. — Зачем их там поставили? Небось, думают, что солдаты будут с нами драться? Да мы их кольями закидаем, да и как они осмелятся! Когда уже на то пойдет, то мы в штабе кирпича не оставим!

— Послушайте, — возразил Хрущев, — то, что вы намерены делать, есть уже возмущение, нарушение закона и присяги! Рано или поздно, вы вспомните меня, что я вам говорил правду; по крайней мере, вы можете сколько-нибудь загладить ваши поступки, уговорив товарищей ваших от дальнейших бесчинств... Да и в чем претензии ваши? Вы хотите, чтобы содержался малый карантин для сбережения вашего же здоровья?..

Слова, однако, были напрасны.

— Мы видим из речей ваших, — перебили его поселяне, — что вы еще ничего не знаете и имеете простую душу; посмотрите, как нас морят; в магазине, верно, весь хлеб отравлен; нет места, где бы не было положено яду. Страшно подойти к колодцам; куда ни пойдешь, везде думай о смерти — и от кого? От начальников, ведь нам все открыл Богоявленский.

Другие при этом кричали:

— Ступай, ступай с Богом!.. Счастлив, что ты не подписался, а то бы и вашему благородию худо было; мы знаем, кого ищем!

Василий Васильевич продолжал их усовещевать, но, наконец, сказал:

— Если вы забыли долг ваш и верите каким-то злодеям более, нежели мне, то поверьте, что за вину вашу получите достойное наказание! Вспомните, что я, как начальник ваш, не желаю ни вам, ни себе чего-нибудь вредного.

Он подошел к полковнику Бутовичу, уже сидевшему в своем кабриолете и тихо говорившему с приехавшим из штаба верхом майором Султановым.

Хрущев рассказал ему о своей неудачной попытке уговорить поселян.

— Мне кажется остается одно средство — ехать в Новгород к генерал-лейтенанту Эйлеру или к губернатору, на словах донести о происшествии и просить распоряжения, — заметил Султанов.

— Верно, верно, поезжайте, пожалуйста, — обрадовался этой мысли Бутович.

Султанов тотчас же отправился в путь задворками.

Бутович тоже ударил по лошади и шибко поехал к другой риге, в которой была расположена 7-я фузелерная рота.

Имея надежду на эту роту, полковник хотел с ее помощью восстановить порядок.

Командир роты, поручик Забелин, выстроил ее в полной амуниции, и Бутович, ласково поздоровавшись с людьми, сказал:

— Ребята! Я твердо уверен, что вы сохраните честь свою! Вы — примерная рота.

Гробовое, зловещее молчание было ему ответом.

— Вам известно, — продолжал он, — что поселяне, эти грубые и необузданные мужики, наделали глупостей и беспорядков... Я вполне уверен, что вы далеки от того, чтобы забыть присягу, вами данную... Надо образумить бунтовщиков, если же они продолжают беспорядки, то для удержания их от буйства, позволяю вам сделать несколько холостых выстрелов и, сколько возможно, стараться не допускать их до дерзостей.

— Это мы не можем сделать, стреляют только в неприятеля! — отвечали из фронта.

За этими словами послышался общий ропот.

— По крайней мере проводите меня в штаб, — заговорил Бутович, видя настроение солдат, — где вы будете держать караул и получать от меня винную и мясную порции...

— Нам не нужна ваша порция, а отпустите из риги по квартирам, а то здесь еще нас отравят!..

— Какой он нам начальник, коли подговаривает в нас стрелять! — крикнуло несколько стоявших вблизи поселян, видимо, наблюдавших за Бутовичем.

Они побежали к своим и рассказали, что полковник сулит солдатам по сто рублей, чтобы в них стреляли.

— А, коли так! Пойдем же все туда и возьмем его!

С этими словами поселяне, пешие и бывшие на лошадях верхом, бросились к 7-й роте.

Бутович стоял рядом с поручиком Забелиным перед ротою, все еще бывшею во фронте.

— Здравия желаю вашему высокоблагородию! — подошли к нему несколько поселян, а один из них, подойдя еще ближе, прибавил:

— Желаете ли умереть с покаянием?

Злодей ударил полковника по голове, сорвал эполеты и крикнул:

— Берите его! Он нас бы всех уморил и не дал бы покаяния — ведь от него у нас и холера.

Поручик Забелин выхватил у одного из солдат ружье и обратился к роте:

— Чего же вы смотрите, вперед, за мной, колите их, мужиков!

Рота не шевельнулась, а молодого офицера постигла печальная участь.

Ружье у него тотчас вырвали, самого свалили с ног и начали бить ногами. Он лишился чувств.

Злодеи думали, что он мертв, и оставили его. Он, опамятовавшись, пополз к роте, которая, вместо того, чтобы защитить его, отступила назад.

Один из поселян подскочил к несчастному и за ноги перетащил через канаву, где уже лежал совершенно избитый Бутович. Связав вожжами от его же лошади, запряженной в кабриолет, они повели их с криком и гамом большой дорогой.

Впереди вели лошадь с кабриолетом, а за ним связанных офицеров. Облака пыли, поднятой толпой, отчасти скрывали подробности этой ужасной картины.

Хрущев положительно потерялся и, рассчитывая, что из командуемой им роты найдутся благоразумные поселяне, обратился к некоторым из них уже не тоном приказа, а просьбы, чтобы они, собравшись, противодействовали убийствам, но на все убеждения они отвечали:

— Что мы сделаем против целого батальона, да и резервный батальон им поможет, тогда пропали мы и наши семьи, да и вашему благородию лучше скрыться, а то пропадете даром, вишь, как народ озлился...

Василий Васильевич, видя свое бессилие усмирить бунтовщиков, пошел к себе на квартиру.

Между тем, толпа, сопровождавшая двух жертв долга и службы, придя на ротную площадь, остановилась и начала снова бить Бутовича и Забелина чем попало, и, совершенно бесчувственных, их потащили в ригу, где положили рядом с умершим Богоявленским.

На площадь со всех сторон скакали верхами поселяне, вооруженные копьями с насаженными на них штыками и другим оружием.

За бежавшими поселянами 4-й роты прискакал их ротный командир, поручик Панов.

Его обступили поселяне и приняли в колья.

Вырвавшись из рук злодеев, он побежал от них пашнею, но его тотчас же поймали, повалили и начали снова бить кольями.

Один из поселян, зайдя к нему с головы, сказал:

— Ты сам из нашего происхождения, а также вздумал травить нас!

Он ударил его шкворнем по голове и добавил:

— Сохи и бороны не смазаны известью!

Панов лишился чувств.

Его потащили в ригу к остальным мученикам. Народ, упившись кровью, положительно

осатанел.

— Когда уже на то пошло, так лучше всем отвечать! Мы убили нашего командира, пусть и прочие роты ведут сюда своих начальников! — кричали поселяне 4-й роты.

Поселяне бросились во все стороны искать своих начальников.

К Василию Васильевичу прибежали несколько унтер-офицеров его роты, кстати сказать, очень любившие его за мягкость доброту и ласковость, и заговорили все разом:

— Спасайтесь, прочие роты кричат и непременно требуют вашей выдачи, спрячьтесь куда-нибудь, а мы скажем, что вы уехали в Новгород.

Хрущев было воспротивился этому предложению, но поселяне насильно увлекли его и заперли в сарае через пять домов от его квартиры, в доме под № 12, у поселянина Ивана Онисимова.

Пустившиеся на поиски поселяне вскоре вернулись и привезли штабс-капитана Савурского, пойманного в 3-й роте майора Султанова и ветеринара, на которого они имели подозрение, будто он морит скот.

Первого ударили об мостовую, били кольями — и уже мертвого стащили в ригу.

Султанова, избитого, почти бесчувственного, посадили с веревкой на шее верхом на лошадь и большую дороною препроводили во 2-ю поселенскую роту.

— Сворачивай в ригу, пусть с прочими лежит там спокойно!

К майору подскочил один из поселян и одним ударом шкворня по голове уложил мертвым. Его тоже стащили в ригу. Туда же живого притащили ветеринара.

— У этого бездельника мы отыскали полный шкаф яду, от него у нас и была такая зараза на скот.

Его повалили возле убитых, затем начали допрашивать и бить чем ни попало по груди, по лицу, по животу, пока не забили до смерти.

Извозчики шедшего в то время по большой дороге обоза, бросив лошадей, прибежали и начали кричать:

— Молодцы, ребята, бейте всех наповал, в Петербурге умели с ними управиться православные!

На площадь приехал узнавший о беспорядках инженер-полковник Панаев. Сделав вид, что он ничего не знает, он обратился к поселянам.

— Что вы, братцы, тут делаете?

— Выгоняем холеру.

— А где ваши начальники?

— Вон там лежат! — указали ему на ригу.

— Как лежат?

— Да так, как положили, так и лежат.

— Я пойду посмотреть.

— Ступай да смотри, оттуда трудно выйти.

В сопровождении нескольких унтер-офицеров, Панаев вошел в эту ригу-гроб.

Глазам его представилась страшная картина.

Полковник Бутович лежал, прислонясь к стене, в сюртуке и белой жилетке, два ребра были выворочены. У его ног лежал убитый штабс-лекарь Богоявленский. Далее поручик Панов. Последний лежал ничком в луже крови и хрипел. Один Забелин в забытьи карабкался по стене и, будучи в силах еще держаться на ногах, ничего не видя вокруг себя, весь в ранах, поправляя волосы, не переставал бранить поселян, которые насмеялись над ним, подставляли ему зеркало, предлагая посмотреть на себя.

Бутович был в сознании и, увидя вошедшего Панаева, обратился к нему слабым голосом:

— Вот как здесь нас мучают, заступитесь, Николай Иванович!

— Ведь я сколько раз говорил вам, что распоряжения ваши доведут вас до беды.

— Ах, Николай Иванович, что будет, когда начальство узнает обо всех этих беспорядках.

Панаев молчал.

Затем несчастный попросил пить. Ему принесли воды. Он напился и сказал Панаеву:

— Передайте мое благословение жене и детям.

Он лишился чувств.

Тут же, в риге, какой-то кантонист кидал ногою сорванные с Бутовича эполеты.

Панаев прикрикнул на кантониста и приказал пристегнуть эполеты к сюртуку умирающего полковника.

— Надо бы послать за священником, исповедывать и причастить умирающих, — сказал он унтер-офицерам.

— А ты что тут пришел? Не заступиться ли за них хочешь? Мы и тебя тут же уложим! — закричали на него поселяне.

Но унтер-офицеры кое-как уняли злодеев и вывели Панаева из риги.

— Этак, пожалуй, будет уговаривать освободить их, и тогда всем нам обида будет... — слышались толки. — Надо их добить.

Злодеи бросились на умирающих и стали добивать несчастных железом по головам.

— Бейте до смерти, я один за все буду отвечать! — кричал поселянин Макаров.

Несчастные были окончательно добиты.

XIV

СМЕЛЫМ БОГ ВЛАДЕЕТ

Присутствие духа инженер-полковника Н. И. Панаева, который настолько повлиял на поселян, что они избрали его своим начальником, спасло жизнь многим из офицеров и удержало бунтовщиков-поселян от разорения зданий и грабежа.

Уговаривая поселян, он обещал им, что если они выберут от себя хожалых, то он даст им билет к самому государю императору, и тогда они могут рассказать лично его величеству все обстоятельства и принести жалобы.

Поселяне усомнились, будут ли они допущены пред лицо государя и просили Панаева ехать с ними, но он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

На площадь, между тем, привели еще двух офицеров: одного заведывающего полковыми мастерскими, а другого из немцев, но их уже не убили, а отдали под арест к Панаеву, который успел убедить поселян, что все офицеры, которых они подозревают, будут примерно наказаны самим государем, а если они убьют их, то сами за это поплатятся.

Когда приведенные офицеры были водворены на гауптвахте, поселяне объявили Панаеву, что теперь остается взять командира 3-й роты Соколова, который укрепился в роте.

У Николая Ивановича блеснула мысль, что он может в этой роте найти точку опоры и, соединившись с Соколовым, начать умирять бунт.

— Мы, ребята, слушаемся государя, и нас Соколов не тронет, давайте-ка я поеду к нему, объясню все подробно и с ним возвращусь к вам.

Поселяне согласились, и Панаев приказал подать свои дрожки, сел и поехал в 3-ю роту, радуясь, что нашелся человек, который умел сохранить команду.

Он скакал во весь дух, так как поселяне, через минуту после его отъезда, одумались и погнались за ним.

Уже 3-я рота была в виду, и Николай Иванович разглядел толпу в ротных воротах. Он думал, что это Соколов идет на усмирение, но подъехав ближе, увидал, что человек двадцать верхом ведут, или лучше сказать тащат Соколова за веревку, привязанную за шею, а сзади идет и вся рота толпою.

Толпа поселян 2-й роты, между тем, нагнала здесь Панаева и соединилась с третьей ротой.

— Ведите разбойника на судище во 2-ю роту, там мы с ним расправимся! — кричали они.

Толпа повалила во вторую роту.

Панаев успел только убедить поселян снять веревку с шеи офицера, так как тот задыхался.

По прибытии во 2-ю роту, Николай Иванович снова обратился к бунтовщикам с речью, убеждая их не убивать Соколова, а арестовать или же отправить с теми, которые поедут с жалобой в Петербург.

Поселяне разделились на две партии, одна кричала, чтобы его посадили за железную решетку, другая требовала, чтобы его вели в ригу и там с ним покончили.

Раз двенадцать несчастный Соколов был перетаскиваем поперек шоссе и обе партии, как стоявшая за арест, так и приговаривавшая его к смерти, били его, отнимая одна у другой. Наконец, партия ареста одолела, и бесчувственного Соколова утащили на гауптвахту.

В то время, когда шла эта борьба, Панаев увидел унтер-офицера с несколькими нашивками на рукаве, лежавшего ничком на крыльце и горько плакавшего.

— О чем ты плачешь? — спросил его Николай Иванович.

— Что делают! — рыдая, отвечал тот. — Убивают не командира, а отца.

— Чего же плакать, этим не поможешь, лучше иди и уговори их отдать его ко мне под арест.

Унтер-офицер побежал.

Не прошло и двух минут, как, пробившись с несколькими поселянами на помощь к Соколову, Панаев увидал того же унтер-офицера с колом в руке, бывшего командира.

— Что ты делаешь, не сам ли ты мне сейчас говорил, что он был вам не командир, а отец?

— Уж видно, что теперь пора такая, ваше высокоблагородие, видите, что весь мир бьет, что же я буду стоять так? — ответил унтер-офицер.

Вот образец суждения большей части людей в таких случаях — уговаривать их можно только штыком или пушкой.

Вскоре после того, как Соколов был водворен на гауптвахте, Панаев увидал, что резервный батальон приближается в сомкнутой колонне и строится около гауптвахты. Впереди шел майор Баллаш с несколькими солдатами, имевшими ружья на перевесе.

Поселяне перепугались, что их всех перестреляют, а Николай Иванович, полагая, что майор осматривает позиции, успокоил поселян, заявив им, что пойдет к батальону и прикажет не стрелять.

— Ну, слава Богу, что вы пришли! — сказал он, подойдя к Баллашу.

— Что делать, я не виноват ни в чем, ведут меня убивать! — отвечал майор.

Панаев приказал отвести Баллаша на гауптвахту, что и было бесприкословно исполнено поселянами без сопротивления батальона.

Затем приступили к выбору депутатов, которые должны были отправиться в Петербург. На прогоны им Николай Иванович выдал 4000 рублей, найденных в кармане у штабс-капитана Панова и принесенных Панаеву одним из поселян.

Между тем, как Николай Иванович с истинным героизмом ходил по площади, от поселян к резерву и обратно, уговаривая их восстановить спокойствие и тишину, некоторые из злодеев, отойдя к стороне, стали сговариваться к концу дня положить и Панаева.

Подойдя к нему, мятежники стали ругать его за то, что он уговаривает оставлять в живых начальников, причем, один из поселян ударил его по затылку.

Николай Иванович не потерялся.

— Пойдите, ребята! — сказал он и снял фуражку. — Посмотрите, я уже сед и послужил довольно царю моему: каждый волос мой принадлежит ему; хотя вас много и вы можете делать мне дерзости, но вспомните, что вы делаете? Знайте, что государь меня лично знает; я вместе с ним рос и воспитывался — неужели из вас сыщется кто-нибудь, кто решится пролить невинную кровь, за которую вы будете отвечать и в этой, и в будущей жизни? Бог хранил меня от пуль и ядер врагов отечества; слава Богу, у нас еще существуют законы — на них лежит право обвинять и оправдывать. Опомнитесь, ребята, и послушайте меня старика —

я могу еще вам быть полезен!

Речь эта произвела впечатление.

— Хорошо, когда так, будь ты наш начальник — тебя мы готовы слушать! — слышались возгласы, и поселяне стали унимать друг друга.

Начинало темнеть.

В это время из Новгорода ехал полковой священник Лавр Смелков.

Еще дорогою слыша о происшествии, он тихо подвигался вперед; назад воротиться было нельзя, а потому он и решился ехать прямо к собравшимся и ожидавшим его поселянам.

— Откуда, батюшка, едешь? — встретили они его вопросом.

— По собственной надобности пробыв в Новгороде, опоздал и спешу исполнить нужные требы.

— Ну, это небольшая нужда, — стали говорить поселяне, — вылезай-ка из телеги-то, нам нужно с тобой поговорить и посоветоваться. Посмотри, сколько тут покойников, скажи нам, следует ли их хоронить по-христиански?

— Никак и ты, батюшка, подписался на холеру и заодно с господами вздумал морить нас? Покажи-ка нам, что ты везешь из города, не яд ли? — закричали другие.

Они обступили телегу и стали шарить в ней. Лошадь, испугавшись толпы с дрекольями, бросилась в сторону, опрокинула телегу, и отец Лавр упал и ушиб себе руку.

Его подняли и привели к Панаеву.

Последний предложил отцу Лавру взять образ и благословить народ. На гауптвахте нашли ветхий лик пророка Ильи, восходящего на небо, подали священнику, и он, прочитав молитву, благословил народ.

Николай Иванович потребовал, чтобы они дали ему присягу, что остаются верными государю и что более буйств делать не будут. Поселяне же потребовали, чтобы и он сам дал обещание, что все как было расскажет государю.

Он обещал и, перекрестившись, приложился к образу, а за ним стали прикладываться и все поселяне.

После этого все утихло. Поселяне закричали:

— Шабаш! Не будем больше шуметь, ребята — по домам.

Панаев стал отдавать приказания резервному батальону идти в штаб, но поселяне воспротивились этому.

— Пусть, с Богом, идут на квартиры, им и так надоело стоять по ригам.

Николай Иванович подчинился этому желанию, распустил батальон, и поселяне стали расходиться по домам.

В ригу к покойникам и к гауптвахте, где содержалось довольно число лиц, мятежники приставили, не доверяя резерву, караул от себя, вооруженный, за неимением ружей, дрекольями, — и этим окончился кровавый день 16 июля 1831 года.

К вечеру того же дня к запертому в сарае Хрущеву явилось несколько поселян.

— Ступайте теперь домой! — сказали они. — Слава Богу, что остались живы; тут Бог знает, что происходило; теперь не опасайтесь, никто вас не тронет, а то здесь вам будет хуже: подумают, что вы спрятались оттого, что виноваты.

В ту же ночь выбранные депутаты по двое от каждой роты с пойманным унтер-офицером и женщиной с запискою, выуженной у Богоявленского, на почтовых лошадях отправились в Петербург с жалобой на начальников императору.

Так окончился первый день буйства поселян императора австрийского Франца I поселенного полка.

На другой день, рано утром, поселяне один по одному стали собираться на площадь; столпились в кружок и стали толковать сначала тихо, а когда набралось их много, то начали шуметь и спустя некоторое время привели солдатку Сыропятову и поселянина Дмитрия Комкова. Обоих связали, избили и втолкнули на гауптвахту.

Пришедший к Хрущеву поселянин рассказал, что Сыропятову долго искали и нашли спрятанною под койкой.

— А взяли ее за то, что она часто ходила к вам на кухню, то думают, что была подкуплена вами кидать яд в колодцы; Комков же взят за то же, да сверх того, он замечен в чародействе.

— Да и про вас что-то худо говорят! — продолжал поселянин и затем рассказал, как он находился ночью на часах при убитых в риге; все они были черны, как уголь, и в риге от их тел уже сделался дурной запах; кто-то из них ночью очнулся и стал приподниматься, но его тут же доби́ли.

Рассказчик не знал, впрочем, кто именно очнулся: Савурский или Богоявленский?

— Но теперь все они лежат, уже окостеневши, в запекшейся крови, так что никого нельзя узнать.

Рассказ этот привел Василия Васильевича в содрогание. Накануне рокового дня Савурский был на именинах батальонного командира, так весело распевал, сопровождая на фортепьянах, — и на другой день его не стало.

Заверив Хрущева, что его никто не тронет, поселянин ушел.

Василий Васильевич сел у открытого окна и стал прислушиваться к громкому говору поселян.

Почти все унтер-офицеры и многие поселяне его роты кричали некоторым злодеям, восстававшим против него:

— Что вы, и сегодня хотите затевать такую же кутерьму? Что вам сделал наш командир? Ведь глаза у вас, как у быков, налились кровью.

— Видно, вы заодно с его благородием крупу делите, да погодите, ужо соберутся прочие роты, то насильно вытащим его! Что он за святой, поглядывает в окошко, небось, замечает за нами; вот дураки-то, кабы угомонили их всех, так дело-то вернее было; а то посмотрите, беда будет — всем достанется! — слышался ответ некоторых поселян.

Но другие их уняли и даже пристыдили.

— Ему гораздо безопаснее находиться на гауптвахте, нежели на квартире! — заговорили они тогда.

С этим многие поселяне стали соглашаться. Тогда Василий Васильевич решился, не дожидаясь, чтобы его взяли силою, выйти к ним сам.

XV

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗЛОДЕЙСТВ

— О чем вы так спорили? Если вы считаете меня виновным, то объясните: я ведь тут налицо — и прежде нежели кто-либо решится сделать мне дерзость, пусть скажет, что я сделал дурного против кого-либо из вас? — обратился Василий Васильевич Хрущев к собравшимся на площади поселянам.

Все молчали, но затем некоторые заговорили.

— Мы вас ни в чем не виним и знаем, что вы имеете простую душу, но хотим обеспокоить вопросом: какая у вас была подписка на холеру? Нам священника Лавра жена открыла, что Бутович приезжал к ним ночью, вошел через окно, и, вынув саблю, принуждал его подписаться на холеру и в Ильин день отравить всех вином; да вот в 1-й поселенской роте нашли в колодце записку Савурского, сколько в него положено яду; да и писарь Штоц признался, что и весь провиант в магазине отравлен, — то мы просим вас, если вы что знаете, открыть нам о таком умысле и сказать: в каких колодцах брошен яд? Будьте уверены, что пальцем вас никто не тронет.

— Пойдите, — перебил их Хрущев, — дайте мне вам сказать: если вы полагаете, что у меня в квартире есть яд, то позволяю вам осмотреть ее, — а если не найдете?

— Мы были вами всегда довольны! — закричали поселяне.

Василий Васильевич продолжал:

— Итак, если вы имеете ко мне какое-либо доверие, то клянусь вам, что ничего, ни о какой отраве никогда я не слышал, да и с какой стати была бы подписка отравить вас? Не было бы подчиненных, не было бы нужды и в начальниках.

Из толпы на это кто-то заметил:

— Мы видим, что вам ничего не известно, нам и Богоявленский сказал, что вас опасались, так как по добродушию, вы все открыли бы...

Остальные поселяне заговорили разом:

— Смотрите, остерегайтесь от других рот, не выходите; мы вас не выпустим из дому; ведь много добрых, много и злых, за вами примечают.

Василий Васильевич пошел домой и, увидав одного поселянина, пользовавшегося большим уважением и, во время бытности в крестьянстве бывшего головой, подошел к нему и сказал:

— Послушай, старик, ты человек умный и можешь рассудить, как можно отравлять всех! Поди ты и растолкуй им, они тебе более поверят!..

— Что тут говорить! — отвечал поселянин. — Для дураков яд да холера, а нам надобно вас, господ, остепенить малость...

День 17 июля во 2-й роте обошелся без убийств и особенных происшествий, но поселяне

этой роты большою толпою отправились за Волхов в соседний округ короля прусского и прежде всего возмутили резервную роту этого полка, а затем и весь полк.

В этом округе повторилась та же трагедия: арест ротных командиров и батальонного, но к этому присоединился грабеж офицерских квартир и пьянство.

Буйные толпы поселян, поселянок и кантонистов набежали на штаб. Мятежники были и пешие, и верхами, вооруженные топорами, шкворнями, кольями и разными сельскими оружиями, шли в рубахах, с платками и тряпицами на шеях, с завязанным ртом из глупой предосторожности против мнимой отравы, летающей, будто бы, в воздухе с пылью.

Все они рассыпались по штабу для розысков выдуманной отравы.

Мятеж главным образом разыгрался в штабе.

Когда злодеи арестовали ротных командиров, то мать одного и жены обоих, не страшась опасности, не отставали от них до самой гауптвахты.

Несчастные рыдали и ползали перед поселянами на коленях, умоляя их освободить невинных. На вопли женщин поселяне отвечали одно:

— Мы не тронем ваших мужьев, ничего им не сделаем, мы взяли их только на сохранение.

Они говорили одно, но делали другое.

К вечеру приведен был на гауптвахту батальонный командир, майор Яцковский. Он был оборван, без шапки, сюртука и шпаги и измучен до изнеможения. Его преследовали и взяли у крайней будки графа Аракчеева полка. В то же время на гауптвахту приведен был из аптеки аптекарский ученик Руф Федоров.

Поселяне потребовали от Яцковского, чтобы он подписался под показанием, составленным по принуждению, и со слов поселян, одним из писарей, в котором было сказано: «яко бы начальники действительно подкуплены и согласны были отравлять их».

Майор Яцковский упорно отказывался, но поддался, наконец, на мольбы арестованного капитана Дасаева, который просил «успокоить и их, и себя, подписав бумагу».

Поверя обещаниям поселян прекратить буйство и надеясь выиграть время к спасению себя и других, майор подписался, как мог, едва владея дрожащею рукою.

Злодеи только того и ждали. Они надеялись в этой подписке иметь себе оправдание перед государем императором в задуманных ими злодеяниях.

Офицеры обманулись в надеждах получить пощаду от мятежников, мятежники же не избегли справедливой кары.

Немедленно после подписи майор, а за ним и другие были выведены на площадь.

Была уже полночь на 18 июля.

На плацпараде в ночной темноте то поднимался какой-то буйный вопль и оглушительный крик, то наступала такая мертвая тишина, как будто бы плац делался совершенно пуст.

Утром объяснилось, что неистовые крики были смертельным приговором мятежников: криками встречали каждого, одного за другим, выводимых на плац, как на казнь, арестованных лиц; наступавшая затем тишина была страшными минутами душегубства — ожесточенные злодеи умолкали.

Исполнителем кровавого злодейства был хозяин четвертой роты из старослужащих — Горшков.

Он взял на себя обязанность палача и саблей зарубил майора Яцковского, капитана Дасаева, штабс-капитана Денисова.

Запыхавшись, наконец, от зверской работы, злодей бросил саблю.

Тела убитых плавали в крови до утра, и уже часу в десятом их отнесли за штаб.

Четыре большие кровавые лужи долгое время оставались на виду у всех, как бы уличая убийц и их соучастников.

После этой казни невинных, на площадь привели инженер-капитана Костерева.

Его ввели в середину толпы. Руки его крепко держали назад. Он увидал на земле трупы офицеров.

Из толпы ему закричали:

— Выбирай себе место и ложись!

Не потеряв присутствия духа, капитан Костерев спросил:

— За что вы хотите меня убить?

Поселяне молчали.

— Дайте мне хоть помолиться!

Руки его освободили.

Капитан перекрестился, прочитал тихо молитву и затем снова обратился к поселянам:

— Да скажите же мне, за что вы меня убиваете?

Толпа вместо ответа расступилась, и он свободно вышел. Поселяне тут же обратились к нему с просьбами быть их начальником.

— Какой я вам командир, когда вы только что хотели убить меня? — отозвался Костерев.

Поселяне продолжали настаивать принять над ними начальство и вместе с их выборными отправиться в Царское Село, «к царю налицо».

Костерев согласился на предложение и пошел было в квартиру, чтобы собраться в дорогу, но поселяне из какого-то опасения непустили его от себя и в эту же ночь непосредственно за совершением убийств, отстраня капитана, отправили восемь человек выборных из хозяев в Царское Село, для донесения государю императору о происшедшем и для оправдания в своих поступках.

При этом поселяне самовольно выдали своим депутатам 400 рублей из казенного ящика.

Выборным поручено было представить мнимую опасность от подкупа начальства на отравление всех поселян ядом, и что-де эта крайность вынудила их отважиться на послушание и насилие против начальства. В подтверждение нелепицы взяли несколько пузырьков из аптеки с острыми врачебными веществами и вынужденную подписку майора Яцковского.

18 июля в поселенном австрийского императора Франца I полку происходило то же, что было и накануне.

Собираясь на площади, поселяне кричали, отыскивая везде яд и советовались, каким образом поступить с оставшимися офицерами.

4-я поселенная рота толпою пришла в штаб; здесь отыскивали и поймали майора Кутузова, лекаря Гутникова, аудитора С

и мкова, аптекаря Ропольда и полицеймейстера Парфенова, и посадили их на полковую гауптвахту.

Захватили писаря Штоца, надели на него петлю и привязали к хвосту лошади. Испугавшаяся лошадь притащила его по земле значительное расстояние, но благодаря своей ловкости и присутствию духа, писарь спасся от смерти, причем ему помогли некоторые из поселян, находившихся в штабе.

Так прошел третий день буйств.

Он заключен был тем, что взяли с гауптвахты полуживого капитана Соколова и повели под большим конвоем в ригу к покойникам.

Положив его возле мертвых, несчастному стали угрожать, что если он не признается в подписке в отравлении ядом, то его тут же умертвят.

Соколов твердо отвечал допросчикам, что никакой подписи на отраву не было и клялся им в своей невинности.

Поселяне сказали ему «вставай» и повели через площадь обратно на гауптвахту, говоря, что на другой день таким же образом будут допрашивать и других арестованных.

Между тем, в округе поселенного гренадерского полка короля прусского офицерские жены были в страхе и отчаянии. В слезах о страданиях родных и в мучительном беспокойстве за жизнь их, они собирались у священника полка, отца Воинова.

Слезы и молитва были их пищею и некоторою отрадою.

Мщение высказывалось и в поселянках: одна из них, пожилая и, по-видимому, степенная, подошла к уstraшенным и отчаявшимся женщинам, знакомым ей, и, вместо утешения, сказала:

— Когда наших мужей били, вы тогда чай пили.

Насколько и женщины поселянки были озлоблены доказывает, что школьный учитель 3-й поселенной роты, унтер-офицер Гаврилов, вытерпел истязание от женщин.

Поселянки схватили его и жестоко высекли розгами из мести за взыскания с их детей кантонистов, за школьные неисправности.

Когда его стыдили и говорили, как он мог поддаться женщинам, то он говорил, что на стороне врагов его перевес был слишком великим, что на него напали тридцать женщин, а он был один.

Тела убитых в ночь офицеров отнесены были поутру, как уже мы сказали, за штаб, где складывались дрова, брошены там и зарыты в неглубоких ямах.

На плацу, между тем, поселяне истязали захваченных вновь и содержавшихся под караулом.

В числе жертв, забитых до смерти, были подпоручик Федулов и фурштатный офицер Грешников.

На этом убийства и истязания кончились.

Из оставшихся в живых на гауптвахте отнесли на квартиру на руках подпоручика Винокурова, совершенно в беспамятстве, безнадежного, и отвели штабс-капитана Дмитриева, и без того слабого здоровьем, изможденного троекратным истязанием под розгами, и аудитора Губанова, изувеченного и хромого.

Все трое впоследствии выздоровели, только первый страдал головою, которая была страшно избита, а последний остался на всю жизнь хромой и с трудом ходил на костылях.

XVI

ПРИЕЗД ГРАФА ОРЛОВА

19 июля, кроме офицеров, передпросили снова всех арестованных.

Допрос сопровождался жестоким наказанием розгами: несчастные, однако, твердо стояли на своем, что ничего не знают.

Тогда, кроме Соколова и солдатки Сыропятовой, всех повели в ригу.

Здесь стояли двое зимних дровней, запряженных пожарными лошадьми.

Войдя в ригу, поселяне стали опять спрашивать арестованных, причем, не стесняясь, при трупах, осыпали несчастных бранью.

Сами не смея дотронуться до своих жертв, поселяне заставляли приведенных выносить тела из риги.

Это была потрясающая душу сцена! Окоченевшие члены — в том самом положении, как были при последних минутах — волочились по земле.

Полковник Бутович имел вид покойнее прочих.

— Ну, что же вы пришли, стоять что ли? — кричали на арестованных злодеи и подвигали к ним обезображенные трупы, с которых вся почти одежда была разграблена.

Поместив четыре трупа на одни дровни, а три на другие, убийцы поволокли свои жертвы на кладбище летним путем на дровнях, спустившиеся члены волочились по земле.

Отведя арестованных на гауптвахту, поселяне взяли отца Лавра и повели его насильно на кладбище.

Не входя в церковь, поселяне кое-как побросали трупы в две приготовленные могилы: в одну — четыре, в другую — три.

Один старик стал их в яме поправлять.

Сверху, между тем, кричали:

— Клади их по чинам, старшего под низ!..

Отец Лавр, облачась, начал службу, после окончания которой могилы были засыпаны.

К Василию Васильевичу Хрущеву вскоре после похорон пришел старик-поселянин, тот самый, который укладывал в могилах покойников.

— Здравствуйте, ваше благородие, похоронили мы сейчас покойничков, уж и страсти же были! — сказал он, остановясь у притолки двери.

Он рассказал подробности похорон и в конце концов заметил.

— А ведь отец-то Лавр сознался, что точно была подписка.

Он пристально посмотрел в лицо Хрущева.

Тот, однако, не смутился.

— Какая подписка?

— Да не бойтесь, спрашивали об вас, кричали отцу Лавру: «Не подписался ли капитан, мы его сейчас разорвем», но он сказал, что твоего благородия фамилии подписано не было, но кроме вас — все виноваты...

Хрущев переменялся в лице.

— Не бойсь, тебя не за что обидеть! — успокоил его заметивший смущение старик и ушел.

Волнения стихли повсюду, и поселяне с напряженным нетерпением стали ожидать возвращения из Петербурга своих депутатов.

В сердцах многих, видимо, зашевелилось сознание своей неправоты и угрызение совести за содеянные преступления.

Последнее было еще усугублено суеверием, многие рассказывали, что покойный Бутович разъезжает по ночам по поселениям в своем кабриолете.

Некоторые даже клятвенно уверяли, что видели его своими глазами.

После взрыва наступила тишина, после преступления — раскаяние.

Из Петербурга, между тем, до поселян стали доходить далеко не ободряющие их вести.

Депутаты поселян были приняты государем Николаем Павловичем в Ижоре.

— Кроважадные злодеи! — сказал им государь. — Еще не успели умыть рук ваших от невинной крови и дерзаете предстать ко мне. Знаю все ваши дерзкие замыслы. Кого вы убили? Начальников, Богом и мною поставленных!..

Из числа депутатов был Осип Козьмин, бывший прежде головою над Вышенскою волостью. Государь сказал ему:

— И ты здесь, тот самый, которого брат мой удостаивал посещением?

— Мы вашим императорским величеством всегда весьма довольны, но начальство изменою хотело погубить всех отравою.

Депутаты подали записки Богоявленского и Яцковского. Государь прочел.

— Если я сейчас велю из вас, извергов, тянуть жилы, что тогда вы будете говорить? То же

самое и записки ваши! — с гневом воскликнул государь.

Депутаты молчали. Они были поражены таким приемом и поняли, что дело их — преступление.

— Если есть в вас капля человеколюбия, — продолжал государь, — то раскайтесь в ваших поступках, я приеду и, быть может, помирюсь с вами, а между тем отслужите панихиду по убиенным и отгвейте неделю, тогда я увижу...

Отголоски этого царского приема какими-то неведомыми путями достигли до военных поселений ранее возвращения депутатов, и томительное беспокойство служило причиною все еще продолжавшихся бурных выходов, но уже носивших лишь характер угроз, не приводимых в действие.

Среди поселян, по-прежнему собиравшихся толпами, слышались возгласы:

— Надо бы было всех добить!

От приходивших к Василию Васильевичу преданных ему поселян последний узнал, что они ожидают только своих депутатов, и чуть что, хотят затевать вторичный бунт, и тогда всем остальным «господам» беда будет.

— Что же они говорят обо мне? — спросил Хрущев. — Вероятно, тоже хотят убить?

— По правде сказать, и об этом разговор был, кричат, словом, чтобы и корня не было! Мы уж их уговаривали: за что нашего командира убивать? Тут и другие сказали: ведь, дескать, чуть что, и он от нас не уйдет, как гость сидит, — приди и бери!

Поселяне ушли.

Василий Васильевич вскоре сам вышел на площадь.

— Здравствуйте!

Несколько голосов ответили на приветствие, потом все разом стали говорить, что что-то долго не едут их депутаты из Петербурга.

— Говорят, против нас идет оттуда артиллерия, дело-то не так будет ладно, придется всем положить животы!

— Кто это сказал вам? Не беспокойтесь, не может этого быть, — начал их успокаивать Хрущев. — Государь, наверно, пощадит своих подданных, притом же теперь все здесь успокоились, а раскаяние не только государь, но и Бог прощает.

— Вот и видно, что он ничего не знает, — стали говорить между собою поселяне. — А что, чай и вашему благородию не хорошо смотреть на такой штурм? — обратились они к нему.

— Да, признаюсь, — отвечал он, — вот уже четвертый день, как я не имею покоя, да и вы теряете время, а теперь бы только работать да работать! Посмотрите, рожь-то вся пересохла, уж и зерна светятся, да сенокос без косцов...

— Да, да, — заметили многие из поселян, почесывая затылки, — прогневили Господа, дело пришло такое, что и воля стала не своя.

Прошел еще день в томительном ожидании депутатов.

Наконец, 21 числа в 9 часов утра они прибыли из Санкт-Петербурга на двух тройках. Из их осунувшихся и печальных лиц было видно, как их принял государь, хотя на расспросы

Хрущева и других они уклончиво отвечали, что-де «государь их не похвалил».

На другой день прибыл и граф Орлов. Николай Иванович Панаев выехал к нему навстречу.

Граф приказал построить каре и, войдя в середину, поздоровавшись, сказал:

— Государь император послал меня вместо себя, и я, его императорского величества именем, уведомляю вас, что, невзирая на противозаконные дела, которые хотя весьма прогневили его, но, по своей милости, государь имеет терпение ожидать от вас полного раскаяния и смирения.

— Виноваты! — в голос отвечали поселяне и упали на колени. Граф Орлов начал читать им высочайший приказ, а по прочтении увещевал их, объясняя значение эпидемии.

Все молчали. Вдруг послышался крик.

— Смерть нам пришла, ваше превосходительство.

Один из поселян громко воскликнул:

— Положим, что холера существует, но зачем начальство раздало яд?

Генерал Орлов стал объяснять ему действие лекарств. Поселянин стал спорить.

Выйдя из терпения, Орлов ударил себя по бедру и сказал:

— Молчи, или я тебя через крышу перекину!

Поселянин замолчал, и вновь воцарилась мертвая тишина. Граф Орлов приказал отправить арестованных офицеров в Новгород, и сам отправился туда.

Через несколько дней была отслужена по убитым панихида.

Находившийся вблизи округа новгородского Софийского собора епископ Тимофей прибыл с духовенством и монашеством.

Служба совершена была на площади 2-й поселенной роты, под поселенным батальоном.

По окончании панихиды епископ обратился к поселянам с речью:

— Может быть, в этот час, — говорил между прочим архиерей, — души убиенных дреколием вашим вопиют к небу. Безумные! Что в то время о сем не размыслили? Может ли быть покойна ваша совесть, исполненная воспоминаниями беспутства дел ваших? Вы отныне будете подобны листу, от малого дыхания ветра трепещущему, — и чего недоставало к благополучию вашему? Неужели наскучило вам в тишине мирской трудиться и собственными руками приобретать себе благосостояние? Какое через это утешение бывает! Сам Господь сказал: в поте лица твоего снеси хлеб твой! А вы возлюбили пуще праздность! Вспомните попечения и труды, изливаемые на вас покойным и сим государями, как равно и начальниками. А что доселе было у вас? Шинки, разврат; занимались пьянством, ленивством! Может ли терпеть сие Господь наш? Я, как архиерей, Богом поставленный, говорю вам: что при таких постыдных поступках не будет над вами благословения; ни в сей, ни в будущей жизни!

Поселяне были смущены и начали разведывать в Новгороде о своей участи и все более и более убеждались в своем безрассудстве.

Видя в Новгороде многих обвиненных ими в отраве офицеров, уже выздоровевших и ходивших всюду свободно, поселяне говорили между собой:

— Вот тебе и яд, попали впросак! Видно, не начальники, а сами мы себя отравили своим глупым разумом!

В это время всеобщего замешательства умов пронеслась весть, что в военные поселения едет сам государь император Николай Павлович.

XVII

ПРЕД ЛИЦОМ ЦАРЯ

Император Николай Павлович прибыл в военные поселения 26 июля 1831 года, в воскресенье, в десятом часу утра.

Появление императора перед развернутым фронтом поселенного батальона в манеже было торжественно. Царственный взгляд Николая Павловича, при росте, сложении и самой поступи, сильно подействовал на поселян. Священник Гавриил Богословский стоял с крестом и святою водою возле церкви, находившейся в манеже.

Государь прибыл в коляске, в сопровождении графа Орлова. Вслед за ним в экипажах ехала свита. Николай Иванович подал ему рапорт, в котором, по установившемуся обычаю, убитые офицеры, до исключения из списков, показаны были в командировке.

— Это в дальней? — заметил Николай Павлович.

— Точно так, ваше величество!

Государь вышел из коляски, обнял и поцеловал Панаева.

— Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разум, я этого никогда не забуду...

Обернувшись затем к стоявшим с хлебом и солью на коленях поселянам, сказал:

— Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу!

Началось молебствие, после которого государь обратился к поселянам, все продолжавшим стоять на коленях.

— Встаньте.

Все встали.

Император стоял посередине с генералом Орловым и Бенкендорфом.

— Как смели вы восстать против меня?

— Рады живот свой положить за ваше императорское величество! — послышались возгласы.

— Вы убили своих начальников, Богом и мною над вами поставленных, то все равно, что вы подняли руку на меня. Удары, которые вы им наносили, — государь указал на свою грудь, — вы нанесли мне. Я поставил их начальниками над вами, а меня поставил Бог. Я отвечаю за вас Богу, а они отвечают мне! Хорошо вы чувствовали благодарность за попечения и милости покойного брата моего. Но, по крайней мере, имеете ли вы в совести вашей полное раскаяние в совершенном вами преступлении?

— Виноваты, ваше императорское величество! — отвечали поселяне трепещущими голосами.

— Если бы я и хотел простить вас, но простит ли вас закон, простит ли Бог?

Государь вздохнул и на минуту приостановился, а затем продолжал:

— Понимаете ли вы, что вы безвинно замучили ваших начальников?

— Виноваты перед Богом и великим государем! — отвечали поселяне.

— Раскаиваетесь ли в ваших поступках?

— Дай Бог вашему императорскому величеству много лет здравствовать.

— Будете ли стараться заслуживать за ваши преступления?

— Рады стараться, ваше императорское величество! — дружно отозвались поселяне.

— Будете ли молиться за убитых?

— Будем, ваше императорское величество!

— Одно только ослепление ваше, — продолжал государь, — убеждает меня забыть столь важное преступление, которое заслуживало бы того, чтобы стереть таких злодеев с лица земли. Имеющие георгиевские кресты — выходите вперед.

— Вас ли я вижу? И вы живы все? — спросил вышедших государь после некоторого молчания.

— Слава Богу, ваше величество, Бог помиловал! — отвечал один из георгиевских кавалеров.

— Молчи, не срами Бога! Вы, кавалеры, должны были все лечь тут и не допустить истреблять ваших начальников. Что вы тут делали? Не вы ли первые обязаны были подать пример собою в порядке и исполнении военной дисциплины и удерживать от буйства этих мерзавцев? Если что-нибудь хотя подобное случится вперед, то Боже вас сохрани: вы первые будете мне отвечать собственной жизнью вашей.

Затем Николай Павлович принял хлеб, поднесенный поселянами, и отломил кусок кренделя.

— Ну, вот я ем ваш хлеб и соль, конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?

Громкое «ура!» было ответом.

— А ты с ними не шути и при первом ослушании выведи и тут же расстреляй на месте! — громко обратился государь к Панаеву.

Поблагодарив после этого офицеров, государь сел в коляску и, объехав все округа кроме Старорусского, в тот же день поехал обратно в Новгород, где был в церкви святого Николая Качанова.

В ночь на 27-е июля государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.

Действительно, прибыв в Царское Село, Николай Павлович был обрадован рождением сына Николая Николаевича, нареченного в честь новгородского угодника блаженного Николая Качанова.

По этому случаю в Новгороде несколько времени носилась в народе молва, что новорожденный наименован великим князем новгородским.

Высочайшее посещение довершило сознание виновности в поселянах, искоренило ложные убеждения и преступную надежду безнаказанности, обуздало и смирило буйных.

Об отраве не стало и помину; поселяне забыли думать о своем вымышленном яде, а в страхе помышляли только о решении своей участи; возвратили в комитет награбленные вещи; в округе императора австрийского полка говели и исповедывались.

Оставшиеся в штабе семейства офицеров совершенно успокоились, для них миновала беззащитная, тяжелая зависимость и опасность, угрожавшая каждую минуту, особенно в первые дни нападения на их собственность и жизнь.

Несчастные, как будто из плена, возвратились в отечество, под защиту законной власти и правительства. Десять дней томились они в полной неволе, десять дней было для них прервано сообщение с окрестностями и городом.

В эти дни они чувствовали себя отторгнутыми от общества людей, живя, как будто, на необитаемом острове с диким зверями.

Теперь спокойствие округа было упрочено. Комитет твердо вступил в управление, возобновив свои законные действия.

В церквах, при каждом служении, продолжались приличные обстоятельства вразумления и увещания до самого окончания суда и исполнения высочайше утвержденных приговоров виновным.

Генерал Скобелев, славный отец еще более славного сына, в бытность свою в то время в округах, при сборе поселян в экзерциргаузе, тоже не упускал ни одного случая делать резкие и вразумительные увещания.

Вскоре открылась в Новгороде общая комиссия для преследования преступлений во всех округах, а для дополнения деланы были известные розыски и допросы, в каждом округе отдельно. Каждый, позванный к ответу, чтобы оправдать себя, делал показания на других, а те, в свою очередь, ссылались или слагали вину еще на других. Друг друга оговаривали, друг друга уличали; к этому примешивались и личные соседские неудовольствия; круг доказчиков и уличенных расширялся быстро и ничто, по-видимому, не могло укрыться от следователей. Трудность открытия истины облегчали сами ответчики, с жаром опутывая друг друга.

Как при начале беспорядков буйные зачинщики старались всех вовлечь в бесчинные и незаконные действия, так и при следствии первые уличенные старались оговаривать, как можно более, чтобы всем заодно отвечать и никто бы не мог избежать ответственности и суда.

Необъятный, изумительный труд преодолела комиссия при разборе и различении верных показаний от ябеды, и приведении в порядок и ясность этой страшной путаницы, этого ужасающего хаоса.

Из всего было ясно, что первый шаг своеволия и посягательства на свободу начальников прикрывался лукаво придуманным предлогом своей безопасности. Но этот шаг открыл путь и дал волю буйству и чувству мщениия, которое увлекло их к злодеяниям и удовольствовало только кровью! Картина грустная и ужасная!

Но среди мрачных явлений и недобрых дел, несколько отрадно проявление не совсем угасших чувств и совести, веры и сознания долга. Дерзость и бесчеловечие не имели границ,

но отрицание долга повиновения не дерзало явно обнаруживаться. Напротив, проявлялось сознание необходимости подчинения и остались нерушимыми благоговейный страх и вера в святость церкви и верховной власти.

Действия комиссии окончились распределением виновных на разряды. Убийцы наказаны кнутом и сосланы в Сибирь на каторжную работу. Прочие виновные, по степени преступлений, подвергнуты наказаниям по определению военного суда.

Наказания производились частью в Новгороде, частью в штабе округов на местах преступлений, при сборе всех поселян и их семейств.

Удары кнута и бичевание шпицрутенами с воплем и стоном бичуемых раздавались по штабу, но крик кантонистов и визг женщин под розгами заглушал и прикрывал все.

Поселянкам казалось, как они уверяли впоследствии, что грехи их из-под ударов вылетали из тела и поднимались в виде брызжущего пара.

Затем, по распределению виновных в Сибирь на поселение и в арестантские роты, оставшиеся в округе свободными от суда и наказания хозяева из старослужащих, выслужившие воинский срок, уволены в отставку, а недослужившие срока распределены на службу по полкам армии.

В первых четырех округах новгородского военного поселения осталась одна треть хозяев — коренных жителей.

Вскоре последовало совершенное преобразование округов, высочайше утвержденное в 1832 году, по которому поселяне переименованы в пахотные солдаты, дети их кантонисты — малолетками, школы закрыты. Хозяевам прекращена выдача пайков, и на них возложена рекрутская повинность и поземельный оброк; им разрешено строить избы на собственный счет, по особенно изданным планам, но, по желанию их, на местах прежнего их жительства.

Так совершился последний переворот в существовании военного поселения, и в этом-то виде округ сей доживал последний возраст недолговечной сорокалетней жизни новгородского военного поселения до перехода в удельное ведомство, оставя потомству много глубоких назидательных уроков и наказов: религиозных, политических, экономических, нравственных и житейских — в пользу правительства и быта народного.

Погибла безвозвратно и навсегда «заветная царственная мечта» благословенного венценосца, погибли все усилия ума и энергия графа Алексея Андреевича Аракчеева, которые он приложил для осуществления этой мечты своего государя и благодетеля.

Сперва из грузинского уединения, потом из Тихвина и Новгорода, и, наконец, снова из Грузина с горечью в сердце видел он разрушение своих многолетних трудов, трудов, для которых не жалел он ни сил, ни жертв.

Этот удар едва ли не был один из тех, который окончательно сломил крепкую натуру «железного графа» и вскоре свел его в могилу, обиженного и оклеветанного современниками, и, увы, до сих пор по заслугам не оцененного потомством.

Первые, а по следам их и вторые, нашли даже в нем причину вспыхнувшего бунта, несмотря на то, что имя Аракчеева не было даже произнесено злодеями, что подтверждают все оставшиеся записки очевидцев кровавых дней 1831 года.

На берегах Волхова снова воцарилась тишина.

Спасенный положительно чудом, не только от смерти, но даже от серьезных оскорблений находившийся у самого кратера народного безумия, Василий Васильевич Хрущев только тогда, когда опасность окончательно миновала и его жизнь и служба вошла в обычную колею, ясно и определенно понял, что в течение десяти дней его жизнь каждую минуту висела на волоске.

Впрочем, он и теперь не очень радовался, что остался жив.

Что на самом деле представляла для него эта жизнь, что сулила ему его будущность? Конечной целью его существования было искупление им вины перед государем и отечеством за кратковременное заблуждение, окончившееся бытностью его в числе заговорщиков на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Несмотря на пройденную им солдатскую лямку, нося которую он верой и правдой служил своему государю, ему все еще казалось, что вина его далеко им не искуплена.

Производство его в офицеры и перевод на службу в военное поселение совсем не обрадовали Василия Васильевича. Он понимал, что он обязан этим графине Аракчеевой, и эта монаршая милость, им незаслуженная, тяжелым гнетом еще больших укоров совести легла на его душу.

Быть истязуемым и убитым поселянами, мученической смертью завершить свою службу было бы, казалось ему, гораздо легче и отраднее, чем влачить его никому не нужную безотрадную жизнь, без даже мгновения радости, без проблеска надежды когда-либо успокоить угрызение совести за свое преступление, когда-либо изгнать из сердца любимый образ отвергнувшей его девушки, все продолжавшей наполнять и терзать это бедное сердце.

Это безразличие перед жизнью и смертью, это скорей стремление к последней и пренебрежение опасностью, быть может, и служили главной причиной его чудесного спасения — своего рода несчастием, заключавшимся в возможности достигнуть того, чего желаешь.

Словом, Василий Васильевич продолжал жить и... быть по-прежнему несчастным.

Судьба, видимо, разделяла его мнение, что он недостаточно наказан — она готовила ему удар, горший и мучительнейший, нежели смерть от руки разъяренных бунтовщиков.

Она готовила ему известие о смерти любимого им существа — Марьи Валерьяновны Зыбиной, урожденной Хвостовой, этой безвременной смерти, сопровождавшейся годами муки и несчастий.

Он получил его от графини Натальи Федоровной Аракчеевой, которую посетил в ее имении близ Тихвина, куда она возвратилась из Москвы в половине августа 1831 года.

При свидании перед своим отъездом в первопрестольную столицу, она угадала сердцем, что Хрущев желал бы получить сведения о том, что делается у Хвостовых, куда, по его словам, ему самому тяжело было ехать, а потому она не решилась при вторичном его к ней визите скрыть от него известные ей роковые новости.

С присущими Наталье Федоровне деликатностью и тактом она передала ему грустную повесть злоключений безвременной погибшей молодой женщины, так дорого поплатившейся

за свое увлечение, за необдуманный шаг своей молодости.

Он выслушал ее, казалось, совершенно спокойно, ей даже показалось, что чересчур равнодушно, и она приписала это всеисцеляющему времени, хотя, судя по себе, не признавала за долгими годами целительного средства от несчастной любви.

— Какой удар для тетушки и для Пьера! — заметил Василий Васильевич, не выразив даже своего личного ощущения, точно он никогда не знал несчастную женщину.

Графиня даже бросила на него удивленный взгляд и с горечью подумала: «Он забыл ее!»

На этот раз Наталья Федоровна ошиблась.

Это кажущееся равнодушие Хрущева было сильнее, нежели в страшных криках отчаяния выраженная печаль.

Василий Васильевич вдруг ощутил какую-то пустоту в уме и сердце, и эта пустота мешала ему не только выразить свое страдание, но даже, казалось, чувствовать его. Так нанесенный смертельный удар причиняет порой менее боли, нежели легкая царапина.

В таком состоянии нравственного оупения уехал Василий Васильевич из имения графини Аракчеевой.

Еще ранее он решил после визита к Наталье Федоровне заехать в Грузино к графу Алексею Андреевичу, просившего его запискою заехать к нему для личного рассказа о пережитых им днях во время бунта.

Граф Аракчеев в начале возмущения находился в Грузине, но, узнав о происходивших волнениях, поспешил уехать в Тихвин.

Губернатор А. И. Депфер, узнав о приезде графа, послал к нему полицеймейстера с просьбою о выезде из города, так как присутствие его сиятельства могло быть опасным для жителей, без того уже боявшихся нападения со стороны поселян.

Видимо, этот сановник, под влиянием ходивших тогда толков в лагере графских врагов, считал его чуть ли не первым виновником бунта.

Алексей Андреевич страшно рассердился и тотчас отправил эстафету в Петербург.

Ответ не замедлил. Ему было разрешено оставаться в Новгороде, а губернатору поставили на вид его опрометчивость и бестактность.

В Новгороде, впрочем, граф оставался недолго и ни к кому не ездил кроме доктора Азиатова, у которого по вечерам играл в свою любимую игру — бостон по грошу.

Хотя граф и был уверен в своей безопасности и в Тихвине, и в Новгороде, но тем не менее опасался за свою шкатулку, которую в Тихвине отдавал на сохранение жившей там своей куме — генеральше Анне Григорьевне фон Фрикен, а в Новгороде доктору Ивану Ивановичу Азиатову.

Последний спрятал ее под кровать и очень обрадовался, когда Алексей Андреевич, несколько дней спустя, взял ее обратно.

Шкатулка эти причинила Ивану Ивановичу несколько бессонных ночей.

— Не хорошо быть богатым, но еще хуже хранить чужое, быть может, миллионное богатство, — говаривал он впоследствии, рассказывая об этом.

В один из вечеров, проведенных графом у Азиатова, он, выходя от него, задел воротником шинели за какой-то почти незаметный гвоздь в дверях, рассердился и сказал:

— Вот какие у тебя неисправности; эту шинель снял со своих плеч покойный государь на поле сражения в 1812 году и подарил мне, и эту драгоценность пришлось мне разорвать у тебя. Прощай, никогда более к тебе не приеду.

И действительно, не был, но перед своим отъездом позвал Ивана Ивановича и его жену на прощальный обед, был весел и любезен и просил доктора, в случае надобности, приехать в Грузино.

По усмирении бунта в Старой Руссе возвратился в Новгород генерал Эйлер, в сопровождении резервного батальона карабинерного полка для начальствования над войсками.

— Благодарите вашего генерала за оказанную мне честь, но с моей стороны было бы непростительно отрывать нашего генерала от столь важных государственных дел! — отвечал граф и ушел в свой кабинет.

Адъютанту пришлось передать этот саркастический ответ графа генералу Эйлеру.

Вскоре граф возвратился в Грузино.

Это возвращение было за несколько дней до приезда с Кавказа Михаила Андреевича Шумского, прибывшего, если не забыл читатель, туда 15 августа 1831 года.

Василий Васильевич Хрущев прибыл в Грузино в самый разгар неприятностей между графом Аракчеевым и его мнимым сыном. Это, впрочем, не помешало Алексею Андреевичу любезно и гостеприимно принять приезжего и с интересом и вниманием выслушать рассказ ближайшего очевидца так недавно усмирённого кровавого возмущения.

— Вот ты цел и невредим вышел, а тоже, чай, им поблажки не давал... народ понимает и уважает справедливых начальников, без строгости нет службы... Несправедливость, лицепрятание... этого народ не перенесет... Покойники-то, верно, не тем будь помянуты, — заметил граф.

Хрущев стал горячо возражать.

— Если спасся я, то только положительно чудом... — закончил он.

— Толкуй, брат... нет дыма без огня, недаром пословица молвится... Не ты один жив, а и другие, — отвечал Алексей Андреевич.

Обласкав и пожелав успехов по службе, граф Аракчеев отпустил Василия Васильевича.

Последний отправился домой.

Только оставшись наедине с самим собою, он понял, что затаенной даже от самого себя главной целью его жизни, кроме искупления вины, была надежда, несбыточная и безумная, но все же надежда на свидание с Марьей Валерьяновной, и что теперь, когда эта надежда совершенно исчезла, образовавшаяся в его сердце и уме пустота сделала ему жизнь каким-то тяжелым, невыносимым бременем.

«Я не увижу ее никогда... никогда!» — повторял он сам себе, как бы не веря во всю очевидность этой роковой истины.

«А там... за гробом...» — появилось в уме его соображение.

«Да, да, за гробом... я увижусь с нею... за гробом...» — ответил он сам себе.

Эта мысль неотвязно носилась в его уме. Его вдруг потянуло в Москву.

Ему показалось, что выплакавшись на могилах матери и Марьи Валерьяновны — этих двух любимых им существ, ему станет легче переносить эту пытку, которая называется жизнью.

Он подал рапорт об отпуске и тотчас же по получении его укатил в Москву.

Въехав в город, он приказал ямщику везти его прямо в Новодевичий монастырь и, остановившись у ворот обители, расплатился с возницею, и быстро прошел на дорогие могилы.

Ему подробно описала их местоположение графиня Наталья Федоровна Аракчеева.

В тот же день к вечеру по Москве разнеслась весть о самоубийстве на могиле Марьи Валерьяновны Зыбиной ее кузена — декабриста Хрущева.

Его нашли монашенки, лежавшим ничком, с зияющей в правом виске огнестрельной раной. Около трупа лежал пистолет — орудие самоубийства.

Ольга Николаевна Хвостова не узнала о трагической смерти своего племянника — она в это время лежала на смертном одре. Кончина в ее объятиях любимой, хотя и оскорбившей ее дочери, окончательно расшатала даже ее железный организм, и она стала хиреть и слабеть и, наконец, слегла в постель, с которой ей не было суждено уже встать.

Петр Валерьянович выхлопотал разрешение предать самоубийцу Хрущева церковному погребению, и он был похоронен в семейном склепе Хвостовых, у которого он покончил свои расчеты с жизнью, около той, которая была причиной, хотя и бессознательной, его разбитой жизни и преждевременной смерти.

Не прошло и недели, как в это же место вечного успокоения отвезли и Ольгу Николаевну Хвостову, тихо скончавшуюся на руках сына и его жены.

Жизнь других наших московских героев, за описанное нами время, не представляла ничего выходящего из обыденной рамки. Они жили в том же тесном кружке и делились теми же им одним понятными и дорогими интересами. Самоубийство Хрущева, конечно, достигло до дома фон Зеemanов, и вся «петербургская колония», как шутя называл Андрей Павлович Кудрин себя, супругов фон Зеemanов и Зарудина, искренно пожалела молодого человека.

Что произошло за это время между графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым и Шумским уже известно нашим читателям.

XIX

НА КЛАДБИЩЕ

Прошел год.

Было 15 августа 1832 года — Успеньев день.

Главная церковь Ново-Девичьего монастыря была полна молящимися. Среди них у левого

клироса коленопреклоненная почти всю обедню молилась Екатерина Петровна Хвостова.

Она сильно изменилась и похудела, что особенно оттеснялось глубоким трауром ее одежды, но выражение ее лица было спокойнее и светлее прежнего.

Видимо, она душевно успокоилась, хотя пережила и переживала много горя.

Смерть старухи Хвостовой сильно поразила ее, Екатерина Петровна не думала даже, что так горячо была привязана к покойной.

Но это горе было только преддверием другого — сильнейшего. Не прошло и двух месяцев после смерти Ольги Николаевны, как Петра Валерьяновича поразили первый удар апоплексии, за которым вскоре последовал второй, и несчастный, еще сравнительно молодой мужчина оказался на всю жизнь прикованным к креслу на колесах.

Екатерина Петровна удвоила к мужу свою нежность, но страдания и беспомощное положение боготворимого ею мужа глубоко терзали ее душу, тем более, что ей казалось, что Бог наказывает его за нее, за то, что он соединил свою судьбу с такой великой, как она, грешницей — женщины, вообще, зачастую страдают отсутствием логики, а в несчастии в особенности.

Кроме забот о муже, Екатерина Петровна посвятила всю свою жизнь молитве и благотворительности, и в этих подвигах веры и добрых дел, предписанных Евангелием, нашла, наконец, успокоение душе и сердцу.

Она совершенно успокоилась относительно возможности разоблачения самозванства, так как графиня Аракчеева, посетив ее несколько раз, дала ей весьма прозрачно понять, что ей не следует опасаться Зарудина, не говоря уже о ней самой.

— Это мой многолетний лучший друг, и право, мы оба довольны, что судьба послала нам в удел лишь духовную близость — такие отношения прочнее и отраднее! — заметила графиня.

По воскресеньям Екатерина Петровна неукоснительно бывала в своей приходской церкви — святых Афанасия и Кирилла, а по большим праздникам ездила к обедне в Новодевичий монастырь и после службы приходила к могильному склепу Хвостовых, где служила панихиды об успокоении душ усопших рабов Божиих Ольги, Марии, Ираиды и Василия.

Потому-то в Успенев день мы и застаем ее в церкви Ново-Девичьего монастыря.

Служба кончилась.

Народ густыми нарядными массами повалил из храма, мешаясь с черной одеждою монашенок.

Екатерина Петровна вышла почти последняя и медленно, с опущенными долу глазами, прошла на кладбище, куда следом за ней направился священник с диаконом, несколько монашенок и кое-кто из богомольцев.

Она не заметила, что почти рядом с ней вышел мужчина брюнет, все время и за обедней следивший за ней каким-то жадным взглядом, и даже опередил ее.

Он остановился на паперти, пропустил ее мимо себя, внимательно оглядев с головы до ног и медленно пошел по кладбищу в ту же сторону, куда отправилась Бахметьева и духовенство.

Он, однако, не подошел к склепу Хвостовых, а скрылся за один из стоявших поблизости высоких надгробных памятников и стал оттуда снова неотводно следить за Екатериной Петровной.

Началась панихида. Опустевший от мирских пришельцев монастырь, — так как народ уже вышел за ворота, — огласился заунывным служением, особенно гулко раздавшимся среди наступившей тишины.

Каильный дым синими облаками неся ввысь в прозрачном воздухе августовского светлого дня.

Яркое солнце играло на ризах священнослужителей и на серебре каильницы.

Погода была превосходная и в самой природе царила такая тишина, что ни один листочек не шевелился на немногочисленных деревьях монастырского кладбища.

Служба кончилась, духовенство и монашенки удалились, ушли и несколько богомольцев.

У склепа осталась одна коленапреклоненная Екатерина Петровна, забывшаяся в горячей молитве за усопших и за своего полуживого мужа.

Следивший за ней брюнет вышел из-за памятника и тихо приблизился к склепу.

Екатерина Петровна очнулась от шума шагов, встала с колен, обернулась и очутилась лицом к лицу с незнакомым ей мужчиной.

— Катя!? — проговорил брюнет.

Бахметьева вздрогнула и бросила удивленно-вопросительный взгляд на незнакомца.

— Ты не узнаешь меня, я стал брюнетом, да и много лет не видались мы с тобой, Катиш — назову уж я тебя, как звала покойная твоя мать...

У Екатерины Петровны подкосились ноги — она узнала голос. Перед ней стоял ее кузен Талицкий.

— Сергей!.. — могла только произнести она и пошатнулась.

— А-а-а... узнала!.. — заметил он, успев поддержать ее, и бережно усадил на стоявшую у склепа скамейку.

Она сидела, бессильно опустив на грудь свою голову.

— Только я теперь не Сергей, а Евгений, и не Дмитриевич, а Николаевич, и не Талицкий, а Зыбин, — медленно начал он, — как ты не Екатерина Петровна Бахметьева, а Зоя Никитишна Хвостова, урожденная Белоглазова. Славно ты, Катюшка, устроилась...

Она молчала, казалось, не только не понимая, но даже не слыша его. Он, между тем, развязно сел с ней рядом на скамейку.

— Мы с тобой теперь не только по далекому прошлому, но и по-настоящему родственники — в этом склепе полеживает и моя супружница Марья Валерьяновна, урожденная Хвостова... Царство ей небесное... — с гадкой усмешкой продолжал Зыбин-Талицкий.

Екатерина Петровна вздрогнула, как-то гадливо отодвинулась от своего непрошенного соседа, но не проронила ни слова и не подняла головы.

— Что же ты молчишь, как рыба, или не рада встрече, после такой долгой разлуки... Ведь, говорит же французская пословица, что всегда возвращаются к своей первой любви... Хорошо же ты возвращаешься... Молчишь, точно встретилась с выходцем с того света... Я, вот, так рад, что встретился с тобой, кузинушка, давно я тебя уже выследил, да выбирал удобное место и время... Надоело мне, чай, так же, как и тебе, носить столько лет чужую

кожу — отрадно поговорить по душе с близким человеком, которого нечего бояться...

Екатерина Петровна, между тем, только казалась неслушающей и непонимающей — она слышала все и все поняла, поняла к своему ужасу.

Сперва ее ум поразила вся путаница событий. Если бы она прочла все это в какой-нибудь книжке, то признала бы за ее автором положительную неправдоподобность вымысла, а между тем, жизнь порой является автором таких сложных драм, до которых уму человеческому и не додуматься.

В этом она теперь убедилась воочию.

Пропавший без вести ее кузен и первый любовник — Талицкий оказывается жив и невредим, но перекрашен и носит другие имя, отчество и фамилию, и даже был женат на покойной сестре ее мужа Хвостова, за которым она замужем, но не как Екатерина Петровна Бахметьева, а как Зоя Никитишна Белоглазова — то есть она такая же самозванка, как и он — Талицкий.

Все это мгновенно промелькнуло в ее голове, в которой затем возник роковой вопрос: что же теперь будет?

«Чего он потребует от меня? Денег или любви?..»

При этой мысли она и вздрогнула, гадливо отстранившись от сидевшего рядом с нею ее бывшего любовника.

«А быть может, и того и другого вместе? Он, кажется, нравственно не изменился, а она знала его, знала, к несчастью, очень хорошо».

Она поняла, поняла совершенно ясно, что она всецело в его власти, что он может погубить ее, раскрыв все ее мужу, явившись к нему прежним Талицким и смыв с себя эту так изменившую его краску.

«Что побудило его на самозванство? Вероятно, преступление... Но какое? Надо узнать... Если он проговорится, тогда шансы в борьбе у нас будут равны... Тогда я перестану бояться его и откуплюсь даже сравнительно малою суммой, а не то пригрожу».

В присутствии первого учителя в ней проснулась его ученица.

«А быть может, и теперь... сейчас... можно дать ему надлежащий отпор?» — мелькнуло в ее уме.

Она собрала все свои силы и подняла голову.

— Мы с вами, Сергей Дмитриевич, так долго не видались, что, видимо, стали совершенно разными людьми, так что я даже не вижу причин радоваться этой встрече... — сказала она с дрожью в голосе.

— Вот как! — расхохотался он. — Вы за эти годы стали совершенно тонкой барыней из московского beau monde'a и, быть может, чем черт не шутит, верной женой, так что считаете за грех даже вспомнить те счастливые минуты, которые вы проводили в моих объятиях...

Он снова разразился наглым смехом.

— Я не считаю их теперь счастливыми, — поднялась она со скамьи.

Его подлый хохот возмутил ее и придал ей энергии.

— Я считаю их омерзительными... Оставим этот разговор... Он неуместен вообще, а в особенности здесь, у могил нам обоим близких людей... Прощайте.

— Те... те... те... атанде... — схватил он ее руку и силой заставил снова сесть. — Я не сентиментален и готов говорить о деле не только над могилой, но даже в могиле... Мне же до вас есть дело, иначе не думаете ли вы, чтобы я стал вас столько времени выслеживать для нежных воспоминаний о прошлых поцелуях...

— Что же вам надо? — спросила она уже снова упавшим голосом.

Она поняла, что отпор не удался, и снова бессильно опустила голову.

— Вот так-то лучше!.. А то фордыбачить вздумала, когда вся у меня вот здесь...

Он сжал кулак.

— Хочу раздавлю, хочу помилую! Мне надо говорить с тобой, — он перешел снова на «ты», — наедине и долго...

— О чем?

— Тогда узнаешь..

— Если надо денег, я дам, с условием, чтобы вы меня оставили в покое...

— Денег теперь мне не надо. Безмозглые поляки выбрали меня казначеем одной из банд... Кое-что осталось... Послезавтра ты выедешь одна в Тихвин, скажешь своему мужу, что едешь на богомолье... но одна, слышишь... Я буду тебя ждать на первой станции от Москвы... Вот тебе моя воля... Не исполнишь... берегись... сыщу на дне морском...

Он встал и быстро пошел к кладбищу, по направлению к монастырским воротам. Екатерина Петровна сидела, как окаменелая.

XX

ПОД ВЛАСТЬЮ ПРОШЛОГО

Екатерина Петровна очнулась уже тогда, когда Сергея Дмитриевича простыл и след. Она оглянулась по сторонам.

На кладбище было пусто и тихо. Только яркое солнце по-прежнему весело играло на крестах монастырского храма и некоторых надгробных памятников, внося жизнь в это царство смерти и далеко не гармонируя ни с печальным видом ряда могил, ни с настроением одиноко сидевшей на скамье Хвостовой, в душе которой были тоже и смерть, и могила.

На первых порах несчастной женщине показалось, что она проснулась от тяжелого, страшного сна, но восстановив подробности всей прошедшей за какие-нибудь четверть часа у склепа сцены, она должна была оставить эту отрадную надежду.

Видневшиеся на желтом песке дорожек свежие следы удалившегося мужчины красноречиво говорили, что все ею так недавно пережитое и пережитое было далеко не сном. Эти-то следы и вывели Екатерину Петровну из этого сладкого предположения.

Он был тут... Он... Талицкий... Ее первый любовник... беспощадный, способный на все...

Она вспомнила его властный тон назначения ей свидания на завтра. Он даже не дождался ответа. Так бесповоротно, видимо, решил он, что она не посмеет его послушаться. И он прав, бесконечно прав.

Екатерина Петровна до боли закусила себе губу, чтобы физическим страданием заглушить нравственное...

— Я его раба, я вся в его власти... и если не его лично, то во власти прошлого! — вырвался у ней почти громкий, отчаянный крик.

«Надо ехать... Это вне сомнения... Но зачем? Что ему надо от меня?» — стала она задавать сама себе вопросы.

«Денег?.. Нет! Он сам заявил, что теперь ему их не надо... Меня? Едва ли... Он так презрительно отозвался о воспоминаниях, о поцелуях... Что же ему надо?.. Какое дело имеет он до меня?..» — продолжала она пытаться себя, но вопросы эти так и оставались вопросами.

«Надо ехать домой! К мужу», — вспомнила она и вздрогнула.

— Домой! К мужу! — повторила она, и чем-то совершенно чуждым прозвучали для нее эти слова.

Разве теперь у ней был дом и муж, разве теперь что-нибудь принадлежало ей, когда она сама уже более не принадлежала себе? Быть может, завтра этот человек, вещь которого она была двадцать лет тому назад, и увлечет ее куда-нибудь далеко для этого неизвестного ей «дела». И она пойдет, потому что не посмеет не пойти... иначе он погубит ее, погубит и мужа, не даст умереть ему спокойно, открыв многолетний позор брака на самозванке... Если она скроется от мужа, по воле ее властелина. Талицкого, то это будет все-таки меньшее зло, причиненное несчастному Хвостову, нежели разоблачение истины.

Выбора нет, из двух зол надо выбирать меньшее. Так решила Екатерина Петровна, и вдруг ей стало невыносимо тяжело расстаться с этим больным, прикованным к креслу мужем, с ее домом, со всеми домашними вообще, с этой жизнью, к которой она привыкла, и более чем в сорок лет начинать снова кидаться в неведомое будущее.

А между тем, этого избежать нельзя. Властный голос Талицкого прозвучал в ее ушах. О, как ненавидела она этого человека; а он еще смеет говорить, что возвращаются к первой любви! Да разве чувство к нему была любовь? Любила и любит она одного своего мужа, и его-то она сделала несчастнее всех, над ним-то она и повесила Дамоклов меч позора. Надо сделать все, чтобы этот меч не упал и не отравил и так оставшиеся на счету дни несчастного человека, пожертвовавшего для нее всем, чем может жертвовать мужчина. Хвостова примирилась с необходимостью и даже как-то успокоилась.

Несколько раз она вздохнула полной грудью, как бы освобождаясь от какой-то тяжести, встала и тихую, ровную походкою направилась к воротам монастыря, у которых ее ожидала карета.

— Поезжай тише! — сказала она кучеру, садясь в экипаж.

Она хотела выиграть время и совершенно оправиться до приезда домой. Кроме того, ей необходимо было обдумать предстоящий с Петром Валерьяновичем разговор о завтрашней поездке в Тихвин. Через полчаса карета въехала во двор дома Хвостовых.

В столовой ожидал ее завтрак, и Петр Валерьянович, поджидая жену, велел придвинуть свое кресло к обеденному столу.

— Что это ты так долго замолилась? — встретил он вопросом вошедшую Екатерину

Петровну.

— Матушка-игуменья зазвала к себе пить чай с просфорами, с пей и заговорила, и опоздала... — произнесла она еще в карете подготовленный ответ. — Ты завтракал?

— Нет, дожидался тебя.

— Ну, я тебе сегодня плохая компаньонка... — сделала усилие улыбнуться она, — сыта по горло монастырскими яствами.

Она села к столу и стала накладывать мужу кушанья. Его кормила особо приставленная к нему женщина.

— Послушницы Зинаида и Сусанна собираются ехать в Тихвин, — начала Екатерина Петровна после некоторого молчания, — зовут меня с собою помолиться.

— Ох, ты, богомолка моя неутомимая! — улыбнулся Петр Валерьянович. — Видно, в Москве церковей мало? Ведь сорок сороков, матушка.

— Я и не говорю, что мало. И в одной молиться можно. Только мне бы хотелось поклониться Тихвинской Божьей Матери. Она, Владычица, заступница и исцелительница болящих, может, и тебе поможет.

Она отвернулась, так как почувствовала, что лицо ее от этой кощунственной лжи покрылось краскою стыда.

Петр Валерьянович грустно улыбнулся углом рта.

— Нет, уже видно мне не ходить и не стать опять человеком, не нуждающимся в посторонней помощи, а так мне за последнее время много лучше, я чувствую себя бодрее, свежее.

— Вот видишь ли, — оправившись и поборов в себе стыд, снова начала Хвостова, — видно, молюсь я не даром, доходят же мои молитвы до Господа. А в Тихвин меня просто как-то душой потянуло, как Зинаида и Сусанна мне о нем только заговорили. Чувствую я, что привезу тебе облегчение.

— Да я что ж, я ведь не против... — отвечал Петр Валерьянович. — Поезжай, если тебе это доставит удовольствие и рассеяние... Тоже со мной, с калекой, сидеть не большое веселье и радость...

— Вот ты опять за свое... Пора бы, кажется, тебе убедиться, что я без всякого самопринуждения и с большим удовольствием провожу дни около тебя, а между тем, у тебя все нет-нет, да и вырвется в этом сомнение... — взволновалась она и снова покраснела.

Эта краска теперь могла быть объяснена нанесенной обидой.

— Прости, дорогая моя, это я так, к слову... Я знаю тебя и уверен в твоей любви ко мне... Лучшей жены ни у кого нет, и я совершенно счастлив...

Ударами молота по голове казались ей эти нежные слова мужа.

Она поникла головой, и слезы неудержимо хлынули из ее глаз. Петр Валерьянович сделал движение на своем кресле.

— Перестань, не плачь, прости меня... Боже мой, что я наделал своим глупым языком.

В его голосе слышалось непритворное отчаяние. Она, между тем, успела оправиться, отерла слезы и даже через силу улыбнулась...

— Это мне надо просить у тебя прощенья, что я взволновала тебя моими глупыми слезами...
— сказала она. — Не обращай внимания... Это просто разыгрались нервы...

Она встала, подошла к нему и обвила рукой его шею.

— Так как же, мне можно ехать в Тихвин?

— Поезжай, конечно, моя дорогая! Ведь ты ненадолго?

— О, нет... через неделю, много через полторы я буду назад... Кстати заеду к графине Наталье Федоровне Аракчеевой, у нее там поблизости имение... Она звала меня, ее обидеть неловко, она так много сделала для покойной Марьи Валерьяновны...

— Да, да заезжай, непременно... Ты кого же возьмешь из прислуги?..

— Никого...

— Как никого? Не ехать же тебе одной...

— Ты забываешь, что я еду с Зинаидой и Сусанной на почтовых... Они мне прислужат... Зачем же я еще буду брать лишних людей... Я и из вещей с собой возьму один саквояж...

— Как знаешь... — согласился Петр Валерьянович. Она наклонилась и крепко поцеловала его.

Быстрое и удачное окончание дела в отношении успокоения мужа вселило в сердце Екатерины Петровны надежду, что и все остальное окончится благополучно.

«Я на самом деле, покончив с ним, — она даже мысленно не хотела в доме мужа назвать Талицкого по имени, — проеду в Тихвин и возвращусь через полторы, две недели... Значит, я почти не солгала ему...» — успокаивала себя Хвостова.

День ей показался томительно долог.

Наконец наступила ночь, но не принесла с собой сна для напряженных донельзя нерв несчастной женщины.

Все тот же вопрос: «Что будет завтра?» — свинцом давил ее мозг.

«Быть может, он отказался от денег только для того, чтобы увеличить куш? — мелькнуло в ее голове. — О, я отдам ему десять, двадцать, даже тридцать тысяч и более, чтобы заткнуть ему горло...»

Она распорядилась самовластно всем состоянием мужа, от которого имела полную уверенность, а потому могла откупиться от негодая, не доводя об этом огромном расходе до сведения Петра Валерьяновича.

И зачем им вдвоем с мужем это громадное состояние, которым они обладают? Он богат, она постоянно при нем... Самое дорогое для них — это спокойствие. Теперь надо его купить — следовательно, нечего спрашивать о цене!..

Лишь под утро она забылась тревожным сном.

На другой день Екатерина Петровна приказала положить в саквояж лишь самое необходимое для дороги.

После утреннего чаю она простилась с мужем.

— Приезжай скорее... Ведь это наша первая разлука! — заметил он.

— Конечно же буду спешить, — отвечала она, целуя его.

— Возьми побольше денег, мало ли что случится дорогою...

— Я взяла достаточно.

— Карета подана! — доложил лакей.

— Кланяйся графине! — крикнул ей вдогонку Петр Валерьянович.

— Прощай!

Екатерина Петровна приказала кучеру ехать в Новодевичий монастырь, от ворот которого и отпустила его домой, а сама, пробыв несколько минут на кладбище монастыря, вышла, наняла извозчика на почтовую станцию, откуда через час уже катила на почтовых по петербургскому шоссе.

При приближении момента свидания с ненавистным теперь для нее Талицким, силы ее, казалось, крепили, хотя сердце порой замирало, как бы предчувствуя что-то недоброе...

— Ведь не снесет же он мне голову! — успокаивала она себя.

Почтовая коляска, запряженная тройкой сытых лошадей, с ямщиком, подбодренным обещанием очень щедрой подачи, ехала быстро.

Через несколько часов ямщик лихо подкатил к станционному домику.

Екатерина Петровна вышла из экипажа и вошла по ступеням крыльца.

Дверь отворил перед ней кто-то изнутри.

Это был уже часа два ожидавший ее Сергей Дмитриевич.

— Наконец... Я уж начал подумывать, что ты осмелилась меня послушаться... — встретил он ее.

— Я здесь! — холодно отвечала она.

— Вижу... Надо рассчитать ямщика. Отсюда мы поедем в моем экипаже.

— Куда?

— В мое имение, в Новгородскую губернию.

— Зачем? Разве нельзя кончить «дело» здесь? — спросила Екатерина Петровна.

— Нет, здесь кончить нельзя... — со злобной усмешкой ответил он. — Где же тут говорить? Народ, сутолока. Да и что толковать... Поедем... Не хочешь... хуже будет...

Ей ничего не оставалось, как согласиться.

XXI

У ЛЕСНОЙ ИЗБУШКИ

Сергей Дмитриевич Талицкий со своей «спутницей по неволе» приближался к цели своего путешествия.

Дорога шла по отлогому берегу Волхова. На землю уже спустились поздние августовские сумерки, сгущенные бродившими по небу тучами.

Наши путешественники ехали в открытой тележке, на паре обывательских лошадей.

Перемена экипажа произошла от того, что Сергей Дмитриевич на последней станции, ближайшей к его имению, остановился не в станционном доме, а в крестьянской избе, лежавшей близ станции деревеньки, и отпустил почтовых лошадей.

Хозяин избы встретил Зыбина как знакомого, с подобострастием хорошо оплаченного слуги.

Сергей Дмитриевич приказал ему запрячь лошадей в тележку, а сам уселся на скамью, движением руки пригласив Екатерину Петровну сделать то же.

Последняя молча повиновалась.

Путешествие, видимо, не только утомило ее физически, но и совершенно разбило нравственно. В ее лице появилось какое-то выражение подавленности, с примесью страха.

Сергей Дмитриевич всю дорогу был неразговорчив, угрюмо-задумчив и сидел, глядя куда-то в сторону, с глубокою складкой на нахмуренном лбу.

Продолжительный tete-a-tete с что-то, видимо, замышляющим и всесторонне обдумывающим человеком положительно стал сперва пугать Хвостову, и час за часом этот страх начал действовать все сильнее — ум был положительно парализован, сердце порой совершенно переставало биться.

Она сидела в экипаже, как приговоренная к смерти, автоматически выходила из него на станциях и так же автоматически в него садилась.

В такое состояние она, впрочем, пришла не сразу; в первое время она старалась побороть этот охватывающий все ее существо страх, измышляла даже средства отделаться от своего угрюмого попутчика, пробовала заговорить с ним о деле, но получала лишь одно лаконичное «после».

«После!.. После!.. — звучало в ее ушах. — Когда же будет это „после“? Что это будет?»

По приезде на несколько станций у Екатерины Петровны мелькала мысль отказаться ехать далее, но мысль, что этот человек может погубить ее в глазах мужа, и роковая уверенность, что он не побоится ее угроз и не пойдет на уступки, лишала ее силы и все более подчиняла ее железной воле молчаливого спутника.

Таким образом дошла она до той подавленности, в которой мы застали ее почти у цели путешествия.

Вошедший в избу крестьянин объявил, что лошади готовы.

Сергей Дмитриевич встал и жестом пригласил Екатерину Петровну следовать за ним.

Она послушно пошла к двери.

Он вышел первый.

Он помог ей сесть в довольно высокую тележку и поместился сам рядом. Крестьянин вскочил на облучек.

— Эх... вы, соколики!.. — лихо, по-ямщицки, прикрикнул он на лошадей и последние крупной рысью покатали по деревенской улице и вскоре выехали за околицу.

— Родимые... не выдайте!.. — продолжал подхлестывать их кнутом крестьянин.

До имения Сергея Дмитриевича от этой деревеньки считалось менее десяти верст.

Оно было расположено на берегу реки Волхова, по крайней мере к дороге, шедшей по этому берегу, примыкал принадлежавший к имению лес, хотя усадьба была верстах в двух-трех, и за ней в живописных берегах несла свои сравнительно мелкие воды речка Тигода.

К концу пути лошади притомились и шли медленнее.

Окружающий мрак сгущался. Небо почти сплошь заволкло тучами. Вдали слышались раскаты приближающейся грозы.

— Пошел живей... недалеко!.. — крикнул Сергей Дмитриевич.

— Версты три почитай осталось... — обернулся возница.

— Толкуй больной с подлекарем... нам к лесной избушке... — сказал Талицкий.

— Вот оно что... это близко...

Екатерина Петровна сидела в тележке ни жива, ни мертва. Окружающий ее мрак, раскаты отдаленного грома, лесная избушка в перспективе — все это положительно отняло у ней способность мыслить и рассуждать, она как бы одеревенела, не ощущая даже тряски тележки, свернувшей куда-то в сторону с большой дороги и мчавшейся уже довольно долго по кочкам.

Она только вскоре различила в темноте какую-то темную массу.

Это и была избушка, стоявшая посреди выкорчеванной подлесной земли, с которой лес Сергей Дмитриевич уже давно продал на сруб.

— Стой! — крикнул он вознице. Лошади стали.

Талицкий соскочил с тележки и подал руку Екатерине Петровне.

Она, казалось, не заметила остановки и все продолжала так же неподвижно сидеть в тележке.

— Приехали! — резко сказал он.

— Приехали! — как-то почти бессознательно повторила она и начала тоже слезать с тележки.

Талицкий помог ей.

— Ступай с Богом... ты нам не нужен, — обратился он к вознице, сунув в протянутую им руку ассигнации.

— Благодарим покорно... счастливо оставаться... — произнес он скороговоркой и, не заставив себе повторить приказание, повернул лошадей, стегнул их и уехал.

Вскоре он скрылся в ночной мгле, и до оставшихся среди поля Сергея Дмитриевича и Екатерины Петровны доносились лишь шум и скрип колес удаляющейся телеги.

— Где мы... мне страшно... — дрожащим голосом произнесла Хвостова.

— Страшно... — злобно засмеялся Талицкий. — В надежном месте мы... вот где.

Он высек огня и зажег бывший с ним небольшой потайной фонарь.

Но еще до этого блеснувшая на небе молния осветила стоявшую среди поля полуразвалившуюся избушку, с выбитыми окнами и неплотно притворенной покосившейся дверью, к которой вели три прогнившие ступени крыльца, от навеса и перил которого осталось лишь два столбика.

Сильный удар грома загрохотал на небе и рассыпался как бы отдаленной канонадой.

Занятый зажиганием фонаря, Талицкий не слышал за этим ударом слабого крика Екатерины Петровны, которая без чувств упала на землю.

Он заметил это уже после того, как зажег фонарь и долгим, как бы в раздумьи, взглядом, окинул лежавшую навзничь Екатерину Петровну, направив на ее смертельно-бледное лицо слабый свет фонаря.

«Чего медлить? — мелькнуло в его голове. — Так еще лучше, она не успеет очнуться, как очутится там, где ей и надлежит быть для моего благополучия...»

Читатель, без сомнения, догадался, что Сергей Дмитриевич под угрозой увез Екатерину Петровну из Москвы на самом деле не для нежных воспоминаний сладких поцелуев прошлого, а лишь для того, чтобы обеспечить себе привольное будущее: он ни на минуту не задумался уничтожить когда-то близкую ему женщину, которая стояла преградой к получению его сыном Евгением, опекуном которого он будет состоять как отец, наследства после не нынче-завтра могущего умереть Петра Валерьяновича Хвостова, — Талицкий навел о состоянии его здоровья самые точные справки, — завещавшего все свое громадное состояние своей жене Зое Никитишне, в которой он, Сергей Дмитриевич, с первого взгляда узнал Катю Бахметьеву.

Это произошло после возвращения его из Вильны.

Участь ее была решена им тогда же, тем более, что она, к тому же, знала его прошлое, знала его не Зыбиным, а Талицким — это была ее вторая вина и вторая причина быть стертой с лица земли.

Он долго и всесторонне обдумывал план своего второго кровавого дела.

Теперь эта, попавшая в ловко расставленную ей западню, женщина лежала перед ним бесчувственная, беззащитная.

Это не тронуло закоренелого злодея — он нашел лишь, что это самый удобный момент для совершения задуманного дела.

Поставив фонарь на землю, он вынул из кармана заранее приготовленную толстую веревку, сделал из нее петлю и, наклонившись к лежавшей, приподнял ей голову, накинул веревку на шею и затянул.

Раздался сдавленный крик, затем хрип... и все смолкло.

В это время сверкнула страшная молния и осветила наклоненного убийцу и его несчастную,

уже бездыханную жертву, широко раскрытыми, полными предсмертного ужаса, с остановившимся взглядом глазами глядевшую на своего палача.

Громовой удар снова раскатился по небу.

— Кончено!.. — проговорил Сергей Дмитриевич и, подняв труп, быстро пошел по направлению к большой дороге и берегу Волхова, освещая себе путь фонарем.

Начался дождь.

Кругом все было тихо. Он вышел на дорогу. Она была также совершенно пустынна. Ни одного звука, кроме шума дождя и громовых, но уже менее сильных ударов, не долетало до его уха.

Казалось, сама гроза удалялась от места гнусного злодейства. Он спустился по берегу к самой воде.

Река бурливо несла свои мутные волны. Сергей Дмитриевич положил труп на землю, отыскал с помощью фонаря два увесистых булыжника, крепко привязал их к концам затянутой на шее несчастной петли и, напрягая все силы, раскачал и бросил труп в реку.

Раздался плеск воды. Блеснула молния, за которой, но уже через несколько секунд, последовал громовой удар, и все снова стихло.

Дождь стал усиливаться и обратился в ливень.

Поставленный на берег фонарь, неловко задетый Талицким ногою, скатился в воду и исчез.

Он остался среди полного мрака.

По памяти вышел он на большую дорогу и пошел по кочковатому полю к лесной избушке, где думал укрыться от все усиливавшегося ливня.

Нельзя сказать, чтобы он был покоен. Окружавший его мрак пугал его, он ускорил шаги и, наконец, побежал... Ему казалось по мере этого бега, что за ним кто-то гонится по пятам...

Вдруг... Сергей Дмитриевич остановился на бегу.

При мгновенном блеске отдаленной молнии он различил преградившую ему путь белую фигуру.

Это был Евгений Николаевич Зыбин, убитый им в лесу под Вильной шестнадцать лет тому назад.

Он стоял голый и смотрел на него в упор своими мертвыми глазами...

Сергей Дмитриевич узнал его.

— А-а... приятель... ты как здесь... — забормотал Талицкий, не попадая зуб на зуб, и вдруг разразился каким-то диким хохотом...

Голый Зыбин стоял перед ним и все продолжал неотводно смотреть на него.

Сергей Дмитриевич в паническом ужасе попятился назад и почувствовал, что кто-то обхватил его сзади.

Он почему-то вдруг догадался, и эта догадка мгновенно перешла в уверенность, что это была она, только что убитая им Екатерина Петровна. Он почувствовал даже устремленные в его затылок два ее мертвые глаза.

Сергей Дмитриевич еще более похолодел от обвивших его мертвых рук, с которых капала вода.

— И ты здесь... ха, ха, ха... — среди однообразного шума продолжавшегося ливня раздался дикий хохот убийцы.

Он хотел вырваться из этих роковых объятий и бежать, но почувствовал, что ноги не повинуются ему — они точно приросли к земле.

Вокруг него запрыгали какие-то темные фигуры, окружая его все более и более плотным кольцом... В ушах его стали раздаваться дикие звуки, свист, гиканье и какой-то адский хохот...

— Не уйдешь... Попался... — слышались ему злобно-радостные возгласы уже многочисленной толпы окруживших его существ...

Из его груди, как бы гармонируя с этими раздававшимися в его ушах дикими звуками, вырвался снова не менее дикий хохот.

Стало светать...

Сергей Дмитриевич оказался стоявшим между двумя уцелевшими старыми березами, прислонившись к одной из них среди высоких пней срубленных деревьев. Он в темноте взял в сторону от лесной избышки, оставив ее в стороне.

В полуверсте виднелась его усадьба.

Но он не узнал местность и не пришел в себя. Он продолжал дико озираться по сторонам и хохотать.

XXII

ТРЕТИЙ УДАР

Прошло уже около недели со дня отъезда Екатерины Петровны из Москвы.

Петр Валерьянович чувствовал себя сравнительно хорошо, хотя нельзя сказать, чтобы не скучал в разлуке с женою, первой со времени их супружества.

Он, впрочем, утешал себя мыслью, что Зоинька, как звал он жену, рассеется от однообразного домоседства с больным мужем и выездом только в приходскую церковь да в монастырь.

Приученная, старая, крепостная прислуга делала незаметным отсутствие Екатерины Петровны как хозяйки — раз заведенная хозяйственная машина шла без сучка и задоринки, никакие хозяйственные заботы не касались больного барина, боготворимого всеми дворовыми людьми, начиная с Устиньи и Никанора, специально ходившей за ним пожилой женщины и преданного старого камердинера и кончая последним казачком и девочкой для посылок.

Все шло в доме Хвостовых своим обыденным порядком. Петр Валерьянович с утра до вечера занимался чтением книг и газет, убивая этим казавшееся ему бесконечным время, и лишь в конце недели видимо заскучал, ожидая писем от жены.

Писем не приходило.

Беспокойство Хвостова возрастало с каждым днем, чему способствовала и распространившаяся за последнее время в доме атмосфера какой-то скрытой тревоги.

Причиной последней был пронесшийся среди прислуги дома Хвостовых слух о том, что лакей соседнего дома, возвращаясь со своими господами из их подмосковной деревни, встретил Зою Никитишну по петербургскому шоссе в почтовой коляске, в сопровождении какого-то мужчины.

Лакей случайно сообщил об этом повару Хвостовых Андрею.

— Брешет... анафема... — вывел свое заключение старик-повар, рассказав в людской о своем разговоре с соседским лакеем. — Я ему чуть в буркалы его охальные не плюнул, чтобы не повадно ему было сплетать несуразные сплетки. «В Тихвин наша барыня уехала, на богомолье, а ты не весть что зря языком болтаешь, охальник, право, охальник...» — сказал я ему, а он мне в ответ: «И Богу молиться, чай, с милым дружкой сподручнее, чем с калекою мужем сидья сидеть...» Бросился я было к нему, чтобы оттащить за волосы за такие речи, да увертлив, подлец, убег...

Все дворовые Хвостовых присоединились к негодованию повара на «охального сплетника», осмелившегося говорить об их «доброй барыне» непутевые речи.

Это было чуть ли не на второй день отъезда Екатерины Петровны.

Вскоре об этой, казавшейся совершенно нелепой, сплетне позабыли.

День шел за днем. От барыни не было ни одного письма. Сплетня снова всплыла наружу и уже многими была встречена с меньшим недоверием.

«Чем черт не шутит, мигом собралась, мигом уехала, да как в воду и канула... Дело-то, пожалуй, и впрямь нечисто...» — начались рассуждения.

Ходившие за бариним Никанор и Устинья, конечно, не остались в неизвестности о циркулировавшем слухе, но не решились доложить о нем барину, хотя к концу недели, когда Петр Валерьянович с озабоченным нетерпением стал ожидать писем от жены, с соболезнованием стали поглядывать на него, вполне уверенные, что соседский лакей не соврал.

— Вот уж подлинно бес ее, видимо, попутал... Эко-с грех какой, на богомолье отпросилась, а поди-ж ты куда хвостом вильнула... — раздраженно говорила Устинья.

— Грехи... мать... истинно грехи... На барина смотреть мне, слеза прошибает... Как сердечный убивается... И невдомек ему такой сюрприз...

Никанор был любитель иностранных слов.

Прошло еще два дня.

Тревожное состояние духа Хвостова достигло своего апогея. Вдруг, во время завтрака, раздался звонок. Петр Валерьянович в нетерпеливом ожидании доклада устался на дверь, ведущую из передней в столовую.

В ней никого не появилось.

— Поди, узнай скорей, кто там? — с раздражением приказал он Устинье.

До его слуха долетело какое-то странное шушуканье в передней.

— Кто там? Никанор!.. Устинья!.. Люди!.. — крикнул больной. Никанор и Устинья появились с крайне смущенными лицами.

— Кто там?.. Письмо?..

— Никак нет, батюшка-барин, не письмо, — запинаясь начала Устинья, между тем как Никанор, отвернувшись в сторону, старался сморгнуть застилавшие его глаза слезы.

— Кто же?

— Из Ново-Девичьего... две послушницы... к барыне... — чуть слышно произнесла Устинья.

— Из Ново-Девичьего... послушницы... к барыне... — машинально повторил больной. — Как зовут?

— Зинаида и Сусанна! — уже совершенно шепотом отвечала Устинья.

Петр Валерьянович скорее по движению губ говорившей, нежели по звуку голоса угадал эти роковые имена.

— Они вернулись! Где же они?.. Зовите...

— Но, батюшка барин... — начал было Никанор.

— Зовите! — крикнул что есть силы Хвостов и даже весь задрожал от охватившего его волнения.

Если бы не подоспевшая Устинья, он упал бы с кресла, сделав невероятное усилие встать.

Никанор удалился, и через несколько минут в столовую с глубокими поклонами вошли две молоденькие монашенки.

— Здравствуйте! Вы когда же вернулись? — спросил их Петр Валерьянович.

— Откуда, батюшка?

— Как откуда? Из Тихвина... Вы же ездили туда с Зоей... с моей женой?..

Голос больного прерывался. Послушницы смутились и молчали.

— Что же вы не отвечаете? — взвизгнул Хвостов.

— Не пойдем что-то, барин батюшка, ни в какой такой Тихвин мы не ездили и даже в уме ехать не держали, а Зою Никитишну с самого Успеньева дня и в глаза не видали, зашли вот к милостилице понаведаться и узнать, не занедужилось ли ей ненароком... И матушка игуменья ее в Успенев день после панихиды ждала чай кушать, так и не дождалась, а нынче и благословила нас пойти проведать Зою Никитишну...

Монахини не договорили, как в комнате раздался душу раздирающий крик, и на кресле, откинувшись на спинку, лежал бездыханный труп Петра Валерьяновича Хвостова.

В доме произошел страшный переполох.

Позванные доктора констатировали смерть от третьего апоплексического, осложненного нервным, удара.

На место доктора явились духовенство, гробовщики и полиция, опечатавшая весь дом покойного до возвращения пропавшей без вести его супруги.

Посланный нарочный в Тихвин вернулся уже после похорон, и без того отсроченных на несколько дней сверх положенного срока, и привез ответ, что ни в Тихвине, ни в имении графини Натальи Федоровны Аракчеевой, которая выехала по делам в Новгород, куда он также ездил к ней, Зои Никитишны нет и не было.

Прах Петра Валерьяновича похоронили с надлежащей торжественностью и опустили в могилу в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Ново-Девичьего монастыря, у которого две недели тому назад была окончательно решена участь его несчастной жены.

Похоронами распоряжался губернаторский чиновник.

Власти энергично принялись за розыски пропавшей жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, допросив всю прислугу, не скрывающую пущенного соседским лакеем слуха.

Последний, спрошенный также, подтвердил вполне ссылку на него повара Андрея.

Во все губернии и уезды империи были посланы запросы с приметам пропавшей.

Найденные капиталы, дом и все имения Петра Валерьяновича Хвостова были взяты во временную опеку.

В конце того же августа месяца, как уже знает читатель, крестьяне села Грузина вытащили неведомую утопленницу.

Это и была несчастная Екатерина Петровна Бахметьева, по официальным розыскам значащаяся под именем жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, урожденной Белоглазовой.

Ее, как, вероятно, помнит читатель, сразу узнали Петр Федорович Семидалов и граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Весть о «неожиданном улове» грузинских рыбаков с быстротою молнии облетела окрестности, а при посредстве нарочного, посланного дать знать городским властям, быстро достигла Новгорода и находившейся там по делам графини Аракчеевой.

Это было в тот же день, когда у ней был посланный из Москвы, сообщивший ей о загадочном исчезновении Зои Никитишны Хвостовой и внезапной смерти ее мужа, пораженного этим исчезновением.

Графиня Наталья Федоровна женским чутьем угадала связь между этими известиями из Москвы и из Грузина, и, почти уверенная в том, что вытащенная неводом грузинских рыбаков была не кто иная, как пропавшая без вести Хвостова, тотчас, не откладывая ни минуты, поскакала в Груаино.

Губернаторский чиновник, наряженный для производства следствия, в сопровождении исправника и доктора опередили графиню прибытием в Грузино на какой-нибудь час.

Они сидели в приемной графа уже после осмотра тела утопленницы, перенесенного с берега реки в один из светлых сараев, где шло приготовление к судебнo-медицинскому вскрытию.

— Кто она — мы знаем... — говорил чиновник. — Остается лишь открыть злодея...

— Знаете? — с нескрываемым сомнением прогнул граф. — Кто же она?

Он даже с каким-то беспокойством посмотрел на чиновника.

— Полковница Зоя Никитишна Хвостова... — торжествующим тоном проговорил чиновник, и, вынув из портфеля отношение канцелярии московского губернатора, стал вслух читать приметы пропавшей москвички.

Граф Аракчеев, ничего не понимая, удивленно слушал. Приметы описаны были довольно подробно и несомненно подходили к вытащенной неводом утопленнице.

Алексей Андреевич ровно ничего не понимал: он был глубоко убежден, что это труп Екатерины Петровны Бахметьевой, хотя не мог уяснить себе, как она, утопленная по распоряжению Настасьи Минкиной семнадцать лет тому назад в проруби Невы, близ села Рыбацкого, как, по крайней мере, рассказал ему со всеми подробностями Петр Федорович Семидалов — подневольный исполнитель злодейской воли покойной грузинской домоправительницы, могла очутиться на дне Волхова, по-видимому, недавно удушенная и брошенная в эту реку, а теперь ему читают подробные приметы, несомненно схожие с приметами утопленницы, и говорят, что она не кто иная, как пропавшая без вести полковница Зоя Никитишна Хвостова, рожденная Белоглазова.

Мозг графа отказывался понимать всю эту путаницу, хотя он не был расположен спорить с чиновником, тем более потому, что не намерен был признаться, что знает утопленницу.

Это могло повести к нежелательным для него разоблачениям прошлого.

«Пусть думают полицейские крючки, что нашли пропавшую полковницу... Я не буду разуберять их в этом, — пронеслось в голове графа. — А может, мы с Петром и вклепались, только нет... сходство поразительное».

— Быть так... значит, Хвостова... вам и книги в руки... — прогнусил граф после некоторого раздумья.

— Несомненно, ваше сиятельство, — поспешил подтвердить чиновник.

— Это какого же Хвостова жена?

— Петра Валерьяновича, но не жена, а вдова... он умер ударом, сраженный исчезновением супруги.

— А-а... это он, узнаю... фантазер... — как бы про себя прогнусил граф.

Вошедший в кабинет лакей доложил о приезде графини Натальи Федоровны.

XXIII

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ

— Кто? — удивленно-вопросительным взглядом окинул вошедшего с докладом лакея граф Алексей Андреевич Аракчеев.

— Графиня Наталья Федоровна, — повторил лакей, — просят ваше сиятельство принять их по безотлагательному делу.

Граф сразу понял, что он не ошибся, что утопленница была действительно Екатерина Петровна Бахметьева и прибытие его жены, ее бывшей подруги, в Грузино, имело

непосредственную связь с вытасненным из Волхова трупом.

— Проси в кабинет! — бросил он лакею и в глубокой задумчивости вышел из приемной.

Через несколько минут мимо губернаторского чиновника и исправника, в сопровождении доложившего о ней лакея, прошла через приемную графиня Наталья Федоровна.

Достигнув кабинета, лакей забежал вперед и почтительно отворил перед посетительницей дверь последнего.

Наталья Федоровна вошла. Тот же лакей затворил дверь и удалился. Граф Алексей Андреевич ходил большими шагами по комнате.

При входе графини он быстро подошел к ней.

— Прошу садиться! — указал он ей на кресло, стоявшее сбоку письменного стола, и сам сел в стоявшее посредине.

— Вы, вероятно, по делу о вытасненном из Волхова трупе полковницы Хвостовой? — спросил граф, так как Наталья Федоровна молчала, видимо, стараясь всеми силами побороть волнение.

— Так это она, я в этом была уверена, но как ее узнали?

Граф объяснил.

— Я думаю, впрочем, что это не она... — добавил он после сообщения о разосланных приметах.

— Вы узнали ее? — спросила графиня.

— Кого, Хвостову? Я ее не имею чести знать...

— Нет, Бахметьеву, помните Катю Бахметьеву?..

— Помню, — понурился, глухо произнес Алексей Андреевич. — Но ведь вы говорите, что эта несчастная — полковница Зоя Никитишна Хвостова.

— Это одно и то же лицо.

Граф вскочил и всей своей фигурой и выражением лица изобразил из себя вопросительный знак.

— Садитесь... я расскажу вам все по порядку... Граф сел.

Наталья Федоровна во всех подробностях передала ему услышанную ею от покойной Екатерины Петровны историю ее приключений с того дня, когда она для всех считалась утонувшей.

— Все-таки не миновала своей участи и умерла загадочно насильственной смертью... Дай Бог, чтобы обнаружили злодея, сразившего разом две жизни... Ее муж ведь умер ударом...

— Слышал!.. Он обманул меня, — как бы про себя произнес граф, — мерз...

Алексей Андреевич остановился.

— Кто?

Граф рассказал ей о рассказе Семидалова, представившего свою роль совершенно в ином свете, нежели было на самом деле, судя по рассказу покойной Бахметьевой.

— Кто же будет говорить на себя? — кротко заметила Наталья Федоровна.

— Однако... Это ложь, и к тому же никто не тянул его за язык... — сердито проворчал граф, начиная приходить в видимое раздражение.

— Я приехала просить вас, граф, угадав, что несчастная утопленница Катя Бахметьева, или официально Хвостова, чтобы ее прежнее имя не было обнаружено... — торопливо, после некоторой паузы, заговорила графиня. — Или, быть может, я опоздала? — тревожно добавила она.

— Напротив, приехавшие крючки считают ее именно за Хвостову, а я им в их деле не помощник... — заметил граф.

— А Петр Федоров?

— Петр Федоров от страха ни жив, ни мертв — тоже слова не скажет. Знает кошка, чье мясо съела... Ну, да я до него доберусь...

— В таком случае я спокойна и попрошу вас, граф, еще об одной услуге... — продолжала Наталья Федоровна.

— Я в вашем распоряжении, графиня! — с далеко несвойственной ему галантностью ответил граф и даже привстал.

— Нельзя ли устроить, чтобы тело несчастной доставили в Новгород, а оттуда в Москву, для предания земле в семейном склепе Хвостовых.

— Ничего нет легче — это устроится само собою, после исполнения всех судебных формальностей, я же со своей стороны окажу все мое содействие, хотя теперь, вы знаете, я в России — нуль...

Он горько усмехнулся.

— Мне остается только поблагодарить вас и уехать спокойно, уверенной, что все устроится как нельзя лучше...

Графиня встала.

Поднялся со своего места и Алексей Андреевич.

— Я буду дожидаться в Новгороде и провожу тело до Москвы... Я очень любила эту несчастную... — сказала она сквозь уже давно сдерживаемые слезы.

— Вы... святая... графиня... — дрогнувшим голосом сказал граф Аракчеев и отвернулся от жены, чтобы скрыть выступившие на его глазах слезы.

Графиня заметила душевное волнение своего мужа, но не дала ему этого понять и молча протянула руку.

— Прощайте.

Граф почтительно поцеловал эту руку.

Наталья Федоровна почувствовала, что на ее руку капнуло что-то горячее. Это была слеза — редкая гостья на глазах железного графа.

Алексей Андреевич проводил графиню до двери кабинета. Вскоре донесшийся до него шум экипажных колес возвестил об ее отъезде.

XXIV

СМЕРТЬ ГРАФА АРАКЧЕЕВА

Прошло около двух лет.

Жизнь «грузинского отшельника» шла с тем же томительным однообразием, которое отразилось сильно на здоровье Алексея Андреевича, и он стал серьезно прихварывать.

Татьяна Борисовна была вскоре после ссылки в новгородский монастырь возвращена графом в Грузино и уже несколько лет жила при нем безотлучно.

С летами она угомонилась, и мимолетный ее роман с доктором, забывшим и думать о ней, послужил ей хорошим жизненным уроком.

Из посторонних в Грузине чаще других бывал генерал Федор Карлович фон Фрикен с женою Анной Григорьевной и детьми — крестниками графа Аракчеева.

Алексей Андреевич очень любил Федора Карловича, бывшего некогда командиром полка имени графа, и даже предлагал ему выйти в отставку и поселиться с семьей в Грузине, обещая сделать его своим наследником, но генерал фон Фрикен уклонился от этого.

Наступил 1834 год.

13 апреля в пятницу, на шестой неделе великого поста, граф сильно занемог и немедленно послал в Петербург за доктором Миллером, который пользовал его прежде.

В то же время государь Николай Павлович, узнав о болезни графа, прислал к нему лейб-медика Якова Васильевича Виллье.

В понедельник на страстной неделе больному сделалось хуже, и во вторник он послал в Старую Руссу за генералом фон Фрикеном и за Алексеем Платоновичем Бровцыным, к которому был очень расположен по дружбе его с отцом — однокашником графа.

Алексей Платонович приехал в Грузино в среду в полдень. Граф выразил ему признательность, что скоро приехал. Якова Васильевича Виллье и доктора Миллера Бровцын застал уже при графе. Они сообщили ему о безнадежном состоянии больного.

Весть о болезни графа дошла и до Новгорода.

В четверг приехал в Грузино новгородский губернский предводитель дворянства Н. И. Белавин, но о нем графу не докладывали, и он, узнав о тяжком состоянии болезни графа, в четверг же и уехал. В пятницу болезнь пошла еще к худшему — сделалась сильная одышка. Началась продолжительная, но тихая агония.

Граф говорить не мог и сидел с неотводно устремленным взглядом на портрет покойного государя Александра Павловича, стоявшего у противоположной дивану стене.

Потухающий взгляд Алексея Андреевича принял какое-то восторженно-молитвенное выражение. Из глаз по временам капали крупные слезы. На присутствующих это состояние больного производило тяжелое впечатление. Так просидел он почти всю ночь и тихо

скончался в субботу утром, в то самое время, когда за заутреней носили плащаницу вокруг грузинского собора.

Это было 21 апреля 1834 года.

Тело графа обмыли, одели, согласно его воле, в сорочку, подаренную ему императором Александром I, когда он был еще наследником престола, и положили на стол в полной парадной форме.

Вечером, в субботу, прибыл запоздавший генерал Федор Карлович фон Фрикен. Новгородский уездный предводитель дворянства А. Д. Тырков находился в Грузии с пятницы вечера, но как посторонний к графу не входил.

В субботу же утром Тырков взял к себе все ключи, запечатал стол и бюро и опечатал их до приезда в Грузино в день светлого праздника для похорон графа генерал-адъютанта Петра Андреевича Клейнмихеля, который и принял все в свое распоряжение.

Тело графа было положено в роскошный гроб. В Грузино был вызван полк имени графа Аракчеева, прибывший на подводах, и батарея артиллерии. К гробу был приставлен почетный караул из офицеров, которых сменяли через каждые два часа днем и ночью; диакон читал псалтырь.

Погребение было совершено торжественно новгородским архиепископом, с участием архимандритов и множества духовенства и с отданием военных почестей. Тело было опущено в приготовленную заранее самим графом могилу в грузинском соборе, рядом с могилой Настасьи Минкиной.

Графа Аракчеева не стало.

Грузинское имение было отдано государем Николаем Павловичем новгородскому корпусу, вследствие духовного завещания графа, предоставившего в нем право и выражавшего просьбу государю, после его смерти назначить его наследника по выбору и воле государя императора, если бы он при жизни себе не назначил такового. В силу этого-то духовного завещания, хранившегося в сенате, так как граф сам себе наследников не назначил, государю и благоугодно было передать все его имущество в новгородский кадетский корпус, присвоив ему герб и наименование новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. По этому же завещанию граф Алексей Андреевич определил капитал в 50 000 рублей с процентами тому, кто через 93 года напишет лучшую историю императора Александра I.

Добавим лишь несколько слов о судьбе приемного сына графа, Михаила Андреевича Шумского. После смерти Алексея Андреевича он тайно бежал из монастыря и целый год прожил в Грузии у вотчинного головы Шишкина в качестве учителя его детей.

Со своею матерью и родственниками он виделся часто — они жили в деревне Пролета, верстах в двенадцати от того села, где жил голова.

Через год Михаила Андреевича разыскали и против воли снова возвратили в Юрьев монастырь, где его возвращению, впрочем, не очень обрадовались и, воспользовавшись первым удобным случаем, сжили с рук в Отенский монастырь.

Шумский и тут не удержался, начал пьянствовать и буянить.

Его спровадили в Дымский монастырь и оттуда перевели в Соловецкий. Как и везде, сначала он повел себя примерно, нашел даже себе дело, занялся крепостной монастырской артиллерией, привел ее в порядок и смотрел за ней. Его там полюбили, сделали даже письмоводителем, но он не мог оставить своей несчастной склонности к вину.

Его перевели в один из скитов монастыря, где он, под строгим надзором, наконец, исправился совершенно. До конца жизни своей он получал триста рублей пенсии и в последние годы своей жизни все деньги раздавал братии, неимущим, а сам вел очень суровую, строгую жизнь.

Он умер в 1857 году.

Дело об убийстве жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, рожденной Белоглазовой, после долгого хождения по разным судебным инстанциям было прекращено, за неразысканием виновных, или, выражаясь языком закона того времени, «предано воле Божьей» и до сих пор хранится в одном из новгородских архивов.

Примечания

1

Села, деревни.

2

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

3

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

4

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

5

И. А. Галактионов. «Император Александр I и его царствование».

6

П. П. Карцев. «О военных поселениях при графе Аракчееве».

7

П. П. Карцев. «О военных поселениях при графе Аракчееве».

8

Все кончено, государь, мужайтесь теперь, подавайте пример!

9

Теперь Александровская зала, перехода более не существует.

10

Мамаша, милая мамаша, ради Бога успокойтесь.

11

Вы полковница Хвостова?

12

Да, графиня!

13

Садитесь, графиня!